Андре Моруа

Андре Моруа

Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго

Андре

Моруа

Олимпио, или жизнь Виктора Гюго

Andre Maurois

Olympio ou la Vie de Viktor Hugo

PARIS
1954

Андре Моруа

Олимпио, или жизнь Виктора Гюго

Перевод с французского
Н. Немчиновой и М. Трескунова

МОСКВА
«РОССИЯ»
ТПО «КИРИЛЛИЦА»
1993

ББК 83.34Фр
М80

Моруа А.

М80 Олимпио, или жизнь Виктора Гюго: (Роман). Пер. с фр. Н. Немчиновой и М. Трескунова; Худож.— Москва: Россия — Кириллица, 1992.—528 с.

ISBN 5-7176-0023-2

Роман известного французского писателя правдиво, увлекательно, психологически тонко воссоздает жизненный путь Виктора Гюго, раскрывает истоки и направленность творчества классика французской литературы.

М $\frac{4703010100-023}{E14(03)-92}$ без объявл. ББК 83.34 Фр

Печатается по изданию: А. Моруа «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго». М., «Художественная литература», 1971

ISBN 5-7176-0023-2

Часть первая

Волшебные фонтаны

О, память! Слабый свет среди теней! Заоблачная даль тех давних дум! Прошедшего чуть различимый шум! Сокровище за горизонтом дней!

Виктор Гюго[1]

I

По крови он сын Лотарингии и Бретани...

Около 1770 года в Нанси жил мастер ремесленного столярного цеха Жозеф Гюго, пользовавшийся привилегией покупать для своих поделок лес, сплавляемый по Мозелю, имевший, кроме мастерской, несколько небольших домов в городе. Он был человек суровый, с крутым характером. Отец его пахал землю в Бодрикуре, „по соседству с лотарингскими лугами, где родились Жанна д'Арк и Клод Желе". В молодости он служил в легкой кавалерии в чине корнета, то есть вахмистра. Променяв плуг на саблю, он затем расстался с саблей, ради рубанка. Фамилия Гюго немецкого происхождения, довольно часто встречающаяся в Лотарингии. В XVI веке некий Жорж Гюго состоял капитаном гвардии и получил дворянское звание; некий Луи Гюго был аббатом в Эстивале, а затем епископом птолемаидским. Состоял ли столяр Гюго в родстве с епископом? Никто этого не знал, но дети столяра охотно уверовали в это и рассказывали, что Франсуаза Гюго графиня де Графиньи в письмах к их отцу называла его „брат мой". Жозеф Гюго имел от первой жены, урожденной Дьедонне Беше, семь дочерей, а от второй — Жанны-Маргариты Мишо — пять сыновей, и все они пошли добровольно в армию революции. Двое из них погибли под Висембургом, а трое уцелевших

---

[1] Гюго В. Однажды вечером, когда я смотрел на небо... („Созерцания"). Здесь и далее, кроме случаев, специально оговоренных, стихи даются в переводе Н. Горской.

стали офицерами. После падения монархии военная карьера стала новой формой перехода из одного класса в другой, а членов семейства Гюго, казалось, инстинктивно тянуло к военному поприщу.

Третий сын — Жозеф-Леопольд-Сигисбер Гюго — родился в Нанси 15 ноября 1773 года. Густая пышная шевелюра и низкий лоб, глаза навыкате, толстые чувственные губы и слишком яркий румянец — все это придавало бы вульгарность его внешности, но выражение доброты, глаза, блестевшие умом, и очень ласковая улыбка делали его обаятельным. Образование он получил у каноников нансийского капитула, но рано прервал ученье, так как в возрасте пятнадцати лет пошел волонтером в армию. Он знал латынь, математику, довольно хорошо писал в стиле того века и не только военные рапорты, но и мадригалы, песенки, письма в духе Руссо, а позднее — причудливые романы, полные всяких ужасов и катастроф. Человек веселый, приятный собеседник, он был, однако, подвержен приступам мрачного настроения и тогда воображал, что его преследуют враги. В 1792 году, будучи капитаном в Рейнской армии, он познакомился с Клебером — в ту пору командиром батальона, с лейтенантом Дезексом и генералом Александром Богарнэ, первым мужем будущей императрицы Жозефины. Солдаты любили капитана Гюго, находили, что он славный малый, хоть и вспыльчивый, но отходчивый и, в сущности, при всей своей телесной мощи, человек мягкий, правда, блиставший отвагой в сражениях.

Он действительно отличался храбростью, несколько раз был ранен, под ним в боях были убиты две лошади. В 1793 году его послали на подавление Вандейского восстания и назначили старшим адъютантом его лучшего друга Мюскара, командовавшего батальоном. Гюго было тогда двадцать лет, а Мюскару тридцать четыре. Мюскар был офицер кадровый, выслужился из солдат, по национальности баск. В 1791 году, прослужив в королевской армии семнадцать лет, он имел только чин старшего сержанта. Революция и война дали ему наконец возможность выдвинуться. У него имелись данные, необходимые в смутные времена для того, чтобы стать военным трибуном: высокий рост, зычный голос, красноречие, прямота и, разумеется, отвага. За шесть месяцев кампании он получил три чина. В 1793 году 8-й батальон Нижне-Рейнской армии избрал его своим командиром.

Мюскар и Гюго были созданы для взаимного понима-

ния. Оба крепко верили в принципы 1789 года, были жизнерадостны и распутны, отличались пылкостью и честностью. Как это бывает во всех гражданских войнах, война, которую Конвент предписал им вести в Вандее, была жестокой. Какие приказы они получили? Сжигать одиноко стоящие дома и, главное, замки, уничтожать все сельские пекарни и мельницы, превратить мятежный край в пустыню. Упорный, неуловимый враг, скрывавшийся то в перелесках, то за живыми изгородями, то в канавах, то в оврагах, непрестанно тревожил республиканцев, и они нервничали. И синие и белые расстреливали пленных. Леопольд Гюго, который был всем обязан революции, разделял ее страсти; он даже подписывался *Санкюлот Брут Гюго*, но сердце его оставалось человечным, и „разбойники Шаретта“ скоро узнали, что этот синий не лишен чувства жалости. Быть может, благодаря своей репутации человека великодушного, республиканский офицер Леопольд Гюго и встретил довольно благожелательный прием у бретонки Софи Требюше, в старинной ферме, почти что замке, Ренодьере в кантоне Пти-Оверне, когда он попросил там приютить на час его измученных солдат.

Юная и стройная миниатюрная девушка-бретонка с большими карими глазами, энергичным и даже надменным личиком, с прямой линией носа, как на античных греческих статуях, „могла похвастаться крепким здоровьем, великолепным цветом лица, радовала взгляд своим решительным и задорным видом. В легкой ее поступи, в непринужденных движениях было что-то гармоничное, изящное и вместе с тем сельское.. “. Отец ее, имевший еще двух дочерей, был в Нанте капитаном корабля, торговал неграми, ее дед по матери, господин Ленорман дю Бюиссон, занимал пост прокурора в гражданском и уголовном суде Нантского судебного округа. Семейство Требюше и Ленорманы при монархии были, „как все“, монархистами. Буря революции их разделила. У Софи Требюше одни родственники стали белыми, а другие — синими; ее дед — Ленорман дю Бюиссон — судейский чиновник по своему положению и сутяга по призванию, согласился стать членом Революционного трибунала в Нанте, что не вызывало уважения у его внучки, возмущавшейся крайностями террора.

Софи Требюше, осиротевшую в детстве, воспитала ее тетка, госпожа Робен, вдова нотариуса, — особа решительная, роялистка и вольтерьянка, привившая свои

взгляды и девочке. Госпоже Робен было шестьдесят лет, когда ей, в 1784 году, доверили воспитание племянницы. В 1789 году она благожелательно смотрела на созыв Генеральных штатов, но в 1793 году, напуганная жестокостями, имевшими место в Нанте, и казнями уважаемых ею людей, она решила укрыться вместе с племянницей в маленьком городке Шатобриане, где у них были родственники. Близ него, в самой середине края, охваченного восстанием, находилось поместье Ренодьера, уже два столетия принадлежавшее семейству Требюше.

Как все девушки, выросшие без матери, Софи Требюше обладала характером решительным и независимым, вдобавок она не верила в бога, была добра и великодушна; она смело скакала верхом на лошади в окрестностях Шатобриана по дорогам с высокими откосами; защитой ей служили свидетельство о благонадежности, выданное девице Требюше, несомненно благодаря старику Ленорману, якобинцем Карье, ужасным проконсулом Нанта, и она пользовалась этим талисманом для того, чтобы спасать священников, не присягнувших конституции, или устраивать побеги шуанам.

Ведь она тоже стала „горячей вандейкой, питавшей ужас перед деспотизмом Конвента". По правде сказать, обеим этим женщинам, укрывшимся в Шатобриане, оставалось только выбирать между двумя видами террора — террором якобинских солдат и террором „разбойников", то есть шуанов. Красный террор или белый террор. Поэтому Софи предпочитала маленькому городу, раздираемому ненавистью, свой простой дом на ферме Ренодьере. Ей нравилось ходить в сабо, работать в саду. В Пти-Оверне „мужики" еще называли ее „наша барышня", как в старые времена. Эта независимая амазонка, немало гордившаяся своими родственными связями с окрестным мелким дворянством, стоическая душа, всегда занятая цветами, погруженная в грезы, видевшая себя в смутных мечтах невестой некоего героя, с каждым днем все больше привязывалась к таинственному краю, где она поселилась.

Маленькая армия синих, голодная, измученная, доведенная до отчаяния ненавистью, которая ее окружала, в отместку грабила и убивала мятежников. Бравый Мюскар — прекрасный человек, отнюдь не отличавшийся кровожадностью, говорил со вздохом: „Прискорбно командовать войсками, когда они позорят своих начальников". Тем не менее он проклинал „всех фурий, веролом-

ных негодяев, мегер", которые поддерживали отношения с шуанами и помогали им устраивать засады на патриотов. Софи Требюше принадлежала к этой категории вандейцев и разделяла их злобные чувства, тем более что в Ренодьере синие однажды дали волю „кровавому разгулу и разврату".

И все же, когда в один прекрасный летний день 1796 года она, возвращаясь с верховой прогулки в Шатобриан, встретила на дороге веселого капитана Гюго, который „прочесывал" перелески в поисках „разбойников-шуанов", у нее нашлось достаточно причин быть с ним любезной. Во-первых, молодой офицер не нес ответственности за происходившую резню. Она слышала, что он имеет влияние на Мюскара, и притом влияние благотворное. А главное, подошедший крестьянин только что сообщил „своей барышне": „Синие нагрянули. А тут совсем близко наши священники. Займите остолопов". Она принялась (и очень успешно) кокетничать, тотчас согласилась принять капитана Гюго с его солдатами и увела отряд в Ренодьеру.

Подали фрукты и прохладительные напитки. Начался разговор. Молодой капитан произвел впечатление. Он имел некоторое образование, мог цитировать Тита Ливия и Тацита, декламировать стихи Вольтера, элегии Парни, сам сочинял мадригалы и акростихи „в таком стиле, какой приятен красоткам". Кроме того, он отличался грубоватой, но заразительной жизнерадостностью, всегда готов был и петь и сражаться. Мюскар сочинил в его адрес следующую шутливую эпитафию:

Здесь спит краса и гордость батальона;
От смеха умер он и умирал, смеясь,
За мрачным Стиксом рассмешил Плутона,
И мертвые теперь признали смеха власть.

Завязать добрые отношения с могущественным в краю офицером было на руку барышне Требюше, и она еще раз встретилась с ним. Она с любопытством наблюдала за этим двадцатитрехлетним капитаном с чувственным ртом и ласковыми глазами. А его самого, хоть он и возил за собою в походах, по примеру своих начальников, доступную девицу, „пышногрудую, но скудоумную" Луизу Буэн, именовавшую себя „женою Гюго", хоть он и хвастался, довольно грубо, своими любовными победами, — его привлекала молодая бретонка, обладавшая мужским умом и мужской храбростью. С ее стороны бы-

ло искусным политическим ходом пригласить Гюго и Мюскара к тетушке Робен. Двери большинства домов в Шатобриане были закрыты перед офицерами Республики. Тем более их тронуло радушное приглашение. Мадемуазель Требюше блистала умом и такой свежестью, что казалась прелестной. Вскоре оба офицера называли ее запросто „Софи", а госпожу Робен —„тетушка". Со своей стороны, Софи, испанская душа, заинтересовалась молодым капитаном. Он спасал женщин, заложников, детей. Ей было приятно совершать с ним верховые прогулки по дорогам Бокажа, идущим меж высоких откосов, и в беседах храбро доказывать ему, что война против шуанов несправедлива. Гюго горячо защищал Республику, но восхищался твердым характером очаровательной девушки и гордился тем, что не посягает на ее честь, а она гордилась, что так смело говорит с противником.

Недолго длилась эта странная идиллия. Мюскар поссорился со своим генералом и из 8-го батальона Нижне-Рейнской армии был отозван Директорией в Париж. Санкюлот Брут Гюго грустил, расставаясь с юной бретонкой. Тетушка Робен тоже жалела об этой разлуке. Она была достаточно философски настроена, чтобы принять новые времена, и не стала бы противиться браку своей племянницы с офицером республиканской армии. Но Софи, мнение которой она постаралась выпытать, заявила, что „брак нисколько ее не привлекает". Она уехала в Ренодьеру возделывать свой сад. Однако Гюго и в Париже не забывал „маленькую Софи из Шатобриана" и продолжал писать ей письма, хотя и держал при себе для временного сожительства пышногрудую девицу Луизу Буэн. Гюго писал Мюскару: „Я часто прижимаю ее к сердцу и чувствую, сквозь два прелестных полушария, как нарастает волнение, воодушевляющее мир!.. Задернем занавес..."

Удивительное дело — этим веселым и распутным офицером при всяких неприятностях овладевала какая-то странная мания преследования. Когда Мюскар, командир батальона, получил другое назначение, Гюго надоел штабу жалобами на нового своего начальника, называл его „негодяем, которого следует не только заковать в кандалы, но и предать смерти", „грязной душой", „крокодилом, извергнутым водами Рейна". От недовольного постарались избавиться, назначив его докладчиком дел в военном совете, — должность, дававшая ему право получить квартиру на Гревской площади в помещении ратуши. В

этой официальной резиденции он не имел права поселить свою наложницу. Луиза Буэн немедленно исчезла, проявив и скромность, и внезапно возникшее равнодушие, что было обычным в те времена, и капитан мог на досуге мечтать о Софи Требюше. Она отвечала на его письма с „крайней сдержанностью“ и „целомудрием чувств“, совсем не похожим на „забавное краснобайство и шутливый тон“, характерные для посланий капитана. Но, может быть, сама эта сдержанность и пленяла его. Во всяком случае, он сделал Софи Требюше предложение.

Она была круглой сиротой, была на полтора года старше жениха, нуждалась в поддержке. Однако ее, повидимому, совсем не соблазнял этот брак, — понадобились настояния всех ее друзей в Нанте, чтобы она дала согласие. Она приехала в Париж в сопровождении своего брата; Гюго „ошеломил ее своими любовными восторгами“, и 15 ноября 1797 года их соединили гражданским браком в мэрии IX округа, в квартале Верность. Из брачного контракта явствует, что у капитана Гюго, кроме жалованья, было некоторое недвижимое имущество и доходы, невеста же выходила замуж без приданого, — поместье Ренодьера ей лично не принадлежало. Однако великодушный солдат согласился заключить контракт на основе общности имущества, и хотя жизнь в годы Директории была очень дорога, он никогда на это не жаловался. „Деньги, — говорил он, — это нерв войны, но только войны. А то, что я имею, — для мирной жизни достаточно, я в долги не влезаю и забот не знаю“.

Супруги прожили в Париже два года; Гюго был страстно влюблен в свою умненькую бретоночку, а ей немного надоедали шумные разглагольствования мужа и его вольные шуточки, ей досаждал чрезмерный любовный пыл этого могучего мужчины с бычьей шеей. Но она все терпела, будучи женщиной скрытной, упорной и властной. У нее остались очень плохие воспоминания „о печальном времени, прожитом в древней ратуше, где в дни Революции пострадали и картины, украшавшие стены, и сами стены“. У молодых супругов не было ни белья, ни посуды. Софи тосковала о Ренодьере, о своем саде, о морском воздухе родной Бретани. Лучшим их другом стал секретарь трибунала Пьер Фуше, сын нантского сапожника, старый знакомый семейства Требюше, ровесник капитана Гюго, весьма, однако, отличавшийся от него темпераментом, человек осторожный, целомудренный, заядлый домосед. Воспитание, которое Фуше получил у

своего дяди — каноника, более пригодно было для ораторианца[1], чем для солдата. Разделяло друзей только одно: политика. Докладчик дел был республиканец, а секретарь трибунала — роялист, но оба в спорах не питали ненависти друг к другу.

Через несколько дней после женитьбы Гюго секретарь трибунала сочетался браком с Анной-Виктуар Асселин и попросил капитана Гюго быть свидетелем в мэрии. На свадебном обеде Леопольд Гюго наполнил свой бокал и воскликнул: „Пусть у вас родится девочка, а у меня мальчик, и мы их поженим. Пью за здоровье будущей семьи“.

В Париже времен Директории, когда и в модах и в шутках царила нескромность, супруги Гюго посещали места увеселения. Софи носила воздушные одеяния, которые, как говорил ее муж с отвлеченной непристойностью языка того времени, „дозволяли пытливому взору любоваться самыми сокровенными прелестями красавиц“. В „Идалийском саду“, на углу улицы Шайои Елисейских полей, где показывали весьма смелые живые картины, как, например, „Соединение Марса и Венеры за прозрачной завесой облаков“, они встретили полковника Лагори, друга детства Софи Требюше. Виктор-Фанно Лагори был уроженцем Майенны. Присоединившись к Революции, он сохранил аристократические манеры, приобретенные в коллеже Людовика Великого, где тогда преподавали монахи-иезуиты. Он носил прекрасно сшитый синий фрак, синие короткие панталоны без выпушки, „черную треуголку с крошечной кокардой“ и белые перчатки. Короче говоря, в одежде его было строгое, классическое изящество. Встреча с ним доставила Софи Гюго явное удовольствие; несомненно благородная сдержанность Лагори особенно выигрывала по контрасту с шумной развязностью майора Гюго. Во времена распущенности нравов молодой полковник со сверкающими, как алмаз, глазами жил без любовницы. Этот стоик и мечтатель охотно читал по-латыни поэтов Древнего Рима, любил и французскую поэзию. „У него был незаурядный, богато оснащенный ум, и он умел его показать“. Душа требовательная, гордая и достойная любви. Полковник Лагори привязался к семейству Гюго, и они, в свою очередь, платили ему дружбой: муж радовался, что нашел в его лице покровителя, близкого друга

[1] Ораторианцы — члены духовной конгрегации, от которых не требовалось соблюдения монашеских обетов. Оттуда вышли ряд ученых-богословов.

генерала Моро, которого Директория послала с важной миссией в Италийскую армию; жена была довольна, что у нее появился наперсник, умеющий хранить доверенные ему тайны, такой же скрытный, как и она сама.

В 1798 году у супругов Гюго родился сын Абель, а в следующем году майор отправился в армию, так как 20-я полубригада, в которую он получил назначение, должна была войти в Рейнскую армию, горделиво именовавшуюся Дунайской. Он перевез жену в Нанси. Адрес ее был тогда такой: „*Нанси, в старом городе, улица Маршалов, гражданке Гюго, проживающей у своей свекрови*“. Унылая улица, угрюмый дом. Желтоватый мрачный фасад, темный внутренний двор. Бретонка, привыкшая к вольному воздуху, задыхалась там. Ей не пришлись по душе свекровь и, главное, золовка. Маргарета, которую называли уменьшительным именем Готон, в замужестве — Мартен-Шопин. Эта особа решила командовать невесткой. Софи хотела сама кормить грудью ребенка, купать его, прогуливать, но в семействе Гюго предпочитали кормить младенца из рожка, а вместо купания — обтирать его уголком мокрого полотенца. Как и многих героев, Леопольда Гюго угнетали ссоры, происходившие между его матерью и женой, он старался каждую признать правой и обеим угодить.

Красавца полковника Лагори, встреченного в „Идалийском саду“, перевели в Нанси. Он не забыл Софи, женщину серьезную, любезную его сердцу, и у него вошло в привычку заходить побеседовать с ней. Тем, занимательных для них обоих, было достаточно: строгие суждения о терроре, надежды на мир и подлинную свободу, восхваления генерала Моро, к которому Лагори был очень привязан, меланхолические воспоминания детства, тоска о Бретани и Нормандии. Встречи благоприятствовали зарождению тайной любви, вначале бессознательной и невинной. В декабре 1799 года Моро был назначен командующим Рейнской армией. Лагори стал начальником штаба, и, по установившейся с незапамятных времен традиции всех армий, майор Гюго, жена которого нравилась молодому генералу, получил все, что хотел, и сам был прикомандирован к Моро.

Жену он сначала оставил в Нанси. Ее больше чем когда-либо пугала жадная чувственная страсть мужа, ибо Софи снова ждала ребенка, а втайне была влюблена в Лагори. Она умоляла мужа дать ей отдых от супружества, и в письмах, которые майор Гюго, сам сочинявший

послания в духе Сен-Пре, считал ледяными, она просила, чтобы ей дозволено было рожать в Бретани. *Майор Гюго — госпоже Гюго*: „Я не удивляюсь, что тебе радостно уехать из Нанси и вновь увидеть дорогих своих родственников, но радость свою ты выражаешь так восторженно, что у меня сжимается сердце...“ Софи хотелось увезти с собою в Ренодьеру маленького Абеля. „Мне было бы очень неприятно, — писала она, — оставить его в краю, с которым я прощаюсь навсегда... Возвратившись на родину, я оттуда никуда больше не двинусь; ты всегда будешь волен увидеться там со мною и с детьми, когда пожелаешь приехать и пожить с нами...“

Эта враждебная позиция приводила молодого супруга в отчаяние: „Софи, ужели это ты начертала такие обидные слова?..“ Он заговорил даже о самоубийстве; конечно, то была литература: „Я уже собрался... но остановился... не из страха...“ Он не позволил жене уехать и написал ей из Аугсбурга, что скоро приедет в Нанси навестить ее: „Я уже представляю себе, как я держу на одном колене тебя, а на другом — Абеля и как мне сладостно будет целовать тебя, когда ты уже носишь под сердцем новую надежду нашу...“ Эти картины семейного и весьма плотского счастья нисколько не пленяли Софи. Напрасно майор живописал то счастливое мгновение, когда он окажется возле нее и сожмет ее в своих объятиях. Как раз этого она и боялась. Однако после рождения ребенка (16 сентября 1800 г. она в Нанси произвела на свет второго сына — Эжена) она вынуждена была переехать к мужу в Люневиль, куда он был назначен губернатором. В Люневиле она вновь встретила Лагори, который был в большой милости при дворе и получил от Жозефа Бонапарта поручение вести переговоры о мире. Лагори показал себя при этом тонким дипломатом. Своим изяществом и отточенной речью он резко выделялся среди окружавших его вульгарных людей. „У него манеры роялиста“, — говорил Сегюр. Что касается губернатора Гюго, он заказал себе красивые мундиры и весьма гордился успехом своей жены, умную головку которой хвалил сам Жозеф Бонапарт. Своему старому товарищу Мюскару, назначенному губернатором Остенде, Гюго написал восторженное письмо о „своей прелестной Софи“ и „достойном всяческого уважения Лагори“. Классическая ситуация.

В штабе Рейнской армии Гюго стал одним из приближенных генерала Моро. Злополучная близость, ибо в

1800 году Моро разыгрывал роль соперника Бонапарта, и все преданные ему люди возбуждали подозрение у нового властителя. Несмотря на горячие рекомендации Жозефа Бонапарта, Гюго не получил в Люневиле повышения в чине. Друзья, заботившиеся о его будущем, добились, чтобы его назначили командиром батальона 20-й полубригады. „Это назначение, — сказал он, — является для меня источником новых горестей и отвращения...“ Ведь командиром 20-й полубригады состоял офицер, с которым Гюго был в ссоре.

В 1801 году, во время путешествия из Люневиля в Безансон, благодаря прогулке в горы был зачат третий ребенок супругов Гюго (как сказал ему однажды отец) — на горе Донон, самой высокой вершине Вогезов, среди облаков, что доказывает, насколько властным и внезапным оставался любовный пламень майора. Этот третий сын родился в Безансоне 26 февраля 1802 года в старинном доме XVII века. Родители пригласили в крестные отцы генерала Виктора Лагори, а в крестные матери — Мари Дезирье, супругу Жака Делеле, бригадного генерала, коменданта крепости Безансон, — поэтому и ребенка назвали *Виктор-Мари.* Фактически крещения, как такового, не было — восприемникам надо было только подписаться в качестве свидетелей в книге актов гражданского состояния. Лагори к тому времени уже возвратился в Париж, и представителем его был генерал Делеле.

Ребенок казался очень хилым, и акушер не надеялся, что он будет жив, спасли его только упорные заботы матери.

Гюго — Мюскару: „У меня трое детей, дорогой Мюскар, — три сына. Мое поприще должно быть и поприщем моих мальчиков. Пусть они идут по стопам отца, я буду доволен. Пусть сделают больше, чем мне удается сделать, я благословлю день их рождения, как благословляю обожаемую мою супругу, подарившую их мне... Сюда приехал мой брат. Он красивый малый пяти футов шести дюймов роста, всю войну прослужил гренадером в армии Самбры и Мезы. Я добился, чтоб его произвели в сублейтенанты. Есть у меня еще один брат... Для меня весьма затруднительно пристроить его, а между тем он прекрасный малый. Получил неплохое образование и даже написал трагедию, не лишенную достоинств... Он решил записаться добровольцем в армию“.

Славные люди эти братья Гюго — все солдаты и поэ-

ты. Но Леопольду пошла не на пользу его солдатская прямота. В 20-й полубригаде он, по своему обыкновению, вступил в неравную борьбу со своим непосредственным начальником, полковником Гюстаром. У Гюстара счетоводство находилось в весьма запутанном состоянии. Гюго, не стесняясь, порицал его и был за это обвинен в подстрекательстве господ офицеров к бунту. Плохо дело! В высоких сферах друг генерала Моро не мог рассчитывать на какую-нибудь поддержку. Полковник Гюстар пожаловался на сварливый и буйный характер этого толстого майора, который носит в Рейнской армии синий фрак „спартанцев". *Гюго — Мюскару:* „Он осмелился сказать, что я не был в сражениях. Разбойник судил по самому себе..." Министерство охарактеризовало Леопольда Гюго как интригана. А первый консул терпеть не мог бунтовщиков. Через полтора месяца после рождения третьего своего сына „толстый майор" получил приказ выехать в Марсель и принять там командование батальоном, который предполагали направить в Сан-Доминго.

Убежденный, что его преследуют, что над ним нависла серьезная опасность, Леопольд Гюго совершил безумство — послал свою молодую жену в Париж, поручив ей умолить Жозефа Бонапарта, генерала Кларка и Лагори, чтобы они изменили назначение и тем самым вырвали его из рук врагов. Софи, хоть ей и грустно было расставаться с тремя своими малышами, согласилась поехать; она всегда любила трудные поручения. Но обращаться к Лагори было, конечно, шагом неосторожным, и последствия его легко было предвидеть.

Генерал Лагори носил теперь пышные бакенбарды и причесывал волосы а-ля Титус. Объясняя своему другу Софи Гюго положение дел, он нарисовал картину далеко не утешительную. Лагори долго служил посредником между своим покровителем, генералом Моро, человеком нерешительным, и первым консулом, который не доверял бывшему командующему Рейнской армией, но еще щадил его. Бонапарт мог бы привлечь к себе Лагори, назначив его куда-нибудь послом. Он этого не сделал. Лагори повернул в другую сторону и сблизился с Моро, хотя и знал, что Моро человек слабовольный. Первый консул отказался назначить Лагори командиром дивизии. Это означало — отставка в тридцать семь лет и несомненная опала. Лагори страдал, лицо у него пожелтело, блестящие глаза глубоко запали. Софи, воинственная по натуре, настаивала, чтобы он вступил в борьбу с первым кон-

сулом. Вокруг Моро увивались эмиссары Кадудаля и графа д'Артура. Вандейка посоветовала прибегнуть к такому союзу — хотя бы для того, чтобы убрать Бонапарта. Совет неосторожный, но у Софи был напористый нрав и пылкое сердце.

Тем временем в Марселе маленький Виктор, прежде времени отнятый от груди, был доверен Клодине, жене отцовского денщика. Майор Гюго, возведенный в чин отца-кормильца, опекал трех своих сыновей, воспитывал их, как мог, и все заверял Софи в своей супружеской любви: „Я велел им поцеловать твое письмо и дал им от имени обожаемой мамы конфет... Хоть я и молод, а в этом городе царят соблазны, не бойся ничего... Ты увидишь меня достойным твоих целомудренных поцелуев..." Доверчивый супруг, терзаясь долгим отсутствием жены, старался успокоить себя. „Ни одна женщина не любит мужа сильнее, чем ты, я был бы очень несчастен, если бы тут ошибался..." Самый склад фразы доказывает, что у него имелись некоторые сомнения на этот счет. I января 1803 года он пишет своей Софи о детях: „Сегодня Абель пришел ко мне с поздравлением, а толстяк Эжен, стоя за ним, повторял его слова. Оба были такие забавные!.. Если ты предвидишь, что старания твои бесполезны, сократи время моего вдовства, возвращайся, чтоб утешить меня. Раз уж нельзя отвратить беду, я буду менее несчастным, если буду царить над тобой..."

В июне 1803 года Виктор, которому было тогда шестнадцать месяцев, потребовал, по словам майора, свою „мам-ма". А на самом-то деле он совсем ее не знал. Госпожа Гюго была тогда в замке Сен-Жюст, близ Вернона, в обществе Лагори, попавшего в немилость. „Клуб Моро" продолжал открыто поносить Бонапарта, и тот покарал смельчаков. Несмотря на ходатайства Софи перед Жозефом Бонапартом, майора Гюго послали на Корсику. С тремя маленькими детьми он отплыл на корабле в Бастию, старинный город с высокими, угрюмыми домами. „Возвратись, моя дорогая Софи, в объятия твоего верного Гюго... — писал он жене. — Будь спокойна за мою верность. Помимо того, что здесь опасно ухаживать за женщинами, ибо, кроме возможности подхватить какую-нибудь болезнь, следует еще остерегаться ударов стилета, в душе моей не угасает воспоминание о тебе, не меркнет твой дорогой образ, и я не могу причинить тебе огорчение, зная, что кара, грозящая мне, станет для меня смертельной мукой..." Кара, однако, предшествовала про-

ступку; госпожа Гюго едва отвечала на письма, а покинутый отец должен был заботиться о малыше, у которого прорезывались зубы. „Он напоминал легендарного воина, — говорил Сент-Бев, — великана, который собрал в свой шлем трех пухленьких малюток с ангельскими личиками и без труда несет их в походе от привала к привалу, проявляя о них материнскую заботу“.

Абель ходил в школу; Эжен, толстяк с румяными щечками и белокурыми кудряшками, был любимцем всех дам; Виктор оставался хилым и грустным ребенком. У него была огромная голова, слишком большая для его худенького тельца, и от этого он казался уродливым карликом. „Часто бывало, что он забивался в какой-нибудь уголок и молча проливал слезы, никто не знал почему...“ Отец доверил его женщине, которая должна была водить его гулять.; с первых же дней мальчик невзлюбил ее. Он сердился, что она не умеет говорить по-французски, он называл ее „cattiva“ — злая. Можно представить себе, что творилось в сердце этого ребенка, оставленного матерью, этого чахлого малютки, совсем не похожего на двух старших братьев-крепышей. Так закладывалась основа мрачного характера, которая порой проглядывала сквозь необыкновенную жизненность Виктора Гюго.

В 1803 году батальон перевели на остров Эльбу, и только там, в Порто-Ферраджо, госпожа Гюго соединилась наконец со своей семьей. Муж настойчиво звал ее: „Все удивляются, что ты не приезжаешь и что дети оставлены на меня. Уже начались всякие толки...“ Софи хорошо знала, зачем она едет, — увезти в Париж троих своих сыновей, которых она обожала, и встретиться там с Лагори. Она рассчитывала добиться согласия майора, полагая, что, при его пылкости, хорошо ей известной, он, должно быть, уже завел любовную интригу и захочет получить свободу. И действительно, как только госпожа Гюго приехала, добрые души оповестили ее, что майор сошелся на острове с девицей Катрин Тома, отец которой служил экономом в госпитале, но был уволен за растрату. Хоть Софи и сама была виновата перед мужем, она проявила негодование, отвергла любовные домогательства Гюго и уехала обратно в ноябре 1803 года. В Порто-Ферраджо она прожила меньше четырех месяцев.

В дальнейшем она заявляла, что муж совсем не уговаривал ее остаться, что он желал получить свободу, чтобы сожительствовать с любовницей. Несомненно, майор Гюго был слаб перед плотскими соблазнами. И все же он

предпочел бы любовницам свою жену, если б она сделала терпимой совместную жизнь. Но конфликт между женой и мужем исходил из разницы в темпераменте. *Майор Гюго — жене, 8 марта 1804 года:* „Прощай, Софи. Помни, что меня точит червь: желание обладать тобой; помни, что в моем возрасте страсти отличаются особой горячностью и что хоть я и ропщу на тебя, а чувствую потребность прижать тебя к своему сердцу...“ Если б жена вернулась раньше, утверждал майор, он никогда бы ей не изменил: „Да, я хочу принадлежать тебе одной, но, чтобы принадлежать тебе одной, нужно, чтобы я никогда не испытывал холодности с твоей стороны и ты никогда бы не отталкивала меня. А иначе лучше уж жить раздельно...“ Это еще не был полный разрыв. Леопольд Гюго любил своих сыновей, он признавал свои ошибки, но ответственность за них возлагал на жену:

„Можно ведь в моем возрасте и с моим, к несчастью, пылким темпераментом иной раз и забыться, но в этом всегда виновата была ты сама... Я еще слишком молод, чтобы жить в одиночестве, слишком крепок здоровьем, чтобы меня не влекло к женщинам; я люблю, скажу больше, я буду все еще *обожать* свою *жену*, если моя жена пожелает признать, что мне необходима ее любовь и ее ласки. Но я могу быть благоразумным только близ своей жены; итак, дорогая Софи, я думаю, что гораздо лучше было бы для меня произвести с тобою на свет еще одного ребенка, чем бросить тебя ради другой женщины, и знать, что дети мои растут вдали от любящего взора отца. Я чувствую в себе достаточно душевных сил, чтобы составить счастье той, которая пожелает судить обо мне без предубеждения; в смысле телесном (скажу по секрету только тебе одной) я никогда еще не чувствовал себя так хорошо, как сейчас; в смысле образования я много приобрел за время твоего отсутствия...“

Обезоруживающая откровенность, которая могла бы тронуть, но Софи любила другого. На обратном пути в Париж, очень долгом и трудном, она радовалась, что покажет Лагори троих своих сыновей: крепыша Абеля, белокурого кудрявого Эжена и нежного, чувствительного малыша Виктора. Когда экипаж остановился на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, у конторы почтовых карет, она была удивлена, что не видит Лагори, которого она известила о своем возвращении. Она побежала в резиденцию генерала. На двери были наклеены два объявления. В них сообщалось, что разбойники-роялисты покушались

убить первого консула; народ Парижа призывали доносить на их сообщников и содействовать их аресту. Далее приводился список заподозренных лиц. Среди них Софи прочла: *Виктор-Клод-Александр Фанно Лагори.*

Она была потрясена, но не удивлена. Что Моро участвовал в заговоре против Бонапарта, что он называл конкордат „поповщиной“ и отказался от ордена Почетного легиона, что он окружил себя иностранцами, эмигрантами и идеологами роялизма, что его теща и жена явно ему содействовали — все это Софи знала еще до своего отъезда. Что Лагори настраивал Моро против первого консула и, хоть считал себя республиканцем, готов был под влиянием Софи посоветовать Моро заключить временный союз с роялистами — это она тоже прекрасно знала. Моро, который был в прошлом якобинцем и все еще сохранял якобинский душок, долго держался в стороне. К тому же он стал теперь владельцем замка Гробуа, растолстел, был сластолюбцем и принадлежал к породе тех полководцев, кто способен привести свои войска к берегам Рубикона, но вместо того, чтобы перейти его, устроить там пиршество.

Лагори был единственным энергичным человеком в его окружении. Поэтому полиция первого консула тотчас решила арестовать его, придавая этому особую важность. Префектам были сообщены его приметы: „Рост — пять футов, два дюйма; волосы — черные, зачесаны на лоб; брови черные; глаза черные, довольно большие, глубоко сидящие; „желтоватые круги под глазами; лицо попорчено оспой; смех язвительный...“ Была еще одна характерная примета — несколько искривленные от верховой езды ноги. Полиция искала его повсюду — в Майенне, затем в замке Сен-Жюст и, наконец, в Париже, у его друга, в доме № 19 на улице Клиши. Нигде его не нашли. А он укрывался на другой стороне улицы, в доме № 24, у госпожи Гюго, которая за несколько дней до того поселилась там со своими сыновьями. Впрочем, он оставался у нее только четыре дня и, не желая подвергать свою подругу опасности, вновь повел скитальческую жизнь изгнанника. Наполеон Бонапарт будто бы по природному милосердию и соображениям практическим выразил желание, чтобы молодой генерал эмигрировал в Соединенные Штаты и постарался бы, чтобы о нем позабыли, но Лагори остался во Франции и время от времени появлялся переодетым на улице Клиши, где его всегда принимали с нежностью.

II

Мне снятся войны...

Самые ранние воспоминания Виктора Гюго связаны с домом на улице Клиши. Он помнил, что „в этом доме был двор, а во дворе — колодец, около него каменная колода для водопоя и над нею раскинулась ива; помнил, что мать посылала его в школу на улицу Мон-Бланк; что о нем больше заботились, чем о двух старших братьях; что по утрам его водили в комнату мадемуазель Розы, дочери школьного учителя; что мадемуазель Роза, еще лежавшая в постели, усаживала его возле себя, и, когда она вставала, он смотрел, как она надевает чулки..." Первое пробуждение чувственности оставляет у ребенка глубокие следы и запоминается ему на всю жизнь. Как бы то ни было, в стихах Гюго мы часто встречаем идиллические картины „разувания", женские стройные ноги в белых или черных чулках и маленькие босые ступни.

Леопольда Гюго послали в Италию. Жозеф Бонапарт, мягкий человек, литератор, превратившийся против своей воли, но по воле знаменитого брата в полководца, получил приказ завоевать Неаполитанское королевство. Он знал майора Гюго, служившего под его началом в Люневиле, и благоволил к нему. В Париже министерство долго противилось какому бы то ни было продвижению офицера, скомпрометированного дружбой с Моро и Лагори. О муже, который жил где-то далеко и почти что в разводе с нею, Софи Гюго вспоминала лишь для того, чтобы попросить у него денег. Он с ворчаньем посылал ей половину своего жалованья, а когда его субсидии становились нерегулярными, Лагори, еще имевший тайные резервы, брал на себя заботу о семье.

Наконец Леопольду Гюго выпал случай отличиться. Захват Неаполя вызвал в горах Калабрии восстание bravi — полупатриотов-полуразбойников. Самый смелый из их вожаков, Микель Нецца, по прозвищу *Фра-Диаволо*, скорее партизан, чем бандит, боролся с оккупантами и был после кровавой стычки взят майором в плен. Это создало Леопольду Гюго „огромную славу" и дало основание Жозефу Бонапарту назначить его губернатором провинции Авеллино, а также произвести его в полковники.

А положение Лагори в это время (1807 г.) ухудшилось. Его денежные средства истощились. Ощущение за-

травленности придавало его лицу напряженное выражение, челюсти его, „как у больного столбняком“, все время непроизвольно двигались. Всегда находясь в лихорадочном возбуждении, в тревоге, он жалел о тех днях, когда солдаты Свободы весело входили в баварские и тирольские города, и проклинал „тирана“, которым был теперь уже не Людовик XVI, а император Наполеон. Когда Софи Гюго увидела, что ее другу нельзя больше появляться в Париже, где его подстерегает Фуше, что у нее скоро не будет денег для пропитания детей, она написала мужу, что готова послушаться его увещеваний и вернуться к нему. Однако он уже не хотел этого. „Я вовсе и не думаю требовать, чтобы ты приехала... Ты сама виновата, что у меня пропало желание жить совместно с тобой, тем более что я не имею прочного положения...“ Нужда пишет свои законы. Софи не посчиталась с таким заявлением и в октябре 1807 года, не предупредив мужа, отправилась к нему в Италию.

Маленькому Виктору было тогда только пять лет, но он был очень впечатлительный и наблюдательный мальчик. Ему на всю жизнь запомнилось, как он ехал через всю Францию в дилижансе; запомнилась гора Сени и то, как хрустели льдинки под полозьями саней, как подстрелили орла, как останавливались на привал, чтобы поесть, а главное, запомнились ему висевшие на деревьях человеческие обрубки, еще красные от крови; вместе с братьями он смотрел на них в окошко кареты, на которое налепил от скуки крестики из соломинок. Ужас, который внушали ему смертная казнь, пытки и виселицы, антитеза — виселица и крест, — все эти мысли, преследовавшие его до самой смерти, первые свои корни пустили в его душе еще в детстве, пищу им дали сильные впечатления ребенка.

Госпожу Гюго, любившую бретонские сады больше, чем пышные цветы юга, занимали только поиски пристанища, но дети были очарованы Неаполем, „сверкающим на солнце в белом своем одеянии с голубой бахромой...“ А с какой гордостью они увидели в конце своего путешествия отца, встретившего их в полковничьем парадном мундире, да почувствовали, что они сыновья губернатора и принадлежат к стану победителей:

Средь народов покорных я был без охраны,
Удивляясь вниманью и робости странной —
Неужели ребенок внушил им испуг?..

Имя Франции я называл, и нежданно
Чужеземцы бледнели вокруг[1].

По правде сказать, полковника Гюго, проживавшего в губернаторской резиденции совместно с девицей Тома, ошеломил нежданный приезд жены. но он был славный человек, он любил своих сыновей. Семью он устроил в Неаполе и на несколько дней открыл ей двери своего дома в Авеллино, предварительно выпроводив оттуда Катрин Тома.

Каждый ребенок живет в волшебной сказке, но сказка первых лет жизни Виктора Гюго кажется особенно волшебной. Три мальчика, три брата, живут в Италии в старинном дворце, мраморные стены которого испещрены трещинами, неподалеку глубокий овраг, и в нем густая тень от орешника. В школу ходить не надо, — полная свобода, атмосфера летних каникул (прелесть ее Гюго любил всю жизнь), всемогущий отец; дети почти и не видели его, но время от времени он появляется и для забавы своих сыновей готов скакать верхом на своей длинной сабле в ножнах, а во дворе его всегда почтительно ждут всадники в блестящих касках; отец, которого любит брат императора, король неаполитанский; отец, который приказал занести в списки своего полка маленького Виктора, и с этого дня малыш считал себя солдатом. Дети с восторгом запускали руки в густую бахрому золотых отцовских эполет. В письмах полковник с любовью говорил о своих сыновьях: „Виктор, самый младший, выказывает большие способности к ученью. Он такой же положительный, как старший брат, и очень вдумчивый. Говорит он мало и всегда уместно. Меня не раз просто поражали его рассуждения. Личико у него очень кроткое. Все трое — славные ребятишки, они очень дружны между собой, двое старших чрезвычайно любят младшего. Так жаль, что их не будет со мной. Но здесь нет возможности дать им образование, придется всем троим ехать в Париж".

Но не в том была истинная причина. Между полковником и его женой не произошло примирения. Девица Тома и Виктор Лагори слишком хорошо были видны на горизонте. Любовница требовала, чтобы супруга уехала; супруга отказывалась играть роль любовницы. Дети угадывали, что в семье идет какая-то таинственная борьба, но весьма смутно понимали из-за чего. Они гордились

[1] Гюго В. Мое детство („Оды и баллады").

отцом и сознавали, что он чем-то обидел обожаемую ими мать. Все трое с грустью простились с мраморными дворцами. В Италии они вновь встретились с обоими детьми Пьера Фуше, приятеля их отца. Секретарь трибунала выхлопотал себе временное назначение инспектором по поставкам провианта для Италии. В Париже к этому времени число судебных процессов сократилось, уменьшились и доходы судейских канцелярий, и Пьер Фуше мечтал о военных поставках, на которых люди наживали тогда состояния. Маленькому Виктору Фуше было в ту пору пять лет, его сестре Адели — четыре года. Это была рассеянная и мечтательная малютка, „с челом, позлащенным лучами солнца, со смуглыми плечиками". Три мальчика Гюго приняли ее в свою компанию, вместе играли в шары, которых заменяли апельсины. Но госпожа Фуше, равнодушная к ярким краскам Неаполя, сожалела об улице Шерш-Миди и тенистом саде при Тулузском подворье. Семейство Фуше уехало из Италии почти в то же время, как и госпожа Гюго со своими сыновьями. Мальчикам все равно не пришлось бы долго оставаться в Неаполе, так как Леопольд Гюго вскоре после их отъезда был вызван в Мадрид Жозефом Бонапартом, возведенным в сан „короля Испании и обеих Индий". Император перемещал монархов, как перемещают полковников. Леопольд Гюго отказался от всяких попыток вернуть себе свою жену, но не отрекся от забот о своих детях. „Совесть у тебя спокойна. И мне тоже не в чем упрекнуть себя, но чтобы оправдать одного из нас, нужно было бы возложить всю вину на другого. Предоставим времени затушевать воспоминания о сложившихся роковых обстоятельствах. Воспитывай детей в должном уважении к нам обоим, дай им надлежащее образование, старайся, чтобы они способны были когда-нибудь приносить пользу. Отдадим им всю свою привязанность, ибо мы-то уже убедились, как нам вместе трудно ужиться..." В этом письме есть и чувство достоинства, и некоторая доброта. Рубака с длинной саблей был человеком душевным.

Париж, февраль 1809 года. Госпожа Гюго, которая могла теперь рассчитывать на три, а вскоре и на четыре тысячи франков содержания, высылаемого ей мужем, наняла в доме № 12 на улице Фельянтинок просторную квартиру в первом этаже здания старинного монастыря, основанного Анной Австрийской. Гостиная, почти что дворцовый покой, „полная света и пения птиц", имела величественный вид. Над стенами ограды возвышался

Валь-де-Грас с изящным своим куполом, „похожим на тиару, завершавшуюся карбункулом“. При доме был огромный сад — „парк, лес, поляны... аллея, обсаженная старыми каштанами, где можно было повесить качели, высохший водосборный колодец, весьма пригодный для игры в войну. Множество цветов... девственный лес в воображении ребенка“. Здесь мальчики на каждом шагу делали открытия. „Знаешь, что я нашел? — Ты ничего не видел? Вон там, вон там!“ Радость усиливалась, когда в воскресенье приходил из лицея Абель и братья показывали ему этот рай. „Я вспоминаю себя ребенком, смеющимся румяным школьником, когда я играл, бегал, смеялся со своими братьями в длинной аллее тенистого сада, где протекли первые годы моей жизни, в старой усадьбе монахинь, над которой возвышался свинцовой своей главой купол Валь-де-Грас...“[1]

Мои учителя... В кудрявом детстве, помню,
Их было трое: мать, священник, сад укромный.

Тенистый старый сад! За каменной стеной
Он тихо прятался, таинственный, густой;
Лучистые цветы глядели там в глаза мне,
Букашки и жучки там бегали по камню;
Сад, полный отзвуков... Там был лужок и лог,
А дальше словно лес! Священник-старичок
Был в Грецию влюблен, в священный град Приама
И в Тацита... А мать была... ну, просто мама![2]

Этот „старик священник“, отец Ларивьер (точнее *де ла Ривьер*), был монах-расстрига, женившийся в годы Революции на своей служанке, так как предпочитал лучше „расстаться с обетом безбрачия, чем со своей головой“. Он содержал с женой маленькую школу на улице Сен-Жак. Когда он хотел было посадить Виктора Гюго за букварь, то заметил, что малыш уже умеет читать — сам научился. Но отец Ларивьер, „вскормленный Тацитом и Гомером“, мог преподать своему ученику латынь и греческий язык. Мальчик переводил с ним „Epitome“, „De viris“[3], Квинта Курция, Вергилия. Грамматические формы латыни внушали ему какое-то уважение. Он безотчетно полюбил этот сжатый и сильный язык.

---

[1] Гюго В. Последний день приговоренного к смерти.— Собр. соч., т. 1, с. 195.

[2] Гюго В. В саду на улице Фельянтинок в 1813 („Лучи и тени“). Пер. Н. Вольпиной.— Собр. соч., М., 1953—1956, т. 1, с. 538.

[3] „Epitome“ — „Сокращенное изложение“ (лат.) — сочинение Помпия Трога. „De viris“ — „О мужах“ (лат.) — сочинение Ломона.

И все же подлинным учителем для него был сад. Именно там Виктор Гюго научился вглядываться в прекрасную и грозную природу. Там он любовался ромашками, „золотыми шарами", барвинком, там он видел также, как грызуны пожирают птиц, птицы пожирают насекомых, а насекомые пожирают друг друга. Он сам предавался жестокой забаве — ловил шмелей в цветах штокрозы, „внезапно пальцами сжав лепестки...". Рано развивалась мысль ребенка, и он задумывался, замечая эту всеобщую бойню. Все три брата были любознательные и беспокойные натуры, одинаково открытые и восторгу и смятению. „И самое прекрасное, что находили они в саду, как раз было то, чего в нем на самом деле не было...» Они унаследовали от отца богатое, порой необузданное воображение, у пересохшего колодца они подстерегали Глухого — выдуманное ими чудовище, черное, мохнатое, липкое, покрытое волдырями. Они никогда не видели этого Глухого и знали, что никогда его не увидят, но им нравилось пугать друг друга. Виктор говорил Эжену: „Пойдем к Глухому".

Все жуткое и таинственное привлекало их. Слова *Черный лес* пробуждали в душе маленького Виктора „образ, вполне совпадающий с таким названием, как это свойственно детям... Я представлял себе какой-то волшебный, непроходимый, страшный лес, сумрак среди высоких деревьев, глубокие овраги, затянутые туманом..." Над его кроватью висела черно-белая гравюра, где изображена была древняя, развалившаяся башня на берегу Потока — мрачные, полные ужаса руины. Эта картина, запечатлевшаяся в мозгу ребенка, несомненно способствовала развитию у него склонности к резким контрастам, к игре света и тени. Башня была не что иное, как Mäuseturm[1], а Поток — рекой Рейном.

В усадьбе фельянтинок „сохранились на каменных стенах ограды, среди замшелых планок трельяжей следы переносных алтарей, ниши, в которых когда-то стояли статуи мадонн, обломки распятий, а кое-где и надпись: „*Национальное имущество...*" В глубине сада была старая развалившаяся часовня, которой завладели цветы и птицы. Некоторое время госпожа Гюго запрещала сыновьям подходить к часовне. Она прятала там Лагори, которого искала императорская полиция, как участника заго-

[1] Мышиная башня (нем.). С этой башней связано множество средневековых легенд.

вора Моро. Давать ему убежище — значило рисковать своей головой. Храбрая бретонка, выросшая среди заговоров, пренебрегла опасностью. Как-то дети обнаружили в часовне господина де Курлянде (вымышленная фамилия), он стал приходить в дом и ел вместе со всеми. Мальчики когда-то видели его мельком на улице Клиши, но с тех пор он очень изменился. Теперь перед ними предстал человек среднего роста, с блестящими глазами, с изможденным лицом, слегка рябоватый, черноволосый, с черными бакенбардами, человек почтенного вида, сразу же внушивший им уважение. В часовне для него за алтарем была поставлена походная кровать, в углу лежали его пистолеты и томик Тацита in octavo[1], которого он заставлял своего крестника переводить. Однажды он посадил Виктора себе на колени, раскрыл этот томик, переплетенный в пергамент, и прочел вслух: „Urbem Roman a principio reges habuere“[2]. Прервав себя, он сказал: „Если бы Рим не свергал своих властителей, он не был бы Римом“. И, нежно глядя на мальчика, он добавил: „Дитя, свобода превыше всего“. Изведав бремя тирании, он теперь преклонялся перед свободой, это стало для него религией. Мальчики привязались к „господину Курлянде“, которым восторгалась их мать. Они смутно понимали, что император преследует его, и были на стороне преследуемых, против властителей.

По воскресеньям в монастырь фельянтинок, кроме Абеля, приходили два других товарища в играх — Виктор и Адель Фуше. Мальчики еще были в том возрасте, когда они презирают „девчонок“. Виктор Гюго, повесивший под каштанами качели, милостиво позволял маленькой Адели „покататься“, она усаживалась на них с гордостью, но с трепетом сердечным и просила, чтобы ее „не заносили“ „так высоко, как в прошлый раз“. А то бывало, что мальчики предлагали Адели сесть в старую колченогую тачку, завязывали ей глаза, мчали ее по аллеям, а Адель должна была угадывать, где она находится. Если она плутовала, платок стягивали „крепко, крепко — до синяков“ и строгие голоса спрашивали у нее: „Куда ты приехала, отвечай“. А когда мальчикам надоедало играть с ней, они вытаскивали в огороде подпорки для гороха, обращали их в пики и устраивали сражения. Виктор, самый маленький, старался превзойти всех.

---

[1] В восьмую часть листа (лат.).
[2] Городом Римом вначале владели цари (лат.).

Лагори прожил на улице Фельянтинок полтора года, никто его не видел, не слышал, не знал о нем. Выражение лица у него опять стало спокойным. Он ждал, что наступит время милосердия и свободы. Он думал, что накануне брака с эрцгерцогиней Луизой император почувствует себя достаточно сильным, чтобы забыть обиды первого консула. Поэтому он нисколько не удивился, когда в один прекрасный день человек, посланный госпожой Лагори, его матерью, пришел сообщить ему, что господин Дефермон, председатель избирательного корпуса Майенны, говорил о нем с императором и тот ответил: „А где же сейчас Лагори? Почему он не показывается?“ Генерал Лагори истомился в заточении. Ему приходили теперь всякие безумные надежды: что император вспомнил о его заслугах, что теперь начинают чувствовать недостаток в талантливых людях и решили дать ему применение. В июне 1810 года вместо Фуше министром полиции был назначен Савари, старый товарищ Лагори, — они были на „ты“. Почему бы изгнаннику не пойти к новому министру и не открыться ему с полным доверием? Софи Гюго настойчиво отговаривала его от такого шага. Разве можно доверять этим людям? Но 29 декабря Лагори, не предупредив ее, отправился к Савари.

Он возвратился торжествующий. Министр крепко пожал ему руку и сказал: „До скорого свидания“. Госпожа Гюго затрепетала. На следующее утро, когда семья собралась за завтраком — господин Курлянде в халате, госпожа Гюго в теплой стеганой блузе и в утреннем чепчике, — раздался звонок. Служанка Клодина доложила, что пришли „какие-то двое“, спрашивают господина Курлянде. Он вышел. На землю густо падали хлопья снега. Послышался глухой стук колес. Клодина вбежала с криком: „Ах, сударыня, они увезли его!“ Лагори заточили в башню Венсенского замка. Маленький мальчик с высоким лбом был свидетелем драматической сцены и запомнил волнение ее участников. Знал ли он, кем был Лагори для его матери? Дети не знают таких вещей, лишь смутно их чувствуют. А когда сыновья все поняли, их любовь к матери была так велика, что они никогда ни единым словом не касались этой стороны ее жизни.

В Венсенском замке Лагори держали в одиночной камере, в секретном отделении, и Софи не могла сообщаться с ним. Наконец, в июне 1811 года, свидания с ним были разрешены, но тогда она уже была в Испании. И вот почему.

Леопольд-Сигисбер Гюго стал генералом в армии короля Жозефа, важным сановником при его дворе и графом Сигуэнса (испанский титул). Король осыпал его почестями и наградами. Луи Гюго, брат генерала, веселый, красноречивый, обаятельный человек, явился на улицу Фельянтинок и стал уговаривать невестку примириться с мужем. Его блестящая сабля, его рассказы об Испании, его ореол военного человека произвели глубокое впечатление на племянников, им он казался „кем-то вроде архангела Михаила". А то, что он рассказывал, было ослепительно прекрасным и вместе с тем ужасным. Супругу генерала Гюго, губернатора трех провинций, ждет в Испании высокое положение. Она будет графиней, будет богата. Король Жозеф пожаловал генералу в дар миллион реалов, при условии чтобы он обосновался в Испании и купил себе там именье. Ведь это обеспеченное будущее. Но дядя Луи рассказывал также о расстрелах, о сожженных монастырях, о бандитах, устраивающих засады. Жена генерала Гюго и ее дети могут проехать только под охраной вооруженного конвоя.

Луи Гюго не удалось убедить невестку, но вскоре парижские банкиры Терно уведомили госпожу Гюго, что муж прислал ей деньги — пятьдесят одну тысячу франков, для того чтобы она купила себе дом во Франции. Дело уже становилось серьезным. Если действительно генерал Гюго вознесся на вершину почестей, разве она имеет право лишать своих сыновей удачи в жизни? О своем решении она сообщила королю Жозефу через его эмиссаров. Король хорошо знал Софи Гюго, он еще в Люневиле оценил по достоинству ее ум и ее изящество. Ему досадно было, что генерал Гюго, один из видных сановников его двора, компрометирует себя перед всей Испанией сожительством с какой-то девицей Тома, авантюристкой, именуемой теперь „графиней де Салькано". Король пожелал, чтобы приехала законная жена и потребовала свое законное место у семейного очага.

Жозеф Бонапарт расточал госпоже Гюго всяческие заверения. Она уступила. На следующий же день она подарила Эжену и Виктору словарь и грамматику испанского языка. „Через полтора месяца эти одаренные мальчики уже знали достаточно, чтобы их могли понимать". Весной 1811 года госпожу Гюго уведомили, что формируется обоз и что она должна присоединиться к нему в Байонне. Она взяла у банкиров Терно двенадцать тысяч франков на дорожные расходы, выправила паспорт на имя госпо-

жи Гюго, урожденной Требюше де ла Ренодьер, и наняла целый дилижанс, который и довез ее от Парижа до Байонны. Она ненавидела путешествия. А для ее сыновей переезд был упоительным приключением. Им понравились и удобная карета, и города, через которые они проезжали. У Виктора был острый взгляд и такая цепкая память, что двадцать лет спустя он верно нарисовал две прекрасные башни Ангулемского собора, которые видел лишь мельком. Всю жизнь он помнил Байонну, где пришлось прожить месяц в ожидании обоза, помнил театр, где они сидели в ложе, обтянутой красным коленкором, и семь раз смотрели мелодраму „Развалины Вавилона"; помнил те вечера, когда все три брата, испачкав разноцветными мазками чашечку в ящиках для красок, размалевывали картинки в книге, подаренной им Лагори, — „Тысяча и одна ночь". А больше всего запомнилась Виктору четырнадцатилетняя девочка с ангельским лицом, исполненным чистой прелести, как у дев Вергилия; она читала ему вслух, сидя на садовой скамье. Он стоял позади чтицы, но не слушал, он весь поглощен был ее созерцанием, дивился матовой белизне ее тонкой шейки. Когда ветер заворачивал косынку на ее плечах, он с каким-то странным, смешанным чувством неловкости и восхищения видел округлую белую грудь, тихонько поднимавшуюся и опадавшую в тени, пронизанной теплыми, беглыми отблесками солнца.

„Не раз случалось, что в такие мгновения она вдруг поднимала свои большие голубые глаза и говорила мне: „Виктор, ты что не слушаешь?" Я терялся, краснел, трепетал... Я никогда сам не осмеливался ее поцеловать, но иногда она подзывала меня и говорила: „Ну, поцелуй же меня". В день отъезда я испытал две великие печали: грустно было разлучаться с ней и выпустить на волю своих птиц...

Байонна осталась в моей памяти как что-то дорогое, милое, праздничное. К ней восходят самые ранние воспоминания моего сердца. О, годы наивности, но уже возникающих нежных волнений! Именно в Байонне я увидел, как в тайнике моей души забрезжил первый, невыразимый свет, божественная заря любви..."

Супругу генерала Гюго, графиню де Сигуэнса, везде в пути встречали с почетом. Огромный парадный экипаж в стиле рококо, запряженный шестеркой лошадей или же мулов и нанятый на весь переезд за две тысячи четыреста франков, был куда внушительнее, чем кареты других

путешественников, испанским герцогиням приходилось уступать ему дорогу. Как было не важничать трем мальчишкам-подросткам? Виктору сразу полюбилась Испания, земля контрастов; пейзажи то веселые, то мрачные, залив Фонтараби, блестевший вдали, как драгоценный камень; первый город, который он увидел в Испании, назывался Эрнани. Мальчика поразил его облик — благородный, гордый и суровый; он увидел кастильских овчаров, в руках которых пастуший посох казался скипетром. В пограничном городе Ируне узкие улицы, черные дома, деревянные резные балконы и крепостные ворота очень удивили маленького француза, выросшего среди мебели красного дерева стиля ампир.

Его глаза, привыкшие видеть кровати с легким пологом, усеянным звездами, изящные подлокотники кресел в виде лебединой шеи и бронзовых позолоченных сфинксов, украшавших подставки для дров в каминах, теперь с каким-то испугом смотрели на тяжелые балдахины, нависавшие над постелями, на массивное столовое серебро с изогнутым выпуклым орнаментом, окна с мелкими стеклышками в свинцовом переплете. Но самая эта необычность нравилась ему. Даже скрип испанских телег, такой жалобный, такой резкий, казался ему приятным. Никогда Виктор не забывал строгого и твердого звучания испанской речи — недаром же у всякого, кто слышит ее, „безотчетно, так сказать, машинально, возникают в душе величественные образы, исполненные бурных чувств, блеска, яркой красочности и страсти...“

В испанских церквах он видел странные статуи святых, то истекающих кровью, то одетых в золотую парчу, видел над церковными порталами стенные часы в обрамлении шутовских и фантастических фигур. В Испании уродов видишь в повседневной жизни. На улицах встречаешь нищих, как будто сошедших с полотен Гойи, и карликов Веласкеса. Вокруг обоза кишели обитатели Двора чудес. Цепкая память мальчика схватывала „пестрые картины“, грозные силуэты дозорных на вершинах утесов и трупы бандитов, расстрелянных на краю дороги. Ужасные картины. Рассказы провожатых дополняли их. Генерал Гюго, говорили они, приказал выбросить из окна дезертиров-испанцев, и они разбились, упав на землю; его солдаты перестреляли всех монахов какого-то монастыря. А повстанцы, говорят, подвергали пыткам женщин и детей, выпускали им кишки, сжигали заживо. Устроив засаду в ущельях, партизаны подстерегали караваны.

Мальчиков-французов преследовали видения войны и смерти.

После бесплодного Кастильского плоскогорья им очень понравился Мадрид, его розовые дома и зелень, но отца они там не нашли. Ничего не зная о приезде Софи Гюго, вызванной в Испанию королем Жозефом, генерал находился в своей резиденции с девицей Тома, которую он привез с собою из Неаполя переодетой в мужской костюм. Генеральшу поместили с почетом во дворце Масcерано, в великолепных апартаментах; красный узорчатый шелк, гобелены, богемский хрусталь, китайские вазы, венецианские люстры, рисунки Рафаэля и Джулио Романо. Маленькому Виктору отвели красивую спальню, где стены обиты были желтой парчой; лежа в постели, он видел образ богоматери семи скорбей в платье, затканном золотом и вышитом золотой гладью, но с сердцем, пронзенным семью мечами. Управляющий называл госпожу Гюго „ваше сиятельство“, но ребенок чувствовал, что тут во всех сердцах горит пламя восстания. Во дворце Массерано была портретная галерея. Там часто находили Виктора, мальчик молча сидел в уголке и рассматривал испанских грандов с надменными лицами, смутно догадываясь, что весь этот старинный род, да и вся нация проникнуты гордостью. Он мог ходить по роскошным покоям как сын победителя, но оставался чужестранцем, незаконно вторгшимся сюда, — смотрел ли он на алтари в стиле поздней готики или на портреты синьоров в крахмальных плоеных воротниках. Он знал, что испанцы окрестили Наполеона по-своему: „*Наполевор*“.

Отношение к императору стало у мальчика двойственным: как всякий французский ребенок он восторгался Наполеоном, считал его героем; но вместе с матерью и Лагори ненавидел его как тирана. Та же двойственность была и в его отношении к отцу: Виктор гордился, что он сын генерала, графа Гюго, губернатора трех провинций, что благодаря отцовскому имени он живет в красивом дворце, а вместе с тем в душе все возрастала обида на отца за то, что он сделал маму такой несчастной; он испытывал тайное смущение при мысли, что генерал преследует в Испании испанцев так же, как он преследовал в Италии патриотов, называя их бандитами. Когда Виктор сидел тихонько в „галерее предков“ и придумывал всякие романтические истории, он охотно представлял себя в роли преследуемого изгнанника, который возвращается на родину триумфатором.

Именно в Мадриде вспыхнуло у него первое чувство, крепко связавшее его с Испанией. В больших покоях дворца Массерано с росписью на плафонах и стенах он встретил шестнадцатилетнюю Пепиту, дочь маркизы Монте-Эрмосо, одной из возлюбленных короля Жозефа:

В Испании, столь сердцу милой,
Однажды, в ранний час, весной, —
А мне тогда лет восемь было —
Пепита встретилась со мной.

И молвила с улыбкой чинной:
„Я Пепа!“ — поклонившись мне.
Я почитал себя мужчиной
Там, в завоеванной стране...

Ее шиньон был в тонкой сетке
С каскадом золотых монет,
И в пламенных кудрях кокетки
Струился золотистый свет.

Под солнечным лучом блистали
Жакета бархат голубой,
Муар на юбке цвета стали
И шаль с каймою кружевной.

Дитя — но женщина... и Пепе
Не покориться я не мог.
Сковали душу мне, как цепи,
Одетый в бархат локоток,

Янтарное колье на шее,
Куст роз под стрельчатым окном...
Пред ней дрожал я, цепенея,
Как жалкий птенчик пред орлом.

В смущенье, сам себя не слыша,
Я что-то ей пролепетал...
Она шепнула строго: „Тише!“ —
Но пыл мой только жарче стал.

А тут же, во дворце, где в зале
От витражей полутемно,
Солдаты в домино играли
И пили старое вино[1].

Шел июнь 1811 года. Король Жозеф находился в Париже по случаю крещения короля римского. Кто же сообщил генералу Гюго о приезде его семьи? Госпожа Гюго еще раз обратилась к своему обязательному деверю Луи. Известие было встречено бурным гневом — с губернато-

[1] Гюго В. Песни дедушки о днях его детства; Пепита („Искусство быть дедом“). Пер. И. Шафаренко.

ром Гвадалахары чуть не случился удар. Как! Эта женщина, отказывавшаяся быть ему женой, вздумала преследовать его даже в Испании? Он тотчас приказал составить прошение о разводе, ввиду важного оскорбления, нанесенного ему как мужу. А пока что, до решения дела в суде, он требовал, чтобы дети оставались при нем. Пора положить конец их постоянным каникулам, заявлял он. Пусть Абель будет одним из пажей короля Жозефа, его оденут в красивый голубой мундир с серебряными аксельбантами; Эжена и Виктора отдадут в дворянский коллеж (монастырь святого Антония Абадского) — на поступление туда им давал право графский титул, полученный их отцом в Испании. Мрачное здание, еще более мрачные наставники. Маленьких французов принял на свое попечение худой и бледный, угрюмый монах дон Базилио. Оставшись одни во внутреннем дворе, они разрыдались. Ночным надзирателем, следившим за дортуаром, где спали сто пятьдесят школьников, состоял горбун в красной шерстяной куртке, синих коротких панталонах и желтых чулках — настоящий придворный шут. Испанцы называли его Gorcoveta[1].

Ученики должны были по очереди исполнять обязанности причетников в церкви, но Софи Гюго, вольтерьянка, женщина неверующая, сказала дону Базилио, что ее сыновья не католики, а протестанты. С ними, однако, обращались уважительно, так как их отца было опасно задевать, и к тому же они, к удивлению монахов, проявили большие познания в латыни. В какой же класс их посадить? Переводить „Epitome“ и „De viris“ было для обоих уже детской игрой. С Вергилием и Лукрецием они справлялись довольно хорошо.

„Что же вы переводите в восемь-то лет?“ — спросил изумленный монах. „Тацита“, — ответил маленький Виктор. Школьники-испанцы открыто желали поражения Наполеону. Эжен подрался из-за этого с юным графом де Бельверана, а Виктор — с безобразным рыжеволосым и курчавым парнем по фамилии Элеспуру. Коллеж стал для них адом.

А между их родителями отношения все ухудшались. Возвратившись в Мадрид, король Жозеф нашел там бесчисленные жалобы и ходатайства графини Гюго. Он ее вызвал, выслушал и тотчас приказал генерал-губернатору явиться в Мадрид. Генерал примчался и, когда король

[1] Горбун (исп.).

предъявил ему ультиматум, уступил по всем пунктам: согласился принять предложенный ему пост в Мадриде, жить во дворце Массерано, взять своих сыновей из коллежа и тотчас же дать три тысячи франков своей жене, у которой уже не было ни гроша. *Генерал Гюго — графине Гюго*: „Нынче вечером, после обеда у его величества, я приеду навестить тебя. Посылаю ящик свечей. До свидания, друг мой. Верь моей привязанности".

Примирение оказалось недолгим. Некий коварный приятель вспомнил историю Лагори и сказал, что опасно иметь супругой возлюбленную заговорщика. Генералом Гюго вновь овладел приступ ярости. На этот раз королю Жозефу нечего было возразить. Леопольд-Сигисберг выехал из дворца Массерано, поселил свою любовницу в очаровательном домике в Мадриде, заставил Эжена и Виктора показаться на Прадо в коляске вместе с ним и „графиней де Салькано". Но одинокая, покинутая всеми Софи Гюго вскоре вновь пошла в гору. Она имела влияние на короля Жозефа и сумела убедить его, что ее отношения с Лагори были невинны. Ведь ее муж, говорила она, обязан своим продвижением на военном поприще „этому почтенному человеку". Так разве могла она после стольких услуг, которые им оказал Лагори, не дать убежище этому покровителю ее супруга. Король Жозеф еще раз метал громы и молнии и объявил губернатору: „Не хочу скрывать своего недовольства вами, вы показываете скандальный пример своими раздорами с женой..." Наконец, не найдя лучшего выхода, Софи Гюго было разрешено возвратиться во Францию с двумя младшими сыновьями, Абель же остался в пажеском корпусе. Жалованье, которое полагалось генералу как мажордому королевского дворца (двенадцать тысяч франков в год), должно было впредь непосредственно пересылаться генеральше. О разводе больше не могло быть и речи. Для Софи это было победой.

Обратный путь в охраняемом караване был долгим и полным тяжелых впечатлений. Дети видели ужасные картины: эшафот, человека, казнимого с помощью „гаротты", то есть ошейника, который постепенно стягивали, чтобы удавить приговоренного; крест с прибитыми к нему окровавленными кусками человеческого тела — казненного разодрали на клочья. Мрачное путешествие. Но Виктор вывез из Испании и другие впечатления, иные картины, казавшиеся ему благородными и красивыми. Он смутно понимал, что этот народ отвергает власть захват-

чиков-французов. „Дитя, свобода превыше всего“, — говорил ему Лагори. Что же касается сочетания низменно-безобразного с возвышенным и несколько театральной напыщенности, которую он замечал и на фамильных портретах во дворце Массерано, и у своих однокашников в коллеже, — все это ему нравилось.

Испания всегда привлекала французов, потому что человеческие страсти сохранили там свою изначальную силу, тогда как в наших общественных рамках она ослабла. Позаимствовав у испанцев тему своего „Сида“, Корнель затронул за живое французов времен Людовика XIII. После путешествия по Испании юного Виктора Гюго будут преследовать еще безыменные призраки, которые станут впоследствии образами Эрнани, Руй Гомеса де Сильва, дона Саллюстия и Рюи Блаза; картины, где льется кровь и звенит золото, образ „испаночки с огромными глазами и длинными косами, золотисто-смуглой, с нежным румянцем — четырнадцатилетней андалузки Пепы...»[1]. Из своего короткого, но тесного общения с Испанией он вынес склонность к звучным словам и патетическим чувствам. „Право, можно сказать, что душа Виктора Гюго натурализовалась в Испании после первых же воспринятых ею впечатлений...“ Но надо сделать оговорку, что противовесом его испанизму вскоре стало подспудное воздействие немецкого романтизма.

III

Конец детства

Какая радость возвратиться на улицу Фельянтинок! Благодаря преданности госпожи Ларивьер, дорожки в саду вычищены, жаркое подрумянивается на вертеле, на постелях постланы чистые простыни. Вскоре отец Ларивьер возобновил свои уроки латыни, а сад — уроки поэзии. Виктор и Эжен больше не ходили в школу, преподаватель сам приходил к ним. Директор наполеоновского лицея, пожелавший иметь их своими учениками, был плохо встречен госпожой Гюго. Она разделяла чувство ужаса, которое внушил ее сыновьям интернат. Все ее мысли были теперь только о них и друге, томившемся в заключении; она жила очень уединенно, абонировалась в „ка-

[1] Гюго В. Последний день приговоренного к смерти.— Собр. соч., т. 1, с. 195.

бинет для чтения“ и посылала своих мальчиков выбирать для нее книги. Одному было восемь лет, другому десять, содержатель библиотеки, чудаковатый старичок, носивший, как во времена Людовика XVI, короткие панталоны и узорчатые шерстяные чулки, позволял им рыться в книгах. Он допускал их и на антресоли, отведенные для слишком смелых философских трудов и слишком нескромных романов. Там Эжен и Виктор, растянувшись ничком на полу, знакомились с книгами Руссо, Вольтера, Дидро, Ретифа де ла Бретона, с „Фоблазом“ и „Путешествиями капитана Кука“. На замечание старика Районя, что опасно давать в руки детей непристойные романы, мать отвечала: „Книги никогда не причиняли зла“. Она ошибалась: врожденная чувственность ее младшего сына от такого чтения обострилась, но у него развился и более здоровый интерес к необычным, редким по своим достоинствам произведениям, которые впоследствии подсказали ему сюжеты некоторых его романов и пьес.

Все три брата — Абель, Эжен и Виктор — сочиняли стихи. Виктор исписывал стихами целые тетрадки, его поэтические вкусы, вполне естественно, склонялись к классическим размерам. „Разумеется, стихи его были мало похожи на стихи, — рифмы не рифмовались, слоги не складывались в стопы, ребенок без посторонней помощи искал пути в области просодии, читал вслух написанное и, видя, что дело не клеится, зачеркивал, писал заново, переворачивал, исправлял до тех пор, пока стихи уже не царапали слух. Ощупью продвигаясь вперед, он самостоятельно узнал, что такое размер, цезура, рифма, перекрестное чередование мужских и женских рифм...“

Госпожа Гюго без труда царила над умами своих сыновей. Она требовала и достигала почтительного и полного повиновения с их стороны. „Строгая и сдержанная нежность, постоянная, непререкаемая дисциплина, очень мало фамильярности, никакого мистицизма, содержательные, поучительные беседы, более серьезные, чем обычные разговоры с детьми, — таковы были основные черты ее глубокой, самоотверженной, бдительной материнской любви...“ Госпожу Гюго отличала властность мужского склада. В романе с Лагори она больше, чем он, была занята политическими страстями. В 1812 году она упорно стремилась сделать его заговорщиком. Возвратившись из Испании, она увиделась с ним в приемной Венсенской тюрьмы. Он сгорбился, исхудал, пожелтел, челюсти его непроизвольно двигались. С ним обращались теперь луч-

ше, чем вначале. Платье и белье ему починили, а главное, разрешили ему иметь при себе любимые его книги — Вергилия, Горация, Саллюстия, ряд работ по математике, химии и военному делу. До свидания с Софи он как будто смирился со своей участью, и Савари говорил, что его только вышлют из Франции: изгнание — это милосердие тиранов. Вмешательство женщины сильного характера все изменило.

С апреля 1812 года она вошла в сношения с аббатом Лифоном, стремившимся объединить роялистов и республиканцев в широком заговоре против императора. Софи добилась (через директора полиции, однокашника Лагори по лицею Людовика Великого), чтобы узника перевели в тюрьму Ла-Форс, где режим был таким мягким, что заключенным дозволялось принимать посетителей и даже угощать их обедом. Затем Софи Гюго вошла в сношение с генералом Мале, „легкомысленным республиканцем", который клялся и божился Брутом и Леонидом, но соглашался порадеть установлению власти „доброго и справедливого" короля. Наполеон был в России. Чего легче, как пустить слух о его смерти и создать временное правительство?

Лагори не доверял Мале, считая его сумасбродом. „Тут нужен мудрый человек, — говорил он, — а нам дают фанфарона". Разочарованный узник читал Саллюстия, восхищался энергией Каталины, но думал: „Какое безумие затеяли! Лишь только узнают, что известие ложное, все рухнет". Софи, натура страстная, видела впереди только желанные ей результаты: подлый Савари арестован, связан; тиран побежден, свобода восстановлена. Утром 23 апреля 1812 года Мале, надев мундир, явился в тюрьму и сообщил смотрителю о смерти императора; смотритель поверил и освободил Лагори. С отрядом солдат тот направился в министерство полиции и арестовал Савари, герцога де Равиго. Софи побежала к своему другу Пьеру Фуше, состоявшему в то время чиновником военного министерства; через своего шурина, господина Асселина, секретаря военного совета, он, конечно, был в курсе военных новостей! Очень скоро Софи узнала, что известие о смерти императора опровергнуто, все заговорщики арестованы и уже готовится суд над ними. Госпожа Гюго возвратилась на улицу Фельянтинок, где ее ждали сыновья, безумно встревоженные долгим отсутствием матери и напуганные слухами о государственном перевороте. „Ничего, — сказала она

им, — никогда не нужно тревожиться. И тем более не надо плакать".

Для того чтобы следить, как развертывается процесс, эта стоическая женщина отправилась в квартиру Фуше, все еще проживавшего на улице Шерш-Меди, в здании, занятом военным советом. Ту комнату, где ждала Софи Гюго, отделял от зала заседания военного совета только коридор. Все время офицеры приносили известия. На вопрос председателя суда, требовавшего, чтобы Мале сказал, кто его сообщники, тот будто бы ответил: „Вся Франция, сударь, и вы сами, если б я достиг успеха..." Когда Софи передали этот ответ, она повторила с жаром: „О да! Вся Франция!" В два часа ночи Пьер Фуше, „чистенький и боязливый, как мышка", сообщил, что вынесено двенадцать смертных приговоров. Софи спросила: „Сегодня приведут в исполнение?" — „Да, в четыре часа, в долине Гренель". Узнав от Фуше, какой дорогой проедут телеги с телами казненных, она дождалась их у заставы и проводила до общей могилы единственного человека, которого любила в своей жизни.

В 1813 году генералу Гюго, после поражения Жозефа Бонапарта, пришлось вернуться во Францию. В сентябре он уже был в По вместе с сыном Абелем и той, которую госпожа Гюго называла то „девица Тома", то „мнимая графиня де Салькано".

Двадцать четвертого сентября 1813 года госпожа Гюго писала своему сыну Абелю: „Полагаю, что отцу не вздумается запретить тебе переписываться со мной, этому не было бы оправдания, как и многому другому в его поведении, и тогда твоим долгом было бы не подчиниться запрещению; так же как и твои братья должны были бы не подчиниться мне, если б я, позабыв священные права природы, запретила им переписываться с отцом. Если такое запрещение будет наложено, то, во избежание всяких неприятностей и споров, которые страсти, ослепляющие твоего отца, вызвали бы между вами, пиши мне без его ведома. Вижу, бедный друг мой, сколько тебе приходится страдать из-за этой женщины. Часто я плакала над твоей участью и даже над участью твоего несчастного отца, — ведь если он причиняет нам много зла, то себе самому он причиняет его еще больше. Будем надеяться, Абель, что настанут лучшие времена и, главное, что наши общие с ним несчастья послужат тебе уроком. Смотри, до чего могут довести необузданные страсти и отсутствие принципов...»

Леопольд-Сигисбер Гюго в Испании — генерал, во Франции по-прежнему был лишь командиром батальона. Пенсия, обещанная его жене, не выплачивалась; Лагори не мог прийти на помощь своей подруге — его уже не было в живых. „Покончено было со всякими роскошествами“. Парижский муниципалитет экспроприировал сад фельянтинок для удлинения Ульмской улицы, и Софи Гюго переселилась в дом № 2 по улице Вьей-Тюильри, по соседству с семейством Фуше, чтобы можно было пользоваться садом, имевшимся при их особняке. Фуше остались верными ее друзьями. Еще живя на улице Фельянтинок, Виктор Гюго вновь встретился с Аделью Фуше; они уже не были детьми. Мечтательный и страстный мальчик, он, как ему казалось, увидел в Адели Пепиту из Мадрида, — тот же облик инфанты, такие же большие голубые глаза и золотистый загар. Им сказали, чтобы они побегали, поиграли; они же, беседуя, прогуливались по саду. Они шли медленно, говорили тихо, руки их вздрагивали, соприкасаясь. Девочка стала девушкой.

„Ребяческая фантазия пришла ей в голову. Пепа стала Пепитой. Она сказала мне: „Побежим наперегонки!“ — и помчалась вперед; я видел ее тоненькую осиную талию, ее маленькие ножки, мелькавшие из-под платья. Я догонял ее, она убегала; от быстрого бега порою ветер вздувал ее черную пелеринку, обнажая ее смуглую юную спину.

Я себя не помнил. Настигнув беглянку у старого развалившегося колодца, я, по праву победителя, обнял ее за талию и усадил на дерновую скамью; она не противилась. Она смеялась, едва переводя дух. Но мне было не до смеху, я смотрел в ее глаза; под длинными густыми ресницами зрачки их были такими большими, черными.

„Садитесь рядом, — сказала она. — Еще совсем светло, давайте почитаем. У вас есть какая-нибудь книга?“

У меня был при себе второй том „Путешествий“ Спаланцани. Я раскрыл его наугад, придвинулся к ней, она оперлась плечом о мое плечо, и мы стали читать вместе, но каждый про себя. Прежде чем перевернуть страницу, ей приходилось подождать меня. Читала она проворнее моего. „Вы кончили?“— спрашивала она, когда я только еще начинал.

Головы наши соприкасались, волосы смешивались, дыхание сблизилось, и вдруг сблизились губы... Когда мы решили продолжить чтение, на небе уже светили звезды.

„Ах, мамочка, мамочка, — сказала она, возвратившись, — если б ты знала, как мы бежали!"

Я же ничего не сказал.

— Ты что молчишь? — спросила мама. — И ты какой-то печальный нынче.

А у меня в сердце был рай. Этот вечер я буду помнить всю жизнь.

Всю жизнь..."[1]

Любовь их оставалась целомудренной, очень чистой. Адель Фуше была девушка набожная и добродетельная. Мать не отходила от нее. Всюду она появлялась со своим грудным младенцем (малышкой Полем) на руках, а рядом с ней шла Адель. Каждый вечер мать расчесывала прекрасные черные косы своей девочки и „осыпала их бесконечными поцелуями". Госпожа Фуше, превосходная хозяйка, старалась приучить Адель к домашним работам. В шесть лет девочка уже могла собрать и сшить вместе полотнища скроенного платья. Соседка, госпожа Делон, давала ей метить белье своего сына. Супруги Фуше побаивались чрезмерного любопытства этой особы, и, когда отец приносил домой свое месячное жалованье, дверь запирали, чтобы госпожа Делон не слышала звона пятифранковых монет. Несмотря на все превратности, семейство Фуше жило обычной жизнью мелких французских буржуа, людей скрытных, посредственных, степенных и добродетельных семьянинов.

Генерала Гюго, по его ходатайству, вновь приняли во французскую армию. 9 января 1814 года он получил назначение на пост коменданта Тионвиля. Он храбро защищал город во время наступления войск коалиции и капитулировал лишь после того, как узнал об отречении Наполеона.

Абель переехал к матери, в Париж. Она гордилась сыном, красивым широкоплечим юношей, и, при всем своем безденежье, все-таки заказала ему выходной костюм — зеленый фрак лувьерского сукна, светло-серые казимировые панталоны и редингот из легкого драпа с искрой. Вскоре русские и пруссаки заняли столицу. Часть населения Франции считала их освободителями и называла „союзниками", а не „врагами". Госпожа Гюго выражала великую радость при реставрации Бурбонов. Ее роялизм носил перемежающийся характер. Пока ее муж

---

[1] Гюго В. Последний день приговоренного к смерти.— Собр. соч., т. 1, с. 195.

нуждался в Бонапарте, она воздерживалась от проявления своих чувств. К тому же Лагори был скорее республиканцем, чем монархистом. Но после казни ее друга в ней разгорелась ненависть к узурпатору. Она не признавала за ним ни малейшей гениальности, вспомнила, что она дочь Вандеи, не пропускала ни одного публичного празднества в честь Бурбонов, появлялась там всегда одетая в белый перкаль, носила зеленые туфли, „чтобы на каждом шагу попирать цвета наполеоновской империи". Сыновья, глубоко почитавшие мать, разделяли ее взгляды. У Тацита они научились ненавидеть цезарей, и Виктор Гюго теперь называл Наполеона не иначе как Буонапарте — по примеру матери и ее друзей Фуше. Он с гордостью отправился в собор Парижской богоматери на благодарственную мессу, тем более что шел он туда под руку с Аделью.

Генерал Гюго оставался в Тионвиле до мая 1814 года. В письме к королю он заверил его в своей преданности, полагая, что „воин должен быть верен своей родине", каково бы ни было ее правительство (принцип благородный и вместе с тем удобный). Его жена совершила в сопровождении Абеля путешествие в Тионвиль, чтобы потребовать свою пенсию. В отсутствие матери Эжен и Виктор все свободные часы проводили в доме Фуше.

Графине Гюго, в Тионвиль, 23 мая 1814 года: „Дорогая мама, без тебя всем скучно. Мы часто ходим к господину Фуше, как ты нам советовала. Он предложил нам, чтобы мы с его сыновьями брали уроки у их учителей: мы поблагодарили его. Каждое утро мы занимаемся латынью и математикой... Господин Фуше был так любезен, что водил нас в музей. Возвращайся поскорее. Без тебя мы не знаем, что говорить и что делать, совсем растерялись. Все время думаем о тебе. Мамочка! Мама! *Твой почтительный сын Виктор*".

В апартаментах генерала и коменданта крепости графиня Гюго столкнулась с девицей Тома, державшей себя там полновластной хозяйкой, теперь она выдавала себя за *госпожу Анакле д'Альмет* (или д'Альме), вдову полковника. Софи Гюго, которую муж называл уже не иначе как „мадам *Требюше*", стелили постель в передней, тогда как госпожа д'Альме и генерал запирались на ключ в спальне. Законная жена подала прошение в суд, требуя восстановления ее в супружеских правах и постоянной пенсии. Генерал снял на имя своей любовницы замок Гюс под Тионвилем и ответил жене заявлением в суд о

разводе. Кроткий и осторожный Пьер Фуше перепугался, что его друзьям повредит шумный процесс, в котором появится окровавленная тень Лагори. Он прислал генералу два письма, настойчиво уговаривал отца избежать скандала, который запятнает его детей.

Четырнадцатого июля 1814 года генерал Гюго писал своей сестре, госпоже Мартен-Шопин: „Госпожа Требюше 4 июня подала на меня в суд, добиваясь аванса в три тысячи франков в счет пенсии, а я 11-го числа подал прошение о разводе с нею. Через день, 13 июня, она исчезла неизвестно куда. Требуя с меня три тысячи франков, она воображала, будто я не знаю, что она недавно взяла четыре тысячи у господина Ансо. Эта женщина просто ненасытна, все подавай ей деньги. Ты говоришь об общности имущества, как будто с госпожой Требюше, вытворяющей все, что ей вздумается, устраивающей сцены, если ей противоречат, возможно вести себя как с какой-нибудь другой женщиной. Фуше написал мне от имени этого демона, и я ответил, что соглашусь заменить прошение о разводе прошением о раздельном жительстве и раздельном владении имуществом, но на тех условиях, какие я ей поставил. Что касается совета жить с нею совместно, ты хорошо знаешь, что это невозможно! Никогда еще она не была мне так противна...»

Под влиянием любовницы и воспоминаний о старых обидах, первоначальное несходство характеров супругов обратилось у мужа в ненависть. Генерал Гюго пожелал отнять своих сыновей у ненавистной жены; он уже приказал сестре забрать их от супругов Фуше, а в сентябре 1814 года, приехав в Париж, воспользовался правом, которое давала ему отцовская власть, и отдал обоих мальчиков в пансион Кордье и Декотта, помещавшийся „на темной, мрачной улице Святой Маргариты в закоулке, стиснутом между оградой тюрьмы Аббатства и стенами Драгунского пассажа“. В марте 1815 года, когда он вновь назначен был в Тионвиль, чтобы во второй раз защищать крепость от вражеского нашествия, он свою власть над детьми передал не матери, а своей сварливой сестре, вдове Мартен-Шопин: „Доверяю тебе заботы о двух младших моих сыновьях, помещенных в пансион господина Кордье, и требую, чтобы ни под каким предлогом они не были возвращены или отданы под ее надзор...“

Оба мальчика тотчас подняли открытый бунт против госпожи Мартен-Шопин. Они не желали именовать ее „тетушка“, а называли „сударыня“; с чисто кастильским

достоинством они жаловались на ее „неприличную грубость“, на ее „низкие оскорбления“ и „отвратительные сцены“, которые она им устраивала. Оба сына оставались всецело верны матери, хоть их и разлучили с ней.

Моя святая мать, примером чистоты
Была ты для меня... И... не со мною ты!..
Ты больше не со мной!.. О чуткие сердца,
Лишь вы мою печаль поймете до конца!..

Оба судили об отце с почтительной суровостью, порицая его сожительство с любовницей, а он называл их „мятежными бандитами“. *16 октября 1815 года генерал Гюго — сестре, госпоже Мартен-Шопин:* „По-видимому, эти господа считают позорным для себя называть тебя тетушкой и выражать в письмах к тебе привязанность и почтение. Вот оно, влияние негодницы матери...“

...Какое зло
Мне причинил отец! И детство вдруг ушло...
Я прошлое зову — и тишина в ответ.
Для горя моего иной дороги нет:
Мечтать, бежать в леса и верить в чудеса...[1]

Действительно, пансион, похожий на тюрьму, и отец, ставший тюремщиком, — это было концом детства. Несмотря на всякие превратности, несмотря на раздоры родителей, которые, подобно черной туче, омрачали детские годы Виктора Гюго, они были поэтичны и прекрасны. Густолиственный и таинственный сад фельянтинок; тенистый овраг в итальянской провинции Авеллино; огни бивуачных костров; раззолоченные галереи дворца Массерано в стиле барокко; очаровательные видения женщин-девочек, незнакомка в Байонне, Адель, Пепита и в качестве яркого фона — победы Франции, сверкание кирас и бой барабанов. Какие чудесные декорации для мечтаний!

И как много досуга для мечты — при таком беспорядочном воспитании! Все соединилось для того, чтобы в течение тринадцати лет юный ум не знал принуждения и условностей, установленных правил воспитания. Частые переезды не позволяли детям генерала Гюго учиться в школе, переходя, как обычно это делается, из класса в класс; нелюдимый нрав матери, тосковавшей по родным краям, отпугивал от нее светское общество; благородная и опасная, тайная дружба с Лагори воздвигла вокруг нее самой ограды молчания; удивительное уважение, с которым относилась к книгам и к поэзии госпожа Гюго, эта

---

[1] Гюго В. Отцовство („Легенда веков“).

маленькая буржуазка, „неизменно снисходительная к своим сыновьям при внешней ее суровости", благоприятствовало развитию их природных дарований. Как и все дети этих героических времен, Виктор Гюго в глубине „души тревожной" мечтал о военной славе. Затем разрыв между родителями, падение Империи направили его желания в другую сторону. Но к чему бы он ни стремился, он всегда мечтал о великом. „*Когда я маленьким ребенком был, великое я видел пред собою*". Бессознательный соперник своего отца и Наполеона, которыми мальчик вопреки своей воле восхищался, он тоже хотел пленять воображение людей. Но как? Он этого пока не знал, он только еще „вступал в страну мечтаний":

После долгих скитаний вернувшись нежданно,
Возникал я, как луч из густого тумана.
Я мечтал, что источник найду колдовской,
Где вода все журчит и журчит неустанно,
Опьяняет и дарит покой.

В пылком сердце былое опять оживало,
На губах моих тихая песня блуждала,
И я шел, материнской любовью храним,
И сквозь слезы, с улыбкою мать повторяла:
„Это фея беседует с ним!"[1]

Редко встречаются такие противоречивые натуры. В нем боролись чувственный темперамент отца, его пылкое воображение, любившее все необыкновенное, и суровый стоицизм матери; вкус к классике, жажда славы и ненависть к тирании; тяга к возвышенной поэзии, всегда несколько безумной, и уважение к буржуазным добродетелям, безотчено дорогим для него, ибо он страдал, чувствуя, как их оскорбляют его близкие. Душа, сотканная из контрастов. Если когда-либо жизнь словно нарочно, с самого детства формировала писателя для того, чтобы он выражал в своем творчестве прекрасные и новые антитезы, то таким писателем был именно он, Виктор Гюго. Нам хотелось уловить, каков был его душевный склад в ранние годы, когда индивидуальность человека только еще зарождается. „Не во дворце, который блеск жемчужины усилит, зарождается она — она возникает под толщей колонии полипов, в морских пучинах глубиною в сотни лье..." Мы с вами погрузились в глубокие воды волшебных источников детства великого поэта, в едва освещенных безднах увидели мрачные обломки, зеленова-

[1] Гюго В. Мое детство („Оды и баллады").

тые щупальца кошмаров, но видели также белоснежных сирен, затонувшие соборы, затопленные дворцы прекрасных древних городов Андалузии. „Лучшая часть гениальностей складывается из воспоминаний“. Именно из них на наших глазах создаются перламутровые, лучезарные, неподражаемые, изменчивые переливы жемчужины, возникшей из крупинки материи, и гениальность человека.

Часть вторая

Огни
рассвета

Огни рассвета не столь сладостны,
как первые лучи славы.

Вовенарг

I

Птицы в клетке

После райского сада фельянтинок и каштанов вокруг Тулузского подворья пансион Декотта и Кордье, унылый, без всякой зелени, показался сыновьям Софи Гюго мрачным чистилищем. Кордье, священник-расстрига, больной и раздражительный старик, носивший из любви к Руссо широкий плащ и высокую шапку, похожий в ней на армянина, колотил учеников по головам своей металлической табакеркой; Эмманюэль де Котт, ставший просто Декоттом, изводил их всяческими наказаниями и отпирал отмычкой ящики их тумбочек. Эжен и Виктор, мятежные ангелы, не склонны были сносить унижения. *Генерал Гюго писал 7 августа 1817 года своей сестре Мартен-Шопин:* „Я считаю, что они погибнут, если останутся под плачевным влиянием матери. С тобой они ведут себя так же, как обычно, но по отношению к господину де Котту они позволяют себе ужасные грубости! Подумай только — они едва не подняли руку на директора пансиона!..“

Братья сразу же приобрели престиж в глазах товарищей, так как отец потребовал, чтобы их поместили в отдельной комнате. Пансион разделился на два лагеря: в одном царил Виктор, в другом — Эжен. Вечером два соперничающих властелина встречались в своей комнате и вели переговоры. Они напоминали тогда братьев Бонапарт, деливших между собой Европу, и, вероятно, им самим приходила такая мысль. Оба мальчика впитали чуть ли не с молоком матери преклонение перед доблестью древних римлян, оба росли под сенью наполеоновских побед и проявляли сильную жажду славы. В пансионе Кор-

дье братья организовали театральные представления. Виктор сочинял пьесы и играл в них роль Наполеона, окруженного маршалами, блиставшими орденами из золотой бумаги. Но так было только в театре, а в их жизни политические страсти не изменились; по-прежнему в них была ненависть к Революции, ужас перед Буонапарте и любовь к Бурбонам, которые, как Виктор воображал, принесли Франции вместе с Хартией — свободу.

В этом их убеждала мать, а ведь она оставалась кумиром всех сыновей. Зато своей тетушке, госпоже Мартен-Шопин, и даже отцу они противились с невероятной решительностью и достоинством. Генерала Гюго после Реставрации уволили в отставку с половинным окладом пенсии, и он удалился в Блуа с госпожой Альме, „графиней де Салькано“, иначе говоря — с девицей Тома, всемогущей его властительницей. „Мерзкая вдова Мартен-Шопин“ весьма скудно снабжала племянников карманными деньгами и передавала им распоряжения отца. Генерал хотел, чтобы его сыновья поступили в Политехническую школу, и требовал, чтобы они для подготовки к экзаменам усиленно занимались математикой и черчением; учтиво, но твердо мальчики попросили его дать им возможность выполнить это требование.

Виктор Гюго — отцу, 22 июня 1816 года: „Госпожа Мартен целый месяц не соблаговолила спросить, в чем мы нуждаемся, и уже два месяца как перестала выдавать мне и Эжену обещанные два су в день; да еще весьма предусмотрительно сообщила нам о таком решении лишь 1 июня. Когда мы ей вежливо доложили, что, рассчитывая на эти деньги, мы сделали заем на необходимые свои расходы — на то, чтобы платить за стулья в церкви, точить перочинные ножи, переплетать книги, покупать чертежные принадлежности, — она ответила, что не желает нас слушать, и властным тоном приказала нам выйти из комнаты. Больше ей не удастся это сделать, дорогой папа. Мы лучше откажемся от воскресных отпусков, но впредь не будем иметь с ней никаких отношений. Если ты все-таки хочешь, чтобы мы расплатились с долгами и не сидели без гроша, просим тебя передавать нам деньги через кого-нибудь другого, — удобнее всего — через Абеля...“

А 12 ноября 1816 года они писали: „Мы обдумали твои предложения; позволь нам говорить с тобой так же откровенно, как мы говорили раньше, и ответь нам лишь после того, как взвесишь наши соображения. Видя, что мы в состоянии судить о цене вещей, ты предлагаешь нам двадцать пять

луидоров в год на наше содержание. Мы согласны, лишь бы эти деньги нам выдавали в собственные руки. Мы уверены, что при том опыте, который у нас уже имеется, а главное, с помощью мамы и при ее советах, — а она, что ни говори, умеет экономить, — этой скромной суммы хватит на наше содержание, и оно будет более приличным, чем было до сих пор, хотя наверняка обходилось тебе дороже. Но если деньги будут нам направлять через чужие руки, такой уверенности мы не можем иметь, так как не сможем воспользоваться средствами, обеспечивающими нас. Мы уже не в силах будем следовать твоему примеру: *соразмерять расходы со своим достатком и быть довольными своим положением, тем более что оно приучит нас к порядку и бережливости...* Конец твоего письма нас огорчил — не можем скрывать от тебя, как нам было тяжело, что ты нашу маму нызываешь *негодницей*, да еще в открытом письме, — ведь его распечатали и отдали нам только после прочтения... Мы видели твою переписку с мамой. Что ты сделал бы в те времена, когда познакомился с ней и когда находил счастье близ нее, что ты сделал бы с тем, кто посмел бы говорить о ней подобным языком? А она все такая же и всегда была такой, и мы всегда будем думать о ней так же, как ты раньше думал о ней. Вот какие чувства твое письмо породило в нас. Поразмысли, пожалуйста, над нашим письмом и будь уверен в любви, которую питают к тебе твои покорные и почтительные сыновья.

Э. Гюго — В. Гюго".

В этом письме видны и зрелость ума, и энергия стиля. В нем нет повторений, выразительность не ослабевает с начала до конца. Кто был вдохновителем коллективного послания братьев? Оно написано почерком Эжена, но это не имеет большого значения. Оба брата получили одинаковое воспитание, были учениками своей матери, оба впитали влияние классиков, оба стремились к поэтическому творчеству. Время, которое они могли урывать от занятий математикой, они проводили за сочинением стихов. Переводы Вергилия и Лукреция, элегии, эпиграммы, песни, трагедии — все у них шло в дело.

По правде говоря, Франция тогда усердно занималась версификацией, сочиняла стихи. Даже пансион мальчиков изобиловал поэтами. Сам угрюмый Декотт кропал вирши и вскоре стал завидовать двум юным гениям, явившимся среди его учеников. Молодой классный наставник Феликс Бискара, умный человек с рябоватым, но веселым и от-

крытым лицом, любил Эжена и Виктора Гюго, а еще больше — мадемуазель Розали, бельевщицу пансиона, в честь которой он создавал оды. Однажды Бискара повел братьев Гюго, своих любимцев, на верхние площадки башен собора Парижской богоматери, Виктор Гюго поднимался по ступенькам лестницы позади мадемуазель Розали и смотрел на ее ноги.

Было естественным, что в том возрасте, *„когда все Керубино — бродят по улицам, стараясь заглянуть в окошки бань“*, подростка, унаследовавшего огромный темперамент отца, да еще начитавшегося эротических стихов Горация и Марциала, преследуют мысли о женском теле. Для Виктора было никогда не ослабевающей радостью увидеть нечаянно обнажившееся плечо, грудь, стройную ногу. Подобно фавну или иному лесному божеству, он будет в дальнейшем подстерегать в лесах красивых девушек-дикарок и прачек у ручьев. Бедным студентом он из своей мансарды высматривал в соседнем окне или „щелях чердака“ какую-нибудь служанку, раздевающуюся перед сном.

В семнадцать лет мне снилась Геба —
Прекрасная гризетка неба;
Олимп или мансарда — все одно:
Подвязка сброшена, плечо обнажено[1].

Всю жизнь это будет лейтмотивом многих его стихов. Слишком целомудренная юность создала нераскаянного грешника.

Для генеральши графини Люкот, „хорошенькой женщины, имевшей большой успех в свете и множество поклонников“, — братья Гюго знали ее еще в Мадриде, а в Париже жили в одном с нею доме, — Виктор сочинял почтительные мадригалы:

Я слушаю... Но все ж могла бы лира эта
В такой чудесный день решиться и посметь
Твою любовь ко мне воспеть.
Судить не торопись, начни читать поэта!
Любовью сердце стеснено,
Тобой одной оно согрето!
Но то, чем полнится оно,
Земною лирою не может быть воспето![2]

Концовка была галантной, все написано очень ловко, с чисто вольтеровским изяществом. Но кто бы ни писал

[1] Гюго В. („Океан“, LIV).
[2] Пер. М. Ваксмахера

стихи в пансионе Декотта и Кордье, сам директор или классный наставник, Эжен или Виктор Гюго, тысячи рифмованных строк, рождавшихся у них из-под пера, были довольно плоскими. То было время заката прежнего направления в поэзии. Делиля и Парни все еще считали великими поэтами. Французская Академия избирала их учеников в число „бессмертных“. Язык был упорядочен, отлакирован и стоял в величественной неподвижности. Слова были разделены на благородные и мещанские. Любой экипаж именовался *колесницей*, щеки — *ланитами*, ветер называли *аквилоном*, воду в реке — *речной волной*, лошадь — *скакуном*, королей — *монархами*, шпагу — *мечом*, поэта — *нежным любовником девяти сестер*. Большинство простых терминов было изгнано. Слово *лодочник* стало запретным, несчастному писателю предоставлялось выбирать между *кормчим и перевозчиком*. Ребяческие и вместе с тем старческие вкусы требовали, чтобы поэзия была полна холодных безумств, ханжеского дидактизма или банальной галантности. Братьям Гюго, как и всем рифмоплетам той поры, оставалось только следовать установленным образцам.

Однако Виктор уже и в то время проявлял природное стремление к музыкальности стиха, гибкости строфы, инстинктивное ощущение стиля и поэтому чувствовал в произведениях Горация и Вергилия красоты, исчезавшие в перифразах какого-нибудь Делиля. Бискара, проверяя переводы своего любимого ученика, говорил удивленно: „В этих стихах такая яркая палитра, какую я не нахожу ни у одного поэта“. Он хвалил строку: „Упиваться резней и разбрызгивать кровь“; или такую: „И с хрустом разгрызали алчные клыки их кости“.

Дидона бедная, ты жертвою своих мужей была:
Стихей почил — и ты ушла, ушел Эней — ты умерла.

Это двустишие блестяще передает Авзония. А в конце его первой „Буколики“ перевод сохранил изящество оригинала:

Течет над кровлями дымок и рвется на простор,
И тени, становясь длинней, нисходят с этих гор.

Вергилий отвечал двум потребностям этого ребенка — тяготению к таинственности и к ясному, четкому, отточенному слову. Прочтя поэму в пятьсот строк о всемирном потопе, Бискара нашел, что в ней тридцать две строки хороших, пятнадцать — очень хороших, пять —

посредственных. Сам Виктор был более требователен и каждый год сжигал тетрадь со своими поэтическими опытами, — убогие тетрадки, сшитые им собственноручно с помощью бечевочки, завязанной узелком; ведь он получал только два су в день на свои расходы и тратиться на покупки надо было с осторожностью. Стихи своих детских лет он начал сохранять только с одиннадцатой тетради. Скромный и усердный труженик, он сам смиренно добивался критических замечаний. Горделивый Эжен, наоборот, любил похвастаться своим дарованием. Оба воздавали честь в своих стихах любимой матери, которая не имела разрешения брать сыновей к себе и сама навещала их в пансионе. При всех своих работах и успехах, „сыновья думали только о том, какое удовольствие они доставят маме“. В четырнадцать лет Виктор посвятил ей трагедию в стихах — „Иртамен“:

Мама, видишь стихи неумелые эти?
  Ты сурово на них не смотри.
Я твой сын, а они — мои робкие дети,
  Ты улыбкою их одари!
Эти строки не розы Расина,
Что бессмертную славу ему принесли;
  Как цветы полевые, невинно,
Эти строки для мамы моей расцвели.

То и дело повторявшееся наивное, детское слово „мама“ показывало, что сердце юного поэта всецело принадлежало матери. „Иртамен“ — это подражание Расину или, скорее, Вольтеру, но стих поражает своей непринужденностью и гибкостью. Сюжетом трагедии была, разумеется, победа законного повелителя над узурпатором. „Когда тиранов ненавидим, любить должны мы королей“, — провозгласил в заключение автор. Иначе говоря, кто ненавидел Бонапарта, должен любить Людовика XVIII. В тетради „Разные стихи“ (1816—1817) имеется запись, датированная сентябрем 1817 года: „Мне пятнадцать лет, написано плохо, я мог бы написать лучше“, а на другом листке: „Глупости, сотворенные мною до моего рождения“. Верно, эти стихи не назовешь шедеврами, но верно и то, что от юноши, способного на такой упорный, неослабный труд и такие блестки удачи, можно было всего ожидать.

Сохранившиеся тетради содержат тысячи стихотворных строк: тут и целая комическая опера, и мелодрама, написанная прозой — „Инесса де Кастро“, и набросок пятиактной трагедии в стихах „Ателия, или Скандинавы“, и

эпическая поэма „Всемирный потоп“; ко всем произведениям имелись иллюстрации в виде рисунков на полях, причем некоторые из них смелостью игры света и тени напоминают рисунки Рембрандта. Надо добавить, что в то же самое время Виктор готовился к вступительным экзаменам в Политехническую школу, что у него были хорошие отметки по математике и что с конца 1816 года он вместе с Эженом, который был старше его на два года, занимался в коллеже Людовика Великого, — с восьми часов утра до пяти часов вечера. Писать стихи он мог, только отнимая часы от сна и работая при свече в своей чердачной каморке, представлявшей собою в июне раскаленную печь, а в декабре — ледник, каморке, из окна которой открывается вид на башни собора Сен-Сюльпис, приспособленные в то время для оптического телеграфа. Однажды Виктор, повредив себе колено, вынужден был несколько недель пролежать в постели, и это позволило ему еще больше отдаться любимому делу. Феликс Бискара, славный человек, беспокоился: „С грустью замечаю, что здоровье ваше ухудшилось; так же, как и вы, полагаю, что причина тому — ваши бессонные ночи. Во имя всего святого, во имя нашей с вами дружбы, поберегите себя...“ Но ведь „своя ноша не тянет“, любимый труд не утомляет.

Тысяча восемьсот семнадцатый год. „Французскую армию одели в белые мундиры, на австрийский лад... Наполеона сослали на остров Святой Елены, и, так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он приказывал перелицовывать свои старые сюртуки... В морском министерстве повели расследование по поводу крушения фрегата „Медуза“... Большие газеты стали совсем маленькими... Разводы были запрещены. Лицеи назывались теперь коллежами... Шатобриан каждое утро вставал перед окном своей спальни в доме № 27 по улице Сен-Доминик в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, в пестрой шелковой повязке на седой голове и, устремив глаза в зеркало, раскрыв перед собой шкатулку с полным набором инструментов дантиста, осматривал свои прекрасные зубы, в то же время обдумывая варианты „Монархии согласно Хартии“[1], которые он затем диктовал своему секретарю, господину Пилоржу...»[2] Французская Академия

[1] Хартия. — Имеется в виду Конституционная хартия, подписанная Людовиком XVIII в 1814 г., провозгласившая во Франции конституционную монархию с двухпалатным парламентом.

[2] Гюго В. Отверженные. Собр. соч., т. 6, с. 412.

объявила конкурс стихотворных произведений, предложив для него следующую тему: „*Счастье, которое при всех обстоятельствах жизни дает человеку учение*“. Виктор Гюго сказал себе: „А что, если попробовать?..“ Для него задумать, — значило и выполнить задуманное. Он сочинил триста тридцать четыре строки:

С Вергилием в руках, один в глуши лесной...
Люблю я тишину и ветви надо мной,
Люблю я здесь бродить, следить игру теней,
Дидону вспоминать и горевать над ней...

Оригинально это? Нисколько. Поэт пожертвовал собственными вкусами в угоду обветшалому классицизму академиков, который, впрочем, почитала и госпожа Гюго. Правильно сложенные, аккуратно построенные стихи выражали искреннее чувство юноши, который, изучая Цицерона или Демосфена, мечтает последовать их примеру, а потом открывает, что его герои кончали жизнь в немилости.

Герои, вы ушли... а я — всего лишь я!
Ну что ж... я одиночество постиг —
Наедине с собой, среди любимых книг...

Поэма написана, но еще надо отдать ее в секретариат Академии. Однако воспитанники пансиона Кордье жили как в тюрьме. Виктор Гюго открылся Феликсу Бискара, который водил пансионеров на прогулки, и этот славный малый повел колонну учеников к дворцу Мазарини. Пока они разглядывали купол и каменных львов, классный наставник и его подопечный помчались в секретариат Академии и вручили поэму швейцару в ермолке. Выйдя на улицу, они наткнулись на Абеля, старшего брата, который и по возрасту, и как любимец отца пользовался большей свободой. Пришлось во всем ему признаться. Затем младший брат догнал своих товарищей и вернулся в пансион к задачам по алгебре.

Через несколько недель, когда он играл на школьном дворе в пятнашки, туда вдруг явился Абель: „Иди сюда, дурачина!“ — позвал он брата. Ведь Абель был уже офицер, а потому обращался с младшими братьями как с детьми и говорил с ними ласково, но покровительственным тоном. Виктор подошел. „Ну, что тебя дернуло написать, сколько тебе лет? — спросил Абель. — Академия решила, что ты хотел ее мистифицировать. А не будь этого, ты бы получил премию. Ну, и осел ты! Теперь да-

дут только почетный диплом". Однако мнение Абеля было не совсем верным: премия ускользнула от Виктора Гюго не по этой причине. Произведение его заняло на конкурсе девятое место, и Ренуар, постоянный секретарь Академии, автор трагедии „Тамплиеры", написал в своем докладе: „Если правда, что ему столько лет, Академия должна поощрить юного поэта". Отрывок из поэмы был зачитан на публичном заседании: дамы аплодировали, и Ренуар, которому Виктор Гюго послал свою метрику, ответил письмом, предлагая ему прийти в Академию, причем допустил в этом письме грубую орфографическую ошибку. Впрочем, о Ренуаре говорили, что этот поэт, историк и филолог хорошо знает язык — только не французский, а романский.

Старик Кордье, видя, каким блеском засверкал теперь его пансион, стал вдруг настоящим сахар медовичем и разрешил Виктору сходить в Академию. Сперва его принял Ренуар, весьма ученый и грубый человек; он держал себя с мальчиком развязно, и „Виктор острил, что академик знал правила вежливости не лучше, чем правила орфографии"; зато другие академики обласкали его, особенно старейший среди них — Франсуа де Нефшато, который тринадцатилетним подростком получил премию в царствование Людовика XV; тогда Вольтер посвятил его в поэты, написав ему: „Надо же, чтобы у меня были преемники, и я с удовольствием вижу в вас своего наследника». А теперь Нефшато с восторгом видел себя в роли Вольтера. Этот любезный старик был поочередно, как и многие другие, роялистом, якобинцем, министром в годы Директории, графом в наполеоновской империи. В 1804 году он сказал папе римскому: „Поздравляю вас, ваше святейшество, с тем, что провидение избрало вас для коронования Наполеона"; в 1816 году он наивно удивлялся, что Людовик XVIII не назначил его пэром Франции. Ривароль так определил его произведения: „Проза, в которую затесались стихи". В ту пору, когда юный Гюго познакомился с Нефшато, тот уже отказался и в жизни и в стихах от всяких эпопей, благоразумно сажал в своем огороде картофель и пытался вернуть ему прежнее название — „пармантьер". Встреча с этой старой знаменитостью поразила школьника Виктора Гюго; Нефшато рассказывал о 18 брюмера, но говорил при этом только о себе. Тогда мальчику впервые открылась самовлюбленность литераторов.

Газеты заинтересовались чудо-ребенком. В пансионе

число его подданных возросло за счет почитателей Эжена, и тот начал завидовать. Неприятно, когда другой опередит тебя, особенно если удачливый соперник младше тебя. Впрочем, победитель вел себя скромно. Свое первое напечатанное произведение он посвятил своему первому учителю, господину ла Ривьеру:

Учитель дорогой, принять
Прошу мой робкий стих — и замираю.
Ты первый научил, уроки мне давая,
Мой неокрепший ум свободно направлять.
Лишь оттого я песни смог слагать;
И лишь тебе их посвящаю[1].

Стушевываясь перед Феликсом Бискара, тоже поэтом, но не лауреатом, он писал:

Когда тебе венок подарит Аполлон
И кану в вечность я, в печальный, тихий сон,
В своих стихах ты вспомнишь про меня...

Однако он скромничал просто из вежливости. В своем дневнике он говорил более искренне. 14 июля 1816 года он пишет: „*Хочу быть Шатобрианом или ничем*“. Выбор имени легко понять. С 1789 года Франция, упивавшаяся древне-римской риторикой, стремилась к величию. После Верньо, Демулена, Робеспьера властителем дум молодежи был Бонапарт. С падением Наполеона образовалась пустота, и надо было найти иную пищу для этой жажды славы. В старике короле с распухшими от подагры ногами не нашлось ничего, способного вызвать восторг; вера в господа бога у сыновей вольтерьянцев отнюдь не была горячей. Молодые левиты, ронявшие слезы умиления на теплые гетры Людовика XVIII, не отличались искренностью. Выросшие „под шум чудес, совершавшихся императором...“, „вскормленные бюллетенями о победах императора“, они не забывали то время, когда Франция была владычицей Европы. Но ведь им нужно было найти что-нибудь достойное любви и в новом времени. И только один Шатобриан был для них поэтической фигурой, связующей настоящее с прошлым. Величие? У кого же было его больше, чем у этого гениального человека с благородными и презрительными манерами, писателя, всегда живописующего себя в борениях с бурями океана и ударами судьбы, украшающего христианство всем очарованием искусства, а монархию — всем престижем вер-

[1] Пер. Г. Кружкова.

ности? После Наполеона юноши тосковали об эффектных позах, а надменное одиночество Шатобриана было эффектным.

Тут Виктор Гюго впервые оказался не согласен с матерью. Его восхищала „Атала“, а Софи Гюго, женщину XVIII века, забавляла „Ала-ла“, глупая пародия на этот роман. Маловероятно, что Шатобриан знал первые опыты Виктора Гюго. Он редко бывал в Академии, читать же предпочитал древних римлян и греков, в этом он, конечно, был прав. Однако юные братья Гюго со дня знаменитого упоминания поэмы Виктора пребывали в лихорадочном, радостном волнении. Господин Франсуа де Нефшато пригласил Виктора к себе на обед, затем поручил ему навести в Национальной королевской библиотеке некоторые справки о „Жиль Блазе“, и Виктор привлек к этим изысканиям Абеля, который лучше его знал испанский язык. В пансионе Кордье швейцар получил распоряжение свободно выпускать этого необычайного ученика. В колледже Людовика Великого, где он проходил курс наук, оставшись в интернате Кордье, профессор философии Могра, острослов, либерал, хотя в то время было днем с огнем не сыскать либералов, направляя его в 1817 году на конкурсные экзамены в университет, сказал: „Я рассчитываю на вас. Если уж кто заслужил упоминания Академии, то в университете его по меньшей мере ждет награда“. Виктор не получил никакого отличия на экзамене по философии, где ему пришлось развивать доказательства существования бога, зато ему дали похвальный лист по физике за письменную работу на тему, данную Кювье: „*Теория росы*“. У него были большие способности к естествознанию и математике. „Все мое детство было долгим мечтанием, к которому примешивались занятия точными науками... Впрочем, между точным и поэтичным нет никакого несоответствия. Число играет в искусстве такую же роль, как и в науке...“

Летние каникулы в 1817 году „были для Виктора сплошным праздником“, все друзья поздравляли его с литературными успехами. Абель, видя, что военная карьера закрыта для него, расстался с мундиром и занялся коммерческими делами, продолжая, однако, писать. У него были небольшие деньги, и он организовал ежемесячные литературные вечера, на которых приглашенные, сплошь юноши, должны были читать свои новые произведения. Виктор никогда не пропускал этих вечеров. Эжен, отличавшийся капризным и странным нравом (Феликс Биска-

ра, друг обоих братьев, называл его „Бесноватый"), в большинстве случаев отказывался от приглашения и запирался у себя в пансионе. Для одного из этих чтений Виктор в три недели набросал повесть „Бюг-Жаргаль" о восстании в Сан-Доминго, поразительную по четкости рассказа, по умению достигать большого эффекта скупыми средствами и во многих местах не уступающую лучшим новеллам Мериме. Тут открылся прирожденный писатель, уже достигший известного мастерства. Все три брата Гюго мечтали основать совместно литературный еженедельник — „Ле Леттр бретон", но двое из них еще учились в школе, да и не находилось издателя для этого журнала.

В течение всего 1817 года продолжалась открытая борьба Эжена и Виктора с их теткой, госпожой Мартен-Шопин. Эта злая фея не позволяла им даже провести у матери день Нового года. Братья писали ей саркастические письма.

Двадцать первого мая 1817 года она получила следующее письмо: „Сударыня, позвольте напомнить вам, что мы с 1-го числа сидим без денег. Так как наши потребности не уменьшились, мы вынуждены были войти в долги. Посему просим вас прислать шесть франков, кои причитались нам, а именно: три франка — к 1 мая и три франка к 15 мая; просим также прислать парикмахера и поговорить с госпожой Дежарье относительно нашей обуви и головных уборов. Примите, сударыня, уверения в чувстве почтения и признательности, которые вы заслуживаете с нашей стороны.

Виктор Гюго, Эжен Гюго".

Абель, который до этого был любимцем генерала, храбро вмешался в конфликт и выступил на защиту братьев.

Абель Гюго — генералу Гюго, 26 августа 1817 года: „Всякий другой гордился бы такими детьми, а ты видишь в них негодяев, озорников, способных опозорить имя, которое ты сделал почтенным своими ратными подвигами... Нет, отец, я знаю тебя — ты написал роковое письмо, но продиктовало его тебе не твое сердце,— ты еще любишь своих детей. Злой гений, исчадие ада, демон, коего ты должен был бы признать виновным в твоих несчастьях, а не наша достойная мать, ослепляет тебя, — и ты видишь признаки ненависти там, где должен был бы най-

ти доказательства любви, если бы решился приблизиться к сердцам, нежно любящим тебя... Настанет день, когда ты увидишь в истинном свете адское созданье, о котором я говорю, придет час нашего мщения; мы вновь обретем своего отца..."

Катрин Тома, или „*Мадам*", как называл ее в своей переписке генерал Гюго, возмутившись письмом Абеля, добилась, чтобы ее любовник не ответил ему. Пропасть, отделявшая отца от трех его сыновей, все ширилась. 3 февраля 1818 года произошло важнейшее событие: суд вынес приговор, утверждавший раздельное жительство супругов Гюго. Дети оставались при „госпоже Требюше", и она должна была получать от мужа содержание в сумме трех тысяч франков. Эжен и Виктор пробыли в пансионе до августа. Затем они послали отцу почтительное письмо, в котором просили у него разрешения поступить на юридический факультет, так как юриспруденция — кратчайший путь к прибыльной карьере. *20 июля 1818 года Виктор Гюго писал*: „Дорогой папа, ты, конечно, понимаешь, что нам нельзя дольше оставаться у господина Декотта — ведь мы уже закончили курс учения. Просим тебя выдавать нам на наши расходы по восемьсот франков каждому. Хотелось бы попросить меньше, но ты поймешь, конечно, что это для нас невозможно, — ведь ты сейчас даешь нам по триста франков, а когда добавишь пятьсот франков, то просимой суммы лишь при строжайшей экономии хватит нам на расходы по питанию, на покупку книг, плату за правоучение и т. д.".

Генерал проявил щедрость, если учесть, что он сам был в стесненных обстоятельствах: „Я вовсе не нахожу ваши притязания чрезмерными... Поступайте на юридический. Я отдам распоряжение, чтобы вам высылали по восемьсот франков, в месячных долях..."

В августе оба брата, ликуя, расстались с пансионом Декотта и Кордье и поселились у матери, в доме № 18 по улице Пти-Огюстен. Квартира их находилась на четвертом этаже и была меньше, чем прежняя, на улице Шерш-Миди, сумма содержания, выплачиваемая отставным генералом с половинным окладом пенсии, не позволяла снять квартиру с садом. Из окна своей комнаты братья Гюго видели двор Музея, весь загроможденный гробницами королей Франции, которых Революция изгнала из их усыпальниц в аббатстве Сен-Дени. Сидя друг против друга за маленьким столом, юные поэты целыми

днями сочиняли стихи. В шестнадцать лет Виктор Гюго написал стихотворение „Мое прощание с детством“:

Что стало с этою порой?
Вернее, что со мною стало?
Я — как безумец, что устало
И тщетно разум ищет свой...[1]

Он сетовал, что приближается старость, и в утешение себе взывал к славе, постоянному предмету своих мечтаний.

О Слава, гений всемогущий,
Певцам своим в дали грядущей
Ты даришь место, возлюбя;
К тебе — все помыслы и цели;
Так сделай так, чтобы сумели
Мои стихи достичь тебя[2].

Был на свете человек, нисколько не сомневавшийся, что слава придет к поэту: мать крепко верила в великое будущее своего сына.

II

Первые вздохи

Нет ничего прекраснее веры любящей матери в гениальность своих детей. Госпожа Гюго не принуждала своих сыновей к занятиям юриспруденцией. Ведь изучение права было просто ширмой, закрывающей их от отца. В действительности Эжен и Виктор в течение двух лет, которые они провели на юридическом факультете, хоть и платили за „правоучение“, но на лекции не ходили и не сдали ни одного экзамена. Мать, уже гордившаяся будущим триумфом сыновей, не хотела, чтобы они готовились к карьере адвокатов или чиновников, — нет, Софи Гюго мечтала, что они станут великими писателями. Ни больше, ни меньше. День за днем она предоставляла им спокойно работать в их комнатушке с окном во двор, населенный статуями королей, возлежащих на своих гробницах. Мать и сыновья выходили после обеда прогуляться, и можно себе представить эту трогательную картину: „Софи Гюго, женщина строгого облика, подобная матери Гракхов, одетая в парадное свое платье амарантового цвета, с кашемировой, затканной пальмовым узором,

---

[1] Гюго В. („Оды и баллады“). Пер. Г. Кружкова.
[2] Гюго В. Жажда славы („Океан“ VI). Пер. его же.

шалью на плечах, выступала неторопливо, а по бокам матери двое юношей, любящие и покорные ее сыновья. Каждый вечер они ходили пешком на улицу Шерш-Миди, где в здании Тулузского подворья по-прежнему квартировал Пьер Фуше, хотя теперь он уже был начальником отдела в военном министерстве.

Гостей принимала госпожа Фуше, дама набожная, кроткая, моложавая, и ее дочь Адель, похожая красотой на испаночку, — когда-то она была товарищем в детских играх трех братьев Гюго.

Tres para una.[1] Теперь им не верилось, что десять лет тому назад они катали эту очаровательную девушку в тачке по дорожкам сада на улице Фельянтинок и „заносили“ на качелях. Госпожа Гюго доставала из мешочка рукоделье и принималась за работу, так же как госпожа Фуше и Адель. Фуше, человек худой, аскетического вида, с ермолкой на голове и в люстриновых нарукавниках, садился поближе к свече и рылся в папках с делами. Эжен и Виктор, вышколенные матерью, привыкли молчать, пока к ним не обратятся, но в эти безмолвные вечера, когда слышалось только, как потрескивают дрова, горящие в камине, им совсем не было скучно — они смотрели на Адель, склонявшую голову над шитьем, они не могли наглядеться на „ровные дуги черных бровей, на алые губки и золотистые веки“, — ведь оба были в нее влюблены. А она если и посматривала иногда украдкой на одного из них, то, конечно, на Виктора: этот белокурый юноша с волосами до плеч, с высоким лбом, с глубоким и простодушным взглядом, производил впечатление уверенной в себе силы и был уже знаменит в их маленьком мирке. Верный друг, Феликс Бискара, переехавший из Парижа в Нант, почти что почтительно писал своему воспитаннику: „Когда-нибудь вы займете место в ряду лучших наших поэтов. Я как будто слышу Расина“, а в другом письме он сказал: „Вы всегда пишете хорошо, но на этот раз вы написали лучше, чем хорошо...“ Однако юный поэт знал, что истинную славу трудно завоевать. Он мог бы уже и в этом возрасте писать хорошие стихи. Упражнения, которыми послужили для него переводы поэтов Древнего Рима, научили его гибкости в стихосложении. Трудолюбия у него было достаточно; он обладал также врожденным чувством языка. Он овладел формой стиха, она у него уже была прекрасна, но не наполнена

[1] Три и одна (исп.).

содержанием. „Сын госпожи Гюго и Реставрации“ еще не нашел в 1819 году горячего сплава, который его дарование могло бы вливать в приготовленные им изложницы. Достигнуты первые успехи на академических конкурсах, и его подстерегал опасный соблазн — идти и дальше по этому легкому пути, что сделало бы его рабом моды. Жаргон французской поэзии был тогда мертвым языком. Вместо того чтобы сказать: „Военной славе можно предпочесть радости любви“, полагалось писать примерно так:

Пояс Киферы
Не хуже эгиды Паллады!

„Идеалом считалось традиционное сочетание благородного прилагательного с благородным существительным“: *сладостный мир, целомудренная любовь, святая и чистая дружба.* Что касается сюжетов, то во времена широко развернувшейся реакции они диктовались молодому поэту его политической позицией. Что мог бы Виктор Гюго сказать, будь он искренним? Несомненно, в его творчестве отразились трагические впечатления детской души, слишком рано впитавшей страшные картины, и чувственные мечтания юноши, чистого в жизни, сладострастного в воображении. В пансионе Декотта и Кордье он сочинял для собственного удовольствия анакреотические стихи:

Сон, ты влюбленных утешенье,
Хоть и бежишь от их очей;
Мужья тебя зовут для мщенья,
Но усыпляешь ты — мужей.

Приходят к парижанам в гости
Сны в двери разные, поверь, —
К влюбленным — в дверь слоновой кости,
К ревнивцам — в роговую дверь.

Мне снилось, Хлою я в объятья
Привлек, — и так был упоен,
Что, право же, не мог бы спать я,
Коль стал бы явью дивный сон[1].

Это напоминало Бертена и Парни, было не лучше и не хуже, чем у них. Что касается Академий, они требовали помпезных од, украшенных риторическими фигурами, апострофами и прозопопеями, насквозь пропитанных возвышенными чувствами, или же (предел академической

[1] Гюго В. Во сне („Оды и баллады“). Пер. И. Шафаренко.

фантазии), — экзотических пасторалей, вдохновленных творениями Шатобриана и смутно их напоминавших. „Индианка Канады, подвешивающая к ветвям пальмы колыбель своего ребенка“ и „Дочь Таити“ были опытами Гюго в этом духе, стихотворной переделкой романа „Атала“.

Вскоре он завязал отношения с Литературной академией в Тулузе, с которой еще была связана память о трубадурах и о Клеманс Изор, что придавало ей ореол старины, — она венчала поэтов, побеждавших на состязании, и под звуки флейт в награду за труды преподносила им золотые и серебряные фиалки, ноготки или амаранты. Эжен послал на конкурс „Оду на смерть герцога Энгьенского“ и получил „ноготки из резерва“. Молодые поэты чувствовали, что в капитолии Тулузы им оказывают более радушный прием, чем во дворце Мазарини. Виктор Гюго представил также „Оду о верденских девах“, казненных во время Революции за то, что они появились на балу, который дали пруссаки; кроме того он принял участие в конкурсе стихов на предложенную тему — „Восстановление статуи Генриха IV“. До последнего дня он не смог взяться за перо, так как ухаживал за матерью, заболевшей бронхитом; больная приходила в отчаяние, что сын упускает случай выдвинуться, и тогда он за одну ночь написал оду:

Геройством равен ты Баярду, Дюгеклену,
Земному неподвластен тлену,
И чтит тебя весь наш народ.

Нерасторжимые с тобой нас вяжут узы,
С любовью этот дар приносим мы, французы,
Защитнику вдов и сирот[1].

Школьное упражнение, показавшее, однако, столь очевидное мастерство в употреблении александрийского стиха вперемежку с восьмисложником, в ритмическом равновесии мысли и стиха, что оно принесло поэту Золотую лилию — первую премию на этом конкурсе, где он одержал победу над многочисленными соперниками, в том числе и над Ламартином, который был старше его на десять лет. Член Тулузской литературной академии Александр Суме написал Виктору Гюго письмо, расхвалил его „прекрасный талант“ и уже заговорил о „чудесных надеждах“, которые он внушает французской литературе: „Если Академия разделяет мои чувства, то

[1] Пер. М. Донского.

у Клеманс Изор не хватит лавровых венков для двух братьев-поэтов. Здесь, в Тулузе, у вас одни лишь поклонники, и им с трудом верится, что вам всего семнадцать лет. Для нас вы загадка, тайну которой знают лишь Музы...“ Эта жеманная похвала исходила от писателя, известного не только в Тулузе, но и в Париже, — его даже именовали „наш великий Александр“. Суме весьма любезно встречал начинающих поэтов. „В нем все дышало поэзией. Казалось, сердце его переполнено чувством любви к людям“. В 1811 году (то есть в возрасте двадцати пяти лет) он получил большой Золотой амарант за свою „Оду на рождение Короля Римского“. С переменой политического строя меняются и сюжеты. После возвращения короля Франции Александр Суме счел за благо удалиться на некоторое время в Тулузу и написать там оду „Хвала Людовику XVI“. „Можно, — говорил он, — видеть в этом воздействие политических событий“. Разумеется, можно.

Суме, только еще приспособлявшийся в ту пору к монархии Бурбонов, редко бывал в Париже, но у него были там друзья, с которыми он познакомил и Виктора Гюго. Он ввел его в дом крупного чиновника удельного ведомства Жака Дешана де Сент-Аман, любезного и образованного старика, при котором жили два его сына, оба поэты, — Эмиль и Антони Дешан. Вокруг них собралась группа писателей лет тридцати — все они были буржуа, католики и монархисты. Среда обычная, но в ней много говорили о Гете, о Байроне, о Шиллере, о Шатобриане. Считалось, что Германия и Англия опередили всех в области литературы, так как Франция с 1789 по 1815 год занималась только войнами. В салоне Дешанов мечтали о новой поэзии, там всех волновали посмертно изданные произведения Андре Шенье, опубликованные Анри де Латушем; знатоки восхищались, находя в них совершенно новые ритмы и простоту интонаций, свойственную подлинной античности. К белокурому юноше, Виктору Гюго, люди, уже преуспевшие в литературе, относились, как он видел, серьезно, называли его „дорогой собрат“. Он этому не удивлялся, ибо полон был спокойной веры в себя, которую дает сознание своей силы. В сентябре 1819 года, идя по стопам Шатобриана, напечатавшего в своей газете „Консерватор“ статью о Вандее, юный Гюго, вандеец по матери, написал оду „Участь Вандеи“ и дерзнул посвятить ее Шатобриану. У великодушного Абеля имелся приятель-

типограф, ода была напечатана. Расходилась она плохо. Но в Париже о ней говорили.

Одна черноглазая девушка с волнением следила за быстрым взлетом своего друга. То была Адель Фуше. Как-то раз, когда они сидели одни под высокими каштанами, она сказала ему: „У тебя, наверно, есть какие-нибудь секреты. И наверное, есть среди них самый важный секрет". Он подтвердил это. „И у меня так, — сказала Адель. — Ну вот, слушай: скажи мне свой самый важный секрет, а я тебе скажу свой". — „Мой важный секрет, — ответил Виктор, — это то, что я тебя люблю". — „И мой важный секрет — это то, что я тебя люблю", — повторила она. Разговор происходил 26 апреля 1819 года. Оба влюбленных были робкими и благоразумными созданиями, он — пылкий и серьезный, она — очень благочестивая. Любовь их оставалась невинной и от этого окрепла еще больше. „После твоего ответа, моя Адель, я не уступлю в храбрости льву".

Фуше провели лето в Исси, в окрестностях Парижа, Виктор иногда ходил туда вместе с матерью, а остальное время думал об Адели. „*Сердечная склонность обратилась в неодолимое пламя*". Зимою 1819—1820 года завязалась переписка. Виктор, читавший и „Вертера" и „Рене", Тибулла и Катулла, переводивший любовные стихи Горация, горел втайне страстью; Адель, семнадцатилетняя буржуазка, получившая строгое воспитание, стыдилась своей любви, как „греха". Она была горда, что в нее влюблен молодой человек, уже стоявший на пороге славы, но стыдилась своих свиданий с ним и тайной своей переписки, — бедняжка боялась родителей и духовника. В декабре 1819 года, когда Виктор принес ей поэму „Первые вздохи", написанную для нее, и попросил в обмен подарить ему двенадцать поцелуев, — она сначала обещала, потом стала торговаться и поцеловала его только четыре раза.

Я жду награды, изнемог!
Но твой стыдливый страх, борясь с твоей любовью,
Расплаты отдаляет срок[1].

Виктор, сформировавшийся под влиянием матери, относился к жизни серьезно. Он уже и в те дни стал думать о женитьбе и не хотел компрометировать свою невесту. „*Влюбленный, ты будешь супругом, храни для се-*

---

[1] Гюго В. Молодой изгнанник („Оды и баллады"). Пер. М. Донского.

бя ее чистоту". Он простирался ниц у ног этой девочки: „Так это правда? Ты любишь меня, Адель? Да неужели мне можно поверить в это чудо? Какое счастье ты мне подарила! Прощай, прощай. Сладко мне будет спаться нынче ночью, — я буду видеть тебя во сне. Спи крепко и помни, что ты обещала своему мужу поцеловать его двенадцать раз..." Адель отвечала ему иногда в письмах как влюбленная женщина, но гораздо чаще как примерная девочка, которую бранит мать. Госпожа Фуше заявила, что она „очень недовольна", зачем ее дочь выражает симпатию молодому человеку.

Адель — Виктору: „Ведь это очень плохо, Виктор, когда дочь хочет, чтобы мать ушла куда-нибудь... Я просто в отчаянии, — хочу молиться, но молюсь только устами, а вся моя душа стремится к тебе. Это, конечно, прискорбно... Чуть только моя дорогая матушка отвернется, я ее обманываю — берусь за перо..." И она умоляла Виктора быть осторожным. Хоть и с сожалением, но он это обещал ей.

Виктор Гюго — Адели Фуше, 19 февраля 1820 года: „Думаю, что теперь мы действительно должны соблюдать на людях величайшую сдержанность друг с другом; лишь ценою долгой внутренней борьбы я мог решиться посоветовать тебе выказывать мне холодность, — мне, твоему суженому, твоему Виктору, который отдал бы все на свете, чтобы избавить тебя от малейшего огорчения; да еще я должен принудить себя не садиться больше рядом с тобой. И вот, дорогая моя подруга, заклинаю, сжалься над несчастным ревнивцем, сторонись других мужчин так же, как будешь сторониться меня самого. Больше меня не увидят в соседстве с тобою, так пусть же мне хоть малым утешением будет то, что другим не достанется счастье, от которого я в твоих интересах вынужден отказаться. Будь около своей матушки, находись среди других женщин, Адель, дорогая моя, если бы ты знала, как я тебя люблю! Я не могу видеть, как другой хотя бы просто приближается к тебе, — весь я тогда трепещу от зависти и нетерпения: мышцы мои напрягаются, вздох поднимает грудь, и мне нужна бывает вся моя сила и осмотрительность, чтобы сдержать себя..."

Однако 28 декабря они с разрешения родителей и в сопровождении младшего брата Адели (Поля Фуше) были во Французском театре, где давали в тот вечер „Гамлета". „Скажи мне, дорогая, запомнилось ли тебе что-нибудь из этого чудесного вечера? Помнишь, как мы долго

ждали твоего брата на соседней с театром улице и как ты мне сказала тогда, что *женщины любят сильнее, чем мужчины*? И помнишь ли ты, что весь вечер во время представления твоя рука опиралась на мою руку? Я говорил тебе о неизбежных несчастьях, грозящих человеку,— и они действительно вскоре обрушились на нас...“

Однажды Адель спрятала письмо за корсаж платья, и, когда наклонилась, чтобы обуться, оно выпало. Госпожа Фуше спросила: „Что это такое? Скажи мне. Я требую“. Девушка рассказала, как сильно Виктор любит ее, и призналась, что они решили пожениться. Мать обсудила положение с мужем, и они пришли к выводу, что возможны только два выхода: или помолвка, или разлука. Пьер Фуше был не прочь выдать дочь за Виктора. С генералом наполеоновской империи, хоть и переведенным на половинную пенсию, все же лестно было породниться. Кроме того, Фуше верил в будущие успехи юноши и знал, какого мнения держатся о нем умные люди. Но следовало выяснить дело начистоту, а то кругом уже пошли толки. Адель написала Виктору: „Все кумушки в нашем квартале смеются надо мной, и хотя их сплетни не погубят меня, они все же очень мне вредят. С другой стороны, как мне не упрекать себя — я нехорошо поступаю с матушкой, а ведь я люблю ее, я все готова сделать ради нее... Ах, дорогой Виктор, как я виновата перед ней! Я не удивлюсь, если ты, при таком моем поведении, станешь презирать меня...“

Он был очень далек от презрения, но стремился властвовать над ней и даже давал ей уже супружеские наставления.

„Теперь ты дочь генерала Гюго. Не делай ничего недостойного тебя. Не допускай, чтобы с тобой держали себя неуважительно; мама очень щепетильна в этом отношении...“ А сам он был еще щепетильнее: „Одной булавкой меньше заколота у меня косынка — и он уже сердится, — говорила Адель. — Самая легкая вольность в языке его коробит. А можно себе представить, какие это были „вольности“ в целомудренной атмосфере, царившей в нашем доме; матушка и мысли не допускала, чтобы у замужней женщины были любовники, — она этому не верила! А Виктор видел везде опасность для меня, видел зло во множестве всяких мелочей, в которых я не замечала ничего дурного. Его подозрения заходили далеко, и я не могла все предвидеть...“

Виктор Гюго — Адели Фуше, 4 марта 1822 года: „Моя дорогая, милая моя Адель. Мне надо кое-что сказать тебе, но я смущаюсь. Не сказать нельзя, а как приступить — не знаю... Я хотел бы, Адель, чтобы ты меньше боялась испачкать грязью подол платья, когда ходишь по улице. Я только вчера, но с большой грустью заметил, какие предосторожности ты принимаешь... Мне кажется, что стыдливость важнее, чем платье. Не могу выразить, дорогой друг, какой пыткой было для меня то, что я испытал вчера на улице Сен-Пер, когда увидел, как на тебя, мою чистую, целомудренную, мужчины бросают бесстыдные взгляды. Мне хотелось предупредить тебя, но я не смел, не находил в замешательстве нужных слов. Не забывай того, что я написал здесь, если не хочешь поставить меня перед необходимостью дать пощечину первому же наглецу, который дерзнет разглядывать тебя..."

Очень любопытны эти письма к невесте, полные „благонравия, избитых истин", написанные „с искренностью влюбленного пай-мальчика" и „добродетельной выспренностью". Язык их — „шаблонный в годы Реставрации"... Но разве мог этот юноша быть вне своего времени и своей среды? И как он дерзнул бы сказать этой набожной и чистой девочке, что за мысли приходят ему на ум? Близ Адели его томило желание, сочетавшееся с глубокой почтительностью к невесте, и он не знал, куда деваться от смущения. Она замечала эту скованность и дурно ее истолковывала. „Мало того, что я совсем больна от огорчений и тоски! — жаловалась несчастная Адель. — Я еще, оказывается, докучаю тебе в те краткие мгновения, когда ты бываешь со мной..." „Скука запечатлена на твоем лице и в каждом твоем слове..." Сколько терзаний! У него даже явилась мысль в духе Вертера: не может ли он жениться на Адели, быть ее мужем лишь одну ночь, а наутро покончить с собой? „Никто не мог бы упрекать тебя. Ведь ты была бы моей вдовой... За один день счастья стоит заплатить жизнью, полной несчастий..." Адель не желала следовать за ним по пути столь возвышенных страданий и возвращала его к мыслям о соседских сплетнях на их счет. Мать говорила ей: „Адель, если ты не перестанешь, если не прекратятся толки о тебе, я вынуждена буду поговорить с Виктором или, пожалуй, с его матушкой, и ты окажешься причиной, дочь моя, что я поссорюсь с той, которую я люблю и очень уважаю..."

Какой ужас объял Виктора, когда 26 апреля 1820 года, утром, в годовщину взаимного объяснения в любви, супруги Фуше с торжественным видом пожаловали к госпоже Гюго и попросили уделить им время для серьезного разговора. Софи Гюго была матерью страстной, она ревновала своего сына и гордилась им. *Она* знала, она нисколько не сомневалась, что Виктора ждет блистательная слава. Кроме этого, он был сыном генерала графа Гюго. Неужели он испортит себе жизнь, женившись в восемнадцать лет на Адели Фуше? Нет, „пока мать жива, этому браку не бывать".

Естественным, неизбежным следствием этой оскорбительной враждебной позиции была холодность, „почти что ссора". Виктора позвали в гостиную и сообщили ему о разрыве. В присутствии стариков Фуше он сдержал свое горе, но не отрекся от своей любви. Они ушли. „Видя, что я бледен и не говорю ни слова, мать принялась утешать меня с необычайной нежностью; я выбежал из комнаты и, когда остался один, плакал долго и горько..." Ему и на ум не приходила мысль поколебать решение матери. Он знал, что она „непреклонна и неумолима", и „ненависть ее так же нетерпима, как пламенна ее любовь..." Что касается бедняжки Адели, то родители, вернувшись домой, просто сказали ей, что она никогда больше не увидит ни графини Гюго, ни Виктора. Любил ли он ее еще? Она этого не знала. Родители заявили, что он *отказался* бывать у них. Между влюбленными опустился занавес молчания.

III

„Литературный консерватор"

Гюго, как и подобает настоящему поэту, был первоклассный критик.

Поль Валери

Любовь не задалась; он искал утешения в работе. Абель решил, что трем братьям Гюго надо наконец издавать свой журнал. Шатобриан, их учитель, назвал свой журнал „Консерватор", — а их журнал будет называться „Литературный консерватор". Он выходил с декабря 1819 года по март 1821 года и в основном составлялся Виктором. Абель написал несколько статей; обидчивый Эжен держался в стороне и содействовал немногим — дал не-

сколько стихотворений. Бискара писал Виктору из Нанта, заклиная его заставить брата работать: „А иначе он погибший человек...“ Только благодаря кипучей энергии младшего брата журнал получал пищу; под одиннадцатью псевдонимами Виктор Гюго напечатал там за шестнадцать месяцев двенадцать статей и двадцать два стихотворения.

Просматривая номера „Литературного консерватора“, невольно удивляешься уму и образованности этого мальчика. В критике литературной, критике драматургии, в иностранной литературе он проявляет глубокую осведомленность, он, несомненно, обладал подлинной культурой и особенно хорошо знал римскую и греческую античность. Его философские воззрения благородны. О Вольтере, которым он тогда восхищался, он говорил с упреком: „Это прекрасный гений, написавший историю отдельных людей для того, чтобы бросить сарказм против человечества... А ведь это все-таки несправедливо — находить в анналах мировой истории только ужасы и преступления...“[1] Однако в оценке прошлого Гюго и сам проявлял саркастический цинизм, порожденный картинами того времени: «Римский сенат заявляет, что он не будет давать выкуп за пленных. Что это доказывает? То, что у сената не было денег. Сенат вышел навстречу Варрону, бежавшему с поля битвы, и благодарил его за то, что он не утратил надежды на Республику. Что это доказывает? То, что группа, заставившая назначить Варрона полководцем, была еще достаточно сильна для того, чтобы не допустить его кары...“ Сама мысль, четкость стиля, обширные познания — все возвещало в этом юноше крупного писателя. В политике он оставался монархистом:

Ты говоришь: чудак ужасный он —
Нравоученья, спесь, ворчливый тон...
О нет! В шестнадцать лет я ученик.
Я скромно познаю премудрость книг:
Я Монтескье читал, мне люб Вольтер,
А „Хартия“ — в ней строгости пример...
Я консерватор?.. Нет, противник бурь...[2]

В литературе братья Гюго выступали с робким эклектизмом: „Мы не могли понять, какая разница между жанром классическим и жанром романтическим. Для нас

[1] Гюго В. Дневник юного якобита 1819 года.— Собр. соч., т. 14, с. 5.

[2] Гюго В. Ответ на послание королю господина Урри („Оды и баллады“).

пьесы Шекспира и Шиллера отличались от пьес Корнеля и Расина тем, что в них больше недостатков...“ Однако Виктор Гюго имел смелость сказать, что если надо учиться у Делиля, то это учитель опасный. Гюго уже видел худосочие академического эротизма в поэзии. „Для художника любовь — неиссякаемый источник ярких образов и новых мыслей; совсем не то получается при изображении сладострастья — там все материально, и когда вы исчерпаете такие эпитеты, как алебастровый, бело-розовый, лилейный, — вам уж больше и нечего сказать...“ Он требует, чтоб у поэта был „ясный ум, чистое сердце, благородная и возвышенная душа“. У него верное критическое чутье: „Когда же в наш век литература будет на уровне его общественных движений и появятся поэты, столь же великие, как события, коими он отмечен?..“ Юный поэт считал, что пошлость в такую эпоху непростительна, „потому что уже нет Бонапарта, некому привлекать к себе даровитых людей и делать из них генералов“.

В литературе Виктор Гюго восхищался только теми, кто действительно этого был достоин: Корнелем, у которого он находил смелую фантазию, особенно в комедиях; Шенье, которого только что открыл Латуш и над гробом которого свирепствовали в своей критике поборники классицизма; Вальтером Скоттом — влияние которого он предвидел; Ламартином, „Размышления“ которого изданы были в 1820 году: „Вот наконец настоящие поэмы настоящего поэта, стихи, исполненные настоящей поэзии...“ Простота Ламартина поражала Гюго: „Эти стихи поначалу меня удивили, а затем очаровали. В самом деле, они свободны от нашей светской изысканности и нашего заученного изящества...“ В сравнительной оценке Шенье и Ламартина у Гюго есть замечательная фраза: „Словом, если я хорошо уловил различия меж ними, весьма, впрочем, незначительные, то первый является романтиком среди классицистов, а второй — классицист среди романтиков“.

В 1820 году Виктор Гюго носил в кармане записную книжку, в которую заносил свои мысли: „По жизни так же трудно шагать, как по грязи. — Шатобриан переводит Тацита точно так же, как Тацит переводил бы его. — Министры говорят все, что вам угодно, лишь бы делать то, что им угодно...“ Юноше, который набрасывал такие заметки, было восемнадцать лет. В его записной книжке были и такие строки: „Де Виньи говорит, что

когда Суме воодушевляется, его душа прохлаждается у окошечка..." Суме и его тулузские друзья — вулканический Александр Гиро, граф Жюль де Рессегье — играли первостепенную роль в „Литературном консерваторе". Суме, поэт каждой черточкой своего облика, пленял своими длинными черными ресницами, серафическим выражением лица, взбитым коком, которому он тоже умел придать что-то вдохновенное. Он был способен на большую самоотверженность, лишь бы его немедленно подвергли испытанию. „Но с ним, — говорила Виржиния Анселло, — ничего не следовало откладывать на завтра". Гиро „своей живостью напоминал белку и всегда как будто вертелся в колесе...". Виктор Гюго мог считать себя их собратом, ведь его поэтическое мастерство получило признание на конкурсе Литературной академии в Тулузе. Другим ценным сотрудником журнала были братья Дешан, отец которых принимал всю эту молодежь в своих прекрасных апартаментах, Антони — немного странный, Эмиль — нежно любящий сын, верный муж некрасивой жены, „очаровательный, чересчур очаровательный человек". „Этот поэт — светило? Нет, — свечка", — говорил он о Жюле Рессегье. Остроту обратили против него самого.

В 1820 году Эмиль Дешан познакомил Виктора Гюго со своим другом детства Альфредом де Виньи, красавцем сублейтенантом королевской гвардии и поэтом, который, однако, еще не печатался. Вначале отношения были церемонными, новые знакомые называли друг друга: господин де Виньи, господин Гюго, Виньи состоял в гарнизоне Курбевуа, Гюго пригласил его к себе домой: „Вы, надеюсь, заглянете к нам. Поскучайте с нами, зато доставите нам удовольствие". Что это — показное смирение? Конечно, но юноше было и немного страшно принять в своем доме человека, старше его на пять лет, блестящего гвардейского офицера, гордого своей родовитостью. Напрасные страхи,— Виньи, которому уже начали надоедать золотые эполеты и длинная сабля, стал другом не только Виктора Гюго, но и Абеля, и „Неустрашимого Гарольда", как он называл Эжена. „Вы же видите, что я ужасно соскучился о всех трех братьях, — писал он им. — Приезжайте, у нас будут долгие беседы, за которыми время летит незаметно".

Опять-таки через Дешана Гюго познакомился с Софи Ге и с ее прелестной дочерью Дельфиной, которая еще подростком писала стихи, казавшиеся, благодаря ее кра-

соте, восхитительными; через Виньи он познакомился с лучшими его друзьями — Гаспаром де Понс и Тейлором, офицерами того же полка, Понс был поэтом, а Тейлор просто любителем литературы. Но, разумеется, больше всего Гюго хотелось встретиться с Шатобрианом. „Гений христианства“, „очаровавший его своей музыкальностью и красочностью“, открыл ему некий поэтический католицизм, „хорошо сочетавшийся с архитектурой старинных соборов и величественными библейскими образами...“. Гюго быстро перешел от вольтерьянствующего роялизма своей матери к христианскому роялизму Шатобриана, надеясь, что это немного сблизит его с семейством Фуше, где все были набожными католиками. Когда убили герцога Беррийского, Виктор Гюго написал на его смерть оду, которая произвела большое впечатление; одна строфа ее исторгла слезы у престарелого Людовика XVIII.

Спеши, седой монарх, недолог счет мгновеньям:
Бурбонов юный сын отходит в мир иной.
Он для тебя был всем — надеждой, утешеньем, —
И ты глаза ему закрой[1].

Обращение к отцу умершего — банальный риторизм, но в те времена у монархии не было ничего лучшего, и выраженное в стихотворении чувство растрогало короля; он приказал вручить юному поэту награду в пятьсот франков. Депутат парламента, монархист Ажье, поместил в „Белом знамени“ статью об этой „Оде“ и привел отзыв Шатобриана о Гюго: „Чудо-ребенок“. Действительно ли Шатобриан произнес эти слова? Доказательств не имеется. Сам виконт Шатобриан морщился, когда ему об этом напоминали. Однажды вечером, в 1841 году, в салоне госпожи Рекамье, граф Сальванди, которому в скором времени предстояло произнести речь о принятии Гюго в Академию, сказал Шатобриану: „Я ограничусь парафразами вашего прекрасного отзыва: „чудо-ребенок“. — „Но я никогда не говорил этой глупости!“ — нетерпеливо воскликнул Шатобриан.

Как бы то ни было, Ажье повел Виктора Гюго в дом № 27 по улице Сен-Доминик, и прием состоялся — такой, каким он только и мог быть: остроносая госпожа Шатобриан сидела на диванчике, не шелохнувшись и не открывая рта; Шатобриан, в черном сюртуке, хилый, ху-

[1] Гюго В. Смерть герцога Беррийского („Оды и баллады“). Пер. И. Шафаренко.

денький, сгорбленный, стоял прислонившись к камину и старался выпрямиться во весь рост. Постаревший Рене не жалел похвал, „однако ж и в его позе, и в интонациях голоса, и в манере раздавать чины писателям было нечто властное и столь величественное, что Виктор Гюго почувствовал себя скорее униженным, чем пришел в восторг. Он смущенно бормотал в ответ что-то невнятное, и ему очень хотелось поскорее уйти..." По настоянию матери, он приходил к Шатобриану еще несколько раз, но и эти посещения не порадовали его, за исключением одного забавного визита, когда он был допущен поздним утром в час пробуждения виконта и удостоен любопытного зрелища — к удивлению своего ученика, Шатобриан при нем принимал душ, а затем слуга растирал его нагое тело. У старого Волшебника была манера делать грозные паузы, отчего беседа затихала, и с ледяной учтивостью показывать, что ему скучно... „Он внушал больше почтения, чем симпатии; люди чувствовали, что перед ними гений, а не просто человек..."

Литература нередко бывает для писателя способом передать своим любимым то, чего он не может им сказать. Гюго каждый месяц посылал господину Фуше очередной выпуск „Литературного консерватора", в котором помещал хронику о мелких административных распоряжениях министерств, как будто они были важными мероприятиями, — он надеялся, что журнал попадет на глаза Адели. Там он напечатал элегию „Молодой изгнанник", в которой ученик Петрарки Раймон Асколи, изгнанный отцом за его любовь к юной девушке, говорит, что он покончит с собою:

Я смею вам писать. Увы, как это мало!
Что передаст вам гладь бумажного листа?
Ведь наша нежность так чиста,
Что в час свидания нас робость обуяла
И слова не смогли произнести уста...[1]

Этих стихов не постыдился бы и Лафонтен. Прочитала ли их Адель? Гюго попытался также выразить свою любовь и в прозе — написал неистовый роман „Ган Исландец", в котором изобразил себя под именем Орденера и Адель в образе Этель. „Душа моя была полна любви, скорби и молодости; я не осмеливался доверить ее тайны ни одному живому созданию и выбрал немого наперсника — бумагу..."

---

[1] Гюго В. Молодой изгнанник („Оды и баллады"). Пер. И. Шафаренко.

Незаконченный „Ган Исландец“ не мог быть напечатан в „Литературном консерваторе“, ибо журнал скончался в марте 1821 года или, точнее, слился с «Летописью литературы и искусств“. Слияние является для журналов наиболее почетной формой самоубийства. Для „чудо-ребенка“ „Литературный консерватор“ был полезным опытом. „Годы журналистики (1819 и 1820),— писал Сент-Бев,— были в его жизни решающим периодом: любовь, политика, независимость, рыцарские чувства, религия, бедность, слава, приобретение знаний, борьба против судьбы во всю силу железной воли — все оказывало свое воздействие, все задатки проявились сразу, разрослись и достигли той высоты, которая свойственна гению. Все запылало, перекрутилось, сплавилось в глубине души на вулканическом огне страстей, под знойным солнцем самой жадной до жизни молодости, — и вот получился таинственный сплав, кипящая лава под крепкой, прочной броней гранита...“ Было в этом юноше что-то другое, большее, чем дарование крупного журналиста, но этим драгоценным даром он обладал и на всю жизнь сохранил искусство придавать повседневному, будничному накал драматичности.

IV

Обручение

Моя мать, женщина сильного характера, научила меня тому, что человек может выдержать любые испытания.

Виктор Гюго

Февраль 1821 года. Влюбленные не виделись уже десять месяцев. Госпожа Гюго все перепробовала для того, чтобы ее сын позабыл Адель: „Она старалась заинтересовать меня светскими развлечениями... Бедная мама! Ведь она сама вложила в мое сердце пренебрежение к свету и презрение к его чванству...“ Он никогда не говорил с ней о своей любви, но мать читала в его глазах, что ни о чем другом он не думает. Никакой возможности непосредственного общения с невестой не было. Однако Виктор знал, что она берет уроки рисования у своей подруги Жюли Дювидаль де Монферье и что к ней она ходит одна.

Как-то раз утром он дождался своей „невесты“ около этого дома и заговорил с ней. Сначала она как будто обрадовалась, потом пришла в ужас: какие еще пойдут толки, если ее встретят с молодым человеком! На Виктора она была немного сердита, ведь он сам, из сыновней покорности, согласился больше не видеться с нею. Он поклялся, что только и мечтает о том, чтобы прийти на улицу Шерш-Миди, если это „возможно и прилично“. Адель возмутили эти слова, „истинная любовь, — подумала она, — не ставит таких условий“. „Ты сумел отвергнуть мою просьбу, прийти к нам...“

Печально положение влюбленных, когда они должны считаться с самолюбием своих родителей. Виктор с горечью воскликнул: „Ради тебя я бросился бы в пропасть; ты остановила меня ледяной рукой...“ Адель обиделась: „Очень, очень хочу, чтобы мама встретила нас и увидела, что я разговариваю с тобой. Тогда она отдаст меня в монастырь, и я буду совершенно счастлива...“ Ссора влюбленных в духе Мольера — в минуту досады они доходят до сарказмов, но остерегаются разрыва. „Прощай, — грозится Виктор, — больше не стану писать тебе, не стану говорить с тобою, больше не увижу тебя. Будь довольна...“ Но через два дня он сказал: „Если, сверх ожидания, тебе захочется еще что-нибудь сообщить мне, ты могла бы написать мне по такому адресу: *„Париж, Главный почтамт, до востребования, господину Виктору Гюго, из Тулузской литературной академии...*“ И разумеется, она написала — еще и еще раз и вновь стала обожаемой Аделью. Записная книжка Виктора Гюго в зиму 1820—1821 года испещрена таинственными заметками: свидания „на улице Драгуна, на улице Эшоде, на улице Вье-Коломбье, в Люксембургском саду (Р.)... Комната — улыбка (х)... Рука — прощанье (Люкс г)...“

Двадцать шестое апреля 1821 года. Двойная годовщина — и счастья и отчаяния. *Виктор — Адели*: „Вот начинается второй год несчастья. Доживу ли я до третьего года?.. А сейчас прощаюсь с тобой, моя Адель. Час уже поздний, ты спишь и не думаешь о локоне своих волос, который подарила мне, а твой муж ежевечерне перед сном благоговейно прижимает его к губам...“ *Адель — Виктору*: „Пишу тебе в последний раз. Отдам тебе эту записочку второпях, потому что за мной следит весь дом Дювидаль. Итак, я больше не увижу тебя, — это невозможно, и больше не буду получать от тебя вестей. Не буду больше обманывать маму, но удовлетворится ли она этим? Не знаю.“

И вдруг нежданная развязка. Госпожа Гюго тяжело заболела. Ей было совсем не полезно жить на четвертом этаже да еще в доме без сада, и в январе 1821 года она переехала в квартиру, снятую Абелем в первом этаже дома № 10 по улице Мезьер. Сыновья, которых она приучила к ручному труду (и к тому же склонные к нему по семейной традиции), превратились в столяров, маляров, обойщиков, красильщиков, так как у матери уже не было средств, чтобы устроиться на новом месте. Все три сына и она вместе с ними вскапывали землю в саду, сажали, прививали, подчищали дорожки. Однажды она очень устала, разгорячилась, тут же ее продуло, и она заболела воспалением легких. Сыновья проводили бессонные ночи, ухаживая за ней. 27 июня 1821 года, в три утра, она умерла у них на руках.

Абель, которого вызвали, помог им выполнить скорбные обязанности. Три брата и несколько друзей, в том числе молодой священник герцог де Роган, поклонник первых поэтических опытов Гюго, проводили покойницу на кладбище в Вожирар. Вечером Виктор в глубокой тоске бродил по городу. Как он одинок! Умерла та, которая была всем для него. Отец живет в Блуа, такой враждебный или по меньшей мере равнодушный. Невеста отказала. Эжен не может простить ему две обиды: Адель и литературный успех. Уже в те дни, когда они детьми качались на качелях в саду фельянтинок, братья устраивали сражения, чтобы привлечь внимание „будущей красавицы“. Со времени триумфов Виктора у Эжена все больше нарастала злоба против брата, и он плохо ее сдерживал. Виктор немного жалел Эжена, но все же ему было приятно чувствовать свое превосходство — удовлетворенное самолюбие младшего. Но вскоре их отношения стали мучительны для него. Эжен уже давно пугал своих близких приступами черной меланхолии, иногда находившей на него, а после смерти матери он стал как сумасшедший.

Ища надежды и утешения, Виктор побрел под дождем к Тулузскому подворью.

Как был он изумлен в этот скорбный вечер, увидев, что у Фуше все окна ярко освещены! Притаившись в тени деревьев, он слышал доносившуюся из дома музыку и веселый смех. Знакомыми закоулками он пробрался поближе к окнам и увидел Адель: в белом платье, с цветами в волосах, она танцевала и улыбалась. Этого удара он всю жизнь не в силах был забыть. Подобные воспомина-

ния позднее помогли ему глубоко понять бедняков, которые, приникнув к окнам богачей, с горечью смотрят на празднества, для них навсегда недоступные. На следующее утро, когда Адель прогуливалась в саду, туда прибежал Виктор, — самое это появление и бледность юноши говорили о каком-то несчастье. Адель бросилась к нему: „Что случилось?“ — „Мама умерла. Вчера ее похоронили“.

„А я-то вчера танцевала!“ Оба разрыдались — и эти пролитые вместе слезы были их обручением.

Господин Фуше отправился на улицу Мезьер, чтобы выразить свое сочувствие, и горячо советовал Виктору уехать из Парижа. Жизнь в столице была дорога, а молодые люди казались очень бедными. Виктор написал отцу, сообщил ему ужасную весть.

Генералу Гюго, 28 июня 1821 года: „Наша утрата огромна, непоправима. Но у нас остался ты, папа, и наша любовь, наше уважение к тебе могут лишь возрасти... Ты должен знать, какая у нее была душа: никогда она не говорила о тебе с гневом. Нам не подобает и никогда не подобало судить о плачевных раздорах, разлучивших тебя с нею, но теперь, когда осталась лишь чистая, светлая память о ней, разве не стерлось все остальное?.. От бедной нашей матушки нам ничего не досталось, лишь кое-какая одежда, дорогая для нас по воспоминаниям. Расходы, коих потребовали ее болезнь и погребение, превысили наши слабые возможности; немногие сохранившиеся у нас ценные вещи — столовое серебро, часы и прочее — ушли на эти надобности, да и могли ли они получить лучшее применение? Мы еще обязаны расплатиться с доктором и с некоторыми другими долгами. Если ты не можешь взять это на себя, мы постараемся впоследствии все заплатить из того, что заработаем своим трудом. Обстановка в доме ничего не стоит, да и принадлежит она Абелю, у которого мама жила вместе с нами, так как сама она не могла платить за квартиру. Главная наша цель сейчас, дорогой папа, как можно скорее не быть тебе в тягость...“

Все три сына желали, чтобы отец приехал в Париж уладить их дела, растерявшись, они цеплялись за этот обломок крушения, еще хранивший следы величия. Финансовое положение генерала не улучшилось. Овдовев, он прежде всего поспешил жениться на „госпоже Мари-Катрин Тома и Сактуан, тридцати семи лет, вдове помещика господина Анакле д'Альме“. Такие имена фигурируют в

книге записей актов гражданского состояния, тогда как в письмах, оповещавших о состоявшемся событии, говорилось о женитьбе генерала Гюго на „вдове господина д'Альме, графине де Салькано". Она была любовницей генерала в течение восемнадцати лет. Для этих „старых супругов" достаточно оказалось „сказать „да" в муниципалитете", а свадьбы с колокольным звоном у них не было. Полковник Луи Гюго, проживавший в городе Тюле, в письме к своей сестре Готон возмущался, что „генерал даже не сообщил о смерти жены своим братьям! Эта беспечность показывает, как мало он к нам привязан..." Второй брак состоялся 20 июля 1821 года в Шабри (департамент Эндр); Луи Гюго узнал о нем только в январе 1822 года и сейчас же уведомил свою сестру, вдову Мартен-Шопин: „Если это правда, придется скрепя сердце примириться с (злосчастной) судьбой..." Сыновья несколько месяцев притворялись, будто они не знают, что отец оформил свой брак. Да и разве могли бы они препятствовать? Они полностью зависели от отца, — мать оставила им только долги, а они, кроме Абеля, ничего не зарабатывали.

Супруги Фуше полагали, что если они, как обычно, снимут на лето домик в окрестностях Парижа, им не избежать встреч с Виктором Гюго. Они решили уехать в Дрэ. От Парижа до этого городка надо было ехать дилижансом, заплатив за место двадцать пять франков, а у Виктора Гюго не было двадцати пяти франков. Но они забыли, что он обладал железной волей, которая важнее денег, и вдобавок склонностью к приключениям. Господа Фуше отправились с дочерью в дилижансе 15 июля, Виктор Гюго последовал за ними 16 июля.

Виктор Гюго — Альфреду де Виньи, 20 июля 1821 года: „Весь путь я прошел пешком, под знойным солнцем, и нигде на дорогах не было ни малейшей тени. Я измучился, но горжусь, что отмахал „на своих на двоих" двадцать лье; на всех, кто проезжает в экипажах, смотрю с жалостью; если бы вы сейчас были со мною, перед вами было бы самое дерзкое двуногое существо... Я очень многим обязан этому путешествию, Альфред. Оно несколько отвлекло меня. Я истомился в нашем унылом доме..."

На один день он остановился в Версале у Гаспара де Понс, затем отдохнул в долине Шеризи, где написал элегию в ламартиновском духе о страданиях благородного и чистого сердца.

...Как черный кипарис, что высится в долине,
Безрадостен и одинок,
Влачит он век свой безотрадный:
Увы, он не обвит лозою виноградной,
И не ему, увы, улыбку шлет цветок...[1]

Жалоба искренняя, тон условный. В сущности, он радовался этому путешествию, радовался своей молодости, сознанию своей силы, наслаждался купаньем в реке в тени берез, красотой пейзажа и встречавшихся руин. 19 июля он уже был в Дрэ, взбирался на старые башни, воздвигнутые на холме с обрывистыми склонами, и восхищался „погребальной часовней герцогов Орлеанских... Эта белая недостроенная часовня контрастирует с черной и разрушенной крепостью; эта усыпальница возвышается над развалинами дворца...“. Вкусы поэта уже определились: „Руины и зелень, черное и белое, символическое истолкование контраста между прошлым и будущим...“

Он твердо решил совершать прогулки до тех пор, пока не встретит Адели и ее отца. Город Дрэ невелик, и желанная встреча произошла. Адель пишет Виктору (карандашом): „Друг мой, что ты здесь делаешь? Глазам своим не верю. Никак не могу поговорить с тобой. Пишу тайком, чтобы предупредить: будь осторожен и помни, что я по-прежнему твоя жена...“

Виктор Гюго — Пьеру Фуше, 20 июля 1821 года: „Сударь, я имел удовольствие видеть вас сегодня здесь, в Дрэ, и подумал, уж не сон ли это. Полагаю, что вы меня не заметили. Я принял тысячи мелких предосторожностей, чтобы этого не случилось; но поскольку возможно, что, так или иначе, вы в один из ближайших дней встретите меня и что мое присутствие здесь может быть по-разному истолковано, я считаю приличным и честным предупредить вас о нем... Нам остается только выразить удивление самой удивительной из всех случайностей... Все мои намерения чисты. Я должен сказать откровенно, что для меня было большим удовольствием неожиданно увидеть вашу дочь...“

Вымысел простодушный и прозрачный, но он, конечно, растрогал такого славного человека, как Пьер Фуше. Ведь он знал Виктора еще младенцем, „худеньким, хилым и как будто совсем не желающим жить“. А теперь перед ним был здоровый, цветущий юноша, полный самообладания и выражающий свою любовь красноречиво и уверенно. Господин Фуше счел невозможным отказать в

[1] Гюго В. В долине Шеризи („Оды и баллады“). Пер. М. Донского.

приеме сыну своих старых друзей да еще в такие дни, когда его постигла горестная утрата; он принял Виктора в присутствии дочери и жены и спросил, каковы его намерения. А Виктор хотел только одного: жениться на любимой девушке; он заявил, что верит в свое будущее; ведь он начал большой роман в духе Вальтера Скотта — „Ган Исландец“, — и книга эта, понятно, будет распродаваться хорошо; правительство короля обязано выполнить свой долг перед поэтом-роялистом и назначить ему пенсию; от генерала Гюго он получит согласие на брак. Все это было сомнительно, но Адель и Виктор любили друг друга. Пьер Фуше решил, что помолвка не будет объявлена, двери дома пока еще не открыты для жениха, но невесте разрешается переписываться с ним.

Виктор Гюго, преисполненный радости, отправился в Монфор-л'Амори и первую половину августа провел у своего приятеля поэта Сен-Вальри, дружившего со всем кружком Дешана; об этом любезном великане Александр Дюма говорил: „Когда он промочит ноги, то насморк у него случится только на следующий год“. Сен-Вальри, восхищавшийся Виктором Гюго, радушно принял его в своей семье. Из Монфора-л'Амори, а затем из Ла-Рош-Гюйона, где он гостил у герцога Рогана, Виктор несколько раз писал своему будущему тестю.

Виктор Гюго — Пьеру Фуше, 3 августа 1821 года: „Нет, каково бы то ни было будущее, каковы бы ни были события, не станем терять надежды: надежда — это нравственная сила. Сделаем все, чтобы достичь счастья благородными путями, и, если нас постигнет неудача, мы можем упрекать за это лишь господа бога. Не пугайтесь экзальтированности моих мыслей. Вспомните, какое огромное горе мне пришлось изведать, а теперь все мое будущее, как я вижу, стоит под вопросом, и все же я не падаю духом. Быть может, для вашей дочери было бы лучше, если б она отдала свою привязанность человеку ловкому, изворотливому, который живо протянет руку к дарам Фортуны... Но разве подобный человек любил бы ее так, как она того заслуживает? Может ли сердце испытывать истинную нежность, если нет в нем энергии? Я задаю Адели эти вопросы с трепетом, ибо знаю, что не могу ей дать иного залога счастья, кроме несказанного желания сделать ее счастливой...“

Пьер Фуше ответил: „Человек изворотливый — весьма нежелательный гость в честной семье“. Казалось, он хотел ободрить Виктора.

Герцогу де Рогану, провожавшему госпожу Гюго до места последнего упокоения, было в то время лет тридцать, и он считался маленьким королем Бретани, где в его владении находились Жослен и Понтиви. В январе 1815 года жизнь его была сломлена ужасной трагедией. Его молодая жена, одеваясь на бал, подошла к топившемуся камину, кружевное платье вспыхнуло на ней, и она умерла от ожогов, сохраняя до конца героическое смирение. Герцог поступил тогда в духовную семинарию Сен-Сюльпис, хотя установленные там строгие правила были тяжки для человека слабого здоровья, хрупкого, как женщина. Аббат де Роган обладал врожденным пониманием красоты и добра. После первых же опубликованных стихов Ламартина он просил передать поэту, что был бы счастлив стать его другом. К Гюго аббата тоже привлекло восхищение его стихами. После похорон матери Виктор Гюго пошел поблагодарить де Рогана, и тот принял его просто и сердечно. Он говорил, что у него есть одно-единственное честолюбивое стремление — сделаться приходским священником в какой-нибудь деревне родного края, и это очень понравилось поэту. Угадав в нем натуру религиозную, хотя этот юноша почти ничего не знал о религии, Роган решил подыскать для него духовника. „Вам нужен духовный наставник, я найду его вам“, и он повел Гюго к аббату Фрейсину. Этот священник, человек светский, был в большой моде, пользовался благоволением двора и теперь красноречиво разъяснил юноше, обратившемуся к нему, что его долг — достичь успеха и поставить сей успех на службу веры христианской. Столь удобная религия не понравилась неофиту, и, выйдя от наставника, он сказал Рогану, что аббат Фрейсину никогда не будет его духовным руководителем. Тогда Роган познакомил своего подопечного с Ламенне, и на Гюго большое впечатление произвела его поношенная ряса, синие чулки из грубой шерсти, деревенские башмаки. Ламенне стал для него не только духовником, но и другом, в котором он любил его ворчливую прямоту. С Ламенне поэт познакомился еще в ту пору, когда этот мыслитель был полон благожелательности и нежных чувств к людям; вскоре, однако, преследования обратили его в существо „нервное и раздражительное“, каким Ламенне стал в тридцатые годы XIX века.

Ла-Рош-Гюйн находился на берегу Сены, это был замок эпохи Возрождения, в нем великолепные резные панели на стенах, а над панелями чудесные гобелены. Хо-

зяин казался „божественно“ любезным; несомненная доброта души сочеталась у него с удивительным обаянием, но кое-что оставалось в нем от прежних его, княжеских повадок. Когда этот аббат смотрелся в зеркало, приглаживая свои густые тонкие волосы, он иной раз не мог удержаться от лукавого и кокетливого взгляда. Настоящий стендалевский епископ. Виктору была отведена в замке великолепная комната, и прислуживала ему целая армия угодливых лакеев. Каким резким контрастом показалось ему парижское его жилище, когда он, возвратившись из поездки, должен был съехать с квартиры на улице Мезьер и поселиться на чердаке дома № 30 по улице Драгуна, вместе со своим родственником, приехавшим из Нанта, — Адольфом Требюше. Три брата Гюго, покинутые отцом, пытались сблизиться с родней по материнской линии. Абель, Эжен и Виктор написали коллективное письмо своему дяде, господину Требюше: „Дорогой дядюшка, разрешите вашим парижским родственникам присоединить свои наилучшие пожелания к тем, которые выразят ваши близкие в Нанте, и поздравить вас с днем рождения вместе со всеми вашими детьми... Мы знаем вас по Адольфу и живо чувствуем, как нам не хватает вас в часы наших удовольствий... Адольф такой славный, такой веселый, такой любезный юноша. Счастливы отцы, которые, подобно вам, могут гордиться добрыми качествами своих детей“.

Виктор Гюго и его двоюродный брат „сняли сообща мансарду из двух комнат. Одна была их гостиной; вся роскошь ее состояла в мраморном камине, над которым висела на стене Золотая лилия — премия, полученная на Литературном конкурсе в Тулузе. Вторая комната — узенькая полутемная щелка, в которой с трудом поместились две койки, служила спальней... Платяной шкаф был один на двоих, — больше чем достаточно для Виктора, так как у него имелось только три рубашки».

Позднее Гюго изобразил под именем Мариуса того юношу, каким он был сам на улице Драгуна:

„Высокий и умный лоб, глубоко вырезанные и раздувающиеся ноздри, облик искренний и спокойный, что-то надменное, задумчивое и невинное в выражении лица... В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут... Нищета держала его в своих лапах. Было такое время в жизни Мариуса, когда он подметал лестничную площадку перед своей дверью, покупал в овощной на одно су сыру бри... Одной отбивной котлетой, которую он

жарил сам, он питался три дня: в первый день он съедал мясо, во второй день съедал жир, на третий день обгладывал косточку..."[1]

Но и в дни нищеты Гюго сохранял строгое достоинство, уважал себя и внушал другим уважение к нему. Будучи монархистом, он, однако, без колебаний предложил убежище молодому своему приятелю, республиканцу Делону, которого искала полиция. Покойная мать научила его покровительствовать преследуемым.

Все было бы сносным, будь он счастлив в любви, но между ним и невестой вновь начались ссоры в духе размолвок мольеровских влюбленных. Адель обижалась из-за пустяков, воображала, что он „презирает ее"; Виктор вспыхивал при каждом слове, пробуждавшем у него ревность. Он вдруг принялся нападать на Жюли Дювидаль де Монферье, подругу Адели, преподававшую рисование, очень талантливую художницу, и в его яростных нападках сказывались предрассудки, которые внушила ему мать.

Виктор Гюго — Адели Фуше, 3 февраля 1822 года: „Эта молодая особа имела несчастье стать художницей, — обстоятельство вполне достаточное, чтобы погубить ее репутацию. Достаточно женщине отдать себя во власть публики в каком-нибудь одном отношении, и публика решит, что эта женщина ей принадлежит во всем. Да и как можно предполагать, чтобы молодая девушка сохранила чистоту воображения и, следовательно, нравственную чистоту после тех учебных этюдов, которых требует живопись, этюдов, для которых надо прежде всего отречься от стыдливости?.. А кроме того, подобает ли женщине опуститься и войти в артистический мир, в тот мир, где так же, как она, находят себе место и актрисы и танцовщицы?.."

Подобная суровость удручала бедняжку Адель. „Смилуйся надо мной, — писала она, — люби меня мирно, спокойно, — так, как ты и должен любить свою жену". И она пишет также: „Страсть — это нечто излишнее, она недолговечна; так я, по крайней мере, слышала от людей..." Высказывания милые и забавные, но у Виктора Гюго не было ни малейшего чувства юмора. Юноша серьезный, торжественный, он в ответ прочел невесте целый курс о роли страсти в любви.

Виктор Гюго — Адели Фуше, 20 октября 1821 года:

[1] Гюго В. Отверженные.— Собр. соч., т. 7, с. 125, 149.

„Любовь, по мнению света, — это плотское вожделение или смутная склонность, которую обладание гасит, а разлука уничтожает. Вот почему ты и слышала, при столь странном понимании этих слов, что „*страсти недолговечны*“. Увы, Адель! Знаешь ли ты, что и слово „*страсти*“ означает — *страдания*? И неужели ты искренне веришь, что в обычной любви мужчин, столь бурной с виду и столь слабой в действительности, есть хоть сколько-нибудь страдания? Нет, любовь духовная длится вечно, ибо существо, испытывающее ее, бессмертно. Любовь — это влечение души, а не тела. Заметь, что тут ничего нельзя доводить до крайности. Я вовсе не говорю, что тело не имеет никакого значения в главнейшей из всех привязанностей, а иначе для чего бы существовала разница между полами и что мешало бы, например, двум мужчинам пылать друг к другу страстью?“

Адель, в сущности, была довольна, что жених обожает ее, но тревожилась за будущее. Справится ли она с ролью великой возлюбленной, которую он ей предназначил? „Виктор, я должна тебе сказать, что напрасно ты полагаешь, будто я стою выше других женщин...“ В самом деле, напрасно страстно влюбленные мужчины возносят любимую женщину на недоступную ей вершину, — при таком положении у нее может закружиться голова, и она упадет. Что касается родителей невесты, они иной раз тоже пугались бурных чувств жениха. Как-то раз вечером на улице Шерш-Миди, куда Адель умолила пригласить Виктора, зашел разговор об адюльтере, и тут в словах Гюго прозвучала настоящая свирепость. Он утверждал, что обманутый муж должен убить или покончить с собой. Адель возмутилась: „Какая нетерпимость! Ты бы сам стал палачом, если бы его не нашлось... Что за участь меня ждет? Право, уж не знаю... Не скрою от тебя: все мои родные испугались... Когда-нибудь мне придется трепетать перед тобой...“ Он подтверждает свою точку зрения: „Я спросил себя, прав ли я, и не только не мог осудить свою недоверчивую ревность, но считаю, что в ней-то и есть самая суть той целомудренной, исключительной, чистой любви, которую я питаю к тебе и которую, боюсь, не сумел внушить тебе... Поверь, — кто любит всех женщин, не ревнует ни одну...“

А вот и еще разногласие между ними. Кроме любви, для Гюго значение имел только его труд, и он пытался привлечь к нему любимую. Но она откровенно говорила, что ничего не понимает в поэзии: „Признаюсь тебе, твой

ум и талант, который, возможно, есть у тебя и который я, к несчастью, не умею ценить, не производят на меня ни малейшего впечатления...“ Эти слова вызывали у него улыбку: „Ты говоришь, Адель, что когда-нибудь я замечу, как мало ты знаешь, и почувствую эту пустоту... Ты мне однажды уже сказала с очаровательной простотой, что ничего не смыслишь в поэзии...“ „А что такое поэзия, Адель? Определю в двух словах: поэзия — это отражение добродетели; прекрасная душа и прекрасный талант почти всегда нераздельны. Ну и вот, ты должна понимать поэзию, она исходит из души, она может проявляться и в прекрасном поступке, и в прекрасных стихах...“ Пусть же Адель, уничижая себя, не заставляет его защищать свою будущую жену от нее самой. „Ты уверяешь, что я понимаю поэзию, — писала она, — но ведь я никогда не могла написать ни одного стихотворения. А разве стихи не поэзия?..“ На это он терпеливо отвечает: „Когда я сказал, что твоя душа понимает поэзию, я лишь открыл тебе одно из небесных ее дарований. „*Разве стихи не поэзия?*“ — спрашиваешь ты. Стихи *сами по себе* еще не поэзия. Поэзия — в идеях; идеи исходят из души. Стихотворная форма — это лишь изящная одежда, облекающая прекрасное тело. Поэзия может быть выражена и прозой; она только становится более совершенной благодаря прелести и величию стиха...“ Многообещающее начало назидательных уроков в будущие вечера семейной жизни.

Ради своей любви он принес большую жертву: сблизился со своим отцом. А ведь ему казалось, что таким образом он изменяет памяти обожаемой матери. „Я робок и горд, а вынужден просить; я хотел возвысить литературу, а работаю ради денег; я, любящий сын, чту память своей матери, а забываю мать, ибо пишу отцу...“ Однако при ближайшем знакомстве отец оказался лучше, чем его рисовала оскорбленная „госпожа Требюше“. Генерал Гюго был очень славным человеком, к тому же он любил поэзию, сам писал новеллы и с превеликой скромностью считал их недостойными опубликования. Поняв, что сыновья, вопреки своим обещаниям, не занимаются юриспруденцией, он милостиво согласился, чтобы они избрали чисто литературное поприще.

Генерал Гюго — сыну Виктору, 19 ноября 1821 года: „Я прекрасно знал, что ни ты, ни Эжен не проявляете усердия в посещении лекций, и все ждал, когда же вы мне сообщите причину вашего небрежения. Я не могу все

приписать даже той уважительной причине, какую вы приводите в свое оправдание, и думаю, что надо искать ее в вашей прирожденной любви к литературе, в твоей склонности к поэзии, Виктор, — склонности, за которую я так бранил вашего дядю Жюста, ибо она отвращала его от обязанностей по службе; склонность эта весьма часто овладевает и мною, но у тебя-то она оправдана поистине превосходными стихами. Ты зачат не на Пинде, но на одной из самых высоких вершин Вогезов, в пути из Люневиля в Безансон, и как будто чувствуешь свое почти воздушное происхождение — твоя Муза всегда возвышенна в тех творениях, кои я видел..."

У Виктора Гюго вошло в привычку посылать отцу свои оды: генерал хвалил их, делая, однако, наивные и педантические замечания о форме стихов. В отношении денег он проявил щедрость и, оплакивая свои замки в Испании и потерянную субсидию, все же оказывал сыновьям помощь в меру своих возможностей. Возможности эти возросли бы, — говорил он, — если бы правительство увеличило ему сумму пенсии, на что он имеет право, и Виктор, друг Шатобриана, могущественного в те годы, должен в этом помочь отцу. Итак, Виктор стал покровителем отца, и вскоре отношения их стали такими сердечными, что генерал пригласил его приехать поработать в Блуа, где он купил совместно с женой просторный загородный дом — бывшее владение монастыря Сен-Лазар. Но чтобы воспользоваться приглашением, следовало признать своей родственницей вторую жену генерала Гюго, а сыновья от первой жены еще не были согласны на это.

Так же как и отца, Виктора Гюго очень тревожило здоровье Эжена. Насколько Абель был юношей спокойным и положительным, настолько Эжен давно был подвержен приступам ярости. Несомненно, что в их роду были характеры буйные, с болезненным воображением, видевшим вокруг всякие ужасы. Но у Эжена, особенно после смерти матери, эти опасные черты развились так сильно, что вызывали беспокойство. Стихи своего брата он критиковал с такой завистливой злобой, что это коробило Феликса Бискара. Он где-то пропадал целыми днями, не проявлял больше ни малейшей привязанности к братьям, писал отцу гнусные письма, которые Виктор старался как-то извинить: „Подождем судить, дорогой папа. У Эжена доброе сердце, он признает свою вину..."

А истина была в том, что Эжен сходил с ума от ревности и, в поисках облегчения, давал волю приступам

бешенства. Он не мог перенести мысли, что в скором времени его брат женится на Адели, и доходил до того, что говорил Виктору ужасные вещи о его невесте.

Виктор Гюго — Адели Фуше, 30 ноября 1821 года: „В отвратительном свете предстал передо мной характер человека, которому я еще вчера был глубоко предан, человека, ради будущности которого я отчасти пожертвовал своей будущностью, человека, которому я отдавал плоды своего труда и бессонных ночей, хотя должен был считать их твоим достоянием. До сей поры я все ему прощал, в его низкой зависти, в его злобных и подлых выходках я видел лишь неприятные странности желчной натуры... Боже мой! Если б я сказал тебе, какого имени он заслуживает! Нет, я этого не скажу тебе, я не хотел бы и самому себе это сказать... Ты не понимаешь меня, моя Адель, ты удивляешься, что твой Виктор охвачен таким бурным негодованием и так неумолим к проступку брата. Адель, ты не знаешь, что он мне сделал. Я все ему прощал и впредь прощал бы, — все, кроме этого. Лучше уж он зарезал бы меня во сне. *На свете есть только один человек*, в отношении которого я не могу простить ни малейшего оскорбления и даже намерения оскорбить, — и конечно, я говорю не о себе! Как посмел этот негодяй коснуться самого дорогого, самого святого для меня? Зачем вздумал он отнять у меня мое достояние, мою жизнь, единственное мое сокровище? Ах, если б это был чужой мне человек!..»

И все же он простил. Справедливость не позволила ему считать брата вполне ответственным за его выходки — ведь порою казалось, что Эжен сам не сознает, что он говорит.

V

Хотеть — это мочь

Пора мечтаний, и силы, и прелести!.. Быть чистым, быть сильным, быть возвышенным и верить в чистоту людей...

Виктор Гюго

Больше шести месяцев прошло со времени помолвки в Дрэ, и вокруг семейства Фуше опять пошли сплетни. Дядюшка невесты, господин Асселин, человек неблагожелательный, старший брат Фуше — Виктор, приятели и ку-

мушки говорили, что Адель серьезно компрометирует себя, принимая ухаживания юноши, который ничего не делает, не умеет заработать на жизнь и даже не может добиться согласия своего отца. Невеста прониклась всякими сомнениями, стала настойчивой: „Я вижу, Виктор, когда рассуждаю не в шутку, что у нас очень мало оснований считать нашу женитьбу возможной. Пойми положение моих родителей: они не видят ничего определенного...“ Жалобы Адели были кроткими и носили мещанский характер; Виктор по самому складу своей натуры вставал в таких случаях в позу гордого испанца: „Я пойду к твоим родителям и скажу им: „*Прощайте, вы увидите меня, лишь когда я добьюсь независимого положения и согласия моего отца, или не увидите вовсе...*“ Затем он описывал с горечью, что должно за сим последовать. Он умрет, и „когда-нибудь, Адель, ты встанешь с постели женою другого; тогда ты возьмешь все мои письма и сожжешь их, чтобы не сохранилось никакого следа, оставленного моей душой на земле“. И тотчас Адель с упорством практичной женщины возвращала его на землю: „Какие огромные препятствия стоят перед нашей любовью, особенно если ты намерен предоставить событиям идти своим чередом...“ А в другом письме она говорит: „Да, друг мой, я довольна, что ты работал... Пожалуй, я еще более была бы довольна, если бы видела в твоей работе больше последовательности. Мне кажется, что, за исключением иных случаев, которые нельзя предвидеть, не следует начинать новую вещь, пока не окончена та, над которой ты уже трудишься. Вот я какая придира!..“

Все эти сомнения вызвали в нем вспышку гордости.

Виктор Гюго — Адели Фуше, 8 января 1822 года: „Не спрашивай меня, дорогая Адель, отчего я так уверен, что создам себе независимое существование — ведь тогда ты заставишь меня заговорить о некоем *Викторе Гюго*, которого ты не знаешь и с которым *твой Виктор* нисколько не стремился познакомить тебя. У этого Виктора Гюго есть и друзья и враги; военное звание отца дает ему право появляться всюду и быть на равной ноге со всеми; нескольким своим опытам, хоть и слабым еще, он обязан преимуществами и неудобствами ранней известности; во всех гостиных, где он появляется чрезвычайно редко, люди, судя по его печальному и холодному лицу, полагают, что он занят какими-то важными замыслами, меж тем как он поглощен мечтами о юной девушке,

кроткой, очаровательной, добродетельной и, к счастью для нее, неизвестной в гостиных.

Мне очень часто говорили, да говорят еще и сейчас (чересчур смело, конечно), что я призван к какой-то блистательной славе (повторяю эту гиперболу в точности), а сам я полагаю, что создан я для семейного счастья. Однако, если нужно пройти через известность, чтобы достичь этого счастья, я видел бы в славе лишь средство, а не цель. Я жил бы вне этой славы, хотя и относился бы к ней с почтением, как должно всегда относиться к славе. Если она придет ко мне, как это предсказывают, скажу, что я не надеялся на нее и не желал ее, ибо все мои надежды и желания я отдал тебе одной..."

Но почему, спрашивается, их брак невозможен или еще очень далек? Субсидия ведь обещана министром. „Очень возможно, друг мой, что через несколько месяцев мне предоставят несколько мест с окладом в две-три тысячи франков, и тогда с теми деньгами, которые принесет мне еще и литература, разве мы не сможем жить тихо и мирно, в уверенности, что наши доходы будут возрастать по мере того, как будет увеличиваться наша семья?.." Согласие генерала Гюго? „Но скажи мне, почему отец, увидав, что я достиг независимости, отказался бы сделать меня счастливым?.. Отец мой человек слабый, но, несомненно, добрый. Если сыновья выразят ему искреннюю привязанность, они могут оказать на него большое влияние... Я надеюсь, что после того как отец сделал мою мать несчастной, он не захочет обречь и меня на несчастную жизнь. Придет день, Адель, когда мы с тобою будем жить под одной кровлей, в одной комнате, и ты будешь засыпать в моих объятиях...

Радости супружества станут нашим долгом и нашим правом..."

Мечты, чаровавшие пылкого юношу, который читал и создавал любовные стихи, но жил в строжайшем целомудрии. Он хотел, чтобы это тоже стало достоинством в глазах его невесты: „Я счел бы обыкновенной женщиной (то есть довольно ничтожным созданием) ту молодую девушку, которая вышла бы замуж за молодого человека, не будучи убежденной и по его принципам, известным ей, и по его характеру, что он не только человек *благоразумный*, но — употреблю тут слово в полном его смысле — что он *девственник*, как девственна она сама..." Но реакция со стороны Адели была неожиданной: разве можно говорить о таких „необычайных вещах" с

благовоспитанной девушкой? Разумеется, можно, — ответил пылкий жених: „Я тебе доказал, как велика твоя власть надо мной, ибо один лишь образ твой сильнее всего волнения чувств, свойственного моему возрасту; я тебе сказал, что человек, настолько бессовестный, что он, нечистый, испачканный, готов соединить свою жизнь с чистой, непорочной девушкой, достоин презрения и негодования... Будь я женщиной и мой суженый сказал бы мне: „*Ты была мне оплотом против всех других женщин, ты первая женщина, кого я сжимал в своих объятиях, единственная, кого я буду обнимать; я с наслаждением привлекаю тебя к своей груди, я с ужасом и отвращением оттолкнул бы всякую другую женщину*, — мне кажется, Адель, что, будь я женщиной, подобные признания любимого отнюдь не были бы мне неприятны. Но, может быть, ты не любишь меня?..“ Нет, она любила его — как истая дочь супругов Фуше, то есть гораздо проще.

Восьмого марта 1822 года, подхлестываемый ею, Гюго решился наконец попросить у отца согласия на брак. Письмо он показал невесте, и та нашла, что оно написано очень хорошо. За исключением ее портрета, ибо Виктор изобразил ее сущим ангелом: „Во мне же нет ничего ангельского, выкинь, пожалуйста, эту мысль из своей головы, я — земная“. О, чудесный реализм женщин! Затем она попыталась объяснить ему, что для нее счастье дороже славы: „Как ты можешь говорить мне, что я должна считать мой брак с тобой лестным для себя только по тому соображению, что *твой отец имеет высокий ранг?* Ужасное заблуждение с твоей стороны! Какое мне дело до всяких рангов и званий?.. Заявляю тебе, что это твое важнейшее соображение для меня самое последнее. Помни, мне все равно, стану ли я женой академика, лишь бы я была твоей женой, и пойми — имеет ли для меня значение, что я буду снохой генерала...“

Прошло несколько дней тревожного ожидания. Влюбленные говорили, что если отец не даст согласия, они убегут и поженятся в какой-нибудь чужой стране. На этот раз благовоспитанная девица с улицы Шерш-Миди поднялась до высоты страсти. Напрасные дерзновения: в ответе генерала Гюго, в общем благоразумном, дано было согласие с определенными оговорками. Он совсем не порицал привязанность сына к Адели Фуше: „общественный ранг“ супругов Фуше, старых его друзей, он считал вполне достаточным; куда больше его беспокоило то, что

ни у жениха, ни у невесты нет никакого состояния. Ах, если б у него были те миллионы реалов, которые обещал ему Жозеф Бонапарт! Но у него ничего не было. „Из сего следует, что прежде, чем думать о женитьбе, тебе надо приобрести профессию или получить должность, а я не считаю таковыми литературное поприще, как бы ни были блестящи твои первые на нем шаги. Когда ты выполнишь то или другое условие, я охотно помогу тебе осуществить твое желание, коему я нисколько не противлюсь...“ В этом послании было только одно темное облако: генерал настойчиво говорил о „теперешней своей супруге“. Чтобы сохранить его благоволение, необходимо было признать его второй брак, что Виктор Гюго и сделал с большим тактом и обычным своим достоинством.

Наступило лето, а в летнюю пору Фуше обычно уезжали из Парижа. Было решено, что они снимут дом в Жантильи и что Виктор Гюго, теперь уже признанный жених, будет туда приглашен, но для приличия его поместят на голубятне. Госпожа Фуше ждала тогда четвертого ребенка, „поздний плод супружеской любви“, и беременность эту переносила тяжело. Адель писала Виктору: „Если мама подарит нам братца, должна ли я уговаривать ее, чтобы она сама его кормила?.. Мама уже в таком возрасте, что не может одна ухаживать за малюткой, и мне придется пробыть в семье еще года два по меньшей мере. Если ты полагаешь, что я обязана остаться дома на это время, тогда я посоветую маме не отдавать его кормилице... Скажи откровенно, как ты думаешь. Нас всех кормили дома, и я хотела бы, чтобы так было и с этим крошкой... Это во многом зависит от меня. Я хочу, чтобы ты выразил свою волю...“ Что ответил Гюго на этот вопрос, нам неизвестно; вероятно, он не имел никаких возражений против того, чтобы его будущего шурина отдали кормилице.

Адель — Виктору: „Так, значит, ты приедешь в Жантильи! Какое счастье!.. Буду видеть тебя каждый день, каждый день буду говорить с тобой. Если мы поспорим из-за чего-нибудь, то размолвка наша будет короткой. Когда я выйду утром в сад, а ты будешь у себя на голубятне, мы поздороваемся друг с другом. Но гулять нам вдвоем в саду без мамы нельзя. Так приказано... Придется уважить родителей, они наложили запрет, полагая, что так должно быть...“ Виктор Гюго выразил в ответном письме свою радость, затем вспомнил свою замечательную мать: „Соединив нас, она-то уж не вздума-

ла бы ставить между нами такие странные и почти что оскорбительные преграды. Уважая нас обоих, она считала бы унизительным для себя стеснять нашу свободу. Наоборот, она пожелала бы, чтобы в возвышенных задушевных беседах мы оба готовились к святой близости в браке... Как было бы мне сладостно наедине с тобой бродить в вечернем сумраке вдали от всякого шума под деревьями, среди лужаек. Ведь в такие минуты душе открываются чувства, неведомые большинству людей..."

Несмотря на то что вечера приходилось проводить в кругу семьи, „в постоянном стеснении", он с наслаждением „вкушает счастье в Жантильи", дни покоя, упоения и тайн, когда Адель украдкой навещала жениха на его башне и дозволяла ему сорвать поцелуй с ее уст, обнять ее. Ах, почему двое любящих не могут провести жизнь в объятиях друг друга? Но для того чтобы упрочить счастье Жантильи, надо было преуспеть. И вот Виктор Гюго торопил издание своих „Од" отдельным томом. Сборник был напечатан на средства щедрого Абеля и был доверен для продажи книжной лавке Пелисье, находившейся на площади Пале-Рояль, причем Абель сделал брату деликатный сюрприз, послав ему оттиски корректуры. Томик появился в июне, в зеленовато-серой обложке, тиражом в полторы тысячи экземпляров. Автору причиталось по пятидесяти сантимов с экземпляра, то есть семьсот пятьдесят франков за все издание. Первый экземпляр, как и подобало, он преподнес невесте: „*Моей любимой Адели, ангелу, в котором вся моя слава и все мое счастье, — Виктор*".

Эта первая книга поэта называлась: „Оды и различные стихи". В предисловии подчеркивалась политическая направленность автора. Убедившись, что французскую оду справедливо обвиняют в холодности и однообразии, он поставил своей задачей „привлечь к ней интерес не столько формой, сколько вложенными в нее идеалами... История человечества исполнена поэзии лишь в свете монархических идей и религиозных верований..." Большинство стихотворений, включенных в сборник, были написаны в благонамеренном тоне и посвящены историческим темам. Эти „изящные упражнения старательного и весьма одаренного школьника..." воспевали „Восстановление статуи Генриха IV", „Рождение герцога Бордоского", оплакивали „Смерть герцога Беррийского", и все эти „заказные" стихи недостойны были юноши, который следовал в Италии и в Испании за победоносными орлами На-

полеона, видел возвышение и падение императора и еще подростком был свидетелем опал и смертей. Читателей либеральных взглядов возмущали апострофы, прозопопеи и другие риторические фигуры в произведениях юного *ультрароялиста*, и они не склонны были признать поэтические достоинства его од.

Роялистская пресса, на которую он рассчитывал, не откликнулась на них. Статей было очень мало. Литературная критика занимала тогда весьма скромное место, а Гюго почитал „недостойным всякого уважающего себя человека обыкновение тогдашних литераторов выпрашивать у журналистов похвальные отзывы. Я пошлю свою книгу в газеты; они скажут о ней, если сочтут это уместным, но я не буду клянчить у них похвал в виде милостыни...“ Ламенне одобрил его: „Мне нравятся ваша прямота, ваша откровенность и ваши высокие чувства, — нравятся еще больше, чем ваш талант, хотя и он мне очень нравится... Да бог мой! Что такое эта суетная шумиха, именуемая славой, известностью, так быстро угасающая в тишине могилы...“ Однако ж книга расходилась неплохо и это ободряло автора, ибо приближало день его свадьбы. Теперь уж Адель сама дерзала навещать одна, без провожатых, своего заболевшего жениха в его парижской мансарде. „Пусть говорят что хотят, мне все равно... В иных случаях я без угрызений совести способна пойти против родительской воли...“ Но чтобы принадлежать друг другу, они ждали свадьбы. *Адель — Виктору*: „Еще три месяца, и я всегда буду возле тебя... И стоит нам подумать тогда, что мы не сделали ничего недостойного, что мы могли бы раньше быть вместе, но предпочли такому блаженству уважение к самим себе, — конечно, мы будем от этого сознания еще счастливее...“

Три месяца... Адель осмелилась назначить срок, ведь теперь уже ждали только назначения ежегодного пособия. На это дано было твердое обещание, но чиновники в министерстве все тянули: „Они ведут дело о моем пособии именно как „дело“, не подозревая, что речь идет о человеческом счастье...“ Очаровательная фраза. Наконец вмешался аббат герцог де Роган, добился поддержки герцогини Беррийской, и 18 июля 1822 года Виктор Гюго мог написать отцу, что все наконец завершилось. Пособие назначено в сумме тысяча двести франков в год из особых фондов короля. Такую же субсидию обещало ему и министерство внутренних дел. Добавив к гарантированным пособиям ту сумму, которую дадут поэту литературные гонорары, молодые супруги могли просуществовать, тем

более что добрые родители предлагали дочери и зятю жить вместе с ними. Генерал Гюго тотчас написал официальное письмо: „Виктор поручил мне просить у вас для него руки той молодой особы, счастье которой он надеется составить и от которой сам ждет счастья...“ Господин Фуше ответил любезным письмом. Он хвалил любовь к порядку и серьезность Виктора, радовался, что возобновятся давнишние узы дружбы с генералом Гюго, и выражал сожаление, что не сможет дать за дочерью приданого. Она получит „две тысячи франков — мебелью, одеждой и деньгами“, и молодые супруги будут жить в Тулузском подворье до тех пор, пока не смогут зажить своим домом.

Теперь не хватало только свидетельства о крещении жениха. Увы! Его не было. Генерал плохо помнил те далекие дни, но полагал, что его сына не крестили, если только жена не окрестила младенца без ведома отца, что казалось невероятным при ее вольтерьянстве, которое она всегда выказывала. „У Виктора *была религия*, но не какая-нибудь *определенная религия*“. Генерал Гюго подсказал выход: „Меня уверяют, что если сделать викарию Сен-Сюльпис заявление, что ты был крещен в чужой стране заботами матери и в отсутствие отца, но тебе не известно, где это произошло, то священник вторично окрестит тебя в присутствии крестного отца и крестной матери по твоему выбору... После этого ты немедленно пойдешь к первому причастию, и больше уже не будет никаких препятствий к тому, чтобы тебя обвенчали в церкви...“ Неприятное мошенничество. Однако казалось невозможным признаться благочестивым супругам Фуше, что Софи Гюго воздержалась „совершить над сыном таинство, которое делает человека христианином“. По совету своего „знаменитого друга“, господина де Ламенне, Виктор попросил отца удостоверить, что его сын был крещен в Италии. Генерал удостоверил все, что требовалось, а Ламенне выдал свидетельство об исповеди. 12 октября 1822 года в соборе Сен-Сюльпис было совершено бракосочетание, — венчал аббат герцог де Роган. Свидетелями со стороны жениха были Альфред де Виньи и Феликс Бискара, возвратившийся из Нанта и ликовавший, что он вновь встретится с двумя своими любимыми учениками; со стороны невесты свидетелями были ее дядя Жан-Батист Асселин и маркиз Дювидаль де Монферье. Генерал Гюго на свадьбу не приехал.

Свадебный обед устроили в доме Фуше, потом состо-

ялся бал в большом зале военного совета, том самом, где генерал Лагори, крестный отец Виктора, был приговорен к смертной казни. На балу Феликс Бискара, молодой классный наставник с рябоватым лицом, заметил необычайное нервное возбуждение Эжена, — он как будто был вне себя и говорил что-то странное. Не привлекая внимания гостей, Бискара предупредил Абеля, и они вдвоем увели несчастного; ночью с ним случился припадок буйного помешательства. Эжен, юноша угрюмого нрава, считавший себя жертвой преследования, был влюблен в Адель, страдал от давней и жестокой ревности и не мог перенести картину счастья своего брата.

К счастью для молодых супругов, им ничего не сказали в тот вечер о случившейся трагедии. Наконец-то совершилось то, чего они ждали столько лет: они провели ночь под одной кровлей и в объятиях друг друга. Для новобрачного, столь целомудренного в своих поступках и наделенного столь пылким воображением, было упоительным счастьем обладать этой девушкой, которая была в его глазах самим олицетворением красоты, и стать одним из сыновей в семье Фуше, жить в этом Тулузском подворье, где год тому назад он видел в окно, как его невеста, с цветами в волосах, танцевала в объятьях другого. Покойная мать, обладавшая сильной волей, учила его, что можно подчинять себе события. Какой путь он прошел за истекший год? В двадцать лет он уже был на пороге славы: его читали и старик король, и молодые люди; министерство назначило ему пособие; поэты уважали его. Упорной борьбой он завоевал свою избранницу, он вновь обрел привязанность отца, всех заставил признать, что его выбор жизненного поприща был верен. После стольких несчастий все это казалось счастливым сном, полным блаженного сумрака и любви, счастливым сном, в котором неким волшебством исполнились мечты ребенка. Но волшебство творил он сам. Ego Hugo[1].

Он заслужил эту ночь счастья. Несомненно, в нем жила могучая сила страсти, но он испытывал также потребность сочетать плотские наслаждения с самыми возвышенными человеческими радостями. „Где истинный брак, — сказал он однажды, — там свет идеала. Над брачным ложем во тьме брезжит заря... Это истинное блаженство. Нет других радостей, кроме этих. Любить, испытать любовь — этого достаточно. Не требуйте

[1] Я Гюго (лат.).

больше ничего. Вы не найдете иной жемчужины в темных тайниках жизни..." В те времена, когда он писал эти строки, молодая и столь любимая супруга стала грустной, разочарованной женщиной и хотела быть его женой только по имени. Однако даже в этом обманчивом будущем, когда Адель станет „*Евой, которую ни один плод не соблазняет*", Гюго никогда не забудет, что однажды, давным-давно, они изведали вместе почти сверхчеловеческое счастье. Адель Фуше мало чем отличалась от многих и многих девушек, но именно такая, какой она была, — наивная, немного упрямая, с художественной жилкой (это доказывают ее рисунки), совсем не глупая, но равнодушная к поэзии, она помогла рождению поэта. И у него нашлись слова, чтобы сказать, чем он обязан был этим годам тоски и страсти:

О, будь вы молоды, стары, бедны, богаты,
Но коль по вечерам, тревогою объяты,
Не вслушивались вы в легчайший шум шагов,
Коль белый силуэт, мелькнув в аллее спящей,
Вам сердце не пронзал, как метеор слепящий
Пронзает на лету угрюмый тьмы покров;

Коль вам пришлось узнать лишь по стихам влюбленных,
Страданьем, радостью и страстью опаленных,
Блаженство высшее, без меры и границ, —
Незримо властвовать над чьим-то сердцем милым
И видеть пред собой, подобные светилам,
Любимые глаза в тени густых ресниц;

Коль не случалось вам под окнами устало
Ждать окончания блистательного бала
И выхода толпы разряженных гостей,
Чтоб в свете фонаря увидеть на мгновенье
Прелестного лица весеннее цветенье
И голубой огонь единственных очей;

Коль не терзались вы ни ревностью, ни мукой,
Узрев в чужих руках вам дорогую руку,
Уста соперника у розовой щеки,
Коль не следили вы с угрюмым напряженьем
За вальса медленным и чувственным круженьем,
Срывающим с цветов душистых лепестки...

Коль вам не довелось тогда в тиши дремотной,
Пока вдали от вас, свежа и беззаботна,
Она вкушает сон — метаться, и стонать,
И горько слезы лить, и звать ее часами
В надежде, что она появится пред вами,
И горький свой удел бессильно проклинать.

Коль взоры женщины, вам душу обновляя,
Не открывали врат неведомого рая,
Коль ради той, чьи дни спокойны и легки,

Кто в ваших горестях лишь ищет развлечений,
Не приняли бы вы и смерти и мучений,—
Любви не знали вы, не знали вы тоски![1]

Бросим последний взгляд на молодого человека с высоким лбом, на юношу, исполненного „опасной девственности“, с которым мы расстаемся на пороге спальни новобрачных. Этот прекрасный рыцарь, вступающий в жизнь, верит в свои силы. Он ждет славы и нисколько не сомневается, что слава придет к нему, хотя ему только еще двадцать лет и он уже не раз испытывал чувство отчаяния. „Как это называется, — говорит один из персонажей писателя Жироду, — когда день встает такой вот, как сегодня, и когда все испорчено, все горит, невиновные убивают друг друга, но и преступные агонизируют при свете занимающегося дня?“ А нищий отвечает: „Этому дано прекрасное имя, жена Нарсеса, — это называется зарей...“

Как же называется то время, когда чувства пылают, а сердце исполнено чистотой; когда гений вот-вот вырвется наружу, но никто еще не постиг его; когда человек чувствует себя сильнее всего мира, но еще не может доказать ему свою силу; когда в едва начавшейся жизни человека уже столько трагических воспоминаний, а сердце его поет в груди; когда он так нетерпелив и то впадает в отчаяние, то преисполнен надежды? У всего этого прекрасное имя, жена Виктора Гюго, — это называется молодостью.

---

[1] Гюго В. „О, будь вы молоды...“ („Осенние листья“). Пер. Э. Линецкой.— Собр. соч., т. 1, с. 445.

Часть третья

Час торжества

Надо только жить, видеть все как оно есть, а то и все наоборот.

Сент-Бев

I

После свадьбы

„Утром после свадьбы новобрачных не тревожат, оберегая покой упоенных друг другом счастливцев и отчасти их поздний сон...“[1]

У Адели и Виктора Гюго не было этого спокойного пробуждения. Рано утром взволнованный Бискара постучался в дверь их спальни: состояние Эжена было ужасным. Виктор поспешно собрался, последовал за своим другом и „застал своего бедного товарища детских лет в горячечном бреду“. Эжен зажег у себя в комнате все свечи, как на свадьбу, и рубил мебель саблей. Целый месяц Адель и Виктор Гюго, Поль Фуше и кузен Требюше, сменяя друг друга, ухаживали за ним. Пришлось уведомить отца, и генерал тотчас совершил путешествие из Блуа в Париж. „Он не приехал порадоваться счастью, он хотел быть участником горя“. Виктор и Адель приветливо встретили „дорогого папу“, которому они были обязаны своим браком. „Как иней на солнце, исчезла у сына горькая обида в лучах доброты этого превосходного человека...“

Отцу было тяжело слышать безумный бред красавца сына, которого он видел в Корсике и в Италии пухленьким и веселым малышом, потом в Мадриде многообещающим учеником коллежа. Он решил — и это делает ему честь — увезти его с собой в Блуа; там к Эжену как будто вернулся на некоторое время рассудок, и он даже написал Виктору, поздравил молодую чету и пожелал ей

---

[1] Гюго В. Отверженные. — Собр. соч., т. 8, с. 239.

счастья. Он говорил в этом письме, что отец и „мачеха, госпожа Гюго“, очень добры к нему. Увы! Случился новый припадок буйного помешательства, такой серьезный, что больного пришлось отвезти обратно в Париж и поместить в лечебницу доктора Эскироля. Туда нужно было платить по четыреста франков в месяц, такой возможности у семьи не было. Виктор выхлопотал, чтобы его брата поместили за казенный счет в Сен-Морис, к доктору Руайе-Коллару. Врачи находили, что больной неизлечим. Несчастный Эжен стал чем-то вроде живого трупа. Братья редко навещали его. *Эжен Гюго — Виктору, 12 декабря 1823 года*: „Вот я здесь уже семь месяцев, а ты был у меня только один раз, а брат Абель — два раза... Но ведь должно же быть у тебя некоторое желание увидеться со мною, и тебе не трудно было бы удовлетворить его...“ Эти слова — такой трагический упрек.

Ужасная судьба брата была для Виктора Гюго постоянной причиной печали и смутных укоров совести. Уж не он ли, восторжествовав над Эженом и в поэзии и в любви, довел его до отчаяния? Он не совершил ни преступления, ни греха против несчастного, и все же тема — братья-враги стала неотвязно преследовать его. Она возникала во всех формах — в драматургии, в поэзии, в романе. Иногда Каин назывался Сатаной, иногда — Клодом Фролло — в „Соборе Парижской богоматери“, Иовом в „Бургграфах“; иногда он появлялся под своим настоящим именем, как, например, в „Совести“ или в „Конце сатаны“. А то, что второй брат носил имя Абель, быть может, укрепляло эту навязчивую мысль. А ведь сам Виктор не сделал ничего другого, уж скорее Эжен, мучимый ревностью, играл в отношении его роль Каина. Но всегда Виктор видел в своих кошмарах заживо погребенного, темницу Железной Маски, могилу узников Торквемады. Всегда воображение рисовало ему несчастного, скорчившегося в темноте, под низким сводом. „О, гений! О, безумие! Ужасное соседство“.

Он знает о таком соседстве. Всякий мечтатель (а Виктор Гюго любит называть себя Мечтателем) носит в себе воображаемый мир: у одних это грезы, у других — безумие. „Этот сомнамбулизм — свойствен человеку. Некоторое предрасположение ума к безумию, недолгое или частичное, совсем не редкое явление... Это вторжение в царство мрака не лишено опасности. У мечтательности есть жертвы — сумасшедшие. В глубинах души случаются катастрофы. Взрывы рудничного газа... Не забывайте

правила: надо, чтобы мечтатель был сильнее мечты. Иначе ему грозит опасность. Всякая мечта — это борьба. Возможное всегда подходит к реальному с каким-то таинственным гневом. Химера может подточить человеческий мозг...“ В Викторе Гюго Мечтатель всегда был сильнее мечты. Его спасло то, что он сублимировал в стихах свою тоску и галлюцинации; он прочными корнями врос в реальность; но в Эжене он узнавал того, кем он и сам мог бы стать.

От мрачного огня, горевшего в его душе, ни одна вспышка не вырывается наружу. Все, кто знал Виктора Гюго в первые месяцы его брака, замечали его торжествующий вид, словно у „кавалерийского офицера, захватившего вражеский пост“. Это объяснялось сознанием своей силы, порожденным его победами, упоительной радостью обладания своей избранницей, и вдобавок после сближения с отцом у него появилась гордость отцовскими военными подвигами, к которым он, как это ни странно, считал себя причастным. Почитателей, видевших его в первый раз, поражало серьезное выражение его лица и удивляло, с каким достоинством, несколько суровым, принимал их на своей „вышке“ этот юноша, проникнутый наивным благородством и одетый в черное сукно.

„Очень любопытно смотреть на эту молодую чету, — говорит Сен-Вальри в письме к Рессегье. — Это любовь двух ангелов, и куда более поэтичная, чем в стихах Томаса Мура...“ У молодой госпожи Гюго были темные блестящие волосы, очень красивые, „андалусские“ глаза и вдобавок странное сочетание спокойствия и страсти в ее облике, некий „подавленный порыв чувства, готового вырваться“. На первый взгляд в ней не было обаяния; надо было всмотреться в нее, и тогда выступала ее прелесть. Вскоре Адель забеременела, и Виктор Гюго был счастлив своим ранним отцовством. Такой молодой, он уже испытывал желание жить семейной жизнью, быть супругом и отцом. „Как-то сама собой вокруг него возникала патриархальная атмосфера, идиллическая и вместе с тем возвышенная“. Теперь ему нужно было зарабатывать на троих — Леопольд Гюго II родился ровно через девять месяцев после свадьбы — 16 июля 1823 года.

Работа, работа, работа — в мансарде над кронами развесистых каштанов на улице Шерш-Миди. Создавались новые оды. Закончен был роман „Ган Исландец“ и вручен Персану. Маркиз, ставший издателем, обязался в

контракте, заключенном с Гюго, переиздать „Оды“ и выпустить роман „Ган Исландец“ в количестве тысячи экземпляров. Но из причитающегося ему гонорара Гюго получил только пятьсот франков, так как Персан обанкротился и, не имея возможности уплатить автору, оклеветал его — это дело обычное. Для Гюго началось время познания гнусных сторон литературных нравов. Пришлось еще раз прибегнуть к помощи отца. По счастью, министр внутренних дел назначил ему второе пособие — в две тысячи франков в год, а добряк Фуше пригласил на лето молодое семейство в Жантильи. Но на этот раз Виктора Гюго поместили уже не на готической голубятне, а в комнате Адели.

Роман „Ган Исландец“ издан был в четырех выпусках, в серой обложке, на грубой бумаге и без фамилии автора. „Это своеобразное сочинение, — возвещал Персан, — говорят, является первым прозаическим произведением молодого писателя, уже известного по его блестящим успехам в поэзии“. Эта книга, в которой Виктор Гюго вдохновлялся английскими „черными романами“ (Матюрена, Льюиса, госпожи Радклиф), когда-то начата была и для заработка, и для того, чтобы воплотить в образах ее героев — Этели и Орденера — любовь Гюго к Адели Фуше. Не следует забывать, что в нагромождении убийств, чудовищ, виселиц, палачей и пыток Гюго допускал сознательную нарочитость и пародию. Это было виртуозное произведение в „неистовом жанре“. Мистифицировал автор и своей мнимой эрудицией. Он прочел наугад малоизвестные книги, например „Путешествие в Норвегию“ Фабрициуса, „Наследник датского престола“ П-Г. Малле, и внес в свой роман целую кучу неудобоваримых псевдонаучных сведений: „Настоящее имя Одина — Фригге, сын Фридульфа“. Этот педантизм импонировал, но Гюго не произвел сколько-нибудь серьезных изысканий, чтобы изобразить тот мир, который он описывал. В своем предисловии он и признавался в этом с иронией. Автор „ограничится лишь замечанием, что живописная сторона его романа была предметом особых его забот; что в нем часто будут встречаться буквы K, Y, H и W — хоть обычно автор употребляет их чрезвычайно скупо... что читатель равным образом найдет здесь многочисленные дифтонги, которые варьируются с большим вкусом и изяществом; и что, наконец, всем главам предшествуют странные и таинственные эпиграфы, чрезвычай-

но усиливающие их интерес...[1] Читая этот роман, скажешь, что здесь Гюго ближе к Стерну или Свифту, чем к Вальтеру Скотту или Мунку Льюису.

Однако ему удалось вызвать и ужас и интерес. Ему помогал в этом странный характер его воображения. У его отца и братьев была так же, как у него самого, склонность к мрачной фантастике. Как Байрон, он щедро разбрасывал черепа, из которых его герои пили „морскую воду и человеческую кровь". Он заявлял, что в Жантильи он будто бы работал в своей башенке — в обществе летучей мыши. Друзья Гюго не приняли эту книгу всерьез. Ламартин написал ему из Сен-Пуана 8 июня 1823 года: „Мы перечитываем ваши восхитительные стихи и вашего ужасного „Гана". Скажу мимоходом, что, по-моему, он чересчур ужасен: смягчите свою палитру; воображение, как лира, должно ласкать слух, вы ударяете по струнам слишком сильно. Говорю эти слова, имея в виду ваше будущее, — ведь у вас оно есть, а у меня его уже нет..." Желчный и остроумный Анри де Латуш в статье „Отомщенные классики" высмеял нового романиста:

Беззвездная полночь, готический зал...
Писатель-романтик собрату сказал:
„Прошу вас, ответьте, мосье, без стыда,
По вкусу вам кровь и морская вода?
Вы вешали брата? Смеясь от души,
Внимали, как жертва стонала в тиши?
Скажите, у вас не дрожала рука,
Когда вы веревку снимали с крюка?.."

Действительно, „Ган Исландец" был „чересчур ужасен", как говорил Ламартин, и давал богатый материал для пародий. Но какая тут энергия, сколько фантазии! Шарль Нодье напечатал в газете „Котидьен" статью, в которой он выразил сожаление, что молодой автор романа заставил себя изыскивать всякие уродства в жизни, отвратительные аномалии, но вместе с тем несомненно, что далеко не всякий писатель способен начать с подобных заблуждений. Нодье хвалил бойкий, живописный слог Гюго и тонкость в передаче некоторых чувств. Статья для молодого автора упоительная, когда она подписана таким именем.

Критик и романист Шарль Нодье был на двадцать два года старше Гюго, он прожил жизнь весьма стран-

---

[1] Гюго В. Предисловие к „Гану Исландцу".

ную. Отец его, расстрига-ораторьянец, стал в Безансоне главой революционеров, однако воспитание своего сына этот санкюлот доверил некоему „бывшему“ — Жиро де Шантрану. Мальчик бесконечно много читал, увлекался Амьо, Ронсаром, Монтенем. Читал Гомера в подлиннике. Учитель прямо с листа переводил ему Гете и Шекспира. Нодье женился в городе Доль на женщине „без недостатков и без денег“; он стал библиотекарем в Безансоне, затем секретарем совершенно сумасшедшего англичанина сэра Герберта Крофта и, наконец, библиотекарем в городе Лейбахе, в Иллирии, стране, откуда он привез множество сюжетов для своих произведений — „Жан Сбогар“, „Смарра“, „Трильби, или Аргельский лесной дух“.

Нодье был по натуре своей человек благожелательный и смелый. Он чем-то напоминал Гофмана, был он и ботаником и энтомологом, художником, путешественником и археологом, без ума влюбленным в готику. Он знал все. Поступив в „Деба“, а затем в „Котидьен“, он поддерживал молодых литераторов как товарищ, затем как старший брат; постепенно он приобрел большой вес. Гюго побежал на улицу Прованс поблагодарить его за статью о „Гане Исландце“ и не застал дома. На следующий день Нодье („Лицо угловатое, глаза живые и усталые, облик фантастический и задумчивый“) пришел к супругам Гюго, которые пригласили его с женой и дочерью Мари (двенадцатилетней девочкой, отличавшейся, однако, чуткостью взрослой женщины). Это было началом искренней дружбы.

Альфред де Виньи расхвалил „Гана Исландца“: „Друг мой, говорю вам — и вы уже сотый человек, которому я это говорю, хоть и живу в Орлеане, — вы создали прекрасное и долговечное произведение... Вы стали во Франции основоположником романа в духе Вальтера Скотта... Сделайте еще один шаг: натурализуйте гениальный вымысел, для которого вы избрали Норвегию, измените имена и декорации, и мы возгордимся еще больше, чем шотландцы... Все в романе полно неослабного, животрепещущего интереса; я перевел дух, только когда прочел последнее слово. Благодарю вас от имени Франции...“ В этом же письме Виньи говорил о своих „сердечных горестях“ и доверил их Гюго: оказывается, он влюбился в Дельфину Ге. Любовь была взаимной. Дельфина не осталась равнодушна к „самому обаятельному из всех“, как говорила ее мать, Софи Ге. Но графиня де Виньи полага-

ла, что сын ее должен жениться на богатой, чтобы восстановить положение разорившейся семьи, и она наложила свое вето. Виньи с грустью подчинился, смирилась с этим и Дельфина.

Отношения с генералом Гюго становились все более родственными. Отец с сыном переписывались по поводу Эжена, затем по поводу выраженного Леопольдом Гюго желания, чтобы его вновь зачислили в армию и повысили в чине. Виктор занялся этим делом и говорил даже, что надеется выхлопотать у Шатобриана посольский пост для генерала. Он оказал также покровительство отцу в отношении его „Мемуаров“ и добился, что книгоиздатель Лавока напечатал их. Материальные интересы оказались полезны для усиления добрых чувств. У генерала Гюго было две цели: найти опору в сыне, пользовавшемся высокими милостями, а кроме того, заставить детей признать новую госпожу Гюго, которая, как он говорил, была „второй матерью для всех вас“. Действительно, когда Адель в тяжелых родах произвела на свет первого сына, и „бедный ангелочек“, казалось, вот-вот зачахнет, генерал Гюго и его супруга взяли ребенка вместе с кормилицей в Блуа и поместили в просторном белом доме, который они там купили. „Девицу Тома“ теперь уже называли не иначе как „бабушкой Леопольда“. Адель вышила чепец для своей свекрови. А ведь едва прошло два года с тех пор, как похоронили первую госпожу Гюго.

Девятого октября маленький Леопольд умер. Виньи, служивший в полку, который стал гарнизоном в По, написал Виктору Гюго: „Ваша отцовская скорбь пришла так скоро после скорби о матери и о больном брате; вы удручены семейными горестями, хотя семья — естественное содружество наших близких, и нам хочется видеть в ней единственный источник всех благ... Боже мой! Как печальна жизнь, друг мой...“ По поводу болезни Эжена Альфред де Виньи очень образно сказал „о той страшной казни, которой подвергает нас наша физическая природа, когда она вдруг распадается задолго до смерти и когда души уже нет в теле, а оно стоит и улыбается, как эти ужасные фигуры в Геркулануме...“ Но Гюго, несмотря на пережитые несчастья (мать, брат, сын), не считал жизнь печальной; он был полон жажды жить, работать, любить. Адель снова зачала ребенка. „Виктор, — говорил Эмиль Дешан, — без устали творит оды и детей“.

II

„Французская муза“

Замечательные времена Реставрации, когда у людей была романтическая душа и классическая выучка.

Морис Баррес

„За время с 1819 по 1824 годы под двойным влиянием — Андре Шенье и „Размышлений“ Ламартина, при отзвуках шедевров Байрона и Вальтера Скотта и громких стенаний Греции, в самый разгар религиозных и монархических иллюзий Реставрации, возник своего рода альбом прелюдий, в которых преобладала туманная меланхолия, жажда идеального, рыцарский тон и зачастую утонченное изящество отделки...“ Так характеризовал их Сент-Бев. Лауреаты Тулузских литературных конкурсов — нежный Суме, рыжеволосый темпераментный Гиро с его гасконской речью первые задавали там тон; Эмиль Дешан предложил создать кружок и основать журнал. Так возникла „Французская муза“, объединявшая изысканных, чересчур изысканных, молодых людей, любивших поэзию роялистов по традиции, „христиан из приличия и по смутному чувству“.

Программа была составлена так: в религии — христианские чудеса в духе Шатобриана вместо языческих непристойностей времен Империи; в политике — монархия, в духе Хартии; в любви — рыцарский платонизм. Это было „нечто нежное, благоуханное, ласкающее душу и пленительное; посвящение производили похвалами; поэта узнавали и приветствовали по какому-то таинственному признаку... Позолоченное рыцарство, разукрашенное средневековье, прекрасные дамы, обитавшие в замках, пажи и их покровительницы, христианские молитвы в уединенных часовнях, отшельники, бедные сироты, маленькие нищие — все это имело бешеный успех и составляло основной запас сюжетов, не считая бесчисленных личных горестей...“ Члены содружества называли друг друга просто по имени — *Альфред, Эмиль, Гаспар* или *Виктор*. В это сентиментальное франкмасонство входили и женщины. Красавицу Дельфину Ге все называли *Дельфина*. Но когда Жюль де Рессегье, первейший трубадур из этих трубадуров, картавя, попросил у Виктора Гюго разрешения называть его жену запросто *Адель*,

„молодой и строгий поэт отказал ему в таком разрешении“. Он не любил фамильярности.

Эмиль Дешан предложил, чтобы каждый член кружка внес по тысяче франков в фонд издания „Музы“. Для четы Гюго это было слишком много. Ламартин, который уже предпочитал восседать на вершине славы, живя помещиком на лоне природы, вдали от шумного литературного мира, отказался войти в кружок, но предложил Гюго заплатить за него денежный взнос: „Вступайте в число основателей журнала, а я, поскольку для меня невозможно дать для него ни свое имя, ни свои мысли, охотно внесу за вас положенную тысячу франков. Это останется между нами...“ Гюго, оскорбленный такой уверткой, отказался принять деньги, но тем не менее играл в журнале главную роль благодаря своим стихам и своей природной властности.

Однако ж очень скоро настоящим центром объединения стал добряк Нодье, а местом встреч — его квартира, сначала на улице Прованс, а затем, с 1 января 1824 года, в библиотеке Арсенала, хранителем которой он стал, так как благоволивший к нему министр, при поддержке графа д'Артуа, дал ему в качестве новогоднего подарка этот завидный пост. Иногда беспечность — высшая ловкость, и никто не получает столько милостей, как эти немного ребячливые, легкомысленные люди. Великие мира сего любят покровительствовать рассеянным чудакам, так как всегда кажется, что те нуждаются в покровительстве. Нодье вдруг получил квартиру во дворце, в центре прославленного района. Из своих окон он видел, как солнце заходит за собор Парижской богоматери. Хранитель библиотеки — это своего рода каноник-мирянин. Нодье, добродушный домосед и рутинер, наслаждался поздно пришедшим к нему комфортом. Его жена, тоже простая и милая женщина, тотчас внесла буржуазный уют в павильон „королевского дворца“, ее живое и веселое, „цветущее, как букет“, лицо скрашивало суровую декорацию. Их дочь Мари росла красавицей, и все поэты были ее друзьями.

По воскресеньям салон Арсенала блистал парадным освещением. Двери для всех были открыты: приходи кто хочешь. Там бывал Северен Тейлор, уроженец Брюсселя, англичанин по происхождению, французский офицер, товарищ Альфреда де Виньи и любимец правительства, Софи Ге и лучезарная, как вешний день, Дельфина Ге, прозванная „французской музой“; бывал там Суме, с триумфальным успехом поста-

вивший две свои пьесы, „две лучших трагедии нашей эпохи“, как говорил Гюго, — словом, более чем когда-либо „наш великий Александр“; Гиро, прославившийся своим „маленьким Савояром“; Альфред де Виньи и Гаспар де Понс в голубом мундире; разумеется, здесь бывали братья Дешан и огромный де Сен-Вальри, заместитель директора „Французской музы“.

С восьми до десяти часов вечера шла беседа. Нодье, стоя у камина, принимался что-нибудь рассказывать — воспоминания юности или фантастические происшествия. Куда девались тогда его равнодушие и вялость? Он становился удивительно красноречивым. Затем начинались литературные споры. „Андре Шенье зашел слишком далеко, — говорил Виктор Гюго, — в его стихах столько цезур и переносов фразы из одной строки в другую, что они лишаются музыкальности, а ведь в поэзии прежде всего нужна напевность“. Нодье возражал: „Шанье романтик на свой лад — и это хорошо... В искусстве нет раз и навсегда установленных правил“. Эмиль Дешан, сверкнув в улыбке превосходными зубами, говорил, кривя тонкие губы: „Вы еще откажетесь от своего мнения, дорогой Виктор...“ В десять часов Мари Нодье садилась за фортепьяно, и разговоры прекращались. Стулья отодвигали к стенам, и начинались танцы. Нодье, заядлый картежник, садился играть в экарте; Виньи, бледный, стройный, вальсировал с Дельфиной Ге. Люди серьезные, в том числе молодой Гюго, продолжали вполголоса беседовать в уголке. Госпожа Гюго, с загоревшимся взглядом своих андалусских глаз, танцевала, и муж время от времени тревожно посматривал на нее.

Все эти люди, хоть и собратья-литераторы, были добрыми друзьями. На смену царства острословия, — говорил Эмиль Дешан, — пришло царство добросердечия. Участники кружка великодушно хвалили друг друга. „Нашему великому Александру“ воздавали самые высокие похвалы:

Мы ждем твоих стихов, их слава велика,
Их Франция возьмет в грядущие века...

Впрочем, хвалили всех по очереди, и Рессегье курил фимиам Виктору Гюго:

Воспели вы Маренго и Бувин
И одой обессмертили их славу.
Малерб, Гюго и Жан-Батист — по праву
Вы встали в ряд один.

Это общество взаимного поклонения раздражало язвительного Анри де Латуша, и в газете „Меркюр“ он напал на эти крайности: „По-видимому, господа Александр С***, Александр Г***, Гаспар де П***, Сен-В***, Альфред де В***, Эмиль Д***, Виктор Г*** и некоторые другие условились, что они будут прославлять друг друга. Да и почему бы этим мелким князькам поэзии не заключить подобный союз?“ „Мелкие князьки“ энергично ответили пером Виктора Гюго: „Энтузиастов оскорбляют за то, что песнь одного поэта вдохновляет другого поэта, и желают, чтобы о людях, обладающих талантом, выносили суждение только те, кто таланта не имеет... Можно подумать, что для нас привычна лишь взаимная зависть литераторов, наш завистливый век насмехается над поэтическим братством, таким радостным и таким благородным, когда оно возникает между соперниками“.

Большинство сотрудников „Французской музы“ стремились к обновлению поэзии, но отнюдь не хотели вмешиваться в ссору между романтизмом и классицизмом. Жюль де Рессегье выразил в весьма плоских стихах этот осторожный эклектизм:

У двух прекрасных школ, как у сестер, —
Одна повадка, разная одежда.
Которая милей? Напрасный спор:
Величие в одной, в другой — надежда...

В чем же было тут дело? Какую действительность прикрывали слова *романтизм* и *классицизм*? Госпожа де Сталь делала тут два резких разграничения: „Литература, подражающая древним классикам, и та литература, которая своим рождением обязана духу средневековья; первая — по самым своим истокам окрашена язычеством, а во второй — движущая сила и развитие исходят из глубоко духовной религии...“ Если судить по этим определениям, то поэты „Французской музы“ близки были к романтизму. Они были христиане и трубадуры; предоставляли северным духам и вампирам место, которое некогда занимали нимфы и эвмениды; они читали Шиллера и в некоторой мере знали его (немного, так как мало кто из них владел немецким языком). Другие новаторы считали эту форму романтизма варварской и ретроградной. Ламартин говорил о „Музе“: „Это бред, а не гениальность“. Стендаль около 1823 года писал, что боится той „немецкой галиматьи, которую многие называют романтической“. Он писал — „*романтисизм*“ (на итальянский

лад) и хотел, чтобы возник свободолюбивый романтизм, романтизм писателей-прозаиков, влюбленных в правду. Он высмеивал „молодых людей, которые избрали себе жанр мечтательный, тайны души; хорошо упитанные, с хорошими доходами, они непрестанно воспевают страдания человеческие и радость смерти“. Он называл их „мрачными дураками“.

К спорам примешался шовинизм. „Вертер“, роман какого-то немецкого поэта“, — писал в 1805 году в газете „Деба“ критик Жофруа. Позднее Гофман все издевался над „полковниками германской Мельпомены“. Противники „Французской музы“ из числа либералов упрекали ее в том, что она больше немецкая и английская, чем французская; что она предлагает мистицизм народу, который всегда видел в мистицизме лишь предмет для шуток; что она преподносит туманные оды нашей нации, которая по своему характеру склонна ко всему позитивному; что „Муза“ всерьез толкует с читателем-философом о всяческих суевериях. Словом, дух XVIII века восстал против духа XIX века. Во Французской Академии, которая по самому уж возрасту своих членов зачастую идет против новшеств и которая в те времена защищала классицизм и философию, господин Оже, постоянный секретарь Академии, в своей речи, произнесенной на публичном ее заседании, метал громы и молнии против содружества Арсенала, называл его еретической сектой в литературе: „Эта секта создалась недавно и насчитывает еще мало открытых адептов; но они молоды и горячи; преданность и энергия заменяют им силу и численность...“ Он призывал к порядку госпожу де Сталь за ее разграничение классицизма от романтизма — „которое, неведомо для всех литератур, раскалывает их; проделывается такое разделение и в нашей литературе, которая о нем никогда и не подозревала...“ Он упрекал романтиков в желании разрушить правила, на которых основаны поэзия и Французский театр, и в том, что романтики ненавидят веселость и находят поэзию только в страданиях. Впрочем, их печаль чисто литературная, говорил Оже, не причиняющая никакого вреда их прекрасному здоровью. Короче говоря, романтизм не связан с реальной жизнью, это призрак, исчезающий, лишь только попробуют прикоснуться к нему.

Странно, что этот хулитель романтизма вскоре покончил с собой, как романтический Вертер, но ведь никто не мог предвидеть его самоубийства, и „этих слу-

жителей „Французской музы“ смущали нападки Оже. „Наш великий Александр“ лелеял честолюбивую мечту попасть в Академию, да и другой Александр — Гиро тоже подумывал о доме на набережной Конти. Впрочем, они не считали себя романтиками и все меньше понимали, что означает это слово. „Столько раз давали определение романтизма, — говорил Эмиль Дешан, — что вопрос совсем запутался, и я уж не стану усиливать эту путаницу новыми разъяснениями...“ Общим для всех этих молодых людей была защита таинственности, которую отвергали и даже презирали философы XVIII века, бунт против холодной поэзии времен Империи, стремление посвятить свое перо трону и алтарю. Было ли это романтизмом? Право же, „невозможно задумываться серьезно над такими словами, как *классицизм* и *романтизм*: ведь нельзя ни напиться пьяным, ни утолить жажду этикетками бутылок...“

Если Академия хочет во что бы то ни стало разбить литературу на два лагеря, — писал тогда в „Музе“ Эмиль Дешан, — „мы, со своей стороны, укажем среди писателей всех наций, которых за последние двадцать лет именовали романтиками, следующих лиц: Шатобриана, лорда Байрона, госпожу де Сталь, Шиллера, Монти, де Местра, Гете, Томаса Мура, Вальтера Скотта, аббата де Ламенне и т. д. и т. п.; после этих великих имен нам не подобает приводить имена более молодых писателей. В другом лагере (выбирая литературные имена в той же эпохе) мы увидим господ*** — оставляю пробел и предлагаю *классицистам* заполнить его; яснее сказать не могу. А затем пусть решит вопрос Европа или какой-нибудь ребенок“.

Гюго, со своей стороны, ответил статьей „О лорде Байроне в связи с его смертью“:

„Нельзя после гильотин Робеспьера писать мадригалы в духе Дора, и не в век Бонапарта можно продолжать Вольтера. Настоящая литература нашего времени, та литература, деятели которой подвергаются остракизму, подобно Аристиду... и в бурной атмосфере которой, несмотря на широкие и рассчитанные гонения против нас, расцветают все таланты, как иные цветы произрастают лишь в местах, овеваемых ветрами... эта литература не отличается мягкими и бесстыдными повадками музы, которая воспевала кардинала Дюбуа, льстила фаворитке Помпадур и оскорбляла память Жанны д'Арк... Она не порождала дикой оргии песен во славу кровавой резни... Ее воображение окрыляет вера. Она идет в ногу со своим временем, идет шагом твердым и размеренным. Она

полна серьезности, ее голос мелодичен и звучен. Словом, она такова, какими должны быть чувства, общие для всей нации после великих бедствий, — чувства печали, гордости и веры в бога".

В статье есть фраза: „Мы не можем сделать так, чтобы прошлое стало настоящим". Сказано прекрасно, однако „наш великий Александр" не сводил глаз с дворца Мазарини и боялся постоянного секретаря. „Мы едва осмеливаемся дышать при этом режиме литературного террора", — вздыхал Молодой Моралист (Эмиль Дешан). Гиро и Рессегье готовы были из солидарности с лауреатом Тулузы прикрывать отступление Суме. Выход этой группы из кружка не убил бы „Французской музы", если бы среди остальных членов содружества царило полное согласие. Но его не было. Статья о „Новых размышлениях" Ламартина, не то что враждебная, но сдержанная, имела целью наказать старшего собрата за его отказ сотрудничать в „Музе". Он ответил весьма язвительным письмом к Гюго: „Каждый делает на сем свете свое дело, как умеет. Птицы поют, змеи шипят; не надо за это сердиться на них..." Неприятное назидание. Альфред де Виньи, страстный поклонник Ламартина, написал Гюго: „Какая гнусная вещь — литература! Возьмем хотя бы отзывы о поэзии Ламартина, которые я слышу вокруг. О нем всегда неправильно судили — то ставили его слишком высоко, то слишком низко. Говорят, вы отлучили его от церкви. Не могу этому поверить..." Суме писал Александру Гиро: „Ламартин — гигант, а вы — шалуны в литературе, и вы еще смеете его критиковать".

Второй повод к расколу. А кроме того, Шатобриан, который, будучи министром иностранных дел, поддерживал „Музу", где поэты воспевали его войну в Испании, вдруг провалился с треском, — был смещен 6 июня 1824 года. 15 июня „Французская муза" затопила свое судно. „По мотивам высокого порядка, — писала Мари Нодье, — корабль вернули в гавань после блистательного залпа в честь великого писателя при его выходе из министерства..." В последнем номере журнала Гюго на прощанье дал залп в честь Шатобриана:

Твои несчастья — славы пьедестал.
Когда судьба смеялась над тобой,
Ты возвышался над судьбой
И, падая с вершин, в лазурь взлетал[1].

[1] Гюго В. Шатобриану („Оды и баллады").

Двадцатого июля Александр Суме был избран во Французскую Академию. Итак, под ее купол вступил романтизм? Нет, скорее уж Суме отступил от романтизма.

Кто же Гюго? Классицист? Романтик? Публикуя в феврале 1824 года у книгоиздателя Лавока „Новые оды и баллады“, Виктор Гюго в предисловии к сборнику еще отказывается принять решение:

„Теперь в литературе, как и в государстве, существуют две партии, и война в поэзии, по-видимому, должа быть не менее ожесточенной, чем яростная социальная война. Два лагеря, кажется, больше жаждут сразиться, чем повести переговоры. Они упорно не желают найти общий язык: внутри своего стана они говорят приказами, а вне его издают клич войны. Но ведь так противникам столковаться невозможно. Меж двух боевых фронтов выступили благоразумные посредники, призывающие к примирению. Быть может, они окажутся первыми жертвами, но пусть будет так. Автор этой книги хочет занять место именно в их рядах. И прежде всего, желая придать некоторое достоинство беспристрастному обсуждению, которым ему хочется внести ясность в данный вопрос (больше для себя самого, чем для других), он решил отказаться от всяких условных терминов, которыми противники перебрасываются, как пустыми воздушными шарами, от знаков, не имеющих значения, от выражений, ничего не выражающих, от туманных слов, которые каждый понимает по-своему, сообразно своей ненависти или своим предрассудкам, и которые служат доказательствами только для тех, кто доказательств не имеет. Сам автор ведать не ведает, что такое *классический жанр* и *жанр романтический*... В литературе, как и во всем остальном, есть только хорошее и плохое, прекрасное и безобразное, истинное и ложное... Однако прекрасное у Шекспира столь же *классично* (если *классично* означает *достойное изучения)*, как и прекрасное у Расина...“[1].

Гюго восставал против той мысли, что революция в литературе является выражением политической революции 1789 года. Она была, — утверждает молодой Гюго, — ее результатом, а это большая разница. Мрачный и грозный ход событий, конечно, пробудил все, что было бессмертного и высокого в творчестве гениев. Но современная литература, произведения, созданные такими пи-

[1] Гюго В. Предисловие к „Одам и балладам“ издания 1824 г. — Собр. соч., т. 14, с. 28.

сателями, как госпожа де Сталь, Шатобриан, Ламенне, нисколько не принадлежат Революции, — „они предвосхищают монархический и религиозный дух того общества, которое, несомненно, возникнет среди множества обломков прошлого“. Форма „Новых од“ не более революционна (утверждал автор), чем его политические взгляды. „Всякое новшество, противоречащее природе нашей просодии и духу нашего языка, должно быть признано посягательством на самые основы хорошего вкуса...“

Сильный темперамент художника, неведомо для них самих, влияет на форму их произведений. Гюго как поэт уже освобождался от пут больше, чем он знал об этом как автор предисловия. В некоторых стихотворениях он дерзнул отказаться от перифраз, сорвал с дрессированной собаки ошейник эпитетов и назвал вещи своими именами. Еще слишком много у него *муз* и *ангелов*, слишком много возгласов: *Праведное небо! Что вижу я? — ...О, небеса! Куда те воины идут!* И все же в стихах, как будто против его воли, проскальзывают воспоминания детства, правдивые пейзажи, прекрасные строки:

Я король-изгнанник, гордый, одинокий...

Разве здесь уже не слышится Бодлер?

Вот уж ты явился взгляду,
Сыплешь блесток мириады,
И небесною отрадой
Песня крыл твоих звенит[1].

А здесь, разве вы не слышите Валери? Гюго предчувствует также ту роль, которую иным людям предназначено играть в мире.

Поэту чужд покой —
Он утешает род людской,
Рабов, снедаемых тоской...[2].

Нет ничего труднее, как написать без лишних или неточных слов короткое стихотворение, в котором смысл должен быть тесно связан с ритмом. В двадцать два года Гюго делал это с царственной легкостью. Но он был неведомо для себя романтиком, и присяжный критик

[1] Гюго В. К Трильби („Оды и баллады“). Пер. В. Давиденковой.— Собр. соч., т. 1, с. 348.

[2] Гюго В. Поэт в революции („Оды и баллады“).

„Журналь де Деба“, „старая лисица Гофман“, грубый и ворчливый сын Лотарингии, писавший в молодости вольные стишки в подражание классикам, разоблачил его. Он упрекнул поэта за то, что у него отвлеченные идеи сочетаются с реальными образами. „Писатели античности, — неосторожно заявил он, — не давали бы какому-нибудь божеству в качестве облачения — тайну“. Однако он имел дело с человеком, который лучше его знал античную литературу, и Гюго задал ему хорошую взбучку.

Письмо Гюго к Гофману, опубликованное (в силу права на ответ) в газете „Журналь де Деба“:

„Я не стану утверждать, что это выражение буквально взято из Библии. Библия несколько *романтична*, не правда ли? Но я спрошу вас, чем это выражение кажется вам порочным? Дело в том, скажете вы, что у вас отвлеченное понятие — *тайна* непосредственно сочетается с реальным образом — *облачение*. Ну что ж, сударь, такого рода сочетание слов, которое кажется вам *романтическим*, встречается на каждом шагу и у писателей античного мира, а также у великих современных писателей.

...За отсутствием места, я хочу привести только самые убедительные примеры. Вы утверждаете, что классики, стремившиеся никогда не соединять отвлеченные понятия с реальностями, не дали бы какому-нибудь божеству *тайну* в качестве *облачения*; но, сударь, они дали в качестве *основы престола божия* — *справедливость* и *истину* (Ж.-Б. Руссо, ода XI; кн. I), следовательно, вещественному образу — *престол* дали опору из двух отвлеченных понятий — *справедливость* и *истина*. Вот еще примеры: Гораций сказал в оде XXIX, кн. III. „Virtute me involvo mea (я *облекаюсь* в свою *доблесть)*“. Жан-Батист Руссо сказал (кн. IV, ода X): „В качестве высшей заслуги от людей требуют только *снисходительного порока в изящном облачении*...“ Ну и вот, сударь, — раз Гораций делает из доблести облачение, а Руссо то же делает с „*изяществом*“, разве не употребляем мы ту же самую фигуру, применяя ее к слову *тайна*, столь же отвлеченному, как *изящество* и *доблесть?..*

Итак, я имел честь доказать вам, что выражения, в которых вы усматриваете *всю суть романтизма*, по меньшей мере столь же часто употреблялись классиками античной и современной литературы и писателями наших дней, а поскольку в этих выражениях вы усматривали различие между двумя литературными жанрами, то оно рушится само собой; из этого следует, сообразно вашей системе, что нет никакой

реальной разницы между этими жанрами, раз единственная, признаваемая вами разница — разница в стиле, совсем исчезла. Позвольте поблагодарить вас за такой результат...“

Нельзя не восхититься твердостью тона в этом письме, эрудицией и решительностью автора. Мастерство не декретируется, оно властно заявляет о себе.

III

Блуа, Реймс, Шамоникс

Прекрасные творения — дочери их формы, рождающейся прежде, чем они.

Поль Валери

Финансовые дела семейства Гюго улучшились. За право выпускать в течение двух лет „Новые оды“ книгоиздатель Лавока платил автору две тысячи франков. Генерал ежемесячно посылал ему небольшую сумму, и Виктор, получавший теперь два королевских пособия, просил отца, чтобы тот, помогая ему, „прежде всего думал о собственном своем благополучии“. Молодые супруги смогли в 1824 году снять небольшую квартирку в доме № 90 по улице Вожирар над мастерской столяра и платить за нее шестьсот двадцать пять франков в год. Там у них родилась 28 августа дочь Леопольдина. „Наша Дидина просто прелесть. Походит она на мать, походит и на дедушку...“ Крестной матерью записали генеральшу и графиню Гюго. Конечно, это был дипломатический ход.

Улица Вожирар стала местом сбора многих молодых писателей. Семейство Гюго они считали образцовым. В их спокойном жилище, всецело посвященном труду, госпожа Гюго разливала сияние своей красоты. „Оды“ казались „Содружеству“ сладостными и торжественными отзвуками этой „чистой и уединенной жизни“. Гюго писал Альфреду де Виньи: „Сижу дома, где мне так хорошо, где я баюкаю свою дочку, где всегда со мною моя жена — мой ангел...“ Он хотел быть „первым в супружестве“, в отцовских радостях и в поэзии. Друзья остались ему верны. Альфред де Виньи, служивший в Олоронском гарнизоне, сперва возмущался закрытием „Французской музы“: „Ничего не понимаю в том, что мне пишут, дорогой друг, но из моей горной глуши мне кажется, что мы делаем глупость. Как! „Муза“ прекратит существова-

ние, когда она стала силой?.. Спасите ее любой ценой... Отступиться от нее было бы просто подло..." Он возмущался, что Александра Суме прельщает „ветхое кресло" академика. Но Олорон далеко от Парижа, и когда поэт-офицер писал это письмо, „Французская муза" уже умерла, а Суме стал „бессмертным". Это не затронуло дружбы, соединявшей Гюго и де Виньи: „Оставим другим эти мелкие слабости и ребяческие страхи. Любите меня и пишите мне, вот и будет хорошо, *Альфред*..."

Иногда на улицу Вожирар приходил к обеду Ламартин, он был тут старше всех, облик имел гордый, благородный и надменный. Он выставил свою кандидатуру во Французскую Академию и страдал из-за этого.

Ламартин — Гюго, 6 ноября 1824 года: „В среду приду к вам обедать, дорогой Гюго. Но, пожалуйста, не приглашайте Суме. Вы и представить себе не можете, до чего гнусно третируют нас, кандидатов, господа, получившие право избирать; я негодую, я возмущен. Хорошо знаю, что господин Суме им не сообщник, но и он и другие становятся их орудием. Будем жить вдали от них, и если вы, после того как эта история кончится, когда-нибудь снова увидите мое имя среди кандидатов в Академию, можете сказать, что я потерял и голову и сердце..." Ламартин обожал молодое семейство Гюго. *В письме от 23 декабря 1824 года он говорит*: „Вы не делали глупостей в своей жизни; а моя жизнь до двадцати семи лет была соткана из ошибок и распущенности... У вас сердце, достойное золотого века, а жена ваша — женщина из рая земного. При таких обстоятельствах еще можно жить в наш железный век..." Летом, когда Ламартин жил в Сен-Пуане, поэты переписывались. Виктору Гюго, защищавшему грамматику, Ламартин отвечал: „Грамматика подавляет поэзию. Грамматика не для нас писана..." Разница была в том, что Гюго прекрасно знал грамматику. Это дружбе не мешало, и Ламартин прислал Гюго стихотворное приглашение в Сен-Пуан:

Не грустно ли певцу томиться
В людской толпе? К нам поспеши, —
Ведь место вольной певчей птице
Среди полей, в лесной глуши![1]

Из-за болезни Эжена генерал Гюго задержался в Париже, и это привело не только к родственному, но и к

---

[1] Пер. М. Донского.

духовному сближению Виктора Гюго с отцом. Когда-то торжествующий и суровый отец вызывал у его детей враждебные чувства, но отец, уволенный в отставку, искавший опоры у сына, уже ставшего знаменитым поэтом, внушал им снисходительное к себе отношение, жалость, а также и гордость его былыми воинскими подвигами, — Адель и Виктор любили слушать рассказы о них.

Оставь, о мой отец, твой страннический посох!
О бурях боевых, о гибельных утесах,
Встречавших твой корабль, поведай в тихий час
В кругу семьи своей. Ты кончил труд походный,
Ты завещал сынам свой подвиг благородный,
И нет наследия прекраснее для нас![1]

А через своего отца, которого сын теперь лучше знал и больше любил, он чувствовал себя ближе к Наполеону. При жизни Наполеон был „тираном“, ненавистником для матери Виктора Гюго. После трагедии на острове Святой Елены он стал преследуемым героем, и в глубине души Гюго чувствовал, что французскому поэту приличнее воспевать тех, кто сражался под Фридлиндом, и тех, кто пал у Риволи, чем осыпать цветами заказных од мелькающие фигуры королевской семьи.

Французы! Отберем похищенную славу!
Вам подвиги его принадлежат по праву,
Довольно хор похвал о нем одном гремел!
Он вами вознесен, но ваших молний сила
Какому бы орлу весь мир не покорила
И кто б не стал велик с вершины ваших дел![1]

Когда Шатобриан был министром, Виктор Гюго надеялся возвести отца „на вершину воинских почестей“, но в пору своего могущества Шатобриан стал недоступным сановником. *Виктор Гюго — генералу Гюго, 27 июля 1824 года:* „Если мой знаменитый друг вернется на свой пост, наши шансы утроятся. Мои отношения с ним стали гораздо ближе со времени его опалы; а когда он был в милости, дружба наша очень остыла...“ И *29 июля 1824 года*: „Дорогой наш Эжен все в том же положении, бедняжка. Никакого сдвига! Полная безнадежность...“ Отношения с бывшей графиней де Салькано улучшились: „Поблагодари, пожалуйста, свою жену за ее деликатное внимание ко мне — она сердечно поздравила меня с

[1] Гюго В. Моему отцу („Оды и баллады“). Пер. В. Левика.— Собр. соч., т. 1, с. 327.

днем рождения. Не могу и передать, как я и моя Адель были тронуты. Поблагодари ее еще за обещанную присылку масла, оно будет нам очень полезно нынешней зимой...“

Генерал Гюго, радуясь необонапартизму своего сына, настаивал, чтобы тот приехал со всем семейством погостить в Блуа. Прежде это было невозможно из-за двух тяжелых беременностей Адели. Наконец, в апреле 1825 года, они предприняли это путешествие. Виктор Гюго, который, несмотря на смерть Людовика XVIII, по-прежнему был в милости двора, получил от почт-директора карету и поехал в ней с женой и маленькой дочкой. В Блуа на почтовой станции их встретил генерал Гюго с широкой улыбкой на багровом лице, чрезвычайно довольный, что может показать сыну и снохе свой красивый, прочный и просторный „белокаменный дом... с шиферной крышей“; еще больше он был счастлив, когда, вскоре после приезда, сын получил письмо от виконта де Ларошфуко, „уполномоченного Управления изящных искусств по сношениям с королевским домом“, — в этом письме сообщалось, что Карл X „милостиво соизволил“ произвести в кавалеры ордена Почетного легиона господ Гюго и Ламартина. На самом-то деле оба они ходатайствовали об этом ордене. Его величество весьма любезно выразил свое огорчение по поводу забвения, в коем пребывают деятели литературы, чем они по праву должны быть удивлены. Король пригласил молодого поэта на свою коронацию. Легко себе представить, как счастлив был отец, увидев дорогой ему орден Почетного легиона на груди своего двадцатитрехлетнего сына.

Для Виктора Гюго, умевшего наслаждаться возвышенными чувствами и долго считавшего себя сиротой, было радостно жить под отцовской кровлей. Когда-то он восставал против отца, а теперь испытывал чудесное душевное спокойствие, чувствуя себя перед ним ребенком, но ребенком, которого отец уважает, и ему нравилось бродить с отцом по живописным окрестностям Блуа. О самом Блуа он говорил, что „это прелестнейший город... Он раскинулся на обоих берегах красавицы Луары, и все тут тешит взгляд; с нагорной стороны амфитеатром поднимаются по склонам сады и руины; с другой — простирается равнина, утопающая в зелени. На каждом шагу — воспоминание...“ Он любил старинные замки, связанные с историей и легендами.

Виктор Гюго — Адольфу де Сен-Вальри, 7 мая 1825

года: „Я побывал в Шамборе. Вы и представить себе не можете, какая там своеобразная красота!.. Всяческое волшебство, всяческая поэзия, всяческие безумства проглядывают в этом восхитительном и странном дворце, где обитали феи и рыцари. Я вырезал свое имя на верхушке самой высокой башенки; прихватил с собой немножко камешков и мха с вершины холма и кусочек оконного переплета от того самого окна, на котором Франциск I написал две стихотворные строчки:

Женщины, женщины,
Как вы изменчивы!

Обе эти реликвии для меня драгоценны...“

Очень понравилась ему и усадьба Мильтьера, которую генерал Гюго купил в Солони, в нескольких километрах от Блуа.

Виктор Гюго — Полю Фуше, 10 мая 1825 года: „Нахожусь сейчас в Мильтьере, в зеленой беседке около дома; плющ, обвивающий ее, бросает на бумагу зубчатые, вырезные тени; посылаю тебе их рисунок, раз ты хочешь, чтобы в моем письме было что-нибудь поэтическое. Не смейся над странными линиями, брошенными как будто случайно на оборотной стороне листка. Призови на помощь воображение. Представь себе весь этот рисунок, начертанный солнечным светом и тенью, и ты увидишь нечто очаровательное. Вот так и поступают безумцы, которых именуют поэтами...“

Слова важные, так как они показывают счастливую непринужденность, с которой Гюго начал теперь рисовать, а зачастую и писать. Светлые пруды, старинный дом, дуплистые ивы, под которыми зажигались во тьме блуждающие огоньки, обратили для него Мильтьеру „в чудесный, таинственный приют“.

Дни, проведенные в гостях у отца, пролетели, как показалось Гюго, чересчур быстро. Каждый жаждет тех почестей, в которых ему отказывают, и проклинает те, что сами плывут ему в руки. Когда пришло время ехать в Реймс на коронацию Карла X, молодой и уже прославленный поэт огорчился, что надо расстаться с Блуа, с отцом, а главное, с Аделью — впервые со дня свадьбы. Но так уж было решено. Виктор Гюго обещал, что путешествие из Парижа в Реймс он совершит вместе с Нодье, и попросил родителей жены приготовить ему придворный костюм: короткие панталоны, шелковые чулки, башмаки с пряжками, стальную шпагу. Он выехал 19 мая, испы-

тывая некоторое удовольствие оттого, что Адель заливалась слезами, прощаясь с ним. Предстояло провести без нее лишь несколько дней, но ему они казались чуть ли не вечностью: „Как все эти почести печальны! Многие завидуют, что я еду, но завистники не знают, как я несчастен из-за этого счастья...“ Однако ж ему было двадцать три года, он любил славу и немало гордился, что попутчики в дилижансе смотрят на красную ленточку у него в петлице: „Скажи моему отцу, что дорогой меня спрашивали, *не еду ли я в свой полк* и т. д. Все это из-за ленточки!“ В этой фразе чувствуется тайная любовь к воинской славе. Он просил Адель вскрывать письма, которые, возможно, будут приходить на его имя, и сообщать ему их содержание. О, простодушная доверчивость супругов, не имеющих тайн друг от друга.

На улице Вожирар он, разумеется, расположился в их общей спальне и от этого тяжелее почувствовал свое одиночество. Париж без Адели стал для него чужим: „Моя родина — это ты...“ Завтрак у родителей жены, — господин Фуше сам приготовил для зятя омара под соусом. Посещение портного, — тот показал ему сшитый фрак, весьма безобразный и очень модный; визит к „бессмертному“ Суме, — академик с обычной своей ласковой добротой предложил ему для предстоящей церемонии свои короткие панталоны; затем, поскольку и сам Гюго, и Нодье сидели без денег, переговорил с книгоиздателем Лавока — тот жаждал получить будущую оду на коронацию Карла X, а посему дал аванс на поездку в Реймс. Обед у Жюли Дювидаль де Монферье, художницы и хорошенькой женщины; когда-то Виктор Гюго ее ненавидел, а теперь она была другом дома, и молодой супруг обожал ее: „Мы пили за твое здоровье, моя дорогая Адель. Как я тебя люблю!.. Я тысячу раз поцеловал твое письмо. Какое прекрасное письмо! Каким красноречивым сделали его скорбь и нежность...“

Путешествие в Реймс началось хорошо. Шарль Нодье и Виктор Гюго совместно с двумя приятелями наняли за сто франков в день нечто вроде большой извозчичьей кареты, так как нечего было и мечтать о билетах в дилижанс. Дорогу, подчищенную скребками, посыпанную песком, как парковая аллея, запрудили экипажи: гостиницы и постоялые дворы были переполнены. Всюду, где делали остановку, Гюго бежал осматривать исторические памятники, а Нодье устремлялся к букинистам. В Реймсе пришлось ночевать вчетвером в одной комнате, но Шарль

Нодье так интересно рассказывал там о готических соборах... Превосходный попутчик и настоящий эрудит, Гюго любил готику, „поистине порождение природы. Беспредельное, как сама природа, в великом и в малом. Микроскопическое и гигантское..." Шатобриан посвятил его в тайны готики, Нодье, замечательный знаток старины, научил его населять памятники прошлого священными тенями их основателей и оживлять воспоминаниями о событиях, свидетелями которых были крепости, замки, монастыри. „В этой Шампани все дышит сказками... Реймс — да ведь это царство химер..." Нодье рассказывал сказки и пробуждал химеру. На улицах Реймса теснились любопытные, желавшие посмотреть, как проедет Карл X; Гюго говорил Шарлю Нодье: „Пойдем лучше полюбуемся на его величество кафедральный собор". Нодье смеялся. „В вас вселился стрельчатый бес". — „А в вас — бес Эльзевир", — ответил Гюго.

И Нодье и Гюго, оба в парадных фраках и со шпагой на боку, присутствовали на коронации среди сонма толстых мужчин и женщин, увешанных драгоценностями. „Вся церковь сверкала при свете майского дня. Блистали золотые ризы архиепископа, на алтаре дробились солнечные лучи..." Во время церемонии некто Эмонен, представитель департамента Дуб, подарил Шарлю Нодье книгу, которую держал в руках. „Только что купил ее за шесть су", — сказал он. То был томик разрозненного издания Шекспира на английском языке. Вечером Нодье переводил оттуда с листа драму „Король Иоанн". Для Гюго она была откровением. „Право, это великое произведение!" — воскликнул он. Ламенне еще в 1823 году советовал ему „пройти курс лечения Шекспиром", но Гюго не пожелал читать его в отвратительном переводе Летурнера. Затем Виктор Гюго также с листа перевел Шарлю Нодье испанское „Романсеро", купленное дорогой у какого-то букиниста. Та ночь в Реймсе, когда Виктор Гюго в номере гостиницы открыл Вильяма Шекспира, также была коронацией — венчанием на царство великого поэта.

Шатобриан тоже приехал в Реймс; Гюго поспешил засвидетельствовать ему свое почтение и застал его в ярости: „Я мыслил коронацию совсем иначе. Голые стены церкви, король на коне, две раскрытые книги: Хартия и Евангелие, — религия, сочетающаяся со свободой". По-видимому, у виконта де Шатобриана было больше чувства театральности, чем почтения перед ритуалом. Гюго пошел проводить великого человека, посадить его в эки-

паж и оказался единственным провожающим: у свергнутых министров не бывает свиты почитателей. Даже Виктору Гюго хотелось поскорее освободиться, чтобы ехать в Блуа. Его тревожили письма Адели. Она жаловалась на холодность, которую после отъезда Виктора выказывала ей генеральша: „С грустью узнала я некоторые вещи, доказывающие, что госпожа Гюго с трудом переносит наше присутствие и сетует на него... Непременно напиши, что из-за непредвиденных дел тебе необходимо вернуться в Париж..." Она умоляла Виктора поскорее приехать за ней: „Через два дня после этого мы бы отправились домой, я заказала бы места в почтовой карете, здесь мы придумали бы какой-нибудь предлог..." А Гюго надеялся погостить у отца полтора месяца. Следующее письмо было более настойчивым: положение стало невыносимым. Виктор Гюго, глубоко огорченный, советовал жене быть спокойнее: „Успокойся. Мы все уладим. Твой Виктор, твой муж, твой покровитель, скоро вернется, и чего же тебе тогда будет недоставать?.." Но Адель не могла выдержать и уехала одна с Дидиной и с няней в Париж, где ее встретила мать.

В оправдание своего поспешного отъезда она ссылалась на то, что Виктору нужно срочно написать „Оду на коронацию". Действительно, он сочинил эту оду еще „в тени собора". „Стихи на случай", помпезные, какими и полагалось им быть:

Сиянье алтаря, великолепье трона,
Склоненные пред ним священные знамена
    С тугими складками серебряной парчи,
На арках золотых гирлянды белых лилий, —
    Все это бликами цветными озарили
Узором витражей смягченные лучи...[1]

Почтительная и торжественная „Ода" понравилась в высоких сферах; Состен де Ларошфуко послал Виктору Гюго две тысячи франков в возмещение путевых издержек; Карл X дал аудиенцию поэту, который лично преподнес ему свои стихи, и был вознагражден „самым деликатным образом": король дал его отцу чин генерал-лейтенанта. Он приказал также, чтобы „Ода" была „выпущена со всей типографской роскошью на печатных станках Королевской типографии", и, кроме того, король сделал супругам Гюго хозяйственный подарок — столо-

[1] Гюго В. Коронация Карла X („Оды и баллады"). Пер. И. Шафаренко.

вый сервиз севрского фарфора с тонким узором, в виде золотой сеточки. Подарок пышный и полезный.

Ламартин пригласил Гюго и Нодье навестить его в Сен-Пуане. „Мы поедем, — сказал Нодье, — да еще возьмем с собой жен, и все это ничего не будет нам стоить". — „Каким образом?" — „Мы доберемся до самых Альп; мы расскажем о нашем путешествии. И какой-нибудь издатель оплатит его". В самом деле, издатель Юрбен Канель заказал этим туристам „Поэтическое и живописное путешествие на Монблан и в долину Шамоникс". Нодье должен был представить прозаический текст и получить за него две тысячи двести пятьдесят франков, а Гюго — две тысячи двести пятьдесят франков „за четыре плохоньких оды, — писал он отцу. — Оплата неплохая..."

Взяли в путешествие даже Дидину, Гюго в костюме из серого кутиля резво бегал по косогорам и походил на школьника, приехавшего на каникулы. Нодье был великолепный рассказчик; его невозмутимый вид и медлительная манера говорить были очень забавным контрастом с живостью его ума, — а ведь в этом как раз секрет юмора. Добродушная госпожа Нодье тоже была забавна, когда она с практическим и здравым смыслом француженки объявляла неправдоподобными фантастические рассказы своего мужа. Обстановка в Сен-Пуане оказалась не очень приятной. Дом „господина Альфонса" совсем не походил на его поэмы и разочаровал Гюго. Нет ни *зубчатых вершин*, ни густой *завесы плюща*, *оттенок столетий* на стенах дома оказался желтоватой малярной покраской. „Руины хороши для описания, а не для жилья", — прозаически пояснил Ламартин. Женат он был на англичанке, она надевала к обеду нарядный туалет, что очень смущало путешественниц. „Она выходила к столу декольтированная и вся в бантах, — писала Адель Гюго. — Наши скромные шелковые платья с высоким воротом оказались весьма неуместными при таком параде..." Гюго и Ламартин уважали друг друга, но сблизиться не могли.

Альпы и особенно „царственно возвышавшийся Монблан, в ледяной тиаре и в снеговой мантии", взволновали Виктора Гюго. Все эти исполины, то сверкающие, то сумрачные, зеленые и белые, представляли собою зрелище, достойное его. При своих внутренних противоречиях (мать и отец, христианская религия и вольтерьянство, красота и жестокость мира, радость и кошмары, ангел и фавн), он испытывал потребность и во внешних контрастах, отвечающих его душевному складу. Он любил контраст между белизной сверкающего на солнце снега и

черным провалом бездны. „Вот сейчас разорвалось облако над нами, и сквозь эту расселину мы увидели вместо неба — крестьянский домик, зеленый луг и несколько едва заметных коз, которые паслись на заоблачной высоте. Никогда я не видел таких необычайных картин. У наших ног бурлит поток, похожий на реку Ада; над нашими головами уголок Рая..." Безотчетно обращаясь к мифологии, он превращал горы, скалы, потоки — в чудовища, в духов и демонов: „Признаюсь, такой уж у меня уродливый склад ума: в грозной красоте диких мест для меня чего-то не хватало бы, если бы народные сказания не придавали им волшебного характера. Я охотно остановился на этих подробностях, потому что люблю суеверия; суеверие — детище религии и матерь поэзии..."

По вечерам, собравшись на постоялом дворе, наши путники смеялись, вспоминая, каких опасностей избежали в дороге. Никогда Гюго не забывал это „радостное путешествие в Швейцарию. Это одно из светлых воспоминаний в моей жизни".

IV

Мастерство

Поразительная виртуозность Гюго не была помехой его гению.

Жюль Ренар

С 1826 по 1829 год Гюго много работал, многому научился, много создавал. Ошибочно было бы измерять его гигантские успехи датами опубликования его книг: „Оды и баллады" (конец 1826 г.), „Кромвель" (1827 г.), „Восточные мотивы" (1829 г.). Некоторые написанные им вещи он держал в ящике стола два-три года. В „Восточных мотивах" содержатся стихи, написанные в 1826 году; очаровательная „Песенка шута" из драмы „Кромвель" напечатана была в виде эпиграфа еще в „Одах и балладах". Лучше будет проследить общую линию его поисков.

В эти годы поэзия становится для него искусной игрой, в которой он чувствовал себя мастером. Официозные „Оды" доставили ему то, что они могли дать; теперь у него появилась публика; книгоиздатель Лавока заплатил ему четыре тысячи франков за сборник „Разные стихи". Путешествия, беседы с Нодье, изучение поэтов XVI века вызвали у него интерес к немецким и шотландским бал-

ладам (так возникли баллады „Невеста литаврщика“ и „Два лучника“), а с другой стороны, у него появилось стремление к чистой виртуозности. Он создавал фантастические баллады, или, как он называл их впоследствии, „романсы“. Политический или религиозный смысл в том, что он писал тогда, значит для него довольно мало. Он уже был далек от мысли, которую высказал в 1824 году, утверждая, что вся поэзия должна быть монархической и христианской. Теперь его стихи только очаровательны.

Если ты в пути
Ночью — не шути
С судьбиной.
Зренье напряги,
Тропкой не беги
Пустынной.

Хмурый океан
Заволок в туман
Долины,
Чтоб светить не мог
Даже огонек
Единый...

Мрачен темный бор —
Вдруг настигнет вор
С дубиной?
Слышен хор дриад,
Что людей манят
В трясины;

Здесь нашел конец
Не один беглец
Невинный...
Духи под луной
Пляшут танец свой
Старинный...[1]

Слова здесь поставлены лишь ради их музыкальности. То он развлекается („Охота бургграфа“), чередуя на восьми страницах восьмисложную строку стихотворения с односложной, которая звучит, как эхо.

Старый бургграф с сенешалем у гроба
Оба.
Готфрид святой, ты для нас господин
Один[2].

---

[1] Гюго В. Песенка шута (драма „Кромвель“, действие IV, сцена I). Пер. И. Шафаренко.

[2] Гюго В. Охота бургграфа („Оды и баллады“). Пер. М. Донского. В этом переводе размер иной. (Ред.).

То он пишет длиннейшую балладу трехсложным стихом („Турнир короля Иоанна“). Да можно ли считать это только виртуозностью? Это скорее уж акробатика, гимнастические трюки, поражающие непринужденностью, почти что сверхчеловеческой легкостью исполнения.

Молодому поэту Виктору Пави он дал тогда такой совет: „Быть очень требовательным в отношении богатства рифмы, единственной прелести нашего стиха, а главное, чтобы мысль всегда укладывалась в четкие рамки строфы...“ „Это требование,— добавил Гюго,— результат изучения (плохого или хорошего) самого духа нашей лирической поэзии“. Тут он близок к другим крупным поэтам Франции, которые столетием позднее учили, что присутствие образного слова уже является элементом красоты, что наш язык, лишенный разнообразия в ударениях, требует точных ритмов и правильных рифм и, наконец, что поэзия — это прежде всего музыка.

Эта поразительная эволюция в творчестве Гюго началась после торжественных „Од“. Когда вышли в свет „Оды и баллады“ (1826), Ламартин написал ему из Флоренции: „Хочу по-дружески еще раз дать вам суровый совет: не стремитесь к оригинальности! Подумайте хорошенько, прав я или нет: ведь это игра ума, а не то, что вам надо...“ „Глоб“— умный и серьезный журнал — не очень благосклонно относился к Виктору Гюго. Этот либеральный орган печати, призывавший к международным культурным связям, раздражала, а иногда и возмущала „Французская муза“ и ее салонный католицизм. Однако директора журнала, Поля-Франсуа Дюбуа, профессора и журналиста, человека властного и даже гневливого, однажды затащили на улицу Вожирар к „ангелу Виктору“, как говорила Софи Ге, и Дюбуа потом признался, что его очаровала молодая чета Гюго: „В скромной квартирке над столярной мастерской я увидел в крошечной гостиной молодого поэта и молодую мать, баюкавшую свою малютку-дочь, учившую ее складывать молитвенно ручонки перед гравюрами рафаэлевских мадонн с младенцами иисусами. Эта наивная, искренняя, хотя и немножко театральная сцена растрогала и восхитила меня...“ Гюго, со своей стороны, заверил директора „Глоб“ в своей симпатии к нему: „За те немногие часы, которые я провел подле вас, вы внушили мне чувство истинной дружбы...“

Когда „Оды и баллады“ вышли в свет, Дюбуа, сохранивший нежные воспоминания о „Святом семействе“ с улицы Вожирар, передал книгу одному из своих бывших

учеников в коллеже Бурбон Шарлю-Огюстену Сент-Беву, который вел отдел литературной критики в „Глоб“, и сказал ему: „Вот стихи молодого варвара Виктора Гюго, у которого есть талант... Я с ним знаком, и мы иногда встречаемся“. Сент-Бев написал большой и похвальный отзыв, но разумно предостерегал в нем автора от крайностей: „В поэзии, как, впрочем, и в другом, ничего нет опаснее, как чрезмерная сила; если ее не укрощать, она может наделать много вреда; из-за нее то, что было оригинальным и новым, вполне способно сделаться странным; яркий контраст перерождается в жеманную антитезу; автор стремится к изяществу и простоте, а приходит к слащавости и упрощенности, он ищет героического, а встречает гигантское; если же он когда-нибудь попытается изобразить гигантское, ему не избежать ребячливости...“

Критик был еще моложе поэта (младше его на два года), но он обладал широким образованием, чутьем к оттенкам и был одним из самых проницательных умов своего времени. Он отличался также врожденной тонкостью вкуса, верностью суждений. Остатки религиозности боролись в нем с реалистическим и скептическим духом, развивавшимся благодаря научным занятиям. Этот лирик и позитивист страстно мечтал о счастье, о любви и страдал, думая, что он не может внушить любовь. Внутренняя жизнь занимала его больше, чем живописность фразы. В своей статье он восхищался „пламенным стилем Гюго, его красочными образами, нежданными их переходами, гармонией его стиха“, но из всех „Од и баллад“ больше всего хвалил он те немногие стихотворения, в которых Виктор Гюго, возвышаясь над виртуозностью, изливал чувства, поднимавшиеся из глубины его души. „Постарайтесь вообразить себе самые чистые часы любви, самую целомудренную нежность в браке, самое священное слияние душ перед взором господа, — словом, вообразите в мечтах наслаждения страсти, похищенной с небес, слетевшие к нам на крылах молитвы, и все ваши мечты осуществит да еще и превзойдет поэт Гюго в стихотворениях, которым он дал прелестные названия: „Еще раз о тебе“ и „Ее имя“. Цитировать их — это значит омрачить их целомудренную тонкость чувства“. Действительно, это были задушевные стихи, проникнутые нежной лиричностью.

Люблю и чту тебя, как высшее созданье,
Как предков правнуки благоговейно чтут,
Как любит брат сестру, что делит с ним страданья,
А старики — внучат, которые к ним льнут.

Я так люблю тебя, что слезы умиленья,[1]
Текут из глаз моих при имени твоем...

Легко понять, как радовались молодые супруги, читая 2 января 1827 года эти похвалы стихам, дорогим для них, появившиеся в обычно суровом журнале. Их не огорчили некоторые оговорки критика, — общий тон статьи был благожелательный и даже почтительный; Гете, прочитав ее, не ошибся в своем суждении — 4 января он сказал Эккерману: „Виктор Гюго — истинный талант, на который оказала влияние немецкая литература. Его юность была, к несчастью, ущемлена в поэзии педантизмом лагеря классицистов, а теперь, извольте-ка, даже „Глоб“ за него, — стало быть, он победил“. Гений распознал гения.

Статья в „Глоб“ была подписана инициалами — С. Б. Виктор Гюго написал директору журнала, господину Дюбуа, два письма — в первом спрашивал, кто такой этот С. Б., а во втором благодарил его.

Виктор Гюго — Полю Франсуа Дюбуа, 4 января 1827 года: „Я так ценю ваши труды, господин Дюбуа, что не решился бы побеспокоить вас изъявлением своей признательности. Надеюсь, однако, что вы не откажете мне в разрешении зайти поблагодарить вас. И не будете ли вы так добры прислать мне адрес господина Сент-Бева, которому мне также хотелось бы выразить, что я испытывал, читая его превосходную статью. Все, что говорится в ней, даже то, что могло бы противоречить моим взглядам или задеть мое самолюбие, сказано достойным тоном благожелательного и честного человека, это восхищает меня, и его замечания, очень ценные сами по себе, становятся для меня просто драгоценными.

Надеюсь, что еще до тех пор, когда мне удастся пойти к господину Сент-Беву и сказать ему все это устно, вы, господин Дюбуа, будете любезны передать ему живейшую мою благодарность. Позвольте мне также сказать, что вы принадлежите к числу тех немногих людей, к которым меня с первой же встречи привлекает искренняя симпатия, и я горжусь ею...“

Дюбуа ответил: „Он живет рядом с вами, на улице Вожирар, в доме № 94“. Гюго пошел и позвонил к соседу; Сент-Бева не оказалось дома, но на следующий день он сам пришел к супругам Гюго. Перед ними предстал длинноносый молодой человек, робкий и хрупкий, дурно

---

[1] Гюго В. Еще раз о тебе („Оды и баллады“). Пер. И. Шафаренко.

сложенный и немножко косноязычный. Рыжие волосы, круглую, слишком большую для его тела голову нельзя было назвать красивыми. Однако он напрасно считал себя безобразным. В чертах его лица не было ничего неприятного, и он вполне мог нравиться. Надо сказать, что это лицо озарено было умом, и как только Сент-Бев чувствовал себя свободно, он становился бесподобным собеседником. Он не договаривал фраз, как будто „швырял их с отвращением, не желая докончить", но мысли он высказывал верные и глубокие.

По правде сказать, говорил-то главным образом Гюго. Сент-Бев слушал, „покоренный сиянием гения", и украдкой посматривал на красавицу Адель, присутствовавшую при этом свидании.

В наряде утреннем, юна, свежа, мила,
Она меня сперва в смущенье привела,
Так строг был взгляд ее. Почтительно кивая,

Я слушал, как лилась поэта речь живая,
Но, на нее глаза переводя с него,
Боюсь, что, слушая, не слышал ничего...

Он говорил. Жена ему внимала стоя...
Я, наблюдая их, все недоумевал,
Что с хрупким деревцем связало шумный вал...
Но вскоре мысль ее, как видно, утомилась,
И, находясь средь нас, она совсем забылась;
Хоть руки делали привычные дела,
Мечта ее от нас далеко увела,
И, не засмейся он, она бы все мечтала
И даже слов моих прощальных не слыхала[1].

Сент-Бев пришел еще раз. Все, что Гюго говорил о рифме, о колорите, о фантазии, о ритме, о своей поэтике, открывало перед восхищенным взглядом молодого критика новые, неизведанные края. Он тогда работал над обзором поэзии XVI века. То, что он услышал, проливало яркий свет на понятия о стиле и о фактуре стиха. После второго посещения он передал Гюго стихи, которые сам писал украдкой. По сравнению с фейерверком поэзии Гюго они казались тусклыми. Однако у них были свои достоинства: естественность стиля, прелесть интимности, и Гюго сумел похвалить лучшее, что было в них: „Приходите поскорее, сударь, чтобы я мог поблагодарить вас за прекрасные стихи, которые вы мне доверили..."

[1] Сент-Бев. Что я рассказывал Адели („Книга любви"). Пер. И. Шафаренко.

„С этого дня, — говорит Сент-Бев, — я был завоеван тем отрядом романтиков, вождем которого был Гюго“. Он пришел в качестве критика, а ушел учеником. „Гюго все читал и все запоминал. Он с некоторым хвастовством выставлял свои познания...“ Но он так щедро и так искусно расточал похвалы, что целый отряд писателей признал его своим главой. „Литература, — говорилось на страницах „Глоб“, — накануне 18 брюмера, но бог знает кто в ней Бонапарт...“ Бог это знал.

Виктор Гюго уже год работал над драмой „Кромвель“. Его всегда влекло к театру, и он еще в детстве писал пьесы. Теперь он прочел все, что мог найти о жизни Кромвеля (около ста книг), и в августе 1826 года принялся за работу. Тейлор, друг Альфреда де Виньи, получивший дворянство по указу Карла X и пост королевского комиссара в театре Французской Комедии, спросил, почему Гюго ничего не пишет для сцены, и тот сказал о своем „Кромвеле“. Тейлор пригласил его на завтрак вместе с Тальма, и поэт объяснил трагику, что он хочет создать драму, идя по стопам Шекспира, а не Расина, в языке же смешать все виды стиля — от героического до шутовского, уничтожить трескучие тирады и эффектные стихи. „Да, да! — согласился Тальма. — Не надо красивых стихов“.

Но Тальма умер в том же году; драма получилась слишком длинной, поставить ее на сцене казалось невозможным. Виктор Гюго решил прочесть „Кромвеля“ своим друзьям. Чтения вошли тогда в моду. Слушатели млели, как гости мольеровских „Жеманниц“. „Выслушав какую-нибудь оду, — рассказывает госпожа Ансело, — приглашенные в явном волнении подходили к поэту, брали его за руку и поднимали глаза к небу. После многозначительной паузы слышалось: „Собор! Готика! Пирамида!“ Засим следовало глубокое сосредоточенное раздумье“. Прочитав отрывки из „Кромвеля“ у госпожи Тастю, Гюго пригласил „господина Сент-Бева“ пожаловать 12 марта 1827 года к Фуше, на улицу Шерш-Миди, где он будет читать всю драму целиком. „Все будут счастливы видеть вас, а я — особенно. Вы принадлежите к числу тех людей, перед которыми я всегда готов читать, так как люблю слушать ваши замечания...“

Чтение прошло с успехом, как всякое авторское чтение, но на этот раз успех был вполне оправдан. Драматическая сила некоторых сцен, новизна лексики, шекспировская веселость четырех шутов делали „Кромвеля“

произведением крупным и оригинальным, заслуживающим постановки в театре. „Из-за вашего Кромвеля, — сказал автору Альфред де Виньи, — покроются старческими морщинами все современные наши трагедии. Когда „Кромвель“ взберется на театральные подмостки, он там произведет революцию, и вопрос будет решен“. На следующий день, 13 марта, Сент-Бев написал Гюго письмо, представляющее большой интерес. Он восхищался красотами этой „трагикомедии“, и вместе с тем у него нашлись критические замечания.

„Все эти замечания сводятся к одному, которое я уже позволил себе высказать в отношении вашего таланта: чрезмерность, злоупотребление силой и, простите меня, — *шаржирование*. Серьезная часть вашей драмы восхитительна; как бы вы ни увлекались, сколько бы ни буйствовали, вы никогда не выходите за пределы возвышенного. Сцены приема послов и две следующие за нею сцены во втором действии, монолог Кромвеля после встречи с сэром Робертом Уиллисом, а в третьем действии — сцены Тайного совета, Мильтон у ног Кромвеля, — все это хорошо, даже прекрасно, при каждом стихе хочется вскрикнуть от восторга, — упреки мои относятся главным образом к комической части. Намерение перемешать, переплести комическое с основным развитием действия, которое в целом посвящено ужасным событиям, является для вас источником красот, из которого вы широко, слишком широко черпали. Чем больший контраст производит эффект, тем сдержаннее следовало быть, и, мне кажется, вы превысили меру, особенно в слишком частых и длинных репликах „в сторону“, которые, думается, больше следовало бы угадывать: пародию не надо подчеркивать, ее должны понимать с полуслова... Словом, я сетую только на злоупотребления, на *мелочи*, и, право, вчера были минуты, когда я очень досадовал на них; однако не думайте, что мне *наскучили* они, у вас ничего скучного не бывает; но они раздражали меня, приводили в нетерпение; меня так и подмывало крикнуть, как Кромвель кричал своим шутам, когда приходил в дурное расположение духа: „Тише! Довольно! Прочь отсюда!“ Простите, дорогой мой, что я позволил себе без всякого стеснения высказать свои мысли о вас, но чем меньше тут будет церемоний, тем скорее, надеюсь, вы извините меня... Большая наглость с моей стороны нападать на вас с критическими замечаниями, когда меня просто подавляют красоты вашей драмы, это у меня жал-

кая попытка отомстить вам. А все-таки скажу еще два слова о вашем стиле. Он очень хорош, особенно в серьезной части драмы. А в остальном он не всегда свободен от чересчур многочисленных, иной раз странных образов... Вы поставили перед собою двойную цель: с одной стороны, сравняться с Корнелем, а с другой — с Мольером. С Корнелем вы сравнялись, а с Мольером — нет, вы ближе к Реньяру и особенно — к Бомарше: в вашей пьесе много от „Женитьбы Фигаро"..."

Тут полностью выявилась противоположность двух темпераментов. Сильная натура Гюго не могла и не должна была отказываться от вершин; Сент-Бев, тонкий и хрупкий, мог дышать только на „умеренных высотах". Он понял романтизм, он понимал все на свете, но не мог отделаться от мысли, что у романтиков возвышенную пьесу всегда сопровождает „пародийный водевиль". Сам он ясно видел и строго судил свои собственные безумные выдумки. „Я классик, — признался он однажды, — в том смысле классик, что стоит мне обнаружить в литературном произведении большую долю безрассудства, безумства, нелепости или дурного вкуса, как оно погибнет для меня и я отшвырну книгу". Гюго, прирожденный поэт, чувствовал ценность рифмы, вдохновляющей мысль, как Микеланджело чувствовал ту скульптуру, которую подсказывала ему глыба мрамора; прозаик Сент-Бев верил в необходимость логической связи между мыслями. Но его стихи никогда не достигали того уровня вдохновенного безумства, которое зовется поэзией. Гюго, натура более широкая, умел применяться к требованиям, предъявляемым прозой. Прекрасное этому доказательство — предисловие к „Кромвелю".

Написанное после драмы, оно было принято, особенно молодежью, с неслыханным восторгом. Для Гюго оно представляло собою и сделанный наконец выбор позиции, и вступление в бой. Преследуемый злобными и глупыми нападками классицистов, он встал во главе бунтарей. Теперь он уже не говорил, как в 1824 году: „Романтизм, классицизм — не все ли равно, что значат эти слова?" Он создал свой романтизм и дал ему обоснование. Нужно, говорил он, вернуть молодость языку, возродить „широкую и смелую манеру старых писателей", отбросить Делиля и возвратиться к Матюрену Ренье. Драма должна быть борьбой между двумя противоположными началами, потому что этот контраст — самая суть действительно-

сти. Прекрасное и безобразное, комическое и трагическое, гротескное и возвышенное должны сталкиваться и сливаться, чтобы создавалось сильное впечатление. Мрак и Свет. Ад и Рай. Гюго был в плену манихеевского[1] дуализма. Его ошибка, такая же, как у народов в пору их младенчества, — стремление воплощать возвышенное и гротескное в противоположных ипостасях; он все видит только в черном и белом цвете. Поэтому он и рисует чудовищ. Некоторой наивностью, похожей на ту, которая характерна для романа „Ган Исландец", страдает „Кромвель", но драма поражает широтой и силой стиха. А в те годы на большую силу был спрос.

Разве молодых людей, выросших под бой барабанов наполеоновской империи, могли удовлетворять благонамеренные оды и неоклассические трагедии? Один молодой полковник говорил Стендалю: „После похода в Россию мне кажется, что „Ифигения в Авлиде" не такая уж замечательная трагедия". Публика теперь принадлежала не к хорошему обществу, а к новому классу, уже не пугавшемуся насилия „и все более жаждавшему сильных волнений". В 1816 году кое-кто еще мог верить, что Людовик XVIII — это свобода; в 1827 году никак нельзя было думать, что Карл X — это дух столетия. Виктор Гюго начинал понимать, что под влиянием матери и семейства Фуше его политические взгляды зашли в тупик, а в вопросах религии богословские догмы не удовлетворяют его воображение. Сент-Бев, новые друзья из журнала „Глоб" проповедовали ему антидинастический либерализм; генерал Гюго, открыв ему другую сторону истории, обратил его в бонапартиста. Да и как бы он, восторгавшийся исполинами, не почувствовал поэзии той жизни, какую прожил Наполеон?

В 1827 году австрийское посольство устроило бал, на который приглашены были и маршалы империи. Один из них сказал свое имя швейцару: „Герцог Тарентский"; швейцар громогласно доложил: „Маршал Макдональд". Другой гость сказал: „Герцог Далматский"; швейцар провозгласил: „Маршал Сульт". „Герцог Тревизский" — „Маршал Мортье". „Герцог де Реггио" — „Маршал Одино". Европа хотела стереть с карты французские победы; маршалы потребовали свои кареты, уехали, и в Париже был большой скандал. Сын генерала и графа Гюго с до-

[1] Манихейство — религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке в III в. По этому учению, в основе мира лежит якобы извечная борьба света и тьмы, добра и зла.

статочным основанием решил почувствовать себя оскорбленным и написал оду „К Вандомской Колонне“.

Нет! Франция жива! Заслышав оскорбленье,
Отважно рвется в бой младое поколенье,
И партии спешат раздоры все пресечь,
И все вокруг встает, от гнева пламенея, —
К оружью, Франция! — и вот уже Вандея
    На камне Ватерлоо точит меч...

Напрасно Австрия плетет силки обмана!
С нее сбивали спесь французских два титана!
История в веках воздвигла Пантеон, —
Там шрамы выставил германский гриф двуликий,
Один своей стопой оставил Карл Великий,
    Другой — своей рукой Наполеон...

И мне ли, мне ль молчать! Я сын того, чье имя
Навек прославлено делами боевыми,
Я слышал плеск знамен, что вьются, в бой летя!
Над люлькою труба мне пела об отваге,
Мне погремушкой был эфес отцовской шпаги —
Я был уже солдат, хоть был еще дитя!

Нет, братья, нет! Француз дождется лучшей доли!
В походах вскормлены, воспитаны на воле,
В болото жалкое мы свергнуты с вершин.
Так пусть же, честь страны лелея в сердце свято,
Сберечь отцовский меч сумеет сын солдата,
    Отчизны верный сын![1]

По правде сказать, он никогда и не был солдатом, разве только что в списках Корсиканского полка, куда отец включил его для забавы, но эта роль ему нравилась. Молодежь встрепенулась; отставные наполеоновские офицеры, переведенные на половинную пенсию, аплодировали, бонапартисты и либералы торжествовали: „Наш язык стал теперь его языком, его религия стала нашей. Он негодует на оскорбления, нанесенные Австрией, его возмущают угрозы чужеземцев. И, встав перед колонной, он поет священный гимн, который напоминает людям нашего возраста тот клич, ту песню, те хоры наших воинов, что раздавались под Жемаппом...“ Предисловие к „Кромвелю“ сделало Гюго главой теоретиков романтической школы; ода „К Вандомской Колонне“ завоевала ему симпатии „глобистов“; в царстве литературы закончилось регентство Нодье, а в триумвирате Ламартин — Виньи — Гюго выделился и стал первым консулом Вик-

[1] Гюго В. К Вандомской Колонне („Оды и баллады“). Пер. М. Ваксмахера.

тор Гюго. Сыну генерала Гюго выпало на долю командование Молодой Францией.

V

„Восточные мотивы“ в долине Вожирар

Виктор Гюго — это форма, искавшая своего содержания и наконец нашедшая его.

Клод Руа

Если Гюго казался когда-либо счастливым человеком, то именно в 1827 и 1828 годах. В 1826 году у него родился сын Шарль. Квартира на улице Вожирар стала тесна, Гюго снял целый особняк — дом № 11 по улице Нотр-Дам-де-Шан, — „поистине обитель поэта, притаившуюся в конце тенистой въездной аллеи“, за которой зеленел романтический сад, украшенный прудом и „деревенским мостиком“. На усадьбе было два выхода: один, в глубине ее, вел в Люксембургский сад, а выйдя за ворота, Гюго мог пешком дойти до городских застав — Монпарнасской, Мэнской и Вожирарской. За ними уже начинались сельские пейзажи, над полями люцерны и заячьего гороха вертелись крылья ветряных мельниц. Вдоль Большой Вожирарской улицы тянулись распивочные и кабачки с беседками, служившие местом встреч отставных наполеоновских офицеров, мастеровых и гризеток.

Сент-Бев, который уже не мог обходиться без семейства Гюго, поселился около них, в доме № 19; вместе с ним жила там его мать. Ламартин навестил Сент-Бева и расхваливал потом „уединенный уголок, и мать поэта, и сад, и голубей... Все это напоминало мне церковные домики и добродушных сельских священников, которых я так любил в детстве“. Гюго ежедневно виделся с Сент-Бевом и живо интересовался его работой о поэтах Плеяды. Ронсар, Белло, дю Белле привлекли его внимание к старинным формам стихов, казавшихся теперь новыми, и особенно к свободной форме баллад, больше отвечавшей его виртуозности, чем торжественная ода.

Каждый смотрит на природу сквозь призму своего темперамента. Гюго до безумия любил простонародный квартал Вожирар с его песнями, воплями, бесстыдными поцелуями; деликатный Сент-Бев вздыхал: „Ах, какая

унылая, плоская местность за бульваром!“ Поэтому Гюго не часто брал его с собой, когда, давая отдых глазам, утомленным работой, отправлялся на свою ежевечернюю прогулку до деревни Плезанс, чтобы полюбоваться закатом. Поэта окружал теперь маленький двор — тут был и старший его брат Абель, и шурин Поль Фуше, и целая ватага молодых художников и поэтов. Их, как магнитом, притягивало к нему: среди прочих талантов, у Гюго был дар привязывать к себе молодежь. Каждому поклоннику он немедленно отвечал на его послание: „Не знаю, поэт ли я, но что вы поэт, в этом я не сомневаюсь“. Стоило юноше из города Анже, Виктору Пави, написать в своей статье несколько восторженных строк об „Одах и балладах“ — и он стал получать от их автора письмо за письмом: „Под вашей статьей не постыдились бы подписаться лучшие наши писатели... Не является ли главным достоинством моей книги то, что она дает материал для таких замечательных статей, как ваши „фельетоны“ и „Анжерские афиши“?..“ Можно ли зайти дальше в похвалах? Но даже такие гиперболы все еще не удовлетворяли Гюго. Пави приехал в Париж и был принят Гюго так сердечно, что он чуть не заплакал от счастья. Он и двадцать лет спустя с трепетом волнения вспоминал об этой встрече. „Право, можно было с ума сойти!..“ — говорил он.

Пави познакомил Виктора Гюго с Давидом Анжерским, уже знаменитым скульптором, защищавшим современное, живое искусство. Ко двору поэта присоединились художники и литографы — Ашиль и Эжен Деверна, два красавца с гордой осанкой, которые работали в одной мастерской с Луи Буланже и каким-то чудом жили, как и Гюго, на улице Нотр-Дам-де-Шан. Буланже был на четыре года моложе Гюго и сделался его тенью. Картины его стали иллюстрациями к поэмам Гюго „Мазепа“, „Колдовской хоровод“; он написал портреты Гюго и его жены. Вскоре Буланже подружился с Сент-Бевом, и Гюго называл их не иначе как „мой художник и мой поэт“. Эжен Делакруа и Поль Гюэ тоже участвовали в вечерних прогулках поэта. Так через Гюго складывался союз современных ему писателей и художников.

Летними вечерами отправлялись на прогулку целой ватагой; шли к „Мулен де Бер“, поесть там лепешек, потом обедали в кабачке за некрашеным столом, пели за обедом песни и спорили. Однажды вечером Абель Гюго, услышав под деревьями что-то похожее на пение скрипок, зашел в сад тетушки Саге, пообедал у нее в беседке

и остался доволен кухней. За двадцать су там давали яичницу из двух яиц, жареного цыпленка, сыр и вдоволь белого вина. По воскресеньям приходила с мужем и Адель Гюго, к которой вся эта молодая компания относилась с восторгом и почтением. Теодор Пави находил ее „приветливой и рассеянной". Кругом шли шумные беседы, а она о чем-то мечтала, и если вдруг вмешивалась в разговор, то всегда невпопад. Впрочем, говорила она редко, — она очень боялась грозного взгляда мужа и больше молчала. Ее мать, госпожа Фуше, умерла 6 октября 1827 года, а сестренку Жюли, которая была лишь на два года старше Дидины Гюго, отдали учиться в монастырский пансион.

Виктор Пави при первом своем посещении Гюго был поражен, что тот говорил с ним о живописи, а не о поэзии. Но ведь в эти годы поэзия для Гюго приближалась к живописи. Когда он приводил ватагу своих почитателей к подножию „Мулен де Бер",

...под кровом темноты,
Когда гуляют ошалевшие коты,
Поэт глядел, как умирает светлый Феб... —

как спускается вечерний сумрак на сады Гренеля, подмечал все краски и очертания вещей. На следующий день, наблюдая издали „архипелаг кровавых облаков", он читал своим ученикам, сидевшим вокруг него на траве, какое-нибудь стихотворение, вроде „Закатов".

Я вечера люблю; мне нравится закат,
Когда его лучи внезапно золотят
    Усадьбы, скрытые листвою,
Когда вдали огнем объят густой туман;
Когда меж облаков небесный океан
    Сверкает ясной синевою[1].

Нередко он читал им также стихи из „Восточных мотивов". Как ему пришла мысль нарисовать некий условный Восток? Это было тогда в моде. Греция боролась за свою свободу, Байрон умер за Грецию. Во всем мире люди либеральных взглядов были на ее стороне, к ним принадлежали и друзья Гюго — художники и поэты. Дельфина Ге, Ламартин, Казимир Делавинь — все они писали стихи, прославлявшие Грецию. Но эти стихи были плоскими. Гюго, обладавший драматическим чутьем, пы-

[1] Гюго В. Закаты („Осенние листья"). Пер. В. Иванова. — Собр. соч., т. 1, с. 456.

тался создать в „Восточных мотивах“ живые сцены. Он любил перезвон слов, ему нравилось, когда они отбивали в его стихах дьявольскую zapateado[1], перебрасывались нежданными рифмами, чудесным образом сохраняя и число слогов, и ритм, и поразительную гармонию строфы. Декорацией ему служили солнечные закаты в долине Гренель. Из них он извлекал свое золото и огни. Его Восток находился на улице Нотр-Дам-де-Шан.

За мною по углам роится мгла густая,
А я задумчиво смотрю в окно, мечтая
О том, чтоб там, вдали, где горизонт померк,
Внезапно засиял восточный город алый
И красотой своей нежданной, небывалой
Туманы разорвал, как яркий фейерверк[2].

Для живописных картин Востока у него было достаточно источников: Библия, читанная и перечитанная на улице Фельянтинок, советы ориенталиста Эрнеста Фуине (с этим чиновником, влюбленным в арабскую поэзию, он познакомился когда-то у Шарля Нодье), поэмы Байрона и, главное, — Испания, та, которую воспевали „Романсеро“, и та, что жила в его воспоминаниях. Ему хотелось, чтобы сборник „Восточные мотивы“ был подобен какому-нибудь старинному и прекрасному испанскому городу, в котором высится большой готический собор, а „на другом конце города, среди смоковниц и пальм — восточная мечеть с куполами из меди и свинца... с арабской вязью стихов из Корана над каждой дверью, со сверкающими святилищами с мозаичным полом и мозаикой стен“[3]. Это была больше Гранада, чем Стамбул. Что за важность! Восточные это или не очень восточные мотивы, но они были восхитительны. Поэт играючи возрождал в них прелестную строфику поэтов Плеяды:

Зара в прелести ленивой
    Шаловливо
Раскачалась в гамаке
Над бассейном с влагой чистой,
    Серебристой,
Взятой в горном ручейке.
С гамака склонясь к холодной
    Глади водной,

---

[1] Чечетка (исп.).
[2] Гюго В. Мечты („Восточные мотивы“). Пер. Э. Линецкой. — Собр. соч., т. I, с. 422.
[3] Гюго В. Предисловие к „Восточным мотивам“. — Собр. соч., т. 14, с. 132.

Как над зеркалом живым,
Дева с тайным изумленьем
Отраженьем
Восхищается своим.

„Восточные мотивы“ — это ряд легковесных и неправдоподобных стихов, слегка окрашенных иронией, и вдруг в них поэт, позабыв, что он только играет, отдается в плен страстным грезам, и сквозь поверхностную истому экзотических слов поднимается искренняя, молодая чувственность, и купальщица Зара, раздвинув цветочные рамки слащавой гравюры, возникает прекрасной искусительницей, волнующей и автора и читателя.

Выйдет Зара молодая,
Вся нагая,
Грудь ладонями прикрыв[1].

И может быть, самая прекрасная из этих песен была та, которую Гюго создал, оторвавшись и от Востока, и от Запада, и от времени и пространства, и назвал ее „Экстаз“.

Раз ночью один я стоял на просторе:
Ни облачка в небе, ни паруса в море!
И взор мой тонул за пределом земным.
И горы и лес — вся природа, казалось,
За мною, с вопросом одним, обращалась
К сияющим звездам и к волнам морским.
И звезд золотых легион бесконечный
То тихо, то громко, в гармонии вечной,
Твердил, свой блестящий склоняя венец,
И синие волны, грядой набегая,
Твердили, свой пенистый гребень склоняя:
Все Он — всемогущий Творец![2].

Здесь уже рождается поэт, написавший „Созерцания“, способный, как Бетховен, поднять нас к высоким мыслям и чувствам, повторяющимся переливами дивных аккордов.

„Восточные мотивы“ Гюго „привели к единству романтиков“. Молодые писатели упивались ими: „Виктор всегда пишет чудесные стихи, с непостижимой быстротой... и время от времени бросает нам „Восточные мотивы“, как камень в муравейник“. Виктор Пави восхищал-

[1] Гюго В. Купальщица Зара („Восточные мотивы“). Пер. Е. Полонской. — Собр. соч., т. 1, с. 395.

[2] Гюго В. Экстаз („Восточные мотивы“). Пер. И. Тхоржевского.

ся и просил пощады: „Виктор читал нам „Восточные мотивы“, неслыханные, совершенно неслыханные... И ни одного слабого стиха! Совсем убил нас...“ Художники и скульпторы восхваляли поэта за то, что он своими стихами давал им сюжеты, краски, и за то, что он горячо защищал творческую свободу художника. Романтиков умеренного толка, группировавшихся вокруг журнала „Глоб“, завербовал Сент-Бев, которому Гюго, справедливо считавший его драгоценным союзником, расточал похвалы:

Дай руку мне, поэт, — с моей соедини!
И лиру подними, и крылья распахни...
Взойди, взойди, звезда!

Классицисты либеральных взглядов, такие, как Дюбуа, тоже склонялись перед этой молодой силой, которая после многих версификаторских стихов теперь пробуждала мысль. Эти люди, оппозиционно настроенные, были признательны Гюго за то, что он, обладатель призов и премий, поэт, получающий премии от короля, осмелился провозгласить себя сторонником Греции, на что косо смотрели при дворе, и даже говорил с какой-то странной симпатией о Наполеоне: „И снова он! Повсюду он!“ Как студенческая молодежь, он „трепетал при этом гигантском имени“.

Ты ангел или черт — теперь не все равно ли?
Весь мир ты подчинил своей железной воле,
Все взоры приковал орлиный твой полет.
Ты над землей паришь, как царственная птица,
Повсюду тень твоих гигантских крыл ложится,
Над веком образ твой встает[1].

Сердиться могли только чистокровные роялисты, бывшие сотрудники „Французской музы“, но в свое время Гюго давал им столько свидетельств дружбы, что они терпели. Однако у „доброго Нодье“ отношение к Гюго стало не таким уж добрым. Со времени собраний в Арсенале Нодье привык править литературным движением, а возвышение Гюго, провозглашенного властителем дум молодежи, лишало его власти. Он напечатал враждебную „Восточным мотивам“ — статью под заголовком „Байрон и Мур“. Современные французские поэты, — говорилось в этой статье, — не создали ничего хоть сколько-нибудь

[1] Гюго В. Он („Восточные мотивы“). Пер. И. Шафаренко.

приближающегося к дивным творениям двух английских гениев: „Есть люди, воображающие, что большие таланты формируются в общении с себе подобными, что врожденное дарование, со всеми его богатствами, развивается среди учтивых разговоров и не нуждается ни в каких побуждениях к своему росту, кроме желания стать знаменитостью, соревноваться с другими в славе..." Это была сатира на августейший двор Виктора Гюго, в квартале Вожирар. Гюго, при его обидчивости, очень огорчила измена былого соратника, свидетеля его первых успехов.

Виктор Гюго — Шарлю Нодье: „И вы тоже, Шарль! Как я жалею, что прочел вчерашний номер „Ла Котидьен". Ведь это одно из самых жестоких потрясений в жизни, когда из сердца твоего с корнем вырывают старую и глубокую дружбу..." Нодье сразу сдался: „В вас вся моя литературная жизнь. Если когда-нибудь обо мне вспомнят, то лишь потому, что вы этого пожелаете..." Осколки своей дружбы они как-то склеили, но в ней уже не было прежнего чувства непоколебимого и светлого доверия.

Добряк Эмиль Дешан, который никогда не знал зависти, оставался нежным другом и завсегдатаем в доме Гюго на улице Нотр-Дам-де-Шан. „Я люблю вас и все больше восхищаюсь вами", — писал он после каждого своего посещения.

Эмиль Дешан — Виктору Гюго: „Дорогой Виктор, я был так преисполнен сожалений, расставаясь с вашим домом, что позабыл у вас свой зонт. Пришлите мне, пожалуйста, зонт, а сожаления пусть остаются у вас. Зонт стоял в углу столовой, возле двери в гостиную; сожаления были повсюду, где мы не находили вас. Ваша милая супруга, думается мне, вчера превзошла самое себя в любезности и радушии. Она показала нам весь ваш дворец и весь сад. Апартаменты у вас превосходные, а музей — просто чудо. Где еще найдешь столько прекрасных картин!.."

Эмиль Дешан — Виктору Гюго, 13 октября 1828 года: „В ближайшую субботу, 18 октября, вы непременно должны прийти на улицу Виль-л'Эвек, в дом № 10 (бис), пообедать у нас вместе с Ламартином и Альфредом. Это решено. Мне совершенно необходимо посоветоваться с вами о моей поэме „Родриго", которую я вскоре буду читать. Вы простите меня, правда? Могу же я смотреть на вас как на *самонужнейшего друга моего?..* Ламартин не был знаком с вашим замечательным предисло-

вием к „Кромвелю“; я ему дал его; и теперь Ламартин просто без ума от него и ничего другого, написанного прозой, больше читать не хочет. Как поживает госпожа Гюго? Сообщите, как ее здоровье, — соответственно этому и мы себя будем чувствовать... Черкните, пожалуйста, ответ, — одно краткое утверждение из двух букв...“ Эмиль Дешан просил, чтобы родители привели с собой и Дидину:

Нам холодно, и в супе льдины —
Обед невкусен без Дидины,
Без ангелочка, без ундины...

Над Дешаном супруги Гюго смеялись откровенно. Его беспредельное восхищение ими обоими заставляло их прощать его ужасные каламбуры: „Ковыляет, как нотариус на деревянной ноге...“ Как не простить любых неуклюжих острот человеку, который написал 31 декабря 1828 года: „Поздравляя с Новым годом, шлю пожелания: помилосердствуйте, не будьте в 1829 году еще гениальнее, чем в 1828 году, и еще счастливее близ своей супруги...“

Альфред де Виньи по видимости остался верным другом. В феврале 1825 года он женился в По на англичанке, приехавшей из Индии, мисс Лидии Бенбери, которую он считал очень богатой. Виньи любил всех англичанок вкупе, — „белокурые создания Оссиана“ умиляли его. „Если б вы знали, как поэтична эта нация!“ Сообщая Виктору Гюго о своей женитьбе, он писал: „Наших жен свяжет взаимная любовь, как нас с вами, мы четверо составим единое целое... Я обещал жене, что ваша милая Адель будет ей другом... Мы хотим жить так же, как вы, и возле вас, насколько то будет для нас возможно...“ Лидия оказалась более сдержанной. Если англичане были поэтической нацией, то мисс Бенбери, очевидно, представляла собою исключение. Она была холодна, надменна, часто хворала, так как „подвержена была несчастным случайностям материнства“, а между двумя выкидышами предпочитала возить Альфреда де Виньи к герцогине де ла Тремуай, к княгине де Линь, к герцогине де Майе, а не на улицу Нотр-Дам-де-Шан.

Однако два поэта оставались союзниками и обменивались похвалами — пищей, необходимой для того, чтобы выжила их дружба. Гюго дарил де Виньи свои новые книги: „Мне нужно дать вам „Восточные мотивы“ и „Последний день приговоренного“. Мне нужно, чтобы вы

не сердились на меня; мне нужно, чтобы вы не говорили: „Виктор пренебрегает мной“, — ведь я восхищаюсь вами и люблю вас, как никто еще не восхищался и не любил...“ Альфред де Виньи хвалил „все эти благовония Востока, собранные в золотом ларце“, выражал желание расцеловать Виктора Гюго в обе щеки, „в правую — за Восток, в левую — за Запад, ибо ваша голова — это целый мир... Я завоевал вас, я вас полонил уже давно, дорогой друг, и не расстанусь с вами; вы со мною целые дни, с утра до ночи, а утром я снова завладеваю вами. Я иду от вас к вам, сверху вниз и снизу вверх, от „Восточных мотивов“ к „Приговоренному“, от Городской ратуши к Вавилонской башне. И повсюду вижу вас, всегда — вас, всегда блещут ваши краски, всегда поражают глубокие чувства, выраженные правдиво и образно, всегда и везде поэзия...“.

Вот она, святая вода Содружества. Но в своем заветном „Дневнике“ Альфред де Виньи осуждал старого друга. 23 мая 1829 года у него записано: „Видел Виктора Гюго; с ним был Сент-Бев, маленький, довольно безобразный человечек; лицо самое заурядное, спина больше чем сутулая, разговаривая, делает заискивающие и почтительные гримасы, словно угодливая старуха... В области политической этот умный молодой человек господствует над Виктором Гюго и своим поведением, настойчивым воздействием привел к тому, что он совсем изменил свои взгляды... Недавно он мне заявил, что по зрелом размышлении решил покинуть правый лагерь... Того Виктора, которого я любил, больше нет. Он был несколько фанатичен в своем благочестии и в роялизме, целомудрен, как девушка, был также немного дичком; все это очень ему шло; мы его любили таким. Теперь ему нравятся вольные шуточки, и он становится либералом; это ему не идет. Но что поделать. Он начал с настроенности, более подобающей зрелым годам, а вот теперь как будто вступает в пору молодости и ищет в жизни то, о чем писал, меж тем как надо сперва пережить, а потом писать...“

„Последний день приговоренного“, который де Виньи похвалил, представлял собою короткую повесть, произведение, глубоко волнующее, которое Гюго опубликовал без своей подписи через месяц после „Восточных мотивов“, выдавая эту повесть за найденные в тюрьме записки человека, приговоренного к гильотине, написанные им в последние часы перед казнью. Гюго уже давно испытывал

болезненный интерес к вопросу о смертной казни. В Италии и в Испании он видел в детстве казненных; на Гревской площади в Париже он отводил взгляд от страшной машины. Намереваясь писать книгу, он собрал основательную документацию, ходил в Бисетр, присутствовал при том, как заковывают в кандалы осужденных, как их отправляют на каторгу. Сильное воображение учит состраданию. Гюго искренне хотел содействовать отмене смертной казни, считая эту кару более жестокой, чем полезной для общества; быть может, он надеялся также, что, поместив „Последний день" рядом с „Восточными мотивами", он своим первым опытом постановки в литературе социальных проблем успокоит тех, кто корил его за дерзкую виртуозность. „Он хорошо рассчитал", — с презрительным высокомерием говорил Виньи. Но это несправедливое мнение: Гюго больше чувствовал, чем рассчитывал.

В одном отношении, однако, Виньи судил верно. Как и многие люди, чья юность была строгой, Гюго в двадцать семь лет начал „жить"; он испытывал еще неутоленную жажду счастья и наслаждения своими успехами. „Не найти во всей Европе принца, короля или полководца, более достойного зависти или более счастливого, чем поэт, создавший „Восточные мотивы"..." — писал Жюль Жанен, и он же говорил: „Не знаю ни одного человека на свете, кто хоть когда-нибудь смеялся бы таким заразительным смехом, как Виктор Гюго, которого привел в хорошее расположение духа успех „Восточных мотивов"..." Возможно, впрочем, что он переживал тогда душевный разлад. Нельзя безболезненно перейти из одного лагеря в другой, а кроме того, молодой муж подвергался искушениям в обществе художников и их натурщиц. Мораль в долине Вожирар была не та, что царила на улице Шерш-Миди.

Адель, почти всегда беременная или кормящая ребенка, очень усталая, далеко не разделяла пламя чувственности, обуревавшей этого „пьяного сборщика винограда". Быть может, он невольно думал о других женщинах. Он стал было ухаживать за Жюли Дювидаль де Монферье, но энергичное вмешательство ее брата, кавалерийского офицера, прекратило роман. А тут Абель Гюго сделал ей предложение и в декабре 1827 года женился на этой бывшей учительнице рисования. Братья Гюго влюблялись всем семейством. Виктор легко утешился и написал эпиталаму:

Ты должна быть нашей, так судьба решила,
И ничто твоей участи изменить не могло.

Вскоре после этой свадьбы — 28 января 1828 года с генералом Гюго случился апоплексический удар, „сразивший его с быстротою пули“, в доме Абеля — он умер сразу.

Виктор Гюго — Виктору Пави, 29 февраля 1828 года: „Я потерял человека, любившего меня больше всех на свете, человека, благородного и доброго, для которого я был и предметом гордости и большой любви!“ Но в том же году 21 октября на улице Нотр-Дам-де-Шан у супругов Гюго родился второй сын, и вновь дом казался счастливым.

Счастье, полнота жизни, веселость — эти слова употребляли все, кто описывал, каким был Виктор Гюго, приближаясь к тридцати годам. Порой его мучили сомнения, в связи с его новыми политическими и религиозными взглядами, сменившими прежние, юношеские убеждения. „Мы носим в сердце истлевший труп религии, которая жила в наших отцах“, но уверенность брала верх над сомнениями. Уверенность в своей физической силе. Ни малейшего следа не осталось от хрупкости, отличавшей его в детстве. „Волчьи зубы, зубы, разгрызавшие косточки персиков“. Сила крупного хищного зверя. В стихах, написанных около 1829 года, заметно, что в крови его пробуждается отцовская чувственность. Целомудренный поэт, автор „Од“, позволяет себе в разговорах нескромные шутки. В сборнике „Восточные мотивы“ рядом с музой, воодушевлявшей „Первый вздох“, блистала „ослепительная Пери, которая все краше становилась с каждым днем“. У сильных желание увеличивает силу.

Затем была уверенность в житейских успехах. Он снимал красивый особняк с большим садом. Своей работой он на все добывал средства. За первое издание „Восточных мотивов“, выпущенное Босанжем, он получил три тысячи шестьсот франков, от Гослена, другого издателя — семь тысяч двести франков за изданные в формате in-12° „Восточные мотивы“, „Бюг-Жаргаль“, „Последний день приговоренного“ и за роман, который еще не был написан, — „Собор Парижской богоматери“. Юность свою он прожил в нужде и теперь придавал большую цену достатку, ибо, по его мнению, только достаток обеспечивает писателю независимость. Он сказал Фонтане: „Я хочу зарабатывать и тратить пятнадцать тысяч франков в год“. Чисто бальзаковское желание, но

Бальзак увязал в долгах, а Гюго ужасно боялся долгов; он каждый вечер подсчитывал свои расходы, записывал каждый сантим и требовал того же от своей жены, которую считал мотовкой.

И наконец, уверенность в своей славе. С 1829 года он был в глазах молодежи неоспоримый мастер. „Виктор Гюго был тем вожаком, — говорит Бодлер, — к которому каждый поворачивается, чтобы спросить, каков приказ. Никогда ничье господство не было более законным, более естественным, признавалось бы с большим восторгом и признательностью, больше подтверждалось бы невозможностью восстать против него...“ У него были враги. Успех всегда их порождает, — надо обладать величием души, чтобы переносить чужую славу. У Гюго даже были искренние и бескорыстные противники. Стендаль и Мериме считали его скучным; эти распутники не верили в поэта добропорядочного, отца семейства; Мюссе пародировал его, впрочем, без всякой злобы. Но что все это для него? Он знал, что является главой новой школы и поборником свободы литературы. Новое поколение писателей собирается у него в доме на улице Нотр-Дам-де-Шан. Ящик его письменного стола полон набросков и всяких планов.

Носит в сердце с давних пор
Нотр-Дам Виктор.
А теперь влезает сам
В Нотр-Дам.

Тетрадь „Драмы, которые я должен написать“ содержала планы его театральных пьес, одни из этих замыслов он вскоре осуществил, некоторые пьесы уже раньше были им написаны: „Марион Делорм“, „Близнецы“, „Лукреция Борджа“, другие же остались неосуществленными: „Людовик XI“, „Смерть герцога Энгьенского“, „Нерон“. Внизу одной страницы, исписанной заглавиями его будущих произведений, стояло следующее примечание: „Когда все это сделаю, посмотрим дальше“. Такая творческая сила порождает чудесную веру в себя. Предисловие к „Восточным мотивам“, написанное в 1829 году, носит воинственный характер: „Искусство не желает, чтобы его водили на помочах, надевали на него кандалы, затыкали ему рот кляпом; оно говорит: „Иди!“ — и впускает вас в большой сад поэзии, где нет запретных плодов...“ Автор знает, что кое-кто „обвиняет его в самомнении, заносчивости, гордыне, и не знаю уж в чем еще, что его

изображают кем-то вроде Людовика XIV в молодости, когда тот при обсуждении в государственном совете самых серьезных дел являлся туда в охотничьих сапогах со шпорами и с хлыстом в руке. Однако автор осмеливается утверждать, что те, кто видят его таким, глубоко заблуждаются..."[1]

Да, это верно. В нем больше императорского, чем королевского. Как молодой Бонапарт, он властвовал не по праву рождения, не по божественному праву, но по праву завоеваний и по праву гения, и он, ликуя, кричит с гордым видом: „Будущее, будущее, будущее — принадлежит мне!" Но вскоре он сам ответит: „Нет, государь, будущее никому не принадлежит"; и он нарисует нам орла под вечным небосводом, „когда внезапный вихрь могучие крыла сломал ему"; вскоре и сам поэт рухнет в бездну моральных страданий, но в страданиях познает те мрачные муки сердца, которые он должен был испытать, чтобы стать самым большим французским поэтом.

Ведь романтизм, что бы о нем ни говорилось в предисловии к „Кромвелю", не был ни смесью трагического и гротескного, ни обновлением языка, ни свободным членением стиха цензурой — это было нечто иное, куда более глубокое. В нем отразился самый дух века, тоска, недовольство, конфликт между человеком и миром, неведомый классикам. „Чувство неудовлетворенности жизнью, удивительно, невероятно пустой, если оставаться в плену ее границ; странное смятение души, никогда не знающей покоя, то ликующей, то стенающей...", сердце, полное отвращения к самому себе и освобождающееся от него лишь в те мгновения, когда человек наслаждается „собственным своим несчастьем, видя в этом вызов судьбе", — вот что принесли Гете и Байрон после Руссо; вот чего искала в тридцатых годах вся французская молодежь, повергнутая в меланхолию, так как она внезапно лишилась славы; вот чего Гюго, которому жилось чересчур счастливо в долине Вожирар, Гюго, автор „Восточных мотивов", еще не мог ей принести.

Но только Гюго мог это сделать. Ни один поэт, даже Ламартин, даже Виньи, не были тогда способны поставить на службу своему времени такое мастерство, такое богатство языка и ритмов. И лишь немногого недоставало, чтобы гений его достиг зрелости, — недоставало ему

[1] Гюго В. Предисловие к „Восточным мотивам". — Собр. соч., т. 14, с. 26.

тревоги, сомнений, грусти, которые сблизили бы его с той эпохой. Но как далек он был от мысли, что творчество его станет глубже из-за тех страданий, которые причинят ему молчаливая молодая женщина, подруга его жизни, и рыжеволосый некрасивый друг, говоривший столько тонких и полезных вещей о его творениях. Когда он считал себя в полной безопасности и наслаждался своими триумфами, в действительности его подстерегала катастрофа. Но следовало показать, каким он был в краткие годы безоблачного счастья — властным мужем, идиллическим отцом семейства, учителем, за которым шел живописный кортеж его учеников, художником, который любовался на огромный город, дремавший у подножья холмов в прелестной дымке, цеплявшейся за его башни, поэтом, изливавшим

И весь пламень, и дивную свежесть в тот миг
На страницах признаньем увенчанных книг.

Часть четвертая

Ранняя осень

Кто не был бы на земле достоин жалости, будь нам известно все о всех.

Сент-Бев

I

Верный Ахат

Альфред де Виньи в своем тайном „Дневнике" очень неблагожелательно разбирал отношения, сложившиеся между Гюго и Сент-Бевом. „Последний, — говорил Виньи, — стал сеидом Виктора Гюго и через него вошел в поэзию; но Виктор Гюго, который, с тех пор как он существует на свете, проводит свою жизнь в том, что переходит от одного человека к другому, чтобы от каждого поживиться, получил от Сент-Бева множество познаний, каких сам не имел; и хоть он говорит тоном учителя, на самом деле он ученик Сент-Бева...". Конечно, Гюго многому научился от Сент-Бева, но кто же будет таким глупцом, что не усвоит то хорошее, что ему привелось узнать; да, впрочем, и влияние-то было взаимным. Каждый обладал тем, что недоставало другому. Гюго, в совершенстве владевший музыкой языка, недостаточно обращал внимания на внутреннюю жизнь человека; Сент-Бев, поэт по своей чувствительности, грешил в поэзии неуклюжестью и вялостью формы.

„Дело в том, — пишет Анри Бремон, — что сама его душа какая-то неуклюжая, смутная, бессильная и связанная; утонченная и вместе с тем низкая. Рядом со своими приятелями из Содружества он всегда тревожится, смущается, как гость, опоздавший на званый обед. По уму и таланту он чувствует себя их ровней, но он безумно восторгается их мужественностью и притом почти без зависти, настолько его подавляет, ослепляет эта яркая, пленительная, глубоко здоровая сила... Керубино, скорее бледный, чем румяный, морщинистый, как старик, и не замечающий, что он грызет себе ногти; школьник, который начитался романов Лакло и хотел бы, но не смеет и не умеет все это пережить; наивный мальчик, церковный

служка, проливающий слезы, укрываясь за алтарем; то ангел, то зверь, но отнюдь не человек...“

Надо пожалеть этого угрюмого юношу, отличавшегося усердием к наукам и тонким умом, страдавшего тайным уродством (гипоспадией), что еще увеличивало его робость, — юношу, которого его душевное изящество предназначало для самой благородной любви, и вынужденного довольствоваться продажными женщинами, площадной Венерой. „Вы не знаете, — сказал он однажды с мрачной грустью, — не знаете вы, каково это — чувствовать, что никто тебя никогда не полюбит, а почему — признаться невозможно...“ То, что он обрел в доме Гюго, ему казалось просто чудом. Ведь он нашел там все, чего у него не было: семейный очаг, друзей, детишек, которых он полюбил.

Сент-Бев — Виктору Гюго, 11 октября 1829 года: „Тот малый талант, которым я обладаю, развился у меня благодаря вашему примеру и вашим советам, принимавшим обличье похвал; я работал, потому что видел, как вы работаете, и потому что вы считали меня способным работать; но собственное мое богатство так мало, что своим дарованием я всецело обязан вам, и после более или менее долгого пути оно вливается в ваши воды, как ручей вливается в реку или в море; вдохновение приходит ко мне лишь подле вас, от вас и от всего, что вас окружает. Да и вся моя домашняя жизнь пока еще протекает у вас. Я бываю счастлив и чувствую себя уютно только на вашем диване или у вашего камелька“. Все это совсем не походит на речи человека, которого „обирают“.

Он изобразил себя и свои страдания в книге, которую выпустил без имени автора, дав ей заглавие: „Жизнь, мысли и стихи Жозефа Делорма“. Жозеф Делорм мечтал стать великим поэтом, но вдохновение бежало его: „Какие горькие муки он испытывал при каждом новом триумфе своих молодых современников!“ У Жозефа Делорма не было ни учителя, ни друзей, ни религии: „Его душа являла собою непостижимый хаос, где в бездне отчаяния переплетались чудовищные игры воображения, чистые образы, преступные мечты, великие неудавшиеся замыслы, мудрое предвидение, и вслед за ним безумные побуждения, порывы благочестия и кощунственные чувства“. Он называл себя чистым, „больным и терзаемым мыслью, что он не изведал любви“.

В конце 1828 года Сент-Бев передал Гюго „эти мерз-

кие страницы“ и спросил у него, не будет ли чересчур непристойным и смешным опубликовать такую „обнаженность души“. Гюго ответил коротким письмом, горячо выразив в нем „волнение, которым потрясли меня ваши строгие и прекрасные стихи, ваша мужественная, простая и меланхолическая проза и образ Жозефа Делорма, ведь он — это вы сами... Это короткая и суровая история молодой жизни, ее анализ, искусное анатомирование, обнажающее душу, — право, я чуть не плакал, читая все это...“. Бедняга Сент-Бев был счастлив. На мгновение он вообразил себя великим поэтом. В январе 1829 года появились „Восточные мотивы“, в марте того же года — „Жозеф Делорм“. „Восточные мотивы“ наделали больше шуму, но их трудолюбивый автор глубоко обдумал урок, который дал ему „Жозеф Делорм“, и вынес из него мысль, что возможна поэзия интимная, глубоко личная.

Успехи друга внушали тогда Сент-Беву больше смирения, чем зависти. В своих статьях он выступал как поборник того течения в романтизме, которое возглавлял Гюго, и горячностью тона восполнял слабость убежденности. Ведь он никогда не был подлинным романтиком. Жозеф Делорм был одним из отражений автора, порожденным образом Вертера, но, покопавшись поглубже, можно было обнаружить в Сент-Беве скептика, смеявшегося над Жозефом Делормом. Только он любил все понимать, и его очень смущало, что можно иметь столько воображения, красочности, и такую силу выразительности, как у Виктора Гюго. Когда он отобрал материал для своей „Картины французской поэзии XVI века“, он подарил Виктору Гюго великолепный том избранных стихов Ронсара, из которого были взяты выдержки, и сделал на нем такую надпись: „Величайшему со времен Ронсара лирику во французской поэзии, от скромного комментатора Ронсара — Сент-Бева“. Виктор и Адель положили это прекрасное издание в белом веленевом переплете „с гербами“ на стол в гостиной, украшенной Золотой лилией, полученной на литературном конкурсе, и мало-помалу друзья — Ламартин, Виньи, Гуттингер, Дюма-отец — обогатили его своими автографами. Да и сам Сент-Бев своим мелким, „бисерным“ почерком написал там сонет, не лишенный грации и искусства:

Да, друг мой, гений ваш поистине велик,
И ваша мысль сильна, как мощный глас пророка;
Все преклоняемся мы перед ней глубоко,
Как, бурей согнутый, склоняется тростник.

Но вы к нам так добры, как будто каждый миг
Боитесь чем-нибудь поранить нас жестоко.
И дружески следит внимательное око,
Чтоб для обид у нас и повод не возник.

Так воин, весь в броне, суровый, медноликий,
Увидев малыша, зашедшегося в крике,
Его сажает в свой пробитый, старый шлем.

Столь бережно подняв рукою загрубелой,
Что не сравниться с ним кормилице умелой
Иль нежной матери, заботливой ко всем[1].

Право, кажется, что эта чувствительная душа, трепещущая, подобно листве серебристого тополя, при малейшем ветерке, расцвела тогда в тепле внимательной и снисходительной мужской дружбы. Впервые в своей жизни Сент-Бев, благодаря близости с супругами Гюго, вошел в содружество людей и уверовал, что теперь он спасен от одиночества и томительных размышлений о самом себе.

II

Место театру!

На „Эрнани" я надевал не красный жилет, а розовый камзол. Это очень важно.

Теофиль Готье

Тысяча восемьсот двадцать девятый год был для Виктора Гюго, всегда большого труженика, одним из наиболее плодотворных. Он начал „Собор Парижской богоматери", написал много стихов, а главное, решил завоевать театр. „Кромвель" не был поставлен на сцене, но кружок романтиков справедливо полагал, что теперь публика требует нечто иное, чем псевдоклассические трагедии. Что Корнель и даже Расин были великими драматургами — это отрицали только фанатики. Но их гений слишком уж подчинялся условностям: три единства, сюжеты античные или восточные, сны или „узнавание", благородный язык — словом, все те правила, которые в XVIII веке, в руках менее могучих, породили скучные и однообразные пьесы. „Полагалось, — говорит Альфред де Виньи, — изображать в прихожих, которые никуда не вели, персонажей, которые никуда не шли, говорили о

[1] Пер. И. Шафаренко.

немногих вещах, выражали неопределенные чувства, изъяснялись туманными притчами, слегка были волнуемы вялыми чувствами, безмятежными страстями и кончали на сцене изящной смертью или фальшивым вздохом. О, ненужная фантасмагория! Тени людей и тень природы! Пустопорожнее царство!..“

Убегая от скуки таких „бесчувственных“ пьес, публика стала увлекаться мелодрамой. Пиксерекур, этот Шекспир бульварных театров, дал ее рецепт: герой, героиня, предатель, шут, и задолго до предисловия к „Кромвелю“ уже соединял гротескное и трагическое. Сам великий Тальма говорил Ламартину: „Не пишите больше трагедий, пишите драму“, и просил Дюма: „Поторопитесь, постарайтесь написать еще в мое время“.

В 1822 году директор театра Жан-Туссен Мерль, человек предприимчивый, выписал труппу английских актеров, чтобы играть Шекспира, и натолкнулся на яростное сопротивление либералов. Людовик XVIII слыл сторонником Англии, этого оказалось достаточным для того, чтобы „Макбета“ освистали. На афишах Мерля весьма неловко возвещалось: „Отелло“, трагедия знаменитого Шекспира, в исполнении верноподданных его величества короля Великобритании“. Партер кричал: „Прочь чужестранцев! Долой Шекспира! Это пособник Веллингтона!“ Мерль капитулировал, и только в 1828 году в Париже снова увидели английскую труппу. К тому времени атмосфера изменилась, а труппа приехала превосходная: Кин, Кембл и очаровательная Гарриет Смитсон. Успех был так велик, что не одному писателю захотелось переложить Шекспира стихами на французский язык. Эмиль Дешан и Виньи совместно переложили „Ромео и Джульетту“, а Виньи после постановки „Отелло“ принялся за „Венецианского мавра“, несомненно прибегая в переводе к помощи своей жены, англичанки.

Гюго еще в 1822 году извлек из романа Вальтера Скотта „Кенильворт“ пьесу — „Эми Робсар“. Он держал эту пьесу в ящике стола, потом переделал ее, но сам не верил в ее достоинства. Когда наконец в 1828 году ему удалось поставить ее в Одеоне, он решился на эту авантюру лишь под именем своего шурина Поля Фуше, хотя тому только что исполнилось тогда семнадцать лет, и он не проявлял никакого восторга перед такой затеей. В январе 1828 года он писал Виктору Гюго: „Через несколько дней дают злосчастную „Эми Робсар“, и для меня из этого дела получится только то, что я прослыву „под-

ставным лицом и заместителем". Не везет некоторым людям..." Пьесу публика встретила чрезвычайно плохо, и Гюго благоразумно отрекся от нее.

Виктор Гюго — Виктору Пави, 29 ферваля 1828 года: „Вы знаете о маленькой беде, случившейся с Полем. Это очень маленькое несчастье... В подобных обстоятельствах мне следовало бы его выручить. Ведь я-то и принес ему несчастье. Клика интриганов, освиставшая „Эми Робсар", полагала, что отраженно она освистывает и „Кромвеля". Впрочем, не стоит и говорить об этих жалких и обычных кознях..." Пожалуй, лучше было бы вообще не заговаривать об этом.

Гюго решил выступить под своим именем и написал пьесу на другой сюжет. „Марион Делорм" (первоначальное заглавие — „Дуэль при кардинале Ришелье"). Действие в пьесе происходит во времена Людовика XIII. Это довольно банальная история о куртизанке, которой возвращает чистоту ее любовь к целомудренному и строгому юноше. Герой пьесы — сумрачный красавец Дидье, роковое существо для самого себя и для других, преследуем властью, что внушало сочувствие к нему со стороны автора, в душе которого запечатлелась драма Лагори. Принимаясь за пьесу, Гюго прочел много памфлетов, мемуаров, исторических материалов о времени Ришелье; в романе „Сен-Мар" Альфред де Виньи нарисовал романтический образ Ришелье — „человека в красной мантии"; Гюго верно уловил тон светского общества того времени; многие стихи были хороши. Словом, драма имела большие достоинства, отличалась твердой, четкой, крепкой трактовкой, как и все, что писал тогда Гюго.

Барон Тейлор (получивший дворянство в 1825 г.) попросил устроить чтение пьесы. Оно состоялось 10 июля 1829 года в „комнате с Золотой лилией" в присутствии всех друзей: Виньи, Дюма, Мюссе, Бальзака, Мериме, Сент-Бева, обоих Дешанов, Вильмена и художников, завсегдатаев в доме. „Виктор Гюго читал сам, и читал хорошо... Надо было видеть его бледное и прекрасное лицо, а главное, пристальный, несколько растерянный взгляд его глаз, порою сверкавших, как молнии... Пьеса оказалась интересная, в ней было чем восхищаться, но в те времена просто восхититься считалось недостаточным. Полагалось восторгаться, подскакивать в экстазе, трепетать, полагалось восклицать, как мольеровская Филамента: „*Ах, не могу больше! Ах, млею! Умираю от удо-*

вольствия!“ Словом, слышались нечленораздельные возгласы, более или менее громкий восторженный шепот. Такова картина в целом, подробности ее не менее забавны. Маленький Сент-Бев вертелся вокруг рослого Виктора. Знаменитый Александр Дюма, еще не состоявший в раскольниках, с беспредельным восторгом размахивал своими большущими руками. Помнится, что после чтения он даже схватил поэта и поднял его с геркулесовской силой. „Мы вознесем вас к славе!“ — провозгласил он... Что касается Эмиля Дешана, он рукоплескал еще раньше, чем успевал услышать; щеголеватый, как всегда, он посматривал украдкой на присутствующих дам. Подали прохладительные напитки; мне запомнилось, как огромный Дюма с аппетитом поедал пирожные и бормотал с полным ртом: „Восхитительно! Восхитительно!“ Забавная комедия, последовавшая за мрачной драмой, кончилась лишь в два часа ночи...“

Четырнадцатого июля Французский театр принял пьесу без голосования. Через три дня де Виньи прочел своего „Венецианского мавра“ перед теми же литераторами и перед большим числом светских людей. „Слуга все докладывал, — говорит Тюркети, — о графах да о баронах“. У Гюго атмосфера была романтическая и семейная, у Виньи — романтическая и геральдическая. *Виньи — Сент-Беву, 14 июля 1829 года:* „В пятницу, 17 июля, ровно в половине восьмого вечера „Венецианский мавр“ воспрянет к жизни и умрет на ваших глазах, друг мой. Если вы хотите пригласить на этот мрачный пир тень Жозефа Делорма, место ему оставлено, так же как и для Банко...“ Пьесу приняли столь же горячо, как и „Марион Делорм“.

Всемогущая в те времена цензура разрешила „Мавра“ к постановке, а „Марион“ запретила. Министр виконт де Мартиньяк одобрил запрещение: он счел угрозой для монархии образ Людовика XIII, выведенный в драме. Виктор Гюго, полагая, что он не погрешил против истории, апеллировал на решение министра к королю Карлу X и тотчас получил аудиенцию в замке Сен-Клу. В „Ревю де Пари“, в статье, подписанной Луи Вероном, директором журнала, сообщалось об этой встрече, в которой король выразил благосклонность к поэту, а тот говорил откровенно и почтительно; на самом же деле статью написал Сент-Бев, и она была подсказана Виктором Гюго. Он описывал, как напомнил королю, что теперь многое изменилось со времен „Же-

нитьбы Фигаро“. При абсолютной монархии оппозиция, вынужденная молчать, пыталась заявить о себе в театре; при конституционном режиме, имеющем Хартию, пресса становится предохранительным клапаном. Король обещал, что он сам прочтет четвертый — „опасный“ акт. Он действительно прочел этот акт и подтвердил запрещение. Но поскольку Гюго как писатель был другом королевского престола, его пожелали успокоить монаршими милостями и предложили ему новое пособие в две тысячи франков ежегодно. Гюго отказался в письме, полном достоинства:

Виктор Гюго — графу де Бурдонне, министру внутренних дел, 14 августа 1829 года: „Соблаговолите, сударь, передать королю, что я умоляю его позволить мне остаться в том же положении, в каком застают меня его новые благодеяния. Как бы там ни было, мне вовсе не надо еще раз заверять вас, что ничего враждебного от меня не может исходить. Королю следует ждать от Виктора Гюго только доказательства верности, лояльности и преданности...“

И тотчас же, с поразительной своей работоспособностью, граничившей почти с чудом, он принялся за другую драму — „Эрнани“. Имя героя — Эрнани — взято из названия пограничного испанского городка, через который Гюго проезжал в 1811 году; по сюжету пьеса напоминала „Марион Делорм“. Эпиграф состоял из немногих слов: „Tres para una“: „Трое мужчин на одну женщину“; один из них, молодой, пламенный и, как полагается, преследуемый властями человек, — Эрнани (подобие Дидье), второй — безжалостный старик Руй Гомес де Сильва, третий — император и король Карл V. Какими источниками пользовался автор, неизвестно. Несомненно, он обращался к „Романсеро“, к Корнелю и к испанским трагедиям; развивая любовную тему, он, вероятно, почерпнул кое-что из своих писем к невесте. В „Эрнани“ отражена и опоэтизирована драма, пережитая им самим вместе с Аделью. Борьба двух юных влюбленных против роковой судьбы вызвала воспоминания о его собственном прошлом. Дядюшка Асселин, этот буржуа и деспот, некое подобие Карла V, своей фамильярностью с хорошенькой племянницей не раз вызывал у Виктора Гюго взрывы бурной ревности. Предложение умереть после единственной ночи любви сделал в юные годы своей невесте и сам Гюго. Избранная Гюго обстановка позволила ему выразить свою любовь к Испании. „Эрнани“ нередко сравни-

вают с корнелевским „Сидом". Сравнение справедливое. Условности различны, но в обеих пьесах та же атмосфера героизма. Правда, у Гюго больше напыщенности, он „злоупотребляет зооморфическими метафорами" — лев, орел, тигр, голубка.

Пьеса была написана с невероятной быстротой. Начал ее Гюго 29 августа, закончил 25 сентября, прочел друзьям 30 сентября, а во Французском театре — 5 октября, и она была принята там без голосования. Цензура было воспротивилась, но все же дала разрешение, и прошел слух, что, желая вознаградить Гюго за обиду, нанесенную „Марион Делорм", театр поставит „Эрнани" раньше „Венецианского мавра". Альфред де Виньи вознегодовал. В кружке романтиков уже говорили о его ссоре с Гюго. Но Гюго напечатал в „Глоб" письмо, исполненное чисто кастильского благородства: „Я прекрасно понял бы, если бы всегда независимо от даты принятия „Отелло" театром, эту пьесу ставили раньше „Эрнани", но „Эрнани" раньше „Отелло"? Нет, никогда!.."

Что же произошло? Вероятно, актеры Французского театра, обиженные тем, что Виньи надменно третировал их на репетициях, сами предложили Гюго поставить „Эрнани" не в очередь. Но он знал, что его подстерегают, завидуют ему. Он написал Сент-Беву: „Надо мной собрались черные тучи, вот-вот разразится ужасная гроза. Ненависть всей этой низкопробной журналистики так велика, что там уже не числят за мной никаких заслуг..." Действительно, „в разбойничьем вертепе газет" Жанен и Латуш уже точили оружие, которое должно было послужить и против „Отелло" и против „Эрнани". Этой общности Альфред де Виньи не желал признавать. Однако академик Вьенне одинаково порочил „двух этих молодых безумцев, которые своими дикими доктринами готовят для нас нелепую литературу". Гневливый классицист Вьенне приводил в качестве образца этого „авантюрного и разрушительного духа, все решительно ниспровергающего", три строки из „Венецианского мавра":

Сейчас... во вторник утром... иль к обеду...
Во вторник вечером иль утром в среду
Приди ко мне, иль я к тебе приеду...

Трагедия „Отелло" была поставлена первой, но великой битве предстояло произойти на представлении „Эрнани".

III

ET NE NOS INDUCAS...[1]

Терзали душу тернии желанья...

Сент-Бев

Весь 1829 год Гюго работал с утра до вечера, а иногда с вечера до утра, — то он писал, то должен был бежать в театр или к издателям, то обстоятельно изучал старый Париж вокруг Собора богоматери или складывал стихи, прохаживаясь по аллеям Люксембургского сада. Меж тем у Сент-Бева уже создалась сладостная привычка приходить ежедневно, а то и два раза в день на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Теперь он заставал дома лишь одну госпожу Гюго. Обычно она сидела в саду возле деревенского мостика, а рядом, на лужайке, играли дети. В начале дружбы двух писателей Адель не играла заметной роли. Новое материнство и кормление грудью маленького Франсуа-Виктора привели ее, как и многих женщин, находящихся в таком физиологическом состоянии, к какой-то мечтательности. Сент-Бев долго держался „самого неопределенного мнения" о госпоже Гюго, но выказывал ей „изысканное почтение". Беседуя с нею наедине, он заметил, что вдали от своего знаменитого супруга она понемногу переходит к душевным излияниям. У Сент-Бева, любившего жить на краю чужого гнезда, была природная склонность к роли духовника. „Он рожден был для того, чтобы носить сутану, — говорит Теодор Пави, — и я помню, как он сказал однажды: „В другое время я был бы монахом и очень хотел бы стать кардиналом..." Но этот аббат колебался между строгим монастырем траппистов и Телемской обителью. Впрочем, никто лучше самого Сент-Бева в романе „Сладострастие" не проанализировал эту сторону его психологии:

„Я любил узнавать интимные привычки, обычаи в семье, мелочи домашнего уклада, знакомство с жизнью каждого нового дома, в который я попадал, всегда было для меня приятным открытием; уже на пороге дома я испытывал некий толчок, мгновенно улавливал обстановку, с увлечением определял малейшие оттенки взаимоотношения людей. Но вместо того чтобы направить по прямому пути свой природный дар и вовремя поставить для

---

[1] И не введи нас... (лат.).

него цель, я пустил его по кривым тропинкам, изощрил его, но обратил в пустое или даже пагубное искусство и добрую часть своих дней и ночей провел в том, что, крадучись, как вор, заглядывал в чужие сады и пытался попасть в гинекеи..."

О, эти летние медлительные дни,
Как нескончаемы и как грустны они!
Вот полдень, — глыбою навис он надо мною,
И выдан головой я солнцу, пыли, зною.
Как жду я вечера! И вот уж к трем часам,
Чуть-чуть придя в себя, я отправляюсь к вам.
Супруга вашего нет дома; на лужайке
Резвится детвора, — и я иду к хозяйке.
Прекрасны, как всегда, вы в кресле, — и кивком
Вы мне велите сесть; мы наконец вдвоем.
И льется разговор привольный и неспешный.
С вниманьем слушая рассказ мой безутешный
О горькой юности, прошедшей как во сне,
Доверьем платите вы за доверье мне...
Мы говорим о вас и о блаженной доле,
Что вам назначена была по высшей воле:
О малышах, чей смех ваш оглашает дом,
О муже, славою венчанном, обо всем,
Что счастьем вашу жизнь наполнило до края;
Однако же, дары судьбы перечисляя,
Вы завершаете с уныньем свой рассказ.
И скорбь туманит взор прекрасных черных глаз:
„Увы! Сколь взыскана я счастьем! Но не скрою, —
Не знаю почему, является порою
Внезапная тоска! И чем вокруг меня
Щедрей сияние безоблачного дня,
Чем беззаботнее живется мне на свете,
Чем ласковее муж, чем веселее дети,
Чем ветерок нежней, чем слаще запах роз,
Тем горше рвется грудь от подступивших слез!"[1]

Почему же она плакала? Потому что все женщины любят поплакать; потому что приятно бывает, когда тебя жалеют; потому что брак с гениальным человеком иногда был для нее тягостным; потому что ее знаменитый супруг был могучим и ненасытным любовником; потому что она уже родила четверых детей, и она боялась иметь еще новых детей; потому что она чувствовала себя угнетенной. Сент-Бев не позволял себе ни одного неосторожного слова, всячески восхвалял Гюго и вместе с тем говорил о своем единении с прекрасной собеседницей, ибо их сближает „братство скорбящих душ", и предоставлял ей право потихоньку „привести его к господу богу".

Позднее он писал Гортензии Алар: „В свое время я

[1] Сент-Бев. Утешения. Пер. М. Донского.

немножко интересовался христианской мифологией; все это улетучилось. Она была для меня чем-то вроде лебедя Леды — способом приблизиться к красавице и предаться с нею нежной любви...“

В 1829 году Сент-Бев был еще далек от такого цинизма. Какие-то нити еще связывали его с верованиями детских лет, и ему нравилось, что его „вновь обращает к господу“ женщина, красота которой его волновала. Они говорили о боге, о бессмертии. Сент-Бев цитировал святого Августина и Жозефа Делорма: „Я очень хотел бы верить, господи, я хочу; почему же я не могу?“ Адель Гюго гордилась тем, что с ней так серьезно говорит человек, которого в Содружестве считали очень умным. У нее были свои дарования: она талантливо рисовала, недурно писала, а в жизни с властным эгоистом порой бывала несправедливо унижена. Сент-Бев успокаивал ее уязвленную гордость. Время от времени эта добродетельная мать семейства почти бессознательно прибегала к легкому кокетству. Зимой, когда уже нельзя было посидеть в саду, она, случалось, принимала своего друга у себя в спальне. „Равнодушная к материальному миру“, она забывала переодеться и оставалась в утреннем пеньюаре. Случалось также, что и по вечерам, когда Гюго не бывало дома, двое покинутых и одиноких сидели допоздна у погасшего камина. „О, эти минуты были самыми прекрасными, самыми светлыми в тогдашней моей жизни. По крайней мере, за эти воспоминания мне не приходится краснеть...“[1]

А когда Сент-Бев путешествовал, он писал письма Виктору Гюго и наслаждался тогда счастьем, хорошо известным каждому влюбленному, — удовольствием послать через мужа весточку о себе его жене: „Все это относится к вам, дорогой Виктор, и к вашей супруге, которая неотделима от вас в моих мыслях; пожалуйста, передайте, что я о ней очень скучаю и что я напишу ей из Безансона...“

Сент-Бев — Адели Гюго, 16 октября 1829 года: „Какая, право, сумасбродная мысль пришла мне расстаться без всякой цели с вашим гостеприимным домом, лишиться живительных, бодрящих бесед с Виктором и права посещать вашу семью два раза в день, — причем один раз визит предназначался вам. Мне по-прежнему тоскливо, потому что в душе у меня пусто, у меня нет

[1] Сент-Бев. Сладострастие.

цели в жизни, нет постоянства, нет дела; жизнь моя открыта всем ветрам, и я, как ребенок, ищу вовне то, что может исходить лишь от меня самого; на свете есть только одно устойчивое, прочное, — то, к чему я всегда стремлюсь в часы безумной тоски и неотвязных бредовых мыслей: это вы, это Виктор, ваша семья и ваш дом..."

Адель взялась написать ответ, так как у Гюго болели глаза, но он помог ей составить письмо. Он нисколько и не думал ревновать. Сент-Бев был его собственным другом и совсем не соблазнительным мужчиной. Сам Сент-Бев и Адель считали свои отношения вполне целомудренными, но, верно, уж все запутал дьявол в тот день, когда Адель постаралась, чтобы ее друг, придя в дом в три часа дня, увидел, как она причесывается:

Ты встала, волосы рассыпались волной,
„Останьтесь!" — молвил мне негромкий голос твой.
Под нежною рукой блаженно и лениво
Струились волосы, как под дождями нива,
Булатный гребня блеск, тяжелый черный шлем —
Младой богинею из эллинских поэм
Ты предо мной была, иль нежной Дездемоной,
Иль амазонкою... Тобою ослепленный,
Навек я был пленен...[1].

Опасная игра, даже для порядочной женщины, и, пожалуй, особенно для порядочной. „Волнение передается, смятение чувств заразительно. Каждый ее жест, каждое слово кажется милостью. Приходит мысль, что ее волосы, небрежно заложенные на голове, сегодня-завтра разовьются при малейшем вздохе и волной упадут тебе на лицо; сладострастный аромат исходит от нее, как от цветущего деревца, источающего благоухание..."[2].

Первого января 1830 года Сент-Бев пришел на улицу Нотр-Дам-де-Шан, принес игрушек в подарок детям и прочитал своим друзьям предисловие к сборнику „Утешения". Оно было адресовано Виктору Гюго и посвящено дружбе, являющейся союзом душ пред лицом бога, ибо всякая иная дружба легковесна, обманчива и скоро иссякает. В этом послании к мужу многие фразы о чистых и благочестивых чувствах обращены были к жене. Два стихотворения, очень интимных по тону и довольно хороших, были посвящены Адели Гюго: доверчивый человек не увидел в этом ничего опасного, а Сент-Бев искренне

---

[1] Сент-Бев. Книга любви. Пер. М. Ваксмахера.
[2] Сент-Бев. Сладострастие.

думал: „Утешения“ были временем моральной чистоты в моей жизни, шесть месяцев я вкушал небесное мимолетное блаженство...“ Да, полгода длился этот красивый роман, который Сент-Бев считал столь невинным, что сам над собой умилялся. Ах, если бы рядом с ним, с самой юности, как рядом с его другом, была белоснежная красавица, никто не видел бы, как он *„без цели и без мысли, — не оборачиваясь и головой поникнув, из дома утром выходил“* и брел у самых стен, *„влача постыдно свой погубленный талант“*. И никто б не видел, как вечерами он вместе с Мюссе шел в злачные места, в тщетных поисках забвения, пытаясь, и зачастую неудачно, показать себя развратником (он не был в этом большим докой). Нет, никакой ценой он не мог избавиться от чувства горечи и грусти.

Первый день нового, 1830 года, увы! ознаменовал конец небесного и мимолетного блаженства. В январе чета Гюго жила очень бурно. Во Французской Комедии уже репетировали „Эрнани“, и эти репетиции были долгой борьбой между автором и актерами. Конечно, исполнители ролей знали, что пьесу ждут как событие в литературной жизни; конечно, молодой и красивый драматург казался им необычайно пленительным, „блистающим гениальностью и лучами славы“. Но всех актеров пугали непринужденность тона в его драме, буйство страстей и большое количество смертей на сцене. Всемогущая мадемуазель Марс, выказывая на репетициях добросовестность, каждый день старалась, однако, как-нибудь унизить поэта. Гюго, холодный, спокойный, вежливый, суровый, наблюдал за раздражающими выходками богини. Он сдерживал нараставший в душе гнев. Однажды чаша переполнилась, и он попросил мадемуазель Марс возвратить роль доньи Соль. „Сударыня, — сказал он, — вы женщина большого таланта, но есть обстоятельство, о котором вы, по-видимому, не подозреваете, и я считаю необходимым о нем уведомить вас: дело в том, что я тоже человек большого таланта, помните это и соответствующим образом держите себя со мной“. В достоинстве молодого писателя было нечто воинственное и внушительное. Мадемуазель Марс покорилась.

Виктор Гюго, поглощенный театральными репетициями, совсем не бывал дома. Он писал друзьям: „Вы знаете, что я обременен, подавлен, перегружен, задыхаюсь. Французская Комедия, „Эрнани“, репетиции, закулисное соперничество, актеры, актрисы, подвохи газет и поли-

ции, а тут еще мои личные дела, по-прежнему весьма запутанные: вопрос с отцовским наследством все еще не улажен... наших песков в Солони уже полтора года никак не могут продать; дома́ в Блуа мачеха оспаривает у нас... словом, ничего или почти что ничего нельзя собрать из остатков большого состояния, одни только судебные процессы и огорчения. Вот какова моя жизнь. Где уж тут всецело принадлежать своим друзьям, когда и себе-то самому не принадлежишь..."

Действительно, Гюго, который с гордостью выставлял себя образцовым мужем и отцом, больше не принадлежал своей семье. Нужно было, чтоб драма „Эрнани" любой ценой имела успех, так как судебные тяжбы и хлопоты поглотили все сбережения супругов. Адель, у которой кошелек опустел, всей душой предалась этой спасительной битве, сражаясь рядом с мужем. Провал „Эми Робсар" показал им всю опасность театральных козней, и Гюго твердо решил захватить собственными своими войсками зрительный зал Французской Комедии в вечер первого представления. А войск у него было достаточно. Каждый начинающий художник питал честолюбивое стремление выступить на защиту самого крупного поэта Франции от рутинеров, проповедников классицизма. „Разве не было естественным противопоставить дряхлости — молодость, лысым черепам — пышные гривы волос, косности — энтузиазм, прошлому — будущее?" У Жерара де Нерваль, на которого возложили вербовку легионов, карманы полны были квадратиками красной бумаги, на которых стоял таинственный гриф: „Hierro, despiértate!" („Шпага, пробудись!")

И теперь уж Сент-Бев, являясь ежедневно в три часа дня с визитом к госпоже Гюго, неизменно находил ее в окружении растрепанных юношей, склонявшихся вместе с ней над планом зрительного зала. Женщины чтут полководцев, и Адель увлеклась сражением, тем более что от исхода битвы зависела слава ее супруга и материальное положение семьи. Ей было только двадцать пять лет; понукаемая молодыми энтузиастами, она словно очнулась внезапно от обычной своей задумчивости. Разумеется, молодое воинство приветливо встречало „верного Ахата", соратника их учителя. „А-а, это вы, Сент-Бев, — говорила Адель. — Здравствуйте, садитесь. А мы, видите, в какой горячке..." Сент-Бева приводило в отчаяние, что ему больше не удается побыть с нею наедине, он ревновал ее к этим красивым юношам, у него зарождалось

смутное раздраженье против Гюго, который так доверчиво рассчитывал, что Сент-Бев расхвалит в газетах его драму, меж тем как в глубине души критик терпеть не мог ее напыщенности. Вместе с тем он чувствовал, что сам-то он не способен создать такой неистовый поток страстей, как в „Эрнани", и считал это унизительным для себя, да, впрочем, ему и не хотелось быть на это способным, и он вообще был против всей этой затеи. Не удивительно, что он ходил унылый, подавленный, видя, как гнездо, в котором он нашел себе приют, стало „таким шумным и полным всякого мусора. Да что ж это такое! Нельзя больше уединиться тут с любимыми людьми! Ах, как это печально, как печально!.."

Раздражение, которое не могло рассеяться в излияниях души, все усиливалось, и, наконец, терпение Сент-Бева лопнуло. За несколько дней до премьеры он прислал Виктору Гюго невероятно жестокое письмо, в котором извинялся, что не может написать статью об „Эрнани":

„Сказать по правде, тяжело видеть, что у вас творится с некоторых пор, — жизнь ваша навсегда предоставлена во всеобщее распоряжение, ваш досуг утрачен, ненавистников у вас стало вдвое больше, старые и благородные друзья отходят от вас, их заменяют теперь глупцы или безумцы; чело ваше прорезали морщины, его омрачает тень забот, порожденная не только трудами и высокими думами; видя все это, я могу лишь огорчаться, жалеть о прошлом, поклониться вам на прощанье и пойти поискать какой-нибудь уголок, где я мог бы спрятаться. Консул Бонапарт мне был гораздо симпатичнее императора Наполеона.

Теперь я не могу и пяти минут отдать мыслям об „Эрнани" — тотчас всякие унылые думы начинают тесниться в моем мозгу. Да и как не думать, что вы вступаете на путь вечной борьбы, что вы утратите в ней целомудрие своей лирики, что всеми вашими поступками станут руководить соображения тактики, что вы должны будете встречаться с грязными людьми, что вам придется пожимать им руку, я говорю все это не для того, чтобы вы сошли с избранного вами пути, — такие умы, как ваш, непоколебимы, да и должны быть непоколебимыми, ибо ясно сознают свое призвание. Я говорю это ради себя самого, — хочу объяснить свое молчание, пока его никто еще не истолковал превратно, хочу сказать о своей беспомощности... Порвите, предайте все забвению. Пусть это письмо не будет для вас еще одной неприятностью

среди ваших понятных неприятностей. Мне нужно было написать вам, так как теперь уж невозможно поговорить с вами наедине, в доме вашем как будто был разгром.

Ваш неизменный и грустный
Сент-Бев.

А как же ваша супруга? Та женщина, чье имя должно было бы звучать под звуки лиры лишь в те минуты, когда ваши песни люди слушали бы, преклонив колена; та самая, на которую теперь ежедневно устремлены чужие кощунственные взгляды; та, которая раздает билеты восьми и даже более десяткам молодых людей, вчера еще едва знакомых ей? Чистая, пленительная близость, бесценный дар дружбы, навсегда осквернена в этой толкучке; понятие *преданность* попрано, превыше всего ценится у вас теперь *полезность*, и нет ничего для вас важнее материальных расчетов!!!"

Эта приписка сделана поперек письма, на полях, и почерк свидетельствует, что писавший был в ярости. Этот взрыв бешенства по поводу „супруги" походил на сцену ревности со стороны оскорбленного любовника, и как не удивиться, что Виктор Гюго вытерпел ее. Он уже не мог сомневаться, какой характер носит чувство Сент-Бева к Адели. Но он всецело отдался борьбе, и всякая ссора со своей группой ослабила бы его силы. Два былых соратника продолжали работать бок о бок. Сент-Бев рассылал от имени „своего страшно занятого друга" билеты его поклонникам в партер. В день премьеры (25 февраля 1830 г.) он пришел вместе с Гюго за восемь часов до начала спектакля, чтобы наблюдать за тем, как будут впускать в еще не освещенный зал верных людей. Молодой Теофиль Готье, командир целого отряда краснобилетников, явился в своем знаменитом розовом камзоле, в светло-зеленых (цвета морской волны) панталонах и во фраке с черными бархатными отворотами. Он хотел эксцентричностью костюма привести в содрогание „филистимлян". В ложах зрители с ужасом указывали друг другу на удивительные гривы романтиков, а молодые художники, глядя на лысые головы классицистов, торчащие на балконе, кричали: „Лысых долой! На гильотину!" Эти писатели, эти художники, эти скульпторы, образовавшие железный эскадрон, отнюдь не были „гнусным сборищем подонков". Они проникали во все уголки, где мог притаиться зловредный „свистун", они хотели защищать свободное искусство. Их горячность была признаком силы.

То было прекрасное время, бурное и полное энтузиазма, время, когда роялисты и либералы, романтики и классицисты еще не дрались друг с другом на баррикадах, а сражались в театре.

Наконец занавес поднялся. Столкновение началось с первых же строф: *„Дверь — потайная“. „Который час?“ — „Уж скоро полночь“.* Тут все коробило одних, а других все восхищало. Если б не страх, который нагоняли „банды Гюго“, ропот недовольных превратился бы в шумный протест. Две армии следили друг за другом. *„Да, он из королевской свиты. Из свиты короля“.* Слова эти „стали для огромного племени безволосых предлогом для невыносимого шиканья“. Но рыцари, защищавшие „Эрнани“, никому не позволяли ни одного жеста, ни одного движения, ни одного звука, не продиктованных восхищением и энтузиазмом. На площади перед Французским театром, во время антракта, книгоиздатель Мам предложил Гюго пять тысяч франков за право напечатать пьесу. „Да вы же кота в мешке покупаете. Успех может уменьшиться“. — „Но он может возрасти. Во втором акте я решил было предложить вам две тысячи франков, в третьем — четыре тысячи; теперь вот предлагаю пять тысяч... Боюсь, что после пятого акта предложу десять тысяч“. Виктор Гюго колебался. Мам протянул ему пять банковых билетов. В тот день дома на улице Нотр-Дам-де-Шан было только пятьдесят франков. Гюго взял банкноты.

Когда разразилась буря оваций после финала, „вся публика повернулась и устремила взгляд на восхитительное лицо женщины, еще бледное от тревоги, пережитой утром, и волнений этого вечера; триумф автора отражался на облике его дражайшей половины“.

После спектакля сотрудники „Глоб“ собрались в типографии журнала. Среди них были Сент-Бев и Шарль Маньен, которому поручили написать статью. Спорили, восторгались, делали оговорки; к радости триумфа примешивалось некоторое удивление и боязливая мысль: „А в какой мере „Глоб“ примет участие в кампании? Подтвердит ли он успех пьесы? Ведь с воззрениями, выраженными в ней, он в конечном счете мог согласиться лишь наполовину. Тут были колебания. Я тревожился. И вдруг через весь зал один из самых умных сотрудников журнала, который впоследствии был министром финансов, то есть не кто иной, как господин Дюшатель, крикнул: „Валяй, Маньен! Кричи: „Восхитительно!“ И вот „Глоб“

опубликовал бюллетень о победе. Зато „Насьональ" выступила враждебно и жаловалась на приятелей автора, „которые не имеют чувства меры, не знают приличий". Пришлось порекомендовать преданным защитникам больше не аплодировать по щекам соседей. Следующие представления были организованы Гюго так же заботливо. Оппозиция проявлялась всегда при одних и тех же стихах. Эмиль Дешан советовал убрать слова: „Старик тупой, ее он любит".

В дневнике Жоанни (исполнителя роли Руй Гомеса) записано: „Неистовые интриги. Вмешиваются в них даже дамы высшего общества... В зале яблоку упасть негде и всегда одинаково шумно. Это радует только кассу..." 5 марта 1830 года: „Зала полна, свист раздается все громче; в этом какое-то противоречие. Если пьеса так уж плоха, почему же ходят смотреть ее? А если идут с такой охотой, почему свистят?.." *В дневнике академика Вьенне читаем:* „Сплетение невероятностей, глупостей и нелепостей... Вот чем литературная группировка намеревается заменить „Аталию" и „Меропу"... выступая под таинственным покровительством барона Тейлора, которого когда-то назначил ведать этим кавардаком министр Корбьер, со специальным назначением погубить французскую сцену..."

Сборы превысили все ожидания. Пьеса вызволила супругов Гюго из нужды. В ящике Адели скопилось немало тысячефранковых билетов, которые до сих пор редко появлялись в доме. Триумфатор Гюго уже привыкал к поклонению. „Из-за дурного отзыва в статье он приходит в бешенство, — сказал Тюркети. — Себя он как будто считает облеченным высокими полномочиями. Представьте, он так разъярился из-за нескольких неприятных для него слов в статье, напечатанной в „Ла Котидьен", что грозился избить критика палкой. Сент-Бев разразился проклятьями, потрясая каким-то ключом..."

Сент-Бев — Адольфу де Сент-Вальри, 8 марта 1830 года: „Дорогой Сен-Вальри, нынче вечером уже седьмое представление „Эрнани", и дело становится ясным, раньше тут ясности не было. Три первые представления при поддержке друзей и публики прошли очень хорошо; четвертое представление было бурным, хотя победа осталась за храбрецами; пятое — полухорошо, полуплохо; интриганы вели себя сдержанно, публика была равнодушна, немного насмешничала, но под конец ее захватило. Сборы превосходные, и при маленькой поддержке друзей

опасный путь будет благополучно пройден, — вот вам бюллетень. Среди всех этих треволнений Виктор спокоен, устремляет взор в будущее, ищет в настоящем хоть один свободный день, чтобы написать другую драму, — настоящий Цезарь или Наполеон, nilactum reputas[1] и так далее. Завтра пьеса будет напечатана; Виктор заключил выгодный договор с книгоиздателем — пятнадцать тысяч франков; три издания по две тысячи экземпляров каждое, и на определенный срок. Мы все изнемогаем, на каждое новое сражение свежих войск не найти, а ведь нужно все время давать бой, как в кампании 1814 года...“

Сент-Бев был честным соратником, а между тем в сердце у него бушевала буря. Он узнал, что супруги Гюго в мае съедут с квартиры и поселятся в единственном доме, построенном на новой улице Жана Гужона. На улице Нотр-Дам-де-Шан хозяин им отказал, испугавшись нашествия косматых, небрежно одетых мазилок-художников, защитников „Эрнани“, но граф де Мортемар сдал супругам Гюго третий этаж своего недавно построенного особняка. Средства теперь позволяли им жить в районе Елисейских полей. Адель ждала пятого ребенка, и Гюго не прочь был перебраться с нею подальше от Сент-Бева. Пришел конец приятным ежедневным встречам. А впрочем, были ли они теперь возможны? Жозеф Делорм задыхался от смешанного чувства ненависти и восхищения, которое вызывал у него Гюго. Он знал теперь, что любит Адель не как друг, а любит по-настоящему. Некоторые полагают, что он тогда покаялся перед Гюго, и тот предупредил жену; другие считают, что сцена признания произошла позднее. Но, по-видимому, она несомненно произошла: Сент-Бев использовал ее в романе „Сладострастие“. Что у Гюго с мая 1830 года появились серьезные основания для горьких чувств, видно из тех стихов, какие он создавал в то время. Однако Сент-Беву, который жил тогда в Руане у своего друга Гуттингера, он писал не менее ласково, чем и прежде: „Если б вы знали, как нам недоставало вас в последнее время; как стало пусто и печально даже в семейном нашем кругу, которым мы обычно ограничиваемся: грустно нам даже среди наших детей, грустно переезжать без вас в этот пустынный город Франциска I. На каждом шагу, каждую минуту нам недостает ваших советов, вашей помощи, ваших забот, а вечерами разговоров с вами, и всегда недостает

[1] Не раскаивающийся ни в чем содеянном (лат.).

вашей дружбы! Кончено! Но не вырвать из сердца милой привычки. Надеюсь, у вас впредь не будет дурного желания бросать нас и коварно дезертировать..." Однако в том же месяце мае Гюго писал стихи, полные разочарования, такие непохожие на торжествующие „Восточные мотивы". Перечитывая свои „Письма к невесте", он с печалью вспоминал то время, когда „надежда пела ему песни и сладкой ложью баюкала его".

О письма юности, любви живой волненье!
Вновь сердце обожгло былое опьяненье,
Я к вам в слезах приник...
Отрадно мне, забыв о прочном, тихом счастье,
Стать юношею вновь, тревожным, полным страсти,
И поплакать с ним хоть миг...

Когда нам молодость улыбкою отрадной
Блеснет на миг один, о, как мы ловим жадно
Край золотых одежд...
Миг ослепительный! Он молнии короче!
Очнувшись, слезы льем, — в руках одни лишь клочья
Блеснувших нам надежд![1]

Адель часто плакала, и муж говорил ей:

Ты плакала тайком... Ты в грусти безнадежной?
Следит за кем твой взор? Кто он — сей дух мятежный?
Какая тень на сердце вдруг легла?
Ты черной ждешь беды, предчувствием томима?
Иль ожила мечта и пролетела мимо?
Иль это слабость женская была?[2]

А Сент-Бев жил в это время в Руане, у романтического Ульрика Гуттингера, среди гортензий и рододендронов, и с горделивой нескромностью откровенно рассказывал ему о своей любви к Адели. Исповедник исповедовался, а Гуттингер, прослывший в лагере романтиков большим знатоком в делах любви, поощрял его преступные замыслы, хотя и называл себя другом Гюго. Пребывание у Гуттингера было вредным для Сент-Бева: донжуанство заразительно. Возвратившись в Париж, он снова увиделся с четой Гюго, но чувствовал себя у них неловко.

Сент-Бев — Виктору Гюго, 31 мая 1830 года: „Хочу написать вам, потому что вчера мы были так грустны, так холодны, так плохо простились, что мне было

[1] Гюго В. О письма юности... („Осенние листья"). Пер. И. Грушецкой. — Собр. соч., т. 1, с. 437.
[2] Гюго В. XVII („Осенние листья").

очень больно; возвратившись домой, я страдал весь вечер, да и ночью тоже; я говорил себе, что, поскольку я не могу видеться с вами постоянно, как прежде, нельзя нам встречаться часто и платить за эти встречи такой ценой. В самом деле, что мы можем теперь сказать друг другу, о чем можем беседовать? Ни о чем, потому что не можем сделать так, чтобы во всем мы были вместе, как прежде... Поверьте, если я и не прихожу к вам, то любить вас буду не меньше прежнего — и вас, и вашу супругу..."

Сент-Бев — Виктору Гюго, 5 июля 1830 года: „Ах, не браните меня, мой дорогой великий друг; сохраните обо мне хотя бы одно воспоминание, живое, как прежде, неизменное, неизгладимое, — я так рассчитываю на это в горьком моем одиночестве. У меня ужасные, дурные мысли, подсказанные ненавистью, завистью, мизантропией; я больше не могу плакать, я все анализирую с тайным коварством и язвительностью. Когда бываешь в таком состоянии, спрячься, постарайся успокоиться; пусть осядет желчь на дно сосуда, — не надо очень его шевелить; не надо делать то, что я сейчас делаю — каяться перед самим собой и перед таким другом, как вы. Не отвечайте мне, друг мой; не приглашайте прийти к вам — я не могу. Скажите госпоже Гюго, чтобы она пожалела меня и помолилась за меня..."

Что это — искренность или стратегия? Вероятно, и то и другое. Сент-Бев слишком любил и восхищался Гюго, видел, как поэт великодушен по отношению к нему, и не мог так скоро позабыть свою привязанность. Но правда и то, что минутами он ненавидел Гюго, а тогда искал оснований для своей ненависти, и тем больше стремился их найти, чем больше любил. Чтобы утешиться в том, что у него нет могучих сил Гюго, он называл их в своих тайных записных книжках силами „ребяческими и вместе с тем титаническими". Он упрекал Гюго в том, что среди всех греческих стилей в архитектуре он понимает только стиль „циклопический", и называл его Полифемом, бросающим наугад чудовищные обломки скал. Он заносил в свои заметки, что в „Последнем дне приговоренного" Гюго „проповедовал милосердие вызывающим тоном". Словом, он считал его тяжеловесным, гнетущим, неким грубым готом, вернувшимся из Испании. „Гюго был молодым царьком варваров. Во времена „Утешений" я попробовал было цивилизовать его, но мало в этом преуспел". В заключение он восклицает: „Фу, Циклоп!" За-

тем, пытаясь провести параллель между своим соперником и собой, он говорит: „Гюго свойственно величие, а также грубость; Сент-Беву — тонкость, а также смелость“. Он мог бы добавить: Гюго — гений, а Сент-Бев — только талант.

IV

Оды следуют одна за другой

В конце концов монархия пала, падут и многие другие монархии.

Шатобриан

Двадцать первого июля 1830 года молодой швейцарец Жюст Оливье, страстный любитель литературы, заручившись рекомендацией Альфреда де Виньи и Сент-Бева, пришел в дом № 9 по улице Жана Гужона и позвонил на третьем этаже. Служанка сказала ему: „Проходите, пожалуйста, в кабинет барина...“ Он увидел там медальоны работы Давида Анжерского, литографии Буланже, изображающие колдунов, призраки вампиров и картины резни. Окно кабинета выходило в сад с тенистыми деревьями; вдали виднелся купол Дворца Инвалидов. Наконец появился Виктор Гюго. Оливье объяснил, что он тот самый молодой человек, которого направил к нему Сент-Бев. Сперва Гюго как будто ничего об этом не слышал, но потом сказал: „Совсем из головы вылетело“. Они поговорили о Шильонском замке, о Женеве, о старинных домах. Вошла высокая и красивая дама, весьма заметно было, что она беременна, с нею двое детишек, мальчик и девочка, которую поэт назвал „мой котеночек“, очаровательная крошка с загорелым и выразительным личиком. То была Леопольдина, она же Дидина, она же Кукла. Посетитель нашел, что Гюго не похож на своем портрете. Волосы у него темные (действительно, волосы стали у него каштановыми) и „как будто влажные“, лежат странной волной. Лоб высокий, белый и чистый, но не громадный. Карие живые глаза, выражение лица приветливое и естественное. Сюртук и галстук черные; рубашка и носки — белые. Таким описывает его Оливье.

Вечером Оливье рассказывал у Альфреда де Виньи о своем посещении поэта. Он сказал, что, по его мнению, Гюго тоньше, чем на портрете. „О, что вы! — язвительным тоном возразил Сент-Бев. — Он растолстел“. Потом

заговорили об „Эрнани“, где актеры, предоставленные самим себе, все меняли по-своему. В монологе Карла V вместо слов: „Так Цезарь с папою — две части божества“, Мишелю говорил: „Народ и Цезарь — две части мира“, хотя это ломало ритм стиха. „Что ж, — наивно замечала публика, — так, по крайней мере, мысль менее нелепа“. И все собратья захохотали. Сент-Бев рассказал, как Фирмен ловко исказил реплику: „Да, я из королевской свиты... Из свиты короля!“ Вместо этого он говорил: „Из твоей свиты“, и как сумасшедший бегал по сцене, потом возвращался на авансцену и свистящим шепотом добавлял: „Я к ней принадлежу“. Некоторые строфы опять были освистаны, и Ваше, главарь клакеров, хозяйничавших во Французском театре, заявлял: „Добавили бы еще человек шесть из левых, и я бы мог спасти эту пьеску!“ Словом, чисто парижские штучки, в которых не щадят ни учителей, ни друзей, — играючи, раздирают их на клочья, как хищные звери, чтобы поточить свои когти.

Выйдя от Виньи вместе с Сент-Бевом, швейцарец захотел проводить его. Он нашел, что это болтливый и желчный человек. „Какое убийственное время! — говорил Сент-Бев. — Чтобы забыть о нем, нужны уединенье, богатство и развлечения. Покончить с собой не хочется, самоубийство — это нелепость. Но что за жизнь! Я думаю, лучше всего было бы уехать в деревню, ходить по воскресеньям к обедне, спокойно говеть великим постом и праздновать пасху...“ — „Господин Гюго верующий?“ — „О, Виктора Гюго такие вопросы не мучают. У него столько больших и таких чистых, таких тонких наслаждений, которые ему доставляет его талант! Все, что он пишет, так прекрасно, так совершенно! И он так плодовит!.. Он доволен и своей жизнью. Он весел, — может быть, чересчур весел! Вот уж счастливый человек...“ Заметим, что этот „счастливый человек“ только что написал стихи о счастье, полные мрачного смирения и разочарования[1]. Но Сент-Бев больше не бывал у четы Гюго; его стул в их доме оставался пустым, и еще до конца месяца критик журнала „Глоб“ вновь уехал в Руан.

Двадцать пятого июля безумные ордонансы Полиньяка против гражданских свобод возмутили Париж. „Еще одно правительство бросилось вниз с башен собора Парижской богоматери“, — сказал Шатобриан. 27 июля поднялись

[1] Гюго В. Где же счастье? („Осенние листья“).

баррикады. Гюстав Планш, приехавший навестить супругов Гюго, предложил маленькой Дидине поехать с ним в Пале-Рояль полакомиться мороженым; он повез девочку в своем кабриолете, но дорогой они увидели такие толпы народа и отряды солдат, что Планш испугался за ребенка и отвез его домой. 28 июля было тридцать два градуса в тени. Елисейские поля, унылая равнина, в обычное время предоставленная огородникам, покрылась войсками. Жители этого отдаленного квартала были отрезаны от всего и не знали новостей. В саду Гюго просвистели пули. А накануне ночью Адель произвела на свет вторую Адель, крепенького младенца с пухлыми щечками. Вдалеке слышалась канонада. 29 июля над Тюильри взвилось трехцветное знамя. Что будет? Республика? Лафайет, который мог бы стать ее президентом, боялся ответственности не меньше, чем он любил популярность. Он вложил республиканское знамя в руки герцога Орлеанского. Короля Франции больше не было, теперь он назывался король французов. Оттенки зачастую берут верх над принципами.

Виктор Гюго сразу же принял новый режим. Со времени запрещения „Марион Делорм" он был в холодных отношениях с королевским дворцом, но считал, что Франция еще не созрела для республики. „Нам надо, чтобы по сути у нас была республика, но чтоб называлась она монархией"[1], — говорил он. Он был противником насилия; мать описывала ему страшные стороны всякого бунта. „Не будем больше обращаться к хирургам, обратимся к другим врачам". Вскоре его возмутили карьеристы, спекулировавшие на революции, искавшие и раздававшие теплые местечки. „Противно смотреть на всех этих людей, нацепляющих трехцветную кокарду на свой печной горшок". Несмотря на то что Гюго написал столько од, посвященных низложенной королевской семье, ему нечего было бояться. Разве он не совершил революцию в литературе вместе с той самой молодежью, которая приветствовала Шатобриана у подножия баррикад? „Революции, подобно волкам, не пожирают друг друга". Гюго отдал прощальный поклон свергнутому королю. „О, дайте мне оплакать этот мертвый род — который принесло изгнанье и вновь изгнанье унесет"[2]. Гюго принял Июль-

[1] Гюго В. Дневник революционера 1830 года. — Собр. соч., т. 14, с. 137.

[2] Гюго В. Писано после июля 1830 года („Песни сумерек"). — Собр. соч., т. 1, с. 470.

скую монархию, оставалось только, чтобы она его приняла. Он сделал поворот с поразительным искусством — одами, но без угодничества.

Его ода к „Молодой Франции“ была гораздо лучше в литературном отношении, чем его прежние легитимистские оды, — что было признаком искренности:

О братья, и для вас настали дни событий!
Победу розами и лавром уберите
И перед мертвыми склонитесь скорбно ниц.
Прекрасна юности безмерная отвага,
И позавидуют пробитой ткани флага
Твои знамена, Австерлиц!

Гордитесь! Доблестью с отцами вы сравнялись!
Права, которые в сраженьях им достались,
Под солнце жизни вы вернули из гробов.
Июль вам подарил, чтоб дети в счастье жили,
Три дня из тех, что жгут форты бастилий,
А день один был у отцов[1].

Гюго хотел, чтобы эти стихи напечатаны были в „Глоб“, либеральном журнале. Сент-Бев, вернувшийся из Нормандии, провел переговоры с редакцией. Гюго пошел к нему в типографию журнала, чтобы пригласить его быть крестным отцом своей новорожденной дочери. Сент-Бев замялся было и согласился, лишь когда получил заверение, что этого хочет Адель. Сент-Бев и стал лоцманом, который провел оду Виктора Гюго „через узкие еще каналы восторжествовавшего либерализма“. Для ее опубликования в „Глоб“ он составил милостивую „шапку“. „Он сумел, — говорилось там о Гюго, — сочетать с полнейшим чувством меры порыв своего патриотизма с должным приличием по отношению к несчастью; он остался гражданином Новой Франции, не стыдясь своих воспоминаний о Старой Франции...“ И сказано было хорошо, и маневр был искусный. Поэтому Сент-Бев остался доволен собой. „Я призвал поэта на службу режиму, который тогда установился, на службу Новой Франции. Я избавил его от роялизма...“

Гюго чувствовал себя прекрасно в этой новой роли, которую он, впрочем, начал играть еще со времени оды „К Вандомской Колонне“. „Плохая похвала человеку, — писал он, — сказать, что его политические взгляды не

[1] Гюго В. Писано после июля 1830 года („Песни сумерек“). Пер. Е. Полонской. — Собр. соч., т. 1, с. 470.

изменились за сорок лет... Это все равно что похвалить воду за то, что она стоячая, а дерево за то, что засохло...“ За „Дневником юного якобита 1819 года“ последовал „Дневник революционера 1830 года“. „Нужно иногда насильно овладеть хартиями, чтобы у них были дети“. Для него все складывалось хорошо. Он состоял в Национальной гвардии, — в четвертом батальоне 1-го легиона, занимая там должность секретаря Дисциплинарного совета, которая освободила его от дежурств и караулов. После постановки его пьесы, после признания его своим при новом режиме, он мог наконец вновь приняться за „Собор Парижской богоматери“.

Работа была срочная. По договору с книгоиздателем Госленом, тем самым, который выпустил в свет „Восточные мотивы“, он обещал представить книгу в 1829 году. С Госленом Гюго плохо обошелся за то, что он требовал изменений в „Последнем дне приговоренного“, а затем Гослена весьма плохо приняла госпожа Гюго, когда он на следующий день после премьеры „Эрнани“ пришел на улицу Нотр-Дам-де-Шан, намереваясь приобрести право на опубликование пьесы в печати. Адель с гордым видом испанской инфанты, бросив на Гослена „ястребиный взгляд“, надменно рассказала ему историю об издателе Маме и пяти тысячах франков. Гослен, разумеется, был всем этим раздражен до крайности и потребовал представления рукописи „Собора Парижской богоматери“, угрожая взыскать неустойку в сумме пяти тысяч франков за каждую неделю запоздания. Гюго принялся было за работу, но тут произошла Июльская революция. Новая отсрочка — до февраля 1831 года. Но на дальнейшую отсрочку уже нечего было надеяться. Виктор Гюго „купил себе бутылку чернил и вязанку из грубой серой шерсти, окутавшую его от шеи до кончика ног, запер свои костюмы на ключ, чтобы не поддаться соблазну куда-нибудь отправиться вечером, и вошел в свой роман, как в тюрьму“.

Так как он не отходил от письменного стола, Адель вновь оказалась очень одинокой. Неодолимое искушение для Сент-Бева, который исповедовался в своей любви всем подряд. Виктору Пави он писал 17 сентября 1830 года: „Да, друг мой, помолитесь за меня, посочувствуйте мне, потому что я страдаю от ужасных душевных мук; все, что я мог бы сказать в поэзии, подавлено, любовь моя безысходна; тоска меня томит. Я ожесточился. Я вновь стал злым...“ А ведь довольно выгодно называть

себя злым, — тем самым дозволяешь себе быть злым. В редакции „Глоб“ происходили крупные ссоры. Дюбуа хотел отстранить Пьера Леру, гневаясь на его сен-симонистские рассуждения. Сент-Бев выказывал поразительную снисходительность к Леру, свойственную скептикам по отношению к ясновидцам; кончилось все это пощечиной, которую Дюбуа дал Сент-Беву, и дуэлью последнего со своим бывшим учителем. Жертв не было, но госпожа Гюго не могла скрыть свою тревогу. Сент-Бев, увидавшись с нею на крестинах маленькой Адели, воспользовался этим, чтобы осведомить ее о состоянии своего сердца, — тот же самый прием, который когда-то применил жених мадемуазель Фуше во времена „Литературного консерватора“. Сент-Беву нужно было написать статью о переписке Дидро с мадемуазель Воллан, и он включил в эту статью прекрасные выдержки из писем Дидро, предназначая их для своей любимой:

„Сделаем так, моя дорогая, чтобы жизнь наша не была омрачена ложью; чем больше я буду уважать вас, тем больше вы будете мне дороги; чем больше я проявлю добродетели, тем больше вы будете меня любить... Однако ж я порою уношусь мыслью в те края, где вы пребываете, отвлекаюсь от своих дел. Возле вас я чувствую, я люблю, я слушаю, я смотрю, я ласкаю, я веду такой образ жизни, который предпочитаю всякому иному. Четыре года тому назад я впервые увидел вас, и вы показались мне красивой; ныне я нахожу, что вы стали еще краше, вот магия постоянства, самой трудной и самой редкой из наших добродетелей... О друг мой, не будем делать ничего дурного, пусть любовь возвышает нас, будем, как и прежде, неизменно наставлять друг друга...“

Искусное сочетание обожания и почтительности. Дальше 4 ноября 1830 года, в другой статье, написанной по поводу переиздания „Жозефа Делорма“, Сент-Бев под именем несчастного Делорма лишний раз старался вызвать сострадание к себе: „Он был неловок, робок, нищ и горд. Он ожесточился под бременем своих несчастий и без стеснения рассказывал о них самому себе“. Сент-Бев провозглашал будущую славу своих друзей — Гюго и де Виньи. „Что касается бедного Жозефа, ему ничего этого не достигнуть; впрочем, у него и сил не хватило бы пройти через всяческие испытания; он размяк от собственных своих слез...“ Короче говоря, читателю сообщалось, что Делорм, так же как Чаттертон, покончил с собой. Это самоубийство по уполномочию автора потрясло

Виктора Гюго, и, оторвавшись на один день от „Собора Парижской богоматери", он написал своему другу хорошее, ласковое письмо.

Виктор Гюго — Сент-Беву, 4 ноября 1830 года: „Только что прочел вашу статью о вас самом и заплакал над ней. Ради бога, друг мой, заклинаю вас, не поддавайтесь отчаянию. Вспомните о своих друзьях, особенно о том, чье письмо вы сейчас читаете. Вы же знаете, кем вы стали для него, как он доверял вам в прошлом и станет доверять в будущем. Помните, что если жизнь ваша отравлена, будет навсегда отравлена и его жизнь, ему необходимо знать, что вы счастливы. Не падайте же духом. Не презирайте то, что делает вас великим, — ваше дарование, вашу жизнь, вашу добродетель. Не забывайте, что вы принадлежите нам, что есть два сердца, для которых вы всегда дорогой предмет заботы... Приходите навестить нас..."

Сент-Бев пришел поблагодарить Гюго, и тот говорил с ним, как брат, умолял его отказаться от любви, губительной для их дружбы. Виктор Гюго, так же как Жорж Санд, как все романтики, уважал „право на страсть". Но, вероятно, он думал о Сент-Беве, как дон Руй Гомес об Эрнани: „Так вот мне плата за гостеприимство!" Однако для него было бы ужасным отдать другому роль великодушного героя и согласиться сыграть роль ревнивого мужа. Он предложил Сент-Беву предоставить Адели самой сделать выбор между ними двумя и при этом искренне верил, что поступает в высшей степени благородно. Из этого вышла бы прекрасная сцена для одной из его драм, но, несмотря на подлинное свое благородство, Гюго в данном случае вел себя весьма неловко. Разве мог Сент-Бев, как бы он ни был влюблен, согласиться на его предложение? У Адели было четверо детей, Сент-Бев едва зарабатывал себе на жизнь. Ему казалось, что предложение Гюго было более жестоким, чем великодушным. Благородная поза противника заставляет соперника притихнуть, хотя и не изменяет его чувств. Описывая эту сцену в своем романе „Сладострастие", Сент-Бев вкладывает в уста Амори следующие слова: „Меня так ошеломила эта сцена, так взволновала мягкость этого сильного человека, что я не мог ответить ничего вразумительного. Я даже не смел поднять глаза, боясь, что увижу, как краска смущения заливает это суровое и чистое лицо. Я торопливо пожал ему руку, пробормотав, что я всецело полагаюсь на него, и мы заговорили о другом..."

Сент-Бев пообещал, что он сделает над собой усилие

и постарается все забыть, чтобы прийти, как прежде, по-дружески, но ушел он, чувствуя себя униженным, и 7 декабря написал душераздирающее письмо.

Сент-Бев — Виктору Гюго: „Друг мой, я не могу этого вынести. Если б вы знали, как проходят для меня дни и ночи, какие противоречивые страсти владеют мною, вы бы пожалели меня, оскорбившего вас, и пожелали бы мне смерти, но никогда не осуждали бы меня и память обо мне предали бы вечному забвению... Во мне, знаете ли, кипит бешенство, я полон отчаяния; минутами мне хочется уничтожить вас, право, хочется убить вас. Простите мне эти ужасные порывы. Подумайте, однако, что у вас-то такая полнота жизни, столько у вас замыслов, а в моей душе пока пустота, после нашей погибшей дружбы! Как! Неужели она навсегда утрачена? Больше я уже не могу приходить к вам; ноги моей больше у вас не будет, — это невозможно. Но это отнюдь не равнодушие... Если я впредь не буду видеться с вами, то лишь потому, что такая дружба, как та, что была у нас с вами, не может чуть теплиться. Она живет, или ее убивают. Ну, что я делал бы теперь у вашего семейного очага, когда я заслужил ваше недоверие, когда меж нами закралось подозрение, когда вы тревожно наблюдаете за мной, а госпожа Гюго не смеет посмотреть на меня, не попросив у вас взглядом разрешения? Нет, мне непременно нужно удалиться и свято блюсти заповедь — воздержись..."

На следующий день Гюго ответил очень мягко: „Будем снисходительны друг к другу, дорогой мой. У меня своя рана, у вас своя; горестное потрясение пройдет. Время все излечит. Будем надеяться, что когда-нибудь мы увидим в том, что пережили, лишь причину еще больше полюбить друг друга. Жена прочла ваше письмо. Приходите *ко мне*, приходите почаще. Всегда пишите мне..." Но ведь он нарочно сказал — *ко мне*, он не сказал — *к нам*". И Сент-Бев не пришел. А Гюго передал жене свое трагическое объяснение с ним, сказал, что́ он предложил Сент-Беву, показал письма Сент-Бева. Странная ошибка со стороны знатока человеческих душ. Разве могли оставить Адель равнодушной болезненные ноты скорби, звучавшие в этих письмах? Как ей было не пожалеть своего друга, своего наперсника, которого она к тому же обратила, как ей казалось, на путь благочестия? Как Гюго не догадался, что она скорее уж извинит Сент-Бева за то, что он отверг нелепое предложение, чем простит мужу

готовность лишиться ее? Все это еще оставалось скрытым в ее гордой и неразумной головке.

Первого января 1831 года Сент-Бев прислал игрушки детям, и Гюго отправил ему записку: „Как вы добры к моим детишкам, дорогой друг. Нам с женой очень, очень хочется лично поблагодарить вас. Приходите послезавтра, во вторник, пообедать с нами. 1830-й год прошел! Ваш друг *Виктор*“. Ответа не было.

Пытаясь забыться, Сент-Бев погрузился в изучение политико-религиозной доктрины — сен-симонизма. „У меня в ту пору сердце болело, страдания терзали сердце, охваченное страстью. И чтобы отвлечься, я играл во всякие умственные игры...“ Гюго вновь принялся за „Собор Парижской богоматери“. Адель, покинутая, мечтала.

V

ANANKE

Собор богоматери очень стар, но, пожалуй, он переживет Париж, видевший, как он родился.

Жерар де Нерваль

В начале января 1831 года Гюго завершил работу над „Собором Парижской богоматери“. Этот длинный роман он написал за шесть месяцев, представив рукопись в крайний срок, назначенный издателем Госленом. В сущности, ему нужно было только все записать и скомпоновать, а материал он собирал и обдумывал три года; он прочел много исторических трудов, хроник, хартий, описей, грамот, изучал Париж времен Людовика XI, осматривал то, что сохранилось от старых домов той эпохи. И главное, он досконально знал собор, его винтовые лестницы, его таинственные каменные каморки, старинные и современные документы. В этом романе, надеялся он, все будет исторически точным: обстановка, люди, язык. „Впрочем, не это важно в книге. Если есть в ней достоинства, то благодаря тому, что она плод воображения, причуды и фантазии...“ В самом деле, если эрудиция автора была вполне реальна, персонажи романа кажутся нереальными. Архидиакон Клод Фролло — чудовище, Квазимодо, уродливый большеголовый карлик, — один из

[1] Рок (греч.).

гротескных образов, теснившихся в воображении Гюго; Эсмеральда — скорее прелестное видение, чем женщина.

Однако этим персонажам предстояло жить в умах людей всех стран и всех наций. Ведь они обладали бесспорным величием эпических мифов и той глубокой правдивостью, которую им сообщила их тайная связь с душевным миром автора. Нечто от самого Гюго закралось в образ Клода Фролло, раздираемого борьбой между плотским вожделением и обетом целомудрия; было нечто от Пепиты (и от Адели в ее юности) в образе Эсмеральды, золотисто-смуглой, как девушка Андалусии, тоненькой цыганочки с огромными черными глазами; была тут такая важная для Гюго тема тройного соперничества вокруг Эсмеральды — архидиакона, хромого звонаря и капитана Феба Шатопера. Tres para una. Было, наконец, и нечто от смятения, пережитого Гюго в 1830 году, в угрюмом приятии Клодом Фролло роковой неизбежности. Нигде нет прямой исповеди. Пуповина была перерезана. Но пока произведение росло, оно все время питалось жизнью творца. Читатель смутно чувствовал это тайное соответствие; невидимое и мощное, оно оживляло роман.

Но главное, роман жил жизнью вещей. Подлинный его герой — это „огромный собор богоматери, вырисовывающийся на звездном небе черным силуэтом двух своих башен, каменными боками и чудовищным крупом, подобно двухголовому сфинксу, дремлющему среди города...“[1]. Как и в своих рисунках, Гюго умел в своих описаниях показывать натуру в ярком освещении и бросать на светлый фон странные черные силуэты. „Эпоха представлялась ему игрой света на кровлях, укреплениях, скалах, равнинах, водах, на площадях, кишащих толпами, на сомкнутых рядах солдат, — ослепительный луч, выхватывая здесь белый парус, тут одежду, там витраж“. Гюго был способен любить или ненавидеть неодушевленные предметы и наделить удивительной жизнью какой-нибудь собор, какой-нибудь город и даже виселицу. Его книга оказала глубокое влияние на французскую архитектуру. До него строения, возведенные до эпохи Возрождения, считали варварскими, а после появления его романа их стали почитать, как каменные Библии. Создан был Комитет по изучению исторических памятников, Гюго (формировавшийся в школе Нодье) вызвал в 1831 году революцию в художественных вкусах Франции.

---

[1] Гюго В. Собор Парижской богоматери. — Собр. соч., т. 2.

„Собор Парижской богоматери" не был ни апологией католицизма, ни вообще христианства. Многих возмущала эта история о священнике, пожираемом страстью, пылающем чувственной любовью к цыганке. Гюго уже отходил от своей еще недавней и непрочной веры. Во главе романа он написал: „Anankè"... Рок, а не провидение... „Хищным ястребом рок парит над родом человеческим, не так ли?" Преследуемый ненавистниками, познав боль разочарования в друзьях, автор готов был ответить: „Да". Жестокая сила царит над миром. Рок — это трагедия мухи, схваченной пауком, рок — это трагедия Эсмеральды, ни в чем не повинной и чистой девушки, попавшей в паутину церковных судов. А высшая степень Anankè — рок, управляющий внутренней жизнью человека, гибельный для его сердца. Адель и сам Сент-Бев, жалкие мухи, тщетно бившиеся в тенетах, наброшенных на них судьбой, тоже подпадали под эту философию. Быть может, Гюго, звучное эхо своего времени, воспринял антиклерикализм своей среды. „Это убьет то. Печать убьет церковь... Каждая цивилизация начинает с теократии, а кончается демократией..."[1]. Изречения, характерные для того времени.

Ламенне, прочитав роман, упрекал его за то, что в нем недостаточно католицизма, но хвалил его живописность и богатство воображения автора; Готье восхвалял стиль, „гранитный стиль", неразрушимый, как средневековые соборы. Ламартин писал: „Это колоссальное произведение, допотопная глыба! Это Шекспир в романе, это эпопея средневековья... Однако это безнравственно, потому что довольно ясно чувствуется отсутствие провидения; в вашем храме есть все, что угодно, только в нем нет ни чуточки религии..." От Сент-Бева Гюго ждал, „несмотря ни на что", большой статьи о романе и полагал, что своим поведением в декабре 1830 года он заслужил, чтобы дружба литературная и даже просто дружба устояла перед домашними передрягами. Он попытался считать чувство Сент-Бева к Адели любовью преступной, но чистой и безнадежной, в духе „Вертера". А ведь Вертер уважал честь Альбера, мужа Шарлотты. Словом, невзирая на трехмесячное молчание Сент-Бева, Гюго твердо надеялся, что без труда приведет его к сознанию долга и к прежнему восхищению другом.

Он ошибся. За время своего молчания Сент-Бев очень

[1] Гюго В. Собор Парижской богоматери. — Собр. соч., т. 2.

изменился. От небесного тона „Утешений" он вновь обратился к горькому и скептическому тону „Жозефа Делорма". Он бесцеремонно говорил об Адели со всеми своими приятелями, даже со священниками, — например, с аббатом Барбом и Ламенне. Гуттингер писал ему: „Я слышал много разговоров о ваших любовных делах". Действительно, они стали одной из злободневных сплетен в Париже. В марте Гюго написал ему письмо, в котором сообщил, что рекомендовал его Франсуа Бюло, занявшемуся тогда возрождением журнала „Ревю де Де Монд", и упомянул, что послал Сент-Беву экземпляр „Собора Парижской богоматери". Сент-Бев счел грубым маневром то, что ему оказывают услугу, о которой он не просил, словно заранее платят ему за ожидаемую от него любезность. Сент-Бев был неправ; услугу Гюго оказал скорее уж Франсуа Бюло, чем Сент-Беву, но тот все понял посвоему. Лишний раз он удивился „чудовищному эгоизму" Гюго и на письмо не ответил. Гюго встревожился, написал второе письмо, предложил, что придет за Сент-Бевом для „долгого, глубокого, душевного разговора", но такого рода эпитеты могли только возмутить недоверчивую натуру Сент-Бева, и 13 марта 1831 года Гюго получил от него резкое письмо — не по форме (она была чрезвычайно вежливой), но по самой сути. Привязанность? Восхищение? Да, все это осталось нерушимым, — утверждал Сент-Бев. „Но сказать вам, что привязанность эта осталась той же самой, какой она была, сказать, что восхищение еще живет в моей душе, словно некий домашний, семейный культ божества, — это значило бы солгать вам, и если бы я двадцать раз заверил вас в прежнем поклонении, вы бы мне все равно не поверили..." Неожиданный поворот: оказывается, Сент-Бев был оскорбленной стороной!

„Каким бы преступником я ни был перед вами или каким должен был казаться вам, я полагаю, друг мой, что и вы были тогда виноваты передо мной. Имея в виду ту тесную дружбу, которая связывала нас, это была вполне реальная вина, заключавшаяся в недостатке искренности, доверия и откровенности. Я не намерен ворошить печальные воспоминания. Но именно это и причинило мне боль. Вздумай вы рассказать о своем поведении, то в глазах всего света оно было бы безупречным, ведь оно было достойным, твердым и благородным. А я вот не считаю его столь душевным, столь хорошим, столь редкостным, столь исключительным, каким оно бы могло

быть при той задушевной дружбе, которая тогда соединяла нас в жизни..."

Каждого человека изумляет дурное мнение о нем других людей. Гюго был ошеломлен; он ответил Сент-Беву только через пять дней, 18 марта 1831 года:

„Я не хотел отвечать под первым впечатлением от вашего письма. Впечатление это было слишком печальным и слишком горьким. Я бы тоже оказался несправедливым, как и вы. Я решил подождать несколько дней. Нынче я по крайней мере спокоен и могу перечесть ваше письмо, не боясь разбередить глубокую рану, которую оно нанесло мне. Должен сказать, не думал я, что все случившееся между нами, *известное лишь нам двоим на всем свете*, могло быть когда-нибудь забыто... Вы ведь должны помнить, что́ произошло при обстоятельствах самых горестных в моей жизни, в ту минуту, когда мне пришлось выбирать между нею и вами. Вспомните, что я вам тогда сказал, *что́ я предложил, что́ я обещал*, конечно, с твердым намерением выполнить обещание и *поступить так, как вы того пожелаете*. Вспомните это и скажите, как вы могли написать, что в этом деле у меня не было по отношению к вам *искренности, доверия, откровенности*. И все это вы написали мне через какие-нибудь три месяца... Я вам это прощаю сейчас. Но, может быть, придет день, когда вы сами себе этого не простите..."

На полях этого письма, рядом со словами „известные лишь нам двоим на всем свете", Сент-Бев написал (вероятно, для потомства): „Ложь! Он этим хвастался перед нею, приписывая мне то, чего я не говорил". Рядом со словами: „Вспомните, что́ я вам предложил", стоит злобная реплика: „В эту самую минуту он мне лгал и вел двойную игру". На конверте написано: „Он вел двойную игру. Писал мне пышно, а действовал наперекор. Оттого и шел несколько лет упорный поединок между нами".

„Упорный поединок", в котором двое мужчин сражались из-за Адели, и эти заметки на полях, как нам кажется, доказывают, что отчасти и на нее тут падает ответственность. Нельзя отрицать, что летом 1831 года она разлюбила своего знаменитого мужа. Он сам в отчаянии признает это и даже говорит это сопернику. Почему охладела жена? У Гюго, так же как у его отца, требования чувственности были несомненно сильнее обычных. Адель жаждала отдыха, страшилась пылких страстей и отвергала домогательства мужа. Сент-Бев в своих стихах ликовал:

Адель, бедняжечка! Как часто ночью темной,
В тот час, когда твой лев, свирепый, неуемный,
Врывается в твое ночное забытье,
Чтобы схватить тебя и грубо взять свое,
Тебе приходится, овечка дорогая,
Вести тяжелую борьбу, изнемогая,
Хитрить на все лады, чтоб верность сохранить
Тому, с кем чистых чувств тебя связала нить![1].

К тому же муж, окруженный ореолом славы, вовсе не обязательно бывает любезным с женой. Даже наоборот: как мать, всецело отдающая себе своим детям, поэт всего себя отдает творчеству. Он становится раздражительным, нетерпимым, властным. Адель, как она это и предвидела во времена их помолвки, обрела в Викторе деспотического повелителя; она жалела о своем робком и покорном поклоннике. Не подлежит сомнению то, что она потихоньку встречалась с Сент-Бевом, виделась с ним наедине, что она неосторожно передавала ему слова своего мужа, и даже несомненно то, что на этих тайных свиданиях, вдали от „Циклопа", влюбленная пара безжалостно критиковала его.

Переход от супружеской верности к измене сердца и ума занял несколько месяцев. В апреле соперники обменивались резкими письмами, а затем под давлением Адели они помирились, — обоих растрогало то, что она заболела из-за этих распрей. Сент-Бев написал Гюго: „Могу я прийти пожать вам руку?" Гюго ответил: „Приходите в ближайшие дни пообедать *с нами*. Непременно". Необходимо напомнить, что в это время Сент-Бев уже прочел „Собор Парижской богоматери", что, несмотря на всеобщие похвалы, книга не очень понравилась ему, и он не собирался написать о ней статью; Гюго знал это, а следовательно, приглашал его к себе бескорыстно. Но эта попытка возобновить прежнюю близость оказалась неудачной. У обеих сторон недоставало теперь доверия. Когда все трое были вместе, Гюго следил за женой и за другом. Оставшись с Аделью один, он устраивал ей сцены. Сперва она старалась утихомирить его кротостью. Затем потеряла терпение: „Разве я виновата, что меньше тебя люблю, когда ты меня мучаешь?" Тут он бросался к ее ногам, потом писал ей: „Прости меня". Чтобы его успокоить, она просила всегда быть третьим, когда приходит Сент-Бев; возможно, это была женская хитрость, которая, однако, лишь усиливала опасения мужа.

---

[1] Пер. И. Шафаренко.

В конце июня у Гюго, однако, появилась надежда. Во-первых, Адель с детьми уехала на лето из Парижа к Бертенам, в их замок де Рош. Этот красивый дом, окруженный большим парком, построен был близ деревни Бьевры на зеленом холме, возвышавшемся над долиной, и оттуда открывался „широкий вид, словно нарочно созданный на радость глазу". Луи-Франсуа Бертен, основатель газеты „Журналь де Деба", именовавшийся Бертен-старший (Энгр оставил его великолепный портрет), очень любил де Рош и охотно отдыхал там. По соседству жили приятели Бертена — Ленорманы и Дольфусы, у которых была там ситценабивная фабрика. В доме составился кружок приветливых и культурных людей: сыновья Бертена — художник Эдуард Бертен, журналист Арман Бертен, дочь Луиза, музыкантша, которая ставила на домашней сцене оперы на сюжеты, почерпнутые у Вальтера Скотта. Гюго познакомился с Бертенами в 1827 году. После статьи об „Одах и балладах", появившейся в „Деба", он пришел к Бертену-старшему поблагодарить его; Бертена, так же как и Дюбуа, очаровало „святое семейство" поэта. Между супругами Гюго и Бертенами возникла нежная дружба. Особенно с мадемуазель Луизой, девушкой некрасивой, чересчур полной, почти что тучной, но всех пленявшей величавым душевным спокойствием; „мужчина по уму, а сердцем — женщина", „добрая фея счастливой долины Бьевры" — она стала близким другом Виктора Гюго и второй матерью для его детей.

В усадьбе Рош Виктор Гюго откладывал в сторону свой скипетр главы литературной школы, свою романтическую маску и становился очень простым человеком, отцом семейства, парижским буржуа, давал волю своей чувствительной натуре. Каждый год для него было великой радостью видеть вместо городских бульваров с их запыленными, серыми вязами зеленую траву, лесистые склоны холмов. „Я отдал бы весь мир за ваш парк и всех людей за вашу семью", — писал он мадемуазель Луизе и добавлял: „Все ели Черного леса не стоят той акации, что растет у вас во дворе". В Роше маленькая Деде бежала посмотреть на своих любимых коров. Тото и Шарль получали от отца игрушечные колясочки, которые он сам мастерил для них из картона, а степенная Дидина, по прозвищу Кукла, упрашивала мадемуазель Луизу поиграть ей на фортепьяно. *Виктор Гюго — Луизе Бертен, 14 мая 1840 года:* „Если бы можно было вернуть пролетевшие годы, я хотел бы вновь пережить одно из

тех лет, когда мы проводили такие чудные вечера около вашего фортепьяно, а дети играли вокруг нас, меж тем как ваш отец, добрейший человек, хлопотал о том, чтобы всем нам было тепло и светло...“ По возвращении в Париж все дети писали мадемуазель Луизе или просили Виктора Гюго написать за них и бранили его, когда находили письмо неудавшимся. „Папа написал не так, как я ему сказала“, — добавляла Дидина в приписке.

Летом 1831 года, такого бурного для Гюго, умиротворяющее влияние Бертенов произвело чудо. Поэт совершал прогулки при луне, под „сенью ив, поникших над рекой“. Теперь он слышал только музыку и голоса детей; растворяясь в природе, он забывал „роковой город“. Адель Гюго тоже как будто поддалась очарованию этой жизни. Ходили слухи, что Сент-Бев согласился занять предложенную ему бельгийцами кафедру профессора в Льеже. Итак, соперник удалится. Но увы, в начале июля Гюго допустил неосторожность: написал ему, что все идет прекрасно и Адель вновь кажется очень счастливой. Тотчас же Сент-Бев, задетый за живое, отказался от профессорской кафедры в Льеже. И тогда Гюго, отбросив всякую гордость и всякое благоразумие, не справившись со своим страданьем, признался Сент-Беву в своих страхах.

Виктор Гюго — Сент-Беву, 6 июля 1831 года: „То, что я хочу сказать вам, дорогой друг, причиняет мне глубокое страдание, но сказать это необходимо. Ваш переезд в Льеж избавил бы меня от объяснений. Вы, несомненно, замечали иногда, как я хочу того, что во всякое другое время было бы для меня настоящим несчастьем, а именно — расстаться с вами. Но раз вы не уезжаете по каким-то, вероятно, основательным причинам, мне надо, друг мой, излить перед вами душу, хотя бы в последний раз! Я дольше не могу выносить то состояние, которому не будет конца, пока вы живете в Париже... Так перестанем на время встречаться, а когда-нибудь, как можно скорее, мы встретимся вновь и уж не расстанемся до конца жизни. Черкните мне несколько слов. Кончаю на этом письмо. Сожгите его, чтобы никто, даже вы сами, не могли его впоследствии прочесть.

Прощайте. Ваш друг, ваш брат *Виктор.*

Я показал письмо только той особе, которой следовало прочесть его раньше вас“.

Ответ Сент-Бева полон коварной кротости. Роли переменились, он втайне торжествовал, но разыгрывал из себя простачка. Чем, собственно, Гюго оскорблен? Да и

был ли он оскорблен на самом деле? Он, Сент-Бев, замечал мрачный вид своего друга, но приписывал эту угрюмость влиянию возраста; его молчание объяснял тем, что они друг друга знали насквозь, обо всем переговорили и ничего нового не могли бы сказать. Что касается „той особы“, он ведь никогда не бывал с нею наедине. „Добавлю, что последнее ваше письмо очень меня опечалило, очень огорчило, но нисколько не вызвало во мне раздражения; горько сожалею, втайне скорблю, что для такой дружбы, как ваша, я стал камнем преткновения, внутренним нарывом, осколком ножа, сломавшегося в ране; но уж приходится возложить вину за это на судьбу, ибо я не виноват в том, что стал орудием пытки, терзающей ваше великое сердце. Берегитесь, мой друг, — говорю это вам без всякого ехидства, — берегитесь, поэт, не верьте порождениям вашей фантазии, не допускайте, чтобы под ее солнцем расцветали подозрения, не прислушивайтесь с волнением к тому, что бывает просто эхом собственного голоса...“

И на это бедный Гюго отвечает: „Вы во всем правы, ваше поведение было честным, безупречным, вы не оскорбили и не могли никого оскорбить... Все это я сам придумал, друг мой. Бедная моя, несчастная голова! Я люблю вас в эту минуту больше, чем прежде, а себя ненавижу, говорю без всякого преувеличения, ненавижу за то, что я такой сумасшедший, такой больной. Если когда-нибудь вам понадобится моя жизнь, я отдам ее для вас, и жертва тут будет с моей стороны небольшая. Дело в том, знаете ли, что я теперь несчастный человек, — говорю это только *вам одному*. Я убедился, что та, которой я отдал всю свою любовь, вполне могла разлюбить меня и что это едва не случилось, когда вы были возле нее. Сколько я ни твержу себе все то, что вы мне говорите, сколько ни убеждаю себя, что самая мысль об этом — безумие, достаточно одной капли этого яда, чтобы отравить мою жизнь. Да, пожалейте меня, я поистине несчастен. Я и сам уж не знаю, как мне быть с двумя существами, которых я люблю больше всего на свете. Вы — одно из этих существ. Жалейте меня, любите меня, пишите мне...“ Читать это письмо было наслаждением для самолюбия Сент-Бева.

Стало быть, божество, по собственному его признанию, пало в глазах своей служанки. С безмятежным спокойствием человека, выигравшего партию в игре, Сент-Бев принялся давать советы.

Сент-Бев — Виктору Гюго, 8 июля 1831 года: „Позвольте мне сказать еще кое-что. Есть ли у вас уверенность в том, что вы не вносите, под влиянием роковой силы воображения, чего-то чрезмерного в ваши отношения с существом, столь слабым и столь для вас дорогим, чего-то чрезмерного, пугающего, отчего она, вопреки вашей воле, замыкает свое сердце; и получается, что вы сами своими подозрениями приводите ее в такое моральное состояние, которое усиливает ваше подозрение и делает его еще более жгучим? Вы так сильны, друг мой, так своеобразны, так далеки от обычных наших мерок и едва уловимых оттенков, что порой, особенно в минуты страстных волнений, вы, должно быть, все окрашиваете и все видите по-своему, во всем ищете отражений ваших призраков. Постарайтесь же, друг мой, не мутить чистый ручей, что бежит у ваших ног, пусть он, как прежде, течет спокойно, и скоро вы увидите в его прозрачной воде свое отражение. Я не стану говорить вам: „Будьте милосердным и будьте добрым“ — вы такой и есть, слава богу! Но я скажу: „Будьте добрым попросту, снисходительным в мелочах“. Я всегда думал, что женщина, супруга гениального человека, похожа на Семелу: милосердие божества состоит в том, чтобы не сверкать перед ней своими лучами, стараться приглушить свои громы и молнии; ведь когда Юпитер блещет, даже играя, он зачастую ранит и сжигает...“

Экий проповедник! А ведь он в то же время переписывался с Аделью. Она получала его письма то на почте — „до востребования“, под именем „госпожи Симон“, то через Мартину Гюго, бедную родственницу поэта, которую он приютил у себя, за что она отплатила ему предательством. Сент-Бев писал для любимой узницы стихи, и принятое в поэзии обращение на „ты“ еще усиливало их интимный характер; он считал эти любовные элегии лучшими своими творениями. Адель отвечала письмами (через ту же тетушку Мартину), в которых называла Сент-Бева: „Мой дорогой ангел... Дорогое сокровище...“ Бедняжка Адель! Девица Фуше, дочь чистенькой канцелярской мышки, не создана была ни для романтической драмы, ни для любовной комедии. Она была домоседка, образцовая мать семейства. Сердечная женщина. Чувства ее оставались совершенно спокойными. Ей хотелось сохранять и с мужем и с другом целомудренные отношения. „Люби и его тоже“, — соглашался друг и успокаивал ее: „У нас с вами на лице написана чистота...“ Чис-

тота, необременительная для мужчины, привыкшего отождествлять плотскую любовь с продажной, ибо, расставшись с дамой сердца, он шел к какой-нибудь распутнице. Однако и Адель возбуждала у него вожделение, и его торжество над Виктором Гюго могло быть полным только в тот день, когда Адель отдастся ему.

VI

Осенние листья

Надо, чтобы люди знали, сколько выстрадал человек.

Гете

Я не люблю, когда сурово осуждают женщин, — им столько приходится страдать.

Госпожа Фуше

Чтобы успокоить Виктора Гюго и отвлечь его внимание, Сент-Бев старался, как и прежде, оказывать ему литературные услуги. 1 августа он опубликовал в журнале „Ревю де Де Монд“ весьма хвалебную биографию поэта. Гюго занят был тогда репетициями „Марион Делорм“ в театре Порт-Сент-Мартен. Июльская монархия разрешила к постановке эту драму, запрещенную Карлом X. Мари Дорваль должна была играть роль Марион. Она была в восторге от своей роли, но просила, чтобы Дидье в конце пьесы простил возлюбленную. Гюго был за неумолимого Дидье, но уступил настояниям. Кто-то доложил ему, что Сент-Бев сказал: „Дидье — это второй Гюго, человек более страстный, чем чувствительный“. Сент-Бев отрекся от этого изречения и предложил свои услуги в отношении драмы. „Я бы очень хотел, друг мой, быть вам чем-нибудь полезным в этом деле...“ Однако он продолжал писать для Адели элегии. В них он изображал ее узницей „угрюмого супруга“, мечтающей о „робком победителе“, который никогда не получит от нее „ничего, кроме сердца ее“. Шарлю Маньену, своему собрату в „Глоб“, он на случай своей смерти торжественно доверил для хранения толстый запечатанный пакет, вероятно содержавший его переписку с Аделью и его стихи о ней.

В сентябре он добился, чтобы она согласилась на свидание

с ним — сначала в какой-нибудь удобной для этого церкви, где можно вполголоса вести беседу, сидя за колонной, а затем — в его комнатушке. Как он привел к такому неблагоразумному шагу эту добродетельную, богобоязненную и к тому же щепетильную женщину? Тем, что возбудил в ней ревность. Он притворился, а может быть, и в самом деле попытался найти успокоение с другой, и тогда Адель, боясь его потерять, вдруг пошла на уступки, подарив ему милости, небольшие, но, однако, достаточные для того, чтобы у него появилась уверенность, что он покорил, впервые в жизни, женщину, которую все считали недоступной, меж тем как она говорит ему, что любит его

Сильней, чем первенца, чем мужа в блеске славы...

Припав к моей груди, ты говорила мне:
„Я испытала все, но ты всего превыше!..“

Странное объяснение в любви, обращенное к человеку, столь непригодному для любви; ведь он сам провозгласил:

Стыдливой ты была и сдержанной всегда —
В минуты самого немыслимого счастья,
И наша светлая любовь была чужда
Тщеславия и сладострастья[1].

Казуистика, предназначенная для успокоения щепетильной подруги, — ведь грудь поэта, когда к ней прижимается чело возлюбленной, должна же была испытывать некоторую долю страсти; что же касается тщеславия, оно было удовлетворено, потому что „весь Париж“ сплетничал об этой победе. Своему приятелю Фонтане Сент-Бев говорил, что Виктор Гюго, жалкий человек, из ревности держит свою жену взаперти и довел ее до болезни. Ламенне, пригласившему его съездить с ним вместе в Рим, он ответил: „С превеликой радостью поехал бы, но непреодолимые и давно уже возникшие причины удерживают меня здесь“. Аббату Барбу он сообщил: „Я испытал наконец страсть, которую смутно предвидел и желал изведать; она длится, она утвердилась прочно, и это породило в моей жизни много необходимых потребностей, горечь, перемешанную с чувством сладким, и обязанность приносить жертву, которая окажет благое действие, но дорого стоит нашей природе...“

А как же Виктор Гюго? Невозможно предположить,

[1] Сент-Бев. Книга любви. Пер. М. Донского.

что до него не доходили слухи. Он говорил своим друзьям, что собирается совершить путешествие по Италии, Сицилии, Египту и Испании. Разве пришла бы ему мысль уехать из Франции одному, да еще на целый год, не будь он очень несчастным? А как он мог не чувствовать себя несчастным? Он любил. Он поставил всю свою жизнь на карту; три года он боролся, чтобы завоевать эту женщину; восемь лет он жил в иллюзии, что Адель полна благоговейного преклонения перед ним. Он воображал, что они составляют идеальную супружескую чету, связанную любовью романтической, чувственной и чистой. Поглощенный своим творчеством и битвами романтиков, он не догадывался, что рядом с ним — разочарованное сердце. Пробуждение было ужасным. „Горе тому, кто любит безответно! Ах, ужасное положение! Взгляните на эту женщину. Какое очаровательное существо! Кроткое, беленькое личико, наивный взгляд; она — радость и любовь дома твоего. Но она тебя не любит. У нее нет и ненависти к тебе. Она не любит, вот и все. Исследуй, если посмеешь, глубину такой безнадежности. Смотри на эту женщину — она не понимает тебя. Говори с ней — она тебя не слышит. Все твои мысли, полные любви, летят к ней, она ничего не замечает, предоставляет им улетать, — не отгоняет их, но и не удерживает. Скала среди океана не более бесстрастна, не более недвижна, чем бесчувственность, утвердившаяся в ее сердце. Ты любишь ее. Увы! Ты погиб! Я никогда не читал ничего более леденящего и более ужасного, чем вот эти слова в Библии: „*Тупая и бесчувственная, как голубка...*“ С ума можно было сойти. Но поэт способен совершить таинственное превращение — обратить свою скорбь в песнопения. В ноябре 1831 года вышли из печати „Осенние листья“.

Этот сборник бесконечно выше „Од и баллад“ и „Восточных мотивов“. Сент-Бев, плохой гость, был хорошим учителем. Пройдя через тигель волшебника, интимная лирика Жозефа Делорма достигла совершенства формы, не утратив „чего-то жалостного“. В предисловии к сборнику автор говорил: „Юноше эти стихи говорят о любви; отцу — о семье; старцу — о прошлом“. Тем самым они бессмертны, ведь „всегда будут дети, матери, девушки, старики — словом, люди, которые будут любить, радоваться, страдать... Здесь нет поэзии бурной, шумной — эти стихи исполнены спокойствия, ясности, стихи, какие все пишут или хотят писать, стих о семье, о домашнем

очаге, о личной жизни; поэзия сокровенного мира души. Здесь автор бросает с тихой грустью взгляд на то, что есть, а главное, на то, что было...“[1]

Чувствовать как все и выражать эти чувства лучше всех, — вот чего хотел теперь Гюго. И ему это удалось. В „Осенних листьях“ читатели нашли чудесные стихи о детях, каких еще никто не писал, стихи о милосердии, о семье. Некоторые из них, например, „Когда рождается ребенок...“ или „Скорей давайте, богачи, ведь подаяние — сестра молитвы...“, все знают наизусть. И это несколько притупляет силу впечатления, но, как те статуи святых, которые отполированы поцелуями верующих, они стерлись лишь потому, что были почитаемы. Тихая грусть, которой запечатлен весь этот сборник, поразила и растрогала читателей 1831 года. Да, действительно, это осенние листья, увядшие листья, готовые упасть; верно названы эти стихи, полные разочарования, строфы, в которых поэт плачет над самим собою: „*Один за другим улетают прекрасные годы. Один уносит радость с собою, а другой уносит любовь...*“ „Да что ж это! — думали читатели. — Ему еще нет и тридцати, а какие мрачные у него мысли!“

Сегодняшний закат окутан облаками,
И завтра быть грозе. И снова вечер, ночь;
Потом опять заря с прозрачными парами,
И снова ночи, — дни — уходит время прочь[2].

Религиозные верования, которые несколько лет были для него поддержкой, теперь поколеблены зрелищем того, что происходит в мире. Поднявшись на гору, поэт предается размышлениям:

Я вопрошал себя о смысле бытия,
О цели и пути всего, что вижу я,
О будущем души, о благе жизни бренной.
И я постичь хотел, зачем творец вселенной
Так нераздельно слил, отняв у нас покой,
Природы вечный гимн и вопль души людской[3].

Только детская вера его дочери Леопольдины еще связывает отца с его былыми настроениями, и для этой

[1] Гюго В. Предисловие к сборнику „Осенние листья“. — Собр. соч., т. 14, с. 160.

[2] Гюго В. Закаты („Осенние листья“). Пер. В. Иванова. — Собр. соч., т. 1, с. 456.

[3] Гюго В. Что слышится в горах („Осенние листья“). Пер. В. Левика. — Собр. соч., т. 1, с. 430.

серьезной девочки с худеньким личиком он пишет стихотворение „Молитва за всех“:

О нет, не мне, мой ангел милый,
Молиться за других людей,
За тех, чей дух ослаб унылый,
За тех, кто хладной взят могилой —
Опорой многих алтарей!

Не мне, в ком веры слишком мало,
О человечестве скорбя,
За всех молиться! Пусть сначала
Хотя бы рвения достало
Мне помолиться за себя[2]..

Осенние листья, преждевременно осень пришла. Душа живущего меняется. „В путь двинувшись, блуждает человек, сомнения охватывают ум. Все что-нибудь да оставляют на придорожных терниях: стада животных — клочья шерсти, а человек — обрывки добродетели“. Никто лучше Сент-Бева не сказал о волнующей красоте и болезненном скептицизме этих стихов: „Смелая доверчивость юности, пламенная вера, девственная молитва стоической и христианской души, поклонение одному-единственному кумиру, таинственно сокрытому плотной завесой, легкие слезы, твердые речи, врезавшиеся в память, как четкий контур, как энергичный профиль отважного подростка, — все это сменилось горьким и правдивым признанием крушения своей жизни, невыразимой грустью прощания с быстролетной молодостью, с ее волшебными дарами, которых уже ничто не возместит; вместо любви к женщине теперь любовь отца к своим детям; новые радости, которые дарят ему эти шумные создания, играющие, бегающие перед ним, но и омрачающие тенью заботы отцовское чело и унынием его душу; слезы... теперь уже почти невозможно молиться за себя, трудно на это осмелиться, да и веришь в бога очень смутно; головокружительные мечты, но стоит предаться им, перед тобой разверзается пропасть; темнеет горизонт, пока ты поднимаешься в гору; сдали силы, и ты смиренно поникаешь головой, словно признаешь, что судьба тебя победила; торопливо бегут слова, их много, много, как будто срываются они с уст сидящего у огня старца, рассказывающего о своей жизни, между тем в тональности стихов, в ритмах столько разнообразия, столько прелести, столько искусства, четкости и мужественной силы, и сквозь слова

[2] Пер. М. Донского.

слышны быстрые аккорды, как будто пальцы по привычке пробегают по струнам, но звуки эти не искажают глубокого и строгого основного тона сетований".

Сент-Бев знал тайную причину этих упорных, монотонных сетований и удивлялся, а быть может, завидовал, видя, что поэт приемлет и тоску и сомнения с мрачным и возвышенным философским спокойствием. „О какой странной душевной силе это свидетельствует", — говорил он. „Нечто подобное можно найти в мудрости царя иудейского". Он прав. В этом спокойствии, без надежды и без возмущения, есть некоторое сходство с величавой тоской Екклезиаста. Но у Гюго основой смирения был поэтический гений. Как небесные аккорды „Реквиема" поднимают человеческие души над скорбью, подчиняя погребальные вопли музыкальной гармонии и чистоте, так и Виктор Гюго, утратив великое счастье любви и великую радость дружбы, преодолел горечь, излив ее в стихах совершенной и вместе с тем простой формы. Не менее удивительно и то, что Сент-Бев сумел преодолеть свою злобу и признал совершенство прекрасного произведения искусства. В этих печальных стихах грусть об умершей дружбе, о любви, тронутой тлением, и светлое сознание, что краски осени еще богаче, чем краски весны, и что искусство, подобно природе, обращает изменчивое в вечное.

На экземпляре „Осенних листьев", подаренном Сент-Беву, Гюго написал: „Верному и доброму другу, несмотря на дни молчания, которые, подобно непреодолимым рекам, разделяют нас".

Часть пятая

Любовь и печаль Олимпио

I

Королевская площадь

Ненависть низвергается на меня потоком...

Виктор Гюго

В 1832 году Виктору Гюго было только тридцать лет, но постоянная борьба и горести уже сказались на нем. И стан, и лицо его отяжелели. Куда девалась ангельская прелесть, которой он всех пленял в восемнадцать лет, и победоносный вид, отличавший его в первые дни брака! Облик стал более царственным, чем воинственным; взгляд зачастую был задумчивым, обращенным внутрь; но нередко к поэту возвращалась веселость и очаровательное выражение жизнерадостности. Гюго однажды написал, что у него не одно, а целых четыре „я": *Олимпио* — лира; *Герман* — любовник; *Малья* — смех; *Гьерро* — битва. И конечно, он любил битвы, однако ему нужно было чувствовать поддержку. Но где найдешь верных друзей? Сент-Бев наблюдал и подстерегал. Ламартин всегда держался несколько отчужденно, и к тому же с 1832 по 1834 год он путешествовал на Востоке. В кружке романтиков чувствовали, что Гюго превзошел их всех, и это вызвало там горечь. Сент-Вальри и Гаспар де Понс, так радушно принимавшие у себя Гюго в дни его юности и нищеты, жаловались, что он пожертвовал ими ради новых друзей. Альфред де Виньи, которого Сент-Бев и Гюго иронически называли „джентльмен", плохо переносил успехи поэта, который прежде был для него „дорогим Виктором". Когда „Ревю де Де Монд", говоря о Гюго, написал: „Драма, роман, поэзия — нынче все зависит от этого писателя", — „дорогой Альфред" возмутился и потребовал, чтобы внесли поправку в это утверждение. Сент-Бев поклялся тогда Гюго, что в своих статьях он больше ни разу не упомянет об Альфреде де Виньи, — обещание это он, ко-

нечно, не сдержал, да и не следовало ему давать такое обещание.

Итак, друзья отходят от Гюго, зато врагов у него хоть отбавляй. Гюстав Планш, когда-то настроенный дружески, теперь пишет о нем враждебно; ополчились против него и Низар и Жанен. Можно этому удивляться, ведь Гюго всегда был добросовестным, честным писателем и услужливым собратом. Но за последние годы его успех перешел все границы, и самолюбие соперников не могло этого перенести. В ту пору, когда Байрона уже несколько лет не было в живых, когда Гете и Вальтер Скотт были на пороге смерти, а Шатобриан и Ламартин умолкли, Гюго с появлением его „Эрнани", „Собора Парижской богоматери" и „Осенних листьев", бесспорно, был первым писателем во всем мире; это не доставляло другим удовольствия. „Всякая поэзия, — писал Поль Бурже, — казалась тогда бесцветной по сравнению с его поэзией. И в прозе и в стихах его фраза отличается „смелыми гранями", симметрией бриллианта. До него литературный язык был плоским, он сделал его рельефным, прибегая к выпуклым словам, к резким контрастам света и тени. Но он уж слишком хорошо это знал. Пышным цветом расцвела его гордость, уверенность в своих силах. У него появляется что-то вроде „сознания своей божественной миссии", он чтит в самом себе „живой храм".

В предисловии к „Марион Делорм" он посмеялся над теми, кто говорил, что времена гениев прошли: „Не слушайте их, юноша! Если бы кто-нибудь сказал в конце XVIII века, что Карлы Великие еще возможны, то все скептики того времени... пожали бы плечами и рассмеялись. И что ж! В начале XIX века были Империя и император. Почему же теперь не появился бы поэт, который по сравнению с Шекспиром был бы тем же, кем является Наполеон по сравнению с Карлом Великим..."[1] Легко угадать, о каком поэте он тут думал и имел право думать, но современники осуждали эту гордыню. Молодой почитатель Гюго, Антуа Фонтане, удивился, когда тот сказал, что если бы он узнал, что ему нечего и стремиться первенствовать, дабы подняться выше всех, то он завтра же пошел бы в нотариусы. Мысль тут та же, что и в юношеской его записи: „Я хочу быть Шатобрианом или ничем", но в пятнадцать лет он это записал в потайной своей тетрадке, теперь же говорил это на площа-

[1] Гюго В. Марион Делорм, предисловие. — Собр. соч., т. 3, с. 7.

ди, где такие фразы берут на заметку и разносят повсюду.

„Я этого завистника принимал за друга. А он питал ко мне ненависть, проистекавшую из прежней нашей близости, и, следовательно, был вооружен с головы до ног...“ История с Сент-Бевом весьма своеобразна. В плане литературных отношений он официально оставался союзником Гюго, хотя с некоторыми оговорками; в жизни он предал друга и в свое оправдание ссылался на страсть к его жене. Он больше не бывал в доме, только справлялся, как обстоят дела в „дорогом семействе“, — так это было, например, весной 1832 года, когда маленький Шарль заболел холерой — как считали тогда. Но тайком он встречался с Аделью.

Сент-Бев — госпоже Гюго: „Дорогая моя Адель, как вы были вчера добры и прекрасны! Полчаса, которые мы провели в уголке часовни, оставят во мне вечное и сладостное воспоминание. Друг мой, я не был в этой часовне четырнадцать лет, да, четырнадцать лет тому назад я туда зашел, полный глубокого и умиленного волнения: я был в ту пору очень верующим; как раз в тот год я приехал в Париж... Ах, друг мой, эти четырнадцать лет не пропали зря, — я вновь пришел туда, сидел чуть ли не на том же месте, чуть ли не у той же колонны, все еще сердце мое полно умиления и веры, и я так нежно теперь любим...“

Ведь он продолжал в угоду чувствам Адели и по своей природной склонности украшать адюльтер туманным мистицизмом. Эта любовная интрига стала сюжетом его романа „Сладострастие“, и, чтобы его написать, он читал нравоучительные произведения. Гюго строго следил за своей женой, но наступательная тактика всегда торжествует над обороной. И у Сент-Бева в „Книге любви“ мы читаем такие строки:

Пускай ревнивец бдит, как злобный и угрюмый,
Подстерегающий свою добычу тать;
Я терпеливее, и я дождусь победы,
Хоть месяцы, года мне доведется ждать,
Тебе же — с ним сносить и горести и беды[1].

Принимал ли Сент-Бев уже в том году Адель у себя дома или только в следующем? Неизвестно. Хотя официально числилось, что он проживает в квартире матери — сначала на улице Нотр-Дам-де-Шан, а потом на улице

[1] Пер. И. Шафаренко.

Монпарнас, — он, спасаясь от службы в Национальной гвардии и желая быть более свободным, жил в Коммерческом проезде, в жалкой гостинице, именовавшейся отель „Руан“, снимал там под чужим именем каморку за двадцать три франка в месяц.

Лето супруги Гюго, как в прошлом году, провели в замке де Рош. Мадемуазель Луиза Бертен музицировала, пела романсы „*Никогда в сих прекрасных краях...*“ или „*Феб, твой час настал*“; из „Собора Парижской богоматери“ она почерпнула сюжет для оперы „Эсмеральда“, требовала от Гюго, чтобы он сочинил стишки для ее произведения. Дидина, кроткая, прилежная и веселая девочка, радовала родителей и очаровывала хозяев усадьбы. Кругом был светлый рай: „Не слышно шума городского, не слышно голосов людей...“ Эта тишина была приятна поэту, — он тогда избегал людей „по склонности к одиночеству и по меланхолическому складу характера“. А как же Адель? „Моя жена, — писал Гюго, — ходит пешком по два лье в день и заметно полнеет...“ Женщина, которая ходит по восьми километров в день и чувствует себя прекрасно, конечно, совершает эти путешествия по каким-нибудь сентиментальным причинам. Возможно, что эти благодетельные прогулки приводили Адель в маленькую церковь деревни Бьевры, где она встречалась с Сент-Бевом.

В статье об „Интимном романе“ Сент-Бев писал: „Каждая женщина, созданная для любви, способна полюбить второй раз, если первая любовь пришла к ней очень рано. Первая любовь, любовь восемнадцатилетней девушки, если даже предположить, что чувство это было очень горячим и развивалось при самых благоприятных обстоятельствах, никогда не длится до двадцати четырех лет, а затем наступает перерыв, сердце погружается в сон, в течение которого подготовляются новые страсти...“ Урок для Адели. Однако Сент-Бев продолжал печатать лестные для Гюго статьи, переписывался с ним по поводу протеста против правительства, когда оно объявило военное положение, и в конце письма ставил: „любящий вас“. Гюго же подписывался „ваш брат Виктор“. Оба хорошо знали истинную цену этой разменной монеты дружбы.

В октябре 1832 года супруги опять сменили местожительство. В июле они сняли большую квартиру на третьем этаже дома № 6 на Королевской площади, в старинном особняке, построенном в 1604 году; окна выходили на площадь, одну из красивейших в Париже: вокруг пло-

щади зелень, дома из розового кирпича, с мансардами и высокими шиферными кровлями. Квартирная плата оказалась высокой — полторы тысячи франков, но комнаты были огромные, и когда Гюго, всегда обожавший старинные вещи, обил в ней стены красным штофом, поставил мебель готического стиля или эпохи Возрождения, украсил эти покои старинными потрескавшимися вазами и тарелками, венецианскими люстрами и картинами своих любимых художников, они впрямь приняли королевский вид.

На следующий год, летом, супруги Гюго устроили прием, пригласив на него и друзей и недругов (зачастую сочетавшихся в одном и том же лице); ярко освещенные гостиные, где в амбразурах раскрытых окон смеялись красивые молодые дамы с обнаженными плечами, представляли восхитительное зрелище. Салон на Королевской площади затмил салон Арсенала. Адель Гюго, гордая и эффектная красавица, умела принять лучше, чем добродушная госпожа Нодье, и блеском своих очей возмещала скудость угощения. Гостям „полагалось жаждать духовных услад, позабыв о пище телесной“. Что поделаешь? У Гюго было на иждивении девять человек, он тратил пятьсот франков в месяц только на стол для семьи; кроме того, стараясь облегчить судьбу Эжена, он платил за его содержание, а ведь только своим пером он мог добывать средства на жизнь. Что касается Сент-Бева, то, при всей своей бедности, он, как только Гюго переселился на Королевскую площадь, снял неподалеку оттуда новую комнату в гостинице „Сен-Поль“. Адель могла, не утомляясь, ходить туда пешком.

Хотя и площадь и апартаменты имели барский вид, они находились в центре простонародного района. „Мы бедные мастеровые из предместья Сент-Антуан“, — любил говорить Гюго. Что это? Поза? Может быть, но также и сознательная позиция. Изведав бедность, он понимал и жалел тех, кто страдал из-за нее. Успех не заглушил в нем совести. В 1828 году он опубликовал „Последний день приговоренного“, в 1832 году напечатан был рассказ „Клод Ге“. Та же тема — несправедливая кара. Те же нападки на законы общества, где царят богатые и власть имущие. Воспоминания о преследуемых, встреченных им в детстве, не забывались; он мечтал написать большой роман об „отщепенцах“, особенно о каком-нибудь преступнике, гонимом служителями законов, которого, однако, по справедливости, можно оправдать. Уже и

тогда он обдумывал образ благородного епископа и делал заметки о монсеньоре Миолисе, епископе диньском, святом человеке. Ему хотелось поднимать социальные вопросы в своих произведениях, стать защитником бедняков. Странно, что вместе с тем он стремился составить себе состояние и крепко торговался с книгоиздателями при заключении договоров. Но так ли уж это странно? Ему нужны были деньги, чтобы обеспечить будущее четверых своих детей. Былая нищета научила его весьма тщательно вести свои счета. Впрочем, он все делал на редкость тщательно. Антуана Фонтане, присутствовавшего при том, как он совершает свой туалет, раздражала его манера бриться: „Посмотрели бы вы, с какой невероятной медлительностью он точит бритву, потом четверть часа держит ее под мышкой, чтобы она согрелась, потом приступает к омовению розовой водой и выливает себе на голову целый кувшин..."

Для литератора кратчайшим путем к богатству был, как тогда полагали, — театр. Пьеса, выдержавшая пятьдесят представлений с кассовым сбором в две тысячи франков, „давала" сто тысяч франков, из коих автору — двенадцать тысяч, да еще пять тысяч он получал при ее напечатании (пятнадцать тысяч франков за три первых издания „Эрнани"). „Собор Парижской богоматери" принес Гюго только четверть этой суммы. С другой стороны, Гюго знал, что театр может и должен оказывать моральное и политическое влияние: „Театр — это трибуна. Театр — это кафедра". Любимым сюжетом драмы была для Гюго защита от угнетателей какого-нибудь преследуемого, гонимого человека. Сказывались смутные воспоминания детства. А среди всех причин, ставивших человека вне общества, самой несправедливой Гюго считал ту, которая проистекает уже из факта его рождения (Дидье, герой пьесы „Марион Делорм", — незаконнорожденный) или из его физического уродства (таким он изобразил горбуна Трибуле в драме „Король забавляется"). Замысел этой пьесы возник у Гюго в Блуа. Трибуле, шут короля Франциска I, родился в доме, находящемся недалеко от особняка генерала Гюго. О существовании этого шута Виктор Гюго узнал из „Истории Блуа", которую нашел в отцовском доме; он не оставил ничего из подлинных его приключений, но, сделав Франциска I центром пьесы, создал мелодраму, в которой шут Трибуле, исполнявший обязанности сводника при распутном короле, оказался наказанным, ибо августейший повеса осквернил его отцов-

скую любовь. Интригу пьесы, сотканную из невероятных совпадений, скрашивали действительно драматические эффекты, патетические тирады и вкрапленные кое-где черточки яркого комизма. Сент-Бев, присутствовавший при читке пьесы во Французской Комедии, сделал кисло-сладкое замечание, что у него „есть свое особое мнение об этом виде драмы и степени ее жизненной правды, но пьеса, несомненно, произведет впечатление, ибо в ней проявлен огромный талант и она блещет прекрасными стихами..." А в своей тайной записной книжке он говорит: „Гюго некогда создал такую высокомерную фразеологию, что она подняла его ввысь, точно воздушный шар. Сперва он попал в плен к своей высокопарности, был жертвой своей риторики, а теперь она стала искренней".

Премьера драмы „Король забавляется" состоялась 22 ноября. Хотя вольнолюбцы и „Молодая Франция", все помощники Теофиля Готье, все помощники Деверна были на посту, публика довольно холодно принимала пьесу. Однако тирада Сен-Валье обеспечила успех первому акту, в амфитеатре уже топали ногами и пели: „Академия мертва — миронтон-тон-тон миронтен..." Но конец второго акта, где шут помогает придворным похитить его дочь, полунагую Бланш, позволил зрителям в ложах, возмущенным нападкам на Коссе, на Монморанси и другие аристократические фамилии, завопить о безнравственности. „Ваши матери в постелях с конюхами полежали, и все вы подзаборники!" — кричал им Трибуле. Это высшему свету не понравилось. Когда занавес опустился в последний раз, поднялась такая буря, что актеру Лижье с трудом удалось объявить с просцениума имя автора. На следующий день министр, граф д'Аргу, „учитывая, что во многих пассажах оскорбляется нравственность", запретил пьесу к дальнейшей постановке и к опубликованию. Истинной причиной запрещения было то, что королевский двор не пожелал допустить, чтобы монархию, хотя бы монархию времен Франциска I, бичевали на сцене.

Виктор Гюго подал жалобу в суд, его энергично поддерживал Эжен Рандюэль, заключивший с ним договор на издание пьесы.

Виктор Гюго — Эжену Рандюэлю: „Я полагаю, дорогой мой издатель, что для вас, для меня, для откликов на книгу и на судебный процесс важно, чтобы накануне его обо всем этом деле было широко оповещено в газетах. Посылаю вам семь маленьких заметок и очень прошу воспользоваться всем вашим влиянием для того, чтобы

завтра они появились в семи различных газетах оппозиции..." Среди прочих талантов у Гюго была способность обращать всякую немилость на пользу своей известности. В дневнике Антуана Фонтане записано: „Пьеса „Король забавляется" запрещена правительством. Вот-то оказали Виктору услугу! Иду сейчас к нему. Он хорошо играет свою роль: у него, мол, утащили из кармана двадцать тысяч франков..."

Коммерческий суд объявил себя неправомочным. Истец на заседании произнес страстную речь, обвиняя правительство Луи-Филиппа в том, что оно жульническим способом отнимает одно за другим те права, которые были дарованы после Июльской революции. Наполеон, говорят нам, тоже не чтил гражданских свобод. Конечно, но он делал это не по-воровски. „У льва, — заявил Гюго, — нет лисьих повадок. В те времена у нас отнимали свободу, — это верно, но разворачивали перед нами великолепное зрелище... Тогда существовало управление цензуры, наши пьесы снимали с афиш, но на все наши жалобы нам могли ответить: „Маренго! Иена! Аустерлиц..."[1] Надо вспомнить, что истец переписывался тогда с Жозефом Бонапартом и говорил ему в письмах, что, если бы герцог Рейхштадтский гарантировал гражданские свободы, у него не было бы более верной поддержки, чем Виктор Гюго.

II

Княгиня Негрони

Гюго обладал чем-то вроде евангельского милосердия, заставлявшего его умиляться над тем, что ему открывала Жюльетта из своего прошлого... Он был в этом смысле предшественником толстовских взглядов.

Пьер Левьер

Сын генерала Гюго никогда не боялся битв. Запрещение драмы „Король забавляется" не только не сразило его, но вызвало у него желание немедленно взять верх. У него уже была готова трехактная пьеса в прозе „Ужин в Ферраре", сюжет которой был навеян чтением „*Поэтической Галлии*" Маршанжи. Там он почерпнул мысль

---

[1] Гюго В. Заметки о „Марион Делорм".

изобразить веселое пиршество знатных сеньоров, которые ужинают у своего врага, решившего их умертвить, и нарисовать, как с последней переменой блюд входят монахи, чтобы принять предсмертную исповедь пирующих. Ужас, ворвавшийся в дверь пиршественного зала, мольбы умирающих, сменившие разгульные песни бражников, черное и белое — эти контрасты увлекали его. Не раз в своей жизни (полиция, арестовавшая Лагори за столом; буйное сумасшествие Эжена за свадебным обедом) он слышал грозные шаги командора. Он переделал по-своему историю, рассказанную Маршанжи, и героиней ее стала у него Лукреция Борджа. Нарисовать эту женщину со всеми ее пороками, а затем простить за ее материнскую любовь, как он возвысил образ Трибуле отцовской любовью, — такая задача вполне могла его пленить, и драма была написана в течение двух недель. Откровенно говоря, в авторском замысле не было новизны. „Марион Делорм", „Король забавляется", „Лукреция Борджа" — это три урожая с одного посева, перепевы одного сюжета: всепоглощающее великое чувство спасает человека, погибшего, погрязшего в пороках. Драмы Гюго не стоят его лирической поэзии. Но у сцены своя, особая эстетика; в те годы мелодрама торжествовала над трагедией, и было естественно, что „Лукрецию Борджа" поставили в том самом театре, где создана была „Нельская башня".

Это был театр Порт-Сен-Мартен; у директора театра Гареля состояла возлюбленной мадемуазель Жорж, знаменитая актриса, перебежчица, изменившая Французской Комедии, окруженная ореолом воспоминаний о наполеоновской Империи (она была любовницей Наполеона); она уже приближалась к пятидесяти годам, но жаждала ролей любовниц и была еще способна играть их как на сцене, так и в жизни. Виктор Гюго прочел свою пьесу сначала для мадемуазель Жорж у нее в доме, затем в фойе театра Порт-Сен-Мартен для Фредерика Леметра. На этой второй читке присутствовала молодая и красивая актриса Жюльетта Друэ, очень желавшая получить маленькую роль княгини Негрони. „В пьесах господина Виктора Гюго маленьких ролей не бывает", — писала она Гарелю. Гюго не был с ней знаком, только видел ее мельком на балу в мае 1832 года — „белоснежную, черноокую, молодую, высокую, пленительную", сверкающую драгоценностями, одну из самых блестящих красавиц Парижа. Он не осмелился тогда с ней заговорить:

Она, восторгов дань приемля величаво,
Бросая в жар сердца, дурманя и пьяня,
Казалась птицею, возникшей из огня...

Ты подойти не смел — страшится искры порох!
Но ты следил за ней, скрывая страсть во взорах[1].

Во время читки он несколько раз встречал ее взгляд, угадывал в нем симпатию и влечение; на сердце у него было тогда одиноко и грустно; сразу же они были очарованы друг другом. Он много говорил о ней, расспрашивал, и вот что ему сообщили. Мадемуазель Жюльетте двадцать шесть лет. Она родилась в 1806 году в Фужере, ее отец — Жюльен Говэн — был портным, в 1793 году он скрывался, ушел в банду шуанов. Жюльетта (настоящее ее имя — Жюльенна) осталась сиротой еще в младенчестве и была доверена заботам ее дяди, подпрапорщика Рене Друэ, канонира береговой артиллерии в Бретани. Этот славный человек не приневоливал ее учиться в школе, она росла дичком, обрывала свои платья в зарослях кустарника, но в десятилетнем возрасте он поместил ее в Париж, в пансион при монастыре бенедиктинок общины Вечного поклонения, где у него были две родственницы. В пансионе Жюльетта была любимицей монахинь, ее очень баловали, но дали хорошее воспитание. По юношеской неосторожности она уже готова была произнести монашеский обет, если бы не вмешательство весьма мудрого архиепископа парижского монсеньора де Колен, который заметил однажды при посещении монастыря эту миловидную девицу, расспросил ее и, убедившись, что она не создана для монастырской жизни, освободил ее.

Ее поразительная красота — „роковой дар богов“, поразительная стройность привели ее в 1825 году, в возрасте девятнадцати лет, путями, оставшимися неизвестными, в мастерскую скульптора Джеймса Прадье. Когда Жюльетта познакомилась с ним, ему было тридцать шесть лет. Он происходил из семьи женевских гугенотов, но по условиям своей профессии и по природным наклонностям стал романтическим повесой с пронзительным взглядом темных глаз, длинными волосами до плеч; одевался он крикливо: камзол, сапоги с кисточкой, облегающие панталоны, мушкетерский плащ. В его мастерской

---

[1] Гюго В. К Ол... („Внутренние голоса“). Пер. В. Левика. — Собр. соч., т. 1, с. 515.

одни фехтовали, другие играли на фортепьяно. Он был человек не злой, но чувственный и ветреный. Жюльетта позировала ему для обнаженных статуй, в более чем смелых позах, и между двумя сеансами он сделал ее матерью; родившуюся дочку Клер он не признал официально, но никогда и не отрекался от нее. В 1827 году он был принят в Академию, стал мечтать о выгодной женитьбе, а Жюльетту пристроил в театр, давал ей довольно умные советы в области артистического искусства и другие, житейские, весьма трезвые, по части искусства обольщать и удерживать при себе поклонников. „Мои советы никогда не будут продиктованы страстью, и потому можно считать их бескорыстными. Дружба, которую я подарил тебе, не угаснет в моем сердце, пока ты будешь ее *достойна...*"

Жюльетта играла в Брюсселе, а затем и в Париже маленькие роли и имела успех, которым обязана была больше своей красоте, чем сценическому таланту. У нее не было артистической подготовки, не было опыта, и, как она писала Прадье, она „получала не ангажементы, а только квитанции из ломбарда на заложенные ею вещи". Она много плакала и боялась, что не сделает карьеры. „Черт побери! — отвечал ей Прадье. — Перестань хныкать... Считай себя примадонной, и ты ею будешь... Старайся нравиться, особенно актрисам, ибо они отъявленные дьяволицы во всех странах... Разыгрывай комедию даже вне театра". Подписывался он так: „Твой преданный друг, любовник и отец".

Цинизм, царивший в мастерских художников, развратил Жюльетту, и она заводила себе любовников, которые, однако, не улучшили ее мнения о мужчинах; был среди них красивый итальянец пятидесяти трех лет Бартоломео Пинелли; был бедняк декоратор Шарль Сешан; был бессовестный журналист Альфонс Карр, который пообещал на ней жениться и занял у нее денег; и наконец, появился богатейший князь Анатолий Демидов, красивый, бешеный сумасброд, не расстававшийся с хлыстом; в 1833 году этот покровитель Жюльетты роскошно обставил для нее великолепные апартаменты на улице Эшикье. Словом, Жюльетта повела жизнь куртизанки, и все же она сохранила свежесть чувств, бретонскую склонность к мечтаниям, страстную любовь к дочери, кроткий взгляд бархатных глаз, „в котором минутами сквозила ее небесная душа", веселость и очаровательное остроумие.

Позднее Виктор Гюго начертал в записной книжке

Жюльетты: „В тот день, когда твой взгляд впервые встретился с моим взглядом, солнечный луч протянулся из твоего сердца в мое, словно свет зари, упавший на руины". По правде сказать, каждый из них, сам того не ведая, увидел в другом существо, потерпевшее крушение. Потеряв Адель, Гюго испытывал потребность в новой любви, которая вернула бы ему веру в себя; Жюльетта изведала только чувственность, а между тем она с шестнадцати лет мечтала стать „страстно любящей подругой честного человека". Когда Альфонс Карр, распутный любовник Жюльетты, вздумал таскать ее с собою в злачные места, она ответила ему: „Мне кажется, что мою душу обуревают желания не меньшие, а в тысячу раз более пылкие, чем желания плотские... Вы дарите мне утехи, за которыми следуют усталость и стыд. А я, наоборот, мечтаю о спокойном, ровном счастье. Послушайте, гордость не позволяет мне лгать; я вас оставлю, брошу вас, покину и землю и жизнь, если найду человека, чья душа будет ласкать мою душу, — так же как вы любите и ласкаете мое тело..."

Во время репетиций „Лукреции Борджа" она грациозно заигрывала и кокетничала с Гюго. Он держался настороже. Всегда ли он хранил супружескую верность? Неизвестно; но занятая им позиция, его поэзия, воспевавшая радости брака и отцовства, требовали от него верности. Он терпеть не мог „закулисных дрязг", опасался актрис и держал себя с ними „почтительно и осторожно". Помня бурные стычки на спектакле „Король забавляется", он подготовил премьеру „Лукреции" с тщательностью искусного полководца. На читку пьесы были созваны „представители боевых защитников „Эрнани". Премьера спектакля стала триумфом.

Успеху в значительной мере способствовали мадемуазель Жорж и Фредерик Леметр, но и Жюльетта Друэ, несмотря на ее мимолетное появление, очаровала публику. „Ей полагалось произнести лишь несколько слов, — говорит Теофиль Готье, — всего-навсего пройти по сцене. Но при этом кратком и немногословном выходе она сумела создать восхитительный образ, была настоящей итальянской княгиней с пленительной и смертоносной улыбкой..." Что касается автора, он с удовольствием прислушивался к мнению публики, ибо он и сам его разделял: „Какая она хорошенькая, какая красивая, какая стройная, какие великолепные плечи, очаровательный профиль, что за прелестная актриса, сколько в ней досто-

инства! Какая живость чувств! В ее голосе и в манерах есть сходство с госпожой Дорваль, но гораздо больше естественности и души. Прибавить ей еще год опытности — и она достигнет совершенства, будет нашей лучшей жанровой актрисой. Какая мимика, сколько души..."

Гюго ошибался не в суждении о красоте актрисы, — она и в самом деле была восхитительна, но относительно ее таланта. Жюльетта Друэ была неумелая актриса, потому что „переигрывала". Но любовь — плохой судья, а Гюго был влюблен. Вечер за вечером он ходил в театр Порт-Сен-Мартен полюбоваться в короткой сцене прекрасными черными глазами, всегда устремленными в его глаза. Соблазн был велик. Уже давно Адель упорно отвергала его ласки. Под маской молодого победителя он таил тайную и жгучую боль.

Печаль сидит во мне. Она,
Как скверный гость, меня терзает.
Я башня, что на вид сверкает,
Внутри — угрюма и темна [1].

Каждый вечер он навещал Жюльетту в ее артистической уборной, давал ей советы, упивался красотой, тянувшейся к нему. Через четыре дня после премьеры, 6 февраля, он сказал ей: „Я люблю тебя!" Она так ждала, так хотела услышать это. В ночь с 16 на 17 февраля, в субботу на масленицу (они всю жизнь думали, что это было во вторник, но ошибались либо в дате, либо в дне недели), автор и актриса должны были после „Лукреции Борджа" поехать в другой театр на бал. Но они решили провести эту ночь у Жюльетты, которая еще жила тогда на бульваре Сен-Дени, в ожидании того дня, когда будет готово ее „гнездышко" на улице Эшикье.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго: „Виктор, приезжай за мной нынче вечером к госпоже Крафт. Из любви к тебе наберусь терпения, буду ждать тебя. До свидания, до вечера. О-о! Сегодня вечером все свершится. Я отдамся тебе всецело..." Восемь лет спустя он напомнил ей этот день:

„Моя любимая, помнишь ты нашу первую ночь? То была карнавальная ночь, — во вторник на масленице 1833 года. В ту ночь давали в каком-то театре какой-то бал, на который мы должны были ехать оба. (Прерываю

---

[1] Гюго В. Мадемуазель Жюльетте („Песни сумерек"). Пер. Г. Кружкова.

свое послание, чтобы сорвать поцелуй с твоих прекрасных уст, и после этого продолжаю). Ничто, даже смерть, я уверен, не изгладит во мне это воспоминание. Все часы той ночи проходят в моей памяти, один за другим, словно звезды, пролетевшие перед глазами моей души. Да, ты должна была ехать на бал, но ты не поехала, и ты ждала меня. Бедный ангел мой. Как ты хороша и сколько в тебе любви! В твоей комнате стояла чудесная тишина. А за окнами Париж смеялся и пел, по улице с громкими криками проходили маскированные. Мы отдалились от всеобщего празднества и скрыли в темноте ночи собственный сладостный праздник. Париж упивался хмельной, поддельной радостью, а мы — настоящей. Никогда не забывай, мой ангел, тот таинственный час, который изменил твою жизнь. Ночь 17 февраля 1833 года была символом, образом великой и торжественной перемены, совершившейся в тебе. В эту ночь ты оставила где-то там, на улице, где-то далеко от себя сутолоку, шум, поддельное ликованье, толпу, чтобы вступить в мир тайны, уединения и любви“.

Виктор Гюго был опьянен. Адель, столь желанная когда-то, могла дать ему только боязливую покорность новобрачной; а тут вдруг у него появилась возлюбленная, прекрасная, как в сказке, „с глазами ясными и сверкающими, как алмазы, с чистым, светлым челом... ее шея, плечи и руки — поражают чисто античным совершенством линий; она достойна вдохновлять ваятелей и быть допущенной на соревнование красавиц вместе с молодыми афинянками, когда они сбрасывали с себя покровы перед Праксителем, замыслившим изваять Венеру...“ И эта женщина с „упругой бретонской грудью“, красотою тела не уступавшая самым прекрасным античным статуям, была так податлива, так искусна в любовных утехах. В эту „священную ночь“ она открыла тридцатилетнему поэту, что такое наслаждение, а ведь он был наделен чудесной способностью и вкушать и дарить его, и, вступив в брак двадцатилетним юношей, знал только супружеские объятия. Любовные ласки — искусство, так же как поэзия, Жюльетта была тут виртуозом.

Разговаривать с Жюльеттой было вторым очарованием. Ей было что рассказать — Бретань, детство босоногой школьницы, монастырь, нищета, и столько ей хотелось услышать от него. Жизнь Жюльетты была трудной и бурной, писатель узнавал из ее рассказов много любопытного. „Я из простонародья“, — гордо говорила она.

Однако у „барина Гюго“, несмотря на некоторое его тщеславие и наивные потуги на аристократизм, было горячее желание поближе узнать простой народ. А кроме того, поэт всегда чувствует потребность быть понятым. Стоило ему написать стихи для Жюльетты, она принимала их с радостью, куда более горячей, чем Адель. Супругу, по-видимому, не интересовали ни рукописи, ни черновики произведений Гюго. Жюльетта, „прирожденный коллекционер“, благоговейно сохраняла все. Она придавала острый вкус славе, которая сама по себе довольно пресна. Этим она и заслужила прекрасные дарственные надписи: на экземпляре восьмого издания „Восточных мотивов“ Гюго написал: „Тебе, моя красавица. Тебе, любовь, моя“. На экземпляре „Гана Исландца“, выпущенного четвертым изданием в мае 1833 года, стоят следующие стихотворные строки:

В своих мечтах пари, не слушай, не смотри,
Как за окном Париж бушует до зари;
Услышь мой вздох немой и мой напев услышь,
Пока ты мирно спишь, я здесь пою в тиши,
Все объяснит тебе легчайший вздох души,
А не горланящий Париж.

Для Гюго после года унизительных мук эта любовь была возрождением. Сначала ему было страшно завести себе любовницу, проводить у нее ночи, — ведь он был поэт домашнего очага и семьи. Потом он стал гордиться этой связью. Он говорил о своей победе всем и каждому, даже Сент-Беву, и тот насмешничал: „Гюго выставляет себя передо мной человеком, у которого только одни недостатки: слишком большое увлечение женщинами. Он заявляет, что нисколько не думает о славе. А ведь у нас, у каждого, всегда есть два недостатка: в одном мы признаемся, другой скрываем...“ Разумеется, весь Париж толковал об этом приключении и некоторые благочестивые друзья, например Виктор Пави, тревожились. Но Гюго хотелось верить, что такое большое счастье не может быть преступным.

Виктор Гюго — Виктору Пави: „Я никогда не совершал столько грехов, как в этом году, и никогда не был лучше, чем сейчас. Право, я стал гораздо лучше, чем во времена моей непорочности, о которой вы сожалеете. Прежде я был непорочен, зато теперь снисходителен к людям. Это большой прогресс, ей-богу. Рядом со мною — моя добрая, дорогая подруга, ангел, который это тоже знает, вы ее почитаете так же, как я, а она меня прощает и любит...“

Этим ангелом всепрощения оказалась Адель. По правде сказать, ангельское милосердие давалось ей легко. Как ей было не простить? Раз она не желала больше быть его женой, могла ли она требовать от мужа супружеской верности? К тому же семейная жизнь продолжалась. Дидина писала Луизе Бертен:

„Миленькая Луиза, как давно я тебя не видела!..Тетечка Жюли (Фуше) приехала из монастыря... Тото и Деде остригли... Жюли говорит, что она не любит узурпаторов; она ненавидит Луи-Филиппа". А грешник Гюго делает приписку: „Простите мне, мадемуазель Луиза, что я воспользовался пустым местечком, которое мне оставила Кукла... В несчастном нашем Париже по-прежнему очень скучно. Право, пожалеть можно о том лете, когда были бунты, и о том лете, когда была холера... Я целые дни роюсь в своем старом хламе, разыскиваю, из чего можно составить два тома „Литературной смеси" (весьма смешанной)... По вечерам мы с женой ходим прогуляться по берегу реки в сторону Рапе..." Идиллическая картина. Семейство в духе Греза.

Когда Адель, как и каждое лето, уехала с детьми в усадьбу Рош, в долину Бьевры отправился и Сент-Бев и бродил в окрестностях. „Раз благородный твой супруг похищен Фриной", — писал он в стихотворении, смело посвященном Адели:

Преображается и блещет все вокруг,
Красою новою сверкают лес и луг,
И разрослась для нас дубовая аллея, —
Для нас! Ведь стало вдруг в тюрьме твоей светлее,
Ведь он, ревнивец твой, обидчивый гордец,
Он сам в силки любви попался наконец!
Он что ни день, готов лететь к предмету страсти,
А той порою мы, ловя секунды счастья,
В соседний лес летим с неменьшей быстротой...[1]

Лишь только Гюго уезжал из Бьевры в Париж, Адель совершала пешие прогулки, встречалась на дороге с Сент-Бевом, который нанял на лето экипаж, и они были счастливы, насколько могли. Но их любовь с самой ее зари была сумеречной. „Она сливается, — писал Сент-Бев госпоже Гюго, — с тускнеющими, вечерними тонами света в тех церквах, куда мы с вами ходим... Любви этой привычна скорбь в самый разгар счастья. Я всегда был наделен малой способностью надеяться; я всегда чув-

[1] Сент-Бев. Книга любви. Пер. М. Ваксмахера.

ствовал отсутствие чего-либо, чувствовал помехи во всем решительно; мне всегда немножко недоставало солнца даже в погожую пору...“

Тем временем Виктор Гюго в Париже привел Жюльетту в квартиру на Королевской площади, и на следующий день она написала ему:

„Как было мило с вашей стороны, что вы открыли мне двери своего дома; право, это значит для меня гораздо больше, чем удовлетворенное любопытство, и я благодарю вас за то, что вы показали мне, где вы живете, где любите, где думаете. Но скажу вам откровенно, мой дорогой, мой обожаемый, что из этого посещения я вынесла чувство грусти и ужасной безнадежности. Теперь я гораздо больше, чем прежде, чувствую, как я разлучена с вами, до какой степени я для вас чужая. Вы в этом не виноваты, мой бедненький, любимый мой; и я тоже не виновата; но уж так получилось; было бы бессмысленно приписывать вам больше причастности к моим бедам, чем это есть на самом деле, но я могу и без этого сказать, дорогой мой, что считаю себя самой ничтожной женщиной. Если вам хоть немного жаль меня, помогите мне выйти из того унизительного положения, в котором я нахожусь. Помогите мне подняться, ведь поза коленопреклоненной рабыни мучительна и для души и для тела. Помогите мне выпрямиться, мой дорогой ангел, мне так хочется верить в вас и в будущее! Прошу вас, прошу вас“.

Искреннее самоуничижение. На свою беду, Жюльетта была куртизанкой и, видя в мужчинах только цинизм и животное чувство, считала в простоте душевной вполне естественным требовать хотя бы роскоши от какого-нибудь князя Демидова и ему подобных. Но вот она полюбила требовательного повелителя, презиравшего всякую продажность, не допускавшего и мысли о дележе и так страдавшего из-за своей ревности, что он должен был искать уверенности. Он любил Жюльетту любовью, „полной, глубокой, нежной, пламенной, неистощимой“, и поэтому хотел, чтоб она была не только красива, но и чиста. А у нее было только одно средство существования — богатые покровители; в театре она зарабатывала очень мало, на иждивении у нее была дочь Клер. При всей своей любви, она не могла решиться перевернуть свою жизнь. Она только что переехала в прекрасную квартиру на улице Эшикье; несомненно, она продолжала принимать у себя того, кто окружил ее роскошью, — дикаря

Демидова и его приятелей. Но за это Виктор Гюго обращался с нею не лучше, чем Дидье с Марион Делорм, считал ее падшей женщиной. Бальзак посмеялся бы над ним. Но Гюго словно переживал в жизни одну из написанных им драм. Иногда, не стерпев „оскорбительных подозрений“ (вполне законных), Жюльетта пыталась порвать с Гюго; она убегала, но снова возвращалась к своему грозному судье и обожаемому любовнику, умоляла его „возродить святой силой любви все хорошее и благородное, что было в ее душе“.

Гюго готов был простить ее, если она порвет со своим прошлым. Она наконец покорилась и сразу стала очень бедной. В январе 1834 года она заложила в ломбард „четыре дюжины батистовых вышитых сорочек, три дюжины батистовых сорочек с кружевами, двадцать пять платьев, из которых два — декольтированных, тридцать нижних вышитых юбок, дюжину вышитых ночных кофт, двадцать три пеньюара, кашемировую накидку с оборками, шаль из индийского кашемира и так далее“. Этот тщательно составленный жалкий перечень похож на опись имущества, оставшегося после смерти. Что ж, княгиня Негрони умерла, а Жюльетта Друэ боролась за то, чтобы выжить. Ее осаждали кредиторы, их визиты усиливали ревность Гюго. Жюльетте пришлось признаться ему в некоторой части своих бед, экономный буржуа возмутился, но романтический герой заявил, что возьмет ее долги на себя.

Виктор Гюго — Жюльетте Друэ: „Эти деньги — ваши. Я заработал их для вас. Я решил отдать вам часы бессонной ночи. Вещь, которую просили у меня, нужно было приготовить к нынешнему утру или отказаться. Двадцать раз перо падало у меня из рук, но ведь это нужно для вас, и я работал. Я не таков, как другие; я помню о роковых обстоятельствах. Даже при вашем падении я смотрю на вас как на существо самое великодушное, самое достойное и благородное, ставшее жертвой судьбы. Уж я-то не присоединюсь к тем, кто оскорбляет несчастную, поверженную женщину. Никто не имеет права бросить в вас камень, — кроме меня. Если кто-нибудь посмеет бросить, я заслоню вас...“

Поскольку он разлучил ее со всеми, кого она раньше знала, а сам не мог жить возле нее, он дал ей работу. Для писателя естественно стремление сделать любимую женщину своим секретарем. Жюльетта писала Виктору Гюго: „Почти уже шесть часов вечера; я только что кон-

чила переписывать стихи, которые ты вчера мне дал..." Она обязана была отдавать ему отчет во всех своих действиях: „Вчера, когда вернулась домой, читала твои стихи; пообедала, потом записала расходы, потом легла в постель; читала твои газеты; потом уснула, видела во сне тебя; нынче проснулась в восемь часов утра и почти сразу же встала; занялась хозяйственными делами, потом подправила вчерашний свой туалет... В половине третьего села за переписку, а как только кончила, пишу тебе.

Вот, господин комендант, рапорт о положении в крепости. Довольны вы? Гвардии капрал вполне доволен. После обеда буду репетировать детей и сосчитаю количество строк в „Осенних листьях"..."

Но Жюльетта получала прекрасные награды. Гюго подарил ей записную книжку в черном роговом переплете с золотой инкрустацией: „Памятки для балов и вечеров", и каждый вечер, перед тем как расстаться с ней и вернуться на Королевскую площадь, он записывал в этой книжечке какую-нибудь банальную и нежную мысль: „В первый день нового года напишу: „Люблю тебя" — а в последний — „обожаю"... Твои ласки заставляют меня любить землю, твои взоры позволяют мне постигнуть небо... Я определяю твою сущность, мой бедный друг, в двух словах: ангел в аду... Красота — есть у тебя; ум — есть у тебя; сердце — есть у тебя. Если б общество одарило бы тебя так, как природа, ты вознеслась бы высоко. Однако не огорчайся: общество могло бы сделать тебя только королевой, а природа создала тебя богиней..." Но как ни любил Гюго свою Жюльетту, он оставался настоящим Дидье и по-прежнему смотрел на эту Марион Делорм, как на падшего ангела. Она и сама презирала себя. Серьезность, торжественность чувств, свойственные Гюго, надоедавшие Адели, нравились Жюльетте, тем более что они чередовались с веселостью студента, которая очаровывала ее.

У нее оставалась только одна надежда — театральная карьера. После многих ссор Гюго обещал Феликсу Гарелю отдать театру Порт-Сен-Мартен свою новую драму — „Марию Тюдор". Он хотел, чтобы две женские роли, почти равноценные, были поручены: одна — мадемуазель Жорж, а другая — Жюльетте; первая должна была играть королеву Англии, вторая — Джен, грешную и трогательную невесту оружейника, который прощает ее. Репетиции проходили бурно. Царственная и царствующая в театре мадемуазель Жорж не терпела соперниц. Она,

хоть и не любила Гюго, не могла допустить, чтобы какой-нибудь автор оказывал внимание третьестепенной актрисе. Высокомерная примадонна язвительно жаловалась на посредственную игру своей партнерши. Красавец Пьер Бокаж, которого она взвинтила, дерзко вел себя с Жюльеттой на репетициях и, наконец, отказался от роли Гильберта. Он был закадычным другом Александра Дюма и вовсе не желал успеха Виктору Гюго, — этих двух драматургов романтической школы публика, против их воли, считала соперниками. Стараниями Бокажа, Сент-Бева и даже Гареля устные отзывы о пьесе перед премьерой были плохими. Говорили, что в ней полно всяких ужасов и преступлений, что на сцену в ней выведен палач, а главное, что Жюльетта Друэ играет отвратительно.

Накануне премьеры директор театра сказал автору: „Мадемуазель Жюльетта просто невозможна. Мадемуазель Ида, любовница Дюма, знает роль и готова сыграть ее“. Гюго был слишком влюблен и слишком справедлив для того, чтобы уступить. Гарель, разозлившись, отказался в последнюю минуту выдать ему условленное количество билетов. Дюма рыцарски отдал „сопернику“ часть своих мест. Спектакль начался в грозовой атмосфере. Два первых акта сошли благополучно, но в третьем публика освистала те сцены, в которых выступала Жюльетта. Враждебность сотоварищей и зрительного зала привели ее в такое смятение, что она оправдала все опасения и злостную критику. На следующий день Гюго под давлением Сент-Бева, своей жены и бывших „боевых защитников „Эрнани“, не без грусти и гнева, должен был согласиться на то, чтобы бедняжка Жюльета под предлогом нездоровья (она действительно заболела и слегла в постель) отказалась от роли.

Гюго — Жюльетте: „Вы ни на одно мгновение не сбились с тона, не утратили правдивых, страстных, патетических интонаций; кто заявляет, что вас не было слышно, просто не слушал; пусть себе говорят, что угодно. В финале вы были красивы и трогательны, а вначале красивы и очаровательны. Во всем, что вы говорили, вы ни на одно мгновенье не теряли тонких оттенков, а это очень трудно при передаче страсти, вы с достоинством выдерживали борьбу с королевой в сцене развязки, а там очень важно было устоять — ведь это не борьба двух женщин, Джен — против Марии, это борьба газели против пантеры.

Будьте спокойны, когда-нибудь вам воздадут справедливость...“

Жестокий прием, который публика оказала Жюльетте, доконал ее, бедняжку, лишил и тех крох дарования, какие у нее были. „Я больше не смею, — говорила она. — Эти люди отняли у меня веру в мои силы. Я больше не могу репетировать, я парализована". То было печальное и несправедливое дело.

III

Год 1834-й

Если двое любящих ссорятся, то потому, что им слишком уж хорошо было вместе.

Поль Валери

Заметка Сент-Бева для самого себя: „Как рушилось все то, что еще несколько лет тому назад было прекрасным, цветущим и разрасталось! Ламенне вынужден молчать, разорен и лишен учеников, Ламартин в своем „Пустынном Востоке" отгородился от живых смертью дочери; все наши поэты низвергнуты, наши ангелы пали! Гюго, автор „Ее имени" и „Тебе", — у ног Жюльетты; „Элоа"[1] — стал пленником и козлом отпущения госпожи Дорваль; Антони совсем с ума сошел, а Эмиль вновь сделался дамским угодником[2]. О, только мы с тобой, моя Адель, в тесной близости следовали путем, назначенным нам судьбой. Прижмемся друг к другу покрепче, дорогой ангел, и будем едины до самой смерти и после смерти! Я люблю тебя!"

Душевного разочарования, которым проникнута нарисованная Сент-Бевом картина, было еще недостаточно, так как и сама любовь, воспетая здесь, оказалась вскоре непрочной. В 1834 году произошел полный разрыв отношений между Сент-Бевом и супругами Гюго, этот год был также годом жестоких бурь для бедной Жюльетты.

Ссора былых друзей произошла не по причинам сентиментальным, но из-за раздражения чисто литераторского. В начале 1834 года Виктор Гюго опубликовал свой „Этюд о Мирабо". Почему о Мирабо? Потому что эта тема позволяла ему косвенным образом объясниться с современниками. Бальзак рисует его в эти мрачные годы человеком „несчастным и преследуемым ненави-

[1] Альфред де Виньи, автор поэмы „Элоа".
[2] Антони и Эмиль Дешаны.

стью“. Это было верно. По всякому поводу на него обрушивались с несправедливой злобой. Сам Сент-Бев вкрадчиво выражал удивление такой суровостью: „За последние месяцы его произведения и его особа вызывают у критиков почти единодушные и поистине непостижимые вопли ярости“. В свое время и Мирабо страдал от аналогичной несправедливости. Ему противопоставляли Барнава, у которого были такие же политические взгляды, как у Мирабо, но не было такой даровитости; а в 1798 году Моро предпочитали Бонапарту, и, подобно этому, в 1834 году некоторые восхваляли Дюма-отца в ущерб Виктору Гюго.

„Однако народ, который не знает зависти, потому что он велик, — писал Гюго, — народ стоял за Мирабо...“ Гюго начинал надеяться, что когда-нибудь народ поможет ему одержать верх „над людьми благовоспитанными, то есть теми, какими людей воспитывать не надо“. Точно так же как он писал когда-то: „Нам нужен собственный Шекспир“, он говорил теперь: „После наших великих деятелей революции нам нужен великий деятель прогресса... Французская революция развернула для всех социальных теорий огромную книгу, нечто вроде завещания. Мирабо начертал в ней свое слово, Робеспьер — свое, Людовик XVIII сделал там помарку. Карл X разорвал страницу. Палата, собравшаяся 7 августа, кое-как склеила ее, но вот и все. Книга лежит на своем месте, на своем месте лежит перо... Кто посмеет написать?..“ И тихонько отвечает себе: „Ты!“ За литературной славой ему смутно видится политическое поприще.

В том же году он издает у Рандюэля сборник под заглавием „*Литературная и философская смесь*“, составленный из юношеских его произведений, которые он слегка подправил. Он выпустил этот сборник с целью сопоставить взгляды „юного якобита“ 1819 года со взглядами „революционера“ 1830 года и показать, что если его воззрения изменились, то это произошло с полной прямотой и бескорыстием. Об этом сборнике статей говорили мало, Гюстав Планш поместил заметку в „*Ревю де Де Монд*“: „Господину Гюго в интересах его славы не следовало бы извлекать эту книгу из праха забвения, в котором она была погребена...“ Сент-Бев опубликовал по поводу „Этюда о Мирабо“ статью — хвалебную в отношении Гюго-писателя, но (как тот справедливо заметил) враждебную в отношении его как

человека. Гюго тотчас написал Сент-Беву: „Я нашел в статье (быть может, только на *нас двоих* она произвела такое впечатление) бесконечные похвалы, выраженные в великолепных фразах, но по сути дела — и это глубоко меня печалит — в ней нет благожелательности. Я предпочел бы поменьше похвал и больше симпатии... Виктор Гюго преисполнен восторга, но Виктор, ваш старый друг Виктор, удручен". Сент-Бев протестовал, говорил о дружбе, „которая в конце концов была моей первой заслугой в литературе, как была она первым большим чувством в моей жизни". Но он напрасно расточал свои вкрадчивые любезности. Враждебные слова, переданные другими разговоры бесповоротно испортили отношения былых соратников. Разрыв произошел круто. *30 марта 1832 года Сент-Бев пишет Гюго:* „Ну что ж, остановимся на этом, прошу вас. Достаточно уж толковать, — я не скажу, как вы, — о „недостойных людях", — я скажу — о недостойном предмете. Пишите нам прекрасные стихи, а я постараюсь писать о них добросовестные статьи. Вернитесь к своему творчеству, как я вернусь к своему ремеслу. Мне не воздвигли храм, и я никого не презираю. У вас есть храм, избегайте устраивать там скандалы..."

Виктор Гюго — Сент-Беву, 1 апреля 1834 года: „Столько ненависти и столько подлых преследований направлено против меня, что разделять со мною это бремя нелегко, я прекрасно понимаю, что даже самой испытанной дружбе это не под силу, и узы ее распадаются. Итак, прощайте, мой друг. Похороним каждый в молчании то, что в вас уже умерло, а во мне умирает, убитое вашим письмом..." После этого прощания они продолжали обмениваться рукопожатием, когда профессиональные обязанности сталкивали их друг с другом. Сент-Бев каждый год посылал 1 января подарок своей крестнице. Но дружба кончилась.

Для Виктора Гюго и Жюльетты Друэ 1834 год был исполнен хаоса. Высокие вершины, мрачные бездны. Единственное, что оставалось прочным в их общей жизни, была взаимная страстная любовь. Жюльетта выражала ее очень трогательно:

„Если бы счастье покупалось ценою жизни, я бы уже давно всю ее истратила..."

Двадцать шестого февраля 1834 года она писала:

„Здравствуй, мой дорогой возлюбленный, здравствуй, мой великий поэт, здравствуй, мой бог! Какой нынче

чудесный день, озаренный солнцем и любовью, вполне достойный чести напомнить людям о дне твоего рождения... Мой Тото, люблю тебя! Сколько счастья ты дал мне нынче ночью; я бы ни о чем не жалела, ничего бы на свете не хотела, если б оно длилось всю мою жизнь...“ Завистницы говорили, что Жюльетта Друэ не умна. Какая несправедливость! Можно посмеяться над ее орфографией, иной раз просто фантастической, но не над ее стилем. Она с очаровательной ловкостью подражала в начале писем романтическим эпиграфам „своего поэта“ и проявляла поразительную изобретательность, чтобы в тысяче разнообразных выражений сказать: „Люблю тебя“. „Пишу вам, как велит сердце, люблю вас, как обитательница рая, а говорю об этом, как служанка со скотного двора... Сердце мое полно любви, умом же полна не моя, а ваша голова...“ Она находила интонации, достойные португальской монахини. Гюго быстро распознал в ней этот лирический дар и бережно хранил ее письма.

Но ведь ни любовью, ни остроумием не проживешь, а Жюльетта была бедна, да еще погрязла в долгах,— двенадцать тысяч франков ювелиру Жаниссе; две тысячи пятьсот франков госпоже Лебретон и госпоже Жерар, торговавшим кашемировыми шалями; тысячу франков перчаточнику Пуавену; четыреста франков парфюмеру Вилену... Всего двадцать тысяч франков. Сначала она, страшась своего господина и повелителя, обуреваемого подозрениями, пыталась договориться с кредиторами, закладывала в ломбард свое белье, пробовала занять денег через посредство некоего Жак-Фирмена Ланвена и его жены, всецело ей преданных друзей. Начались тайны, скрытничанье, подозрительные хлопоты, разгоралась ревность Гюго, принимавшего в таких случаях „вид Великого инквизитора“. В течение этого года они не раз готовы были порвать. *В свою записную книжку Виктор Гюго внес 13 января 1834 года в половине двенадцатого вечера следующие слова:* „Сегодня я еще любовник. А завтра?..“ Жюльетта, которая всем пожертвовала, чтобы сохранить этого любовника, которая добровольно обрекла себя на нищету, справедливо чувствовала себя оскорбленной его суровостью. „Ничто из всего этого не заслуживает в ваших глазах помилования. Я и сегодня для вас та же, кем была для всех год тому назад, женщина, которую нужда может бросить в объятия любого богача, желающего ее купить. Вот в чем причины, жестокие и не-

одолимые причины нашей разлуки. Вот чего я больше не могу переносить...“

У нее были и другие причины страданий — на Королевской площади Виктор Гюго вел блестящую жизнь, в которую Жюльетта не была допущена (иной раз случалось, что ночью, устав ждать любимого, она бродила под его окнами, как он в былое время бродил перед Тулузским подворьем, смотрела на горящие люстры, слушала веселый смех). Мучило ее и то, что он с легкостью принимал всякую клевету (или правду) о ее прошлом, что он слушал россказни Иды Ферье или перезрелой мадемуазель Жорж, которые с лицемерной заботливостью спрашивали Гюго, почему он из всех женщин выбрал эту „тщеславную, лживую кокетку и беспорядочную особу“; страдала она и оттого, что он очень мало интереса проявлял к ее артистической карьере. В 1834 году он добился, чтобы ее приняли в труппу Французского театра с годовым окладом в три тысячи франков; это позволило ей внести плату за квартиру, которую снял и обставил для нее князь Демидов в доме № 35 на улице Эшикье и которую он, разумеется, больше не желал оплачивать. Но в театре ей не давали никаких ролей, и она приходила к мысли, что ее возлюбленный судит о ней как об актрисе столь же несправедливо, как и публика на премьере „*Марии Тюдор*“. Какое же будущее ее ждало? Жить нищей и одинокой, не пробить себе дорогу в театре, не создать семьи, быть просто любовницей ревнивого и презирающего ее человека? Когда кредиторы предъявили векселя и Жюльетта лишилась квартиры, а всю ее обстановку описали за долги, она не шутя стала думать о самоубийстве.

„Виктор, нынче ночью вы, чтобы совсем уничтожить меня, воспользовались гнусной клеветой этой Жорж и несчастьями моей прошлой жизни. Вы посмеялись над тем, что я пятнадцать месяцев любила вас и страдала из-за вас... Очень прошу, не отвергайте правды, поверьте, что моя любовь к вам была горячей и чистой. Не уподобляйтесь детям, которые, увидев старика прохожего, не верят, что он был когда-то молодым и сильным. Ведь я любила вас всеми силами души своей. Вот здесь все ваши письма и тот носовой платок, который вы мне вернули, — это не мой, а чей-то чужой платок...“

И она повторила то, что говорила когда-то по поводу роли Джен в драме „Мария Тюдор“: „Я больше не могу“.

„Только теперь уж не о роли речь, а о всей моей жизни. Теперь, когда клевета сокрушила меня во всех отношениях; теперь, когда осудили мою жизнь, не выслушав меня, как не стали слушать меня в твоей пьесе; теперь, когда мое здоровье и рассудок мой подорваны в бесцельной и бесславной борьбе; теперь, когда меня выставили перед общественным мнением женщиной без всякого будущего, я больше не смею и не хочу больше жить... Говорю чистую правду: я не смею больше жить. Этот страх и породил во мне желание, потребность покончить с собой..."

Потом, поскольку сердце у Гюго было умнее его гордыни, он раскаивался и возвращался к Жюльетте. Любуясь на уснувшую возлюбленную, он однажды написал ей: „Ты найдешь у себя на одеяле эту записку, сложенную вчетверо, и улыбнешься мне, правда? Я хочу, чтобы в прекрасных твоих глазах, которые столько пролили слез, засияла улыбка. Спи, моя Жюльетта; пусть снится тебе, что я тебя люблю; пусть тебе снится, что я у твоих ног; пусть тебе снится, что ты моя всецело; пусть тебе снится, что я всецело твой; пусть тебе снится, что я не могу без тебя жить, что думаю о тебе, что я пишу тебе. А проснувшись, ты увидишь, что сон тебя не обманул. Целую твои маленькие ножки и твои большие глаза..."

Он повез ее в окрестности Парижа и показал ей свою любимую долину Бьевры, полную ленивой неги и зелени. 3 июля 1834 года они провели ночь в гостинице „Щит Франции", в деревне Жуи-ан-Жоза. Незабываемую ночь.

„Мой дорогой, мой любимый, я вся еще взволнована после вчерашнего... Вчера, 3 июля 1834 года, в половине одиннадцатого вечера, в гостинице „Щит Франции" я, Жюльетта, была самая счастливая и самая гордая женщина на свете; заявляю еще, что до сих пор я не чувствовала всей полноты счастья любить тебя и быть тобой любимой. Настоящее письмо, имеющее форму протокола, является документом, устанавливающим состояние моего сердца. Этот документ, составленный нынче, действителен до конца моей жизни на земле; в тот день, час и минуту, когда он мне будет предъявлен, обязуюсь вернуть вышеупомянутое сердце в том самом состоянии, в котором оно сегодня находится, то есть наполненным одной-единственной любовью — любовью к тебе, и одной-единственной мыслью — мыслью о тебе. Составлено в Париже, 4 июля 1834 года, в три часа дня, *Жюльетта*. Подписали

в качестве свидетелей тысячи поцелуев, коими я покрыла сие письмо“.

Уже подходило время выезда семейства Гюго на лето в замок Рош, и влюбленные стали вместе искать для Жюльетты комнату где-нибудь неподалеку от усадьбы Бертенов; они нашли ее на вершине высокого лесистого холма, в деревне Метс, в низком белом сельском домике с зелеными ставнями, обвитом одичавшей виноградной лозой, у супругов Лабюсьер, и те сдали им эту комнату за девяносто два франка в год, каковую сумму Гюго заплатил вперед. Потом они вернулись в Париж.

Виктор Гюго — Жюльетте Друэ, 9 июля 1834 года: „Любимая моя, ангел мой! Нет ничего более упоительного, чем песня, исходящая из твоих уст, кроме поцелуя, который срываешь с них. Никогда не забывай те строки, которые написаны в твоей постели, когда ты, нагая и прелестная, была в моих объятиях и пела мои песни голосом, хватающим за душу. Простенькие песенки, которые ты делала очаровательными. Я сложил стихи, а ты вложила в них поэзию...“ 19 июля она рассталась с улицей Эшикье, унося с собою „вечное воспоминание о той комнате, где мы были так счастливы и так несчастны“, и поселилась в крошечной квартирке в доме № 4 на Райской улице. „О, эта улица правильно названа, моя Жюльетта! Само небо будет за нас на этой улице, в этом доме, в этой спаленке, в этой кровати...“

Однако в августе 1834 года сладостный рай стал адом. Свора кредиторов напала на след и принялась лаять так громко, что Жюльетте пришлось признаться любовнику, как велика сумма ее долгов. Двадцать тысяч франков?! Сын генерала Гюго, получавший в отрочестве на свои расходы только два су на день, пришел в неописуемую ярость: он кричал, что постепенно все заплатит сам, хотя бы это стоило ему здоровья и даже жизни, но обещания перемежались жесточайшими упреками. Что же она натворила? Страстная сила ее угрызений совести наводит на мысль о каких-то серьезных провинностях. Она писала Гюго: „Ах, оставь, никогда ты не знал любви более чистой, чем моя любовь, более искренней, более прочной, и все же я презренная женщина. Чего ты потребуешь от меня? Чем я могу исправить, искупить преступление, в котором я не виновата, ибо оно произошло не знаю как и я не была в нем сообщницей ни душой, ни телом! Скажи, произнеси приговор. Я подчинюсь, претерплю любую кару, лишь бы не умерла наша любовь...“

И она бежала со своей маленькой дочкой в Бретань, где жила в Сен-Ренане ее сестра Рене (госпожа Кох). В разлуке оба любовника поняли всю меру своего безумия. Ну что такое деньги, что такое долги в сравнении с великой любовью? Гюго пустил в ход „и ноги, и руки, и когти", чтобы спасти Жюльетту от ближайших опасностей. Он дошел до того, что воззвал к Прадье (которого он называл „князем Фюрстенберг" — по названию улицы, на которой жил скульптор) и потребовал, чтобы тот, по крайней мере, взял на себя расходы по содержанию своей дочери Клер, но Прадье от этого отказался. Он заявил, что мог бы сделать это только в том случае, если Виктор Гюго выхлопочет для него заказ на скульптурную группу для Триумфальной арки. Циничный торг. А Жюльетта с дороги слала письмо за письмом: „Виктор, я умираю без тебя... Неужели правда, что ты меня ненавидишь, что я тебе противна, что ты презираешь меня?.. Я сделаю все, что ты потребуешь, я сделаю все, боже мой! Только скажи, хочешь ли еще быть со мной?" Он очень хотел быть с нею и делал все, чтобы ей помочь: „Виделся сегодня с господином Прадье. Я затронул его за живое. Он вел себя так, как должно, и теперь решено, что отец твоего ребенка и я сделаем все, чтобы тебя спасти. Если понадобится, он возьмет на себя обязательства, так же как и я, но для этого надо, чтобы ты была в Париже. Прадье держится такого же мнения. Твое присутствие необходимо, ты должна всем руководить и все распутать. Я, со своей стороны, только что выцарапал когтями тысячу франков. Видишь, что может совершить любовь. Сейчас побегу на почтовую станцию. Если захвачу место в дилижансе, выеду во вторник, и в пятницу ты меня увидишь... Больше суток не ел ничего, но это пустяки, я люблю тебя..."

Оставив Адель и детей в усадьбе Рош, Гюго помчался в Бретань. Он встретился с Жюльеттой в Бресте, под голубым небом, у голубого моря — после туманов и непогоды наступили прекрасные дни. Любовники поклялись больше не причинять друг другу страданий.

На пути к своей возлюбленной Гюго успокаивал жену. 7 августа он писал ей из Ренна: „Прощай, дорогая Адель. Я люблю тебя. До скорого свидания. Пиши мне почаще и, конечно, длинные письма. Ты радость и честь моей жизни. Целую твое прекрасное чело и твои прекрасные глаза..."

Для Адели, которая могла теперь совершенно свободно

прогуливаться с Сент-Бевом под густыми деревьями по берегу Бьевры, не составило большого труда и не было с ее стороны большой заслугой ответить любезным письмом на спокойное потворство мужа. „Я не хочу говорить ничего такого, — писала она, — что могло бы тебя опечалить, когда ты вдалеке, а я не могу быть возле тебя. Впрочем, я думаю, что и при всех этих обстоятельствах ты, в сущности, любишь меня, а раз не спешишь возвращаться, значит, тебе весело, и уверенность в том и в другом делает меня счастливой...“ Равнодушие порождает снисходительность.

Жюльетта и Гюго возвращались не спеша, короткими перегонами, она дремала в дилижансах, положив голову ему на плечо, он не упускал в пути ничего примечательного, видел каторжников в Бресте, менгиры в Карнаке, осматривал старинные церкви, в Туре ходил в театр на „Лукрецию Борджа“. Потом, 2 сентября, Жюльетта вновь поселилась в своей комнатке в деревне Метс, а Гюго в усадьбе де Рош, и для них началась простая, бесподобная жизнь, продлившаяся полтора месяца. В доме тетушки Лабюсьер (куда Антуанетта Ланвен, подруга Жюльетты, служившая посредницей между ней и Прадье, часто привозила маленькую Клер) мадемуазель Друэ сама убиралась и стряпала, ела на кухне; у нее было только два платья — одно шерстяное, другое — жаконетовое в розовую и белую полосочку; но сама эта бедность, жестяные ложки, грубые башмаки, отсутствие всяких развлечений свидетельствовали о ее покорности и любви. Поэтому Гюго, в котором этот аскетизм, соблюдавшийся Жюльеттой по его требованию, удовлетворял странное желание властвовать, преподнес ей экземпляр повести „Клод Ге“, сделав на титульном листе такую надпись: „Моему ангелу, у которого отрастают крылья. — Метс, 2 сентября 1834 г.“. Ежедневно Гюго приходил к ней пешком через лес. Адель была сообщницей; Луиза Бертен наперсницей. Старым девам, если они добры, нравится аромат любви. По большей части Жюльетта выходила навстречу возлюбленному и ждала его в лесной чаще под старым каштаном; „стройная, с высокой грудью, румяная, с прелестной лукавой улыбкой, приоткрывавшей губы, она казалась чудным цветком, поднявшимся из грубой чаши, которую образовало дуплистое дерево“. Завидев любовника, она выпрыгивала на дорожку, обнимала его в прозрачной дымке лесных испарений и увлекала в густые заросли, где мох устилал землю мягким ковром.

Любовь и природа создают дивную гармонию. „Веселый щебет в гнездах, таящихся под сенью леса“, сливался со вздохами любовников. Они были счастливы. Гюго, который любил объяснять и мир, и бога, и все на свете, нашел в раскаявшейся прекрасной грешнице восхищенную и покорную ученицу. Однажды их застала в лесу гроза, они укрылись от нее в дупле старого каштана, и это происшествие стало для них дорогим воспоминанием. Жюльетта дрожала от холода, он пытался согреть ее; капли дождя падали с его волос на ее шею. Но он говорил ей, „Всю жизнь я буду помнить твои слова, полные нежной заботы и ума“. Жюльетта Друэ была из тех женщин, которые благодарны мужчине, если он восхваляет не только их красоту, но и благородство души. Жюльетта, которую осуждали так строго и которая сама осуждала свое прошлое, жаждала услышать ласковые слова:

Когда поэзия моя, людьми гонима,
Так сладостно прильнув к тебе, вкусит покой,
Тобой душа моя печальная хранима,
Как огонек свечи заботливой рукой;
Когда сидим вдвоем среди цветов долины;
Когда душа твоя засветится в глазах
И, как изгнанница, глядит она с чужбины
На подвиги земли, на звезды в небесах[1].

Она любила, когда он говорил, что надо надеяться на бога, любила, когда ее возлюбленный становился проповедником.

Страданье, ангел мой, нам за грехи дано,
А ты молись, молись! И может быть, Творец,
Благословив святых, — и грешных заодно, —
И нам с тобой грехи отпустит наконец![2]

Как же она, наверно, была счастлива и горда, когда 25 октября он положил для нее в дупло каштана, служившее им почтовым ящиком, в который она приносила иногда по пять записок в день, листок бумаги с его стихами, посвященными ей: „Вам, кого я чту, тебе, кого люблю. *В.*“. Стихи эти носили заглавие: „В старой церкви“; они были созданы поэтом однажды вечером, когда он и Жюльетта после прогулки зашли в маленькую церковку деревни Бьевры и долго пробыли там:

---

[1] Гюго В. На берегу моря („Песни сумерек“). Пер. И. Грушецкой.— Собр. соч., т. 1, с. 503.

[2] Гюго В. Надежда на бога („Песни сумерек“).

8 Заказ 880.

Тяжелый, низкий свод, печаль камней...
И в церковь мы вошли.
А целых триста лет — кто плакал в ней,
Склоняясь до земли?..

Здесь тишина и грусть на склоне дня.
И в церковь мы вошли.
Пустой алтарь, как сердце без огня,
Пустой алтарь в пыли...[1]

Должно быть, она там молилась: там поведала она богу, в которого верила всей душой, свое отчаяние одинокой женщины, у которой нет „ни веселого домашнего очага, ни ласковой семьи“, а между тем „она в холодном и суровом мире никому не причинила зла“; там милый друг, утешая и успокаивая ее, сказал, что своей „задумчивостью строгой и кротостью души она достойна быть в обители святой“. Благодаря искренности чувства, простоте тона, плавному развертыванию строф, тесному, словно природой данному, слиянию мысли и ритма, эти стихи были одним из лучших творений Гюго. Но жалобы Жюльетты, которые он передал так гармонично, доказывали, что, при всей их взаимной любви, эта связь не дала ей счастья.

IV

Олимпио

Ничто так не говорит в пользу Гюго, как нерушимая нежная любовь, которую дарила ему прелестная женщина — Жюльетта Друэ.

Поль Клодель

И вот началась удивительная жизнь, какую не согласилась бы вести женщина, отнюдь не связанная монашескими обетами. Виктор Гюго обещал простить и забыть прошлое, но поставил для этого определенные и весьма суровые условия. Жюльетта, вчера еще принадлежавшая к числу парижских холеных красавиц, вся в кружевах и драгоценностях, теперь должна была жить только для него, выходить из дому куда-нибудь только с ним, отказаться от всякого кокетства, от всякой роскоши — словом, наложить на себя епитимью. Она приняла условие и выполняла его с мистическим восторгом грешницы, жаж-

---

[1] Гюго В. В старой церкви („Песни сумерек“).

давшей „возрождения в любви“. Ее повелитель и возлюбленный выдавал ей каждый месяц небольшими суммами около восьмиста франков, и она все благоговейно записывала:

Дата	Франки	Су
1.	Деньги, заработанные моим обожаемым	400
4.	Деньги, заработанные моим божеством	53
6.	Деньги на питание моего Тото	50
10.	Деньги, заработанные моим возлюбленным	100
11.	Деньги на питание моего дорогого	55
12.	Деньги, заработанные моим любимым	50
14.	Деньги из кошелька моего обожаемого	64
24.	Деньги из кошелька моего миленького Тото	11
30.	Деньги из кошелька моего миленького Тото	3

Из этих денег она прежде всего обязана была погашать свои долги кредиторам, платить за квартиру и в пансион, где обучалась ее дочка. На жизнь ей оставалось мало. По большей части она не топила камин в своей комнате, и, если там было очень холодно, оставалась в постели, мечтала, читала или вела запись расходам, которую ее повелитель ежевечерне тщательно проверял. Жюльетта питалась молоком, сыром и яйцами. Каждый вечер — яблоко. Ни одного нового платья, она переделывала старые. Гюго твердил ей, что „туалет ничего не прибавляет к природной прелести хорошенькой женщины“. Он спрашивал у нее разъяснений, почему куплена коробка зубного порошка, откуда взялся новый передник (который она сделала из старой шали). Можно считать чудом, что она принимала жизнь затворницы и рабыни не только весело, но с благодарностью: „Не знаю, отчего я так любила делать долги! Боже мой! Ведь это и гадко и унизительно! Как ты великодушен и благороден, мой драгоценный, что любишь меня, несмотря на мое прошлое...“

В свободные часы она переписывала рукописи своего возлюбленного или чинила его одежду. Это тоже было ей приятно. Тягостная сторона жизни была в том, что, поскольку ей не дозволялось где-нибудь бывать одной, она иногда по нескольку дней ждала его, глядя, как птица в клетке, на голубое небо. Когда Гюго бывал свободен, он провожал ее в Сен-Манде, где Клер Прадье училась в пансионе, или в Дом Инвалидов, где доживал свой век дядя Жюльетты, или ходил с ней по лавкам старинных вещей. Он любил маленькую Клер и писал ей: „Раз ты немножко думаешь, бедняжечка Клер, о своем старом друге Тото, я хочу с тобой поздороваться. Учись хорошенько, расти большая и умная, будь такой же благородной и хорошей, как твоя мама...“ Если он долго не по-

являлся, для Жюльетты становилась пыткой эта жизнь в заточении, при которой она не имела права „даже воздухом подышать“, то есть пройтись по бульвару, и она жаловалась: „Я по глупости своей позволила, чтобы со мной обращались, как с дворовым псом: похлебка, будка и цепь — вот моя участь! Но ведь есть собаки, которых хозяин водит с собой! На мою долю такого счастья не выпало! Цепь моя так крепко приклепана, что вам и не вздумается снять ее...“

Единственной надеждой на независимость, несмотря на все неудачи, для нее оставался театр. Виктор Гюго только что закончил новую пьесу в прозе — „Анджело, тиран падуанский“. В сущности, это была мелодрама в духе „Лукреции Борджа“: куртизанка, возрожденная высоким чувством любви (Тизбе), и кроткая женщина, спасенная ею от смерти (Катарина); полный набор эффектов — „узнавание“, потайные ходы, склянки с ядом и „крест моей матушки“, — но построена пьеса была хорошо, и во Французской Комедии ее с восторгом приняли к постановке. А Жюльетта состояла в труппе этого театра. Разве не могла она надеяться получить одну из двух ролей? Она догадывалась, что Гюго опасается доверить свою пьесу актрисе весьма спорного таланта, к тому же подстерегаемой закулисными кознями, и не осмеливается сказать ей это. Великодушная женщина стушевалась. „Отделим друг от друга наши судьбы в театре“, — сказала она ему. Это значило, что она отказывается от своей надежды. Она вышла из труппы, так ни разу и не сыграв на сцене Французского театра; две главные роли достались известным актрисам: одна — мадемуазель Марс, другая — мадам Дорваль.

Это была высшая степень самоуничижения для актрисы и постоянная причина страхов для влюбленной женщины; волнующее кокетство и роковое очарование мадам Дорваль были общеизвестны. Дорваль покорила „Джентльмена“ — Альфреда де Виньи и не была ему верна; Жюльетта нисколько не сомневалась, что кокетка поведет атаку на молодого и красивого поэта. *Жюльетта писала Гюго:* „Я ревную тебя к вполне реальной сопернице, — ведь это неслыханная распутница, а сейчас она бывает с тобой каждый день, смотрит на тебя, говорит с тобой, прикасается к тебе. Ах, как же мне не ревновать к ней! И как мне больно, как я страдаю!..“ Премьера „Анджело“ (рукоплескания, вызовы, восторг, бешеный успех, в значительной мере благодаря двум исполнительницам

главных женских ролей — они обе были любимицами публики) оказалась для Жюльетты настоящей пыткой, но ее преданность возлюбленному взяла верх. „Если бы ты знал, как честно я аплодировала мадам Дорваль, тебе стыдно было бы чем-нибудь обидеть нынче вечером мое бедное сердце, и так уже немного уязвленное сознанием, что не я, а другая передает публике твои благородные мысли. Ну вот, поневоле загрустишь и будешь волноваться, когда знаешь, что эта женщина возле тебя..." В похвалах исполнительнице роли она угадывала „своего рода брачный союз двух душ — актрисы и автора", и ей было горько, что не она, Жюльетта, „передает публике его возвышенные мысли".

Она имела право на награду и получила ее, — сначала в виде прекрасных стихов:

О, если я к устам поднес твой полный кубок,
И побледневшим лбом приник к твоим рукам,
И часто из твоих полураскрытых губок
Твое дыханье пил, душистый фимиам;

И было мне дано делить с тобою грезы,
Все тайные мечты и помыслы делить,
И твой услышать смех, твои увидеть слезы,
Со взором взор сливать, уста с устами слить;

И если надо мной звезда твоя сияла
Так ласково и все ж — так грустно далека!
И роза белая нечаянно упала
На мой тернистый путь из твоего венка —

То я могу сказать: „О годы, мчитесь мимо!
Ваш бег не страшен мне! Я не состарюсь, нет!
Увянуть все цветы должны неотвратимо,
Но в сердце у меня не вянет вешний цвет.

Все так же он душист и свеж... Ни на мгновенье
Не иссякает ключ, что жизнь ему дарит,
Душа полна любви, не знающей забвенья,
И вам не погасить огонь, что в ней горит".[1]

Второй наградой было путешествие, которое они совершили на следующее лето. Хотя жить на два дома было весьма обременительно, Гюго мог это позволить себе: „Анджело" играли шестьдесят два раза со средним кассовым сбором в две тысячи двести пятьдесят франков. Кни-

[1] Гюго В. „О, если я к устам поднес твой полный кубок..." („Песни сумерек"). Пер. В. Дмитриева. Собр. соч., т. 1, с. 500.

гоиздатель Рандюэль купил рукопись. В 1835 году он заплатил девять тысяч франков за право переиздавать в течение полутора лет „Оды и баллады“, „Восточные мотивы“ и „Осенние листья“, затем еще одиннадцать тысяч франков за новое переиздание, плюс к этому „Песни сумерек“ и новый сборник — „Внутренние голоса“. За три года (1835—1838) Рандюэль уплатил Виктору Гюго сорок три тысячи франков. Из издательств и из театров деньги рекой текли на Королевскую площадь и ручейком на Райскую улицу.

В конце июля Адель захотелось поехать в Анжу на свадьбу их друга Виктора Пави. Гюго был приглашен, но он знал, что на свадьбе будет и Сент-Бев, с которым он не хотел встречаться. Чтобы совершить путешествие с Жюльеттой на полной свободе, он послал на свадьбу свою жену в сопровождении ее отца, Пьера Фуше. В разлуке муж и жена, связанные между собой больше братскими, чем супружескими узами, все время обменивались самыми ласковыми письмами.

Виктор Гюго — Адели, Монтеро, 26 июля 1835 года: „Здравствуй, мой бедный ангел, здравствуй, моя Адель. Как ты доехала?..“ *Лафер, 1 августа*: „Надеюсь, ты хорошо повеселилась...“ *Амьен, 3 августа*: „А ты? Где ты? Что ты делаешь? Как ты поживаешь?..“ *Ле-Трепор, 6 августа*: „Какая это красота — море, дорогая моя Адель. Надо нам когда-нибудь вместе поглядеть на него...“ *Монтивилье, 10 августа*: „Надеюсь, твое маленькое путешествие пошло тебе на пользу, что ты по-прежнему будешь пухленькой и свежей...“

Адель — Виктору: „Я много думала о тебе, мой добрый и милый Виктор, хотелось бы, чтобы ты был возле меня... Не могу я сказать тебе, сколько волнений я пережила, мой бедный друг. Надеюсь, ты их поймешь и разделишь со мной...“

Девятнадцатого августа: „В общем, если тебе весело, то я за тобой не числю никакой вины. Да и было бы с моей стороны несправедливо жаловаться на тебя, раз ты пишешь мне такие хорошие, прелестные письма...“

Кроткий и простодушный Пьер Фуше, сопровождавший дочь, признавался, что его немного удивляет неожиданное для него согласие между супругами. „По нашем возвращении в Анже, — пишет он, — Адель нашла несколько писем от мужа. Он путешествует в Бри и в Шампани... Он очень любезен с нашей Аделью, пишет, чтобы она развлекалась, чтобы она думала о нем, чтобы

она любила его, и кончает письмо так: «Желаю Пави такую жену, как ты, тогда пусть благодарит бога...“ Свадьба в Анжу была „пантагрюэлевской“. Четыре дня пировали под тентом и на пароходах. Адель, жена знаменитого писателя и очень красивая дама, „восхищала свадебных гостей“. Сент-Бев со слезами на глазах прочитал эпиталаму, слишком длинную, и ее слушали с вежливой скукой. *Адель — Виктору*: „Когда будешь в Париже, друг мой, напиши ему несколько строк, в благодарность за его заботы“.

Солнце сияло, поля смотрели приветливо, берега Луары были веселые, но Адель оставалась грустной. Ухаживания ее друга с реденькими рыжими волосами больше не утешали ее в том, что около нее нет мужа. *Адель — Виктору:* „Глядя на Луару, я говорила себе, что десять лет тому назад я видела ее вместе с тобой. Когда же мы поедем куда-нибудь вдвоем?.. Я старею, мне все приелось, я грущу беспричинно...“ Ей надоели и Сент-Бев, и жизнь, и все на свете. Ревность пробуждает некое подобие любви. Дидина (одиннадцатилетняя девочка) ласково укоряла отца: „Мама иногда плачет, оттого что она не с тобою... Не забывай свою дочку, милый папочка, брось всякие тесаные камни и приезжай к нам, мы тебя очень любим...“

А тем временем Виктор и Жюльетта полностью наслаждались поэзией своего путешествия. *Жюльетта — Виктору:* „Ты помнишь, как мы уезжали откуда-нибудь и как мы прижимались друг к другу под откидным верхом дилижанса. Рука в руке, душа с душой, мы забывали обо всем, кроме нашей любви. А когда добирались до места, осматривали соборы и музеи и восторгались всякими чудесами, глядя на них сквозь призму чувств, волновавших наши сердца. Сколько шедевров тогда восхищали меня, потому что ты любил их и твои уста умели разъяснить мне тайну их прелести! Сколько ступеней я одолела, взбираясь на самый верх бесконечных башен, потому что ты поднимался впереди меня...“ Тут звучит чистейший язык страстной любви. Для Жюльетты эти путешествия создавали иллюзию брака. Для Гюго в них была фантазия, обновление, возврат к дикарской свободе детских лет. Он любил путешествовать без программы и без багажа, любил карабкаться на развалины, делать наброски, собирать цветы, впитывать образы. Жюльетта, умевшая ко всему приспособиться, была идеальной попутчицей для этих вылазок. Вдали от Парижа Виктор

Гюго не разыгрывал никакой роли — не был ни пророком, ни инквизитором, был весел, как студент на каникулах. На стенах скверных харчевен он писал проклятия:

К чертям! Дурной приют, паршивый дом!
Здесь вонь, и чад, и рай клопам-обжорам,
Здесь ночью был ужаснейший содом,
И коммивояжеры пели хором!

В 1835 году путешествие привело любовников в Пикардию и в Нормандию. *Куломье* — „неинтересная церковь". *Провен* — „четыре церкви", башня, город разбросан живописнейшим образом на двух холмах. В двух лье от *Суассона*, в долине, отошедшей далеко от всяких дорог, восхитительный маленький замок XV века — *Сетмон.* „Если бы когда-нибудь захотели продать его тысяч за десять франков, я бы тебе купил его, милая моя Адель..." *Сен-Кентен* — „красивый фасад из разного дерева, постройка 1598 года". „А теперь я в *Амьене.* Тут — собор, уж он-то займет у меня целый день. Просто какое-то чудо!.." *Ле-Трепор*: „Вчера я и порадовался и погрустил, дорогой друг; порадовался, потому что получил от тебя письмо, погрустил, потому что оно было единственное. Почти сутки пробыл в *Абвиле*, надеясь, что успеют прийти еще письма от тебя. Два раза ходил на почту — ничего!.. До скорого свидания, дорогая Адель. Как радостно будет поцеловать тебя..." Что ж, перед нами письма хорошего мужа. Но восторженные эпитеты исходили от человека, который видел все эти картины с другой, с любимой женщиной.

По возвращении Гюго жена его устроилась в замке Рош, а Жюльетта — в деревне Метс. Любовное приключение превращалось в традицию. В 1835 году, в сентябре и октябре, погода была дождливая и ветреная. Жюльетта часто оставалась одна в своей комнате у тетушки Лабюсьер, глядела в окно, как бушует буря, с тревогой думала о своей дочке, которую „мы уж слишком забываем", шила себе капот или перечитывала произведения „своего дорогого". В этом она была неутомима. „Я знаю все твои вещи наизусть. Но всякий раз, как я перечитываю их, мне они нравятся еще больше, чем в первый раз. Так же, как твое прекрасное лицо. Я ведь знаю в нем каждую черточку. Нет ни одной пряди в твоей шевелюре, ни одного волоска в бороде, которые не были бы мне знакомы. И все равно каждый раз меня поражает и приводит в восторг твоя красота..." Когда Жюльетта, не-

смотря на дождь, добиралась до большого каштана, зачастую ее ожидало разочарование — она не находила под ним возлюбленного, не находила в дупле письма: „Если только не разверзнутся все хляби небесные, я непременно пойду к *нашему большому дереву*, которое оказалось весьма бесплодным для меня в нынешнем году. Оно мне не принесло еще ни одного, хотя бы самого маленького письмеца; с его стороны это большая неблагодарность, — ведь я отдаю ему предпочтение перед другими деревьями, красивее и моложе, чем оно. Но, как видно, неблагодарность — основное свойство и деревьев и людей...“ Однако время от времени она получала чудесную страницу, которая была для нее утешением и вознаграждала ее за все.

Виктор — Жюльетте: „Запомним на всю жизнь вчерашний день. Да разве можно забыть, какая ужасная гроза была 24 сентября 1835 года и сколько радостей она нам принесла. Ливень низвергался потоками, листья на деревьях не спасали нас. С них вода, становившаяся еще холоднее, падала нам на головы, ты, почти нагая, была в моих объятиях, ты прятала свое прекрасное лицо в моих коленях и поднимала его лишь для того, чтобы мне улыбнуться, к твоим красивым плечам прилипала намокшая от воды сорочка. Буря не стихала полтора часа, и за это время — ни одного слова, которое не было бы словом любви. Какая ты чудесная! Люблю тебя, моя Жюльетта, люблю так, что не могу и выразить это словами. Какой ужасный хаос вокруг нас и какая сладостная гармония в нас с тобой! Пусть же этот день будет драгоценным воспоминанием до конца наших дней!..“

Безумное восхищение Жюльетты, граничившее с благоговейным поклонением, было опасным, оно развивало склонность поэта к самообожествлению. В те годы романтики, желая бежать от горькой действительности, создавали своих двойников и переносили на них бремя своих мук и честолюбивые стремления. Байрон, создавший Чайльд Гарольда, первый подал тому пример; Виньи создал Стелло; Мюссе — Фортунио и Фантазио; у Жорж Санд была Лелия; у Сент-Бева — Жозеф Делорм; у Шатобриана — Рене; у Стендаля — Жюльен Сорель; у Гете — Вильгельм Мейстер; у Бенжамена Констана — Адольф... Олицетворением Гюго был Олимпио, „походивший на него, как брат, полубог, рожденный вдали от людей, как единый сплав гордости, природы и любви...“

Выбор имени был гениальной выдумкой. Олимпиец,

сраженный титан, который помнит, однако, о своем высоком происхождении, сверхчеловек, способный глубже, чем люди, погрузить свой взгляд в бездны; божество и вместе с тем жертва богов — таким поклонение Жюльетты приучало Гюго видеть себя. Те годы были для него тяжелым периодом жизни, он знал, что его ненавидят, клевещут на него. „Почти все прежние друзья покинули его, — писал о нем Генрих Гейне, — и, по правде сказать, покинули по его вине: они были обижены его себялюбием". Оттуда и возникла у него потребность обратиться к своему двойнику с прекрасными словами утешения:

О юноша, давно ль талантами твоими
  Был очарован свет,
Давно ли похвалой твое звучало имя,
  Но постоянства нет —

И треплют честь твою, безумствуя и лая,
  Враги, как сто собак,
И, алчностью горя, кругом толпится стая
  Бессмысленных зевак!.. [1]

Страсть, в полном и трагическом смысле этого слова, — вот что завершило формирование поэта, и то, что он тогда создал, было бесконечно выше не только „Од и баллад", но и „Осенних листьев". Сборник „Песни сумерек", выпущенных Рандюэлем в конце октября, состоял из настоящих шедевров. Название его говорит о смягченном свете. И действительно, после фейерверка „Восточных мотивов" — перед нами поистине прекрасное сочетание простоты тона и чеканной формы. Самые обычные обороты подняты до уровня эпической поэзии. Как прекрасны стихи „Наполеон II" и полное почти сыновнего чувства, взволнованное обращение к тени Наполеона I:

Спи! Мы найдем тебя в твоем гнезде орлином!
Ты стал нам божеством, не ставши господином!
О жребии твоем еще в слезах наш круг.
Твое трехцветное для нас хоругвью стало.
Веревка, что тебя срывала с пьедестала,
  Не замарает наших рук!

О, справим по тебе мы неплохую тризну!
А если предстоит сражаться за отчизну,
У гроба твоего пройдем мы чередой!
Европой, Индией, Египтом обладая,

---

[1] Гюго В. К Олимпию („Внутренние голоса"). Пер. М. Ваксмахера.

Мы повелим — пускай поэзия младая
Споет о вольности младой![1]

Стихотворение, посвященное Луи Б... (Буланже), „Колокол“, должно было, по мнению автора, оправдать его политическую позицию. Виктор Гюго воспевал императора, после того как воспевал короля. Отчего бы и нет! Колокол на сторожевой башне — „Эхо небес на земле“, на колокольной бронзе вырезаны гербы всех режимов. „Он в середине всего; как звучное эхо“, он возвещает о горе и радостях всех людей. Так и поэт создает песни о всякой славе и всех скорбях своей отчизны. Прохожий властною рукою может заставить колокол звонить не только во славу бога.

Виноват ли поэт, или колокол, в том,
Что порой ураган в нетерпенье святом
Налетит, подтолкнет и потребует: „Пой!“
И тогда, нарушая, взрывая покой,
Из бурлящей груди, как из царства теней,
Сквозь пласты запыленных, обугленных дней,
Сквозь обломки, и пепел, и горечь, и слизь
Пробивается слово и тянется ввысь!..[2]

Но главным образом Гюго воспевал в „Песнях сумерек“ свой духовный и плотский брак с Жюльеттой Друэ. Ей более или менее явно посвящено тринадцать стихотворений[3]. Любители скандалов прочли этот сборник скорее как строгие судьи, а не как друзья, и, к своему удивлению, обнаружили в нем также стихи, посвященные жене и детям. Стихотворение „Date Lilia“ („Дайте лилий“) воздавало хвалу добродетелям Адели Гюго, — то была попытка опровергнуть ходившие тогда слухи о разладе в семье поэта, признательность за прошлое и знак дружбы в настоящем:

Смотрите, женщина с детьми выходит в сад.
Высокий чистый лоб, глубокий теплый взгляд...
О, кто б вы ни были, — ее благословите!
Меня связуют с ней невидимые нити —
Пыл, честолюбие, надежды юных дней!
До гробовой доски я предан буду ей![4]

Это стихотворение, завершавшее книгу, как будто освящавшее ее, привело Сент-Бева в раздражение, которого

---

[1] Гюго В. К Колонне („Песни сумерек“). Пер. П. Антокольского.
[2] Гюго В. Луи Б... („Песни сумерек“).
[3] См.: „Песни сумерек“ — стихотворения XIV, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI и XXXIII. (Прим. автора.)
[4] Гюго В. Date Lilia („Песни сумерек“). Пер. М. Донского.

он не мог сдержать. Его статья о „Песнях сумерек“, сплошь несправедливая, заканчивалась нападками на это домашнее стихотворение: „Можно подумать, что в заключение автор решил разбросать белые лилии перед нашими глазами. Сожалеем, что автор счел этот прием необходимым. Цельность книги от этого пострадала, ее название — „Песни сумерек“ — не требовало двойственности. То же отсутствие литературного такта (среди такого блеска и силы)... внушило ему мысль ввести в композицию тома два дисгармонирующих цвета, воскурять в нем два фимиама, уничтожающие друг друга. Он не предвидел, какое впечатление это произведет, а ведь все полагают, что предмет уважения лучше всего было бы почтить и прославить полным умолчанием...“

Адель огорчили эти нескромные комментарии. Хоть ее и обижало, что Жюльетте посвящено столько гимнов, ее все же трогали стихи, относящиеся к жене:

Пускай господь тебя хранит!
Ты — целомудрия оплот.
Не вырос тот запретный плод,
Который Еву соблазнит...[1]

„Не вырос тот запретный плод, который Еву соблазнит...“ Муж отводил тут ей роль, которая не была ей неприятна. Новая любовь Виктора Гюго толкала законную жену на сближение с ним, но дружеское, а не чувственное. Она никогда не была пылкой возлюбленной и охотно соглашалась быть теперь только почетной подругой поэта.

Адель — Виктору Гюго: „Не лишай себя ничего. Что касается меня, то мне утехи не нужны, я хочу только спокойствия. Я очень стара... У меня лишь одно желание — чтобы те, кого я люблю, были счастливы; для меня счастье в моей собственной жизни уже прошло; я жду его в удовлетворенности других. Несмотря ни на что, в этом много приятного. И ты совершенно прав, когда говоришь, что у меня *„снисходительная улыбка“*... Бог мой! Да делай ты что хочешь, лишь бы тебе было хорошо, — тогда и мне будет хорошо. Не думай, что это равнодушие, — нет, это преданность тебе и отрешение от жизни... Я никогда не злоупотреблю правами на тебя,

[1] Гюго В. XXXVI („Песни сумерек“).

которые дает мне брак. Мне думается, что ты так же свободен, как холостой человек, ведь ты, бедный друг мой, женился в двадцать лет! Я не хочу, чтобы ты связал свою жизнь с такой ничтожной женщиной, как я. По крайней мере, то, что ты даешь мне, будет дано тобою открыто и вполне свободно..."

После выхода „Песен сумерек" она постепенно отстранила Сент-Бева от своей жизни. Она ставила ему в вину не только неприличную статью, но и то, что он повсюду говорил о безнравственности „Песен сумерек". Гюго хотел было вызвать на дуэль своего прежнего друга. Но тут вмешался книгоиздатель Рандюэль. „Да разве возможна дуэль между вами, двумя поэтами?" — возмутился он. *Сент-Бев писал Виктору Пави:* „Мы, к сожалению, поссорились — серьезно и уж надолго; по крайней мере, я не вижу возможности примирения. Нас разделяют теперь *статьи*, — статьи, которые нельзя ни уничтожить, ни исправить..."

Поразительная вещь, Жюльетта, так великолепно прославленная поэтом, проявила больше ревности, чем Адель, видя, что критики приписывают последнему в сборнике стихотворению „Date Lilia" — смысл „возвращения к семье". *Она написала Виктору Гюго 2 декабря 1835 года*: „Не одна я замечаю, что за последний год ты очень переменился и в привычках и в чувствах. Вероятно, я единственная, для кого это — смертельное горе, но что за важность, раз тебе у домашнего очага *весело*, а семья твоя *счастлива*..." Особенно же она сетовала на то, что стала менее желанна для него: „Уверяю вас, шутки в сторону, мой дорогой, мой миленький Тото, мы с вами ведем себя самым нелепым образом. Пора покончить скандальную историю, когда двое влюбленных живут в строжайшем целомудрии..." Ей нужен был Виктор *любящий,* а не Виктор *преданный.* „Никогда я не намеревалась жить с тобою иначе, чем *любимая тобою любовница*, и не хочу быть женщиной, зависящей от былой любви. Я не прошу и не хочу отставки с пенсией..." Она угадывала с прозорливостью любящей женщины, что, достигнув высочайшего мастерства в искусстве, он уже мечтает о триумфах на другом поприще, хочет быть государственным деятелем, социальным реформатором, пророком.

Когда она это говорила ему, он протестовал:

Друг! Когда твердят про славу,
Рассмеяться я готов:
Верят ей, но лжет лукаво
Обольстительницы зов!

Зависть факел свой багряный
Раздувает и чадит
В очи славе — истукану,
Что у входа в склеп сидит...

Пой, буди огонь томленья!
Смейся! Смех твой — тихий свет.
Что нам бури и волненья,
Суета людских сует?

Но она была права, думая, что ни толпа, ни гул ее для него не безразличны и что, познав полное счастье любви и славы, он на некоторое время пожертвует ими ради честолюбия.

---

[1] Гюго В. „Друг! Когда твердят про славу...“ („Лучи и тени“). Пер. Н. Вольпиной. — Собр. соч., т. 1, с. 546.

Часть шестая

Осуществленные желания

Когда он, по прошествии некоторого времени, сделался франтом, она печально сказала ему однажды: „Бенжамен, вы заняты своим платьем, вы разлюбили меня“.

Сент-Бев
„Госпожа де Шарьер“

I

Свет и тени

В юности сочиняют любовные стихи, но иные желания владеют поэтом, вступающим в пору зрелости. Между 1836 и 1840 годом Виктора Гюго тревожит мысль, что он не приобрел никакого значения на общественном поприще. Воспевать лесные кущи, солнце и Жюльетту — прекрасное занятие, но им не может удовольствоваться человек, стремящийся стать „вожаком душ“.

Будь проклят тот, кто убегает,
Когда кричит, изнемогает
И бедствует народ!
Позор тебе, поэт беспечный,
Коль ты, мурлыча стих увечный,
Бежишь из городских ворот...[1]

В стихотворных сборниках той поры — „Внутренние голоса“ (1837), „Лучи и тени“ (1840) — поэт все чаще задумывается над сокровенной природой вещей. С горных вершин, со скал морских он вопрошает бога:

Господь, да есть ли прок в творении твоем?
Зачем течет поток, зачем грохочет гром?
Зачем ты крутишь на оси наклонной
Сей жуткий шар с его травой зеленой,
С нагроможденьем гор, с просторами морей...
Зачем его крутить, скажи, Господь, скорей,
И погружать то в бездну ночи мрачной,
То в золотистый свет зари прозрачной?..[2]

---

[1] Гюго В. Призвание поэта („Лучи и тени“).
[2] Гюго В. Мир и век („Лучи и тени“).

Но ответа нет. Pensar, dudar — мыслить — значит сомневаться. Сквозь величественные картины природы поэт прозревает бога, принявшего облик вещественного мира, но сей незримый, безмолвный бог никогда не является людям, и судьба, схвативши человека за ворот, грозно вопрошает его: „Душа, во что ты веришь?“

Вселенная, ты сфинкс; перед тобой
Теряется в догадках ум любой,
Страшась прозреть, страшась найти ответ,
Молчит, не говоря ни да, ни нет.

Давным-давно живем без веры мы —
Без факела среди кромешной тьмы,
Без слова утешенья на земле,
Без кормчего на нашем корабле!..[1]

Но в делах земных не имеет значения, убежден ты или нет в существовании сверхъестественных сил. „Наш век велик и могуч, им правит благородный порыв“. Гюго жаждет занять место среди тех людей, кто формирует сознание народов. Шатобриан, служивший Гюго образцом, был пэром Франции, послом, министром иностранных дел. Вот путь великих мира сего, на который он намеревался ступить. Но во времена Луи-Филиппа среди писателей званием пэра мог быть пожалован только член Французской Академии. Правда, в те годы, когда были созданы „Кромвель“ и „Эрнани“, Гюго и его друзья немало поиздевались над академической братией, но он слишком хорошо знал мир литераторов и был уверен, что члены Академии не станут попрекать талантливых писателей прежними обидами. Разве питали бы они к нему столь ярую ненависть, если б не любили его? Начиная с 1834 года Гюго наметил набережную Конти как первую ступень на пути осуществления своих честолюбивых стремлений и с присущим ему железным упорством приступает к осаде крепости. „Гюго возымел намерение попасть в Академию, — язвительно писал Сент-Бев. — Лишь сей предмет его занимает, он с важностью часами толкует о нем. Прогуливаясь с вами от бульвара Сент-Антуан до площади Мадлен, он, по рассеянности, непрестанно говорит все о том же. Коль скоро единая мысль засядет в голове Гюго, все в нем приходит в движение и сосредоточивается на ней. И вот уж близится тяжелая конница его остроумия, влекутся пушки, обозы и метафоры...“

---

[1] Гюго В. Pensar, dudar („Лучи и тени“).

Его любовница Жюльетта и дочь Дидина и слышать не хотели о зеленом мундире. В них воспитали отвращение к золотому шитью, и вкусы их отличались завидным постоянством. Жюльетта опасалась, что выдвижение кандидатуры Гюго в Академию и светские обязанности, которые это повлечет за собой, отнимут у нее возлюбленного. Однако, добившись позволения сопровождать великого поэта, когда он ехал наносить визиты, и терпеливо ждать его, съежившись в уголке кабриолета, пока он звонил у дверей, она решила, что ей представилась отличная возможность „воспользоваться" хоть малыми крохами, оброненными им по пути". И она ревниво добавляет: „Таким образом я буду знать, сколько времени вы проводите в обществе жен и дочерей академиков". Затем она вошла во вкус: „Сегодня на редкость удачная погода для охоты на *бессмертных*, и было бы непростительно не воспользоваться этим".

Но после выборов, состоявшихся в феврале 1836 года (надо было найти замену умершему Виконту Лене), она с торжеством возвестила о провале кандидатуры Гюго: „Приблизительно через три часа вы перестанете быть академиком, мой милый Тото, с чем и можете себя поздравить. Я, которой ничуть не дороги политические преимущества, облеченные в академическое платье, молю бога о том же, что и мадемуазель Дидина, и заранее ликую при мысли, что вы останетесь моим без всяких приправ..." Действительно, избрали Мерсье Дюпати, быстро забытого сочинителя легковесных комедий, что дало Гюго повод горько заметить: „Я полагал, что путь в Академию лежит через мост Искусств. Увы, я заблуждался, ибо попадают туда, как видно, через Новый мост". Между тем упомянутый Дюпати с истинно светской любезностью велел отнести в дом на Королевской площади свою визитную карточку со следующим четверостишием:

Взошел я на престол до вас —
Мой возраст мне открыл дорогу.
Бессмертны вы уже сейчас —
Так подождите же немного!

В ноябре 1836 года Гюго возобновляет посещения нужных людей. Но в своем письме к брату Теодору Виктор Пави выражает сомнение в возможности его успеха: „Ламартин ранен в колено и вряд ли вернется к тому времени. Гизо, который выставляет кандидатуру Гюго

против Минье, выдвинутого Тьером, еще не успеют принять, и он не получит право голосовать. Гиро сидит в Лиму и гонит белое вино. Определенно можно рассчитывать только на Шатобриана и Суме, ибо Нодье, дряхлый изменник, переметнулся в стан классицистов...“ Действительно, Ламартин и Шатобриан, два добрых гения семьи, голосовали за Гюго, но победил Минье. „Если бы голоса взвешивали, Гюго был бы избран, — писала Дельфина Ге. — К несчастью, их только считают“. Подруга юности Гюго стала весьма влиятельной особой, так как вышла замуж за циничного и дерзкого Эмиля Жирардена. Отдав в свое время щедрую дань романтизму, она теперь круто повернула к антиромантизму, после Стелло — к Растиньяку. Дельфина обожала мужа, который незадолго до того основал газету „Ла Пресс“, где она сама помещала блестящие статьи за подписью — „Виконт де Лонэ“. По просьбе Жирардена Гюго написал для первого номера газеты программную статью, изложив в ней главнейшие положения политики консервативной и в то же время верной принципам 1789 года. Таким образом, он принадлежал к сотрудникам газеты, и его друг Дельфина Ге разоблачила на страницах „Ла Пресс“ „Величайший скандал, разразившийся на этой неделе“, строго отчитав членов Академии: „Господа, Франция требует от вас достойно почтить человека, перед которым она преклоняется, и увенчать лаврами ее даровитого сына, стяжавшего ей славу в чужих пределах...“ Она была совершенно права, но почтенные собрания, подобно тяжеловесным животным, не отличаются поворотливостью.

Потерпевший поражение, но не смирившийся кандидат вернулся к будничным делам. Он все сильнее привязывался к детям. Прелестная Дидина, рассудительная, умная и сдержанная девочка, по-прежнему оставалась любимицей Гюго и становилась понемногу его наперсницей. Преждевременно повзрослевшая из-за разлада в семье, Леопольдина отличалась недетской серьезностью; мать рисовала очаровательные карандашные портреты дочери, обнаруживая в них истинный талант. Денежные дела четы Гюго шли как нельзя лучше благодаря переизданию книг поэта и возобновлению постановок его пьес. Ежегодно они вкладывали изрядную сумму денег в государственную ренту. И тем не менее Гюго требовал от своей жены строгого отчета во всех расходах. Он давал ей тетради, разграфленные с помощью линейки на столбцы, озаглавленные: „Стол“, „Содержание (Адель)“, „Со-

держание (Дети)", „Воспитание", „Галантерея", „Разные расходы", „Жалованье прислуге", „Дорожные расходы", „Ссуды". В них должны были заноситься малейшие траты, даже такие, как 0 фр. 12 сант. на омнибус или 2 фр. на прическу у парикмахера Эмери, улица Сент-Антуан, 31. Заглянув в тетради, можно было узнать, например, что в 1839 году госпожа Гюго восемнадцать раз причесывалась у парикмахера. С возрастом Адель не стала более рачительной хозяйкой. Несмотря на внешнее великолепие, дом на Королевской площади содержался кое-как. Виктор Гюго работал в „каморке, где было холодно, как в леднике", его матрасы были набиты шляпками от гвоздей, к его белью не пришивали пуговиц, а платье его не штопалось. Таково, во всяком случае, заключение Жюльетты Друэ, свидетеля пристрастного.

Адель изредка еще писала Сент-Беву, но, по его мнению, эта „любовь" стала для нее просто грезой о минувшем, и он не ошибался. „Она чувствовала приближение старости, здоровье ее внушало ей опасения, и как знать, не почла ли эта благочестивая женщина своим долгом порвать любовную связь, которую она уже не могла оправдывать непреоборимым влечением?" Раздосадованный неудачей, Сент-Бев написал тогда в своих тетрадях немало жестоких слов о Викторе Гюго: „Гюго-драматург — это Калибан, возомнивший себя Шекспиром... Гюго упрекает меня в том, что я занимаюсь слишком незначительными сюжетами. Не хочет ли он дать понять, что я не занимаюсь более им самим?.. Гюго — софизм в пышном убранстве". Не пощадил он и Адель: „В ранней юности легко мирятся с отсутствием в женщине ума, когда есть красота, за которую ее любят, как и с отсутствием трезвого рассудка, когда есть талант, за который человека обожают (я подметил это в супругах Гюго, как в нем, так и в ней)..." Такая проницательность, подобно острому клинку, ранит того, кто ее проявил, и Сент-Бев страдал.

Все лето 1836 года, с мая по октябрь, госпожа Гюго провела с детьми уже не в Роше, а в Фурке (в лесу Марли), подле стареющего Фуше. В августе их навестил Фонтане, он с восторгом вспоминал проведенный там день: „Давно уж не было столь веселого обеда. Виктор без сюртука, сиречь в женином пеньюаре, был неподражаем в своем радостном одушевлении... Груды жареного мяса. Визит священника. Господин Фуше и его война с гусеницами..." Приезд отца был для детей настоящим

праздником. Когда он покидал их, отправляясь путешествовать с Жюльеттой, Дидина писала ему: „Мне жаль тебя, бедный папочка, как подумаю о том, сколько лье ты исхаживаешь пешком, а после таких утомительных походов тебе приходится довольствоваться скверным ужином. Впрочем, я не очень огорчаюсь, так как надеюсь, что из-за этого тебе *захочется* (!) поскорее возвратиться в наш милый Фурке. А мы тебя тут ждем и любим всем сердцем..." Когда он возвращался в свой дом на Королевской площади, к нему приезжала жена, а дети оставались в Фурке. Леопольдина писала матери: „Мы встаем около восьми. Идем в церковь, завтракаем. Я разучиваю фортепьянные пьесы. Деде играет... Ежедневно приходит кюре, спрашивает у меня урок по катехизису, ужинает у нас, проводит с нами вечер... Спроси у папочки, не купит ли он мне романс под названием „Монастырские прачки". Премилая *вещица* (!). Ежели нет, купи сама. Так или иначе, а ему придется раскошелиться..."

Леопольдина готовилась к первому причастию под руководством аббата Русселя, приходского священника в Фурке, и своего деда, сочинявшего для нее духовные гимны. Мы располагаем „Тетрадью уединения" Дидины, — девяносто две страницы „Разбора подготовительных наставлений к моему первому причастию".

На церемонии, которая состоялась 8 сентября, в воскресенье, в день рождества богоматери, в приходской церкви Фурке, присутствовали Виктор Гюго, Роблен и Теофиль Готье. Леопольдина, единственная, пришедшая к первому причастию, преподала собравшимся урок истинной веры. Своим простодушием и невинной прелестью она тронула сердца даже закоренелых безбожников. Огюст де Шатийон запечатлел сцену на полотне. Еще 20 августа госпожа Гюго отослала священнику полное собрание сочинений своего мужа в двадцати томах с переплетом (цена 40 франков), попросив издателя Рандюэля „потихоньку" вычесть стоимость посылки из гонорара автора.

Жюльетта Друэ пожертвовала для белого платья конфирмантки — о, романтизм! — своим старым платьем из органди, облачком полупрозрачной ткани, напоминавшим о временах расточительной роскоши. После богослужения Гюго отправился в Париж, чем немало разочаровал гостей, собравшихся на званый обед, который давали Пьер Фуше с дочерью для всего окрестного духовенства. Адель Гюго — боязливый бухгалтер — писала мужу: „Расходы на первое причастие Дидины не превысили

двухсот франков... Конечно, довольно дорого, но как только Шатийон закончит свою картину, он уедет, и я закрою двери дома для всех..." В Фурке царили строгие порядки.

Шестнадцатого апреля 1837 года Гюго и Сент-Бев присутствовали на похоронах Габриеллы Дорваль, „совершенства красоты", умершей двадцати одного года от роду любовницы Фонтане и старшей дочери Мари Дорваль. „Неприятнейшая встреча! — говорил *Сент-Бев в письме к Ульрику Гуттингеру от 28 апреля 1837 года.* — Нас было пятеро в фиакре, в том числе Гюго, Барбье, я, Боннер (из „Ревю де Де Монд"). Недоставало только Виньи! Из этих пятерых трое — я и Гюго с одной стороны, Боннер и я с другой — не разговаривали друг с другом, делали вид, будто мы незнакомы, а ведь все трое сидели в одном фиакре, нос к носу. Вот уж действительно похороны!" Дружеские чувства в их сердцах были более мертвы, чем юная покойница Габриелла. „Гюго, хладнокровный, бесстрастный, беседовал с несчастным Фонтане. Беспокойный, взвинченный Сент-Бев не проронил ни слова и упорно глядел в окно фиакра. Если бы он мог сбежать, он, без сомнения, сделал бы это..."

В течение некоторого времени Сент-Бев еще надеялся, что ему удастся вернуть Адель. 20 июня 1837 года он писал Гуттингеру: „Она не выходит из своей комнаты, не переносит ни езды в экипаже, ни прогулок пешком. Мне лишь с великим трудом, после долгих перерывов удается получить весточку от нее. Увы! На днях я бродил вечерней порой в толпе ликующих людей, под этим волшебно прекрасным небом, стеная и плача, словно раненый олень..." Он сделал попытку вновь завоевать ее любовь, напечатав в „Ревю де Де Монд" более чем прозрачную повесть „Госпожа де Понтиви". Там он описывал любовь несчастливой в браке женщины, разочарованной, одинокой и непонятой из-за своей пугливой застенчивости, — к некоему Мюрсе, ее другу, которому автор „искренне сочувствует". Жизнь ее чем-то напоминала те глубокие и узкие лощины, куда солнце заглядывает не ранее одиннадцати часов, когда лучи его уже опаляют зноем..." Наконец госпожа де Понтиви воспылала страстью и, несмотря на то что ее „чувствительность дремала", ни в чем не отказывала своему другу, однако не потому, что разделяла его любовные желания, а потому, что хотела дать ему полноту счастья. Но затем любовь ее словно бы угасает сама по себе. Мюрсе скитается в самых уединенных местах, непрестанно повторяя про се-

бя: *„Все кончено! Оставь меня!“* Однако под занавес все улаживается благодаря нежной настойчивости Мюрсе, и счастливые влюбленные соединяют руки уже на склоне лет.

Но жизнь не всегда складывается так, как хотелось бы писателю. Действительность же такова, что госпожу Гюго возмутило сочинение, явно предназначавшееся ей, тем более явно, что незадолго до того Сент-Бев преподнес ей в дар книжку своих стихов, в которой содержались и стенания самого Мюрсе:

Все кончено! Оставь меня! Опять весна...
Я жажду летнего огня;
На нивах и в сердцах восходят семена.
Все кончено! Оставь меня!

Виктор Гюго также прочел повесть „Госпожа де Понтиви“, напечатанную в журнале. Когда до него дошло, что Сент-Бев твердит всем и каждому, что новелла написана с единственным намерением „успокоить дорогую ему особу“, он пришел в ярость. По всей видимости тогда же между супругами было решено пригласить болтливого сочинителя в дом на Королевской площади и недвусмысленно дать ему понять, чтобы он впредь забыл дорогу к ним. Жестокое объяснение произошло примерно в октябре 1837 года. Почти тотчас после него Сент-Бев отправился в Швейцарию, в Лозанну, где ему предстояло читать курс лекций о Пор-Рояле. Отъезд на чужбину пришелся как нельзя более кстати. Сент-Бев писал Гуттингеру: „Я знаю теперь, что моя личная жизнь не удалась. Мне осталось искать спасительного прибежища в литературе...“ Позднее, 18 мая 1838 года, он писал: „Покидая Париж в октябре, я был мрачен, о, как мрачен! И у меня имелись для того все основания... На Королевской площади я испытывал то, что мог бы в разговоре с вами выразить в двух словах: с одной стороны была предательская и неуклюже подстроенная ловушка, под стать нашему Циклопу; с другой — неслыханная и поистине глупейшая доверчивость, показавшая мне всю меру ума той особы, которую не умудряет более любовь...“ Терзаясь обидой, Сент-Бев высказал о несчастной Адели поразительно жестокие и несправедливые суждения. Возвратившись в Париж, он записал следующее: „Вновь видел А. Неужели мне дано было убедиться в справедливости изречения Ларошфуко: „Прощают, когда любят“? Впрочем, с любовью, кажется, все кончено, во

всяком случае, с этой любовью". А три года спустя он написал в своем дневнике: „Я ненавижу ее". Но Сент-Бев всегда с гордостью вспоминал о единственной победе, лестной для его самолюбия, и с гневом — об оскорбительном разрыве. До конца своей жизни он продолжал, хоть и редко, видеться с Аделью и переписываться с нею. Вот что говорил он в письме к Жорж Санд уже в 1845 году: „Я по-прежнему безутешен оттого, что не люблю и не любим более; оттого, что упование на будущее более не поддерживает меня в моих повседневных горестях и в беспросветном моем отчаянии, как в доброе старое время, когда мы были столь несчастны..."

Что касается Виктора Гюго, разрыв повлек за собой необходимость по справедливости поделить себя между женой и возлюбленной. Жюльетта жила только своей любовью, омрачаемой, правда, нуждой и взрывами недовольства. Гюго поселил ее в доме № 14, в квартале Маре, на улице Сент-Анастаз, по соседству с Королевской площадью. Стены ее квартирки были все увешаны портретами и рисунками домашнего божества. Всякий раз, как влюбленные наведывались в антикварные лавки, они приносили оттуда то готические статуэтки, то старинные ткани. В спальне, между ложем и камином, где „уютно потрескивали пылающие дрова", Жюльетта устроила уголок, где поэт мог работать, и там его ждали остро очиненные гусиные перья, всегда заправленная масляная лампа и стопка голубой бумаги. Лежа в постели, она безмолвно созерцала „милую голову", в которой рождались величественные строки: „Давеча я глядела на тебя и любовалась твоим благородным и прекрасным лицом, исполненным вдохновения..." Проведенные вместе часы сторицей вознаграждали ее за все унижения:

Она сказала: „Да, мне хорошо сейчас,
Я неправа. Часы текут, неторопливы,
И я, от глаз твоих не отрывая глаз,
В них вижу смутных дум приливы и отливы...

У ног твоих сижу. Кругом покой и тишь.
Ты лев, я горлица. Задумчиво внимаю,
Как ты страницами неслышно шелестишь,
Упавшее перо бесшумно поднимаю..."[1]

И надо сказать, такое обожание было приятно Гюго. Но слепым это поклонение назвать нельзя. У Жюльетты

[1] Гюго В. Слова, сказанные в полумраке („Созерцания"). Пер. Э. Линецкой.— Собр. соч., т. 42, с. 329.

накопилось немало поводов для обид и ревности, ибо в доме на Королевской площади была потайная лестница, которая вела прямо в кабинет Гюго, и Жюльетта, время от времени сама ходившая по этой лестнице на свидание к своему „обожаемому", отлично знала, что и другие женщины уступали в этом кабинете неотразимым чарам его хозяина. *Из письма Жюльетты Виктору Гюго:* „Вы красивы, слишком красивы, и я ревную вас, даже когда вы находитесь подле меня. О прочем судите сами... Мне хочется, чтобы я одна любила вас, — ведь я люблю вас так, что мое чувство может заставить вас забыть о любви всех других женщин..." Без сомнения, причину целомудрия ее возлюбленного, на которое она не однажды сетовала, следовало искать в тайных наслаждениях. Несколько раз она обличала его во лжи. Он говорил ей: „Мне надо съездить за город навестить семью", но потом она обнаруживала, что семья Гюго еще и не выезжала на дачу. Кто же были виновницы таинственных отлучек?

Сначала Жюльетта ревновала Гюго к мадемуазель Жорж и Мари Дорваль, а теперь страшилась соперничества своей шляпницы и танцовщицы из Оперы, мадемуазель Лизон. Искусительницы испытывали все средства обольщения на мужчине, который и не думал противиться соблазну. У потайной двери звонили актрисы, жаждущие ролей, юные и пылкие кокетки парижского света, начинающие писательницы. Гости и Гюго беседовали о поэзии, устроившись на диване. „Если бы я была королевой, — говорила Жюльетта, — я не выпускала бы вас иначе, чем в железной маске, тайна которой была бы известна только мне". Но цепи носила она сама, и неверный возлюбленный, как и прежде, запрещал ей отлучаться из дому без него. „Зачем держать меня в заточении? — сетовала Жюльетта. — Я люблю вас, и любовь моя лучше самых крепких и надежных запоров..." Она не могла смириться с подобной тиранией: „Скоро минет четыре года с того дня, как ваша любовь лавиной обрушилась на меня, и с тех пор я не вправе ни двинуться, ни свободно вздохнуть. Моей вере в вас грозит гибель под развалинами нашей связи..."

Вероятно, она не вынесла бы такой жизни, если бы не их путешествия, — каждое лето она получала желанную передышку. Семейство (то есть Адель с детьми) уезжало в Фурке или Булонь-сюр-Сен, жило там на лоне природы, и в течение полутора месяцев влюбленные, став на время супругами, отправлялись в Фужер, родной город

Жюльетты Говэн, либо в Бельгию, пленявшую Гюго перезвоном колоколов, башнями и старинными домами.

Он ежедневно отправлял письмо Адели. *17 августа 1837 года*: „Дорогая, Брюссель меня просто ослепил... Городская ратуша — поистине жемчужина зодчества и красотой своей может поспорить со шпилем Шартрского собора... Скажи Дидине и Деде, Шарло и Тото, чтоб они поцеловали друг друга от моего имени... В церкви я думаю о тебе и, выходя на улицу, чувствую, что еще сильнее люблю всех вас, если только это возможно..." *19 августа 1837 года*: „Малинский собор весь одет настоящими кружевами из камня..." Из Антверпена в Брюссель путешественники ехали по железной дороге: „Скорость невообразимая; цветы, растущие у дороги, уже не цветы, а красные и белые ленты; отдельных образов нет, все сливается в полосы. Спелые хлеба похожи на бесконечные волны желтых волос, а заросли люцерны — на длинные зеленые пряди..." Страницы дорожного альбома покрываются прекрасными зарисовками углем в духе Рембрандта.

С тех пор как оборвалась тонкая ниточка чувства, связывавшая Адель с Сент-Бевом, она не могла с прежним великодушием мириться с отлучками мужа: „Ты не должен путешествовать без меня в будущем году. *Так я решила*. Полагаю, что имею на то право. Не подумай только, что я шучу. Если *нам* окажется невозможным путешествовать вместе, я сниму здесь дом, где мне будет приятнее проводить время в обществе отца и моей сестры Жюли, на которую я стану дурно влиять. Ты вполне можешь не ездить ежедневно в Париж и обосноваться в деревне: ведь сообщение с городом теперь очень простое. Сделай, как я говорю, и ты подаришь мне, друг мой, целый год счастья, стоит тебе захотеть. Нередко, когда ты говоришь мне, что это невозможно, я притворяюсь, будто верю тебе, чтобы не лишать тебя душевного спокойствия, но слова твои не убеждают меня..." Виктор Гюго дал в письме весьма туманный ответ, но, казалось, готов был уступить. *Дьепп, 8 сентября 1837 года*: „Путешествие — это скоро рассеивающийся дурман, счастье обретаешь лишь под семейным кровом..." Всякий легкомысленный, но не черствый человек нередко вынужден говорить то, чего не думает, и раздавать обещания, которые не может выполнить.

Другим источником утешения для Жюльетты была красная „Книга годовщин", которую она держала под по-

душкой и в которую ежегодно 17 февраля, 26 мая и в дни прочих торжеств, записывались сочиненные по этому случаю стихи. Она восторженно благодарила Гюго: „Я думаю, если господь когда-либо явится мне, он предстанет в твоем облике, ибо ты моя вера, мой бог и надежда моя... Тебя одного бог создал по образу своему и подобию. Следовательно, в нем я люблю тебя, а в тебе поклоняюсь ему..." Такое обожествление пробудило в Гюго дух Олимпио. Ей страстно хотелось совершить с ним паломничество в Метс, где они были так счастливы. Он отправился туда в октябре 1837 года без нее, чтобы остаться там наедине с воспоминаниями. После подобных свиданий с прошлым из-под пера Ламартина в Мюссе вышли шедевры. Гюго жаждал померяться с ними:

Он жаждал вновь узреть: и пруд в заветном месте,
Лачугу бедняков, что посещали вместе,
И одряхлевший вяз,
То дерево — оно в глуши лесной укрыто,
Убежище любви, где души были слиты
И губы много раз.

Упорно он искал и дом уединенный.
Ограду и густой, таинственный, зеленый,
Знакомый сад за ней.
Печален он бродил, а перед ним в смятенье
Под каждым деревом, увы! вставали тени
Давно минувших дней[1].

Дни, проведенные в раздумье и в прогулках по тем местам, где он познал нежнейшую свою страсть, завершились созданием поэмы „Грусть Олимпио". Отчего же „грусть" после такого счастья? Оттого, что контраст между вечно прекрасной природой и быстротечными радостями человека болезненно ранил поэтов романтической школы:

Как безвозвратно все уносится забвеньем,
Природы ясный лик изменчив без конца,
И как она легко своим прикосновеньем
Рвет узы тайные, связавшие сердца!..

Пройдут другие там, где мы бродили ране,
Настал других черед, а нам не суждено.
Наш вдохновенный сон, и мысли, и желанья
Дано продолжить им, но кончить не дано...

[1] Гюго В. Грусть Олимпио („Лучи и тени"). Пер. Н. Зиминой. — Собр. соч., т. 1, с.550.

Ну что ж, забудьте нас, и дом, и сад, и поле, —
Пусть зарастет травой покинутый порог,
Журчите, родники, и, птицы, пойте вволю, —
Вы можете забыть, но я забыть не мог!

Вы образ прошлого, любви воспоминанья,
Оазис для того, кто шел издалека.
Здесь мы делили с ней и слезы и признанья,
И здесь в моей руке была ее рука...

Все страсти с возрастом уходят неизбежно,
Иная с маскою, а та сжимая нож —
Как пестрая толпа актеров безмятежно
Уходит с песнями, их больше не вернешь[1].

В этих строках поэт бросает вызов времени. Желая сильнее поразить воображение читателей, Гюго воплотил свой замысел в самых бесхитростных картинах природы, в самых безыскусных воспоминаниях. „Озеро" было хорошо написано Ламартином, поэма Гюго имела не меньше достоинств. Жюльетта переписывала ее, и в простоте душевной называла ее „стихами, где говорится о наших прежних прогулках", и, впервые за долгое время, не выразила должного восхищения этим великолепным подарком, который Гюго ей преподнес. Возможно, она не испытала особой радости, видя, что он называет минувшим то, что в ее глазах было вечностью. Жюльетта только просила его вернуться с ней в милую ее сердцу долину, так как была уверена, что ей легче, чем ему, удастся отыскать те уголки, где они были счастливы. О женщины, как любит точность ваш практический ум! Вы им толкуете о вечности, а они вам — о топографии.

Как и Жюльетта, критики не признавали тогда совершенства творения, брошенного им к ее ногам с царственной щедростью. В своей статье о „Внутренних голосах" Гюстав Планш утверждал, что лирическая поэзия Гюго является скорее игрою слов ради слов, чем художественным средством выражения мысли, что автору, хотя он „пользуется цезурой и рифмой с мастерством искусного

---

[1] Гюго В. Грусть Олимпио („Лучи и тени"). Пер. Н. Зиминой. — Собр. соч., т. 1, с 550.

тактика“, не удается показать „живых людей рода человеческого!“. Он признавал, что в „Осенних листьях“ поэт на время отказался от виртуозности ради большей искренности в передаче чувств, но, как утверждал критик, Гюго затем вновь вернулся к праздному суесловию.

„Олимпио“ вызвал раздражение у Планше: „Нам очень жаль, но самое имя Олимпио — совершеннейшая нелепость. Нетрудно, впрочем, догадаться, что побудило господина Гюго придумать сию несуразность. Очевидно, в его мыслях представление о собственной особе связано с образом Юпитера Олимпийского...

Понимая, что заявить: „Я самый выдающийся человек века“ — было бы дурным тоном, господин Гюго взгромождается на трон и нарекает себя „Олимпио...“ И далее: „Господин Гюго утратил ясность ума, ибо обнаружил в себе и жреца и алтарь; он основал новую религию, которую я предлагаю назвать *самообожествлением*...“ Короче говоря, критик ставил Гюго в вину то, что за пышностью образов он якобы прячет отсутствие мысли и, по непомерному тщеславию, замыкается в гордом одиночестве: „Если изучение книг и людей не поможет ему согреть свою поэзию тем человеческим теплом, которого ей недостает, он оставит по себе только славу человека, научившего своих современников обращению с инструментом, музыки для которого он не написал...“ Поистине ненависть мешает видеть прекрасное.

Пятого марта 1837 года скончался несчастный Эжен Гюго. В начале душевной болезни разум его временами прояснялся. Фонтане случайно встретил его при посещении приюта для умалишенных в Сен-Морисе, *3 апреля 1832 года*: „Еду в Шарантон... Двор отделения буйных помешанных... Брат Виктора. Он встает, вспоминает о поэзии, о премии, которой был удостоен в Тулузе...“ Затем бедняга окончательно лишился рассудка и памяти. Братья навещали его, но редко, потому что до Сен-Мориса (Шарантон) было неблизко, вырваться из Парижа было нелегко, а врачи не отличались словоохотливостью. Виктора никогда не оставляло чувство вины перед братом, заживо погребенным в каменном склепе. Чтобы умилостивить докучливую тень, он совершил своего рода жертвенное возлияние, сочинив стихотворение „Эжену, виконту Г...“:

Коль пожелал господь обречь тебя страданью,
Коль пожелал господь божественною дланью
　　Главу поэта сжать,
И, обратив ее в святой сосуд экстаза,

Влить пламень гения, и возложить на вазу
Могильную печать...[1]

Он вспоминал их детские игры: „...Ты, верно, помнишь нашу юность. Ты, верно, помнишь сад зеленый фельянтинок“. Они были счастливы вместе, вместе открывали прекрасный мир, вместе делали первые шаги по цветущему лугу. Но безвозвратно ушли в прошлое чистые мечты отрочества — того, кто умер, и того, кто продолжает жить:

Тебе отныне спать на том холме зеленом,
Что высится один под зимним небосклоном
И всем ветрам открыт,
Тебе отныне спать в сырой холодной глине,
А мне остаться здесь, средь городской пустыни,
Моя судьба велит.
А мне остаться здесь, дерзать, страдать, сражаться
И шумной славою своею упиваться,
Скрывая под полой,
Как в Спарте некогда свирепого лисенка, —
Все муки зависти, и улыбаться тонко
В когтях обиды злой[2].

Не правда ли, сетуя на жизнь, мы как бы стараемся утешить души усопших? „Не сожалей ни о чем. Ведь ты вкушаешь вечный покой“, — говорит Живущий, и это дает ему право на забвение. Абель Гюго прислал счета:

Уплачено за экипаж и мелкие расходы на похоронах 17 фр. 60 сант.
Уплачено по счету за Эжена 165 фр.

Итого: 182 фр. 60 сант.

Из коих половина на долю Виктора... 91 фр. 30 сант.

Мрачная арифметика, но братья Гюго прошли строгую житейскую школу, где их учили считать сантимы. В соответствии с обычаями испанского дворянства, после смерти Эжена, который был старше, Виктор становился виконтом Гюго. То был первый шаг на пути к званию пэра. Отныне Адель подписывалась „виконтесса Гюго“, даже если письмо предназначалось близкой подруге. События время от времени вознаграждали супругу Виктора Гюго за ее снисходительность.

---

[1] Пер. М. Ваксмахера.
[2] Гюго В. Эжену, виконту Г... („Внутренние голоса“). Пер. М. Ваксмахера.

II

Жюльетта под куполом Академии

Большинство знаменитых людей живут в состоянии проституирования.

Сент-Бев, Записные книжки

Слава — это род недуга, которым заболевают после того, как она тебе приснится.

Поль Валери

В 1837 году герцог Орлеанский женился на принцессе Елене Мекленбургской. У Виктора Гюго отношения с наследником престола были лучше, чем с Луи-Филиппом. Помимо личных обид (запрещение пьесы „Король забавляется“), он упрекал правительство Июльской монархии в том, что оно не отвечает своему происхождению. Будучи порождением революции, оно покровительствует реакции. Гюго все больше осознавал долг поэта перед униженными и оскорбленными. Уже в 1834 году в своем „Ответе на обвинительный акт“, явившемся красноречивым манифестом в защиту языка романтиков[1], он объявил, что все слова свободны и равны, все одинаково важны, и разрушил „бастилию рифм“. Однако „он понимал, что гневная рука, освобождая слова, освобождает мысль“.

Противники монархического строя — республиканцы, группировавшиеся вокруг газеты „Насьональ“, надеялись привлечь к себе Виктора Гюго, но он считал, что Франция еще не созрела для республики. Его соблазнял некий социальный бонапартизм. Но где взять Бонапарта? Герцог Рейхштадтский умер. Режим Июльской монархии, казалось, укреплялся. Газета Эмиля Жирардена, профессионального оппортуниста, состоявшего в числе приятелей Виктора Гюго, была сверхпреданной правительству и пыталась завербовать такого ценного новобранца, как Гюго. „Жирарден, — говорил Сент-Бев, — старается, по-видимому, поймать крупного кита и, думаю, поймает его“. Вместо короля, которого Гюго считал слишком осторожным, а к нему невнимательным, он сблизился с герцогом Орлеанским, надеждой всех сторонников либеральной политики. Поэт обратился к нему с ходатайством за старика профессора, сделав это с некоторым кокетством

[1] Опубликован был лишь позднее, в „Созерцаниях“ (1843).

(„Примете ли вы, ваше высочество, ходатайство неизвестного за неизвестного?“). Просьба тотчас была удовлетворена, затем Гюго написал благодарственное стихотворение, которое и привело к знакомству наследного принца с поэтом. Когда Луи-Филипп по случаю свадьбы наследника престола дал банкет в зеркальной галерее Версальского дворца, Гюго был приглашен на него. Сначала он хотел отказаться. Присутствовать на банкете, устроенном на полторы тысячи человек, казалось ему скудной и незаметной честью. Кроме того, король, давно уже выказывавший холодность Александру Дюма, отказал романисту в приглашении. Гюго заявил, что без Дюма он не пойдет. В дело вмешался герцог Орлеанский, добился возвращения милости к Дюма и настоял на его приглашении. Гюго и Дюма, оба в мундирах Национальной гвардии (за неимением придворного костюма), встретились в Версале с Бальзаком, в наряде маркиза.

Виктор Гюго не пожалел, что он явился на банкет. Его посадили за стол герцога Омальского. Король был с ним весьма любезен. Жена наследника, герцогиня Орлеанская, отличавшаяся образованностью и благородством души, женщина с красивым открытым лицом, сказала ему, что она счастлива его видеть, что она часто говорила о нем с Гете, что она знает его стихи наизусть и больше всего ей нравится стихотворение, которое начинается словами: „То было в бедной церкви с низким сводом...“ Эта молодая немка говорила правду, она с шестнадцати лет увлекалась французской литературой. „Ее мечтой был Париж, а любимым поэтом — Виктор Гюго“. Она еще сказала ему: „Я осматривала *ваш* собор Парижской богоматери“. Августейшие хозяева явно желали понравиться знаменитому гостю и преуспели в этом. Через три недели после свадьбы наследника поэту дали орден Почетного легиона первой степени. Дворцовые служители привезли на Королевскую площадь романтическую картину „Инесса де Кастро“ с надписью на дощечке: *„От герцога и герцогини Орлеанских господину Виктору Гюго, 27 июня 1837 г.“*. Он стал присяжным поэтом будущей королевы французов; без него не обходился ни один прием в Марсанском Павильоне, — не только официальные приемы, бывшие по вторникам, но также интимные, которые назывались: „У камина“. Посвященные спрашивали друг друга: „Вы будете завтра *у камина*?“ И всегда они встречали там Виктора Гюго, излагавшего герцогу, „который был моложе его на восемь лет, ту мысль, что

поэт — это толмач господа бога, приставленный к принцам“.

Не испытывал ли он нежных чувств к будущей государыне? Сочетание мужского восхищения и рыцарской преданности молодой, красивой и романтической женщине, которая станет королевой, не чуждо сюжету „Рюи Блаза“, где „червь земной влюблен в звезду“. Но эти чувства оставались почтительными и тайными. Однако сохранился черновик любопытного письма поэта к герцогине. В январе 1838 года виконт и виконтесса Гюго принимали у себя, на Королевской площади, августейшую чету. Под управлением Луизы Бертен хор девочек спел отрывок из ее оперы „Эсмеральда“. Празднество очень удалось и утвердило династические симпатии Гюго.

Герцог Орлеанский удивился, что Виктор Гюго ничего не ставит на сцене, и драматург ответил, что у него нет театра: „Французская Комедия предоставлена мертвым, а Порт-Сен-Мартен отдан глупцам“. Принц заставил министра Гизо предложить автору редкую привилегию иметь *свой* театр. Им стал „Ренессанс“, и управление театром Дюма и Гюго доверили директору газеты Антенору Жоли. К открытию театра Гюго должен был дать драму в стихах.

Где нашел он сюжет „Рюи Блаза“? Источников тут много: мелодрама Латуша („Королева Испании“), роман Леона де Вейи, где рассказывается о том, как художник Рейнольдс, отвергнутый Анжеликой Кауфман, заставил ее выйти замуж за лакея; для внешней декорации было использовано „Путешествие по Испании“ — госпожи д'Альнуа. Но в сущности, источники большого значения не имели; драма — это сочетание поэзии, буффонады, фантазии и политики — была характерна для Гюго. Мечтатель Рюи Блаз вознесен к власти силой своего дарования и волей государыни. Осуществление мечты. „В драме две стороны: это и волшебная сказка, и манифест“. Рюи Блаз — „это народ, у которого есть будущее и нет настоящего... в нищете своей влюбленный в единственный образ, исполненный для него божественного сияния“, — в королеву.

Пьеса, написанная за один месяц, оказалась лучшим творением Гюго. Самый стих, героический по тону, звучанием не уступал стиху классиков „великой эпохи“, богатая и звучная рифма скандировала ораторские тирады, из которых одна по меньшей мере (монолог в третьем акте) представляла собою шедевр поэзии и исторической

правды. Роль Рюи Блаза исполнял Фредерик Леметр. Гюго знал, как страдает Жюльетта из-за того, что оборвалась ее театральная карьера, и понимал, что в этом виноват он. Если б любовь знаменитого поэта не бросала на нее слишком яркий свет, она бы, как и многие, многие другие, продолжала играть маленькие роли. Желая наконец вознаградить ее, Гюго предложил ей роль королевы Марии Нейбургской. По настоянию Дюма в театр „Ренессанс“ пригласили его любовницу Иду Ферье (в 1840 г. она стала его женой); Гюго имел, конечно, право на такую же любезность в отношении Жюльетты. Она была в упоении: „С тех пор как ты поманил меня возможностью сыграть в твоей восхитительной пьесе, я живу как лунатик, меня как будто напоили шампанским...“ Но это было бы слишком прекрасно. Она предчувствовала разочарование. „Я умру до своего дебюта в театре „Ренессанс“. Все эти люди облегчат мне путь к вечному упокоению“. Но ведь Гюго еще предложил ей совместное недельное путешествие в Монмирай, Реймс, Варенн, Вузье, и бедняжка Жюльетта сразу просияла от счастья: „Люблю тебя, мой Тото, обожаю тебя, мой дорогой. Ты мое солнце и жизнь моя...“

Солнце быстро затмилось. Адель Гюго воспользовалась отсутствием мужа и прибегла к мере весьма действенной, жестокой и достойной осуждения. Из Булони, где она находилась с детьми, она написала Антенору Жоли:

„Вы, наверно, удивитесь, что я вмешиваюсь в дела, которые в конечном счете касаются только вас и моего мужа. Однако, сударь, я, думается мне, имею некоторое право поступать так, раз я вижу, что успех пьесы Виктора поставлен под угрозу, и притом добровольно. А ведь так оно и есть, по крайней мере я этого боюсь, поскольку роль королевы отдана особе, которая была одной из причин шумихи, поднявшейся вокруг „Марии Тюдор“... Общественное мнение, справедливо это или нет, настроено не в пользу таланта мадемуазель Жюльетты. Я питаю некоторую надежду, что вы найдете способ передать эту роль другой актрисе. Нечего и говорить, что я имею тут в виду только интересы дела, оттого и настаиваю на этом. Мой муж, интересуясь этой дамой, оказал ей поддержку, и она поступила к вам в театр. Прекрасно! Но я не могу допустить мысли, чтобы все это дошло до того, что будет поставлен под вопрос успех одной из прекраснейших пьес...“

Адель приписывала свои тревоги заботам о художест-

венном успехе драмы, а на самом деле в ней говорила ревность; она попросила Антенора Жоли держать ее вмешательство в строжайшей тайне, погрешив таким образом против честности в своих отношениях с мужем. Директор испугался и по возвращении Гюго сообщил ему, что роль королевы он отдал Атала Бошен, которая для этого достопамятного выступления приняла настоящую свою фамилию — Луиза Бодуан и которая имела бесспорные права на главную роль, так как была любовницей Фредерика Леметра.

Гюго ничего не знал о письме Адели и не стал протестовать, так как в глубине души разделял опасения, высказанные ему Антенором Жоли. Печальную для Жюльетты весть он сообщил ей очень осторожно, — говорил не о том, что у нее недостает таланта для этой роли, а во всем обвинял интриги и предрассудки. Удар был очень жесток. „Какой ты был добрый со мной, мой бедненький, любимый мой. Я всегда хорошо чувствую все твои старания скрыть нанесенное мне оскорбление или утаить свое горе. Очень ценю это, очень...“ Постановка „Рюи Блаза“ оказалась для Жюльетты долгим мучением: „Мне очень грустно, мой бедненький дружок, ношу в душе траур по чудесной, дивной роли, умершей для меня навсегда. Мария Нейбургская никогда не будет жить *через меня* и *для меня*. Ты и представить себе не можешь, как мне горько. Потеряна последняя надежда. Для меня это страшный удар“. Потом эта преданная, самоотверженная женщина заказала себе для премьеры новое платье, а на спектакле аплодировала так усердно, что разорвала себе перчатки. Вместе с ролью в „Рюи Блазе“ исчезла для нее последняя надежда вернуться в театр, зарабатывать на жизнь для себя и для маленькой Клер. Что будет с нею, если когда-нибудь Гюго ее бросит? Но даже если он останется ей верен, как будет страдать ее гордость! Всю жизнь тебе одно названье — содержанка!

В течение года у нее разрасталась мысль, что если она не в силах создать себе независимое положение и не может рассчитывать на законный брак, то для нее спасением был бы „моральный брачный союз с любимым“. Быть его женой душой и сердцем — вот чего она хотела. На физическую верность этого фавна, окруженного целой сотней нимф, она совсем не рассчитывала. Кокетливость, появившаяся у ее возлюбленного, облегающий покрой панталон, обдуманная прическа были тут явным признанием, так же как и слишком частое его отсутствие на

ложе в квартире Жюльетты на улице Сент-Анастаз: „Истинно, истинно говорю вам: всякий мужчина, не исполняющий обещания своего, прослывет дурным возлюбленным, а тот, кто вечером посмотрит, положен ли в ногах постели его ночной наряд, прекрасно, однако, зная, что вернется он лишь поздним утром, считаться должен дурнем. И сказала тогда Жужу своему Тото: „У вас нет здравого смысла: вы допускаете, чтобы падали на съедение червям прекрасные плоды души, вместо того чтобы срывать их с любовью и вкушать с наслаждением, как чудесные плоды из райского сада..." Жюльетта по крайней мере хотела быть уверенной в прочности их связи, хотела следовать за возлюбленным повсюду и иметь неписаное право вставать между ним и другими женщинами.

На эти просьбы и сердечные излияния Гюго в 1839 году отвечал хмурым ворчаньем. Он был всем недоволен, его преследовали неудачи. „Рюи Блаз" имел средний успех. Интерес к романтической драме падал. Строгий критик Гюстав Планш вынес „Рюи Блазу" суровый приговор: „Это вызов здравому смыслу и хорошему вкусу... Возмутительный цинизм... Ребяческое нагромождение невозможных сцен. Господин Гюго слишком рано познал славу... Он замкнулся в самообожании, как в крепости... От этой чрезмерной гордыни до безумия один шаг, и господин Гюго сделал его, написав драму „Рюи Блаз"... Но если тут и было безумие, то уж больше со стороны критика, чем автора. Мелодраматический характер этой пьесы мог не понравиться, но как же отрицать ее красоты? Однако новое поколение ненавидело, как Сент-Бев, „слова с заглавных красных букв, украшенных золотыми позументами, как придворные лакеи в его драме".

Но Гюго уже работал над новой драмой — „Близнецы" и говорил, что он совсем изнемог. Жюльетта с тревогой задавалась вопросом, только ли работа были причиной его усталости. „Здравствуй, бегемот, здравствуй, королевский тигр", — говорила она своему грозному любовнику. Когда она жаловалась, Гюго клялся, что он никогда никого, кроме нее, не любил по-настоящему. Были ли это просто успокоительные слова, которые говорят мужчины? Она не хотела ему верить и требовала, чтобы исключительный характер их любви был подтвержден клятвой — не перед людьми, а перед богом. В ночь с 17 на 18 ноября 1839 года он дал на это согласие. Он поклялся, что никогда не покинет ни Клер, ни Жюльетту.

Она же обещала навсегда отказаться от театра. Это было не сделкой, но мистическим бракосочетанием, а для Клер Прадье — удочерением.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 18 ноября 1839 года: „Чтобы все было как должно при нашем бракосочетании, я испытала такое же волнение, как и в первый день нашей близости. Несказанное счастье, небесное блаженство, бессонница, изумление... Все это было нынче ночью, едва ли я спала несколько часов, хотя встала очень поздно. Словом, мой бедненький, обожаемый мой, почти что муж мой („почти" мало значит), сегодня утром, пробудившись и читая молитву, я чувствовала себя новобрачной. Да, да, я жена твоя, ты можешь, не краснея, показываться со мною на людях, и все же я прежде всего твоя любовница, это мое первое имя, имя, которое я ценю превыше всего и хочу сохранить..."

А Гюго? Каковы были его чувства? Он восхищался щедрой добротой этого благородного и великодушного создания, этой смиренной и страстной любовью. Он был благодарен Жюльетте за семь лет счастья, возвратившего ему веру в себя; он часто и серьезно обязывался быть отцом для маленькой Клер, несчастной из-за ее ложного положения; и тем не менее он по-прежнему заставлял „свою мистическую супругу" вести нелепую, затворническую жизнь, при которой она не могла ни подышать воздухом в саду, ни пройтись по бульвару. Деревом считай трубу своей печки, а солнцем — карселевскую масленую лампу, — такое существование было пыткой для бретонки, любившей простор полей. „Тото, Тото, вы не очень любезны со мной!" Действительно, не очень любезен, тем более что себе-то он позволял разные причуды и измены. Но правила созданы не для гениев. Ego Hugo. Однако в 1840 году они два месяца путешествовали вдвоем по Бельгии, побывали в Кельне и в Майнце. Тогда-то он и увидел Черный лес, название которого в детстве вызывало в его воображении картину сумрачной и страшной лесной чащи. Они доехали до Рейна. Видели белесое небо сквозь пролеты черных стрельчатых арок, руины старых башен, поросшие кустарником. Во время путешествия он был, как всегда, „очаровательно добрым и ласковым". Любовь их лучше всего расцветала в непривычной обстановке.

Радостью Жюльетты были также в 1839 году, а затем в 1840 году визиты Виктора Гюго академикам — те крохи времени, которые он при этом дарил ей, украдкой

прихватывая ее с собой в кабриолет. Гюго по-прежнему очень хотелось попасть во Французскую Академию, а он привык достигать желанной цели. В 1839 году со смертью Мишо, автора „Истории крестовых походов“, освободилось кресло. Гюго слыл кандидатом, имевшим поддержку в королевском дворце, и, хотя он сам от этого отнекивался, это так было на самом деле. С Луи-Филиппом после банкета в Версале он заигрывал. Когда Арман Барбе был приговорен к смертной казни за вооруженное нападение на сторожевой пост в Консьержери, когда был убит в стычке начальник охраны, Гюго принес в Тюильри следующее четверостишие:

Я знаю, — чужды вам и мстительность и злоба,
О милости прошу, властитель наш благой!
Во имя, государь, вам дорогого гроба
И колыбели дорогой![1]

Король ответил любезно и с уважением к конституции: „Моя мысль опередила вашу. В ту минуту, когда вы просите о помиловании, я уже оказал его в сердце своем. Мне остается только получить его. *Луи-Филипп...*“ Поэтому позднее поэт и написал об этом короле: „Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV... Один из лучших государей, когда-либо занимавших престол...“[2]

В Академии соперником Виктора Гюго был в этот раз Антуан Беррие. Правительственная цензура, прежде враждебная Гюго, теперь поддерживала его против оратора-легитимиста. Некая газета, благосклонная к Беррие, хотела напечатать карикатуру, на которой Академия, изображенная в виде благодушной старушки, отгоняет Виктора Гюго, Бальзака и Александра Дюма от дверей дворца Мазарини. Подпись под рисунком гласила: „Вы ведь крупные и сильные, а проситесь в убежище инвалидов. Вы что же, хотите отнять хлеб у бедных старичков?.. Ступайте работать, лентяи!“ Цензура не пропустила эту карикатуру. Выборы в Академию состоялись 19 декабря. В первом туре Беррие получил десять голосов; Гюго — девять; Бонжур — девять; Вату — два; Ламенне — ни одного; пустых бюллетеней было подано три. После семи туров выборы были отсрочены на три месяца.

---

[1] Пер. М. Донского.
[2] Гюго В. Отверженные.— Собр. соч., т. 7, с. 288.

Голоса, полученные Казимиром Бонжуром, автором слащавых комедий, означали у одних — „только не Беррие“, а у других — „только не Гюго“.

Тридцать первого декабря 1839 года вновь появилась вакансия ввиду смерти монсеньора Келен, парижского архиепископа, — того самого, который вернул Жюльенну Говэн к мирской жизни. 20 февраля 1840 года были проведены двойные выборы: тридцатью голосами из тридцати одного был избран граф Моле на место Келена и Флуране на место Мишо. Гюго же был забаллотирован. Одним из самых ярых противников Гюго был Непомюсен Лемерсье. Дюма пригрозил ему: „Господин Лемерсье, вы отказались отдать свой голос Виктору Гюго, но уж свое место вам рано или поздно придется ему отдать“.

Так оно и случилось. Лемерсье умер 7 июня 1840 года. Кузен сказал Сент-Беву: „Пусть уж изберут Гюго в Академию, пора с этим кончать, это становится скучным“. И вот 7 января 1841 года Гюго одержал верх над третьестепенным драматургом Ансело, получив семнадцать голосов против пятнадцати, отданных его сопернику. За Гюго голосовали: Шатобриан, Ламартин, Вильемен, Нодье, Кузен, Минье, а также политические деятели — Тьер, Моле, Сальванди, Руайе-Коллар, что было, думалось Гюго, указанием, может быть — приглашением. Гизо, который был за Гюго, опоздал и не мог голосовать. Сент-Бев одобрил избрание в своей записной книжке: „Так, так! Это хорошо. Академию нужно время от времени насиловать...“ Избрание Гюго произошло вскоре после того, как прах Наполеона I был перевезен с острова Святой Елены в Париж, и поэтому газета „Ла Пресс“ напечатала следующее анонимное четверостишие:

Вы оба наконец достигли цели правой,
Достигли, вопреки всем козням темных сил:
Наполеон в Париж вернулся вновь со славой,
И в Академию Виктор Гюго вступил[1].

Жюльетту очень огорчала пятая попытка Гюго выставить свою кандидатуру: „Ах, как бы я хотела, чтобы не было ни Академии, ни театров, ни издательств, пусть бы на свете были только большие дороги, дилижансы, постоялые дворы и обожающие друг друга Жужу и Тото...“ Но в вечер избрания она бросилась к нему в объятия:

---

[1] Пер. М. Донского.

„Здравствуй, мой Тото! Здравствуй, мой академик, славой насыщенный, но еще не пресыщенный...“

Ко дню его приема в Академию она заказала себе красивое платье (сам новоизбранный возил ее к портнихе на примерки, так как Жюльетта не имела права бывать где-нибудь одна); она так боялась опоздать на заседание, что приехала на набережную Конти задолго до того, как туда явился наряд охранителей порядка. Сутолока была невиданная. В публике называли госпожу Жирарден, госпожу Луизу Колле, госпожу Тьер, многих актрис; с особым интересом указывали на Адель и Жюльетту. Впервые за десять лет в Академию пожаловали принцы. Герцога и герцогиню Орлеанских (она была очень хороша в белой шляпе, отделанной бледными розами) встретил у дверей дворца Мазарини постоянный секретарь Академии — Вильмен. „Мне кажется, — сказал он, — что вы, ваше высочество, и ваша супруга в первый раз посетили Академию?“ Наследник престола ответил: „В первый, но, надеюсь, не в последний раз“.

Появление Гюго было величественным. Темные, гладко причесанные волосы открывали его высокий пирамидальный лоб и спускались валиком на воротник с зеленым шитьем. Глубоко сидящие маленькие черные глаза блестели от сдержанной радости. Первая его улыбка была обращена к Жюльетте, та едва не лишилась чувств, увидев, как он входит, бледный и взволнованный: „Спасибо, мой обожаемый, спасибо за то, что ты подумал о бедной женщине, которая любит тебя, подумал о ней в такую важную, можно было бы сказать, *решительную* минуту, если бы люди, собравшиеся там, не были в большинстве своем мерзкими кретинами и гнусными негодяями...“ Затворница была счастлива видеть, что на скамьях сидят „все мои дорогие малютки: прелестная Дидина, очаровательный Шарль и мой милый маленький Тото, похожий на другого Тото, который был бледен и казался больным...“

Речь Гюго всех удивила. Минут двадцать он говорил о Наполеоне, воздал хвалу Конвенту, хвалу — монархии и младшей ветви династии Бурбонов, воздал хвалу Франции, которая „дает направление мыслям во всем мире“, восхвалил Академию: „Вы один из главных центров духовной власти“, похвалил своего предшественника Лемерсье, в нескольких общих фразах, а в заключение восславил Мальзерба, человека просвещенного, выдающегося министра, достойного гражданина. „Почему Мальзер-

ба?“ — спрашивала разочарованная публика. Посвященные давали такой ответ, как Сент-Бев: „Хитрость, шитая белыми нитками“, или как Шарль Маньен: „Разгадка тут — звание пэра и пост министра“. Сент-Бев занес в свою записную книжку: „Гюго! Пришел на смену Лемерсье, а вид такой, будто наследует Наполеону“. Исполняющий обязанности директора Нарцисе-Ашиль де Сальванди, историк и политический деятель, о котором Тьер говорил, что он „важничает и распускает хвост, как павлин“, не поскупился на традиционные стрелы, которыми уязвляют нового академика. Жюльетта нашла, что Сальванди — „безобразный, краснорожий, спесивый, угрюмый грубиян“. Начало его речи было ироническим:

„Древние, для того чтобы восторжествовать, окружали себя изображениями своих предков. Наполеон, Сийес, Мальзерб, не ваши предки, сударь. У вас другие предки, не менее знаменитые — Жан-Батист Руссо, Клеман Маро, Пиндар и создатель псалмов, царь Давид. Мы здесь не знаем более прекрасной родословной“.

Гюго говорил, что Наполеон назначил бы Корнеля министром, живи он в его время.

„Нет, нет! — парировал Сальванди. — У нас было бы меньше бессмертных драм; а можно ли иметь уверенность, что у нас было бы одним великим министром больше? Мы вам очень благодарны, что вы мужественно защищали свое призвание поэта против всех соблазнов политического честолюбия...“

Ехидные слова — поскольку всем было известно политическое честолюбие человека, к которому Сальванди их обращал. Преданная Жюльетта возмущалась „завистливой неуклюжестью“ его ответной речи, но сохранила чудесное воспоминание о первых, волнующих минутах заседания: „С того мгновения, как ты вошел в зал Академии, на меня нахлынуло и не покидало меня чудесное, сладкое чувство, что-то среднее между опьянением и экстазом, словно мне было небесное видение и предо мною явился сам бог во всем своем величии, во всей красоте своей, во всем великолепии и славе своей...“ Но у публики, чуждой восторгам влюбленной женщины, господин Сальванди имел большой успех.

Сохранилось любопытное письмо Виктора Гюго к Сальванди. После заседания директор сказал новому академику, что король недоволен, зачем Гюго назвал его в своей речи „соратником Дюмурье“ — ведь у Дюмурье дурная репутация. Гюго ответил: „Желание короля будет

исполнено, дорогой коллега. Биографии категоричны в своих сведениях, но я предпочитаю верить королю, а не биографиям. Поэтому я поставлю „*соратник Келлермана*“, имени Дюмурье больше не будет. Немедленно пошлю в типографию Дидо исправление. Я перечитал в „Деба“ вашу речь и очень рад вам сказать, что если она кое в чем (может быть, я тут заблуждаюсь) немного задевает меня как человека, то как писатель я от нее в восторге“. Это была гибкая и ловкая тактика. Но в напечатанном тексте речи стоит „*соратник Келлермана и Дюмурье*“.

Руайе-Коллар, ворчливый доктринер в высоком галстуке, язвительно сказал Виктору Гюго: „Вы произнесли очень большую речь для такого маленького собрания“. Но газета „Ла Пресс“ нисколько не обманулась. Большая речь возвещала о больших намерениях. „Это первый шаг к парламентской трибуне, кандидатура в одну из двух наших палат, а может быть, в обе, и даже больше — программа министерства...“ Юмористический журнал „Ла Мод“, в мнимой хроникерской заметке, рассказал, как „принцесса Елена, видя, что приближается момент, когда на голову ее возложат корону Франции, заранее составила свой совет министров следующим образом:

„Военный министр, он же председатель совета — Виктор Гюго.
Министр иностранных дел — Теофиль Готье.
Министр финансов — Альфред де Мюссе.
Министр морских дел — де Ламартин...“

Сент-Бев говорил: „Видно, к чему он клонит“. Да, это было видно, потому что он хотел быть на виду и не скрывал своих намерений. *Быть Шатобрианом или ничем.* От мечты Гюго переходит к действиям. Он открыто ставил вехи своего будущего пути. Возрастающая близость с наследником престола и его женой. Пост председателя Общества литераторов. Опубликованные брошюры со всеми стихами Гюго о Наполеоне — в качестве подготовки к перенесению праха императора. Многочисленные приемы на Королевской площади. Из молочной „Швейцария“ госпоже Гюго доставляли для них мороженое в формочках по тридцать франков за сто порций; бутерброды по двадцать франков за сотню, кофе-гляссе по четыре франка за чашку и горячий пунш по три франка за чашку. Приведены были в порядок семейные финансовые дела. Гюго уступил на десять лет издателю Делуа за две-

сти пятьдесят тысяч франков (из коих сто тысяч выплачивались сразу же наличными) право переиздания всех своих вышедших уже произведений. Таким образом, достигнут был большой достаток и приобретен имущественный ценз, необходимый для звания пэра. Однако Виктор Гюго продолжал проповедовать в обоих своих семействах режим экономии. Капитал трогать нельзя, надо жить на доходы. Но у него появилась дорогостоящая слабость — он стал щеголем. В те времена, когда Гюго покорил сердце Жюльетты, он одевался довольно небрежно, и мадемуазель Друэ, вкусы которой воспитывали князь Демидов и ему подобные, зачастую подтрунивала над отсутствием у него франтовства. Теперь она сожалела об этом. „Натворила я себе беды, приучив его к щегольству! Но ведь кто же мог подумать, что вам понравится подобное превосходство над другими, недостойное такого человека, как вы! Я в ярости, что так преуспела в своих наставлениях! О, если бы я могла вернуть ваши славные, нехоленые пальцы, ваши наивные подтяжки и вашу взлохмаченную шевелюру и крокодиловые зубы — я бы уж непременно это сделала!..“

А в другой раз она возмущалась: „Тото затягивается, как гризетка; Тото завивается, как подмастерье портного; Тото похож на образцовую куклу; Тото смешон; Тото — академик...“ Он не обращал внимания на ее шпильки: будущий государственный деятель должен иметь внушительный вид. Госпожа Гюго, которую беспокоила прочность этой связи, попыталась пойти в наступление против Жюльетты — якобы в интересах честолюбия мужа.

„Признаюсь, меня тревожит твое будущее — с материальной стороны. Ведь твой дом должен быть поставлен приличнее, чем теперь. Надо, чтобы ты имел возможность принимать у себя людей, так же как тебя принимают. Я знаю, что наш скромный образ жизни ничему не мешает, но будь уверен, что он окажется помехой на дальнейшем твоем пути, затормозит твое продвижение к той цели, какую ты себе поставил... Боюсь, как бы обязательства, взятые тобою, когда-нибудь не заставили тебя вынуть часть денег, которые ты поместил с таким трудом... Мне приходится сказать тебе об этом, так как я страшусь, что все твои усилия будут бесплодны и приведут к недостаточным результатам. Ни ты, ни твои близкие не должны перебиваться кое-как, — вы должны жить прилично. Мне хочется напомнить тебе то, о чем я уже говорила: я мысленно отрекаюсь от всякого рода

прав на богатства, какие ты можешь себе составить. Я смотрю на себя как на управительницу, обязанную вести твой дом и надзирать за тем, чтобы во всем было там как можно больше порядка, и я считаю себя воспитательницей наших детей. Тут уж я смело говорю *наших детей*, ибо не хочу отказываться от своих прав на них. Так вот, мой друг, лишь ради тебя самого, исключительно в собственных твоих интересах, умоляю, поразмысли хорошенько! Говорю с тобою как сестра, как друг твой. Не знаю уж, что и сказать, чтобы ты поверил в полное мое бескорыстие. Подумай, подумай о своем будущем! Посмотри, каким способом ты сможешь уменьшить материальное свое бремя...“

„*Уменьшить бремя*“ — это значило порвать с Жюльеттой! Он об этом и думать не желал. Узы плоти стали менее прочны, чем в первые дни, но Жюльетта сохранила все те достоинства, каких Адель не имела и не желала иметь, — она была смелой путешественницей, трудолюбивой переписчицей, искренней почитательницей, воплощенной поэзией. Он все еще слагал благодарственные гимны в ее честь: „Жюльетта, это прелестное имя, запавшее мне в душу, расцветает в моих стихах; ты не только мое сердце, ты вся моя мысль... Если есть у меня некоторое дарование, это ты его породила во мне“. А 1 января он написал:

Нас годы обокрасть пытаются напрасно;
Все так же нежен я, все так же ты прекрасна,
И сердце молодо, как десять лет назад.
Страшиться времени — не стоит, дорогая!
Как годы ни летят, нас к небу приближая,—
Они нас от любви не отдалят![1]

Супруга же несла обязанности по внешним сношениям. С тех пор как Сент-Бев перестал воспевать „королевского буйвола“, она проявляла внимание к другому приятелю мужа, который появился в их доме во времена „Эрнани“ и стал с тех пор влиятельным и всесторонним критиком, дававшим отзывы о драмах, о книгах, о живописи, — словом, она немного кокетничала с Теофилем Готье, по прозвищу „добрый Тео“.

Адель Гюго — Теофилю Готье, 14 июля 1838 года: „Хотела бы я знать, почему вы не приходите к нам почаще, если уж не хотите бывать у нас постоянно. Из

[1] Пер. М. Ваксмахера.

двух зол следует выбирать меньшее, и я предпочла бы видеть вас ежедневно, чем не видеть совсем! Скажу даже, что мне это было бы бесконечно приятнее, потому что для меня праздник, когда вы приходите, и, право, не знаю, почему вы не устраиваете его для меня как можно чаще. Если захочешь, всегда найдешь время написать фельетон. Уж я бы улучила часок, чтобы написать о вашем „Фортунио", который мне полюбился, как ваше второе „я", но нам не хватает вашего первого „я", которое нисколько его не хуже. Когда-нибудь вы нам его покажете, правда? Жду его, ведь я немножко *сентиментальна* и не могу от этого избавиться. Что поделаешь! Я в этом такая же, как белошвейки, как модистки, горничные, даже кухарки. Вы же обещали написать роман для „такого рода публики", а поскольку я принадлежу к ней по своему моральному складу, то я и требую, чтобы вы этот роман написали..."

Булонь, 1 сентября 1838 года: „Обидно, когда любишь своих друзей больше, чем они тебя любят. Говорю это с полным основанием и в отношении себя, и в отношении этих самых друзей; ведь бесконечное множество вещей занимает их больше „священного имени дружбы", из сего и проистекает, что богиня дружбы (да богиня ли это?) имеет весьма второстепенное значение, особенно для вас. То, что я вам пишу, ничуть не изменит того, что есть, — ведь говори об одном и том же хоть сто лет, пиши сто лет, а от этого ничего не переменится, только надоешь людям! Я претендую лишь на то, чтобы вы, снисходя к моей просьбе, приехали ко мне в гости *на несколько часов* — приехали бы в полдень и остались бы до вечера... Приезжайте *без всякого письма.* Случай все устраивает лучше, чем люди предполагают. Вы совсем со мной не любезны. А я вас все-таки люблю от всего сердца, потому что у вас для этого есть все качества.

Преданная вам *Адель Гюго...*"

Двадцать шестого сентября 1838 года: „Итак, приходите за мной завтра в четверг, в мастерскую нашего друга Буланже...[1] Приходите в 5 часов, я вас повезу в Булонь, где вы, наверно, пообедаете с Великим челове-

[1] Художник Луи Буланже работал в сентябре 1838 г. над портретом Адели Гюго, который был выставлен в Салоне 1839 г. Селестен Нантейль сделал с него офорт. В наше время портрет выставлен в Доме Гюго на Вогезской площади. (Прим. автора.)

ком. Чего только не приходится изобретать, чтобы поболтать с вами минутку..."

Без даты: „Я ужасно боюсь, что вы придете завтра, — из-за этого и пишу вам. Я была бы в отчаянии, если бы вы не застали меня, поэтому тороплюсь написать вам, чтобы быть спокойной на этот счет. Может быть, таким способом я еще и напомню вам, что вы должны приехать в Булонь, чтобы *провести несколько часов со мной*. Как знать! Но как бы то ни было, завтра меня здесь не будет. Жду вас в среду... Что касается дальнейшего, то я притязаю на право собственности в отношении вас, и сама предоставила бы его вам в отношении себя, не будь я женщиной и к тому же преданным вашим другом.

Адель Гюго..."

Двадцать восьмого января 1839 года: „Приходите же, принесите нам вашу книгу! Ведь это нелепо, что все ее прочли раньше нас. Конечно! Вы больше не балуете меня! Что ж, я и в самом деле становлюсь страшной... Должна вам сказать, поскольку вы так хорошо умеете хранить тайны, что я открыла слабое место у Великого человека: он по-настоящему огорчен, что вы не пожелали что-нибудь сказать о дон Сезаре[1]. Я открыла в нем человеческую черту: обидчивость в дружбе..."

„Я считаю вас более чувствительным, чем вы это признаете. Правда это или нет, но таким я вас восприняла в своем сердце и держусь своего мнения. В мыслях я создала маленький роман, дополняющий для меня ваш образ, но на этом я и остановлюсь. Женщинам приходится ограничиваться вымыслом, потому что они становятся такими глупыми и смешными, когда берутся за перо, пачкают себе пальцы чернилами (...). Будьте уверены, что, при всех разочарованиях, пережитых в жизни, я нисколько не сомневаюсь в дружбе, я ставлю ее на алтарь и чту ее как драгоценнейшее мое сокровище. До скорого свидания. Верно? *Адель*".

Без даты: „Усердно читаю, как вы того пожелали, ваши фельетоны. Сегодня заметила, что вы еще ничего не сказали о моем портрете... Будьте так любезны, напишите, что он повешен слишком высоко, — может быть,

---

[1] Вероятно, речь идет о „Рюи Блазе",— пьеса эта, поставленная 8 ноября в театре „Ренессанс", вслед за тем была напечатана. (Прим. автора.)

его тогда перевесят пониже? Мне стыдно, что я вас занимаю заботами о моей особе, — ведь сама-то я обычно очень мало забочусь о ней; но ваше замечание поможет карьере молодого художника, который нуждается в небольшом успехе, чтобы пробиться".

Без даты: „Я ждала вчера вечером, что вы навестите меня... Совсем вы меня покинули, — это очень дурно с вашей стороны. Если хотите помириться со мной, приходите завтра, в понедельник, обедать к Роблену, в „Сен-Джемс". Постарайтесь прийти пораньше, *чтобы можно было прогуляться в лесу.* Будьте на этот раз точным".

Без даты: „Дорогой господин Готье, если вы желаете посетить в ближайшее воскресенье Лонгшанские купальни, они будут открыты для вашего сиятельства. Вы пообедаете с нами... Если бы вы могли сказать в вашем фельетоне несколько слов об этом уголке, вы этим обязали бы квартал Королевской площади, который был когда-то и вашим кварталом. Больше никогда не буду надоедать вам. Поступайте по своему усмотрению. Только любите меня, как вашего лучшего и самого давнего друга. *Виконтесса Гюго*".

Адель продолжала верить в возможность дружбы между мужчиной и женщиной; она ужасно боялась обжечься, но любила играть с огнем. Женщина, покинутая мужем, чувствует потребность приободриться.

С мая по октябрь 1840 года Адель Гюго жила вместе со своим отцом и двумя дочерьми в Сен-При, на опушке леса Монморанси, в большом доме, называвшемся „Терраса". Мальчики были в пансионе Жофре, находившемся на улице Кюльтюр-Сент-Катрин (в настоящее время улица Севинье), — оттуда они ходили в „королевский коллеж Карла Великого". Живя в пансионе, они требовали то у матери, то у Дидины пособия: „Четыре су, чтобы расплатиться с долгами (это очень срочно), и банку варенья..." „Мама, я тебя люблю, — писал Шарль, — я тебя обожаю, ты мой ангел, жизнь моя... Скажи Дидине, чтоб она послала мне завтра банку варенья для тех случаев, когда на полдник дают один хлеб сухой..." Он плакал, когда возвращался в пансион: „Я поминутно вспоминаю бабочек на занавесках в гостиной, картины, полог над кроватью, красный столик... Если я целый год не буду видеть тебя, то могу дойти до самоубийства..." Романтизм оказался наследственной чертой, и Шарль, который драматизировал свое положение в духе пьес Виктора Гюго, жаловался на то, что он „безвестный сын вели-

кого, счастливого отца". Гюго долгое время не уделял внимания сыновьям, но около 1840 года стал следить за их занятиями, в особенности за уроками по латинскому языку, которому придавал большое значение. Он был счастлив и горд, когда 31 июля 1840 года узнал, что его младший сын, Франсуа-Виктор, получил на общелицейском конкурсе премию за перевод с французского языка на латинский. Он поехал в Сен-При, чтобы отпраздновать с семьей это важное событие. Целый выводок детей, красивых и умных, превращал „Террасу", как некогда замок де Рош, — в радостный рай. Помогая сыновьям соорудить хижину из ветвей, а Деде разводить кур и кроликов, глядя с любовью на Леопольдину, Гюго с волнением вспоминал то счастливое время, когда он хотел быть „первым и в браке", и в отцовстве, и в поэзии. Но семейная его жизнь шла теперь со скрипом, на каждом шагу давали себя знать диссонансы, и это уже было непоправимо. „Наши судьбы и наши намерения почти всегда играют невпопад".

III

Рейн

Вы знаете мою страсть к длительным путешествиям с короткими переходами, в обществе давних друзей детства — Вергилия и Тацита.

Виктор Гюго, Рейн

В трех путешествиях (1838, 1839 и 1840 гг.), кроме Вергилия и Тацита, поэту сопутствовала Жюльетта Друэ; он совершал с ней длительные и фантастические прогулки почитателя старины и мечтателя. Но каждый вечер он посылал Адели Фуше письма в виде дневника с рисунками, поручая ей хранить эти послания как материал для будущего его произведения. Гюго „оставляет в Париже верного и дорогого друга, прикованного к столице постоянными заботами и делами, которые едва позволяют ему съездить на дачу, в четырех лье от заставы"[1]. Этим „*другом*" была его жена (или реже художник Луи Буланже). Путешественник вел еще и другой дневник, бо-

[1] Гюго В. Рейн. Письма к другу. — Собр. соч., т. 14, с. 177.

лее значительный, содержавший в себе политические и исторические рассуждения. В путешествии 1839 года, длившемся свыше двух месяцев, он днем совершал прогулки, а по ночам писал, в то время как Жюльетта смотрела на него, ожидая, когда придет ее час — час любви.

Странным, почти магическим очарованием привлекала Гюго великая река, овеянная легендами. В детстве на улице Фельянтинок он каждый вечер смотрел на картину, висевшую над его кроватью, и мрачная разрушенная башня, изображенная на этой картине, завладела его воображением, — она повторялась в придумываемых мальчиком сказках и во множестве его рисунков. Гюго плохо знал немецкую литературу, но все же, как и его друзья, — Нерваль и Готье, читал чудесные *сказки* Гофмана. В предисловии к книге „Рейн" он даже признавался: „Германия (автор книги не скрывает этого) является одной из стран, которые он особенно любит, а немцы — одной из наций, которыми он восхищается. Он питает почти сыновние чувства к этой благородной и святой родине всех мыслителей. Если б он не был французом, то желал бы стать немцем".

Быть может, к его стремлению постигнуть и выразить характер немецкой поэзии присоединилось и желание растрогать немецкую принцессу, герцогиню Орлеанскую. Кроме того, он полагал, что, обращаясь к франко-германским отношениям, писатель может принести пользу своей стране и принять участие в общественных делах. Вот почему Гюго включил в 1841 году в книгу „Рейн", кроме легенд, очерков, размышлений о прошлом, еще и послесловие политического характера. В предшествующем году, казалось, назревал конфликт между Францией и Пруссией. Немецкий поэт Беккер написал стихотворение „Немецкий Рейн", на которое Мюссе ответил знаменитыми стихами „Мы владели вашим Рейном, мы черпали воду из него...". И в своем послесловии Гюго, приводя обстоятельные и серьезные доводы, торжественно предлагает разрешить споры мирным путем: пусть Пруссия возвратит Франции левый берег Рейна, „гораздо более французский, нежели это думают немцы". Вместо него Пруссия получит Ганновер, Гамбург, вольные города, выход к океану; выгода для нее будет состоять в том, что она получит свободные порты и единство территории. И тогда Франция и Германия, созданные для сотрудничества, объединятся с целью обеспеченья мира на земле. „Рейн —

река, которая должна их объединять, а ее превратили в реку, которая их разъединяет".

Этот пространный очерк широтой исторического кругозора, энергией стиля, смелостью поставленных проблем и предложенных решений производил солидное впечатление. Но виден ли тут был человек государственного ума? В этом можно усомниться. Истинный посредник не выступает столь категорично. Кроме того, у автора под пышным потоком антитез и поучений обнаружилось плохое знание людей. Кто во Франции желал, чтобы Пруссия была единой и имела выход к океану? Кювелье-Флери в „Журналь де Деба" яростно возражал: „Вы утверждаете, что Пруссия, какой она является, согласно решениям Венского конгресса, плохо скроена. Ах, что за несчастье! И вы желаете возродить Пруссию в ущерб Франции, вы даете ей морские порты, присоединяете к ней Ганновер, расширяете ее границы, превозносите ее моральный престиж! И ради чего все это делается? Лишь для того, чтобы Франция владела департаментом Мон-Тоннер!" Здесь человек здравого ума брал верх над гением. Поэт под впечатлением увиденного пытался разрешить историческую проблему, „по простому очертанию старого Пфальцского княжества он стремился раскрыть тайну прошлого и постигнуть тайну будущего". Он увидел Рейн, но то был Рейн страшный, эпический, „эсхиловский". Великолепные наброски, которые он оттуда привез, поражали своим трагическим характером, сверхъестественной, фантастической силой, но передавали скорее темперамент самого Гюго, нежели пейзажи Рейна. По преимуществу он пользовался двумя стилистическими манерами, одна из которых, как говорил Сент-Бев, отличалась свойственной Гюго „пышностью и помпезностью", тогда как другая (книга „Увиденное") представляет собою превосходный репортаж. Благодушный Виктор Пави писал Давиду Анжерскому: „Поднимались ли вы по Рейну, на этот раз не в лодке, не в коляске, а при помощи книги Виктора Гюго? На каждом шагу — он и только он — поэт, отраженный в этой реке, непрестанно наделяющий ее воды и берега то голосом, то сверканием искр. Его ужасный деспотизм так странно воспринимает мир, что весь нарисованный пейзаж только о самом художнике и говорит. Рука, облаченная в железную перчатку, в конце концов придавит вас. Человек после этого чтения чувствует себя разбитым, задохнувшимся, словно добыча орла, выпавшая из его когтей".

Бальзак, который никогда не был снисходителен к Гюго, признавал, однако, „Рейн“ шедевром. Ему сообщили, что Виктор Гюго, как в свое время его брат Эжен Гюго, сошел с ума и что его должны поместить в больницу. Бальзак даже написал об этом Ганской. „Рейн“ убедительно опровергал эту выдумку: французская проза со времен Шатобриана еще не создавала столь величавого и гармоничного творения. „Руины минувших веков, представшие перед моими глазами в такой час, при таком свете, возбуждали чувство тихой грусти и поражали своим величием. В едва различимом колебанье листьев на деревьях и кустарниках мне чудилась какая-то почтительная боязнь. Не слышно было ни человеческого голоса, ни звука шагов. Лучи и тени не проникали во двор замка — там царил таинственный полумрак, все скрывавший и все выделявший. Бледный лунный свет, пробиваясь сквозь бреши и трещины в стенах замка, доходил до самых темных его углов, а в мрачной его глубине, под высокими сводами и в недоступных проходах медленно колыхались какие-то белые призраки“. Перед нами как будто отрывок из „Замогильных записок“ Шатобриана в графическом переложении Виктора Гюго, озаренном тусклым светом луны.

„Словно добыча орла, выпавшая из его когтей“, — писал Пави, — но и сам орел мог упасть с высоты. Торжествующий Гюго „парил под вечным сводом, но вдруг ураганный порыв ветра сломал ему крылья“. В том же 1842 году его друг и покровитель, наследник престола герцог Орлеанский, погиб из-за несчастного случая, когда ехал в экипаже по проспекту, называвшемуся в то время „Дорога восстания“; лошади внезапно понесли, герцог попытался выпрыгнуть из экипажа и разбил себе череп о мостовую. Катастрофа эта преисполнила Гюго искренней скорбью, и все же он захотел увидеть собственными глазами ее обстановку. Он исследовал место, где герцог выпрыгнул из экипажа, — оно оказалось на левой стороне дороги, между двадцать шестым и двадцать седьмым деревом, если вести счет от ворот Майо. Он отметил, что агония герцога прекратилась „на кирпичном полу“, „в бакалейной лавке, размалеванной зеленым цветом“. За головой умирающего находилась растрескавшаяся печь. На стенах висели грошовые лубочные картинки — „Агасфер“, „Покушение Фиески“, портреты Наполеона, Луи-Филиппа и герцога Орлеанского в мундире гусарского генерал-полковника. Друг скорбел о друге. Поэт, всю-

ду искавший антитезы, размышлял о том, что герцог, молодой, беспечный, счастливый, проезжал мимо этой зеленой двери всякий раз, когда направлялся в замок Нейи. Если он порою и бросал беглый взгляд на эту бакалейную, то она, вероятно, казалась ему жалкой лавчонкой, убогой лачугой, может быть, каким-нибудь притоном. И именно она стала его гробницей. Возвращаясь с Жюльеттой в Париж, Гюго увидел расклеенные на стенах афиши, возвещавшие огромными буквами: „Празднество в Нейи". Сущая находка для любителя контрастов.

Герцог Орлеанский, человек благородного сердца, был надеждой либералов. Теперь им приходилось пересмотреть все свои проекты устройства будущего. Виктору Гюго, возглавлявшему в то время Академию, поручили выразить королю соболезнование от лица всего Французского Института. Он восхвалял безвременно погибшего герцога. „Государь, ваша кровь — это кровь страны. Ваша семья и Франция едины сердцем. То, что наносит удар одной, ранит и другую. Ныне Французский народ с глубоким сочувствием обращает свой взор к вашей семье, к вам, государь, надеясь, что вы будете жить долго, так как вы необходимы богу и Франции, — к королеве, августейшей матери, на долю которой выпало самое тяжелое испытание среди всех матерей Франции, наконец, к принцессе, истой француженке по духу, избравшей второй для себя родиной нашу страну, которой она дала двух французов, двух герцогов, двойную надежду для будущего..."

Каким же предстанет это будущее? Кто знает? Вдруг установят регентство? Принцесса Елена фактически окажется королевой. Быть может, Виктор Гюго станет тогда премьер-министром? Но прежде всего нужно получить звание пэра, стать приближенным старого короля.

Через месяц после разразившейся драмы он отправился с визитом к герцогине Орлеанской, пожелав, как это ни странно, взять с собой Жюльетту, — и та ждала его в кабриолете, пока он был во дворце.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 20 августа 1842 года: „По каждому поводу меня охватывает страх и, стало быть, отчаяние. Вот этот визит к герцогине Орлеанской, когда ты так мило возил меня с собой, — он стал для меня пыткой из-за времени и обстоятельства твоего визита: я в простом домашнем платье и эта женщина, красавица, которую постигло великое горе, что должно еще увеличивать для тебя ее очарование. Признаюсь, как

ни мужественна моя любовь, как ни велико мое доверие к тебе, я не спокойна, раз мне приходится бороться, и бороться безоружной...“ Опасения были напрасны. Августейшая вдова, облаченная в глубокий траур, думала лишь о своей утрате и о своих сыновьях. Но она продолжала принимать поэта и обсуждать с ним неясное будущее.

IV

О гладиаторах в литературе

Гюго гениален; гений — это нечто великое, но не совершенное.

Жюль Ренар

Когда в 1840 году Гюго опубликовал „Лучи и тени“, сборник стихотворений в духе „Внутренних голосов“, то первым побуждением Сент-Бева было — нанести смертельный удар ненавистному противнику. Уже давно его приводило в ярость молодое поколение аллилуйщиков, фанатических поклонников Виктора Гюго, которые нападали на Бюлоза, на „Ревю де Де Монд“, даже на самого Сент-Бева и на любого, кто не воскурял безудержно фимиам их вождю. Сам Гюго оставался в тени, его серьезный вид напоминал Сент-Беву „римских патрициев смутных времен, содержавших в горах шайки разбойников, с которыми они якобы не знались и во главе которых их никогда никто не видел“. Публично Виктор Гюго не поощрял своих литературных „гладиаторов“, но, быть может, „оттачивал перо дерзких своих оруженосцев и был повинен в их злодеяниях в такой же степени, как некий английский король, неосторожно обмолвившийся словами, которые заставили четырех придворных головорезов броситься с кинжалом на Томаса Бекета“.

Нет, Сент-Бев не мог простить своему другу ни его мощи, ни его торжествующего творческого размаха. Сент-Бев знал, вернее, полагал, что он умнее Виктора Гюго; он обладал более тонким художественным вкусом, но ему не радостно было все понимать, обо всем судить и ни во что не верить: „Я слишком хорошо знаю, что лишен какого бы то ни было величия, что я не способен ни любить, ни верить. Только тем и утешаюсь, что быстро все понимаю“. Его неотвязно преследовал ненавистный ему

образ Гюго: „Это человек, у которого все искусственно, рассчитано, все обдумано, вплоть до его „здравствуйте“. И так он себя вел с пятнадцатилетнего возраста. Долгое время я в этом сомневался, но когда хорошенько узнал его, то убедился, что был прав. Его неуклюжие уловки мне все больше и больше бросаются в глаза“. Или еще: „В своей жизни я часто сталкивался с грубостью и шарлатанством сильных, но неделикатных людей, подобных Гюго и другим калифам на час, вот почему я проникся отвращением к этим грубым натурам, напускающим на себя величественный вид“.

Наиболее тяжкая вина Адели Гюго состояла в том, что она подливала масла в огонь. „Гюго — это Циклоп, — говорил Сент-Бев, — у него лишь один глаз“. — „Верно, верно, — поддакивала Адель, — он видит лишь самого себя“. — „Я часто утверждал и утверждаю, что он груб и наивен. Я повторяю это вслед за человеком, который знает его еще лучше, чем я“. Этим человеком была Адель; от увлечения ею Сент-Бев, невзирая ни на что, не мог отделаться; он включил в сборник „Книга любви“ стихотворения, посвященные ей, и опубликовал их анонимно. „В любви для меня самым большим и настоящим успехом была она — моя Адель. Я похож на тех генералов, которые всю жизнь живут одной выдающейся победой, хотя они обязаны ей в большей степени своей счастливой звезде, чем личным заслугам. С того времени я переношу удар за ударом, поражение за поражением. У меня нет сил участвовать в битвах, я больше не воюю и довольствуюсь тем, что скромно провожу маневры в своих краях... Впрочем, все идет хорошо, я вновь нашел мою Адель, ее сердце, и не желаю больше любить никого, кроме нее *(Декабрь 1840 г.)*...“ И Сент-Бев без конца рассуждает о ней. „Когда Гортензия (Аллар) прочла стихи — „Оставьте меня, все исчезло“, она написала мне: „Подобные стихи и признания заставят любую женщину вернуться хоть с края света. Адель еще постучится к вам в дверь, вы вновь встретитесь с ней, и все будет хорошо; вы должны простить ее. Я постоянно думаю об этом и верю, что так оно и будет. Надо все прощать натурам, которым свойственны благородные порывы страсти, ибо они понимают лишь это, и, подходя к ним с этой стороны, можно владеть ими безраздельно. Остальное в счет не идет“. Я ответил на это письмо: „То, что вы говорите, — верно. Вот почему я ей простил, но не больше.

Поймите, что немного ума, немного тонкости, некоторая доля чувственности не вредят возвышенной и великой страсти. И при редких встречах подобного рода свойства уместны, а их-то и недоставало моей очаровательной и жестокой даме...“

Итак, он решил обрушиться на новый сборник Циклопа и в июне 1840 года написал яростную статью „О гладиаторах в литературе“:

„Первые стихотворения господина Виктора Гюго отличались яркостью, нежностью и даже большим очарованием, чем стихи, написанные им позднее, где возникли странные, чужеродные интонации и вычурность. Я сошлюсь на стихотворение о „Юном гиганте“, в котором как бы сосредоточились все странности, проявившиеся затем в еще более угрожающей и серьезной форме в романе „Ган Исландец“. Вычурность, характерная для „Юного гиганта“, искупалась обворожительными красотами стиха, и часто случалось, что о ней не говорили или ее принимали как забаву, как затянувшуюся игру цветущего детства. К моменту появления „Восточных мотивов“ поэзия Виктора Гюго, даже если судить о ней с разных точек зрения, могла предстать перед нашим взором галереей образов, один ярче и изящнее другого. Были там стихи о *первой любви,* которые писались и раньше, была там и блистающая красотой *Пери,* которая с каждым днем все хорошела. Фантастическая мечта поэта породила тогда и образ *Зары-купальщицы.* Именно там (я не буду развивать эту тему) очень много прекрасных образов, характеризующих красочную, живую манеру поэта. Но в этом поэтическом царстве разрастались и черты, свойственные стихотворению „Юный гигант“.

Жан-Поль в своем „Титане“ утверждал: „В человеке живет грубый и слепой Циклоп, который во время душевных бурь возвышает голос и яростно стремится все изничтожить“. Страшный и дикий дух злобно вопит в нас — противоборствует доброму гению, который говорит более спокойно и дает нам более разумные советы. В то время среди поэтических муз в творениях Гюго обитал именно этот юный Циклоп. Но сначала в его пещере веял свежий воздух, по утрам вокруг нее резвились тысячи фей и нимф, журчали ручейки, шумели водопады, и даже когда из пещеры выходил пастух Полифем и взбирался на скалу, это был юный Полифем, влюбленный в Галатею, мелодично игравший на флейте и достойный того, чтобы какой-нибудь Феокрит собрал его песни. Et erat

tum dignus amari[1]. Было время, когда цевница Полифема наигрывала нежные и пленительные мелодии; казалось, что во владениях обновленной и плодотворной Музы Циклоп погиб и возобладали добрые гении. Это была пора „Осенних листьев". Удивительная душевность, трогательные интонации убеждали нас в том, что из поэзии Гюго навсегда исчезли странные влечения и дикие чудовища. Обманчивая видимость! Великан Циклоп вовсе не погиб, он был лишь объят сном. Конечно, Пери и блистательные феи продолжали свою жизнь. Но целая стая волшебных созданий и даже спутницы лирического шествия исчезли.

А великан, стремившийся проникнуть в среду фантастических существ, добрался до них и все чаще прикасался к ним. Становясь более взрослым, Циклоп преследовал их с большей дерзостью, большей навязчивостью, вел себя более вызывающе. Он уже не был безумным юнцом: plaventem prima lanugine malas[2]. Если он не пожрал своих сестер, то порой обращался с ними грубо. „Песни сумерек", „Внутренние голоса" и даже последний сборник — „Лучи и тени" могут тут служить не очень приятными для поэта доказательствами.

...Пока поэт был молод, ошибки его вкуса, его грубости могли быть восприняты как оплошности юного таланта, несколько злоупотребляющего грубой силой и яркими тонами. Но теперь, когда талант этот сформировался, а человек стал взрослым, в его поэзии возникает все больше причудливых образов. Прощай, благодатная пора созревания!

Каждому поэту свойственны недостатки. По мере поэтического развития эти недостатки даже возрастают. Ламартин без конца обращается к водопадам, и часто его лирическая поэзия теряется в сверкающей водяной пыли, словно в брызгах водопада Штаубах. В стихах господина Гюго постоянно слышны удары молота — Вулкана или скандинавского кузнеца Веланда, и многие из его самых великолепных стихов кажутся только что снятыми с наковальни. Грохот усиливается, удары молота все слышнее и слышнее, даже под сенью цветущих рощ.

Для того чтобы завершить характеристику господина Гюго теперь, когда мы читаем его новый сборник, скажу, что тут оказываешься в положении человека, совершаю-

---

[1] И тогда был достоин любви (лат.).
[2] Его щеки оттенил первый пушок (лат.).

щего прогулку по роскошному восточному саду, по которому его ведет светлый гений. Но некий уродливый карлик заставляет дорого платить за это удовольствие и на каждом шагу бьет его палкой по ногам. А гений, при всем своем могуществе, как будто и не замечает, что вытворяет этот карлик. Вы избиты и восхищены. Вы ослеплены и сломлены. Карлик, разумеется,— это все тот же Циклоп. О, если бы в один прекрасный день критика смогла вырвать у Циклопа, то есть у того же карлика, единственный его глаз, которым он видит лишь самого себя; пусть он считает критику столь же коварной, как Одиссей, — она оказала бы великую услугу другим божествам, которыми изобилует поэзия господина Гюго, и, может быть, тогда они вновь широко расправили бы свои крылья!..“

Статья эта не была опубликована, но Сент-Бев намекал на нее несколько раз: „Я не подвергал анализу сборники его стихов, выходившие после 1835 года, а если мне и приходилось набросать кое-что для себя, я эти заметки не печатал“.

Быть может, тут сказалось влияние Адели: ведь если она не прочь была тайком покритиковать мужа, она не любила, чтобы кто-либо открыто нападал на него как на поэта, чья слава возвеличивала и ее. Авторская рукопись „Гладиаторы в литературе“ хранится в Шантильи, среди мемуаров, оставшихся после смерти Сент-Бева. В начале первой страницы можно прочесть (несмотря на то что фраза зачеркнута): „Сжечь после моей смерти — я это требую“, и тут же внизу: „После моей смерти — напечатать. *Сент-Бев*“.

V

В Вилькье

Тот, кто любил, постиг это чувство. Оно неведомо человеку, не испытавшему любви. Я сочувствую ему, но не понимаю его.

Лакордер

Январь 1843 года. Жюльетта беспокоилась, видя, что ее „дорогой дружок“ очень мрачен. Его „милое лицо“, казалось, „совсем потускнело“. Скрывал ли он от нее ка-

кие-нибудь заботы или горе? Тем не менее наступивший год вселял добрые надежды. После пятилетнего перерыва Гюго готовился к постановке своей новой драмы, — „Бургграфы". Дочь его была помолвлена с Шарлем Вакери, молодым человеком, которого в семье Гюго очень любили. Свадьба была назначена на февраль. В марте на сцене Французской Комедии должны были играть „Бургграфов". Летом Жюльетте и Виктору предстояло путешествие по Испании. Замечательные планы, не правда ли?

Однако „Виктор Гюго как будто не мог освободиться от наваждения призраков". Он любит братьев Вакери, ставших близкими ему, а они обожали Гюго. Шарль и Огюст Вакери родились, один — в Нанте в 1816 году, другой в Вилькье в 1819 году. То была старая семья лоцманов и рыбаков на Сене. Их отец — Шарль-Исидор Вакери, став судовладельцем в Гавре, нажил состояние и построил для своей семьи в Вилькье на берегу реки большой дом. Наследовать отцу должен был старший сын — Шарль; младший, Огюст, за время пребывания в Руанском коллеже жадно читал сочинения Эсхила, Шекспира, Гюго, а в школьных занятиях добился таких успехов, что был приглашен директором парижского лицея Карла Великого пройти там курс бесплатно, — ведь таким учеником можно было щегольнуть на любых экзаменах; лицеист Вакери, восторженный юноша, неистовый романтик, должен был со своими товарищами поставить в 1836 году спектакль в лицее. Они избрали для этого „Эрнани" и направились к автору испросить его разрешение. Гюго не только дал согласие, но и присутствовал на представлении.

Некоторое время спустя, когда происходил судебный процесс по поводу „Марион Делорм", Гюго увидел в зале суда молодого Вакери. „Торжествующий поэт подошел ко мне, и я прикоснулся к его руке, словно к деснице короля..." Вслед за тем молодой нормандец и его друг Поль Мерис стали своими людьми в доме Гюго на Королевской площади. Им было поручено формировать батальон для сражения за успех „Рюи Блаза". Когда молодой Огюст заболел, Адель Гюго ухаживала за ним, и юноша сохранил упоительное воспоминание об очаровательной женщине, склонявшейся у его изголовья. В 1838 году, в то время как Виктор Гюго путешествовал по Рейну, Адель с детьми была приглашена в Гавр, к старшей сестре Огюста, супруге Никола Лефевра, основателя Нового Гранвиля. Четыре отпрыска Гюго никогда не видели моря. Из

Гавра вся семья направилась в Вилькье. Там они прожили до начала октября.

Огюст Вакери — госпоже Гюго, 9 октября 1838 года: „Дорогая госпожа Гюго, с тех пор как вы уехали, дом опустел и стал ужасно унылым. Мы скучаем без вас и без ваших милых детей. Теперь у нас тишина, такая печальная по сравнению с былым оживлением! Хочется поскорее написать вам. После вашего отъезда потянулись долгие и тоскливые дни. Ведь мой брат и в особенности я все время были с вами, и так приятно было жить в вашем обществе; мы без вас скучаем, и никто не сможет вас заменить“.

Детям Гюго эти каникулы очень понравились. В следующем году они уговорили отца поехать в Гавр и в Вилькье, откуда Олимпио направился в Страсбург, а его жена и дети остались у Вакери на все лето. Леопольдине исполнилось пятнадцать лет, Шарлю Вакери двадцать два. Он был убежден, что судьба готовит ему блестящую будущность. „Его отец нажил состояние на каботажном и дальнем плавании своих судов, но, несмотря на большую зажиточность, семья вела скромный образ жизни, за что ее очень уважали“. Шарль I Вакери, больной и уже пожилой человек, собирался уйти на покой; Шарлю II, который должен был стать его преемником, Леопольдина Гюго, простая, серьезная и умная девушка, казалась идеальной женой, и вот возникли планы соединить их узами брака, намерение это госпожа Гюго одобрила.

Огюст Вакери — госпоже Гюго, четверг 17 октября 1839 года: „Наш дом опустел и оплакивает вас. Мы постоянно чувствуем, что в нем отсутствуют члены нашей семьи... Семье, с которой, по воле господней, нас связывают узы кровного родства, люди всегда предпочитают ту семью, которую они сами себе выбирают, — ту, которую избрало сердце. Вам уже давно известно, как я привязан к вам! Я только теперь понял, насколько ваша дружба мне необходима и насколько мне необходимо бывать в вашем доме. Несмотря на то что нас разделяет расстояние в шестьдесят лье, я душою всегда с вами и постоянно думаю о вас“.

Три смерти, последовавшие одна за другой, опечалили дружную семью Вакери. В 1839 и 1840 годах госпожа Лефевр-Вакери лишилась двух сыновей, Шарля и Поля, а два года спустя умер ее муж. Здоровье ее отца, Шарля Вакери, резко ухудшилось. В этой мрачной обстановке молодые жених и невеста не осмеливались говорить о

свадьбе. Тем не менее Виктор Гюго благословил их союз. „Поэты не могут давать своим дочерям богатое приданое, они должны одарить их более ценными сокровищами: тонкостью ума, добротой сердца и грациозностью". Наконец, 15 февраля 1843 года, в интимном кругу состоялось бракосочетание; о нем не известили даже друзей Гюго, Жюльетта из приличия не решилась присутствовать на церемонии, она не пошла и в церковь, но попросила Леопольдину оставить ей на память „какую-нибудь девичью безделушку, которая теперь не нужна невесте, раз она становится замужней дамой". Этот подарок она сочла бы символом того, что впредь не порвется тесный союз двух существ, больше всех любивших Гюго, — его дочери и его возлюбленной. Отец передал дочери эту трогательную просьбу. Леопольдине уже давно была известна сложность отношений в их семье, и она исполнила просьбу Жюльетты, подарив ей не безделушку, а нечто лучшее — свой молитвенник. Виктор Гюго сочинил в самой церкви короткое стихотворение для юной невесты:

Кем так любима ты, люби того. — Прости. —
Как ты была для нас, будь для него отрадой!
Тебе одну семью сменить другою надо;
Оставив нам тоску, все счастье унести.

Удерживают здесь, там ждут тебя согласно.
Жена и дочь, свой долг двойной ты исполняй.
Нам — сожаление, надежду им подай.
Уйди, пролив слезу! Войди с улыбкой ясной![1]

Поэт грустил, расставшись со своей старшей дочерью, своей любимицей, ставшей для него настоящим другом и столь разумной уже в молодые годы. „Не волнуйся за свою Дидину, — писала ему Жюльетта, — она будет счастливейшей из женщин". Так оно и должно было быть, но тем не менее Гюго страдал и чего-то боялся. Леопольдина должна была жить в Гавре, а в то время путешествие от Парижа до Гавра — в дилижансе или на пароходе — занимало два дня.

Приходили письма, дышавшие счастьем. Леопольдина Вакери писала госпоже Гюго: „Вот уже месяц, как я живу здесь, и мне так хорошо; вокруг меня — милые, ласковые люди, у меня есть все, что дает счастье, но иногда само это счастье внушает мне страх. Мне представляется, что такое блаженство не может длиться дол-

---

[1] Гюго В. „15 февраля 1843 года" („Созерцания"). Пер. А. Курошевой. — Собр. соч., т. 12, с. 377.

го, затем, поразмыслив, я начинаю понимать, что мне чего-то недостает: нет возле моей дорогой мамы...“

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго: „Надеюсь, мой ангел, что теперь ты успокоился, и счастье обожаемой дочери отныне уже не будет вызывать у тебя волнений и слез“.

Репетиции драмы „Бургграфы“ отвлекли его от странных предчувствий. Он возлагал большие надежды на эту пьесу и стремился придать ей эпическое величие. Во время путешествия по Рейну, когда он бродил дни и ночи, осматривая развалины древних замков, поросшие терновником и деревьями, его воображению представлялись картины титанической борьбы бургграфов против императора, „этих грозных рейнских баронов, гнездившихся в своих замках, властителей, которым служили на коленях их подданные... хищников с повадками орла и совы“, на основе этих мотивов он и хотел написать драму. Впоследствии к сюжету бургграфов присоединился другой, непрерывно занимавший мысль Гюго, а именно — вражда братьев. Известно, что он начал писать драму в стихах „Близнецы“, героя которой держат в заключении под именем „Железной Маски“ — он принесен в жертву ради того, чтобы его брат Людовик XIV безраздельно царствовал на троне. Гюго оставил этот замысел незавершенным, но все же в „Бургграфах“ Фоско (бургграф Иов) избавляется от своего брата Донато (будущего императора Фридриха Барбароссы), потому что они любят одну и ту же девушку — Джиневру. Бургграфа Иова гложут угрызения совести, потому что он когда-то швырнул в заброшенный склеп тело смертельно раненного Донато, и он ходит туда каждую ночь. Так Гюго от драмы к драме возвращается к своей неотступной мысли о заживо погребенном брате.

Когда произведение искусства выстрадано автором, то это почти всегда придает ему красоту. „Бургграфы“ — творение чудовищное, предваряющее Вагнера“, говорит Барер. Тут и высокомерный бург, и четыре поколения рыцарей-разбойников, и борьба провидения против рока, — причем драма не лишена эпического величия. Театр Французской Комедии принял ее с восторгом. Но обстановка складывалась неблагоприятно. За несколько театральных сезонов молодая талантливая актриса Рашель возродила моду на классическую трагедию. Публике приелось то, „что в обществе устаревает быстрее всего, — новизна“.

Виктор Гюго, надеявшийся, что в театре произойдет такое же сражение, как и на премьере „Эрнани“, отправил своих новых организаторов победы — Вакери и Мериса к художнику Селестену Нантейлю просить у него триста молодых людей, „триста спартанцев, решившихся победить или умереть“. Встряхнув своими длинными волосами, Нантейль ответил: „Господа, скажите вашему учителю, что молодежи теперь уже не существует“. На самом же деле тогда уже не было романтической молодежи.

Премьера прошла спокойно, зал был полон друзей. Несмотря на то что пьеса была написана превосходными стихами, ее нашли высокопарной и скучной. Реплика глубокого старика Иова, обращенная к шестидесятилетнему Магнусу: „Молчите, юноша“, вызвала в зале громкий смех. На втором представлении раздавались свистки. Пятый и дальнейшие спектакли вызвали в зрительном зале целую бурю. Жюльетта обвиняла насмешников в заговоре и признавалась, что готова „обрушить на них свое негодование целым градом увесистых тумаков и пинков“. Бюлоз, являвшийся в то время директором Французской Комедии, рассказывает, как однажды в два часа ночи Гюго, проходя с ним мимо Тюильри, воскликнул: „Если бы Наполеон находился еще там, „Бургграфы“ считались бы во Франции великим произведением, и император приходил бы к нам на репетиции“. Но Наполеона I уже не было, а людям, подобным бальзаковским Бирото и Камюзо, составлявшим публику во времена Луи-Филиппа, наскучили высокие чувства и красноречие. Весьма довольный, Сент-Бев писал: „Пьесу освистали, но Гюго, не желая примириться с этим словом, говорил актерам, что „публика помешала его пьесе“; с тех пор злые языки среди актеров говорили „помешать“ вместо „освистать“. На десятом представлении сбор упал до тысячи шестисот шестидесяти шести франков, тогда как Рашель, игравшая в трагедиях Расина, каждый вечер делала сбор в пять тысяч пятьсот франков. 17 марта над Парижем пролетела комета, и в „Шаривари“ появилось следующее четверостишие:

Взглянув на небеса в лорнет,
Сказал Гюго, святая простота:
„О господи! Есть хвост у всех комет,
А на „Бургграфов“ нет хвоста...“

Провал пьесы, хотя и незаслуженный, становился все более очевидным. „Какова трилогия „Бургграфов“? Трой-

ная скука, — писал Генрих Гейне, — деревянные фигуры... Унылая кукольная комедия... Холодная страсть..." В апреле Париж устроил овацию на представлении „Лукреции" Понсара, потому что этот провинциальный неоклассик выступил как антипод Гюго. Бальзак негодовал: „Я смотрел „Лукрецию"! Какая мистификация преподнесена парижанам... Нет ничего более ребяческого, более ничтожного, это самая примитивная, школьная трагедия. Через пять лет все забудут Понсара. Поистине, бог сурово покарал Гюго за его глупые пьесы, послав ему в соперники Понсара..." Внешне Гюго казался спокойным, но такая ненависть, расплата за прежние успехи, потрясла его. После тридцать третьего представления „Бургграфы" были сняты с репертуара, и Гюго прекратил писать для сцены. День 7 марта 1843 года стал „Ватерлоо романтической драмы".

Несмотря на возражения госпожи Гюго, Жюльетта Друэ следующим летом воспользовалась „своим ежегодным маленьким счастьем". В том году они с Гюго предприняли путешествие по юго-западу Франции и по Испании, которое должно было возродить в памяти поэта детские годы и отвлечь его от той глубокой тоски, в которую он был погружен в Париже начиная с февраля месяца. Леопольдина, находившаяся на третьем месяце беременности, все время беспричинно волновалась и настаивала на том, чтобы ее отец никуда не уезжал. Во вторник 9 июля он приехал в Нормандию, чтобы попрощаться с дочерью, а потом он написал ей: „Если бы ты знала, дорогая моя, каким ребенком я становлюсь, когда думаю о тебе. На глазах у меня слезы, мне хочется всегда быть с тобой... День, проведенный в Гавре, был для меня светлым лучом, я никогда его не забуду".

Тем не менее путешествие увлекло его воображение. Байонна оставалась в его памяти как необычайно привлекательный уголок земли. И там жила та, что „оставила в его сердце наиболее ранний след". Но он не мог узнать дома, где когда-то сквозь кружевную косынку он созерцал сверкающую белизной грудь. Что сталось с юной Пепитой? Вышла ли она замуж, вдова ли она, быть может, умерла? Быть может, он встретит ее, но не узнает. Дымка в небе безбрежном. Однако первая же телега, которую тянули испанские быки, и отчаянный визг ее колес внезапно вызвали в нем прилив счастья. Вдруг возродились дорогие воспоминания детства.

„Мне показалось, что между прошлым и настоящим не было никакого промежутка. Это было вчера. О, счастливое время! Сладостные и лучезарные годы, когда я был ребенком, когда не отягощал меня жизненный опыт, когда возле меня была любимая мать. Испугавшись скрипа огромных колес, путешественники, окружавшие меня, затыкали себе уши, я же был преисполнен восторга...“

Ирун разочаровал его, теперь город походил на Батиньоль. „Где же прошлое? Куда исчез дух поэзии?“ Фонтарабия оставила в нем светлое воспоминание. На фоне голубого залива когда-то предстало перед его глазами селение с золотыми крышами и остроконечной колокольней. Теперь же на плато он обнаружил просто-напросто хорошенький, маленький городок. Ландшафты, как и он сам, несколько потускнели. Но, как и в былые годы, Испания поразила его воображение своей дикой природой, гибкими и стройными женщинами, яркостью речи. „Это страна поэтов и контрабандистов“. В Пасахесе, селении, расположенном близ Сан-Себастьяна в провинции Гипускоа, он обнаружил замечательный, чарующий уголок: высокие дома, окрашенные в белый и ярко-желтый цвет, на балконах развевающиеся яркие полотнища красной, желтой, голубой материи, на берегу залива — черноокие красавицы лодочницы с великолепными волосами.

Он доехал до Пампелуны, затем возвратился через Пиренеи по маршруту — Ош, Ажен, Перигор, Ангулем. На острове Олерон 8 сентября Жюльетта была поражена скорбным видом Виктора Гюго. Остров являл собою печальное зрелище. „Ни одного паруса. Ни одной птицы. На горизонте появилась огромная, круглая луна, которая сквозь густой туман казалась красноватым лишенным позолоты отблеском луны. Тоска леденила мою душу. В тот вечер все было каким-то мрачным, зловещим. Сам остров казался мне огромным гробом, лежавшим на море, а эта луна — светильником, озарявшим его“.

На следующий день, покинув остров, они отправились в Рошфор. Гюго хотел заехать в Гавр, повидать молодых Вакери. Адель и ее трое детей находились по соседству — в Гранвиле, она жила там на даче, которую снял для нее зять. Вскоре в Гранвиле должна была собраться вся семья; при одной этой мысли Гюго обрел бодрость духа. В деревне Субиз Жюльетта предложила зайти в ка-

фе, выпить бутылку вина и просмотреть газеты, которые они не читали уже несколько дней.

Дневник Жюльетты Друэ. 9 сентября 1843 года: „На площади мы увидели вывеску, на которой большими буквами было начертано: „Кафе Европа“. Мы вошли туда. В этот час дня никого не было. Лишь один молодой человек за первым столом по правой стороне сидел напротив кассирши, читал газету и курил. Мы устроились в глубине зала, у винтовой лестницы, перила которой были обтянуты красным коленкором. Официант принес бутылку пива и удалился. На соседнем столе лежало несколько газет. Тото наугад взял одну из них, а я взяла „Шаривари“. Не успела я прочитать заголовок, как мой бедный друг внезапно склонился ко мне и сдавленным голосом простонал, показывая мне газету: „Какой ужас!“. Я взглянула на него: до конца дней моих мне не забыть несказанного отчаяния, которое отразилось на его благородном лице. Только что я видела его веселым и счастливым, и в одно мгновение он преобразился, сраженный несчастьем. Губы у него побелели, красивые глаза не видели ничего, лицо и волосы стали влажными от слез. Он схватился рукой за сердце, словно боялся, что оно вырвется из груди. Я взяла эту страшную газету и прочла...“

В газете „Сьекль“ сообщалось об ужасном происшествии, случившемся в Вилькье в понедельник 4 сентября. Накануне Леопольдина и ее муж приехали из Гавра в Вилькье, чтобы провести там воскресный день. В Вилькье они встретили своего дядю — Пьера Вакери, бывшего капитана судна, и его сына Артюса, мальчика одиннадцати лет. „В воскресенье днем к набережной причалила яхта, которую Шарль велел пригнать из Гавра. Такая фантазия пришла его дяде. Яхта была построена на морской верфи по его собственному проекту. Шарль участвовал на этой яхте в регате, происходившей в Гонфлере, и взял первый приз. Яхта была оснащена двумя большими парусами и благодаря им развивала под ветром большую скорость, но корпус у нее был слишком легкий для обычного плаванья в устье Сены. Пьер Вакери решил испытать это суденышко на другой день утром, совершив на нем прогулку до Кодебека к нотариусу, который ждал его...“

На другой день утром погода была прекрасная. Ни малейшего ветерка, вода как зеркало, легкая утренняя дымка. Накануне условились, что Леопольдина поедет

вместе с мужем, дядей и двоюродным братом. Но ее свекровь тревожилась, что яхта очень уж легкая, и отговорила сноху от прогулки. Оба мужчины и мальчик отправились без нее и тотчас же возвратились: лодка плясала на воде, и они для балласта положили в нее два больших плоских камня. На этот раз Леопольдина соблазнилась, попросила подождать ее и, быстро переодевшись в платье из красного клетчатого муслина, села в яхту. До Кодебека доплыли очень быстро, без всяких злоключений.

Нотариуса Базира надо было привезти в Вилькье к завтраку. Он пожелал ехать в экипаже: прогулка на неустойчивой яхте ему совсем не улыбалась. Для его успокоения Шарль и Пьер увеличили балласт глыбами песчаника, сложенными на набережной Кодебека. Нотариус скрепя сердце сел в яхту, но так как она плясала все сильнее, попросил, чтобы его высадили на берегу у часовни Бар-и-Ва, заявив, что дойдет пешком. „Поплыли дальше. Ветер надувал паруса. Спустя несколько минут внезапно налетевший шквал опрокинул яхту набок. Камни, положенные для того, чтобы придать ей устойчивость, покатились, усилив ее крен. И вещи, и разбушевавшаяся стихия коварно обрушились на людей. Счастливо начавшаяся прогулка завершилась трагически. Из пассажиров лишь Шарль Вакери, превосходный пловец, еще бился в волнах вокруг перевернувшейся яхты, пытаясь спасти свою жену. Она цеплялась за борт судна. Он напрасно тратил свои силы. Поняв тщетность своих попыток, он, ни на одно мгновение не оставлявший ее, решил утонуть вместе с ней...“ Огюст Вакери поздно ночью сообщил о катастрофе госпоже Гюго. Он заставил ее уехать в Париж во вторник „с тремя оставшимися детьми, чтобы она не находилась в Вилькье на ужасном обряде похорон“.

Романтической гибели молодых супругов соответствовала и романтичность погребения: их положили в один гроб, из дома вынесли на плечах провожавших и похоронили на маленьком кладбище подле часовни.

Виктор Гюго — Луизе Бертен, Сомюр, 10 сентября 1843 года: „Мне трудно передать, как я любил мою бедную девочку. Вы помните, какая она была очаровательная. Это была самая милая, самая прелестная женщина. Всемогущий боже! Чем я перед тобой провинился?“ Так как Гюго привык всегда подводить итоги, „шла ли речь о тайнах вселенной или о мелких расхо-

дах“, он задавал себе вопрос: „Не мстит ли всевышний любовнику, который отошел от своей семьи?“ Вот почему он некоторое время с отвращением относился к Жюльетте Друэ и „льнул к своей жене“. Из рокового кафе „Европа“ в Субизе он писал ей: „Не плачь, моя дорогая супруга. Смиримся с судьбой. То был ангел. Вручим ее богу. Увы! Она была слишком счастлива. О! Как я страдаю! Вместе с тобой и с нашими горячо любимыми бедными детьми я плачу горькими слезами. Дорогая Деде, будь мужественной, крепитесь все вы. Я скоро приеду. Мы будем горевать вместе, любимые мои. До свидания. До скорой встречи, моя дорогая Адель. Пусть этот страшный удар по крайней мере сблизит наши любящие сердца“. По пути в Париж, в дилижансе он набросал в своем блокноте несколько отрывочных строк:

„..Мне казалось — я гордый мыслитель, поэт...
Но в несчастье — увы! — я простой человек!..
..Любовалась ты Сеной, прекрасной и тихой рекой.
И никто не сказал: „Здесь найдешь ты навеки покой...“

Тем временем Адель Гюго, желая сохранить в памяти обстановку „готического дома“ на улице Де-ля-Шоссе в Гавре, в котором Дидина и Шарль прожили семь месяцев, отправила туда своего друга, художника Луи Буланже.

Огюст Вакери — госпоже Гюго, 19 октября 1843 года: „Чтобы вы не тревожились, отвечаю вам сразу же. Буланже сделал зарисовку их спальни. Удивительное сходство, и даже те, кто в ней не был, узнали бы ее. Итак, это сделано. Я привезу вам картину, когда поеду в Париж... Встречусь с вами в воскресенье. Эту неделю буду занят окончательным подсчетом ваших расходов. Все очень просто... Что касается садовника, который возвратился и требует 104 франка неизвестно за что, то я его выгнал... мне хотелось бы узнать, не захватили ли вы вместе с чемоданами черный сундук, который вам одолжила моя сестра, — кажется, это единственная вещь, которую она требует...“

Адель была мужественной и верующей женщиной. „Моя душа, — писала она 4 ноября 1843 года Виктору Пави, — улетела, если можно так сказать, покинула меня, чтобы соединиться с ее душой“. Дом на Королевской площади долгое время был погружен в траур. Це-

лыми днями мать держала в своих руках косу своей дочери; Гюго сидел молча, на коленях у него была маленькая Деде. Старик Фуше сразу постарел лет на двадцать. На стенах и на столах можно было увидеть портреты погибшей четы, на сумке была вышита надпись: „Платье, в котором погибла моя дочь. Священная реликвия“. Виктор Пави советовал Сент-Беву помириться с семейством Гюго и стать их близким другом, „памятуя об этой страшной драме“. Но тот отказался. После фатального 1837 года ему уже трижды делали такого рода предложения, трижды он мирился, а за примирением, — говорил он, — следовали новые оскорбления и разрыв. „Даже после этого ужасного несчастья я смог бы вернуться только в том случае, если бы она сама ясно сказала, что хочет этого: ее слова явились бы для меня повелением. Она этого не сделала. Теперь уже все кончено, и навсегда. Страшно подумать, но это так...“ Зато Альфред де Виньи писал: „Перед таким несчастьем любые слова кажутся ничтожными или жестокими“.

Смерть дочери нанесла страшный удар Виктору Гюго, он не мог прийти в себя. В декабре Бальзак, всецело занятый своей кандидатурой в члены Академии, посетил Гюго и, возвратившись домой, написал госпоже Ганской: „Ах, мой дорогой друг, Виктор Гюго постарел на целых десять лет! Говорят, он воспринял смерть своей дочери как наказание за то, что прижил с Жюльеттой четверых детей. Кстати сказать, он всецело поддерживает меня и обещал отдать свой голос за мое избрание. Он ненавидит Сент-Бева и Виньи. Вот, дорогая моя, поучительный урок для нас, эти браки по любви в восемнадцать лет. Тут Виктор Гюго и его жена — наглядный пример...“ Как видно, пересуды не щадят даже тяжкую людскую скорбь.

Жюльетта умоляла Гюго хоть немного рассеяться, отвлечься от своего горя. Он еще неспособен был работать и попросил ее привести в порядок его записки о последних днях путешествия в Пиренеях, для того чтобы завершить работу над книгой, которая была начата со светлых воспоминаний и закончена в час нежданного несчастья. Часто он ездил в Вилькье на могилу дочери, где были посажены кусты роз, бродил по берегу, искал „страшное место“, поглощенный мучительным отчаяньем... „Воспоминания! Ужасен вид холмов!“ В течение ряда лет он писал в день 4 сентября изумительные по своей трагической простоте стихи.

1844

Ей десять минуло, мне — тридцать,
Я заменял ей мир в те дни.
Как свежий запах трав струится
Там, под деревьями в тени!..

О ангел мой чистосердечный!
Ты весела была в тот день...
И это все прошло навечно,
Как ветер, как ночная тень![1]

1846

Весна! Заря! О, память, в тонком
Луче печали и тепла!
— Когда она была ребенком,
Сестричка ж крошкою была... —

На том холме, что с Монлиньоном
Соединил Сен-Ле собой,
Террасу знаете ль с наклоном
Меж стен — небесной и лесной?

Мы жили там. — Побудь с мечтами,
О сердце, в милом нам былом! —
Я слышал, как она утрами
Играла тихо под окном[2].

1847

Едва займется день, я с утренней зарею
К тебе направлю путь. Ты, знаю, ждешь меня...
Пойду через холмы, пойду лесной тропою,
В разлуке горестной мне не прожить и дня...

Ни разу не взгляну на запад золотистый,
На паруса вдали, на пенистый прибой...
И, наконец, дойду. И ветви остролиста
И вереск положу на холм могильный твой[3].

К его глубокой скорби постоянно примешивались угрызения совести из-за того, что в трагический момент он находился вдалеке от своей семьи, путешествуя с любовницей. Фавн осуждал себя — у него была беспокойная душа.

---

[1] Гюго В. „Когда еще мы обитали..." („Созерцания"). Пер. Е. Полонской. — Собр. соч., т. 12, с. 379.

[2] Гюго В. „Весна! Заря!.." („Созерцания"). Пер. А. Курошевой. — Собр. соч., т. 12, с. 381.

[3] Гюго В. „Едва займется день..." („Созерцания"). Пер. А. Корсуна. — Собр. соч., т. 12, с. 384.

VI

Фривольности и фрески

Сегодня в сумерки проводите меня в парк Королевы.

Виктор Гюго

Вся лира, VI

Чувственность — это состояние неистовости. Естественно, что человек в крайнем смятении души ищет забвения в сильных и разнообразных ощущениях. Виктор Гюго в 1843 году, погруженный в глубокую печаль, должен был дать волю своим страстям. Жюльетта? Нет Жюльетта его уже больше не удовлетворяла. В течение десяти лет, которые бедняжка провела в затворничестве, красота ее поблекла. После тридцати лет ее волосы поседели, она лишь сохранила чудные глаза, облик тонкий и благородный, но уже не являлась „воплощением неописуемой прелести", уже не была той блистательной красавицей в кружевах и бриллиантах, какой он знал Жюльетту при ее выступлении в роли принцессы Негрони. Порою ему было скучно с нею. Она была умна, очень остроумна, и все же ему не о чем было с ней говорить. Она ни с кем не встречалась, ничего не видела, лишь один месяц в году, во время их совместного путешествия, этот образ жизни нарушался. Ее бесчисленные письма представляли собою длинные причитания, смесь восхвалений и жалоб. „Словно некий отшельник, взобравшись на каменный столп и обратив взор к небу, без конца бормотал один и тот же псалом, — говорит Луи Гембо. — Люди восторгались тем, что он безостановочно выражает свое обожание, однако он казался им несколько ограниченным существом, и им было непонятно, как это богу не наскучит такое монотонное молитвословие..." Да читал ли теперь Гюго ее письма? Иногда Жюльетта сомневалась в этом: „Я ни к чему не пригодна, и где уж мне сделать тебя счастливым! Вот уж два с половиной года ты как будто и не замечаешь, что я живу на свете лишь для того, чтобы любить тебя и быть тобой любимой. Ты сделал для меня все, что может сделать самая благородная и великодушная преданность. Но это еще не значит *любить*. Это означает быть верным и хорошим другом, не подчеркивая своего благородства. Я не строю себе никаких иллюзий.

И к тому же я люблю тебя так сильно, что стала проницательной. Я хорошо вижу, что уже более двух лет ты перестал меня любить, хотя разговариваешь и обращаешься со мной так, словно твоя любовь еще не угасла. Но это лишь доказывает, что ты хорошо воспитанный человек, вот и все. Для любящего сердца бурные сцены более красноречивы и убедительны, нежели сдержанная галантность речи. Звонкая пощечина иногда больше говорит о страсти и нежности, чем равнодушный поцелуй в уста или в лоб. За последние два года я убедилась в этом на своем горьком опыте".

Увы, она была права. Виктор Гюго ценил ее безграничную жертвенность и превосходно понимал, чем он обязан ей за это служение, но влечение исчезло, он оставался холоден к ней. Он пользовался всяким поводом, чтобы не нарушать ее целомудрия, к чему она совсем не стремилась. Она имела право проводить с ним лишь три больших праздника — 1 января, 17 февраля (воспоминание об их первой ночи), 19 мая — день святой Юлии. Уже в 1844 году он забыл навестить ее 19 мая. Когда скромный, семенивший мелкими шажками господин Фуше заболел, Виктор ответил на жалобы покинутой Жюльетты, что он ухаживал за своим тестем, ибо он „всем обязан этому замечательному старику". Истина же заключалась в том, что, как это хорошо понимала Жюльетта, другие женщины привлекали теперь ее любовника. Было много актрис или просто молодых обожательниц, которые поднимались по потайной лестнице дома на Королевской площади. *Жюльетта — Виктору Гюго, 17 января 1843 года:* „Я уверена, что тебе любопытно и приятно поближе познакомиться с женщинами, которые увлечены тобой и потворствуют твоему тщеславию мужчины и поэта. Я не хочу тебе в этом мешать. Но я знаю, что при первой же твоей измене я умру, вот и все, что я хотела тебе сказать..."

В начале 1843 года его дамой сердца стала молодая блондинка с томным взглядом, она часто опускала глаза свои долу с видом „пугливой голубки", но мелькавшая на ее лице лукавая улыбка разрушала это впечатление. Она именовалась Леони д'Онэ, происходила из небогатой, но старинной дворянской семьи, получила воспитание, подобающее светской барышне, а в восемнадцатилетнем возрасте убежала из дому и стала жить с художником Франсуа-Огюстом Биаром в его мастерской на Вандомской площади.

Биар был посредственным, довольно примитивным художником, достигшим успеха лишь потому, что король Луи-Филипп желал приобрести для галереи Версальского дворца помпезные „махины“ — исторические картины огромных размеров. Как раз такие произведения Огюст Биар мог малевать целыми сериями. Он побывал в Норвегии и Лапландии, это создало ему романтический ореол, быть может, и соблазнивший Леони д'Онэ. В 1839 году она совершила с ним путешествие на Шпицберген, проявив тогда и мужество и находчивость; на обратном пути они остановились в замке Манхольм, для того чтобы в соответствующей обстановке перечитать „Гана Исландца“ Виктора Гюго.

В 1840 году художник женился на своей подруге, так как она была уже беременной на шестом месяце. Они купили на берегу Сены, возле Самуа, „дом, сад, парк, пруд, лодку“ и стали с 1842 года принимать у себя художников. После возвращения с дальнего Севера госпожа Биар вошла в моду, как „первая француженка, побывавшая на Шпицбергене“, и ее альбом был заполнен стихами, подписанными тогдашними знаменитостями. Поэтов в ее дом приводила госпожа Гамлен, старая дама шестидесяти семи лет, одна из знаменитых „щеголих“ времен Директории. Она была креолкой, как и Жозефина Богарнэ, отличалась остроумием и утонченностью, дружила с Шатобрианом и Виктором Гюго. Как мадемуазель Жорж и многие другие, она была кратковременной фавориткой Наполеона, и он оставался ее „божеством“. Гюго, так хорошо отзывавшийся о Наполеоне, пленил этим нераскаявшуюся бонапартистку, а кроме того, он любил слушать ее воспоминания о пяти исчезнувших режимах: монархии, Директории, Консульстве, Империи, Реставрации.

Госпожа Гамлен снимала каждое лето охотничий домик (Эрмитаж-де-ла-Мадлен) близ Платрери, поместья Биаров. Молодая женщина и старуха подружились. Многие престарелые вдовы, в прошлом когда-то красивые и легкомысленные, грешат в старости сводничеством. Фортюне Гамлен представила поэта супруге художника. Они понравились друг другу, стали встречаться. Но в 1843 году постановка „Бургграфов“, путешествие по Пиренеям и затем смерть Леопольдины спасли Жюльетту от измены возлюбленного. В 1844 году Гюго, охваченный скорбью, прилагал все усилия, чтобы избавиться от мучительной тоски. Он хотел забыться в работе, усердно трудился в комиссиях Академии, бывал во дворце и, конечно, преда-

вался новым увлечениям. Госпожа Биар была несчастна в своей семейной жизни, художник дурно обращался с ней. Жалость к женщине обостряла у Гюго влечение к ней. Два отчаявшихся существа нашли друг друга, теперь у Гюго появилась новая спутница для ночных прогулок. Гюго показывал ей „свой Париж“ — от собора Парижской богоматери до улицы Гренель, писал стихи, воспевая в них уже не Жюльетту, а нового ангела.

Тот вечер первых дней апреля
И ты и я
В своих сердцах запечатлели,
Любовь моя!

Мы шли с тобою по столице
Порою той,
Когда на город ночь ложится,
А с ней покой...

В старинном и глухом квартале
Навстречу нам
Две призрачные башни встали
Над Нотр-Дам.

Хотя над Сеной облаками
Клубилась мгла,
Сверкали волны под мостами
Как зеркала...

Сказала ты: „Люблю и страстью
Своей горда!“
И ярко озарило счастье
Меня тогда.

Часы блаженные летели...
Любовь моя,
Ты помнишь эту ночь в апреле,
Как помню я?[1]

Двадцать пятого июня 1844 года:

Ты помнишь ли тот день, счастливый день воскресный?
Июнь, девятое... В окне узор чудесный
По белой кисее струился словно дым.
Тебя он называл сокровищем своим,
Он обнимал тебя... О миг блаженства, где ты!
Стучали в лад сердца, единством дум согреты.
И лучезарный день смеялся в лад сердцам,
И даже небеса завидовали вам!

---

[1] Гюго В. Апрельский вечер („Последний сноп“). Пер. Ю. Корнеева. — Собр. соч., т. 13, с. 572.

Друг друга вы без слов душою понимали,
Порой твои глаза таинственно сверкали,
Стыдливость и любовь читал он в них тогда —
Так тучи и лазурь плывут в очах пруда.
Лицо твое то вдруг пылало, то бледнело,
И в томном забытьи, легонько, то и дело —
О, счастье милое, о, сладостность мечты! —
Босою ножкою его касалась ты[1].

А 30 сентября 1844 года был написан знаменитый мадригал:

Сударыня, вы грация сама,
В вас все пленительно — игривость взора,
Покрой чепца, и прелесть разговора,
И стана гибкость, и игра ума.

Под стать Цирцее и под стать Армиде
Власть дивная волшебных ваших чар:
В грудь робкому вольет отваги жар,
А дерзкого в смешном представит виде.

Когда на небесах в полночный час
Я вижу звезды, сердце грезит вами.
Средь бела дня мне в душу льется пламя
Далеких звезд, когда я вижу вас[2].

Право, как-то тяжело читать о тех же чувствах, выраженных поэтом теми же словами, но уже посвященными другой женщине. Опять леса и гнезда являются сообщниками свиданий, а босая очаровательная ножка служит объектом любовных излияний, снова женщина предстает в образе ангела. Леони получала письма, проникнутые любовной страстью: „Ты ангел, и я целую твои ножки, целую твои слезы. Получил твое восхитительное письмо. Едва выбрал время написать тебе несколько строк. Работаю день и ночь, словно каторжник, но моя душа полна тобой, я тебя обожаю, ты свет моих очей, ты жизнь моего сердца... Я люблю тебя, ты же видишь... ни словами, ни взглядами, ни поцелуями не выразить мою безмерную любовь. Самая страстная и нежная ласка не идет ни в какое сравнение с любовью к тебе, которой полно мое сердце...“

„*Среда, 3 часа утра.* Твой поцелуй через вуаль, который ты мне подарила на прощанье, подобен любви на расстоянии... Я полон нежных, печальных и все же упо-

---

[1] Гюго В. XLVIII („Все струны лиры“). Пер. М. Ваксмахера.
[2] Гюго В. LXXII („Последний сноп“). Пер. М. Ваксмахера.

ительных воспоминаний. Меж нами препятствия, но ведь мы чувствуем друг друга, соприкасаемся друг с другом... Ты теперь не со мной, но все-таки я обладаю тобой, я вижу тебя. Ты устремляешь свой пленительный взгляд в мои глаза. Я разговариваю с тобой, я спрашиваю: „Ты любишь меня?“ — и слышу, как ты отвечаешь мне взволнованно и тихо: „Да“. Это одновременно иллюзия и реальность. Ты на самом деле здесь, мое сердце повелело тебе здесь присутствовать. Моя любовь заставила бродить вокруг меня твой нежный и очаровательный призрак... И все же тебя недостает здесь. Я не могу подолгу обманывать себя... Только успеваю загореться желанием поцеловать тебя, как милый призрак исчезает. Лишь во сне он приближается ко мне... Ну вот видишь, как приятно думать о тебе, но я предпочел бы чувствовать тебя, говорить с тобой, держать тебя на коленях, обнимать тебя, сжигать тебя своими ласками, чувствовать твое волнение, видеть тебя раскрасневшейся, а затем бледной, когда я тебя целую, ощущать, как ты трепещешь в моих объятиях... Это и есть жизнь; жизнь полная, цельная, истинная. Это луч солнца, это луч рая...“

Увы, подобного же рода письма он посылал и Жюльетте. Ведь мужчина никогда полностью не меняется, роль возлюбленной всегда одна и та же, и он ограничивается тем, что отдает ее более молодой комедиантке, лучше приспособленной для этой цели. Лишь талант актрисы и ее характер определяют различную манеру исполнения этой роли. Леони Биар не походила на пылкую и неистовую Жюльетту Друэ. Хотя она также представлялась несчастной, уязвленной душой (этим она и обворожила рыцарскую чувствительность Гюго), ее гримаски и улыбки напоминали скорее Ватто, нежели Делакруа. А литературная мода способствовала ее успеху. Это было время, когда Готье, Мюссе, Нерваль, пресытившись средневековьем, возродили поклонение изяществу XVIII века. Уже в течение нескольких лет Гюго преподносил Жюльетте игривые песни, *романсы, признания*. Для кого была написана восхитительная поэма „Праздник у Терезы“ — для Жюльетты или для Леони? Об этом можно спорить бесконечно, но важно другое, важно мастерство, проявленное Гюго при воплощении темы „Галантных празднеств“. Не напоминала ли его поэма карнавал либо костюмированный бал в парке Самуа? Скорее всего она напоминала полотна Ланкре.

В 1845 году противникам Гюго казалось, что он бро-

сил писать. Но в этом они, несомненно, ошибались. Он создавал великолепные стихи, посвященные покойной дочери, и мадригалы для Леони. Он работал над романом „Нищета“. Но кажущаяся фривольность его жизни внушала им недобрые надежды. Три дома тяжелым бременем ложились на его плечи и три женщины жаловались на него. Жюльетте, которая взывала к его клятвам, он ответил: „Ну что я могу тебе сказать?.. Долгие годы ты была моей радостью, теперь ты для меня утешение... Будь столь же счастлива, сколь благословенна. Отгони от своего прекрасного чела и своего большого сердца мелкие горести. Ты заслужила свет неба...“ Но она хотела изведать немного больше райского блаженства на земле. Он чаще всего бывал не у Жюльетты Друэ, а у госпожи Жирарден или у госпожи Гамлен, где встречал госпожу Биар. Об этой последней, к счастью, Жюльетта, которая вела уединенный образ жизни, ничего не знала. Она гневалась на Фортюне Гамлен. 4 декабря 1844 года она ему писала: „Я полагаю, что правку корректуры и корреспонденцию вы поручите только мне... Зато другие наслаждаются вашим обществом. Недаром мне сегодня ночью приснилось, что я задала хорошую трепку вашей креолке[1]. Твердо надеюсь, что я когда-нибудь и днем продолжу эту экзекуцию!..“

В Академии он хранил серьезный, важный облик, смотрел суровым взглядом; крутой подбородок придавал ему мужественный и торжественный вид; иногда он спорил и возмущался, но всегда соблюдая достоинство. На самом же деле он со скрытым юмором делал тайком иронические записи разговоров своих коллег, которые подспудно вошли в его произведения. О новых избранниках, пришедших в дом на набережной Конти, Гюго говорил так: „Старые академики теснятся вокруг вновь избранных и полных творческих сил, как тени чистилища вокруг Энея и живого Данте, испуганные и пораженные видом настоящих людей“. Что касается его самого, то он горячо желал, чтоб в Академию были избраны Бальзак, Дюма, Виньи, и это говорит о его и здравом смысле, и великодушии, так как каждый из них был грешен перед ним.

Он проявил еще больше великодушия, когда выставил свою кандидатуру Сент-Бев. Последний утверждал, что

[1] Фортюне Лормье-Лаграв, по мужу госпожа Гамлен (1776—1851), родилась в Сан-Доминго. (Прим. автора.)

он сознательно заставил себя сделать это, нарочито прививая себе честолюбие. „Я сделал себе прививку, — говорил он. — Я сделал это не в стадии заболевания оспой, а в момент, когда хотят предупредить болезнь“. Как бы то ни было, он пожелал стать академиком, а благодаря избранию Гюго французским романтикам был обеспечен доступ в Академию. Сент-Бева, конечно, не избрали бы, если бы одновременно с ним выставил свою кандидатуру и Альфред де Виньи, а последнее зависело от Гюго. Он же проявил поразительное благородство в отношении обоих писателей, на которых имел право обижаться. Он им давал советы, он принял Сент-Бева в своем доме на Королевской площади, „как монарх, забывший прошлые обиды“, он внушал Виньи терпение. В то время он не знал о существовании „Книги любви“. Наконец, 14 марта 1844 года Сент-Бев был избран. В тот же вечер его мать отправилась в церковь и принесла деве Марии цветы. Когда умер Казимир Делавинь, предшественник Сент-Бева, Гюго исполнял обязанности президента Академии, и ему полагалось возглавить церемонию приема. Он не уклонился от этой обязанности, он рад был подавить врага своим благородством. В зал нахлынула парижская публика, ожидавшая весьма любопытного заседания, но, вместо того чтобы смеяться, она вынуждена была аплодировать. Виктор Гюго восхвалял заслуги избранника:

„Будучи поэтом, вы сумели проложить в сумраке тропинку, которая принадлежит только вам... Ваш стих, почти всегда скорбный, часто глубокий, находит путь ко всем, кто страдает... Чтобы достигнуть их, ваша мысль накидывает на себя покрывало, ибо вы не хотели слиться с тенью, где они таятся... Отсюда рождается поэзия, проникновенная и робкая, осторожно касающаяся тайных струн сердца... Благодаря сочетанию учености и воображения поэт в вашем лице никогда целиком не подавляется критиком, а критик никогда целиком не перестает быть поэтом, — всеми этими чертами вы напоминаете Академии одного из самых дорогих и оплакиваемых ею сочленов, доброго и обаятельного Нодье, который был таким крупным писателем и таким кротким человеком...“[1]

О романе „Сладострастие“ и о новелле „Госпожа де Понтиви“ он не без лукавства сказал: что Сент-Бев как романист „исследовал неизвестные стороны возможной

[1] Речь, произнесенная В. Гюго на заседании Французской Академии 27 февраля 1845 г.

жизни“. Словом „возможной“ он тонко отметил, что жизнь эта не превратилась в реальность. Касаясь сочинения „Пор-Рояль“, Гюго произнес красноречивый панегирик янсенизму в вере. Короче говоря, публике поневоле пришлось восхищаться. Сент-Бев поблагодарил его.

Гюго — Сент-Беву: „Ваше письмо меня растрогало и взволновало. Глубоко признателен за вашу благодарность...“ Гюго попросил переплести обе речи в одну тетрадь, которую и преподнес Адели со следующим посвящением: „Моей жене. Двойная почесть. С нежной преданностью, потому что она очаровательна, и с уважением за ее доброту“. К первой странице он прикрепил письмо Сент-Бева. Такие чудеса творились во Французской Академии.

Честолюбцы — несчастные люди: они ненасытны. С того момента, как Виктор Гюго надел зеленый сюртук академика, он только и думал о раззолоченном мундире пэра Французского королевства. Жюльетта не желала, чтоб он избрал политическую карьеру. „Стать академиком, пэром Франции, министром? Да что все это для Тото, ставшего по милости божьей великим поэтом?..“ А госпожа Биар, напротив, одобряла и поощряла это стремление. Гюго теперь ухаживал за королем, и Луи-Филипп говорил с ним доверительно, относился к нему дружески. Поэт начертал его портрет, и запечатленные им реплики короля достойны Ретца или Сен-Симона. Король предстает здесь человечным, находчивым, разумным и часто исполненным горечи: „Господин Гюго, обо мне плохо судят... Говорят, что я хитер. Говорят, что я пронырлив. Это означает, что я предатель. Это меня огорчает. Я порядочный человек. У меня добрые намерения. Я не люблю кривых путей. Все те, с кем я близко соприкасался, знают, что я человек прямодушный“. И Виктор Гюго, с которым король здоровался запросто, порою готов был поверить этим словам.

Однако он действовал искусно. Герцогиня Орлеанская хлопотала за него перед своим августейшим свекром. А поэт произносил великолепные речи во Французской Академии. Как говорил Сент-Бев, „была пущена в ход вся артиллерия“. Эта тактика привела к победе. Королевским ордонансом от 13 апреля 1845 года виконт Гюго (Виктор-Мари) был возведен в пэры. Республиканские газеты отозвались об этом саркастически. Арман Маррас в газете „Насьональ“ описал обстановку приема поэта в Люксембургском дворце: „Проникавший сквозь витражи яркий

свет, похожий на иллюминацию, придавал палевым стенам зала красный отблеск. Господин Паскье в канцелярской шапочке прочитал ордонанс, который возводил в звание пэра Франции господина виконта Виктора Гюго... Мы лопались от смеха... Мы-то этого не знали. Он, оказывается, был виконтом! Поэтический восторг охватил нас. Мы были восхищены этим титулом... Виктор Гюго умер, приветствуйте виконта Гюго, лирического пэра Франции! Демократия, которую он оскорбил, отныне может над ним потешаться: он заслужил эту месть". А вот что писал Шарль Морис в „Театральном курьере": „Господин Виктор Гюго возведен в пэры Франции. Король забавляется..." В Париже поговаривали, что Гюго хочет быть послом в Испании. „Истина же состояла в том, что он твердо надеялся стать когда-нибудь министром", — утверждал Теодор Пави. Что касается Жюльетты, то во втором письме, написанном в течение одного и того же дня, она обращалась к Гюго с вопросом: „Почему всемогущий бог только и думал о том, чтобы вы стали академиком и пэром Франции, а я — вашей любовницей, почему он столь щедро одарил вас роскошными темными волосами и молодостью, совершенно ненужными для стародавних званий, тогда как у меня вся голова седая?"

Пьер Фуше был еще жив, когда его дочь стала супругой пэра. Этот скромный старик умер в мае 1845 года. Смерть пощадила его — и он не дожил до разразившегося скандала, который, несомненно, был бы жестоким потрясением для этого примерного отца семейства и религиозного человека. Утром 5 июля, по прошению Огюста Биара, полицейский комиссар квартала Вандом именем закона приказал открыть ему дверь в укромной квартирке в пассаже Сен-Рок и застал там „во время преступного разговора" Виктора Гюго и его любовницу. В то время адюльтер сурово карался; муж был неумолим. Леони д'Онэ, „по мужу госпожа Биар", была арестована и посажена в тюрьму Сен-Лазар, Виктор Гюго сослался на закон неприкосновенности пэра, и комиссар после некоторого колебания отпустил его. Тогда Биар подал жалобу канцлеру Паскье. На следующий день газеты „Патри", „Насьональ", „Котидьен" эзоповским языком сообщали о плачевном скандальном происшествии и о той неприятной миссии, которую должна выполнить палата пэров — судить за адюльтер одного из своих членов. Дело дошло до того, что в этот скандал вмешался сам король, заставив художника Биара явиться в Сен-Клу и взять обратно

свою жалобу. В ту пору поговаривали, что фрески, заказанные художнику для Версальского дворца, заставили его забыть о похождениях своей супруги.

Друзья и недруги долго издевались над этим скандалом, одни тайно, другие открыто. Ламартин отозвался на это событие трогательно и жестоко. Он написал графу Сиркуру: „Меня это очень рассердило, но подобные происшествия скоро забываются. Франция — страна гибкая. В ней быстро поднимаются даже с дивана“. А в письме к Дарго он писал: „Любовное приключение моего бедного друга Гюго огорчает меня... Самым горестным для него должно быть то обстоятельство, что эта женщина оказалась в тюрьме, а он на свободе“. Король посоветовал Гюго на некоторое время уехать из Парижа, но он предпочел укрыться у Жюльетты, чтобы создать, как выразился Сент-Бев, „такое произведение, которое перечеркнуло бы приключение в пассаже Сен-Рок“. Жюльетта ничего не знала об этом скандале. Встревоженная письмом сестры, госпожи Луизы Кох, жившей в Бретани, в котором та вопрошала: „Что означают статьи и заметки в „Насьональ“ и „Патри“?, она искренне все опровергала. Что же касается госпожи Гюго, то она на утро после разоблаченного свидания выслушала признания виновника, отнеслась к ним весьма снисходительно и даже отправилась в тюрьму, чтобы навестить там плачущую госпожу Биар.

VII

Величие и несчастье

Апогей славы ужасно трудно развенчать.

Виктор Гюго

Происшествие в пассаже Сен-Рок не оказало существенного влияния на карьеру Виктора Гюго. Единственной жертвой стала Леони Биар, оказавшаяся в тюрьме Сен-Лазар среди проституток и женщин, совершивших прелюбодеяние. Тем временем госпожа Гамлен стала уговаривать ее мужа, соседа по имению в Самуа, чтобы он согласился освободить жену или перевести ее в монастырь Сакре-Кер, на что он имел полное право. „Дорогой соседушка,— шутливо сказала она ему,— лишь короли и рогоносцы обладают правом помиловать преступника. Воспользуйтесь редким случаем“. Биар расхохотался и

приостановил действия властей. Вслед за тем очаровательную Леони водворили на несколько месяцев в монастырь августинок на улице Нев-де-Берри. Расставшись со своим поэтом, который непрестанно посылал ей изумительные стихи, она тосковала в заточении и совратила монахинь — заставила их читать стихи Виктора Гюго. 14 августа 1845 года супругов развели.

Выйдя из монастыря, красавица, не очень раскаявшись, поселилась у своей бабушки. Вначале светское общество ее не признавало, но ей помогло заступничество госпожи Гамлен, да и сама госпожа Гюго согласилась быть покровительницей Леони д'Онэ, которая стала постоянным украшением салона на Королевской площади. Стремилась ли Адель тем самым показать величие своей души, или она хотела угодить мужу, являвшемуся теперь лишь ее другом, продиктована ли была эта тактика желанием провинившейся жены загладить свой проступок, сказался ли тут ее здравый смысл либо жажда отомстить Жюльетте Друэ? Как бы то ни было, она встречала Леони д'Онэ по-дружески, а та поучала Адель, став ее советчицей по части туалетов и убранства комнат. Ламартин был прав: во Франции быстро приходят в себя. Надо было, однако, заняться устройством жизни разведенной женщины. Она немного писала, опубликовала несколько статей, затем ряд книг; Гюго проявлял в отношении ее щедрость, хотя, быть может, не такую, как ей хотелось, но большего он сделать не мог: „Я готов ради вас вытянуть из себя все жилы, но ведь жилы — не деньги".

Следует признать, что в то время его доходы не были значительными, так как он ничего не печатал. После разразившегося скандала он стремился не привлекать к себе внимания. Нельзя сказать, что Гюго не работал. Он обратился к прежнему замыслу, — роману „Нищета", договор на который подписал когда-то с Рандюэлем и Госленом. То был социальный роман, подобный романам Эжена Сю, состоявший из четырех частей — истории святого, истории каторжника, истории женщины, истории куклы.

У Огюста Вакери, читавшего „начальные главы этой эпопеи, горло перехватывало от восторга". Его легко можно понять. Виктор Гюго выразил в этой книге свою глубокую жалость к отверженным и свое возмущение общественным строем, с которым он, казалось бы, примирился, но против которого восставал всем своим сердцем. Жюльетта, переписывая „Жана Трежана" (первое название романа), была им потрясена.

Двадцать третьего декабря 1845 года она просила Гюго: „Дай мне главы для переписки. Мне хочется поскорее узнать о судьбе великодушного епископа Д...“. *3 февраля 1848 года:* „Они предстают передо мною, как будто бы я была среди них. Я ощущаю жестокие страдания бедного Жана Трежана и не могу сдержать слез, представляя себе судьбу этого несчастного мученика; я не знаю ничего более душераздирающего, чем жизнь несчастной Фантины, ничего более горестного, чем судьба Шанматье. Я переживаю судьбу всех этих персонажей, разделяю их несчастья, как если бы они были живыми людьми, — так правдиво ты их описал. Не знаю, как тебе объяснить, но книга потрясла и мое воображение, и ум, и сердце. Ты очень верно назвал ее „Нищета“.

Жюльетта наслаждалась, как никогда, присутствием своего любовника и господина; ей пошло на пользу то обстоятельство (неведомое для нее), что Леони Биар находилась в тюрьме, а затем жила уединенно. В 1846 году Жюльетту особенно сблизило с Гюго глубокое горе, столь же страшное, как трагедия в Вилькье. Ее дочь Клер Прадье (отец запретил ей носить эту фамилию, ибо он имел теперь „законных“ детей) была фактически удочерена Гюго, который выплачивал ей пенсию, давал ей уроки, осыпал ее подарками, был к ней искренне привязан. Она стала трогательной и грустной молодой девушкой, так как сознавала свою незаслуженную горькую участь, и, дойдя до отчаяния, призывала смерть.

Клер — Виктору Гюго: „Прощайте, господин Тото, берегите мою дорогую маму, мою добрую, мою прелестную мамочку. Знайте, что ваша Клер всегда будет вам за это благодарна“. И вот эта юная девушка, быть может, после попытки покончить с собой, серьезно заболела. Прадье заставил отвезти ее в Отей, „в ужасную маленькую конуру лавочника“. Виктор Гюго не раз бросал работу и отправлялся к ней в омнибусе. Хотя подобная преданность была естественной, Жюльетта воспринимала его посещения с беспредельной благодарностью, словно некое божество снисходило до простых смертных. Она обожала свою дочь и, однако, даже в дни ее предсмертных мук продолжала ежедневно посылать Гюго свои „каракульки“: „Я охвачена отчаяньем, но я люблю тебя. Господь бог, если пожелает, может ради своего удовольствия терзать мне душу, но последним криком моего сердца будет крик любви к тебе, мой любимый...“

Когда Клер Прадье повезли на кладбище Сен-Манде,

виконт Виктор Гюго, пэр Франции, шел вместе с ее отцом в траурной процессии. Прадье в дни предсмертных мук дочери стал более нежным к ней. В сложившейся обстановке, после недавнего скандала, для Гюго было небезопасно афишировать себя. Но он смело пошел на это, желая выразить свою привязанность к умершей и к ее матери. Писатель, преуспевший в жизни, он при всех слабостях, свойственных „удачникам", сохранил достаточно человечности, спасительной для своей души. В утешение скорбевшей Жюльетты и в память погибшей Клер он создал немало стихов:

И вот опять... Открылась та же дверь —
За дочерью моей твоя ушла.
Все повторилось, и над ней теперь —
Могильный камень и колокола...

Ушла туда, где все — голубизна,
Где утренняя даль светла, чиста.
В руке господней мирно спит она,
И запечатал сон ее уста...[1]

После смерти Клер отношения поэта с Прадье стали более сердечными. Вот статья о мастерстве скульптора, продиктованная Виктором Гюго Жюльетте Друэ: „Среди скульпторов есть один, множество прекрасных произведений которого ставят его неизмеримо выше других,— это господин Прадье... Господин Прадье настоящий мастер. С ним никто не может соперничать... Талант одновременно зрелый и молодой, господин Прадье имеет такую изумительную руку, какой ваяние не обладало никогда..." Случалось, что Виктор Гюго обедал у Прадье вместе с Альфонсом Карром, так что за одним столом собирались три любовника Жюльетты Друэ. В 1845 году, когда Гюго застигли с Леони Биар, и Прадье застал свою жену за „преступным разговором" с неким вертопрахом. Изгнав ее из дома, он совершал прогулки с натурщицами в Медонском лесу. Тем временем Жульетта, по-прежнему не выходившая из дому, терзалась своим горем: „Если бы ты не любил меня, я не прожила бы и двух часов". Мать тосковала об утраченной дочери больше, чем при жизни ее: ведь в течение двадцати лет Клер почти не жила под кровлей материнского дома. Вначале Прадье поручил ее кормилице, затем ее отдали в закрытый пан-

---

[1] Гюго В. Клер („Созерцания").

сион, и там она осталась помощницей воспитательницы. К отчаянию Жульетты примешивались тайные угрызения совести.

В июне 1845 года, после происшествия с Леони Биар, виконт Гюго, почувствовав враждебную ему обстановку в палате пэров, произносил там свои первые речи с крайней сдержанностью. Когда о тебе идет слава как о возмутителе спокойствия, то лучше всего стать незаметным. В первой речи он говорил о фабричных марках и рисунках, и это внесло успокоение. В другой раз он принял участие в дебатах о Польше, его речь не встретила никакой поддержки. Эти высокомерные старики питали к нему злобу якобы за то, что он „втоптал в грязь их незапятнанную честь“. В действительности же среди пэров было не так уж мало неверных мужей, но они не попадались. В этом все дело. Гюго смотрел на этих надменных сановников с насмешкой и, так же как о своих коллегах по Академии, отзывался о них в своих заметках с юмором. О генерале Фавье он написал: „Я думал, что передо мной предстанет лев, а оказалось — старая баба“. О маркизе Буаси: „Он человек с апломбом, хладнокровен, у него хорошо подвешен язык, все данные для превосходного оратора, не хватает только одного качества — дарования“. Более всего удивителен контраст между великолепной, убийственной иронией книги „Увиденное“, достойной таланта Стендаля, и возвышенными парламентскими речами Гюго, построенными на антитезах и ораторских приемах. Порою Гюго — Малья должен был потешаться над Гюго — Рюи Блазом.

Тем не менее одна из его речей имела успех. Это речь, где он поддержал просьбу Жерома-Наполеона Бонапарта о разрешении его семье въезда во Францию. Гюго сослался на своего отца, „старого солдата императора“, который приказал ему „подняться и произнести свое слово“. Он красноречиво рассказал о мировой славе Наполеона и спросил, какое преступление тот совершил, что его потомки навсегда лишены права жить во Франции. „Вот они, эти преступления: возрожденная религия, Гражданский кодекс, возвеличенная и расширившая свои границы Франция, Маренго, Иена, Ваграм, Аустерлиц; это наиболее величественный вклад в дело могущества и славы великой нации, когда-либо внесенный одним великим человеком“. Находившийся возле трибуны парламентский пристав, бывший командир батальона, плакал. Фортюне Гамлен и Леони д’Онэ, рьяные бонапартистки, — ликовали.

А он, Гюго? Кем он был на самом деле? Почитателем императорской славы? Сторонником буржуазной монархии? Другом отверженных? До тех пор пока человек не примет внутреннего решения, которое определит его действие, кто может знать, что он собою представляет? Нравились или не нравились Гюго порядки Июльской монархии, но он стал при ней виконтом, академиком, пэром Франции, „хорошо упитанным человеком с энергичным лицом“, он обедал у министров и послов; там он видел, но на дальнем конце стола, и Альфреда де Виньи, белокурого поэта с птичьим профилем, выставившего свою кандидатуру в Академию, потому весьма почтительного с Гюго, маленького и лысого Сент-Бева, длинноволосого Прадье, выглядевшего сорокалетним, хотя ему уже стукнуло шестьдесят, художника Энгра, которому „стол доходил до подбородка, так что казалось, будто его командорская лента являлась продолжением скатерти“. Он присутствовал на спектаклях в Тюильри; театральный зал, более преданный наполеоновской империи, чем зрители, сохранял прежнее убранство: лиры, грифоны, листья пальм и греческий орнамент. В публике почти не было красивых женщин. Самой красивой оставалась „испанка“ Адель, дама уже зрелого возраста. К Гюго подошла там однажды мадемуазель Жорж, когда-то гремевшая и торжествовавшая, а теперь постаревшая и печальная: „Где уж мне играть? Я так растолстела. Да и где авторы? Где пьесы? Где роли? Бедняжка Дорваль играет в каком-то неизвестном театре то ли в Тулузе, то ли в Карпантра, лишь бы заработать кусок хлеба. Она дошла до того, что выступает, как и я, в каких-то сараях на шатких подмостках, при свете четырех сальных свечек, а ведь у нас обеих болят старые кости и головы-то облысели“. Герцоги обращались с Гюго запросто, но дружеское их обращение уже не доставляло ему удовольствия. Слава и Смерть обеспечили ему первое место среди писателей. Кто превосходил его в литературе? В 1847 году Шатобриан уже был стариком-паралитиком, которого в три часа дня вкатывали в кресле в салон ослепшей госпожи Рекамье. На похоронах госпожи Марс, которая когда-то, во время постановки „Эрнани“, издевалась над поэтом, ибо она была „одухотворенная актриса, но глупая женщина“, Гюго встретил парижан в блузах, выискивавших поэтов в толпе. „Этому народу необходима слава. Когда нет ни Маренго, ни Аустерлица, он хочет видеть и любить таких, как Дюма и Ламартин“. И таких, как Гюго.

В общем, насыщенная жизнь. В течение десяти лет, в промежуток между „Осенними листьями“ и „Лучами и тенями“, он написал четыре сборника прекраснейших французских стихов. Казалось, что „Отверженные“ не уступят „Собору Парижской богоматери“; у него была возможность стать министром. Ему пришлось пережить тревожное время, он выстоял, его слава не померкла. И тем не менее он не был счастлив. Возвратившись с кладбища, где похоронили юную Клер, он запечатлел в стихах суету и тщеславие светской жизни:

Речами волновать угрюмые собранья;
Сравнив с достигнутым высокий идеал,
Понять, как ты велик и как ничтожно мал,
Волною быть в толпе, душой — в бурлящем море;
Все в жизни испытать — и радости и горе;
Бороться яростно, любить земную твердь...
Потом, в конце пути, — безмолвие и смерть![1]

Выйдя из залы, в которой протекало пышное празднество, в темный сад, где при легком дуновении летнего ветерка, при волшебном свете ярких фонарей тихо колыхалась листва, он видел за оградой толпу, которая злобно и мрачно взирала на дам, сверкавших драгоценностями, на нарядных, обвешанных орденами господ. Пэр Франции, буржуа, вклады которого в государственные бумаги все время возрастали, пытался успокоить свою совесть. Разве роскошь не приносит пользу всему обществу? Разве богач фабрикант, расходующий большие суммы, не выплачивает рабочим жалованье? Однако Гюго хорошо знал, что чувствует несчастный человек, видя в окно, как танцуют счастливые люди; он знал также, что народ требует не только хлеба, но и равенства. „Когда толпа бедняков глядит на богатых, то это вызывает у нее не просто размышления, — это предвестник будущих событий“. Но что же делать? Человек достиг „видного положения“, и вот ловко сконструированная социальная машина захватила его своими шестернями, протаскивает от вала к валу прокатного стана и все больше расплющивает его совесть, перебрасывая с празднества на празднество, с одного званого обеда на другой. Двадцать душ возле него, женщины, дети, подопечные, которым он должен помочь жить в обществе, таком, каково оно есть. Для того, чтобы вырваться из потока этой жизни, нужна была

[1] Гюго В. „Жить под безоблачным иль хмурым небосводом...“ („Созерцания“). Пер. Э. Линецкой. — Собр. соч., т. 12, с. 383.

или твердая решимость, или революция. Создавая „Отверженных", Виктор Гюго думал и о том и о другом. Чувствуя себя виновным, он стремился искупить вину хотя бы ценою жестокого изгнания. Он хотел пострадать и хотел возвеличиться, самобичевание сочеталось с честолюбием.

Потеряв твердую почву под ногами, он искал забвения. Отсюда стихи „Призыв к бездне". Актрисы, дебютантки, горничные, авантюристки, куртизанки, в 1847 — 1850 годах его как бы томило неутолимое вожделение. Романтический любовник воспринял манеры вертопраха, стиль речей Вальмона. Так, он пишет литературной куртизанке Эсфирь Гиймон, любовнице его друга Эмиля де Жирардена, фривольную записку: „Но когда же рай? Хотите в понедельник? Хотите во вторник? Хотите в среду? Не побоитесь ли пятницы? Я боюсь лишь одного, как бы не опоздать! *В. Г.*". У Теофиля Готье, у художника Шасерьо, у своего сына Шарля Гюго он с успехом оспаривает право на любовь самой стройной женщины Парижа — Алисы Ози.

Эта красивая, легкомысленная особа, находившаяся в любовной связи с Шарлем, которому в 1847 году исполнился двадцать один год, пожелала украсить свой альбом автографом великого поэта. Когда Гюго пришел к ней, то увидел ложе из розового дерева с инкрустациями старинного севрского фарфора; Алиса получила обещанное четверостишие:

В тот час, когда закат бледнеет постепенно
И над землею сумрак золотистый,
Платон Венеру ждет, возникшую из пены,
А я — на ложе восходящую Алису.

Венера притворилась обиженной вольностью стихов, бесспорно для того, чтобы доставить удовольствие встревоженному юному Шарлю. В знак извинения было написано другое четверостишие:

Порой мечтатель оскорбит свою мечту...
Но я сегодня вопрошаю удивленно —
Как может оскорбить желанье ту,
Что стала вдруг Венерой для Платона?..

Произошло то, что должно было произойти. Отец восторжествовал над сыном, а толстяк Шарль страдал, сохраняя, однако, почтение, которое внушал ему „влады-

ка" (как называли отца между собой сыновья Гюго). Будучи, как и отец, поэтом, он вслед за тем обличил в стихах жестокосердную красавицу.

О, как тебя люблю — люблю и ненавижу!
То страсть в твоей душе, то суетность я вижу,
„Добра ты или зла?" — терзаюсь я, скорбя,
Из крайности одной кидаюсь я в другую,
То пламенно люблю, то бешено ревную,
Но за любовников готов убить тебя...[1]

Но гений одержал победу над молодостью. Молодости пришлось смириться. *Шарль Гюго — Алисе Ози*: „Зачем вы прислали письмо отцу? С одной стороны сын с чистым сердцем, глубокой любовью, безграничной преданностью; с другой — отец в ореоле славы. Вы избрали отца и славу. Я за это вас не порицаю. Всякая женщина поступила бы точно так же; прошу вас только понять, что я не в силах переносить страдания, которые мне готовит *ваша любовь, разделяемая таким образом*". Адель Гюго, знавшая об этой драме, так же как и обо всех других, утешала сына; Жюльетта Друэ, которой сообщили лишь о том, что Шарль страдает из-за разбитой любви, посоветовала отправить его в Вилькье, к Огюсту Вакери. Вновь в истории семейства Гюго грех „приписывался вместо отца сыну".

Все эти интрижки, которые нельзя было оправдать страстью, оставляли после себя горечь. „Одурманиваться — не значит наслаждаться жизнью". Гюго жаждал избавиться от искушений даже ценою страдания.

После трагедии в Вилькье, после смерти Леопольдины и Клер у Гюго возникла потребность поверить в то, что он когда-нибудь встретится с усопшими. „Нежный ангел, ужели невозможно поднять плиту и побеседовать с тобой?" Он размышлял о загробной жизни. Он стремился создать для себя философию религии, он изучал теории оккультистов, учивших, что даже в этом мире возможно общение с душами отошедших. Такими мыслями и объясняется тот затуманенный и отчужденный взгляд, какой бывал тогда у Гюго, человека еще молодого, сильного и по всей видимости торжествующего. 19 февраля 1848 года, сидя в своем кресле пэра, погрузившись в неопределенное раздумье, он написал на листке бумаги: „Нужда ведет народ к революции, а революция ввергает его в нужду". Вначале он думал о возможно-

---

[1] Пер. М. Ваксмахера.

стях борьбы, но затем, поняв, что он одинок, отказался от этой мысли. „Лучше уж не восставать, чем восставать в одиночку, — сказал он графу Дарю, — я люблю опасность, но не желаю оказаться в смешном положении". И так он продолжал играть свою роль с болью в сердце.

Часть седьмая

Время решений

То, что теряют во время жатвы, восполняют во время сбора винограда.

Виктор Гюго

I

Кошелек или сердце

В феврале 1848 года Франция, уже восемнадцать лет терпевшая режим Июльской монархии, стала выражать недовольство. Либералы и республиканцы требовали на своих банкетах избирательной реформы, засуетились легитимисты и бонапартисты; кое-кто заговорил даже о революции. Король Луи-Филипп усмехался: „Я ничего не боюсь“, — сказал он бывшему королю Жерому Бонапарту и, немного помолчав, добавил: „Без меня им не обойтись“. Виктор Гюго со спокойствием художника взирал на этот волнующийся океан. Избирательная реформа его совершенно не интересовала, социальные вопросы занимали его гораздо больше, чем парламентские дебаты. Старый король был весьма любезен с ним и охотно противопоставил бы его, как сторонника монархии, Ламартину, который свой авторитет поэта поставил на службу защиты реформ. Но Гюго не предлагал своих услуг. Чего он опасался? Что падет министерство? Что король должен будет отречься от престола? В этом случае его дорогая принцесса Елена станет регентшей, а он сам — всемогущим советником. Установление же республики казалось ему тогда и нежелательным и невозможным.

Отправившись 23 февраля в палату, чтобы узнать новости, он встретил на улицах множество солдат и простолюдинов, которые кричали: „Да здравствует армия! Долой Гизо!“ Солдаты болтали и шутили. В зале ожидания он встретил взволнованных и напуганных людей, собиравшихся кучками. Он обратился к ним: „На правительстве лежит тяжелая вина. Оно довело дело до опасного

положения... Бунт укрепляет министерство, но революция ниспровергает династию". В этот день его воображение заполнили символические образы моря. Он отметил в своей записной книжке, что во время бунта народ подобен океану, по которому плывет корабль правительства. Если корабль кажется утлой ладьей, это означает, что бунт превратился в революцию.

Вслед за тем он пошел на площадь Согласия, желая смешаться с толпой, так как он был человеком мужественным, любителем зрелищ и верил лишь тому, что видел собственными глазами. Солдаты стреляли, были раненые. Среди „блузников он заметил очаровательную женщину в зеленой бархатной шляпке, которая, приподняв юбку, обнажила прелестную ножку. Фавн Сириуса. Около моста Карусель он встретил Жюля Сандо — „самого косматого из лысых", и тот спросил его: „Что вы об этом думаете?" — „Бунт будет подавлен, — ответил Гюго, — но Революция восторжествует".

Великие события не мешают искать маленьких развлечений. В ту самую ночь, когда происходил мятеж, Гюго, прежде чем возвратиться в лоно семьи, отправился ужинать к божественной Алисе Ози, недавно ставшей любовницей художника Шасерьо, который обожал ее, хотя она его всячески мучила. „На ней было жемчужное колье и красная кашемировая шаль удивительной красоты". В присутствии своего любовника она приоткрыла корсаж для того, чтобы показать Гюго „очаровательную грудь, прекрасную грудь, какую воспевают поэты и покупают банкиры". Затем она уперлась каблучком в стол и подняла платье, так что стала видна до самой подвязки прелестнейшая в мире ножка в прозрачном шелковом чулке. Шасерьо чуть не упал в обморок. В книге „Увиденное" Виктор Гюго набросал темпераментную сцену под названием „С натуры", где Шасерьо назвал Серьо, Алису Ози — Зубири. В тот вечер на бульваре Капуцинок происходила перестрелка, мятеж превращался в революцию.

Когда Гюго поздно вечером возвратился домой, под аркадами домов, окружавших Королевскую площадь, находился в засаде целый батальон. Во мраке смутно мерцали штыки. На следующее утро, 24 февраля, он наблюдал со своего балкона толпу, окружавшую здание мэрии. Мэр округа Эрнест Моро пригласил его к себе и рассказал о резне, происходившей на бульваре Капуцинок. Всюду воздвигали баррикады. В восемь часов тридцать

минут утра, после того как пробил барабан, мэр объявил, что министерство Гизо пало и что Одилон Барро, сторонник реформы, взял власть в свои руки. На Королевской площади провозглашали: „Да здравствует реформа!“, но на площади Бастилии, где Моро повторил свое сообщение, его шляпу прострелила пуля. Вместе с мэром Гюго, отважный пловец бросился в море людское и добрался до Бурбонского дворца, где Тьер с едким сарказмом сообщил ему, что палата распущена, король отрекся от престола, а герцогиня Орлеанская провозглашена регентшей. „О, волна все поднимается, поднимается, поднимается!“ — со сдержанной радостью повторял маленький Тьер, которого падение Гизо вознаграждало за все. Он горячо убеждал Гюго и мэра VIII округа, что надо отправиться в министерство внутренних дел к Одилону Барро и договориться с ним: „Ваш квартал (Сент-Антуанское предместье) может иметь в данный момент решающее значение“.

Все происходило так, как представлял себе Гюго. Одилон Барро вел себя с обычной своей вялостью и, хотя стоял засунув руку за отворот сюртука, подражая Наполеону, не проявил его решимости. Регентство? „Да, конечно, — сказал Барро, — но будет ли оно санкционировано парламентом? Нужно, — продолжал он, — чтобы герцогиня Орлеанская привезла графа Парижского в палату депутатов“. — „Палата распущена, — ответил Гюго, — если герцогиня и должна куда-нибудь направиться, то в ратушу“. С этой целью Гюго и мэр поспешили в Тюильри, чтобы уговорить Елену Орлеанскую. Но, к их сожалению, она уже направилась в здание палаты.

Они быстро возвратились на Королевскую площадь, чтобы объявить там об учреждении регентства. Именно Гюго с балкона мэрии объявил толпе о том, что король отрекся от престола *(бурные аплодисменты)* и что герцогиня Орлеанская провозглашена регентшей *(глухой ропот)*. „Теперь я должен, — сказал Гюго, — пойти на площадь Бастилии, объявить там об этом событии“. Мэр был обескуражен: „Вы же видите, что это бесполезно, — регентство не встретило одобрения... На площади Бастилии вы встретите революционно настроенных людей предместья, быть может, они отнесутся к вам враждебно“. Гюго ответил, что он обещал это Барро и сдержит свое слово. С помощью двух офицеров Национальной гвардии он поднялся на подмостки, окружавшие Июльскую колонну. Как и предвидел мэр, сообщение встретили враждебно. „Нет! Нет! Никакого регентства! Долой Бурбонов!“

Один блузник прицелился в него и воскликнул: „Долой пэра Франции!“ Гюго отвечал довольно красноречиво, но допустил промах, сказав, что конституционная монархия совместима с принципами свободы: „Вот, например, королева Виктория в Англии...“ — „Мы французы, — кричали ему, — не надо нам никакого регентства!“

Он еще не сдавался, но игра была проиграна. Поэтом, державшим сейчас в своих руках Париж, был теперь не Виктор Гюго, а Ламартин, имя которого стало популярным благодаря его книге „История жирондистов“ и который „озарил гильотину лучом своей серебряной луны“. Ламартин же, когда ему предложили высказаться за или против регентства, поразмыслив мгновение, высказался в пользу республики. Обращение, которое подписали после него Ледрю-Роллен, Гарнье-Пажес, Кремье, Мари и Дюпон де Л'Эр, определило будущее страны. Решилась судьба народа. Жребий был брошен. Гюго был не очень доволен. Заменить Луи-Филиппа, которому недоставало широты кругозора, но не образованности и ума, „напуганным стариком Дюпоном“, — подобная операция казалась ему неудачной. Он вспоминал рассказы своей матери и боялся, что республика станет анархией. Но во временном правительстве были Ламартин и Араго, которых он уважал, и на следующий день, утром 25 февраля, его охватило непреодолимое желание пойти в ратушу и вновь броситься в бурлящее море народа. Ранним утром он отправился туда со своим младшим сыном, Франсуа-Виктором. Возвышенный созерцатель, он любил гул народной толпы, напоминавший ему шум морского прибоя. Город, как ему казалось, приобрел радостный вид. Оживленная толпа со знаменами и барабанами распевала „*Марсельезу*“ и „*Умрем за родину*“.

На площади Ратуши шумная ватага остановила его, но командиром Национальной гвардии, обеспечивавшей порядок на этой площади, оказался ювелир Фроман Мерис, брат Поля Мериса, юного ученика Гюго. „Дорогу Виктору Гюго!“ — воскликнул он, и гражданин Гюго получил возможность встретиться с гражданином Ламартином. Тот был в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с трехцветным шарфом, повязанным крест-накрест; Гюго он встретил с распростертыми объятиями: „А! Вы пришли к нам, Виктор Гюго, это для республики большая подмога“.

Виктор Гюго в глубокой нерешительности сказал, что в *принципе* он республиканец, но тем не менее он пэр Франции, назначенный королем. И это обязывает его

проявлять крайнюю сдержанность; к тому же, полагая, что учреждение республики является преждевременным, он искренне высказался бы за регентство, если бы представилась возможность его учредить. Ламартин объявил ему, что временное правительство назначило Виктора Гюго мэром того округа, где он живет, и что, если вместо мэрии он пожелает министерство... „Виктор Гюго — министр народного просвещения республики, как это было бы прекрасно!“ Гюго возражал. Он не видел никакой необходимости заменять мэра VIII округа Эрнеста Моро, который вел себя так лояльно. Но все же он положил грамоту себе в карман. В этот момент на площади началась стрельба, и пулей разбило стекло. “Ах, друг мой, — сказал Ламартин, — очень трудно быть носителем революционной власти!“ Он указал на площадь, где непрестанно передвигались людские толпы. „Смотрите, вот океан“. Смутно осознанное родство гениальных натур сблизило в этот день двух столь различных людей.

На следующий день Гюго бродил по Парижу, восторгаясь быстротой происшедших изменений. Впервые за шестьдесят лет господь бог так стремительно переменил на сцене декорации.

Ну как подобной шутке не смеяться —
Диктатор-шут в министры взял паяца!

На памятнике Людовику XIV, находившемся на площади Победы, красовался красный Фригийский колпак. Увлеченный прогулкой, Гюго сочинял стихи:

Несется крик: „Долой Гизо и Полиньяка!“
Гамен предместий встал, и — закипает драка!
Истории балласт бессилен перед ним,
Гамен берет Париж, как раньше брал он Рим.
Защита сметена. Пусть рядом кровь и боль —
Он победил. Дитя, — но он уже король.
Он Лувром завладел, и перед ним внутри
Высокий зал и трон; он входит в Тюильри,
И как вельможа там гуляет он с Марасом
У статуй царственных, по мраморным террасам[1].

Арман Маррас, главный редактор газеты „Насьональ“, будущий председатель Национального собрания, казался Гюго состоятельным буржуа, который разыгрывает роль революционера, образ, вызывавший у него отвращение с 1830 года. „Сотворив 24 февраля, господь бог для этого

[1] Гюго В. Заметки о февральской революции 1848 г. Пер. Г. Кружкова.

зачем-то взял Марраса". Гюго плохо разбирался во всех происходивших событиях, разрушавших его надежды. Он получал анонимные письма, в которых осуждались его „снобизм, надменность, аристократизм". В этом ощущался дух 1793 года. Порой Гюго охватывало отчаянье при мысли о будущем:

Я делал, что мог; я трудился, служил,
И было порою мне горько и странно,
Что смех вызывают душевные раны
Того, кто в заботах и горестях жил.

Но спор бесконечный вести мне невмочь,
А с завистью биться уже бесполезно...
Всевышний, отверзни врата твоей бездны —
Да примет меня беспредельная ночь![1]

Тем временем его друг Эмиль Жирарден, еще вчера — сторонник регентства, но оппортунист по натуре, сразу же примкнул к временному правительству, обеспечив республике сто двадцать тысяч читателей газеты „Ла Пресс". Это было знаком времени. Сдержанно относясь к новому режиму, Гюго все еще надеялся, что в будущем он сможет играть какую-то роль в событиях, и пытался угадать, не приведут ли всеобщие выборы, хотя и при широкой гласности, к утверждению монархии. Не выставляя своей кандидатуры на апрельских выборах, он выступил с „*Письмом к избирателям*", в котором достоинство тонко сочеталось с честолюбием: „Господа! Я принадлежу моей стране; она может располагать мною. Я полон уважения, быть может даже чрезмерного, к свободе выбора; позвольте же мне на этом основании не выставлять себя... Если мои сограждане, свободные и суверенные, сочтут уместным послать меня в качестве их представителя в Национальное собрание, которое будет держать в своих руках судьбы Франции и Европы, я с благоговением готов взять на себя этот ответственный мандат[2].

Он не был избран, но его имя собрало 23 апреля шестьдесят тысяч голосов. Подобный отклик на обращение Гюго делал честь парижским избирателям. Этот частичный успех обеспечил ему на майских дополнительных выборах поддержку комитета улицы Пуатье, то есть консерваторов. Правда, поддержка была не столь уж ревностной. „Можно ли надеяться на этого поэта?" — интересовались „состоятельные люди". В своем кредо Гюго раз-

[1] Гюго В. Veni, vidi, vixi („Созерцания").
[2] Гюго В. Письмо к избирателям. — Собр. Соч. т. 15, с. 40.

личал возможность существования двух республик: „Одна поднимет красное знамя вместо трехцветного, переплавит в металл статую свободы, низвергнет статую Наполеона и воздвигнет статую Марата, разрушит французский Институт, Политехническую школу, отменит существование Почетного легиона и присоединит к величественному призыву: Свобода, Равенство, Братство зловещие слова „*или смерть*“... Другая республика, придерживаясь демократического принципа, станет священным союзом всех французов в настоящее время и всех народов в будущем, установит свободу без узурпации и насилия, равенство, которое позволит естественно развиваться каждому, братство не монахов в монастыре, а свободных людей... Эти две республики называются: одна — республика цивилизации, другая — республика террора. Я готов посвятить свою жизнь тому, чтобы установить первую и воспрепятствовать второй“[1]

Идеи были ясные, но его положение — двусмысленное. Он не любил „бургграфов с улицы Пуатье“, которые снисходительно покровительствовали ему, но не доверяли своему кандидату; он предпочитал им Ламартина. Но люди, окружавшие его, не склоняли его на сторону республики. Скорее наоборот.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 4 мая 1848 года: „Ничто меня так не раздражает, как эти мятежи, к которым ты так охотно приобщаешься. Для того чтобы не было больше никаких революций, эволюций и мистификаций, я отдаю свой голос нынешнему правительству! А затем целуйте меня и стремитесь побольше заседать в *моих палатах*. Вы мой единственный представитель, и я прошу вас действовать последовательно и дорожить тем доверием, которое я вам оказываю. Вы видите, что я на высоте своего положения и что новоявленные республиканцы ничему не могут меня научить. Если бы я пожелала, то заткнула бы за пояс и республиканцев будущего, но я этого не хочу. Я хочу лишь, чтоб вы целовали меня до потери сознания, вот и все...“

Шестого июня 1848 года: „Чем больше я думаю о том, что происходит сейчас в Париже, тем меньше желаю тебе, мой дорогой друг, успеха на предстоящих выборах. Пусть сперва уляжется вся эта ярость народа, ибо он и сам не знает, чего он хочет, и не в состоя-

---

[1] Гюго В. Обращение к избирателям 26 мая 1848 г. („Дела и речи“, „До изгнания“).

нии отличить истинного идеала от ложного... Я убеждена, что мое сердце бьется в унисон с интересами Франции".

Виктор Гюго был избран. Какой партией? Он знал лишь, что стоит „за бедных, против богатых", за порядок, против анархии. Но такая нечеткая позиция его и самого не удовлетворяла. Собранию, которое состояло из умеренных представителей, казалось, что Национальные мастерские[1] представляют собой великую опасность, источник финансового краха страны, гнездо бунтарей. Гюго пожелал высказаться об этой сложной проблеме. Речь оказалась путаной, так как ее положения не были ясно сформулированы:

„Национальные мастерские — предприятие пагубное... Нам уже была знакома праздность богатства, вы создали праздность нищеты, в сто раз более опасную как для самого нищего, так и для других. Монархия плодила праздных людей, в республике будут бездельники", — вот что мы слышим. Я не поддерживаю подобные речи, слишком резкие и обидные, я не захожу так далеко. Нет, героический народ Июля и Февраля не выродится никогда... Наших благородных и разумных рабочих, читающих книги и мыслящих, умеющих рассуждать и умеющих слушать, никому и никогда не удастся превратить в лаццарони в мирное время и в янычар в случае войны"[2].

Выступление неудачное — ведь именно Гюго и приписывали те фразы, которые он теперь опровергал. Не примыкая ни к одной из группировок Собрания, он не пользовался в нем авторитетом. Он говорил об идеях, о морали, а слушатели его в большинстве своем думали лишь о своих корыстных интересах. Он утверждал, что основной вопрос заключается в факте *демократии*, а не в слове *республика*. Гюго ссылался тогда на нищету и безработицу, говорил о людях, живущих в трущобах без окон, о босоногих детях, о молодых девушках, занимающихся проституцией, о бездомных стариках:

---

[1] Национальные мастерские были созданы 25 февраля 1848 г. буржуазным временным правительством с целью предотвращения восстания безработных, требовавших работы. В связи с неудачей реакционных планов правительства превратить Национальные мастерские в оплот контрреволюции, они были частично закрыты, что послужило толчком к Июньскому восстанию 1848 г.

[2] Гюго В. Национальные мастерские. Речь 20 июня 1848 года. — Собр. соч., т. 15, с 43.

„Вот в чем состоит вопрос... Неужели вы думаете, что мы равнодушно взираем на эти страдания? Разве вы можете думать, что они не вызывают в нас самого искреннего уважения, глубочайшей любви, самого пламенного и проникновенного сочувствия? О! Как вы заблуждаетесь!..“[1]

К народу он обращался лишь с советом не форсировать события. Однако казалось, что разглагольствования экстремистов брали верх над красноречивыми и великодушными призывами. Ламартин сказал Альфонсу Карру: „Через три дня я уйду в отставку; если я этого не сделаю, они сами прогонят меня на четвертый день“. Виктор Гюго писал Лакретелю 24 мая 1848 года: „Ламартин совершил много ошибок, великих, как он сам, этим не мало сказано! Но он отбросил красное знамя, отменил смертную казнь, в течение пятнадцати дней он был светлой личностью мрачной революции. Теперь от светлых личностей мы обращаемся к пылающим, от Ламартина — к Ледрю-Роллену, в надежде, что мы заменим Ледрю-Роллена Огюстом Бланки. Да поможет нам бог!..“ Национальные мастерские, где играли в свайку на деньги, вызывали беспокойство у этого великого труженика. Потому что он любил народ и презирал тех, кто его развращал нелепыми плакатами и приучал к лени. „Благородный и величественный народ, которого развращают и обманывают!.. Когда же вы прекратите опьянять его красной республикой и спаивать дешевым белым вином... Удивительная обстановка! Я предпочел бы ей день 24 февраля... Иногда я плачу горькими слезами...“

А по Королевской площади проходили толпы людей, пели „*Карманьолу*“, слышались возгласы: „Долой Ламартина!“

Двадцать четвертого июня произошло восстание, вызванное нуждой, лишениями и всякими бедствиями. „Внезапно оно приняло неслыханно чудовищную форму“. То была мрачная и жестокая гражданская война. На одной стороне отчаявшийся народ, на другой — отчаявшееся общество. Виктор Гюго, без особого энтузиазма, встал на сторону общества. Обуздать восстание — дело нелегкое. Он был решительным противником своих коллег, которые с циничным удовлетворением воспользовались случаем, чтобы утопить в крови восстание. Но он полагал,

---

[1] Гюго В. Национальные мастерские. Речь 20 июля 1848 г. — Собр. соч., т. 15, с. 43.

что восстание черни против народа, „бессмысленный бунт толпы против жизненно необходимых для нее же самой принципов“, должно быть подавлено. „Честный человек идет на это и, именно из любви к этой толпе, вступает с ней в борьбу. Однако он сочувствует ей, хоть и сопротивляется!..“[1]

Гюго был одним из немногих депутатов, не боявшихся бывать на баррикадах, он читал инсургентам декреты; он уговаривал защитников порядка: „Пора кончать с этим, друзья! Это убийственная война. Когда смело идут навстречу опасности, то всегда меньше жертв. Вперед!“ Безоружный, он появлялся среди восставших, призывал их сложить оружие. Но, страстно желая социального мира, борясь за его утверждение, он не любил ни Тьера, „маленького человечка, стремившегося своей ручонкой заглушить грозный рокот революции“, ни Кавеньяка, „носатого и волосатого“ генерала, честного, но жестокого человека.

В одиннадцать часов утра, побывав на баррикаде, он возвратился в зал Ассамблеи. Едва он занял свое место, как рядом с ним сел депутат от республиканской левой — Белле, и сказал ему: „Господин Гюго, Королевская площадь горит, ваш дом подожгли. Инсургенты проникли туда через маленькую дверь со стороны переулка Гемене.

— А где моя семья?!

— В полной безопасности.

— Откуда вы это знаете?

— Я только что вернулся оттуда. Меня не узнали, и я смог пройти через баррикады. Ваша семья вначале укрылась в здании мэрии. Я был там с ними. Увидев, что опасность возрастает, я убедил госпожу Гюго найти другое убежище. Она устроилась со своими детьми у трубочиста Мартиньони, — он живет рядом с вами, на углу улицы, в доме с аркадами“.

Расстроенный, бледный Гюго помчался к Ламартину и спросил у него: „Что происходит?“ — „Мы обречены!“ — ответил Ламартин. Но он заблуждался. Политики проиграли игру, но стратеги решили ее выиграть. Генерал Кавеньяк, которому была вверена вся полнота власти, сосредоточил войска в западной части города, переведя их из восточных рабочих районов Парижа. Буржуаз-

---

[1] Гюго В. Отверженные. — Собр. соч., т. 8, с. 7.

ная Национальная гвардия дралась с ожесточением. „Фанатизм собственников уравновешивал исступленность неимущих“. Кавеньяк одержал полную победу. Он опозорил ее тем, что потребовал суровой расправы. Тысячи инсургентов были сосланы без суда. Кровавая пропасть пролегла между рабочими и буржуазией.

Потребовалось всего четыре месяца, чтобы соткать саван для Февральской революции. Национальное собрание приняло декрет, в котором отмечались огромные заслуги Кавеньяка перед родиной, — тут понятие „родина“ оказалось весьма ограниченным. Все были убеждены, что генерал Кавеньяк займет пост президента, — все, за исключением Ламартина, который наивно полагал, что если выборы будут всеобщими, то президентом изберут его самого. Для Гюго наступил мучительный, полный тревожных раздумий период жизни. Пройдя в депутаты при поддержке улицы Пуатье, он должен был голосовать за Кавеньяка, которого он решительно осуждал. „Господа генералы, — отмечает Гюго, — которые теперь управляют страной, и даже слишком сурово управляют, хотят стяжать себе славу ценой удушения свободы. Лучше бы они проявили побольше усердия в борьбе с австрийцами... Я не доверяю осадному положению. Осадное положение — это начало государственных переворотов“.

Вопреки распространившимся слухам, дом Гюго был спасен от огня, но его семья, напуганная восстанием, не захотела далее оставаться на Королевской площади (переименованной после Февраля в Вогезскую площадь). Он вынужден был снять квартиру в доме № 5 на улице д'Исли, в квартале Мадлен. Адель жаловалась, что она „погибает от невыносимого шума и дыма“. Фортюне Гамлен и Леони д'Онэ, проживавшие на солнечных склонах Монмартра, с восторгом говорили о тишине, царившей на их улицах, где росла трава и цвели сады. Они подыскали для Гюго превосходный особняк, на улице Тур-д'Овернь. Вся семья поэта переселилась туда 13 октября; это была пятница. После того как сняли зеркало с камина, на стене обнаружили написанную углем цифру 13. Плохая примета.

Последующие события подтвердили это недоброе предзнаменование. Все складывалось плохо. Собрание выработало нелепую конституцию. „Будущее страны мыслилось так: Франция, управляемая только Собранием, то есть океан, управляемый ураганом... Что ни день, то выборы, время будет проходить в сплошных заседаниях“. Во главе

правительства Кавеньяк, на словах республиканец, в действительности жестокий диктатор, тупой рубака. Что же делать? Что придумать? Гюго, глава семьи, получавший ренту, оказался в трудном положении: поэт и друг несчастных, он должен был защищать личные интересы имущих, он презирал разжиревших бургграфов, которые его окружали, с иронией отзывался об одержанной ими опасной победе:

Судачат так и сяк, за рюмкой Кло-Вужо,
О бунтах, о Бланки, Альбере и Бюжо,
Смеются...

К чему им размышлять о каждом бедняке,
Который с февраля, на нищенском пайке,
Все так же бедствует и спину гнет опять,
Чтоб как-то прокормить свою старуху мать[1]

Его недовольство резко выразилось в протесте против мероприятий правительства, преследовавших цель удушения свободы печати. Премьер-министр Кавеньяк запретил одиннадцать периодических изданий и приказал арестовать Эмиля Жирардена. Генерал весьма враждебно воспринял речь Гюго в Собрании. Сразу ухудшились отношения между ними. Но к тому времени даже представителям улицы Пуатье их „спаситель" казался нестерпимым. Если простой люд называл его *Кавеньяк-мясник*, то аристократы видели даже в нем противника интересов имущих классов. „Кавеньяк? — объяснял Монталамбер. — Это же бревно, нет, это прогнившая доска". Бальзак издевался: „Что касается Кавеньяка, так он просто олух, унтер-офицер, только и всего".

Гюго в палате представителей сделал генералу запрос: „Позвольте мне, мыслителю, сказать вам, представителю власти..." Палата зашумела. Все они претендовали на роль мыслителей. Члены Собрания — люди обидчивые. Что-либо разъяснить им, не вызвав их раздражения, дело трудное. Таких способностей Гюго не имел.

Он, конечно, сознавал слабость своей позиции, ибо в июле 1848 года пожелал воспользоваться другим способом воздействия на общественное мнение, основав газету „Эвенеман". Он хотел превратить эту газету также в „орган мысли". В передовой статье первого номера подчеркивалось решающее значение социальных идей, но

[1] Пер. Г. Кружкова.

вместе с тем умалялась роль реальных фактов. Это означало забвение того, что факты и для мыслителей — упрямая вещь. В каждом номере эпиграфом служили слова: *„Страстная ненависть к анархии, нежная и глубокая любовь к народу“*. Новому органу печати большую практическую помощь оказал Жирарден, не питавший никакой вражды к своему новому собрату. Банкир Шарль Малер и в особенности ювелир Фроман Мерис предоставили основателям деньги. Виктор Гюго в особом письме пожелал газете успеха. Но он отказывался писать статьи для нее, даже оказывать влияние на то, что в газете писалось. Но никто этому не верил. В редакцию входили члены его семьи и его друзья: сыновья Гюго — Шарль и Франсуа-Виктор; Шарль — тучный, „натура необычайно мягкая“, Франсуа-Виктор — денди, любивший покутить; ученики поэта — Поль Мерис и Огюст Вакери. Вакери только что поставил в театре „Одеон“ драму в стихах „Трагальдабас“, „ужасную пьесу в юмористической манере Гюго“, — говорил Бальзак. Пьеса была освистана. Бальзак писал госпоже Ганской: „Я не видел ничего более смешного в жизни, нежели обращение Фредерика Леметра к публике после шумного представления: „Милостивые государыни и милостивые государи (самым изысканным образом), пьеса, которую мы имели честь представить вам, написана гражданином Огюстом Вакери“ Тем смешнее казалось возмущение Гюго — он гневался на приятелей автора, которые нападали на свистунов и называли их ослами...“ Бальзак напомнил ему о битве за „Эрнани“.

В „Эвенеман“ были опубликованы воспоминания госпожи Гюго, две сказки ее дочери. Сент-Бев под статьей о Шарле Нодье, которую написала „его Адель“, статьей содержательной, сохранившейся в архиве, сделал мелким почерком помету: „Отчеркнутые мною места написаны не ею“. И действительно, эти отрывки написаны в манере Гюго. Отделы мод и светской хроники были поручены Леони д'Онэ, которая подписывалась: Тереза де Бларю; в ее „Светских письмах“ сообщалось о том, как нужно обставлять квартиру, как выращивать цветы, как одевать детей; порою и здесь некоторые фразы были отмечены ногтем льва. Читатели, пожалуй, не удивились бы, если бы отзывы о пьесах писала Жюльетта Друэ. Но все же театральный отдел был поручен Огюсту Вакери, и тот вел его не без блеска. Сотрудничать в газете был приглашен Бальзак. Он писал Ганской 11 июля 1848 года: „По

поручению Гюго, ко мне обратились два благородных молодых человека, которые основали газету. Ну, теперь у нас везде будет Гюго: курс в политике — Гюго, партия — Гюго и т. д. Я должен буду написать четыре листа рассказов, продолжающих цикл „Человеческой комедии", за 400 франков вместо 2800. Вся Февральская революция в этом..." Суждение поспешное.

Читатели „Эвенеман" были убеждены, что передовые статьи пишет сам Виктор Гюго, хотя он и отрицал свое участие в них. В самом деле, стиль похож, но это еще ничего не доказывает. Его манера письма была заразительна, а так как Вакери и Шарль Гюго работали близ учителя целый день, они невольно подражали ему. Но несомненно, что „ориентация журнала" была определена Гюго, — в тот момент — враждебная позиция по отношению к Кавеньяку; в основном же программа была проникнута стремлением примирить порядок и справедливость, интересы имущих и жалость к неимущим, кошелек и сердце.

II

Иллюзии и разрыв

Принадлежать к этому большинству?
Пренебречь совестью и подчиниться приказу?
Нет! Ни за что!

Виктор Гюго

На дополнительных выборах в июне 1848 года одновременно с Виктором Гюго депутатом Собрания стал принц Луи-Наполеон Бонапарт. В жилах этого сына Гортензии Богарнэ и (быть может) одного голландского адмирала не было ни одной капли крови Бонапарта, но у него было магическое имя, и толпы на бульварах распевали: „*По-ле-он! По-ле-он! У нас будет он!*" Эту странную кандидатуру на пост президента новой республики выставила небольшая группа преданных ему людей. В Собрании над ним сперва смеялись. В тех редких случаях, когда он появлялся на трибуне, его заспанный вид, немецкий акцент, бессвязная речь расхолаживали аудиторию. „Кретин", — пискливым голосом отзывался о нем маленький Тьер. Но Тьер полагал, что „кретина" легко будет повести за собой, и, из ненависти к республиканцу

Кавеньяку, представители правой отдали предпочтение этому фальшивому Бонапарту с тупым взглядом.

Госпожа Гамлен, альковная бонапартистка, восторгалась им: „Все объединятся вокруг него", — говорила она. Заручившись поддержкой Леони д'Онэ, она стремилась вовлечь в свой лагерь Виктора Гюго и убедила Луи-Наполеона нанести поэту визит. Принц появился на улице Тур-д'Овернь с почтительной пронырливостью. „Я хотел бы объясниться с вами, — сказал он. — На меня клевещут. Разве я произвожу на вас впечатление бестолкового человека? Говорят, что я хочу пойти по стопам Наполеона! Есть два человека, которых при большом честолюбии можно взять себе за образец, — Наполеон и Вашингтон. Один гениален, другой добродетелен. Наполеон более велик, но Вашингтон лучше его. Если нужно выбирать между преступным героем и честным гражданином, то я выбираю честного гражданина. Таково мое честолюбие"[1].

Гюго нашел, что принц — человек унылый и довольно безобразный, да еще какой-то растерянный, вроде лунатика, но что он деликатен, серьезен, хорошо воспитан и осторожен. Королева Гортензия не зря советовала сыну никогда не раскрывать прежде времени своих замыслов. Он с важным видом твердил: „Я свободолюбец и демократ", а слова эти производили на Гюго магическое действие. Поэт, мысливший понятиями — белое и чёрное, заблудился в сером тумане хитросплетений этого „мечтательного, но алчного авантюриста". Ему было известно, что когда-то принц обвинялся в принадлежности к карбонариям, что он написал брошюру „об исчезновении пауперизма". Это Гюго импонировало. На мгновенье ему представился четвертый акт „Эрнани", роль романтического героя, которую он, мыслитель, должен исполнить в качестве советчика либерального императора; это была давняя мечта поэта. К тому же другой Наполеон — Наполеон I был вдохновителем его лучших стихов. И за своим длинноносым гостем со стеклянным взглядом он видел Триумфальную арку, купол Дома Инвалидов, строфы будущих стихов.

Через несколько дней вслед за „Ла Пресс" в колесницу Наполеона впряглась газета „Эвенеман". До октябрьской встречи семейная газета Гюго относилась к Луи-На-

[1] Гюго В. История одного преступления. — Собр. соч., т. 5, с. 219.

полеону сдержанно, признавала лишь престиж имени, который принадлежал дяде, а не племяннику. 28 октября позиция внезапно изменяется: в большой статье „Эвенема“ вручает принцу судьбы Франции и приписывает ему былую славу императора. В палате депутатов поэт развивает энергичную деятельность, чтобы преодолеть барьер, мешающий принцу стать президентом. Он голосовал за то, чтобы президент избирался на всеобщих выборах. То было заблуждение, к которому присоединился и Ламартин, полагая, что таким образом он прокладывает путь самому себе. Он голосовал против требования присяги президента и, наконец, голосовал против проекта конституции, так как был враждебен принципу однопалатной системы.

Правая, монархическая часть палаты благосклонно отнеслась к Луи-Наполеону, так как полагала, что она быстро с ним разделается. Ведь было принято решение, что президент не может переизбираться на второй срок. Они думали, что это будет нечто вроде короткой интермедии. „Мы предоставим его женщинам, — презрительно говорил Тьер, — а сами будем держать его в руках“. Что же касается Франции, то она была подготовлена к этой авантюре. Крестьяне и буржуа, напуганные июньскими восстаниями, увидели в „двойнике“ Наполеона своего спасителя. Рабочие, после закрытия Национальных мастерских, сердились на либералов, да и в сердцах у многих из них жива была бонапартистская закваска. „Эвенеман“ оказала принцу усердную поддержку: „О Кавеньяке мы писали, что его боятся, о Ламартине — что им восхищаются, о Бонапарте — что его ждут“. Накануне выборов „Эвенеман“ вышла с приложением в целую страницу, где пестрело сто раз повторенное имя Луи-Наполеона Бонапарта. Была проявлена сверхгорячая преданность. Когда подвели итоги голосования, то выяснилось, что принц получил пять миллионов пятьсот тысяч голосов; Кавеньяк — миллион пятьсот тысяч; Ледрю-Роллен — триста семьдесят тысяч и Ламартин — семнадцать тысяч девятьсот сорок. При оглашении последней цифры монархисты разразились хохотом.

„Эвенеман“ торжествовала: „Наполеон не умер! Наступило время“ для свершения великих дел. Гюго в манифесте, написанном в духе романтического империализма, начертал обширную программу действий, явившуюся его политическим „предисловием к Кромвелю“. В области внешней политики он намечал: разоружение, основа-

ние Союза наций — организации, которая должна быть высшей властью для разрешения всех спорных международных вопросов; он предлагал прорыть Суэцкий и Панамский каналы, ставил задачей цивилизацию Китая, колонизацию Алжира. В области внутренних дел — борьба против нужды и лишений, принятие мер, способствующих развитию промышленности, подъему искусств, литературы и науки. Прекрасная мечта и даже прекрасная программа, однако Гюго был способен лишь воспеть ее, но не провести в жизнь. Бесчисленные его враги распространяли слух, что он добивался министерского портфеля. Поводом к этим нападкам послужило его обращение к президенту, которого он призывал ориентироваться на „новые и прославленные имена". Но ведь он искал для себя более значительной роли, чем пост министра. „Мы не намерены ни в чьей свите продвигаться к власти! Это и слишком высоко, и слишком низко". Нет, Гюго хотелось стать тайным духовным советником принца. Он и не подозревал, что имеет дело с человеком, для которого важно было лишь одно: любыми средствами удержаться на том пьедестале, куда его вознесла фортуна.

Двадцать третьего декабря принц-президент давал в Елисейском дворце свой первый обед. Был приглашен и Гюго, но он несколько запоздал. Президент встал и направился к нему. „Я устроил этот обед экспромтом, — сказал он, — и пригласил лишь несколько близких друзей. Я полагал, что вы не откажетесь быть в их числе. Весьма признателен, что вы пришли". От проницательного взгляда истого журналиста, каким являлся Виктор Гюго, не ускользнуло то, что белый фарфоровый сервиз — самый обыкновенный, а столовое серебро довольно грубое и потертое, как в заурядных буржуазных домах: новый режим вступал в свои права в бедности. После обеда президент отвел Гюго в сторону и спросил его, что он думает о настоящем моменте. Гюго сдержанно ответил, что нужно успокоить буржуазию и предоставить работу народным массам; что после трехвековой славы Франция не пожелает впасть в ничтожество; короче говоря, необходимо установить мир. „К тому же Франция — страна завоевателей. Когда она не одерживает победы силою оружия, она хочет достигнуть их силою разума. Поймите это и действуйте. Если забудете, вы погибли..." Пророк говорил свысока, президент, казалось, задумался и отошел от него. Бесспорно, он подумал: „Идеолог! Отстранить его!" Возвращаясь домой, Гюго размышлял об этом

„мгновенном переселении во дворец, об этом пробном церемониале, об этой смеси буржуазного, республиканского, императорского...“

В конце недели (30 декабря 1848 г.) он отправился к Ламартину, который устраивал прием каждую субботу. Он нашел его бледным, сгорбленным, озабоченным и опечаленным, постаревшим за десять месяцев на десять лет, но спокойным и примирившимся со своей неудачей. Жирарден критиковал президента и только что сформированное убогое министерство с торжественным Одилоном Барро, прославившимся своей наполеоновской манерой держать руку за отворотом сюртука. „Нет, надо было составить авторитетный кабинет министров: Тьер, Моле, Бюжо, Берье, Гюго, Ламартин...“ Ламартин ответил, что он бы согласился войти; Гюго промолчал.

Через день, 1 января 1849 года, он размышлял над теми переменами, которые произошли в истекшем бурном году: Луи-Филипп в Лондоне, герцогиня Орлеанская — в Эмсе, папа Пий IX — в Гаэтэ. Католическая церковь потеряла Рим, буржуазия потеряла Париж. Алиса Ози выступала совсем нагая в роли Евы на сцене театра Порт-Сен-Мартен. В июле 1848 года умер Шатобриан, и Гюго жалел, что похороны были самые обычные: „А мне бы хотелось для Шатобриана по-королевски торжественной церемонии погребения: собор Парижской богоматери, мантия пэра Франции, мундир академика, шпага дворянина-эмигранта, ожерелье ордена Золотого руна, представители всех корпораций, половина гарнизона под ружьем, задрапированные черным крепом барабаны, каждые пять минут пушечный выстрел, — или уж катафалк бедняков, отпевание в сельской церкви...“ Он раскритиковал похороны Шатобриана, как Шатобриан раскритиковал церемонию коронации Карла X.

Курс пятипроцентной ренты упал до семидесяти четырех франков; картофель стоил восемь су мерка; Луи Бонапарт задавал пышные обеды Тьеру, который когда-то приказал его арестовать, и графу Моле, который вынес ему обвинительный приговор. Принц Жером Бонапарт, экс-король Вестфалии, стал управителем Дома Инвалидов, он-то хоть похож был лицом на императора. Своего племянника, президента, он называл „господин Богарнэ“. Как-то раз, входя во дворец Национального собрания, Гюго с удивлением услышал возглас часового: „Привет врагу заговорщиков!“ Это был солдат Национальной гвардии Жюль Сандо. „Нет, — ответил Гю-

го, — другу заговорщиков". На заседании Академии, где присуждались премии за поэтические произведения, Ламартин сказал ему: „Гюго, если бы я участвовал в конкурсе, они бы не присудили мне премии". — „А меня, Ламартин, они бы и читать не стали". Оба были правы.

Семнадцатого февраля 1849 года Гюго с супругой был приглашен на бал к новому президенту. Адель Гюго рассказала об этом вечере в письме Жюлю Жанену, в прошлом врагу, а ныне другу их семейства: „Я встретила там почти всех, кто бывал на приемах у Луи-Филиппа. Прибавилось лишь два-три монтаньяра и несколько легитимистов, — таких, как герцоги де Гиш, де Грамон и Берье, которые находились в оппозиции к прежнему королю. Но я не видела ни одного художника, ни одного философа, ни одного писателя. Я была поражена тем, что власть, всегда столь неустойчивая, предала забвению единственно бессмертную власть. Подобное упущение мне было обидно, тем более что я питаю симпатию к славному имени Наполеона; о своем муже я не говорю — он был приглашен по другим мотивам..." В газете „Эвенеман" Тереза де Бларю (Леони д'Онэ) описала этот бал в стиле Готье — Мюссе и отозвалась о нем с великой похвалой. Тем не менее популярность Луи Бонапарта меркла, у него были дорогостоящие любовницы, а Собрание скупо отпускало ему кредиты. Он играл на бирже с Ашилем Фульдом. На горизонте уже восходила звезда Генриха У. В то время маршал Бюжо подготовил небольшую книжку — „Уличная война". „Здесь изложены, — писал он, — практические советы, по форме подобные инструкциям против холеры". Каждый задавал себе вопрос, одни с беспокойством, другие с надеждой: „Что же произойдет?"

Сент-Бев, будучи человеком благоразумным, отправился в Льеж, чтобы провести там смутное время. Адель, которая иногда тайно с ним встречалась, писала ему туда. Она упрекала его в том, что он проявил в отношении ее слишком большую осторожность, что он невнимателен к ней, своему другу. Он оправдывался: „Мое здоровье расшатано, моя нервная система не в порядке, и весь мой организм подвержен недугам. Вы мне говорите: „Не отвергайте и не разбивайте того, что вам дается от всего сердца..." Как? Лишь потому, что я написал не очень понравившееся вам письмо, вы увидели в этом опасность для нашей дружбы такую большую, что она может привести к разрыву. Мне гораздо нужнее прочная дружба,

нежели более горячее, но неровное и властное чувство, какое вызывается определенным родом отношений. Если я непрестанно говорю о своей старости, значит, я отвергаю лишь эту форму наших отношений". Весьма странное письмо, которое только доказывает, что бедная Адель потерпела фиаско, проиграв все ставки.

В мае состоялись новые выборы. Гюго был избран, заняв второе место в Париже,— он получил сто семнадцать тысяч шестьдесят девять голосов. На этот раз в палату его вознесли реакционеры. Бургграфы с улицы Пуатье теперь насчитывали в своем воинстве четыреста пятьдесят депутатов, в большинстве монархистов, не игравших, однако, решающей роли, так как существовал раскол между приверженцами старшей и младшей ветвей династии Бурбонов. Гюго избирался по списку правых, составлявших большинство. Позиция его становилась все более ложной. Представители улицы Пуатье давали ему указания, но Гюго стремился следовать лишь голосу своей совести. Совесть позволила ему на время выборов объединиться с этой партией. К тому же у него еще жив был предрассудок: он верил в возможность демократической монархии, он оставался „человеком порядка". Но если в нем и сохранилось что-то от солдата Национальной гвардии, — то от „Национальной гвардии героических ее времен". Тирады героев-идеалистов в его драмах выражали его подлинные чувства. Цинизм ему был отвратителен. Его возмущали подлые речи, которые раздавались не столько с трибуны, сколько в комиссиях и в кулуарах. Когда он понял истинные намерения Фаллу и Монталамбера относительно рабочего вопроса, он почувствовал к ним „какой-то ужас" и отошел от них.

Арман де Мелен, честный человек, политические друзья которого называли его сумасшедшим, после Июньского восстания 1848 года добивался, чтобы была создана большая парламентская комиссия для обследования моральных и материальных условий жизни народа. Рассмотрение этого проекта все откладывалось, и большинство депутатов уже считало его похороненным, как вдруг Мелен, к ужасу бургграфов, сам внес свое предложение. Тотчас началось ловкое маневрирование. Прямо отвергнуть это предложение считали недипломатичным — куда было умнее выхолостить его содержание. Виктор Гюго, при котором „эти господа" говорили откровенно, считая его пешкой, человеком несколько наивным и послушным, слышал, как они заявляли, что „во времена анархии лучшее средство — это сила", что предложение Ме-

лена — завуалированная программа социализма, что его следует похоронить приличным образом, и тому подобные милые слова.

Несмотря на поддержку депутатов улицы Пуатье, Гюго оставался представителем „отверженных". Веря лишь собственным глазам, он побывал в Сент-Антуанском предместье и в лачугах Лилля и сам увидел, что представляет собою нищета. Он пожелал не только сказать об этом, но и опровергнуть жестокие речи, которые он слышал. Какой поднялся тогда вопль негодования! Как? Член партии порядка осмелился утверждать: „Я выражаю мнение тех, кто считает, что нужду и лишения можно ликвидировать!" Более того, он предал огласке разговоры, которые велись тайно: „Речи, которые здесь произносят с трибуны, предназначаются для толпы, а закулисные сговоры предназначаются для голосования. Так вот, что касается меня, то я не желаю закулисных сговоров, когда дело идет о будущем моего народа и о законах моей страны. Я оглашаю с трибуны то, что высказывают тайком в кулуарах, я разоблачаю скрытые влияния. Это мой долг"[1]. В зале зашумели, заволновались. Общеизвестно, что писатель в какой-то степени является опасным для общества. Но ведь Гюго-то был допущен в святая святых. Как же он смеет выдавать семейные тайны!

„Нужно воспользоваться молчанием, к которому приведены анархические страсти, для того чтобы произнести слово в защиту народных интересов. (*Волнение в зале...*) Нужно воспользоваться исчезновением духа революции, чтобы оживить дух прогресса! Нужно воспользоваться спокойствием, чтобы восстановить мир, не только на улицах, но настоящий, окончательный мир, мир в сознании и в сердцах! Одним словом, необходимо, чтобы поражение демагогии стало победой народа"[1].

Во время парламентских каникул в августе 1849 года в Париже был создан Конгресс мира. На нем были представлены основные государства Европы. Виктора Гюго избрали председателем. Некоторое время он питал надежду, что в борьбе на два фронта — против бессердечных людей и против санкюлотов — ему окажет поддержку правительство. „Эвенеман" высказала пожелание, чтобы была основана, по-

---

[1] Гюго В. Нищета. Речь в Законодательном собрании от 9 июля 1849 года. — Собр. соч., т. 15, с. 67.

мимо белой и красной, промежуточная — синяя партия, которую возглавит президент. Но никогда авторитет Гюго в палате не падал так низко, как в то время. Консерваторы прерывали его речи саркастическими возгласами и улюлюканьем; левые его не поддерживали, он оставался в одиночестве. Его пламенные речи не имели никакого значения. В Собрании имеет значение не то, *что* говорят, но *почему* это говорят. Виктор Гюго совершенно не знал правил парламентской стратегии. К тому же он заучивал свои речи, а не импровизировал их, и потому не мог приноровиться к реакции аудитории. Предполагая, что в определенном месте его прервут, он ожидал этого момента, и когда этого не происходило, он как бы терял равновесие и падал в пустоту. Луи-Наполеон был не из тех, кто согласится долго иметь соратником человека невлиятельного. Неминуемо должен был произойти разрыв, и он был резким.

Для того чтобы угодить большинству католической партии, президент организовал военную экспедицию в помощь папе, против римской республики Мадзини. Генерал Удино захватил Рим и восстановил светскую власть папского престола. Луи-Наполеон, понимая, что воинствующий клерикализм бургграфов не пользуется популярностью, написал своему адъютанту Эдгару Нею письмо, которое было опубликовано: он выражал желание, чтобы в Италии была восстановлена свобода и объявлена всеобщая амнистия для итальянского народа. „Знамя Франции, — писала „Эвенеман“, — обеспечит процветание свободы в Италии“. Пий IX, не оказав уважения своему заступнику, опубликовал буллу „Motu proprio“ („По собственному почину“), где он утверждал абсолютизм папской власти. Тьер посоветовал примириться с этой буллой и был поддержан большинством католической партии, во главе с Монталамбером. Гюго, голосовавший против предложения Тьера, обедал 16 (или 17) октября в Елисейском дворце. Было условлено, что принц заменит свое письмо Эдгару Нею, противоречащее конституции, написанное слишком властным тоном, посланием премьер-министру Одилону Барро. Тот прочтет послание в Национальном собрании, затем Гюго выступит в его поддержку. Принц предпочитал людей действия людям принципов, отдавал предпочтение политикам перед мыслителями, но в тот день у него не было выбора. Ни один из ораторов католической партии не согласился бы принять на себя эту опасную миссию. К несчастью, а может быть, к счастью для Гюго, президент перед тем днем, когда заседало

Национальное собрание, договорился с Барро и Токвилем о компромиссе: пусть Барро не зачитывает послание; вопреки истине и правдоподобию, он заявит, что письмо президента и папская булла — „Motu proprio", по существу, выражают одну и ту же мысль. На самом же деле они были прямо противоположны. Но недобросовестность не имеет границ и сказать можно все, что угодно.

Был ли Гюго предупрежден об изменении тактики? Может быть, он и знал об этом, но отказался подчиниться новому решению? Одилон Барро, который не любил его, мог ловко поставить ему ловушку. „Я не политик, — утверждал Гюго, — я просто свободный человек". Так или иначе, но речь он произнес неполитичную. Он защищал письмо Эдгару Нею, но признал его бестактным и непродуманным (это оскорбило президента). Кроме того, он сказал, что письмо и папская булла противоположны по содержанию, ибо у папы просили всеобщей амнистии, а он благословил „массовое изгнание" (это шокировало Одилона Барро), он посоветовал Ватикану понять свой народ и свою эпоху (слова эти вызвали злобный вой большинства). „Значит, вы разрешите сооружать виселицы в Риме под сенью трехцветного знамени?.. Невозможно допустить, чтобы Франция так обращалась со своим знаменем, чтобы она расточала свои деньги, деньги народа, терпящего лишения, чтобы она проливала кровь своих доблестных солдат и пошла бы на все эти жертвы впустую... Нет, я обмолвился, ради того, чтобы все это принесло нам позор..."[1]

Речь была прекрасная, но никакая речь не может убедить Собрание, которое настроено определенным образом. Левая аплодировала: Гюго лил воду на ее мельницу. Монталамбер сказал, что эти аплодисменты были карой для Гюго. Последний ответил: „Ну что ж, я принимаю эту кару и горжусь ею. *(Длительные аплодисменты на скамьях левой.)* Было время, — да позволит мне господин Монталамбер сказать это с чувством глубокой жалости к нему, — когда он более достойным образом применял свое красноречие. Он защищал Польшу, как я теперь защищаю Италию. Тогда я был рядом с ним. Теперь он против меня. Это объясняется очень просто: он перешел на сторону угнетателей, а я остаюсь на стороне угнетенных"[2].

---

[1] Гюго В. Речь в Законодательном собрании от 19 октября 1849 г. („Дела и речи", „До изгнания").

[2] Гюго В. Ответ Монталамберу (20 октября 1849 года). — Собр. соч., т. 15, с. 90.

Разрыв с бургграфами стал, таким образом, окончательным. Незамедлительно наступил и разрыв с Елисейским дворцом. Луи-Наполеон, при своей склонности к двурушничеству, не мог одобрить прямолинейности. В последний момент он решил „занять умеренную позицию“, а Виктору Гюго своей неистовостью разрушил его планы. У одного были аппетиты, у другого — убеждения. Говорили, что поэт и президент обменялись резкими словами. „Эвенеман“ писала: „Интриги, которые плетут правые в Елисейском дворце, в течение двух дней увенчались успехом...“ Другие утверждали, что Гюго потребовал себе пост министра и, не получив его, перешел в ряды оппозиции. „На это я могу ответить лишь одно: никогда в моих беседах с Луи Бонапартом или с теми, кто говорил от его имени, не возникал подобный вопрос. Пусть попробует кто-нибудь представить доказательства или хотя бы тень доказательства, что это неверно...“ Но никто этого не сделал.

Двадцать пятого ноября 1849 года в „Эвенеман“ была напечатана следующая заметка: „С понедельника, с того дня, когда происходил обед у президента, то есть за три дня до дискуссии в Собрании, господин Виктор Гюго ни разу не был в Елисейском дворце и не вел никаких разговоров с президентом республики...“ С этого времени газета все время осуждала президента: „Разве господин Луи-Наполеон не замечает, что его советники — плохие советники, которые стремятся заглушить в нем все благородные порывы?“ В этом изменении курса не усматривали ничего предосудительного. Сохранять преданность вероломному правителю и по-прежнему оказывать ему поддержку, меж тем как он не оправдывает оказанного ему доверия, — это означало бы изменить самому себе.

III

Политическая борьба и смятение чувств (1850—1851)

Гюго был одним из тех редкостных людей, которые всегда стремятся к свободе, как к источнику всякого блага.

Ален

Годы 1850—1851 — для Гюго время острых политических схваток и душевных волнений. После разрыва с Елисейским дворцом он резко выделялся в Национальном

собрании среди других политических деятелей. Левые рукоплескали ему за то, что в своих речах он блестяще защищал принципы свободы, но все же не признавали его по-настоящему своим соратником; депутаты правой его освистали, выказывали ему презрение, как перебежчику, и возводили на него неслыханную клевету. На своем горьком опыте он убедился, как и Ламартин, что слава и популярность недолговечны в этом мире.

„*Январь 1850 года:* Пять лет тому назад я был близок к тому, чтобы стать любимцем короля. Ныне я близок к тому, чтобы стать любимцем народа. Этого не будет, как не было и благосклонности короля, потому что придет время, когда резко проявится моя независимость и верность своим убеждениям, и я вызову гнев уличной толпы, как в прошлом вызывал недовольство в королевском дворце“.

Луи-Наполеон с холодной расчетливостью осуществлял свой замысел. Его цель — захватить власть. Его тактика — стать главнокомандующим армии и главой полиции, то есть заменить „бургграфов“ „мамелюками“, всецело преданными его особе. Осуществляя эту махинацию, он для успокоения большинства Собрания по видимости поддерживал их программу. „Необходимо, — сказал он Монталамберу, — осуществить Римскую экспедицию внутри страны“. Иначе говоря, следует изгнать из школ учителей-республиканцев, как это было сделано в Риме. Луи-Наполеон бросил эту кость на съедение бургграфам. Ведь, по существу, закон Фаллу утверждал не свободу преподавания, а монопольное право клерикалов в деле школьного образования. Словом, союз конгрегации с партией золотой середины. Виктор Гюго в блестящей речи выступил против этого закона. Он внес ясный проект: на всех ступенях — бесплатное обучение, обязательное на первой ступени „общение сердца народа с мозгом Франции“, отделение церкви от государства в их обоюдных интересах.

Гюго не желал упразднить религиозное воспитание, скорее наоборот: „Уничтожить на земле нужду, побуждать всех людей обратить взоры к небесам“. Но он признавал религию, а не клерикализм: „О, я отнюдь не отождествляю вас, клерикальную партию, с церковью, так же как я не смешиваю омелу с дубом. Вы паразиты церкви, вы язва церкви... Вы не приверженцы, а схизматики религии, которую вы не понимаете. Вы режиссеры религиозного спектакля. Не впутывайте церковь в ваши

дела, в ваши коварные происки, в ваши стратегические планы, в ваши доктрины, в ваши честолюбивые замыслы. Не называйте церковь своею матерью, превращая ее в свою служанку. Не истязайте церковь под предлогом приобщения ее к политике. А главное — не отождествляйте ее с собой. Поступая так, вы наносите ей вред...“[1]

В апреле 1850 года мамелюки Елисейского дворца предложили проект закона о ссылке за политические преступления и заключении в тюрьму по месту ссылки. Проект этот предварял собою составление будущих проскрипционных списков. Февральская революция отменила смертную казнь за политические преступления. Ее заменили медленной смертью. „Вот перед вами человек, — сказал Гюго, — осужденный особым судом... этот человек, этот осужденный, преступник — по мнению одних, герой — по мнению других, ибо несчастье нашего времени... *(Громкий ропот справа.)*

— После того как правосудие сказало свое слово, — воскликнул председатель Национального собрания Дюпен-старший, — преступник становится преступником для всех, и героем его могут назвать только сообщники! *(Одобрительные возгласы правых.)*

— Я позволю себе, — сказал Гюго, — напомнить господину председателю Дюпену следующее: правосудие объявило преступником маршала Нея, осужденного в тысяча восемьсот пятнадцатом году. В моих глазах он герой, а ведь я не его сообщник... *(Продолжительные аплодисменты слева)*“[2]

Реплика оказала воздействие. Председатель безмолвствовал. Гюго в тот день был олицетворением возмущенной человеческой совести.

„Я знаю, господа, что каждый раз, когда мы вкладываем в слово „совесть“ тот значительный смысл, который, на наш взгляд, оно имеет, это, к несчастью для нас, вызывает улыбку у весьма крупных политических деятелей. На первых порах эти великие политики еще не считают нас неизлечимыми; мы внушаем им сострадание, они согласны врачевать недуг, которым мы поражены, — совесть, — и елейно противопоставляют ему государственную необходимость. А вот если мы упорствуем — о,

---

[1] Гюго В. О свободе преподавания. Речь в Законодательном собрании от 15 января 1850 года.— Собр. соч., т. 15, с. 90.

[2] Гюго В. О ссылке. Речь в Законодательном собрании от 5 апреля 1850 года. — Собр. соч., т. 15, с. 105.

тогда они начинают гневаться, тогда они заявляют нам, что мы ничего не смыслим в делах, что у нас нет политического чутья, что мы люди несерьезные, и... как бы мне выразиться... впрочем, скажу! Они бросают нам в лицо бранное слово, самое что ни на есть оскорбительное, какое только могут найти, — они называют нас *поэтами...*"[1]

В 1848 году во Французской республике было введено всеобщее избирательное право; бургграфы пожалели о прежней системе ограниченных выборов. И вот принц-президент преподнес им в подарок избирательный закон, по которому одним взмахом, посредством различных цензов, в частности — ценза оседлости, количество избирателей сокращалось на четыре миллиона человек — за счет рабочих и представителей интеллигенции, а ответственность за эту реформу очень ловко возлагалась на комитет из семнадцати бургграфов. Гюго, разумеется, выступил на защиту всеобщего избирательного права, считая его единственным „регулятором народной стихии", единственным способом формирования законной власти, оплотом против анархии, точкой опоры среди волнений и бурь. Он высмеял президента: экий Нума Помпилий, которому подают советы не одна, а семнадцать нимф Эгерий. Ну хорошо, — говорил он правым депутатам, — вы избавитесь от четырех миллионов голосов, но „вам никуда не уйти от того, что время движется вперед, что наступил ваш последний час, что Земля вращается... Что ж, приносите народ в жертву! Нравится вам это или нет, но прошлое есть прошлое. Пытайтесь починить его расшатанные оси и ветхие колеса, запрягайте в него, если хотите, семнадцать государственных мужей. Тащите его сюда и пусть сегодняшний день озарит его своим светом. И что же? Что окажется на поверку? Прошлое останется прошлым! Только еще яснее будет видна его ветхость, вот и все..."[2]

Против нападок Гюго большинство Собрания избрало два способа защиты: его подвергали осмеянию, и ему напоминали его прошлое. Монталамбер сказал, что Гюго поддерживал все партии, а затем от всех отрекался. Он отверг это обвинение и блестяще защищался. Но тем не

---

[1] Гюго В. О ссылке. Речь в Законодательном собрании от 5 апреля 1850 года. — Собр. соч., т. 15, с. 105.

[2] Гюго В. Всеобщее избирательное право. Речь в Законодательном собрании от 21 мая 1850 года.— Собр. соч., т. 15, с. 122.

менее его жизни угрожала опасность. В Собрании распространились зловещие слухи. Большинство Собрания желало спровоцировать хотя бы с помощью полиции мятеж, для того чтобы потопить его в крови. Случайный выстрел мог сразить любого мешающего человека. Полковник Шаррас (либерал) сказал Гюго: „Остерегайтесь". Он ответил: „Ну вот еще! Да пусть они придут ко мне, — в моей келье найдут только стихи да незавершенные строфы на всех столах, я лишь посмеюсь над ними". Ему *дружески* посоветовали не выступать по поводу избирательного закона. „Ну уж нет, я непременно выступлю, а там будь что будет. Огромная сабля, которой потрясают маленькие людишки, события 93 года, происходящие в 1850 году. Тьер, породивший нечто чудовищное, это даже забавно..." Он находил, что его противники просто комичны. Он заблуждался. Они были комичны и страшны.

Он чувствовал бы себя более сильным в общественной жизни, будь его личная жизнь менее сумбурной и достойной осуждения. Долг, признательность, любовь, желание делали его рабом прежних привязанностей и мимолетных увлечений. Три женщины, почти три супруги — Адель, Жюльетта и Леони, жили невдалеке друг от друга, на склонах Монмартра, в тесном кругу: каждой из них он должен был уделять время и навещать одну вслед за другой, всегда рискуя встретить, когда он идет под руку с Жюльеттой, свою жену или Леони, которые подружились на почве вражды к Жюльетте, наиболее опасной сопернице.

Жюльетта, оставаясь в тени, следила за похождениями своего господина и „смиренно таила свою великую любовь" в глубине квартала Родье, в мрачном тупике, где она жила „в непрестанном одиночестве и скуке". Редко выпадало на ее долю счастье сопровождать своего друга в парламент или в Академию, слушать там его речи либо изредка принимать его у себя дома. Каждое утро она отправлялась посмотреть издали на два окна его кабинета — Гюго разрешил ей наконец (в 1845 г.) выходить из дому на прогулки. Она еще не знала, какую роль в его жизни играет Леони д'Онэ, и с недоверием относилась к другим женщинам, ибо он не мог устоять перед теми, кто искал с ним близкого знакомства: кафешантанная певичка Жозефина Фавиль, светская дама госпожа Роже де Женет, Элен Госен, осужденная за воровство, поэтесса Луиза Колле, экспансивная незнакомка Натали Рену, авантюристка Лаура Депре, артистка „Комеди

Франсез“ Сильвани Плесси, особа, именовавшая себя виконтессой дю Валлон, о которой Вьель-Кастель сказал, что „она выдала трех своих дочерей-красавиц замуж, словно совершила хорошую коммерческую сделку“, куртизанка Эсфирь Гиймон, быть может, Рашель. Гюго, который в дни добродетельной молодости придавал большое значение целомудрию, теперь высказывал взгляды на любовь в духе Шелли:

Любовь... кто повелел двоим любить?
Спроси у быстрых вод, спроси у ветерка,
У опаленного свечою мотылька,
У золотых лучей, у виноградных лоз,
У взбудораженных апрелем гнезд,
У всех, кто ждет, поет и шепчет в тишине...
И сердце крикнет: — Не известно мне!..[1]

Когда 29 апреля 1851 года умерла от апоплексического удара Фортюне Гамлен, многие скорбели и рыдали во всеуслышание. Смерть эта явилась печальным событием для Гюго, который потерял верного друга, а для Леони — катастрофой; после развода с мужем Леони нашла в лице этой умной женщины близкого друга, проводила с ней почти все вечера либо дома, либо в театре. Лишенная помощи многоопытной светской красавицы, которая с годами обрела мудрость, бывшая госпожа Биар, поразмыслив о своей судьбе, решила, что она погубила свою жизнь ради Виктора Гюго, а поэтому он должен посвятить ей большую часть своей жизни и уж по крайней мере должен ради нее пожертвовать Жюльеттой. Она не раз пыталась добиться от своего любовника этого разрыва, но всегда наталкивалась на решительный отказ.

Когда в 1849 году она стала угрожать Гюго, что все откроет Жюльетте, он грубо ее одернул. „Вчера вы очень резко сказали мне, что если я это сделаю, то такой дурной поступок лишит меня вашего уважения. Но ведь я имею право так поступить, ведь я столько страдала и так терпеливо ждала четыре года. И все же, как бы ни были несправедливы ваши слова, какое бы чувство любви вы ни проявляли к другой, я не решаюсь пойти на этот шаг, так как ваша угроза более страшна для меня, нежели смерть. Хорошо, я не поступлю так, как хотела поступить. Ценой сверхчеловеческих усилий я буду оберегать счастье и иллюзии той женщины, которую ненавижу

[1] Гюго В. Любовь („Созерцания“).

больше всего на свете, женщины, которую я задушила бы с великой радостью, даже если мне пришлось бы отвечать за это перед богом! Женщины, в жертву которой принесено счастье моей жизни...“

Леони досаждала Гюго бесконечными вопросами: „Если Жюльетта не пользуется правами любовницы, ей остается узнать очень немного. Если же она имеет эти права, в таком случае я не смогу действовать иначе, чем решила. Раз вы не желаете, чтобы ей стало все известно, значит, вы предоставили ей те права, которые принадлежат мне. Я отрекаюсь от всего. Лучше умереть, нежели разделять с ней вашу любовь. Я готова пойти на то, чтобы она оставалась вашим *другом*, а вы осмеливаетесь говорить мне, что с моей стороны будет *гадко*, если я совершу поступок, благодаря которому все встало бы на свое место! Ну хорошо, я отказываюсь от своего намерения, не будем больше говорить об этом... Более четырех лет я нахожусь в позорном положении, так как она убеждена, что является единственной женщиной, которую вы любите... Бог вам судья! Пусть все будет так, как вы хотите... Я буду проводить дни своей жизни в отчаянье, по крайней мере, избавлюсь от укоров совести и не уроню свою честь. Я собрала все ваши письма. Вы можете прислать за ними“.

Два года спустя настроение у Леони д'Онэ изменилось, и, вместо того, чтобы отказаться от своего намерения, она нанесла удар. 29 июня 1851 года в дом № 20 по улице Родье прибыл пакет, перевязанный лентой и запечатанный печаткой Виктора Гюго, с гербом, который он сам нарисовал, и с его девизом: „Ego Hugo“. В жестоком смятении Жюльетта вскрыла пакет. То был почерк обожаемого человека. Она прочитала письма и с ужасом узнала, что с 1844 года ее любовник любил другую женщину, писал ей страстные письма, столь же очаровательные, как и те, которые в течение восемнадцати лет были для нее единственным счастьем и честью: „Ты мой ангел, и я целую твои ножки, целую твои глаза... Ты свет моих очей, ты жизнь моего сердца...“ Те же самые выражения, которые были и в письмах к Жюльетте. Леони сама вложила в пакет короткую записку, сообщив в ней, что любовные отношения продолжаются и теперь, „что к ним относятся с уважением как в обществе, так и в доме Виктора Гюго, а посему госпожа Друэ, пожалуй, поступила бы разумно, если бы первая порвала узы дружбы, продолжать которую поэт больше не хочет...“. Нельзя

вообразить ничего более ужасного в жизни женщины, посвятившей себя единственной любви, нежели это доказательство постоянного предательства, скрываемого в течение семи лет! Жюльетта вышла из своего дома вся в слезах, близкая к помешательству, весь день она бродила по Парижу и возвратилась только вечером, разбитая спасительной усталостью. Она надеялась, что появится Виктор, и решила после необходимых объяснений уехать к своей сестре в Брест.

Гюго ничего не отрицал, умолял Жюльетту простить его и пообещал отвергнуть ее соперницу. Но при этом он расхваливал красоту и образованность госпожи д'Онэ и дал понять, что к ней уважительно относились его жена и его сыновья: все это еще более усилило горе Жюльетты. Она была слишком горда для того, чтобы принять любовь, которая окажется жертвой с его стороны.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 28 июля 1851 года: „Во имя всего самого святого для тебя и во имя моей глубокой скорби, друг мой, не проявляй ложного великодушия, не наноси рану собственному сердцу, желая избавить меня от страданий. Сколь бы ни была искренння твоя жертва, она не введет меня надолго в заблуждение, и я никогда не прощу себе, что поддалась иллюзии и пожертвовала твоим счастьем... Господи боже, если ты считаешь, что я достаточно искупила то, что невольно совершила преступление, появившись на свет, сжалься надо мной, сжалься надо мной, господи, избавь меня от последней капли горечи, не дай мне увидеть, как по моей вине страдает человек, которого я люблю больше всего на свете, который мне дороже моего счастья, даже дороже райского блаженства; пусть он будет счастлив с другой, нежели несчастлив со мной. Господи, будь милостив, молю тебя, пусть он свободно решит, как ему поступить, вложи в его сердце истинное великодушие, истинное чувство долга, даруй ему истинное счастье, и я благословлю свою судьбу, безропотно приму свой удел".

Началось соперничество в великодушии. Когда Жюльетта после печальных размышлений заговорила о разрыве, Гюго, как и все мужчины в подобных случаях, попросил пожалеть его. Он сослался на бессонницу, на болезнь горла, его тревожила судьба сыновей, преследуемых правительством. Тень Леони, роковой женщины с детским лицом, витала над ним при этом состязании в самопожертвовании. *Жюльетта — Виктору Гюго, 30 июля*

1851 года: „Я благодарна этой женщине за то, что она была столь беспощадна, приведя доказательства твоей измены. Она по самую рукоятку вонзила в мое сердце кинжал, показав, какое чувство *обожания* ты питал к ней в течение семи лет. Это было цинично и жестоко с ее стороны, но вместе с тем и честно. Эта женщина успешно выполнила роль моего палача. Все удары отличались точностью...“ Две женщины, влюбленные в одного и того же мужчину, ненавидят, но вместе с тем и уважают друг друга за фанатизм в любви.

Так как поэт и Жюльетта были и остались романтиками, так как он провозглашал право на страсть, очень искусно придавая своим любовным утехам некий таинственный характер, и так как он умел, когда хотел этого, быть „веселым, легким, ласковым и обаятельным“, Жюльетта, вновь очарованная, согласилась, чтобы они втроем провели „испытательный срок“, после которого Гюго должен определить свой выбор. На это отводилось четыре месяца (начиная с фатального дня 29 июня), что обеспечивало герою драмы приятный период отсрочки, в течение которого он мог свободно встречаться с обеими женщинами. Леони предъявляла свои права, Жюльетта „придавала значение только любви“. *Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 9 сентября 1851 года*: „Я счастливее той особы, которая писала тебе вчера, мой любимый: я не предъявляю никаких *прав* на тебя, и девятнадцать лет моей жизни, которые я отдала тебе, не стоят даже атома твоего покоя, счастья, уважения“. *22 сентября 1851 года:* „До сих пор не могу понять, что могло тебя (загадка) заставить отказаться от женщины, которую ты находишь *очаровательной, молодой, одухотворенной, возвышенной*, женщины, *любовь* которой, *верность и преданность* не вызывают в тебе сомнения, отвергнуть ее из-за какого-то жалкого созданья, не идущего с нею ни в какое сравнение... Ради такого ничтожества ты, человек справедливый, добрый по натуре, великодушный, человек высокого ума, намерен отвергнуть *молодую женщину, которая любит тебя „до смерти“* и за семь лет близости приобрела права на тебя, у которой есть и настоящее и будущее, — неужели ты можешь всем этим пренебречь ради несчастного существа, которое плачет горькими слезами, думая о своем прошлом, и удел которой неизбывное отчаянье — в настоящем и в будущем“.

Нужно было обладать большой душевной силой, чтобы так разговаривать с Гюго. Для Гюго же *испытание*

состояло в том, что он должен был „провести обеих женщин по висячему мосту любви, чтобы убедиться в его прочности“, — то было сладостное покаяние. По утрам он работал в своем кабинете, а в это время Жюльетта переписывала у себя дома „Жана Вальжана“, затем она встречалась с Гюго на паперти собора Нотр-Дам-де-Лорет и сопровождала его, когда он ходил по своим делам. Обедал он дома в кругу семьи, вечер проводил с Леони, о чем он на следующий день рассказывал Жюльетте с обидным для нее оживлением. Испытание должно было длиться четыре месяца, однако судьба распорядилась иначе, заставив Гюго принять решение ранее назначенного срока, оказав на него воздействие косвенным путем, подчинив его непредвиденным обстоятельствам.

Для Гюго наступил тогда исключительно трудный момент в его общественной деятельности. С февраля 1851 года он стал выступать в Собрании не только против правительства, но и против личности Луи-Наполеона. „Голосуя за Наполеона, мы не имели в виду былой славы Наполеона, мы голосовали за человека, зрелого политика, сидевшего в тюрьме, писавшего замечательные книги в защиту бедных классов... Мы возлагали на него надежды. Мы обманулись в своих надеждах“[1].

Он признавался, что долго не решался выступать за республику. Затем, видя, что ее „предательски схватили, связали, сковали, заткнули ей кляпом рот“, он „склонился перед ней“. Ему говорили: „Берегитесь, вы разделите ее судьбу“. Он отвечал: „Тем более! Республиканцы, расступитесь, я хочу встать в ваши ряды“. Разве это только слова? Разве это сказано назло врагу? В какой-то мере возможно и это, но прежде всего тут отвращение к „имущим классам“, бесстрашие перед опасностью и святой гнев. У ворот Бурбонского дворца уже звякали солдатские штыки. Национальное Собрание готовилось покончить жизнь самоубийством. Оно терпело кабинет министров, составленный из мамелюков, оно передало принцу-президенту все рычаги управления. Собрание знало, что авантюрист, лишенный права быть вновь избранным, вот-вот совершит государственный переворот, и оно допустило, чтобы он лишил Шангарнье командования войсками, тогда как только Шангарнье мог защитить собрание. „Кого захочет погубить Юпитер, того он разума ли-

---

[1] Гюго В. Речь от 6 февраля 1851 г. („Дела и речи“, „До изгнания“).

шит...“ Национальное собрание уже давно дошло до состояния безумия.

Окружение президента, предводители его шайки желали совершить переворот силой. Луи-Наполеон одобрительно относился к этому замыслу, но боялся рисковать, не будучи уверенным в полном успехе. Ему нужно было посадить префектом полиции своего человека — Мопа, военным министром — Сент-Арно, губернатором Парижа назначить Маньяна. Выжидая момента, когда будут выполнены его предписания, он вел переговоры, пытаясь разрешить проблему законным путем: добиться пересмотра конституции, который обеспечивал бы за ним власть на десять лет и установил бы цивильный лист, достойный императора. Ведь его дядя шел именно по этому пути. Всем было известно, что он вел страну к империи. Но для того, чтобы пересмотреть конституцию, заговорщики должны были получить в Национальном собрании две трети голосов. А ведь многие роялисты возлагали надежды на 1852 год. Луи-Наполеон требовал от Собрания миллионы франков и продления полномочий на годы. Тьер отвечал: „Ни одного су, ни одного дня“. Разрыв стал неминуем.

Семнадцатого июля Виктор Гюго решительно выступил против пересмотра конституции, и правые вели себя во время его речи издевательски. Шум, хохот, оратора прерывали — все было пущено в ход против великого писателя. Бесспорно, он осудил тогда не только принцип наследственной „легитимной “ монархии, но и „монархию славы“, как называли бонапартисты Империю.

„Вы говорите — „монархия славы“. Вот как! У вас есть слава? Покажите нам ее! Любопытно, о какой славе может идти речь при таком правительстве!.. Только потому, что жил человек, который выиграл битву при Маренго и потом взошел на престол, хотите взойти на престол и вы, выигрывший только битву при Сатори!.. Как? После Августа — Августул! Как? Только потому, что у нас был Наполеон Великий, нужно, чтобы мы имели Наполеона Малого?“[1]

Впервые в Национальном собрании осмелились произнести такие слова. Этот гневный протест, разумный по существу, смущал стыдливых заговорщиков, ведь монархисты, такие, как Монталамбер, тайно примкнули к Им-

[1] Гюго В. Пересмотр конституции. Речь в Национальном собрании 17 июля 1851 года. — Собр. соч., т. 15, с. 166.

перии. Левые аплодировали, правые горланили. Шум стоял „невыразимый“, как сообщала об этом „*Монитер*“. Один из представителей правых подошел к подножию трибуны и заявил:

— Мы не желаем больше слушать эти рассуждения. Дурная литература ведет к дурной политике. Мы протестуем во имя французского языка и во имя французской трибуны. Отправляйтесь с вашими речами в Порт-Сен-Мартен, господин Виктор Гюго.

— Вам известно мое имя, а я вот не знаю вашего. Как вас зовут?

— Бурбуссон.

— Это превосходит все мои ожидания[1]. (Смех)

Проект пересмотра конституции был отвергнут. Так как легальный путь был закрыт, подражатель Наполеону загорелся желанием совершить насильственный переворот. Если это ему удастся, то, как говорил когда-то генерал Мале, его поддержит вся Франция, измученная парламентскими распрями. Гюго, ставший на сторону обреченной республики, не боялся навлечь на себя бедствия. Неправедное правосудие тотчас подвергло преследованию редакторов „Эвенеман“. Франсуа-Виктора Гюго приговорили к девяти месяцам тюрьмы, на такой же срок приговорили Поля Мериса, Огюста Вакери — на шесть месяцев (Шарль Гюго уже был в это время за решеткой). Газета „Эвенеман“ была запрещена, но стала выходить новая газета — „Авенеман дю Пепль“. Виктор Гюго ежедневно навещал своих сыновей и своих друзей, заключенных в тюрьму Консьержери. Он пил с ними красное вино, купленное в лавке для арестантов. Вскоре, несомненно, наступит и его очередь. Впереди — „*крестный путь и ореол мученика*“. В этом образе он находил горестное утешение. С одной стороны, это освобождало его совесть „от угрызений, вызываемых рабством, которое он терпел с отвращением“, с другой — „мысль об изгнании уже давно занимала его воображение“. Много раз мотив изгнания, то грустный, то торжественный, был лейтмотивом его жизни: Лагори — изгнанник, Эрнани — изгнанник, Дидье — изгнанник, Наполеон Великий — изгнанник. „*О, не изгоняйте никого, изгнание — бесчестье!*“ Для обыкновенных смертных — это истина, но для поэта-мечтателя не является ли изгнание освобождением, ухо-

---

[1] Бурб — bourbe — грязь (франц.).

дом, способом разрешения проблем, величественных и романтических?

Нужно было все кончать и в личной жизни. Испытание чувств завершилось в пользу Жюльетты. Леони д'Онэ, развенчанная за свой проступок, потеряла доверие. Любовь Жюльетты была более драматичной. Паломничество к могилам усопших. Клятва в вечной верности во имя двух ангелов-хранителей (Леопольдины и Клер). Тайные свидания с Жюльеттой на улице Тур д'Овернь, поцелуи и ласки почти на глазах у супруги. „Я не виню тебя ни в чем, я лишь полна к тебе любви. Если мой образ померк в твоем воображении, я не хочу этого видеть, мое сердце всецело заполнено тобой..." Осенью с 20 по 24 октября происходило путешествие по лесу Фонтенбло: „Мое сердце покрылось опавшими листьями моих иллюзий. Но я чувствую, как сок жизни течет по моим жилам, он поднимается в ожидании тебя, чтобы появилось яркое цветение". Вслед за тем возникли великолепные стихи Виктора, посвященные Жюльетте:

Пускай к тебе придет — на смену горьких лет
Заря — сестра ночей, любовь — скорбей сестра,
Пускай сквозь тьму пробьется свет,
Сквозь плач — улыбка — луч добра...

И наконец, письмо от 12 ноября 1851 года, достойное стиля Юлии де Леспинас. *Жюльетта Друэ пишет Виктору Гюго*: „Я преисполнена истинной любви, и поэтому во мне нет ни капельки эгоизма. Я собираю свое счастье по зернышкам, где бы ни находила их: на всех углах улиц и в канавах, днем и ночью, я его оберегаю и молю о нем бога во весь голос с душераздирающей настойчивостью; я протягиваю руку, и мое сердце ждет хоть малого подаяния от вашего милосердия, я бесконечно вам благодарна за него, каким бы способом вы ни оказывали его мне. Мое достоинство и моя гордость состоят в том, чтобы любить вас больше всего на свете; без хвастовства могу сказать, что достаточно преуспеваю в этом. Мое честолюбие выражается лишь в том, что я хотела бы умереть ради вас..."

Леони д'Онэ не проявляла такой сердечности. Великая любовь победоносно выдержала испытание. Судьба ускорила развязку.

IV

Мужественные люди

Страна, которая может быть спасена только каким-нибудь героем, не сможет долго существовать, даже при помощи этого героя, более того, она не заслуживает, чтобы ее спасали.

Бенжамен Констан

В декабре 1851 года государственный переворот стал неизбежным. Луи-Наполеон хотел сохранить власть, банда сообщников решила его поддержать. Но не для того чтобы восторжествовали какие-либо идеи или мнения, — хозяин и его подручные поставили перед собой единственную цель: пожить на широкую ногу, и притом как можно дольше. Собрание же отказало им в дотации и в продлении полномочий президента. Оставалось одно — прибегнуть к силе. А сила у них была. Армия повинуется приказу, но Собрание своим безумным решением подчинило командующего парижским гарнизоном президенту. Кто же стал бы защищать свободу? Монархисты? Выборы, предстоящие в мае 1852 года, внушали им страх. Народ? Июньские дни отделили его от либеральной буржуазии. Начиная с осени 1851 года заговорщики безнаказанно могли совершить государственный переворот. Но военный министр Сент-Арно посоветовал подождать, чтобы в Париже собрались все члены Национального собрания, и тогда арестовать их ночью, вытащив из постелей. К тому же 2 декабря — годовщина Аустерлица и день коронации Наполеона — был для бонапартистов особо торжественным. Они избрали именно этот день.

Гюго понимал, что ему грозит опасность. Сыновья его были в тюрьме. Верная Жюльетта ловила слухи, чтобы не пропустить „момент государственного переворота“, и была поглощена мыслью, как спасти своего возлюбленного. 2 декабря Гюго проснулся в восемь часов утра и, лежа в постели, писал стихи. С испуганным видом вошел слуга.

— Представитель народа пришел... Хочет поговорить с вами.

— Кто такой?

— Господин Версиньи.

— Просите.

Версиньи, мужественный и проницательный человек, вошел и рассказал следующее: Бурбонский дворец оцеплен ночью, квесторы арестованы, председатель Собрания Дюпен оказался трусом, прокламация, извещавшая о государственном перевороте, расклеена на всех углах. Депутаты, решившиеся оказать сопротивление, должны собраться на улице Бланш, 70, в доме баронессы Коппен.

В то время как Гюго поспешно одевался, пришел безработный столяр Жирар, один из тех, кому он помогал. Жирар побывал на улицах. Гюго спросил его: „Что говорит народ?“ Народ безмолвствовал. Люди читали объявления и шли на работу. Какие-то господа, находившиеся возле каждого плаката, объясняли: „Реакционное большинство разогнано“. Прохожие удивлялись. Гюго сказал: „Начнется борьба“, затем он вошел в комнату жены, она, лежа в постели, читала газету. Гюго объяснил, что происходит. Она спросила: „Что ты собираешься делать?“ — „Исполню свой долг“. Она поцеловала его и сказала: „Иди!“ Она держалась мужественно, а ведь у нее два сына сидели в тюрьме, и государственные перевороты не щадят женщин. Однако Адель всегда отличалась смелостью.

В доме № 70 на улице Бланш Гюго встретил Мишеля де Буржа и других депутатов, среди них Бодэна и Эдгара Кине. Вскоре гостиная заполнилась народом. Гюго говорил первым, предложил сейчас же начать уличную борьбу, на удар ответить ударом. Де Бурж был против. „Теперь не 1830 год, — сказал он. — Выступившие тогда депутаты — двести двадцать один человек — действительно являлись представителями народа. Сейчас Национальное собрание не популярно“. Необходимо дать народу время, чтобы он разобрался. Гюго, как всегда, хотел верить лишь собственным глазам. Он направился к бульварам. Около заставы Порт-Сен-Мартен собралась огромная толпа. На бульвар вступила колонна пехоты во главе с барабанщиками. Один из рабочих узнал Гюго и спросил, что нужно делать. „Срывайте крамольные прокламации о государственном перевороте и кричите: „Да здравствует конституция!“ — „А если в нас будут стрелять?“ — „Вы прибегнете к оружию...“ Раздались громкие возгласы: „Да здравствует конституция!“ Один из друзей Гюго, пришедший с ним, убеждал его быть благоразумнее и не давать солдатам Луи-Наполеона повод расстреливать толпу.

Он возвратился на улицу Бланш, рассказал обо всем

своим коллегам и предложил опубликовать немногословную прокламацию — десять строк. Он продиктовал: „*К народу*: Луи-Наполеон Бонапарт — предатель. Он нарушил конституцию. Он клятвопреступник. Он вне закона... Пусть народ выполнит свой долг. Республиканские депутаты пойдут во главе народа...“[1] Полиция следила за домом. Депутаты перешли в другое место — к Лафону в дом № 2 по улице Жемап. Был избран комитет из левых представителей собрания: Карно, Флот, Жюль Фавр, Мадье де Монжо, Мишель де Бурж, Гюго. Кто-то предложил назвать его Комитетом восстания... „Нет, — сказал Гюго, — Комитет сопротивления. Мятежник — это Луи Бонапарт“. Вскоре Прудон вызвал Гюго на улицу и сказал ему: „Как друг я должен вас предупредить, вы заблуждаетесь. Народ в стороне от борьбы. Он не шевельнется“. Гюго отстаивал свою позицию. Он хотел, чтобы борьба началась уже на следующий день. Наступила полночь. Куда идти? Молодой человек, Роэльри, предложил ему ночлег. Госпожа Роэльри уже спала, но она встала, чтобы принять его, „восхитительная блондинка, бледная, с распущенными волосами, в капоте, очаровательная, свежая, взволнованная событиями, но, несмотря на это, любезная“. Как только в дело вступала женщина, он и в опасности находил нечто романтическое. Ему приготовили постель на слишком коротком диване. Ночью он почти не спал. Рано утром направился к себе. Изидор, его слуга, воскликнул: „Ах, это вы, господин Гюго? Сегодня ночью приходили, хотели вас арестовать!“

Третье декабря был днем баррикад. Бодэн погиб на баррикаде, произнеся знаменитые слова: „Вы сейчас увидите, как умирают за двадцать пять франков“. Депутаты, еще находившиеся на свободе, приняли постановление, где было сказано, что его заслуги перед родиной велики и он будет погребен в Пантеоне. Нужно отметить, что эти депутаты рисковали своей головой. В то время как Гюго на площади Бастилии в пламенной речи убеждал группу офицеров и полицейских, к нему подошла Жюльетта, не оставлявшая его в эти дни. Сжав его руку, она сказала: „Вы добьетесь того, что вас расстреляют“.

Четвертое декабря, решающий день, стал днем массовых убийств. Сопротивление, оказанное буржуазно-либеральными кругами, было жестоко подавлено. В Париже

---

[1] Гюго В. История одного преступления. — Собр. Соч., т. 5, с. 219.

погибло не менее четырехсот человек. Гюго утверждал, что убито было тысяча двести человек; Вьель-Кастель говорит, что две тысячи. Для цензуры очень просто — дать ложные сведения о количестве жертв подавленного вчера восстания. Как во времена „белого террора", „*ультра*" требовали от президента „не проявлять милосердия и жалости, быть несгибаемым, изваянным из бронзы" и пройти наш век с „карающим мечом в руке". В этом кровавом хаосе Жюльетта непрестанно следила за Гюго. Было что-то патетическое и возвышенное в этой женщине, еще красивой, но поблекшей и уже седой, женщине, которая повсюду следует за любимым человеком, чтобы в нужный момент броситься вперед и грудью заслонить его от пули. Подвергаясь опасности, она теряла его и вновь находила. „Госпожа Друэ делала все, всем жертвовала для меня, — пишет Виктор Гюго, — благодаря ее поразительной преданности я остался в живых в декабрьские дни 1851 года. Я обязан ей жизнью". Восемь лет спустя, в 1860 году, на корректурных оттисках „Легенды веков", которые Гюго подарил Жюльетте, он написал в качестве посвящения:

„Если я не был схвачен, а затем и расстрелян, если я жив и поныне, — этим я обязан Жюльетте Друэ, которая, рискуя собственной жизнью и свободой, спасла меня от преследований, опасностей, неустанно оберегала меня, всегда умела подыскать для меня надежное убежище и спасла меня, проявив исключительное понимание, усердие, героическую храбрость. Господь бог это знает и вознаградит ее! Она бодрствовала днем и ночью, одна бродила во мраке по парижским улицам, обманывала часовых, сбивала со следа шпионов, бесстрашно переходила бульвары во время перестрелки, постоянно угадывала, где я нахожусь, и когда речь шла о моем спасении, всегда находила меня... Она не желает, чтоб об этом говорили, но тем не менее необходимо, чтобы эти факты были известны".

Шестого декабря Жюльетта привела его в дом № 2 по Наваринской улице, к госпоже Саразен де Монферье, с которой она познакомилась в Метсе. Супруги Монферье, люди крайне правых взглядов, пять дней укрывали у себя мятежника. Отыскав для него это надежное убежище, Жюльетта приносила ему туда сытный ужин и все необходимые вещи.

Виктор Гюго — Жюльетте Друэ, 31 декабря 1851 года: „Как ты была прекрасна, дорогая Жюльетта, в те

жестокие и мрачные дни! Если я жаждал утешения... ты озаряла меня любовью, да благословит тебя бог! В опасные дни, когда давали мне приют добрые люди, после тревожной ночи, я слышал, как тихо щелкает ключ и ты отпираешь мою дверь, и мне казалось тогда, что уже опасности больше не существует, что мрак исчез, что свет проник в мою комнату. О, мы никогда не забудем это страшное и вместе с тем чудесное время, когда ты находилась около меня в перерывах между сражениями. Всю жизнь мы будем вспоминать эту маленькую полутемную комнату, старые ковры на стенах, два кресла, поставленных рядом, ужин на уголке стола (ты приносила мне холодного цыпленка), беседы, такие нежные, твои ласки, твое волнение, твою преданность. Ты удивлялась тогда моему безмятежному спокойствию. Знаешь ли, кто вселял в меня это безмятежное спокойствие? Это ты...“

Однако надо было покинуть страну. Человек, преданный Жюльетте, Жак-Фирмен Ланвен, отправился в полицейскую префектуру, чтобы получить паспорт для поездки в Бельгию, где он якобы собирался работать в типографии Лютеро. Именно с этим паспортом Виктор Гюго в четверг 11 декабря уехал из Парижа с Северного вокзала, под именем „Ланвена (Жак-Фирмена), наборщика книжной типографии, проживающего по улифе Женер, сорока восьми лет от роду, *рост* — 170 см, *волосы* — седеющие, *брови* — темные, *глаза* — карие, *борода* — седеющая, *подбородок* — круглый, *лицо* — овальное“. На пассажире была фуражка рабочего и черный дорожный плащ. Можно ли было узнать его? А что, если его и не хотели узнать? Кто скажет? Несомненно лишь то, что во время мятежа его намеревались арестовать. Адель, младшая дочь Гюго, в письме к отцу сообщала об „ужасной ночи, когда пришли за тобой“. Но его исчезновение было менее опасным для режима, нежели его преследование.

Госпожа Гюго лежала больная и не могла принять участия в борьбе. Вместе со своей дочерью она каждую минуту ждала прихода полиции, тщательно оберегала все то, что было оставлено на ее попечение, и не переставала сообщаться „со своими дорогими узниками“: Шарлем, Франсуа-Виктором и Огюстом Вакери. Трудно поверить, но в самый разгар борьбы Вакери мог еще отправлять ей письма через рассыльного тюрьмы Консьержери:

— Мы полны надежд и чувствуем себя хорошо. Сообщите о себе. Уже два часа, а мы еще не получали от вас

никаких вестей. Не выходите из дому. Переселитесь ко мне либо еще куда-нибудь. В письмах не называйте имени вашего мужа. Если что-либо о нем узнаете, напишите так: „*У нас все благополучно*“. Мы ведь не знаем, кому попадают в руки наши письма. Мы читаем газеты, но, так как выходят лишь правительственные газеты, мы не знаем, чему верить. Сообщайте нам о себе почаще. Единственное, о чем мы тревожимся, — это ваше положение. О нас не беспокойтесь. Ваш на всю жизнь...

Четыре часа. ...Перестрелка приблизилась. Дерутся на площади вокруг нас. Народ захватывает все большее пространство. Мы в безопасности за толстыми стенами тюрьмы. Надеюсь, что вам тоже не угрожает опасность. К нам привезли человек пятьдесят раненых и арестованных. Они размещены в большом коридоре, который тянется от канцелярии до наших камер. Только не выходите на улицу! Я больше всего беспокоюсь о вашей безопасности. Попытайтесь через рассыльного сообщить нам о себе, чтобы мы знали, что с вами происходит. Ваш *О*“.

Как видно, в тюрьме Консьержери режим был не очень строгий.

Двенадцатого декабря Виктор Гюго прислал письмо своей жене и сообщил адрес: *Ланвен, Брюссель. До востребования.* Письмо было адресовано: *Париж, улица Тур-д'Овернь, дом 37, госпоже Ривьер.* То была хитрость, шитая белыми нитками. *13 декабря 1851 года Адель ответила мужу:*

„Дорогой друг, мы поем *Осанну!* Радуюсь письму, которое я получила благодаря всевышнему!.. Никакого обыска у нас не было. Обыск был лишь на улице Лаферьер, что привело в сильное волнение *нашу бедную старушку.* Я буду в точности выполнять все твои указания, но ты не беспокойся: пока я жива, все в твоем доме будет в полной сохранности“... „*Бедная старушка*“ — зашифрованное имя Леони д'Онэ. Итак, Адель заботилась о ней, но вместе с изгнанником в Брюсселе находилась Жюльетта, блестяще выдержавшая испытание огнем.

Виктор Гюго — своей жене, 31 декабря 1851 года: „Истекший год завершился великими испытаниями для всех нас: два наших сына в тюрьме, я в изгнании! Это жестоко, но хорошо. Заморозки не вредят жатве. Что касается меня, то я благодарю бога. Завтра Новый год, меня не будет с вами, я не смогу обнять вас, мои дорогие, любимые мои. Но я буду думать о вас. Всем сердцем я буду с вами... Я окружен теми же лицами, что и в Па-

риже. Сегодня утром у меня собрались бывшие наши депутаты и бывшие министры! Бедный мой дорогой друг, нежно целую тебя и моих дорогих детей. Шлю вам свою преданную любовь. На прилагаемом письме напиши на конверте адрес: „*Бордо. До востребования. Госпоже Онэ*“ — и вели опустить его в почтовый ящик“.

Откровенное письмо, почти ликующее. „*Ибо радость — плод могучего древа скорби*“. С первых же дней изгнания он был уверен в конечной победе. Во Франции новый правитель казался в то время непобедимым, но поэт уже тогда возвещал, что его торжество не будет долговечным:

Все кончится. Как сон дурной, пройдет...
И с облегчением вздохнет народ
И скажет: „Больше нет его!“

Часть восьмая

Изгнанники, мыслители, сочинения

Старея, люди становятся более безумными и более мудрыми.

Ларошфуко

Человек очень долго растет, чтобы достигнуть юности.

Пикассо

I

С Большой площади на „Морскую террасу“

„Нет ничего более шаткого, нежели успех“. Изгнание потрясло поэта и придало ему силу. Виктор Гюго — пэр Франции, в расшитом золотом мундире, приближенный старого короля-скептика, жертва восторженных поклонниц, чуть было не увяз в трясине тщеславия. Когда умерла его дочь, он вырвался из болота. Его спасло глубокое и чистое чувство скорби, свободное от самовлюбленности. Революция 1848 года предоставила ему возможность стать поэтом, вожаком масс. Опыт показал, что он не годится для парламентской деятельности, не может искусно маневрировать среди партий. „Для исключительных людей, для гения гордое одиночество представляется необходимым“[1]. Изгнание обеспечило ему подобного рода одиночество. Для того чтобы обрести душевный покой, ему необходимо было правдиво изобразить то, что он пережил. Внезапно происшедшее событие оказалось благоприятным для этого. Он стал Великим Изгнанником, мстителем, мечтателем. „В переживаемое нами время... когда столько людей возводят наслаждение в моральный принцип и поглощены скоропреходящими и отвратительными материальными благами, всякий удаляющийся от мира заслуживает в наших глазах уважения“[2]. Наконец-то он был доволен собою. *19 декабря 1851 года он писал*

---

[1] Гюго В. Вильям Шекспир.
[2] Гюго В. Отверженные. — Собр. соч., т. 6, ч. II, кн. VI, гл. VIII.

Огюсту Вакери: „Я только что сражался и в какой-то мере доказал, кем может быть поэт. Эти буржуа наконец узнают, что служители разума столь же доблестны, как трусливы служители брюха...“

Для того чтобы роль была блистательно исполнена, изгнанник должен жить в горделивой бедности. Когда 12 декабря 1851 года „Фирмен Ланвен“ вышел из вагона, его встретила Лаура Лютеро, подруга Жюльетты, и повела его в дешевую гостиницу „Лимбург“, впоследствии носившую название „Зеленые ворота“, она находилась в доме № 31 по улице Виолетты. *Гюго писал своей жене:* „Я веду монашеский образ жизни. У меня в номере узенькая койка. Два соломенных стула, камина нет. Мои расходы в общей сумме составляют три франка пять су в день...“ Писать об этом ему доставляло удовольствие. Приятное смирение. „Ныне я занимаю самое скромное место, меня уже с него не сбросят“. 14 декабря прибыла Жюльетта; Гюго поджидал ее под навесом в таможне, она привезла его рукописи.

Жюльетта сознавала, что отныне ее окружает ореол героической преданности, и не было теперь рядом враждебно настроенной супруги Гюго; кажется, наступил наконец день заслуженного и полного искупления грехов: „Дело в том, что я действительно счастлива, на меня ниспослано благословение, я имею право жить под ярким солнцем любви и преданности...“

Нет. Она ошиблась; и для изгнанников существовал этикет. Великому Изгнаннику не полагалось жить с любовницей, и несчастная Жюльетта должна была поселиться без него у своих друзей Лютеро. Она безропотно переносила жестокую обиду. „Ничем не жертвуй ради меня, если это вызывает у тебя какое-либо огорчение или угрызение совести. И жизнь моя, и смерть всецело принадлежат тебе... Обещаю тебе, мой несказанно любимый, что ты больше не услышишь от меня горьких упреков“, — писала ему Жюльетта. Она клялась, что их отношения будут идти в рамках, определенных ее возлюбленным, какими бы тесными они ни были: „Я хочу быть тебе верным другом, нежным, преданным, смелым, как мужчина, по-матерински заботливым, бескорыстным, ничего не требующим, как ушедший из жизни человек“. Самоотверженность супруги никогда не достигала таких высот.

С первых же дней Жюльетта принялась „за переписку“. Святой гнев, „неистовое желание засвидетельство-

вать“ то, что произошло, поглотило мысли Гюго и должно было излиться... Он решил выразить свое негодование так, чтобы загремела „медная струна“, стать олицетворением возмущенной совести Франции, „человеком долга“. Прежде всего нужно было написать очерк о 2 декабря (позже названный „История одного преступления“). Он начал писать эту книгу на следующий день после приезда в Бельгию. Изгнанники потянулись в Бельгию. Каждый из них делился с ним своим воспоминанием. В гостинице его соседом оказался депутат Версиньи, с которым он начал сопротивление перевороту. 19 декабря в Брюссель приехала Адель, для того чтобы получить указания от мужа. Он поручил ей выслать ему из Парижа по подложным адресам и на вымышленные фамилии — брошюры и документы. Александр Дюма-отец, бежавший от своих кредиторов в Брюссель, обязался организовать пересылку писем. Своим детям и жене Гюго проповедовал бережливость. Он считал себя разоренным. Ему нравилось говорить об этом. Премьер-министр Бельгии Розье преподнес ему в дар рубашки, он взял их. Несомненно, „*господин Бонапарт*“, включивший его в официальный список изгнанных, мог бы конфисковать его имущество — как движимое, так и недвижимое. Но этого не сделали. Адель легко получила гонорар своего мужа через Общество литераторов и даже его жалованье академика (тысяча франков в год). Правительство не хотело выставить себя на посмешище преследованием великого поэта. Его жена без особого труда перевела ему триста тысяч франков ренты, которую он, как заботливый отец семейства и осторожный капиталист, тотчас же превратил в акции Королевского банка Бельгии. В то время эта система сбережения была новой, о ней сообщил Гюго бургомистр Брюсселя Шарль де Брукер, навещавший его почти каждый день; он-то и сказал доверительно своему другу: „Гюго не так уж беден, каким хочет казаться... Он пустился в плавание не без запаса сухарей. Как мне известно, у него кое-что есть в кубышке“.

Однако своей жене Гюго писал: „Мы бедны, нужно достойно пройти путь, который, возможно, будет коротким, но может быть и долгим. Я ношу старые ботинки и старый костюм, в этом нет ничего особенного. Ты претерпеваешь лишения, даже страдания, часто крайнюю нужду; это не так легко, потому что ты женщина и мать, но ты это делаешь, не теряя присутствия духа и благородства...“ Многие потешались над этой нуждой на

груде золота, над тем, что ее обладатель торгуется с сыновьями, ассигнуя им деньги на карманные расходы (Франсуа-Виктор получал всего лишь двадцать пять франков в месяц), над „жалкой койкой" владельца акций банка. Это поведение поэта объясняли тремя причинами: первая причина — Гюго тосковал о прежней своей бедности; ему, знаменитому писателю, все вспоминались молодые годы, мансарда на улице Драгуна, ему хотелось восстановить атмосферу юности и лишить себя роскоши, к которой у него не было любви в сердце. В конце декабря он переехал из гостиницы в дом № 16 на Большой площади, где он снял комнату почти без мебели, — там стояли диван, стол, зеркало, чугунная печка и шесть стульев. Он платил за нее сто франков в месяц и питался лишь один раз в день. Жюльетта (бюджет которой составлял сто пятьдесят франков в месяц) находила, что он исхудал, и заставляла свою служанку Сюзанну подавать ему каждое утро чашку шоколада... Вторая причина. Он хотел жить лишь на получаемые доходы, не прикасаясь к деньгам, лежащим в банке, для того чтобы после своей смерти обеспечить жену и детей, так как им самим не заработать на жизнь. (Он обещал быть щедрее, когда сможет продать рукописи.) Третья причина: для договоров с бельгийскими и английскими издателями ему хотелось показать, что он в них не нуждается, что он способен жить на тысячу двести франков в год. Но, при всех этих обстоятельствах, нам ясно, что у него было инстинктивное стремление к бережливости, к тому, чтобы в его бюджете доходы превышали расходы и создавались накопления, гарантирующие обеспеченность; эти черты несомненно были у Гюго, их нельзя отрицать, но нельзя и осуждать его за них.

В Париже Адель вела себя как достойная супруга изгнанника. Она больше гордилась политической деятельностью мужа, чем его славой поэта. Верные друзья навещали ее, сочувствовали и восторгались отвагой, проявленной Гюго на улицах, когда он боролся против государственного переворота.

Адель — Виктору Гюго: „Республиканцы удивлены. Они говорили: *Гюго несомненно человек прогресса, блестящий оратор, великий мыслитель, но можно ли ожидать от него действий в решающую минуту?* Некоторые сомневались в этом. Теперь, после серьезного испытания, они восхищены тобой и сожалеют, что у них были сомнения".

Так же как и Гюго, она находила утешение в том, что вела себя благородно: „Жизнь моя жестоко омрачилась, сердцу больно, что ты изгнан, что сыновья мои и друзья в тюрьме, и все же я не падаю духом. То, что меня печалит, преходяще. То, что составляет мое истинное счастье, навсегда принадлежит мне“. Оставаясь в Париже, она могла быть полезной своему господину и повелителю, сообщать ему о ходе событий и, кстати, приобрести благодаря этому некоторое превосходство над этим властным человеком.

На самом деле она сообщала ему сбивчивые, путаные сведения. То она говорила, что режим очень недолговечен, то, наоборот, что Луи-Наполеон готовится к вторжению в Бельгию и намерен арестовать изгнанников. „Во Франции никто не будет протестовать, никто не придет тебе на помощь“. Она советовала мужу уехать в Лондон. Такого же мнения держался и Франсуа Гюго, который писал из тюрьмы: „Уезжай в Англию, там тебя прекрасно встретят... К тому же ты знаком с Кобденом и с английскими делегатами Конгресса мира, — они могут послужить тебе проводниками в общественных кругах, если понадобится“. В изгнании находились в Лондоне Луи Блан и Пьер Леру, которые убеждали его основать вместе с ними газету; он же не хотел к ним присоединяться. „Это лишит меня возможности действовать самостоятельно... Это может до некоторой степени изменить мою непосредственную цель“. К тому же он не знал английского языка и предпочитал поселиться на англо-нормандских островах, где по крайней мере говорили по-французски.

Адель, естественно, была разгневана, узнав, что Жюльетта находится в Брюсселе. Но тут уж Гюго был непоколебим: „То, что Абель сказал Мерису, — бессмыслица. Особа, о которой он говорил, находится здесь, но ведь она спасла мне жизнь, и позднее вы об этом узнаете; если бы не она, то меня схватили бы и расстреляли в самые страшные дни. В течение двадцати лет она проявляла величайшую преданность, этого никому не удастся опровергнуть. К тому же она всегда полна была самоотверженности и бескорыстия. Без нее, клянусь тебе, как перед богом, я бы погиб либо тотчас же был отправлен в ссылку...“

Адель перестала укорять его, но не оставила в покое бедную Жюльетту. Зато она покровительствовала ласковой Леони д'Онэ. *Виктор Гюго писал жене*: „Безмерно благодарю тебя за все, что ты сделала. Сделай все, что

ты можешь, для госпожи О. Я перед ней *в долгу* и очень хочу уплатить этот долг. Я растроган твоей добротой и подлинным благородством того, что ты говоришь по этому поводу...“ Кстати сказать, Виктор Гюго и сам переписывался с бывшей госпожой Биар, которая тоже требовала субсидий. Гюго писал ей: „Сейчас самые надежные мои получения — три векселя от издательства Ашет, в общей сумме на семь тысяч франков. Я перевожу их на вас. Учесть их будет очень легко. Что касается тысячи франков, которую вы желаете получить сверх того, вы ее получите непосредственно от меня. Не будем произносить слово „*в долг*“. Я вам их дам и благодарю вас за то, что вы их возьмете. Известите меня о получении денег...“ Таким образом, проповеди о бережливости не относились к блондинке с томными глазами, и она одна получила больше троих его детей. Заботливый отец семейства благоразумно помещал свои капиталы, но странно распределял свои доходы.

Адель, ставшая доверенным лицом мужа, считала себя обязанной укрыть от нескромного любопытства посторонних его „письма и всякие бумаги, касающиеся интимной жизни поэта“. В ночном столике Гюго скопилось столько „интимных писем, что ящик закрывался с трудом“. Адель, безразличная к столь многочисленным доказательствам неверности мужа, сожалела лишь о том, что ящик не был заперт на ключ. „Я должна тебя побранить, — писала она мужу. — Слуги могли прочесть эти письма и даже украсть некоторые, если б захотели. Надеюсь, что этого не случилось, так как ящик не очень заметен“.

Больше всего волнений ей доставляли дети. Для Деде (младшей дочери Адели), девушки на выданье (ей уже было двадцать два года), было ужасным внезапное изгнание семейства Гюго из высшего света, который, как водится, примкнул к победоносной власти и отверг еретиков. Она замкнулась в мире музыки и мечтаний. *Виктор Гюго писал жене*: „Скажи моей маленькой Адели, что я не желал бы, чтоб она худела и чахла. Пусть она успокоится. Будущее принадлежит добрым“. „Маленькая Адель“ в то время вела дневник. Если бы отец захотел с ним познакомиться, он прочел бы там: „Сент-Бев опять стал навещать нас, подолгу разговаривает. „Я презираю политику, — заявил он, — лучше сказать, я в нее не верю“. Он должен был прислать нам статью Сальванди о Джерси“.

Толстяк Шарль, освобожденный из тюрьмы в январе

1852 года, направился к своему отцу в Брюссель. Они занимали две комнаты на Большой площади в доме № 16; из их окон открывался восхитительный вид: старинные дома с островерхими крышами, с позолоченными коньками, с резными фасадами („Что ни фасад — то красота, строфа стихотворения и дата прошлого"), ратуша — „ослепительная, поэтическая фантазия, возникшая в голове архитектора". Шарль Гюго унаследовал от матери некоторую вялость, он много спал, работал мало, его содержание стоило отцу сто франков в месяц. У изгнанника это вызывало постоянное раздражение. Второй сын, Франсуа-Виктор, тоже вскоре был освобожден по ходатайству перед президентом со стороны принца Наполеона (прозванного Плонплоном), „ходатайству непрошеному", подчеркивала Адель, однако эта ветвь семейства Бонапарта питала неизменную привязанность к Гюго, и бывший король Жером, став председателем сената, всегда приглашал Адель на свои приемы. „Не стоит сердиться на этого беднягу. Он нас любит. Он хотел бы при моем посредничестве помириться с вами. Он счастлив, он желал бы, чтобы все жили в дружбе и тратили с ним его миллионы".

Госпожа Гюго сообщала мужу, что она не брошена друзьями на произвол судьбы. „Добрый, деликатный, чуткий" Вильмен пришел предложить услуги Академии и денежную помощь.

Адель — Виктору Гюго, 18 января 1852 года: „Вильмен к тому же сказал: „Гюго велик, отважен и предан своим идеям, я завидую ему и восхищаюсь им, но помните, я не раз говорил, взяв его под руку, что он заблуждается, веря в решающую роль народа. Впрочем, это благородное заблуждение". Я ответила, что будущее за народом, что не следует судить о народе по недавним событиям, — ведь тогда сказались растерянность, усталость и тяжелые воспоминания об июньских днях. Перед уходом Вильмен вдруг обратился ко мне с неожиданным предложением: „Я ваш давний друг и надеюсь, что мое предложение не обидит вас. Ваш муж был захвачен врасплох и уехал внезапно, не успев привести в порядок свои дела. Сыновья ваши заключены в тюрьму, что сопряжено для семьи с расходами. Мне не хотелось бы, чтобы такая женщина, как вы, живя в горестных заботах, испытывала бы вдобавок и нужду в деньгах. Я принес вам две тысячи пятьсот франков. Пожалуйста, возьмите их в долг — только в долг, мадам. Приняв их, вы мне окажете боль-

шую услугу: ведь в конечном счете эти деньги в ваших руках, в руках Гюго будут сохраннее, чем в моих".

Госпожа Гюго решительно отказалась. „У меня есть некоторая гордость, и если она задета, я бываю довольно резкой. Боюсь, что я ответила ему не очень деликатно". Ее часто навещали Беранже и Абель Гюго, которого его знаменитый брат после смерти Эжена совсем забыл, но Абель не проявил никакой обиды — „вел себя чудесно". Обе Адели жили в одной комнате. Жгли в камине кокс, а не дрова, „чтобы не выходить в расходах из рамок, которые ты нам установил... За столом у нас бывает только самое дешевое вино..." Но зато на улицах многие люди, прежде совсем и незнакомые, почтительно кланялись госпоже Гюго. Это было для нее наградой.

В Брюсселе Гюго трудился с великим усердием, и работа спорилась у него, как это бывает у страстных натур в дни вдохновения. В апреле распространились слухи, что Гюго дано разрешение вернуться на родину. Он опубликовал следующее заявление: „Виктор Гюго некогда добился разрешения на въезд во Францию господина Бонапарта. А для себя Гюго не намерен просить разрешения у Бонапарта". Он отказался от мысли завершить в мае работу над „Историей 2 декабря". Недоставало многих материалов. Он мог бы издать эту книгу не полностью, но ни один издатель не осмелился бы купить у него рукопись. Бельгийские власти не позволили бы ее опубликовать, боясь возмездия могущественного соседа. Он решил написать и мгновенно издать короткий памфлет: „Наполеон Малый". То была потрясающая импровизация, обвинительная речь в духе классической римской традиции: плавность Цицерона, выразительность Тацита, сатира Ювенала. Это проза поэта, ритмическая и прерывистая, проникнутая яростной страстью и умом, что составляет красоту поэзии. Стиль книги напоминал то гневные обличения пророка, то беспощадную иронию Свифта:

„Прежде всего, господин Бонапарт, вам следовало бы хоть немного познакомиться с тем, что такое человеческая совесть. Есть на свете две вещи, которые называются добро и зло. Для вас это новость? Придется вам объяснить: лгать — нехорошо, предавать — дурно, убивать — совсем скверно. Хоть оно и полезно, но это запрещено. Да, сударь, запрещено. Кто противостоит этому? Кто не разрешает? Кто запрещает? Господин Бонапарт, можно быть хозяином, получить восемь миллионов голосов за свои преступления и двенадцать миллионов

франков на карманные расходы; завести сенат и посадить туда Сибура; можно иметь армию, пушки, крепости, Тролонов, которые будут ползать перед вами на брюхе, и Барошей, которые будут ходить на четвереньках; можно быть деспотом, можно быть всемогущим, — и вот некто невидимый в темноте, прохожий, незнакомец встанет перед вами и скажет: „Этого ты не сделаешь“[1].

Для того чтобы беспрерывно работать в течение дня, Гюго отказался от „обедов и семейных торжеств“, являвшихся утешением для изгнанников. Изгнанник по воле судьбы и по врожденной склонности, он чувствовал себя почти счастливым. „Никогда у меня не было так легко на сердце, никогда я не был так доволен“. Он знал, что несчастье, которое он переживал, возвышает его в глазах французов. Жюль Жанен ему писал: „Вы наш руководитель и наш бог... В вас воплощены Возрождение и Жизнь. Стоило вам только немного удалиться, испытать несчастье, как все увидели ваше величие. Всего лишь три дня назад, когда Сен-Марк Жирарден со своей кафедры в Сорбонне просто упомянул ваше имя, приводя примеры риторики, сразу же раздались дружные рукоплескания в честь этого прославленного, этого великого имени“. Одному из корреспондентов Гюго сказал: „Не я подвергаюсь преследованиям — преследуют свободу, не я в изгнании — в изгнании Франция“. Он встречался с некоторыми изгнанниками: Шельшером, полковником Шаррасом, крупным военным ученым, благородным человеком, с Жирарденом. С издателем Этцелем, изгнанником, воинствующим республиканцем, верным другом и хорошим писателем, он составил проект: „Воздвигнуть литературную крепость, из которой писатели и издатели откроют огонь по Бонапарту“. Жюль Этцель, издатель сочинений Бальзака и Жорж Санд, казался подходящей фигурой, для того чтобы осуществить техническое руководство этим предприятием. Возможно ли подобное начинание в Бельгии? Это было небезопасно. Императорская полиция оказывала давление на бельгийскую магистратуру. „Если не в Брюсселе, то его следует основать на Джерси“, — говорил Гюго.

А бедная Жюльетта встречалась со своим Виктором еще реже, чем в Париже. Она посылала Сюзанну на Большую площадь отнести Гюго „что-нибудь вкуснень-

[1] Гюго В. Наполеон Малый. — Собр. соч., т. 5, с. 5.

кое“, продолжала писать свои „заметки“, отмечала знаменательные для нее годовщины и все же думала: „Зачем придерживаться традиции и отмечать день первой любовной встречи, когда у него любви ко мне уже нет, а есть только долг, чувство жалости, человеческого уважения?“ Не лучше ли отказаться „от всех этих ребячеств, которые так не подходят к моим седым волосам?.. Есть цвета, оттенки и наряды, которые не подходят пожилым женщинам“. Жюльетта постарела до времени — в сорок шесть лет раздалась, отяжелела. Сознавая этот упадок, она делала трогательные усилия отречься от прежней своей роли, принося ее в жертву приличиям, обязательным для изгнанника. Гюго довольно сурово запретил ей приходить к нему, меж тем как он принимал у себя всяких любопытствующих, равнодушных и праздных людей. „Ты даже не замечаешь, сколько жестокости и несправедливости в твоем пренебрежении ко мне. Тебе твое самолюбие важнее моего страдающего сердца“. Гюго совсем отдалился от нее в Брюсселе и проявлял там в течение двух месяцев необыкновенную воздержанность, которая, впрочем, „была ему свойственна уже давно, уже целых восемь лет“, — жаловалась Жюльетта. Относился ли он так и к другим женщинам? У нее были все основания сомневаться в этом. „Наберитесь смелости, — сказала она ему, — и признайтесь раз и навсегда в своем физическом и моральном непостоянстве... Я помню время, когда ты любил только меня, но помню также день, когда ты под предлогом недомогания впервые оставил меня одну, но все объяснилось просто: ты увлекся другой...“ Ожидая его, служанка-любовница переписывала „Наполеона Малого“, штопала носки своего „дорогого“ и смотрела, как в небе проплывают облака.

Все же Гюго смилостивился над ней: когда Леони д'Онэ в январе 1852 года вздумала приехать к нему в Брюссель, он сразу же забил тревогу, обратившись за содействием к жене, своей союзнице:

Виктор — Адели Гюго: „Она намерена выехать 24-го. Пойди к ней тотчас же и постарайся ее образумить. Необдуманный поступок в такой момент может повести к серьезным неприятностям. Теперь все смотрят на меня. Моя жизнь, полная трудов и лишений, проходит у всех на виду. Я пользуюсь всеобщим уважением, которое проявляется даже на улицах... Ничего не нужно изменять в данных условиях... Скажи ей все это. Обращайся с ней ласково, касайся с осторожностью всего, что наболело в

ней. Она легкомысленна... Не показывай ей это письмо. *Сожги его сразу же.* Скажи, что я напишу ей по тому адресу, который она мне дала. Удержи ее от безрассудства".

Адель, возгордившаяся тем, что ее роль внезапно возросла, сразу же ответила мужу: „Будь совершенно спокоен. Я только что пришла от госпожи Онэ. Ручаюсь, что она не поедет. Я написала Уссэ, попросила его назначить мне время для делового разговора о „Путешествии". Готье, Уссэ и еще два сотрудника являются главными лицами в „Ревю". Я вызову у госпожи Онэ интерес к искусству. Это увлекательное и благородное занятие, надеюсь, целиком захватит ее. Ты, со своей стороны, должен подбадривать ее в письмах, которые доставят удовлетворение если не ее сердцу, то ее гордости. Пусть она будет *сестрой души твоей.* Я знаю, у тебя очень мало свободного времени, но все же пиши ей изредка, хоть по нескольку строк, — может быть, это ее успокоит. Дорогой мой друг, я слежу за ней. Работай спокойно и не волнуйся".

Завоевать сердце этой молодой женщины не представило особой трудности. Труднее было убедить, что можно обойтись без нее.

Леони упорствовала. *Виктор Гюго — жене, 24 января 1852 года*: „Сегодня утром я опять получил письмо от госпожи д'О. Она решительно заявляет, что приедет сюда, хотя бы на несколько дней, грозится, что сделает это, ничего не сказав тебе. Нет, нет, мой друг, тебе необходимо с ней повидаться и отговорить ее от этой поездки. Безрассудства никогда ничего хорошего не приносят. Зная ее опрометчивость, я и не хочу ей писать. Я, кажется, сделал все, что она хотела, чтобы ее успокоить, использовал все средства. Но она теперь желает еще получать от меня письма, „*адресованные лично ей*". При ее повадках в этом немалая опасность (она ведь все рассказывает всем и каждому). В Париже говорят обо всем решительно, но в Брюсселе, где я живу на глазах у людей, не принято разглашать то, о чем без стеснения болтают в Париже... Повидай госпожу д'О., последи за ней. Она собирается приехать, невзирая даже на то, что здесь находится Шарль. Внуши ей, что это немыслимо. Ведь я тогда вынужден буду немедленно покинуть Брюссель... Воспрепятствуй ее поездке, право, это было бы сущее безумие..."

Наконец госпожа Гюго уверила мужа, что опасность

миновала, и он похвалил свою посредницу: „Прежде всего хочу сказать, что ты благородная и милая женщина. У меня слезы навертываются на глаза, когда я читаю твои письма, — они проникнуты достоинством, волей, мужеством, рассудительностью, спокойствием, нежностью... Ты прекрасно разбираешься в политике, ты правильно воспринимаешь события и умно рассуждаешь о них. А когда заговоришь о делах или о семье, во всем чувствуется высокая и добрая душа..." Опала, постигшая мужа, иногда бывает удачей для жены. В несчастье открылась истинная натура Адель Гюго. С января до апреля 1852 года в жизни ее супруга перемен не было. Работа, непрестанный труд. Обеды за табльдотом гостиницы в обществе Александра Дюма, Ноэля Парфе, Шарля Гюго, иногда и с Эдгаром Кине. Беспокоил их всех Жирарден, изгнанник с шаткими взглядами. На него нападали иногда бонапартистские настроения, и он иронически говорил Виктору Гюго: „Моя жена такая же красная, как и вы, и тоже заявляет: „Он бандит"... Короче говоря, Жирарден уже готов был еще раз вывернуться наизнанку и приспособиться к новому режиму. Приспособленчество бывает у некоторых призванием.

Врач герцогини Орлеанской, Ноэль Гюэне де Мюсси, приехав в Брюссель, сообщил Гюго, что принцесса с грустью вспоминает о нем. „Как? Неужели он не будет нашим другом?" Гюго ответил, что он питает к герцогине Орлеанской „глубокое чувство симпатии и уважения", но добавил, что он „навсегда принадлежит республике, что между ним и семьей герцогов Орлеанских нет и не будет общих интересов". Об общих интересах в прошлом — ни слова.

Стало очевидным, что если „Наполеон Малый" будет напечатан, то возникнет прямая опасность для семьи Гюго, а также для его имущества, находящегося во Франции. Правительство издало закон против „злоупотреблений прессы", по которому виновные в них французы, даже живущие за границей, подвергались штрафу и конфискации имущества. И вот у Гюго возникло решение перевезти всю свою семью в Брюссель, если будет получено на то разрешение бельгийского правительства, либо же на остров Джерси, если в Бельгии, как ему сообщил Брукер, будет издан закон, запрещающий оскорбительные выпады против главы дружественного государства, что несомненно грозило высылкой из страны.

Вначале он решил переправить из Парижа на Джерси

всю свою мебель. Ему дороги были вещи, с любовью приобретавшиеся им у антикваров: венецианское стекло, медные кувшины, фаянсовые блюда. Адель нашла эту затею бессмысленной. Зачем надолго устраиваться в чужом краю? „Надо быть всегда готовым сняться с места. Ведь уже два раза события изгоняли нас из дому. Это может случиться и в третий раз... Если перевозить мебель на Джерси, придется израсходовать много денег на упаковку и отправку вещей. Вспомни, что для переезда на другую квартиру нам потребовалось восемнадцать фургонов, а с тех пор имущества у нас, пожалуй, стало больше..." Адель советовала передать кому-нибудь квартиру по улице Тур-д'Овернь и продать с торгов „роскошную готическую мебель", „весь старый хлам" (приводивший ее в ужас) и всю библиотеку, в том числе первое издание Ронсара, — в этой поспешной распродаже всех вещей Адель не пощадила и подарка Сент-Бева, с которым были связаны у нее воспоминания о годах несчастья.

Госпоже Гюго, временному главе семейства, было поручено подготовить распродажу, составить каталог вещей, опубликовать объявления в газетах, тщательно просмотреть все находившиеся на чердаке шкафы и столы, так как ящики в них тоже были заполнены „интимными письмами". Исполнив эти обязанности, завершив распродажу, получив деньги, она должна была вместе с Тото и Деде (Шарль уже жил вместе с отцом) укрыться в надежном месте, прежде чем заговорщик успеет метнуть бомбу. Гюго с нетерпением ждал этой блаженной минуты. Он знал, что памфлет „Наполеон Малый" ему очень удался. В Брюсселе изгнанники, такие, как генерал Ламорисьер, каждый день приходили к нему послушать несколько страниц, насладиться силой карающего слова. „*Изливашаяся в нем ненависть дарила им невыразимую отраду...*"

Распродажа с аукциона всего имущества могла бы вызвать у его хозяев глубокое огорчение, но для Гюго публично приносимая жертва освящала этот торг, Адель же радовала мысль, что она может отплатить мужу, упрекая его в том, что он собрал какие-то щербатые, совсем не ценные блюда, фарфоровые вазы с изъянами. „Ты ничего не понимал, когда разыскивал все эти вещи, покупал потертые ткани, надбитый, треснувший фаянс... Покупать всякое старье — ведь это бросать деньги на ветер". Она торжествовала, доказывая, что любовь к старине дорого обошлась. Нужно сказать, что она ненавидела все эти

„случайные вещи“, купленные при участии Жюльетты в антикварной лавке на улице де Лап. Распродажа дала всего лишь пятнадцать тысяч франков. Друзья, однако, дорого платили за вещи, находившиеся на рабочем столе поэта. Словарь Академии был продан за двадцать шесть франков, печатка Виктора Гюго пошла за сто один франк, разрезной нож — за двадцать четыре франка. Первое издание Ронсара было записано в каталоге под номером двадцать шесть. Оно досталось за сто двадцать франков госпоже Блэзо, владелице книжной лавки с улицы Грамон, она перепродала его за сто пятьдесят франков Шарлю Жиро, министру народного образования.

Жюль Жанен напечатал об этом аукционе в „Журналь де Деба“ смелый фельетон:

„Зачем,— писал он,— были необходимы поэту, влюбленному в художественную форму и колорит, все эти богатства? Зачем? Лишь для того, чтобы они попали в список продаваемых вещей, и для того, чтобы цены их громко выкрикивал пристав на аукционе? Милые сердцу украшения дома, предметы убранства комнат... Кончено! Уже расклеены на стенах объявления о распродаже, распространен среди любителей каталог. Всякому встречному и поперечному открыт теперь этот музей, покупай в нем что хочешь. Стоило ли, друг, любить красивые старинные вещи, стоило ли восхищаться ими? Смотри, с тобой обращаются, как с расточителем, как с умершим человеком, у которого не осталось детей“.

Газета „Пресс“ и Теофиль Готье тоже откликнулись сочувственно. Гюго поблагодарил Готье: „Дорогой поэт, несчастье, которое вы своей статьей обессмертили, не является несчастьем“.

В тот день, когда произошла распродажа (среда, 9 июня 1852 г.), мужественный Жюль Жанен уже в ночной час вторично пришел на улицу Тур-д'Овернь.

Жюль Жанен — Виктору Гюго: „Вокруг вашего дома царила тишина. Звезда, ваша любимая звезда, как будто для вас лила свой голубой свет в маленький садик, куда вы, бывало, выходили по вечерам... Одно окно было открыто, в нем виднелся неподвижный силуэт — какая-то женщина в белом спокойно и внимательно смотрела в молчании на город, который ей нужно будет завтра покинуть! Вероятно, там задумалась ваша дочь. У другого, закрытого окна тихо разговаривали друг с другом ваша жена и ваш сын, — разговаривали спокойно и печально; слов не было слышно, но легко было понять, о чем они говорят. Они прощались с родным своим

гнездом, с милым приютом, озаренным отцовской славой. О, кто бы мог подумать в великие дни великих битв, когда Адель Гюго приветствовали, словно королеву, и когда ее муж торжествовал и царствовал, — кто бы мог подумать, что мы расстанемся с нею и что она отправится в изгнание?.."

Итак, решение было принято. 25 июля Гюго в письме торопил жену, просил ее направиться прямо в Сент-Хелиер (главный город острова Джерси). Он сам, до опубликования закона Федера, по которому его должны были выслать из страны, не желая дольше возлагать на Бельгию опасное бремя своего пребывания в ней, отплыл на пароходе вместе с Шарлем 1 августа, после того, как под его председательством состоялся банкет изгнанников. Жанен приехал в Брюссель, чтобы попрощаться с ним. „На площади... из расположенной здесь мрачной лавки открывалась узкая дверь на лестницу, ведущую в каморку, где ютился этот пэр Франции, этот трибун, этот кавалер ордена Золотого руна, врожденный рыцарь Золотого руна и гранд Испании, творец „Эрнани" и „Рюи Блаза". Дверь была не заперта, люди входили к изгнаннику, как когда-то к поэту. Он спал, распростершись на ковре. Спал так крепко, что не слышал моих шагов, и я мог беспрепятственно любоваться им, его могучим телосложением, могучей грудью, где жизнь и дыхание занимали обширное место, его открытым лбом, его руками, достойными держать волшебную палочку феи; одним словом, я увидел его всего, этого доблестного полководца великих дней... Он спал спокойно, как ребенок, — таким ровным и тихим было его дыхание".

То был сон человека со спокойной совестью.

II

„Морская терраса"

Джерси на робких волнах дремлет,
Накрывшись голубым плащом,
И вид Сицилии приемлет
В лазурном рубище своем[1].

Виктор Гюго

Август 1852 года. Жарким летом три путешественника — госпожа Гюго, ее верный рыцарь Огюст Вакери и дочь Адель — высадились на острове Джерси. Они про-

---

[1] Перевод М. Ваксмахера.

ехали через Саутгемптон, где с отвращением впервые попробовали ростбиф. Им показалось, что выжженные солнцем окрестности Сент-Хелиера страшно похожи на остров Святой Елены. Через два дня к ним в гостиницу „Золотое яблоко“ приехали Виктор Гюго и Шарль. Находившиеся в городе многочисленные изгнанники, менее значительные, нежели брюссельские, отправились в порт встречать поэта и, смешавшись с толпой местных жителей, горячо приветствовали его. Госпожа Гюго нашла, что ее муж и сын заметно пополнели. Одетый с нарочитой небрежностью, Виктор Гюго был неузнаваем. Светский человек, красиво причесанный и изящный, превратился в грубого рабочего. В его горящем пристальном взгляде, в измученном, постаревшем лице было что-то странное, минутами он казался каким-то одержимым. Но вскоре к нему вернулись и прежняя веселость, и здравый смысл.

Остров, когда изгнанники его узнали, понравился им.

Виктор Гюго — полковнику Шаррасу в Брюссель: „Если на свете существуют очаровательные места изгнания, то Джерси надо отнести к их числу. Тут все дико и приветливо, кругом море, суши всего восемь квадратных миль, и на ней буйно разрослась зелень. Я поселился здесь в белой хижине на берегу моря. Из своего окна я вижу Францию. В той стороне восходит солнце. Доброе предзнаменование! Говорят, моя книжечка просачивается во Францию и, капля за каплей, бьет по Бонапарту. Быть может, в конце концов она пробьет в нем дыру... С тех пор как я сюда приехал, мне оказали честь, утроив в Сен-Мало количество таможенников, жандармов и шпиков. Этот болван велел выстроить целый лес штыков, чтобы помешать высадиться на берег одной книге...“

Остров представлял собою ярко-зеленый сад со множеством опрятных домиков, а внизу раскинулось море. Вскоре в семействе Гюго возникли разногласия — спорили о том, где поселиться. Виктору Гюго хотелось жить на берегу моря, а дочери — остаться в Сент-Хелиере, Шарля привлекали возвышенность, дикий, суровый пейзаж. Верх одержало желание pater familias[1], и был снят уединенный дом на берегу моря — „Морская терраса“. Это был, как рассказывал Гюго впоследствии, „белый тяжелый куб, напоминавший гробницу“, а на самом деле прелестный дом, вернее — вилла, с террасой, садом и огоро-

[1] Отца семейства (лат.).

дом. Ничего мрачного в нем не было. Жюльетта Друэ, приехавшая на другом пакетботе (ради приличия и по требованию госпожи Гюго), сначала жила в гостинице, а затем поселилась в небольшом коттедже, который носил пышное название „Нельсон-холл“. *Жюльетта — Виктору Гюго, 10 августа 1852 года:* „Посмотрим, лучше ли вас будет вдохновлять океан, чем Большая площадь в Брюсселе, и чаще ли вы станете оказывать честь своими посещениями моему „коттеджу“, нежели квартире на улице Сент-Юбер“.

Виктор Гюго — полковнику Шаррасу. „Морская терраса“ 24 января 1853 года: „Нет ничего более приятного, нежели ваш внушительный и властный призыв: „*Мужайтесь*“ — в разгар моей битвы. Мне вспомнилось доброе время, когда вы сидели позади меня в зале Национального собрания... Я часто вспоминаю отрадные часы, проведенные в Брюсселе, отрадные даже в изгнании, потому что его скрашивала дружба, наши вечера, наши мечты, наши беседы, — это все еще была Франция. Увы, здесь этого нет. Я живу в деревне, отрезанный от города дождем и туманами, живу лицом к лицу с грохочущим морем и светлой улыбкой бога. Впрочем, этого достаточно“.

Существование всего этого маленького мирка зависело от одного пера и одного мозга. Нужно было издавать, но что? У Гюго был подготовлен сборник „Созерцания“ — стихи любви и скорби. Жюльетта и Леопольдина... Но разве возможно в момент острых политических волнений предлагать публике лирические стихи? Этцель не советовал делать этого, да и сам автор не помышлял об этом. Нельзя же было в дни гнева отказываться от того настроения, которым был проникнут „Наполеон Малый“! Во Францию книга ввозилась в виде тетрадок, напечатанных на тонкой бумаге и спрятанных в чемоданах с двойным дном, а иногда даже в полых бюстах Наполеона III. Она вызывала восторг. В Турине ее читал вслух Александр Дюма: „Все были увлечены, все восхищались...“ На английском языке „Napoleon the Little“ вышел в свет тиражом в семьдесят тысяч экземпляров; она была издана и на испанском языке — „Napoleon el Pequeno“. Напечатанный во всем мире миллионным тиражом, памфлет Гюго символизировал собой победу разума над насилием. Если люди боятся вступать в борьбу, им все же легче становится от того, что нашлись смельчаки, выразившие ненависть к насильникам. Стало быть, нужно говорить о том же, но в стихах. „Негодяй поджарен с одной стороны, я его переверну на сковородке“. И вот неистовый поэт бродит вдоль берега, по-

дле утеса Розель, поднимается на дюны, там его можно было увидеть днем и ночью. Всю осень в нем кипело негодование, порождавшее замечательные стихи. То было время, когда он создал не только „Тулон“, „Nox“[1], „Искупление“, но и такие поэмы, как „Совесть“, „Первая встреча Христа с гробницей“. С ноября 1852 года вместе с теми стихами, которые он написал в Париже „против богатых людей“, у него уже собралось тысяча шестьсот стихотворных строк. Он же хотел иметь три тысячи строк. Стихия сарказма и проклятий. Всякий изгнанник, лишенный возможности действовать, теряет чувство меры, что часто делает его плохим политиком, но иногда — великим поэтом. Свидетельство тому — Данте. И так же как Данте, Гюго излил свой гнев, выразив его в художественной форме.

Какое название дать сборнику поэм, осуждавших государственное преступление? Он колебался. „Песнь мщения“, „Мстительницы“, „Мстительные рифмы“ и, наконец, решился назвать: „Возмездие“. „Я напрягаю паруса, чтобы скорее завершить книгу. Нужно торопиться, ибо Бонапарт, мне кажется, уже протух. Недолго ему царствовать. Империя возвела его на пьедестал, женитьба на Монтихо его прикончит... Стало быть, мы должны спешить...“ Иллюзии изгнанника — то обманчивые, то верные догадки. Весной 1853 года он написал поэмы „Сила вещей“, „Императорская мантия“. Потом, собрав все эти стихи, он начал располагать их в стройном порядке, по плану, возникшему лишь к концу работы. Книга отличалась поразительным разнообразием интонаций; она была проникнута единым мощным чувством негодования. В связи с этим можно вспомнить „Трагические поэмы“ д'Обинье, „Мениппову сатиру“ Тацита и в особенности Ювенала, но Гюго превзошел их благодаря силе обличения, ритмическим новшествам, поэтичности языка, глубине иронии, эпическому размаху. Его сатира подрывает и разрушает устои власти, эпопея уносит всю эту рухлядь. Книга „Возмездие“ обращала взгляд к прошлой славе, обличала позорную современность, воспевала светлую надежду. Этцель сожалел, что книга полна неистовства. Гюго объяснял: „Не булавочными уколами надо воздействовать на умы людей. Быть может, я приведу в ужас буржуа; какое мне до этого дело, если я смогу пробудить народ... Данте, Тацит, Иеремия, Давид, Исайя, разве они не были неистовыми?.. Когда мы будем победителями, мы станем более сдержанными...“

[1] Ночь (лат.).

Темы поэм были не так уж разнообразны. Тут мы найдем противопоставление дяди и племянника, героя и бандита, подлость тех, кто воспользовался милостями режима, клятвопреступление, ужасы преследований, убийства женщин и детей, предсказание возмездия, — поэт, отправляющий на каторгу императора и его клику. Короче говоря, мечта о мести. Призывая проклятия на Маньяна, Морни, Мопа, он делал это в превосходных стихах и, с поразительным искусством рифмуя их имена, навечно заключил их в плен звучания, покарал каторгою ритма, что еще усиливало воздействие памфлета на читателя.

„Только Гюго мог достигнуть такого буйного могущества слова". Он мог передать все — плач о ребенке, убитом в ночь на 4 декабря, ненависть и презрение в песенках на популярные мотивы („Коронование" на мотив песни „Мальбрук в поход собрался": „Дрожит Париж несчастный"), погребальный звон („Сегодня с Нотр-Дам звон льется похоронный, но завтра загремит набат"). Тут были и резкая сатира („Охранитель о возмутителе"), и воспоминания о героическом времени („Орлы ваграмские! Вольтера край родной! Свобода, право, честь присяги боевой"), стихи о военных походах, завершающиеся мрачным финалом („Искупление"), и звонкий призыв к пчелам в стихах „Императорской мантии":

Вы, для кого в труде отрада,
Кого благоуханье сада
И воздух горных рек влечет,
Кто бурь декабрьских избегает
И сок цветочный собирает,
Чтоб людям дать душистый мед,—

Вы вспоены росой прозрачной,
И вам, как юной новобрачной,
Все лилии приносят дань, —
Подруги солнечного лета,
Златые пчелы, дети света,
Той мантии покиньте ткань!..

Потом в обманщика, злодея
Вцепитесь, гневом пламенея,
Чтоб свет померк в его глазах!
Его гоните неотступно,
И пусть от пчел бежит, преступный,
Когда людьми владеет страх![1]

[1] Гюго В. Императорская мантия („Возмездие"). Пер. Е. Полонской. — Собр. соч., т. 12, с. 140.

Находясь в изгнании, необходимо быть стойким:

Изгнание свое я с мужеством приемлю,
Хоть не видать ему ни края, ни конца.
И если силы зла всю завоюют землю
И закрадется страх в бесстрашные сердца,

Я буду и тогда республики солдатом!
Меж тысячи бойцов — я непоколебим;
В десятке смельчаков я стану в строй десятым;
Останется один — клянусь, я буду им![1]

Такова была книга, изданная в зиму 1852—1853 годов, каждая страница ее рукописи была написана отличным почерком. Для Виктора Гюго, который, опираясь на скалу, взывал к океану, к бездне, к пропасти, для Виктора Гюго, который работал, как никогда в своей жизни, облекая свою ненависть в поэтическую форму, — время мчалось быстро. Для других изгнание не было столь вдохновляющим. Госпожа Гюго, которая рассталась со своим парижским царством и без особой радости занималась домашним хозяйством, решила писать книгу „Виктор Гюго по рассказам свидетеля его жизни". С того времени, когда Адель писала письма к жениху, она, общаясь со многими писателями, достигла некоторого успеха в литературе, и к тому же человек, о котором она писала, вполне мог ей помочь. Она имела в своем распоряжении рукопись с воспоминаниями отца и неизданные мемуары генерала Гюго. Некоторые страницы ее книги были переписаны оттуда слово в слово, другие же несколько приукрашены. Особенно трудно далось ей начало. „Я пишу о своем муже крайне медленно. Ведь я не писательница. Делать записи — это еще ничего, но когда нужно, как говорится, их обработать, мне приходится помучиться".

Прежде чем покинуть Париж, она написала письмо Леони д'Онэ: „Итак, будьте мужественны, работайте! Достоинство, сила, я бы даже сказала — счастье — в труде..." Она продолжала и на Джерси оказывать внимание своей подруге и сообщала ей новости о „нашем дорогом изгнаннике".

Шарль Гюго и Огюст Вакери, оба речистые и громогласные, блистали перед французами, проживавшими на Джерси, и оба страстно увлекались фотографией. Их дагерротипы запечатлели облик Гюго, каким он был тог-

---

[1] Гюго В. Ultima verba („Возмездие"). Пер. М. Донского.— Соч., т. 12, с. 261.

да, — вид суровый, лицо напряженное, немного одутловатое. „Наружность внушительная и мрачная, — говорит Клодель. — Но за этим внешним обликом чувствуется великая и страдающая душа, и я понял, сразу понял то, что мне родственно в нем, несмотря на грозный и сумрачный его вид...“ Деде, хмурая и какая-то растерянная девушка с опущенными глазами, тоже таила в душе страдания. Она занималась музыкой, мечтала о невозможной любви и с трудом переносила затворническую жизнь.

Франсуа-Виктор остался в Париже — его удерживало там страстное увлечение Анаисой Льевен, хорошенькой актрисой из театра „Варьете“. В этом романе разоряться пришлось не любовнику, а любовнице, так как у него денег не было. Родители его тревожились. Жанен писал им, что Франсуа-Виктор компрометирует великое имя. Дюма-сын распекал молодого человека: „Влюбленная куртизанка, где это видано? Только в романтических драмах!“ Недурное замечание в устах автора „Дамы с камелиями“. Госпожа Гюго помчалась в Париж, чтобы вырвать сына из объятий блудной девы. Ее приезд был праздником для друзей. Но Жанен писал Шарлю Лакретелю: „Мне показалось, что госпожа Гюго чересчур мужественна, чересчур спокойна, в ее веселости чувствовалась некоторая бравада...“ Прекрасная Анаиса преследовала своего любовника и на Джерси, Виктору Гюго пришлось вступить с ней в переговоры и откупиться от нее, для того чтобы она уехала. К счастью, он умел говорить с женщинами. Он изобразил жизнь изгнанников в самых мрачных красках и так напугал красавицу, что она отбыла в Варшаву. Франсуа-Виктор поплакал о ней, потом утешился и принялся, как все обитатели „Морской террасы“, писать. Темой он избрал — „Историю острова Джерси“. Этот дом был настоящей фабрикой по изготовлению книг.

Что касается Жюльетты, то от соседства „святого семейства“ она стала еще несчастнее. Она видела из окна своего поэта, но он запретил ей заговаривать с ним, когда он идет с женой. Да она и не посмела бы рта раскрыть, ее удерживал „непобедимый стыд“. Но как она страдала, когда госпожа Гюго шла на прогулку под руку с мужем, и какой роскошью казалось ей тогда красивое шелковое платье Адели по сравнению с „нищенскими отрепьями“ самой Жюльетты. Она страдала. Остров Джерси нравился бретонке, и вновь перед ее глазами было море,

как в детстве, только ей хотелось не быть всегда одной, не искать утешения лишь в *писулечках*. „Вместо того чтобы позировать без конца для дагерротипов, вы бы лучше повели меня куда-нибудь прогуляться, ведь вы могли бы это сделать...“ — писала она Виктору Гюго. Она ревновала поэта к изгнанникам, которым он отдавал много времени: „Ну, что это выдумали ваши ужасные демагоги устроить собрание в такую прекрасную погоду?..“ Зачем сидеть взаперти в душной комнате, когда солнце перемигивается с весной? Да еще с кем сидеть — с существами „бородатыми, крючковатыми, волосатыми, лохматыми, горбатыми и туповатыми“? Но Гюго считал своим долгом бережно обращаться с изгнанниками: ведь они были его братья, а иные — его учителя, жилось им тяжело, да еще между ними не было согласия — одни стали изгнанниками в 1848 году, а другие — в 1852 году, — они презирали друг друга, и среди них был грозный Пьер Леру, нераскаявшийся крикун и пророк, мнимый гений, который долго отравлял жизнь Жорж Санд; Гюго называл его „филу-соф“, а Сент-Бев говорил о нем: „Я познакомился с Леру, когда он был человеком выдающимся, но с тех пор он очень испортился. Я потерял его из виду, вернее, мы порвали отношения. Он стал богом, а я простым библиотекарем. Наши пути разошлись...“

Гюго всячески старался поддерживать единство между изгнанниками. Он произносил речи на похоронах, оказывал помощь нуждавшимся, организовал кассу взаимной помощи. 2 декабря 1852 года французское правительство разрешило возвратиться на родину тем, кто „ничего не предпринимал против избранника страны“, и обещало не подвергать их репрессиям. Кое-кто не выдержал, вернулся. „Они уезжают, — говорил Гюго, — уезжают, подписав заявление, что их *совратили с пути истинного коварными советами.* Я их прощаю и жалею их“. Жорж Санд уговаривала своего друга, издателя Этцеля, вернуться: „Со стороны тех, кто считает унизительным для себя малейшие хлопоты о возвращении, будет большой заслугой проглотить эту обиду из любви к семье или во имя личного своего долга...“ Но вот семейство Гюго осталось непоколебимым. Шарль Гюго тайком ездил в Кан купить материалы для фотографирования, а к нему там тотчас явился полицейский комиссар и перерыл весь его багаж. Даже на Джерси и даже среди изгнанников были агенты „господина Бонапарта“. Шпионы кишат при всяком расколе.

Шли месяцы, поэт писал стихи для „Нового Возмездия“, члены его семьи музицировали, писали, томились тоской. Во Франции новый режим начинался в атмосфере роскоши и веселья. Гюго по-прежнему не сомневался в исходе:

Вот консул мраморный. Его зовут Помпей.
С мечом, высок и прям, колосс надменный сей,
В Сенате римском ждет, у сумрачных колонн,
И мнится: в думу он глубоко погружен.
Чего он ждет? О Брут! Не гаснет вольный пыл!
Пусть Цезарь уж давно Помпея победил;
Приветствовал народ триумфом полководца;
Но в вечности Помпей соперника дождется;
И в мрачном Форуме, пред роковым концом,
Назначил истукан свиданье с мертвецом[1].

III

Когда появляются духи, говорят столики

Мои дни, вы печальнее бледных теней.
Бесконечность, как саван, над призраком дней.

Виктор Гюго

В сентябре 1853 года в семействе Гюго десять дней гостила прибывшая из Парижа Дельфина де Жирарден и внесла нечто новое в образ жизни обитателей „Морской террасы“. Она была давним другом поэта. Он видел ее светловолосой, юной и жизнерадостной девушкой еще в салоне Шарля Нодье. Настроенная менее примиренчески, чем ее муж, она, со времени изгнания Гюго, поддерживала с ним переписку, враждебную по отношению к Бонапарту Малому, которого она называла „Бустрапа“:

Дельфина де Жирарден — Виктору Гюго, 6 апреля 1853 года: „Вы помните прелестную Эжени, с которой вы так легко разговаривали в моем салоне по-испански? Теперь она стала женой Бустрапа... Такая очаровательная женщина заслуживает лучшего мужа. Меня удивляет одно обстоятельство: в то время когда она сказала президенту „Да“, она уже прочитала вашу книгу[2] — тайком, со всякими предосторожностями, но все же прочитала. Во мне эта книга вызвала бы некоторое охлаждение к жениху...“

[1] Пер. Г. Кружкова.
[2] Наполеон Малый.— Собр. соч., т. 5, с. 5.

Гюго был очень рад встретиться с госпожой Жирарден и огорчался, видя, как она изменилась; только что умер ее близкий друг, да и сама она уже была больна раком, который через два года свел ее в могилу. Бледная, вся в черном, она говорила только „О чем-нибудь мрачном“ и, казалось, находила „очарование в смерти“. Она рассказала изгнанникам об опытах, которыми увлекался в то время Париж и вся Европа — спиритизм, вертящиеся столы, вызывание духов.

Вначале Гюго был настроен скептически, но он был предрасположен к подобным откровениям прежде всего по своей натуре, — в течение всей жизни у него бывали смутные видения, доходившие до галлюцинаций. Видения, приписанные герою повести „Последний день приговоренного“, являлись и самому автору. Он полагал, что все философы встречались во мраке ночи с „какими-то непонятными явлениями“, слышали какие-то стуки в своей комнате. Он полагал, что можно с уверенностью говорить о предчувствии, ведь он сам, например, пережил состояние глубокой тоски, вдруг овладевшее им на острове Олероне в день смерти Леопольдины, хотя он еще ничего не знал тогда о случившейся катастрофе. Клодель утверждал: чаще всего им владело чувство „ужаса, своего рода паническое созерцание“. Короче говоря, сверхъестественное казалось ему естественным. Этому способствовало и заинтересовавшее его учение. Он верил в бессмертие душ, в их постоянное движение, в беспрерывное их восхождение от неодушевленного мира к богу, от материи к идеалу. Почему бы не допустить, что плывущие в пространстве нематериальные существа стремятся к общению с нами?.. Среда и обстоятельства благоприятствовали таким настроениям: душевное потрясение, вызванное изгнанием, непрерывно возникающая тень Леопольдины, местные легенды. Ходили слухи, что „Морскую террасу“ посещают призраки, такие, например, как Белая Дама. В бурю кругом раздавался мощный рев моря...

...Когда сгустится мрак,
Бросает ветру лес таинственные звуки,
Гранитный истукан, во мгле вздымая руки,
Зловещий видит сон, летит за вздохом вздох, —
Под мертвенной луной, как призрак, встал Молох[1].

В первый же день Дельфина де Жирарден за обедом

---

[1] Гюго В. Джерси („Четыре ветра духа“). Пер. М. Ваксмахера.

спросила: „Вы здесь вертите столики?“ — и предложила произвести опыт. Гюго отказался присутствовать. Стол, стоявший на четырех ножках, оставался безмолвным. Дельфина сказала, что нужен небольшой круглый столик на одной ножке с тремя подпорками. На следующий день она его приобрела на базаре в Сент-Хелиере. Опять ничего. В течение пяти дней она не добилась никакого успеха. Над ней начали подсмеиваться. Дельфина в сердцах сказала: „Духи ведь не то что лошади в фиакре, ожидающие, когда они понадобятся человеку. Они свободны и появляются, лишь когда им заблагорассудится...“ К тому же хозяин дома не пожелал присутствовать при опытах. Чтобы не огорчать гостью, Гюго наконец согласился. Вскоре стол затрещал, задрожал, начал двигаться. „Есть ли здесь кто-нибудь?“ — спросила госпожа Жирарден. Последовал стук, а затем ответ: „Да“. — „Кто?“ Стол ответил: „Леопольдина“. Скорбное чувство охватило всех. Адель зарыдала. Виктор Гюго был взволнован. Вся ночь прошла в разговорах с милым призраком. „Наконец она попрощалась с нами, — пишет Вакери, — и столик больше не двигался“. Потрясенный Виктор Гюго „замер, устремив застывший взгляд куда-то вдаль“, пытаясь проникнуть в мрак неведомого.

Мы ловим каждый звук в пространствах опустелых,
Мы слышим: бродит дух в таинственных пределах,
И темнота дрожит;
Порой в плену ночей, в унылой мгле бездонной,
Нам видится: огнем зловещим озаренный,
Вход в вечность приоткрыт[1].

С того дня прошло больше года, и обитатели „Морской террасы“ не переставали общаться с призраками. Госпожа Гюго без труда поверила в них. „Ведь я издавна разговариваю с душами усопших,— признавалась она.— Вертящиеся столики подтвердили, что я не заблуждаюсь“. Вечерами на спиритических сеансах, кроме членов семьи, присутствовали и изгнанники — генерал Ле Фло, горбатый Энне де Кеслер, венгр Телеки. Целая вереница духов отвечала на вопросы: Мольер, Шекспир, Анакреонт, Данте, Расин, Марат, Шарлотта Корде, Латюд, Магомет, Иисус Христос, Платон, Исайя. А за ними и животные: лев Андрокла, голубка Ноева ковчега, Валаамова ослица... безымянные призраки: Призрак Гробни-

---

[1] Гюго В. На пороге бесконечности („Созерцания“). Пер. М. Ваксмахера.

цы, Белая Дама... Отвлеченные образы: Роман, Драма, Критика, Идея. Призраки писателей. Многие из них говорили стихами, и странное дело, стихами, как будто бы написанными Виктором Гюго. Сверхъестественных явлений на „Морской террасе“ становилось все больше. Однажды Белая Дама обещала появиться перед домом в три часа ночи. Все боялись выйти, а в три часа ночи действительно раздался звонок. Кто же мог звонить кроме призрака? Возвратившись как-то ночью, Шарль и Франсуа-Виктор обнаружили свет в зале, но зал был пуст и в нем не было никакого источника света. Были слышны пронзительные, душераздирающие вопли. Теперь даже сам Гюго вопрошал духов, Шарль вместе с матерью сидел за столом, а Деде вела запись. „Ты знаешь, — с самым серьезным видом обращался Гюго к духу Эсхила, — что ты разговариваешь с людьми, которых влечет мир таинственного“. Эсхил изъяснялся великолепными стихами самого Гюго. У Мольера Гюго спросил:

Не обменялись ли с царями вы судьбою?
Лакея не обрел ты в Солнце-короле?
Не служит ли Франциск шутом у Трибуле,
А Крез — Эзоповым слугою?[1]

Но ответил не Мольер, а Призрак Гробницы:

Шутом у Трибуле служить Франциск не будет,
Господь не признает таких суровых мер,
И ад на маскарад паяцев не осудит,
Где им возмездием грозил бы костюмер[1].

Таким образом, духи обладали талантом, а иногда и разумом. Но это был всегда талант и разум Виктора Гюго. Как же все это объяснить? По-видимому, Шарль был замечательным медиумом, который передавал мысли своего отца и Огюста Вакери — поэтов и импровизаторов. Единообразие стиля не может вызвать удивления, так как Вакери бессознательно подражал своему учителю. У Гюго Андре Шенье говорил, как Эрнани, а Дух Критики рассуждал, как сам Гюго. Поразительным является то, что поэт и не замечал, что все это исходит от него. В свои книги он не включил ни одного стихотворения, созданного им во время этих сеансов. Он не замечал даже,

---

[1] Гюго В. На пороге бесконечности („Созерцания“). Пер. М. Ваксмахера.

что достаточно было появления на сеансах молодого английского офицера Элберта Пинсона, чтобы Байрон заговорил на английском языке. Он также не замечал и того, что лишь в присутствии лейтенанта Пинсона грустная Деде оживлялась.

Жюльетта Друэ, жившая вдали от семейства, заразившегося спиритизмом, избежала всеобщего возбуждения. Она ненавидела всю эту чертовщину: „Такое времяпрепровождение представляется мне вредным для рассудка, если им увлекаются серьезно, а если сюда примешивается хоть малейшее плутовство, то я считаю это кощунством“. Она смеялась над спиритами: „Ложитесь и спите, а меня оставьте в покое, тем более что у меня нет угодливого столика, который подсказывал бы мне готовые сюжеты сочинений, глава за главой. Считайте, что у меня есть свой Данте, свой Эзоп, свой Шекспир. Вы просто-напросто вылавливаете дохлых рыб, которых духи с того света прицепляют вам на крючок. Такие фокусы давно были известны на Средиземном море, задолго до вашего пляшущего столика. Засим выстукиваю вам нежный привет...“

Виктор Гюго воспринимал вещания столика с полной серьезностью и, не отдавая себе отчета в их происхождении, с трепетным волнением убеждался, что духи говорят на его родном языке и соглашаются с его философией. Спиритические сеансы, устраиваемые на „Морской террасе“, имели для Гюго большое значение. Он находил вполне естественным, что бесплотные духи избрали столик в Джерси для своего общения с ним, и полагал, что его философия торжественно освящена теперь самим небом. Именно в эту пору его жизни он и запечатлен на фотографии, сделанной Вакери, и самая поза Гюго и полузакрытые глаза говорят о его экстатическом душевном состоянии; на снимке он своим великолепным твердым почерком написал: *„Виктор Гюго, внимающий богу“*.

Можно было бы опасаться за рассудок Гюго, но его спасало два обстоятельства: упорный труд (художник, одержимый неотступной мыслью, переносит ее в свое творчество), а кроме того, удивительная физическая уравновешенность Гюго. Он расходовал свою дионисийскую силу, которая другого довела бы до умопомешательства, на торжество чувственности, на пешеходные и верховые прогулки, плавал в море, бродил ночами по берегу. Ни душа его, ни тело не знали отдыха. „То, что в нем было чрезмерного, проявлялось в избытке умствен-

ной деятельности, а не в неуравновешенности". Метафизические бредни никогда не заглушали его здравого смысла. После ночи, проведенной в беседах с призраками, он берется за перо и „сообщает Эмилю Дешану о том, что соседские гуси погубили в огороде его бобовые насаждения", или же пишет деловое письмо издателю, с удивительной четкостью уточняя условия договора.

Гюго, и не теряя рассудка, верил в своих духов и был убежден, что он избранник, обладающий волшебной силой, чтобы вести человечество вперед; он издавна мечтал о такой роли и теперь под влиянием „вертящихся столиков" впадает в состояние „обыкновенного пророчества". Призрак Гробницы посоветовал ему лишь постепенно знакомить человечество с его личной философией, и это определило характер его сочинений. Издание больших космогонических поэм, над которыми он работал, было в дальнейшем отложено.

Спиритические опыты продолжались на „Морской террасе" два года. Затем, в 1855 году, когда один из их участников, Жюль Аликс, внезапно сошел с ума, среди спиритов началась паника. Госпожа Гюго, вспомнив о бедном Эжене, испугалась за свою семью, за молчаливую дочь и даже за своего мужа, слишком уж много разговаривавшего с духами, которые стучались в стену и являлись ночью, „Ты всегда имел к этому предрасположение", — с досадой говорила Адель. Она пристыдила его за то, что он дает волю своим нервам, духам предложено было оставаться в чистилище, и вертящиеся столики в конце концов смолкли.

IV

О, царство теней!

Пантеизм увлекает, и, чтобы восторжествовать над ним, надо его постичь.

Виктор Гюго

Время труда, счастливое время. Находясь в опале, вдали от светской жизни, поэт стал самим собой. Никогда еще Гюго не писал так легко, так свободно, так пламенно. Нет больше собраний Академии, прошло время парламентских дебатов, исчезли женщины, поглощавшие

его время и силы. С необыкновенной легкостью он дописал второй том стихов сборника „Созерцания“, где среди замечательных поэм, посвященных дочери („Pauca Meae“) и Жюльетте, были и философские поэмы. Размышления в полночь около долмена Фалдуэ, зловещий голос морских волн дополнили и определили характер той религии, пророком которой он себя считал.

В его поэзии ясные, реальные образы постоянно чередуются со смутной мечтой, с едва различимыми видениями. Его словарь соответствует этому поэтическому смятению: „Стая чудовищ... кишащий рой гидр, людей, зверей...“ Излюбленными прилагательными, живописавшими его вселенную, были — *испуганный, хмурый, зловещий, бледный, мрачный, бесформенный, фантастический, мертвенный, блуждающий, сумрачный, призрачный.* В неясных призраках веков он видел стены исчезнувших городов, шествие разбитых армий; в древнем периоде прошлого перед ним возникали доисторические чудовища, девственные леса, земля, еще влажная после потопа, а над ней первозданные звезды, восходящие из хаоса, едва мерцающее солнце, бог.

Уже давно он размышлял о жизни и смерти. Он верил в бессмертие души. Почему? Потому что если после смерти ничего не остается, тогда то, что мы сделали в течение жизни, не имеет никакого значения. Тот, кто был Наполеоном III, и тот, кто назывался Виктором Гюго, одинаково растворятся в великом Ничто. Злой человек своей вины при жизни на земле не искупит, значит, он должен искупить свою вину после смерти. Стало быть, нечто должно остаться и после смерти, чтобы понести наказание. Свобода души подразумевает бессмертие. Доказательство тому — сон. Человек видит сон, потом другой; пробуждаясь, он вновь становится самим собой. Так же и с жизнью? Вся наша земная жизнь есть сон. „Я“, остающееся после смерти, несомненно существует и до и после жизни. Умерший человек вновь обретает себя в бессмертном разуме.

Он высказывал подобные мысли начиная с 1844 года, но тогда он пытался найти основу доктрины, в которую вошли бы эти представления о жизни и смерти. Оккультизм, и в особенности кабалистика, в которую его посвятил в Париже, а затем в Брюсселе странный и наивный Александр Вейль, быть может, дали ему эту основу. Было установлено, что изречения, имеющиеся в „Зогаре“, соответствуют философии Гюго. Ее главные мысли —

объяснение зла. Если бог не что иное, как „Я" в бесконечности, если бог вездесущ, всемогущ и всеведущ, почему же он создал конечный и столь несовершенный мир? В поэме, выражавшей кредо Гюго,— „Что сказали уста мрака" (сборник „Созерцания") Гюго отвечает так же, как „Зогар". Бог не мог создать совершенный мир, — ведь если бы мир не отличался от бога, он не мог бы быть миром.

...Бог создал существо с душой капризно-зыбкой.
Он наделил его прелестною улыбкой,
Он дал талант и ум творенью своему,
Но совершенство дать не пожелал ему:

Достигни человек небесного величья,
Меж ним и божеством не стало бы различья,
Друг с другом бы слились творенье и Творец,
И в Боге человек обрел бы свой конец...[1]

Зло — это материя. В каждом существе можно обнаружить бога и материю, бога и зло. Но даже само зло порождает добро, ибо несовершенство, отделяющее от создателя его создание, предоставляет нам свободу. За то зло, которое творится с соизволения бога, наказание не будет вечным. („Ибо оборотная сторона маски — это тоже личина".) Сатана — это тоже бог. Бесконечная лестница существ идет от камня к дереву, от животного к человеку, от ангела к богу. „Это восхождение начинается в мире тайн", в адской пропасти, где в глубине, на самом дне видно „ужасное черное солнце, откуда исходят лучи мрака". Лестница начинается в бездне, где прикованы демоны, и поднимается ввысь до крылатых существ, „в глубине пространства, где они растворяются в боге". Материя стремится к идеалу — а душу она тащит к животному, ангела — к сатиру. Вот почему чувственность имеет двойственный характер: в человеке — это животное начало, но она порождает также идеальную любовь. Святая оргия.

Итак, бесконечная лестница существ, имеющих душу, но в неравных количествах; животные, растения и даже камни — все они чувствуют и страдают. В них замкнуты души преступников. В этом — возмездие. Если мы уступаем материи, происходит падение. Каждый падает в меру своей вины, и виновный изменяется. „Тиберий пре-

---

[1] Гюго В. Что сказали уста мрака („Созерцания"). Пер. М. Ваксмахера.

вращается в скалу, Сеян — в змею... Немврод стонет, заключенный в высокой горе. Из могилы умершей Фрины вылезает жаба".

Все — зверь, скала, трава — бессмысленная тьма,
И только человек — вместилище ума...[1]

Человек находится в середине лестницы. Падший ангел становится человеком, спасенное животное возвышается и превращается в человека. Человек — это сочетание „наказанного полубога и прощенного чудовища". Поэтому и возникает тайна: порою из уст человека раздается рычание хищного зверя, а иногда „его чело осеняют крылья ангела". И все — люди, животные, камни — имеют право на жалость. „Жалейте узника, но пожалейте и темницу". „Плачьте над ужасной жабой, чудовищем несчастным с кроткими глазами. Плачьте над мерзким пауком и над червем". Все искупят свою вину и все получат прощение.

Надейтесь, бедняки! Надейтесь! Мгла не вечна,
И не всесильно зло, и скорбь не бесконечна,
И ад не на века!..[1]

Существенной чертой религии Гюго является своего рода театральная развязка в космических масштабах. То, что было проклято, будет внезапно спасено, то, что было унижено, вдруг возвеличится. Разве его собственная жизнь не является примером драматических превращений? Он был несчастным юношей. Слава вознесла его над всеми. Потому что его способность трудиться безгранична, все кажется ему возможным. Отсюда его оптимизм. Он знает, что узурпатор будет побежден, что добро восторжествует, что бог победит.

Между 1853 и 1856 годами он, словно возносясь на крыльях вдохновения, написал не только религиозные стихи сборника „Созерцания", но и большую часть двух теософских поэм: „Конец Сатаны" и „Бог". В этих поэмах, с широтой размаха, достойной Данте и Мильтона, его фантазия охватила различные системы религий, картины бедствий, историю империй, время и пространство. В поэме „Конец Сатаны" он описывает падение арханге-

---

[1] Гюго В. Что сказали уста мрака („Созерцания"). Пер. М. Ваксмахера.

ла в беспросветную тьму ночную и в великолепных стихах рисует страсти Христовы. В поэме, названной „Бог“, изображается странствие духа сквозь сонмы звезд, сквозь века и религии. Шесть видений олицетворяли собой возможные ответы на вопросы, поставленные этим „головокружительным односложным словом — бог“: атеизм (бог не существует), манихейство (бог — двуедин), мозаизм (бог — единосущ), христианство (бог — триедин), рационализм (человек есть бог) и, наконец, бог поэта, тот, которого трудно даже определить:

Он взглянет, — вот и все. Творцу довольно взора,
Чтоб целый мир возник из мглистого простора.
И он, всевидящий, дающий испокон
Начало сущему, сам — изначален он[1].

Этого бога человек не может понять, не может постигнуть умом. „Даже связка ключей не открывает эту дверь“. Если человек пожелает его увидеть и если завеса для него приоткроется, он тотчас же умирает. Впрочем, Гюго не нуждался в вере, не стремился увидеть бога, постигнуть его сущность. Бывают встречи во мраке... „У надежды глаза видят лучше, чем у математики“.

Но этот великий верующий был в то же время великим скептиком. Предоставив человеку свободу, бог одновременно вселил в него дух сомнения. Ибо „сомнение превращает его в свободного человека, а свобода возвышает его“. Если бы люди ни в чем не сомневались, они не были бы людьми. Конечно, человеческий ум позволяет иметь верные представления о каких-то ясных явлениях. Гюго был слишком образованным, реально мыслящим человеком, уважающим науки (недаром же он получал в свое время награды за отличные знания по физике), и потому он не отрицал роль интеллекта. Он только был убежден, что разум не может постигнуть бесконечность. „В мышлении должна быть логика, но для выражения мысли логика имеет не больше значения, чем геометрия для пейзажа“. „Гюго воспроизводит все исключительно точно, — замечает Бодлер, — слог его ясен и чист, но те явления, в которых сокрыта тайна и которые смутно осознаны, он неизбежно описывает в сумбурной и неясной форме“.

К 1855 году работа над двумя большими теософскими

---

[1] Пер. М. Донского.

поэмами сильно продвинулись, но, по внушению Призрака Гробницы, Гюго отложил их публикацию. Да как раз в этот год произошло важное событие, заставившее его покинуть Джерси и на время прервать работу.

V

„Созерцания"

Созерцание возникает лишь тогда, когда скорбь утихает и человек обретает душевное равновесие.

Ален

Доля политического изгнанника нелегка. Его терпят, но своим не считают. Если политика страны, приютившей его, требует сближения с родиной изгнанника, он становится жертвой. Джерсийские власти не очень-то жаловали эту ватагу французских говорунов, этого поэта, который метался между женой и любовницей, его торжественно-поучительные послания с „Морской террасы" лорду Пальмерстону. Виктор Гюго, всегда осуждавший смертную казнь, со справедливым негодованием выразил протест против исполнения смертного приговора на Гернси, когда неумелый палач, вешая приговоренного, подверг его мучительной пытке. Гюго был прав, но иностранцу не полагается быть правым. С горькой иронией он писал Пальмерстону: „Вы повесили этого человека, господин министр. Очень хорошо. Примите мои поздравления. Однажды, несколько лет тому назад, я обедал с вами. Вы, наверно, забыли об этом, но я помню хорошо. Меня тогда поразило, как искусно завязан у вас галстук. Мне рассказывали, что вы славитесь умением туго затянуть узел. Теперь я убеждаюсь, что вы умеете „затягивать и петлю на шее ближнего". Для англичанина я являюсь shocking[1], excentric[2], improper[3]. Я небрежно завязываю галстук. Хожу бриться к первому попавшемуся парикмахеру, — эта манера в XVII веке в Вальядолиде придала бы мне облик испанского гранда, а в XIX веке в Англии придает мне облик workman (рабочий в Англии — наи-

---

[1] Возмутительным (англ.).
[2] Эксцентричным (англ.).
[3] Неприличным (англ.).

более презираемая профессия); я оскорбляю английскую cant[1], осуждаю смертную казнь (это неуважительно), я назвал одного лорда — сударь, а это непочтительно, я не католик, не англичанин, не лютеранин, не кальвинист, не иудей, не уэслианец, не мормон, — стало быть, я атеист. К тому же и француз, что гнусно само по себе; республиканец, что отвратительно; изгнанник, что мерзко; побежденный, что достойно презрения, и в довершение всего — поэт. Отсюда — весьма сдержанная любовь ко мне...“

Сэр Роберт Пиль в палате общин уже в 1854 году с негодованием говорил о Викторе Гюго: „Этот субъект находится в личной вражде с высокой особой, которую французский народ избрал своим государем...“ В 1855 году конфликт обострился. Французский император и королева Англии, союзники в войне против России, стали друзьями. „Зловещая Крымская война“ завершилась официальным визитом Наполеона III к королеве Виктории. Торжества удались на славу, если не считать письма Гюго, которое император, прибывший в Дувр, мог прочитать на любой стене:

Виктор Гюго — Луи Бонапарту: „Зачем вы прибыли сюда? Что вам угодно? Кого желаете вы оскорбить? Англию в лице ее народа или Францию в лице ее изгнанников?.. Оставьте в покое свободу. Оставьте в покое изгнанников...“

Когда королева Виктория отдала ответный визит императору, Феликс Пиа, французский республиканец, изгнанник, живший в Лондоне, выступил в печати с непристойными нападками на королеву. Он грубо высмеял путешествие королевы, когда она „пожаловала Канроберу орден Бани, пила шампанское и целовала Жерома“. Это открытое письмо Пиа королеве было напечатано на Джерси в газете „Человек“, органе изгнанников: „Вы пожертвовали всем: величием королевы, щепетильностью женщины, гордостью аристократки, чувствами англичанки, званием, национальным достоинством, женственностью, всем, — вплоть до целомудрия, — из-за любви к своему союзнику...“ Шарль Рибейроль, главный редактор „Человека“, полковник Пианчини, заведующий редакцией, и некий Тома, продавец газеты, по решению английского правительства были высланы с острова.

[1] Чопорность (англ.).

Виктор Гюго не был ответствен за „Письмо к королеве“, которое он считал выпадом весьма дурного тона, но тем не менее он защищал людей, подвергшихся преследованию, и подписал гневный протест против их высылки. 27 октября коннетабль Сен-Клемена вежливо уведомил Виктора Гюго и его сыновей, что, „по высочайшему повелению, им воспрещено пребывание на острове“. Им была предоставлена отсрочка до 4 ноября, для того чтобы в течение недели они могли подготовиться к отъезду. „Господин коннетабль, — ответил ему Виктор Гюго, — можете теперь удалиться. Можете доложить об исполнении приказа вашему непосредственному начальству — генерал-губернатору, он доложит своему непосредственному начальству — английскому правительству, а оно доложит своему непосредственному начальству — господину Бонапарту“[1]. Как видно, он вспомнил в тот день очерк о Мирабо, который был им написан когда-то.

На многочисленных митингах английские либералы выразили свое возмущение высылкой Гюго, но ему со всем семейством и его друзьями пришлось покинуть Джерси и направиться на остров Гернси. Переезд туда был совершен несколькими группами. 31 октября выехал Гюго с Франсуа-Виктором и Жюльеттой Друэ, которую сопровождала великодушная женщина, ее служанка Сюзанна. Два дня спустя к отцу присоединился Шарль Гюго. Несколько позднее прибыли мать, дочь и Огюст Вакери (на него не распространялось распоряжение о высылке, но он решил взять на себя организацию этого переселения). Они привезли с собой тридцать пять сундуков. Во время погрузки штормило, и один тяжелый сундук чуть было не угодил за борт катера, а в нем находились рукописи „Созерцаний“, „Отверженных“, „Конца Сатаны“, „Бога“, „Песен улиц и лесов“. Еще никогда не угрожала смертельная опасность столь большому числу бессмертных творений. А в записной книжке Виктора Гюго 13 января 1856 года отмечено: „Носильщику за доставку сундука с рукописями — 2 франка“.

Остров Гернси меньше Джерси, берега его выше и круче — „скала, затерянная в море“. Но Гюго нравилась эта суровость, а нормандец Вакери нарисовал весьма живо картину Гернси.

„Мы живем в главном городе острова — Сен-Питер-

---

[1] Гюго В. Декларация по поводу высылки с острова Джерси. („Дела и речи“, „Во время изгнания“). — Собр. соч., т. 15, с. 332.

Порт. Представь себе Кодебек на плечах Гонфлера. Церковь в готическом стиле, старые улицы, тесные, узкие, кривые, причудливые, забавные, пересекаемые восходящими и нисходящими лестницами; дома набегают друг на друга, чтобы каждому было видно море. Внизу — маленький порт, где теснятся суда, реи шхун угрожают окнам домов на набережной, под которыми ютятся эти огромные шхуны... Корабли проходят мимо нас... Рыболовные барки, шлюпки, двухмачтовые и трехмачтовые суда, пароходы курсируют передо мною, словно в Вилькье, здесь такое же оживление, как и на Сене, и так же величественно, как в Ла-Манше; это и река и океан; это улица на море..."

В то время у Гюго был весьма небольшой источник дохода, а к бельгийскому вкладу он не хотел прикасаться. Он не получал гонораров: „Наполеон Малый" и „Возмездие", книги борьбы, продавались из-под полы, и выручка от них поступала в карман продавцов. Прожив несколько дней в „Европейской гостинице", Гюго снял дом № 20 на улице Отвиль, опасаясь новой высылки, которую мог потребовать „господин Бонапарт". Вид открывался великолепный. „Из наших окон видны все острова Ла-Манша и расположенный возле нас порт. Вечером, при свете луны, в этой картине есть что-то феерическое". Гюго сразу же принялся за работу. Когда у писателя есть стол и чистая бумага, ему больше ничего не надо. Остальным членам семейства, которым Гюго проповедовал строжайшую экономию, приходилось куда труднее.

Тогда произошло чудо с книгой „Созерцания". В сундуке, может быть, в ящиках стола Гюго лежало около одиннадцати тысяч стихотворных строк, одни — о былом счастье, другие о печальном настоящем — воспоминания и размышления. Этцель, „дорогой соизгнанник", пожелал подготовить это издание. Гюго хотел нанести мощный удар — обрушить на головы своих противников поток шедевров, опубликовав все эти стихи сразу в двух томах. Но даст ли цензура разрешение на распространение книги во Франции? Случилось так, что директором охранки, в подчинении которого находилась цензура, был тогда Пьер-Гектор Колле-Мейгре, бывший редактор газеты „Эвенеман", который в то время, когда газета перестала поддерживать принца-президента, с большой ловкостью переметнулся на его сторону. Поль Мерис прямо направился к этому противнику, зная, что он любит литерату-

ру и является поклонником Виктора Гюго. Колле-Мейгре встретил его с распростертыми объятиями: „Чем могу служить?“ Мерис спросил, не будет ли запрещена во Франции книга самого великого французского писателя, который ничего не публиковал с 1845 года. „В принципе нет, — ответил Колле-Мейгре, — но нужно знать, что это за книга“. Мерис заявил, что речь идет о чистой поэзии, и добавил, что поэт ни в коем случае не согласится дать свою книгу на предварительную цензуру. Колле-Мейгре с редкостным по тем временам мужеством удовлетворился честным словом Мериса: „Вы утверждаете, что в „Созерцаниях“ нет ни одного стиха, направленного против современного строя? Даете честное слово?“ — „Да, даю слово“. — „Превосходно. Печатайте „Созерцания“. Режим Второй империи, почувствовав свою силу, стал несколько мягче.

Во время чтения корректуры Полю Мерису пришлось нелегко. Гюго, как истый художник, придавал значение самой незначительной детали. Корректор, „молодчага, назубок знавший словарь Академии“, исправлял написание слова „lys“ на „lis“. Гюго гремел: „Я презираю словарь Академии. Я сам авгур, и, значит, мне наплевать на Изиду“. Он вникал во все. Обложка должна быть голубого цвета и глянцевитой. Никакого орнамента, только тонкая золотая полоска. На оборотной стороне, где помещается анонс, напечатать: „Поэма „Бог“ — большими буквами и „Виктор Гюго“ — маленькими“. Эта дружественная переписка, касавшаяся чисто технических вопросов, начисто лишена велеречия, характерного для ряда писем, относящихся к тому же времени. Знаменитый поэт не терял здравого смысла. Сквозь образ Олимпио виден был Малья. Это раздвоение естественно. Тот, кому известно, что на него обращены взоры многих, догадывается, каким они его видят, и пытается играть самого себя. В каждом герое есть черты актера. А когда драма завершается, актер становится самим собою.

Мерис тщательно подготовил прессу: „чистые листы“ вручались дружественным газетам, „сигнальные экземпляры“ — тем критикам, на которых можно было положиться. *Виктор Гюго — Полю Мерису, 8 апреля 1856 года:* „День поступления книги в продажу должен, по возможности, совпадать с днем публикации критических статей в дружественных журналах: *„Ревю де Пари“* и прочих (имеются ли эти „прочие!“). Книгу пустить в продажу во всех книжных лавках одновременно; отрывки

и выдержки из нее поместить тогда же во всех газетах (разумеется, в дружественных и согласных на это). Накануне отправьте экземпляры: Жюлю Жаневу, Эжену Пельтану, Теофилю Готье, Матарелю, Журдану, Нефцеру, Жирардену, Саси, Эдуарду Бертену (и мадемуазель Луизе Бертен), Лорану Пиша, Максиму дю Кану, Луи Ульбаху, госпоже Луизе Колле, госпоже д'Онэ, Ламартину, Мишле, Банвилю, Поль де Сен-Виктору, Полену, Лимайраку, Полю Фуше, Беранже, Александру Дюма, которого я должен был назвать в первую очередь, если б не составлял этот список под шум колес отчаливающего парохода. А также Луи Буланже, Жюлю Лорену и другим, имена которых не приходят мне сейчас на ум; вы мне их подскажите, так как, очевидно, я многих забыл и к тому же лучших. Вот для некоторых друзей во главе с вами первые шесть страниц; будьте любезны, вложите эти страницы в их экземпляры. Я вышлю вам еще несколько экземпляров".

Успех „Созерцаний" неожиданно оказался огромным, никто не знал, какой прием окажет Франция Второй империи отсутствующему поэту-бунтовщику, — первое издание было тотчас же распродано. Но у критики книга не имела никакого успеха. Ламартин хранил молчание. Сент-Бев тоже уклонился от отзыва, а когда его молчание стали объяснять тем, что он страшится вызвать недовольство Тюильри, он ответил, что анализ творчества Виктора Гюго стал для него *невозможным.* Если он сделает критические замечания, они покажутся оскорблением человеку большого таланта, претерпевающему невзгоды, если же откажется от серьезной критики, анализ его станет лишь актом великодушия. „А я не собираюсь этим заниматься, ибо главное для меня — беспристрастие; что касается Тюильри, а также иных подобных мест, примите к сведению, сударь, — это, быть может, вас удивит, — что я там не бывал ни при каком режиме, в том числе и при нынешнем, что до настоящего времени я никогда в глаза не видел главу государства и *никогда не имел чести с ним разговаривать...*"

Все любители поэзии нашли в этой книге лучшие из когда-либо написанных французских стихов. Гюго пожелал построить сборник из стихов разных лет. Продуманно, точно и симметрично он разделил его на две части: годы 1831—1843 и 1843—1856 — „Некогда" и „Ныне". Смерть дочери определила границу этих частей, и в книге нежные и голубые тона „Некогда" сменяются скорб-

ными и мрачными — в части, названной „Ныне". Для того чтобы достигнуть желанного впечатления, ему пришлось изменить датировку некоторых стихов, написанных на Джерси. Было бы ошибкой думать, что в изгнании он постоянно был угрюм и сосредоточен. Чтобы вынести свои апокалипсические видения, ему необходимы были чувственные увлечения, счастливые воспоминания, разрядка. Он смело перенес в первую часть все светлые образы, все просветы голубизны на грозовом небе. Жизнь не произведение искусства.

Сборник отличался богатством и разнообразием мотивов. В нем были восхитительные идиллии, то наивные („Лиз", „Песня"), то чувственные („Она без туфелек, со сбившейся прической..."). Множество стихов, посвященных Жюльетте („Приди!", „Невидимая флейта", „Ведь холодно"). Признания („Праздник у Терезы"). Сатиры в духе Буало („Ответ на обвинение", „По поводу Горация"). Затем величественные стихи, обращенные к тени Леопольдины („Вилькье", „Едва блеснет заря..."). Поэмы о нищете и жалости („Меланхолия"). И наконец, стихи философские, рисующие „духовные странствия" поэта, очарованного морем, предвосхищавшие большие философские поэмы, тогда еще не опубликованные („Что сказали уста мрака", „Чародеи"). Этот последний, метафизический цикл поэм наводил тоску и вызывал раздражение у парижской критики времен Империи, одновременно правоверной и легкомысленной. Над ним посмеивались. „В мире есть только ты да я, — говорит Гюго богу, — но ты уж совсем состарился". Однако даже Вейо признавал высокое мастерство поэм, подобных „Вилькье". Не колеблясь, надо признать, что еще никогда французский язык не звучал в стихах столь естественно, не был таким певучим. Гюго удалось „воспринять от прозы свойственную ей непринужденную интонацию", „с помощью неопределенных выражений окружить то, что видит взор или хранит память, атмосферой смутной и странной", говорит Ж.-Б. Баррер, и вместе с тем создать стихи строгих ритмов, четкие, совершенные. Можно ли представить себе более простое и точное четверостишие, чем строки, написанные у подножия распятия:

Иди, стенающий, к нему — утишить стон,
Иди, рыдающий, к нему — и с ним поплачь.
Иди, страдающий, к нему — он лучший врач.
Идите, смертные, к нему — бессмертен он[1].

---

[1] Гюго В. Написано у подножия распятия („Созерцания").

Найдется ли даже у Бодлера строфа более чеканная, чем эта:

Влюбленность, вспыхнувшая, как костер,
Ты опьяняешь всплесками желаний
Младую душу, зажигаешь взор!
В вечерний час, когда скорбям — простор,
Мелькнешь ли отблеском воспоминаний,
Влюбленность, гаснущая, как костер?[1]

А разве это не чистейший Валери? Не предвосхищение „Морского кладбища?“

О память! Слабый свет среди теней!
Заоблачная даль старинных дум!
Прошедшего чуть различимый шум!
Сокровище за горизонтом дней![2]

Когда в 1856 году появились „Созерцания“, они воспламенили воображение молодого лицеиста из Санса,— Стефана Малларме, отец которого написал тогда деду и бабке юноши: „Вы увидите, что ваш внук мечтает о поэзии и восхищается Виктором Гюго, далеко не классиком. Это печальное обстоятельство не способствует его воспитанию“.

Материальный успех „Созерцаний“ был столь же значительным, как и литературный. За двадцать тысяч франков, присланных, согласно договору, Этцелем, Гюго купил 10 мая дом — „Отвиль-хауз“, гонорар за „Созерцания“ полностью покрыл это приобретение. Гюго стремился стать собственником на Гернси, так как он выплачивал бы тогда налог за „кур“ английской короне и его уже нельзя было бы выслать с острова. Таков был местный закон. К тому же он тогда не возлагал больших надежд на быстрые перемены во Франции, где люди куда больше интересовались делами, нежели свободой; да и вообще, желал ли он покинуть Гернси? Он отлично здесь работал и чувствовал себя превосходно.

Госпожу Гюго и в особенности ее дочь — это „укоренение“ глубоко печалило. Изгнание становилось признанным. Адель понимала, что чувство собственного достоинства не позволит ее мужу возвратиться во Францию до тех пор, пока будет существовать Империя, но разве

---

[1] Гюго В. Зыбучий песок („Созерцания“). Пер. М. Донского.
[2] Гюго В. Однажды вечером, когда я смотрел на небо („Созерцания“). — Собр. соч., т. 12, с. 342.

нельзя было найти изгнаннику место не столь уж дикое, какой-нибудь город, где можно было бы завязать дружеские отношения с людьми и найти наконец мужа для Деде? Молчаливая подавленность дочери тревожила мать. Она не осмеливалась говорить об этом Виктору Гюго, — он всегда находил при таких разговорах возвышенные и неопровержимые аргументы, на которые его бедная жена не знала, что ответить, но, как в дни молодости, когда она, будучи невестой, вела с ним переписку, Адель осмелилась возразить ему в письме: „Жалкое существование, которое влачит наша девочка, может продолжаться еще некоторое время, но если изгнание затянется, оно станет невыносимым. Прошу тебя, подумай об этом. Я слежу за дочерью, вижу, что ее состояние вновь ухудшилось, и я сделаю все, что велит мне долг, только бы сохранить ей здоровье... У вас троих жизнь наполнена, а она тратит ее впустую; она беспомощна, обессилена, и я обязана ей помочь. Ухаживать за садиком, заниматься вышиванием — это еще не все для девушки в двадцать шесть лет".

Гюго был оскорблен. Он обвинил дочь в эгоизме.

Адель — Виктору Гюго: „Сегодня утром ты сказал за завтраком, что твоя дочь любит лишь себя. Я не хотела возражать тебе при детях... Но вспомни, Адель безропотно посвятила тебе свою молодость, не ожидая за это благодарности, а ты считаешь ее эгоисткой?.. Да, она замкнута, производит впечатление натуры суховатой, но имеем ли мы право требовать от нее, лишенной сердечных радостей, сознающей, что жизнь ее негармонична и *неполна,* — требовать, чтобы она была такой же, как другие молодые женщины? Кто знает, сколько она перестрадала, да и теперь страдает оттого, что будущее ускользает от нее, а годы идут и идут, что завтрашний день обещает быть похожим на сегодняшний? Ты скажешь мне: „Так что же делать? Разве я могу изменить свое положение?" Об изгнании говорить не приходится, но вот о месте изгнания следовало бы подумать... Я допускаю, что, при твоей славе, твоей миссии, твоей необыкновенной личности, ты можешь избрать любую скалу и будешь себя чувствовать в своей стихии. И я понимаю, что твоя семья, не обладающая тем, чем обладаешь ты, обязана приносить себя в жертву не только твоей чести, но и тебе, как таковому. То, что делаю я, — мой прямой долг, ведь я твоя жена. Жизнь в изгнании при таких условиях могла оказаться тяжелой и для наших сы-

новей. Но изгнание так хорошо на них подействовало, что, по-моему, оказалось для них полезным. А вот для Адели — все было вредным, почему я и чувствую, что должна искупить свою вину, и целиком посвящаю себя моей бедной девочке. Во мне говорит не столько чувство матери, сколько чувство справедливости... Неужели нельзя сделать для своей дочери то, что другие делают для любовницы?..“

Она тысячу раз была права, но Виктор Гюго, целиком ушедший в творчество, не воспринимал страданий своих близких. Он охотно бы им сказал: „А разве я жалуюсь?“ В конце 1856 года он строил себе дом и находил в этом удовольствие. Это продолжалось долго. Гернсийские рабочие не спешили. „Черепахи, сооружающие дом для птицы“, — писал Гюго Этцелю. „Отвиль-хауз“ — большое строение в английском стиле: четырнадцать окон по фасаду, разумеется, опускных. Во втором этаже жили женщины, в третьем — поэт и его сыновья. На четвертом выстроили вышку, господствовавшую над морем, и оттуда в ясную погоду был виден французский берег. И свое жилище, и всю обстановку в нем этот „изумительный столяр“ создал по своему образу и подобию. Сумрачные коридоры, казалось, взяты были из какой-нибудь гравюры Рембрандта. Все в этом доме представляло собой символ или несло на себе печать воспоминания.

В столовой, украшенной гобеленами, старинным фаянсом и готической скульптурой, стояло старинное саксонское кресло времен короля Дагобера; ручки кресла соединялись цепью, — оно принадлежало предкам. На нем был начертан девиз: „Absentes adsunt“[1] и были написаны имена Жоржа Гюго, предполагаемого предка семейства Гюго, и Жозефа-Леопольда-Сигисбера, 1828 (генерала Гюго). Все это производило впечатление некоего обрядового действа и вместе с тем данью уважения к исчезнувшим душам. В портретной галерее висели портрет Леопольдины, исполненный Буланже, и многочисленные рисунки Виктора Гюго. Повсюду девизы на латинском языке: „Eda, i, ora“ („Ешь, ходи, молись“); „Ama et crede“ („Люби и верь“); на черепе, выточенном из слоновой кости: „Nox, Mors, Lux“ („Ночь, Смерть, Свет“). Эта обстановка, где средневековье сочеталось с Дальним Востоком, частично была вывезена из Парижа, частично при-

[1] Отсутствующие присутствуют (лат.).

обретена у гернсийских антикваров, на лавки которых Жюльетта, ее „дружок“ и Шарль Гюго совершали „весьма удачные набеги“; наконец, некоторые вещи были сделаны самим Гюго или местными мастерами под его руководством. Другие девизы, написанные на французском языке, гласили: *„Жизнь — изгнание“*; *„Вставай в шесть, ложись в десять, проживешь сто лет“*. Словом, столяр Гюго отличался склонностью к сентенциям. Красную гостиную украшал деревянный резной балдахин венецианской работы, шесть статуй из раскрашенного дерева, изображавших африканских рабов в натуральную величину, поддерживали тяжелую драпировку. Добавьте еще изделия из горного хрусталя, муранское стекло, шитые золотом ширмы, девизы, эмблемы. Грандиозная мишура, еще более романтичная, нежели сам Гюго, более восточная, нежели сам Восток, мишура великолепная и причудливая, где любая мелочь несла на себе печать своего хозяина.

В бельведере, где он работал, — самом высоком месте не только в доме, но и на всем острове, потолок и стены были стеклянные. Эта прозрачная келья напоминала не то оранжерею, не то ателье фотографа. Из нее „открывался вид на небо и на бесконечность“. Гюго писал здесь, стоя за конторкой, возле зеркала, украшенного цветком с причудливыми лепестками, который он сам нарисовал. Спал он в одной из смежных с ателье комнатушек на узкой кровати, и изголовьем ему служил деревянный валик.

Стихи часто рождались у него во время сна. Полусонный, он записывал их и утром собирал ночной урожай. Он вставал на заре, разбуженный пушечным выстрелом, доносившимся из соседнего форта, работал до одиннадцати часов под палящим солнцем, раздевался догола, обливался ледяной водой, а затем растирал тело волосяной перчаткой. Прохожие, знавшие необычный нрав великого человека, поджидали, когда он появится. В полдень завтракали. Шарль с отцом обсуждали различные вопросы; госпожа Гюго восхищалась гениальностью „своих мужчин“. Затем каждый занимался, чем хотел. *Госпожа Гюго — Жюлю Жанену*: „Мой муж отправился на прогулку, Тото наряжается — это неисправимый горожанин. Адель музицирует либо занимается английским, Шарль растянулся на старом кожаном диване и, покуривая, мечтает. А я, поцеловав моих взрослых детей, бьюсь над тем, чтобы обед был не слишком скверным... Огюст за-

перся у себя и работает...“ Дело в том, что Огюст Вакери во время изгнания жил в доме Гюго, рядом с единственной женщиной, которую когда-либо любил; госпожа Гюго (она была старше его на тринадцать лет) возбудила в нем с юношеских лет безнадежную платоническую любовь, превратившуюся в необычайную преданность.

„Mille passus“[1] совершались с Жюльеттой. Для нее нашли очаровательную маленькую виллу „Фаллю“, расположенную в таком близком соседстве с „Отвиль-хаузом“, что она видела, как ее кумир совершает на террасе свой утренний туалет. Каждое утро она сторожила его пробуждение, чтобы насмотреться на своего любимого. Гюго издали показывал Жюльетте ее „каракульки“, только что обнаруженные им возле двери, вместе с двумя крутыми яйцами, и целовал ее письмо. Затем он снимал с себя красную ночную одежду, обливался водой, как всегда, и шел в свой бельведер работать. После завтрака он направлялся к Жюльетте. Чаще всего ей предлагалось молча сопровождать его, а ей это совсем не нравилось. „Постарайся не предаваться всецело вдохновению, чтобы мне можно было разговаривать с тобой“. Ей столько нужно было ему сказать! Упрекнуть за то, что он заигрывает со служанками, горестно посетовать на запрещение бывать в „Отвиль-хаузе“ — ведь это делало ее подозрительной особой в глазах гернсийских жителей; попросить у него рисунки, чтобы украсить ими стены „Фаллю“. „Мне нужны и твои повешенные, и замки, и лунные ночи, и ослепительное солнце, и эффекты тумана“. Она была „потрясена“ и „счастлива до мозга костей“, когда Гюго во время ночной прогулки, показав ей на серп луны и вечернюю звезду, сказал: „А вот корабль отлетевших душ и подле него шлюпка“.

Еще одна радость: с мая 1859 года Шарль и Франсуа-Виктор стали бывать у нее. Оба относились к ней с уважением и нежностью, были довольны и вкусными кушаньями, и встречей с новыми людьми, и тем, что их отец куда более весел здесь, чем у себя дома. В „Отвиль-хаузе“ было мрачно. Их мать предавалась отчаянию. Она полагала, что Виктор Гюго уже не сможет оторваться от всего этого великолепия — от гобеленов, позолоты, деревянных скульптур. „Нам теперь отсюда не выбраться... Мы тратим уйму денег, — писала госпожа

[1] Тысяча шагов (лат.).

Гюго. — Да притом моему мужу полюбился этот остров; он подолгу купается в море... Он помолодел, великолепно выглядит..."

Она бдительно следила за служанкой Оливией, не столько занимавшейся кухней, сколько устраивавшей сцены, переписывала то, что писал Шарль: „Я забросила *мои собственные сочинения*, превратилась в жалкого дублера, более того, отупела. Опущусь ли я еще ниже? Не велико горе, не с высоты падаю; прислуживать умным людям, меня окружающим, — вот лучшее для меня занятие..." Когда она заводила речь о том, что увезет, хотя бы на короткое время, дочь в Париж либо в Лондон, на нее обрушивался град обидных слов. „Вам надоело изгнание!" — с презрением говорил Великий Изгнанник. „Выброси из головы эту дурную мысль, — отвечала она мужу. — Я делила с тобой счастье и триумфы. Я готова и счастлива разделить с тобой дни испытаний..." Несчастная Адель! Добрая и чистосердечная, она старалась стать образцовой хозяйкой, она тратила свои „личные деньги", чтобы поставить дом на широкую ногу; она хотела, чтоб ее дети были счастливы, хотела пригласить на Гернси свою младшую сестру Жюли Фуше, которая по окончании пансиона Почетного легиона в Сен-Дени осталась там в качестве классной дамы. Но Гюго давал своей супруге лишь четыреста пятьдесят франков в месяц, и, несмотря на все усилия, она постоянно была в долгу.

Адель Гюго — Жюли Фуше: „Я не осмеливаюсь просить у него прибавки; я ведь ничего не принесла в приданое; у него большие расходы. И к тому же, моя дорогая, на этот счет я всегда была со своим мужем очень деликатна... Я страшно щепетильна, эта щепетильность — мое единственное кокетство..." Как далеко была теперь та гордая восемнадцатилетняя девушка, со взором испанки, перед которой трепетал гениальный юноша!

VI

„Легенда веков"

Успех „Созерцаний" вызвал многочисленные отклики парижских друзей. На Гернси хлынул поток восторженных отзывов. Свое восхищение сборником выразили Мишле, Дюма, Луиза Колле, Лафонтен, Жорж Санд. Луи

Буланже, в прежние времена иллюстратор книг Гюго, поблагодарил за присланную ему книгу и одновременно сообщил, что женится на молодой девушке, хотя ему было тогда уже пятьдесят лет. Гюго одобрил эту женитьбу. Ему нравилось, что друг его юности еще способен любить: „Я вспомнил о наших встречах в лучезарное время „Восточных мотивов“, когда мы оба были молоды и ходили любоваться закатом солнца, заходившего за куполом Инвалидов, две родственные натуры, вы — чудесный художник моего „Мазепы“, я — мечтатель, увлеченный неведомым и бесконечным...“ Он просил Жорж Санд навестить его, посмотреть еще недостроенную „лачугу“, названную им „Дом Свободы“: „Славные мастеровые Гернси, предполагая, что я богат, считают приятным для себя долгом слегка пощипать *важного французского барина,* растянув подольше и это удовольствие, и самые работы. Надеюсь все же, что когда-нибудь мой дом будет достроен и со временем вам, быть может, придет охота посетить его, освятив в нем какой-нибудь уголок своим присутствием и воспоминаниями о вас...“ Позднее Луиза Бертен воскресила в его памяти картины прошлого, дни, проведенные в имении Рош, и он с нежностью говорил в письме к ней: „Цветы, музыка, ваш отец, наши дети, ваша молодость...“

Этцель после публикации „Созерцаний“ умолил Гюго не печатать философские поэмы „Бог“ и „Конец Сатаны“. Враги поэта ожидали нечто вроде нового апокалипсиса, чтобы отправить „Простака на Патмос“. Зато Этцелю нравился замысел „Маленьких эпопей“ — исторических фресок XIII—XIX веков. Казалось несомненным, что поэтический талант Гюго являлся эпическим благодаря неотразимой силе воображения, гигантским, возвышенным образам. В его папках уже лежали рукописи поэм — „Эмерильо“, „Свадьба Роланда“ и многих других. Необходимо было дополнить этот состав, скомпоновать и создать на их основе целостный сборник. „Что будет представлять собой этот единый цикл? Начертать путь человечества в некоей циклической эпопее, изобразить его последовательно во времени и во всех планах — историческом, легендарном, философском, религиозном, сливающихся в одном грандиозном движении к свету; и, если только естественный конец не прервет, что весьма вероятно, этих земных трудов прежде, чем автору удастся завершить задуманное, — отразить, словно в лучезарном и сумрачном зеркале, эту величественную фигуру —

единую и многоликую, мрачную и сияющую, роковую и священную — Человека; вот из какой мысли или, если хотите, из какого побуждения родилась „Легенда веков...“[1]. Таково было окончательное и превосходное название, которое он выбрал из намечавшихся: „Человеческая легенда“, „Легенда человечества“. В неудержимом порыве творчества в 1856—1859 годах он не ограничился этой гигантской фреской. Он правил колесницей, запряженной четырьмя конями, — одновременно с „Легендой“ он писал „Песни улиц и лесов“, драму „Торквемада“ и занимался убранством своего огромного дома.

Первая часть „Легенды веков“ была целиком создана в 1856 — 1859 годах. Вот почему она отличается целостным воодушевлением. В поэмах этой части преломлены сюжеты большой исторической протяженности, но воображение Гюго столь грандиозно, что взор его проникает через „стену веков“. Можно сказать, что то было виденье творца вселенной, созерцавшего мир сквозь время и пространство. Смутный хаос образов так заполняет его, что под конец он как бы сливается с каждым эпизодом человеческой легенды. Он перевоплощается во все происходившее и даже в бога. Этцель хотел, чтоб в „Маленьких эпопеях“ не было метафизики. Такие поэмы Гюго уже писал — это „Спящий Вооз“, „Совесть“, „Роза инфанты“, „Бедные люди“. Но „великая таинственная нить книги“ — это восхождение человека к свету, это дух, возникающий из материи. Ключевая поэма цикла — „Сатир“, поразительное и дерзкое творение, где загадочный фавн, чудовищный, остроумный, смелый развратник, говорит всю правду засидевшимся на Олимпе богам. Сатир — это сам Гюго и в то же время образ всего человечества с присущими ему грехами, желаниями, слабостями, но тем не менее он сильнее Юпитера и способен в один прекрасный день подчинить себе природу.

О мир! Синклит богов — твой самый лютый враг:
Сиянье радости он превращает в мрак.
Зачем над Бытием витают привиденья?
Эфир и свет — ничьи, всеобщие владенья.
Свободу — вечному кипенью вечных сил,
Воды и воздуха, песчинок и светил!
Свободу — для небес и для всего земного!
Свободу, наконец, — для Духа Мирового!
Где кесарь — там война, где божество — там страх,
Свобода, вера, жизнь повергнут догмы в прах!

---

[1] Гюго В. Легенда веков. Предисловие.

Мир вдохновением и светом озарится,
Гармония любви повсюду воцарится,
И смолкнет навсегда волков зловещий вой.
Свободу — всем! Я Пан. Зевс, — ниц передо мной![1]

„Легенда веков“ изобиловала такими красотами, что они убедили даже и враждебных поэту литераторов в несравненном его величии. „Единственный, кто вещал, — это Гюго, остальные только бормотали, — сказал Жюль Ренар. — Его можно сравнить с горой, с океаном, с чем угодно, только не с тем, с чем можно сравнить других людей“. А Флобер заметил: „До какого-то времени, не желая обременять себя, а быть может, стремясь написать как можно больше, он, случалось, посылал публике вместо себя некоего швейцара, неслыханно торжественного, надоедливого и красноречивого, который был так похож на него, что все попадали в эту ловушку... но после государственного переворота швейцар был вынужден остаться в Париже и охранять свою швейцарскую. Теперь Виктор Гюго должен был непосредственно выражать себя: в результате чего и возникла *„Легенда веков...“*

Подле этой эпической кузницы протекала обычная жизнь маленького города. В понедельник приходил обедать Шарль Рибейроль; каждый вторник — горбун Энне де Кеслер; в среду мужчины отправлялись обедать к Жюльетте Друэ; в четверг — чай у госпожи Дюверлье; в пятницу — чай у мадемуазель Аликс; в субботу — в гостиной госпожи Гюго „сидр и грандиозная выставка модных платьев“. В воскресенье в „Отвиль-хаузе“ воцарялась гробовая тишина. Констанция уходила из дома (Оливия, вдова солдата, получила расчет); Шунья, собака Огюста Вакери, принимала возлюбленного, куры кудахтали. Адель вышивала либо писала сестре Жюли Шене письма истой пансионерки, трогательные и наивные, в которых встречались неожиданные обороты. Пятидесятилетняя госпожа Гюго так и осталась Аделью Фуше, великим событием для нее являлось то обстоятельство, что ее дядюшка, господин Асселин, переселился с правого берега Сены в квартал Терн. Это он-то, постоянный житель Сен-Жерменского предместья! „Если когда-либо я вернусь, все кончено, ничего не пойму в Париже. Разыскивать моего дядю в квартале Терн! Кто бы мог подумать!..“

---

[1] Гюго В. Сатир („Легенда веков“). Пер. М. Донского.

Толстяк Шарль трудился над фантастической сказкой о всемирной душе, героиней которой являлась капля воды. Сюжет опасный. Шарлю Гюго исполнилось тридцать лет, и ведь мог сказаться темперамент его деда — сангвиника, отличавшегося чрезмерной чувственностью, а он жаловался на одиночество, на безденежье и на гернсийских девиц. Франсуа-Виктор предпринял перевод всего Шекспира и с честью выполнил эту грандиозную задачу; он вдоль и поперек исходил маленький остров, оставаясь пленником пустого кармана, и ему надоело это развлечение. „Тяжко совершать прогулки с лордом Сплином и леди Ностальгией... Увы! Увы! Мы опускаемся, дорогой друг! При всем своем мужестве, мы все же становимся провинциалами. Вот и зима, туманы. На шесть месяцев мы станем узниками чана с водой..." Гюго же испытания не страшили. Он носил в голове сотни замыслов, будущих шедевров и совершал прогулки в любую погоду без шапки, в плаще и с палкой. Жизнь на Гернси была невыносима только для троих его детей, которые жестоко скучали. В 1856 году Деде страдала тяжелой невралгией, и врачи запретили ей заниматься даже музыкой. Что касается Вакери, то он поговаривал о возвращении во Францию; для того чтобы удержать его, хозяин дома отказался брать пятьдесят франков со своего друга, которые тот ежемесячно платил им за свое содержание.

Гюго любил свою семью, но он „думал об их благе". Такая любовь не отличается снисходительностью, и она их угнетала. 1858 год стал годом восстания. 16 апреля обе Адели отбыли в Париж, с разрешением прожить там два месяца, и растянули свою отлучку до четырех месяцев. Для того чтобы получить деньги и позволение, госпожа Гюго проявила твердость характера — в письмах, разумеется: „Я люблю тебя и принадлежу тебе, мой дорогой друг. Мне не хотелось бы огорчать тебя. Поговорим по-хорошему. Ты избрал в качестве приюта остров Джерси; я отправилась с тобой туда. Когда жить на Джерси стало невозможно, ты переехал на Гернси, не спросив меня: „Подходит ли тебе это место?" Я безропотно последовала за тобой. Ты окончательно обосновался на Гернси, купил себе дом. По поводу этой покупки ты не посоветовался со мной. Я последовала за тобой и в этот дом. Я подчиняюсь тебе во всем, но не могу же я быть полной рабой". Смысл письма Виктор Гюго коротко выразил в своей записной книжке строкой александрийского стиха: „Да, этот дом — он твой. Ты будешь там один".

Госпожа Гюго заработала немного денег, продав Этцелю свою будущую книгу и записки, и твердо решила истратить их на поездку с бедной Деде, охваченной безграничным отчаянием.

Записная книжка Виктора Гюго, 16 января 1858 года: „Моя жена и дочь уехали в Париж в 9 часов 20 минут утра. Они направились через Саутгемптон и Гавр. Тоска...“ Шарль также просил пощады. *Адель — Виктору Гюго*: „Дорогой друг, позавчера Шарль мне сказал: „Я очень люблю папу, больше всего боюсь его огорчить, но я хотел бы, чтоб он понял, как мне необходимо переменить обстановку. Всю зиму я работал, чтобы дать себе потом эту передышку. У меня есть деньги, я могу оплатить свое путешествие, но мне будет очень горько, если то, что доставит мне удовольствие, окажется неудовольствием для отца...“

Жаловалась иногда и Жюльетта. Гюго запретил ей купить себе новую шляпу для пасхального воскресенья, когда, согласно традиции, все жительницы Гернси выставляли напоказ „воинственный и победоносный головной убор“; она обвиняла своего властелина в скаредности, так как он отказался переплести ее памятный альбом, который за четверть века совершенно растрепался. Потом она смиренно просила прощения за свои „сумасбродные желания“: „В другой раз я постараюсь не беспокоить тебя бессмысленными просьбами. Обещаю всецело полагаться на тебя, даже в тех случаях, когда речь идет о вещах для меня очень важных, как в прошлый раз, когда мне захотелось переплести мой любимый, бесценный альбом...“ Надо прямо сказать: только потому, что его собственная жизнь была плодотворной и кипучей, Гюго считал, что и другим должно быть отрадно в лучах его славы.

В мае обе Адели возвратились, и очень вовремя, так как в июне, впервые в своей жизни, Виктор Гюго серьезно заболел. В течение нескольких недель его жизнь была в опасности из-за карбункула. *Шарль Гюго — Этцелю, 22 июля 1858 года:* „Отец три недели сильно страдает из-за нарыва, который вот уже десять дней приковывает его к постели. Из-за этого он не может ответить на твое письмо. Страдания были мучительны, и лишь теперь ему становится лучше. Затвердение осложнилось двумя абсцессами. Пришлось сделать операцию, которая избавила от нагноения. Рана огромная и расположена на спине, так что она не позволяла ему, да и сейчас не позволяет двигаться...“ У больного в спине была настоя-

щая дыра, и потому он должен был все время лежать ничком. Измученный жаром, он сочинил стихи: „Я слышал по ночам, как бьется кровь в ушах“. Бедняжка Жюльетта, которая в силу морального кодекса „Отвиль-хауза“ не смела навещать его, провела три ужасных недели. Она посылала ему то, что могла придумать: свежие яйца, записки, корпию, цветы, виноград, свою Сюзанну, три ягоды садовой земляники, еще оставшиеся на грядке. „Мой бедный, мой обожаемый, как бы я хотела быть сейчас твоей служанкой и все делать для тебя, не докучая твоей семье... О, почему твоя жена, святая женщина, не может заглянуть в глубины моей совести и сердца? Тогда она не сердилась бы за эту помощь, а была бы растрогана и прониклась бы благодарностью...“ Наконец он появился на балконе, и Жюльетта увидела его: „Бедный мой, любимый мой, даже издали заметно, как ты исстрадался! Твое удивительное, благородное лицо осунулось и показалось мне таким бледным, что я испугалась, не потерял ли ты сознание, выйдя на балкон! Надеюсь, тебе не повредит, что ты вышел и долго стоял на своей голубятне. Бедненький мой! Выздоравливай поскорее“.

До конца 1858 года изгнанниками все больше овладевали тоска и усталость. Время так тянулось, жизнь была так уныла. *Франсуа-Виктор Гюго — своему другу:* „Вы не можете себе представить, как тоскливо сейчас в „Отвиль-хаузе“... Боюсь, как бы маленькая, тесная семья изгнанников на этот раз не распалась. Во всяком случае, мы переживаем мрачный период изгнания, и я не вижу конца пути...“ Вакери, не выдержав, возвратился в Вилькье, оставив в изгнании свою кошку Муш. *Виктор Гюго говорил в письмах к Луизе Бертен:* „Мне хотелось бы, чтобы моя семья возвратилась, довольно того, чтобы я один был тут, исполняя свой долг и жертвуя собой. Но они не пожелали оставить меня. Мои дети предпочли не расставаться со мной, как я предпочел не расставаться со свободой. Шарло, Тото, Деде окрепли духом, стали людьми с гордой и благородной душой. Они приняли одиночество и изгнание и сохраняют безмятежное спокойствие“.

Заблуждение великого художника. Ни Шарло, ни Тото, ни Деде не были безропотны и смиренны. Они не хотели совсем покинуть отца, но жаждали длительных передышек. 8 мая 1859 года госпожа Гюго и ее дочь уехали в Англию, их сопровождал Шарль, затем к ним присоединился Франсуа-Виктор. В Лондоне младшая Адель, уже увядшая барышня, смогла наконец вести светский образ жизни, бывать в театрах, танцевать на балах, посещать музеи и, конечно же,

вновь встретиться с лейтенантом Пинсоном, которого она не забывала со времен Джерси. Между тем на Гернси Жюльетта не жалела сил, стараясь сблизить отца с сыновьями, которые в то время обедали у нее. Шарло и Тото питали симпатию к своему „доброму другу госпоже Друэ“ и восторгались собранными ею реликвиями, связанными с именем Гюго. И в ее жизни также бывали минуты отчаяния, когда, измученная его изменами, она грозилась уехать в Бретань.

Но для Гюго любовные жалобы, удовольствия и семейные ссоры не имели никакого значения, они рассеивались, „словно мрак иль ветер“. Он никогда не испытывал сожалений и не подвергал анализу свои чувства. Он был „тем, кто идет“, идет все дальше. Значение для него имела лишь „Легенда веков“, опубликованная в Париже и вызывавшая восторг самых строптивых упрямцев. „Что за человек папаша Гюго! — писал Флобер Эрнесту Фейдо. — Черт подери, какой поэт! Я залпом проглотил два тома. Мне недостает тебя, мне недостает Буйе. Мне недостает понимающих слушателей. У меня потребность во всю глотку прокричать три тысячи строк, каких еще не видывал свет... Папаша Гюго вскружил мне голову. Ну и силач!“ Его упорное сопротивление тоже имело значение. В 1859 году Империя объявила амнистию. Изгнанники ее приняли. Гюго отказался. *18 августа 1859 года он писал:* „Верный обязательству, данному своей совести, я до конца разделю изгнание, которому подверглась свобода. Когда возвратится свобода, вместе с ней вернусь и я“. Такое поведение раздражало писателей, ставших, как Сент-Бев и Мериме, сенаторами Империи; но оно вызывало безмолвный восторг французского народа. Имели значение и страстные попытки Гюго понять, каким же должен быть мир, более совершенный, чем наш. Он знал по себе и по своим близким, что все мы — жалкие существа, истерзанные, ревнивые, несчастные, но он также знал, что этим жалким, бедным существам в минуты душевного подъема и восторга предстает смутное и возвышенное виденье, что они провидят зарю, уже брезжущую на горизонте. „Одиночество, — писал он, — освобождает человека для некоего возвышенного безумия. Это „дым неопалимой купины“. Этот громовый голос, вопиющий в пустыне, возвращал Франции уважение к свободе и во времена легкомысленной и светской литературы Второй империи возрождал любовь к великим идеям и великим образам. Французы это понимали. И именно тогда Виктор Гюго занял свое место в легенде веков.

Часть девятая

Плоды изгнания

Власть и богатство в вашей жизни часто являются для вас препятствием. Отняв у вас все, вам тем самым дали все.

Виктор Гюго

I

„И если останется один..."

Есть в „Отверженных" превосходное рассуждение о „величественных эгоистах бесконечности", которые витают в небесах, а потому обособлены от человека и не понимают тех, кто придает значение человеческому страданию, когда можно лицезреть лазурь небес. „Среди них, — говорит Гюго, — целая группа мыслителей, малых и великих. Был среди них Гораций. Был и Гете..." Сам того не зная, иногда был им и Гюго. Хотя он, как никто другой, был поглощен проблемами человеческих страданий. Но жалость его являлась скорее абстрактной, чем братской, и милосердие его не касалось его собственного дома. Увлеченный в течение 1860 — 1870 годов грандиозными творениями: поэмами, эпопеями, романами, очерками и работой над „Отверженными", являющимися сплавом всех этих жанров, он находил в труде необычайное счастье, полноту творчества, силу переносить одиночество. Он чувствует, что „замкнутость сопутствует славе и популярности писателя при его жизни: в этом подобны друг другу два отшельника — Вольтер в Фернее, Гюго на Джерси...". Вольтер защищал Каласа; Гюго безуспешно пытался спасти Джона Брауна. Он больше не скучает по Парижу: „Что такое Париж? Мне он не нужен. Париж — это улица Риволи, а я ненавижу улицу Риволи". Даже лицом и осанкой он не похож теперь на горожанина, да еще жителя столичного города. После того как у него возникла долго не прекращавшаяся болезнь горла, которую он считал горловой чахоткой, он отрастил себе белую бороду. Гневное, напряженное выражение, обычное

для его лица во времена „Возмездия“, заметно смягчилось. Именно тогда он обрел облик обыкновенного всклокоченного старца, который останется за ним в истории. Мягкая шляпа, расстегнутый воротник, куртка — словно у старика рабочего. Он чувствует себя теперь независимым, могущественным, полным вдохновения.

Он в расцвете сил и не замечает, что его близкие задыхаются в атмосфере изгнания. Госпожа Гюго все дольше живет вдали от Гернси. Она была несчастлива, поэтому нуждалась в развлечениях и рада была выступать как представительница славы своего мужа — то во Франции, то в Англии. Изгнание мужа дает женщинам предвкушение спокойствия будущего вдовства. В Париже она вновь встречала своего дорогого, бесконечно преданного ей Огюста Вакери; она навещала своих родственников (Фуше и Асселинов) и иногда тайком поднималась по лестнице, ведущей в квартиру Сент-Бева на улице Монпарнас. Он очень постарел, болезнь мочевого пузыря не давала ему покоя, но он обладал кошачьей вкрадчивостью и умел вести занимательный разговор, в котором сочетались „изящество, насмешливость, ласковое мурлыканье, а иногда бархатная лапка выпускала острые когти и больно царапала“. Манера чисто дамская. После разговоров властного повелителя Гернси это было просто отдохновением. В 1861 году Адель Гюго покинула „Отвиль-хауз“ на несколько месяцев, ее не было дома с марта по декабрь; в 1862 и в 1863 годах сроки ее отсутствия были почти такими же. Мать пыталась, по мере своих возможностей, увозить с собой и детей, она робко защищала их от упреков „периссиме“, раздраженного этими отлучками, — он не мог понять, что если его жизнь содержательна и богата, то жизнь других пуста и бедна.

Госпожа Гюго — Виктору Гюго: „В настоящее время мне крайне необходимо поехать в Париж: этого требует мой священный долг — забота о сестре... К тому же я буду рада, что на самый тяжелый месяц в году Адель переменит обстановку. Почему подобное решение тебя раздражает? Моя преданность к тебе от этого не изменится... Ты отец и должен, как и я, понимать, насколько необходима для Адели перемена обстановки. Монастырский образ жизни, который мы ведем, привел к тому, что Адель замкнулась в себе. Она размышляет, и ее мысли, подчас ложные, не испытывающие воздействия внешних событий, становятся нелепыми. Я знаю, что путешествие не меняет человека, но ее привычки, которые я

назвала бы *привычками старой девы*, могут на некоторое время исчезнуть...“

В действительности же и сама мать больше не понимала свою дочь. У бедняжки появились свои мании, раздражительность, угрюмость, зачастую она впадала в мрачную задумчивость. Лишь музыка могла развеять ее черные мысли. *В записной книжке Виктора Гюго записано в декабре 1859 года:* „Адель сыграла мне сочиненный ею этюд, это прелестная вещица...“ *В апреле 1861 года отмечено:* „Купил по случаю фортепьяно для занятий дочери, — 114 франков“. С тех пор как Адель встретилась на Джерси с лейтенантом Пинсоном (еще во времена увлечений вертящимися столиками), она вбила себе в голову, что выйдет замуж за этого молодого англичанина.

Претендентов на ее руку было много, но она всем отказывала. В декабре 1861 года она сообщила отцу о своей помолвке. Виктор Гюго, европеец по убеждениям, но по природе француз и патриот, не мог смириться с мыслью, что его дочь выйдет замуж за иностранца, и сначала возмущался. Жена дала ему понять, что доводить Адель до отчаяния очень опасно. На рождество 1861 года Элберт Пинсон был приглашен в „Отвиль-хауз“. Что произошло между ним и молодой девушкой? Отпугнула ли она его своими странностями? Так или иначе — он ее покинул. Она не находила себе места от тоски, и, вероятно, задумала поехать к нему и увлечь его вновь — братья застигли ее в тот момент, когда она тайком увязывала узлы с одеждой.

Восемнадцатого июля 1863 года, воспользовавшись отсутствием матери, она уехала в Англию. Из Саутгемптона она написала ошеломленному отцу, что отправляется на Мальту. Ей исполнилось тридцать три года, и она могла поступать, как ей заблагорассудится. Тем временем госпожа Гюго приятно проводила время в Париже. Она повела борьбу против избрания императора во Французскую Академию (его кандидатура была предложена придворной кликой) и с опрометчивой смелостью заявила, что ее муж „отдаст свой голос за избрание Луи-Наполеона в Академию и за ссылку его на каторгу“. Она часто встречалась с Эмилем Дешаном, — поэт постарел, но остался румяным, свежим и по-прежнему любил говорить всем приятные слова.

„Мое сердце навсегда принадлежит, — писал он ей, — той благословенной поре, когда я восторженно ап-

лодировал первым стихам нашего великого Виктора и когда мы с Аглаей[1] познакомились с вами, юной и прелестной подругой его славы, и сразу же вас полюбили. Увы! До последнего дня, когда бог взял к себе мою бедняжку Аглаю, мы не переставали говорить о всех вас и вспоминать мельчайшие подробности столь милых дружеских знакомств. В поисках утешения я посетил Вогезы, был на водах Контрексвиля, а в то время Антони получил сообщение о музыкальном сборнике, подготовляемом вашей дорогой и очаровательной Аделью, которая вспомнила меня, попросив написать слова к „Песне пахаря", приложив ноты своего „чудовища". По возвращении я принялся за работу, и в конце месяца Антони отправил на Гернси мой дар (не осмелюсь сказать — поэтический)".

Не получив ответа на посланные стихи, Эмиль Дешан встревожился, решил, что они потеряны, и предложил молодой музыкантше выслать копию. Госпожа Гюго обновила сшитый в Париже туалет, — белое муслиновое платье, в котором, по ее словам, она казалась „совсем молоденькой". Шарль везде бывал с нею вместе, составляя ей компанию в „легкомысленных развлечениях". Вместе они совершили и паломничество на Королевскую площадь, чтобы взглянуть на аркады и высокие окна того дома, где их семья жила до изгнания.

Тем временем на Гернси Виктор Гюго создавал шедевр за шедевром, заканчивал постройку „Отвиль-хауза" — совместно со столяром Може (который вырезал по его заказу надписи на двух колоннах: „Laetitia — Tristitia" и на входной двери: „Perge — Surge"[2]). Попрежнему он не оставлял своим вниманием служанок, которые спали рядом с его комнатой. („Дано 20 франков Селине за то, что не кашляла прошлой ночью"); меблировал новый дом Жюльетты — „Отвиль-Феери" и мало думал о семейных делах. Однако исчезновение Адели тревожило его.

Виктор Гюго — Госпоже Гюго, 23 июня 1863 года: „Ты, должно быть, получила письмо от Виктора, быть может, и от Адели? Нам кажется невероятным, чтоб она тебе не написала. Мы даже думали, что она обратится скорее к тебе, чем к нам, и сообщит тебе свой адрес. В

---

[1] Аглая Вьено, дочь нотариуса, на которой Эмиль Дешан женился в 1817 г.; умерла в 1855 г.

[2] Радость — Печаль. Вперед — Воспрянем (лат.).

этом случае ты, вероятно, поедешь к ней, чтобы привезти ее домой. Просто недопустимо, чтобы она добивалась замужества с этим человеком вопреки его желанию. Уж не кроется ли в этой „невозможности“ какая-либо тайна, которая потом обнаружится? Иначе чем можно объяснить странное поведение Адели, — ведь мы выразили согласие и все одобрили? Не исходит ли отказ от него самого? Тогда как же Адель может унизиться до такой степени, чтобы бегать за ним?.. Срочно необходимо иметь определенные и подробные сведения (...). Нет ли семьи у господина Пинсона? Любовницы? Кто знает, быть может, у него есть дети? Напиши нам. Сообщи как можно подробнее. Поставь нас в известность обо всем, что тебе напишет Адель...“

Госпожа Гюго прибыла на Гернси 2 июля и уехала в Париж 15 августа. Одно из писем Адели, отправленное из Нью-Йорка 14 июля, пришло в „Отвиль-хауз“ после отъезда матери. Несколько позже беглянка сообщила родным, что она в Новой Шотландии, в Галифаксе, где находится гарнизон Пинсона, и что свадьба уже состоялась.

Госпожа Гюго — Виктору Гюго: „Адель была свободна. Она не совершила ничего безнравственного, выйдя замуж за того, кого любит. Быть может, она должна была проявить больше доверия к нам, но если мы можем ее в этом упрекнуть, то она, в свою очередь, может упрекнуть и нас. Разве ее жизнь не была принесена в жертву жестоким требованиям политики? Разве сама эта жестокость не была усилена избранным местом изгнания? Ты выполнял свой долг, но выполнили ли мы свой долг по отношению к нашей дочери? Разве она не влачила жалкое существование?..“

Отец уступил и, чтобы оправдать исчезновение своей дочери, поместил в октябрьских номерах газет извещение о свадьбе мадемуазель Гюго и лейтенанта Пинсона и об отъезде молодой четы в Канаду.

Виктор Гюго — Этцелю, 10 октября 1863 года: Вы, вероятно, уже знаете из газет, почему я запоздал с ответом. Моя дочь стала англичанкой. Изгнание, вот твои удары! Ее муж, один из героев Крымской войны, молодой англичанин, офицер, аристократ, человек строгих нравов, дворянин и джентльмен. У нас будет семья, где старый тесть представляет будущее, а молодой зять — прошлое. Эта молодая личность, олицетворяющая прошлое, понравилась моей дочери, она его избрала. Как подобает в таких случаях отцу, я скрепил союз своим согласием.

Молодая чета уже на пути в Галифакс. Сейчас между моим зятем и мною — расстояние моральное, отделяющее француза от англичанина, и чисто материальное, отделяющее нас от Америки. Но существует право на счастье. Моя дочь им пользуется, я не могу осуждать ее за это...“

Виктор Гюго писал Эмилю Дешану 16 октября 1863 года: „Вам, вероятно, уже известно, что моя дочь стала англичанкой. Это все изгнание наделало...“

Увы! Свадьба состоялась лишь в помутившемся воображении Адели. У Пинсона никогда не возникало желание жениться на ней. Когда несчастная без предупреждения явилась к нему в Канаду, он уже был женат и даже успел стать отцом. Франсуа-Виктор, знаток Англии в семействе Гюго, произвел подробное расследование. От хозяйки квартиры, где остановилась его сестра, он узнал, что она „вела затворнический образ жизни, почти ни с кем не разговаривала, никого не принимала“. Свидетели сообщили, что каждый день она отправлялась к казарме и ждала, когда выйдет „ее офицер“. Она устремляла на него пристальный взгляд, затем молча провожала его до дома. Когда Адели пришлось сознаться, что она не выходила замуж, она добавила, что Пинсон ее „предал, обесчестил, покинул“.

Виктор Гюго — госпоже Гюго, 1 декабря 1863 года: „Человек этот — негодяй, самый подлый из плутов. *Обман, длившийся десять лет*, он увенчал высокомерным и бездушным отказом. Черная, звериная душа. Во всяком случае, поздравим Адель. Великое счастье, что она не вышла замуж *за такого*... Пусть она избавится от призрака, от страшной мечты, от этого кошмара, — ведь это вовсе не любовь, а безумие. Повлияй на нее, дорогой друг, у тебя великое сердце и благородный разум. Пусть Адель скорее возвращается! Мы скажем, что брак, заключенный без участия французского консула, не действителен во Франции, что этот человек нам не подходит и мы добились, чтобы брак был расторгнут. Мы с Виктором уже начали говорить здесь таким образом. Через шесть месяцев Адель возвратится в „Отвиль“; теперь ее будут называть не мадемуазель, а мадам Адель, вот и все. Она уже в таком возрасте, когда можно быть дамой, а не барышней, и нам незачем давать по этому поводу какие-либо объяснения... Пусть только она освободится от этого скверного человека, пусть вернется, — остальное я беру на себя. Она все забудет, она выздоровеет. Бедное дитя,

она еще не знала в жизни счастья. Теперь для этого наступило время. В ее честь я буду устраивать празднества в „Отвиль-хаузе“. Я приглашу на них интереснейших людей. *Буду посвящать Адели свои книги.* Я увенчаю ею свою старость. Я прославлю ее изгнание, я возмещу ей все. Если какой-то проходимец может обесчестить, Виктор Гюго сможет прославить! А потом, когда она исцелится и повеселеет, мы выдадим ее замуж за достойного человека. И забудем об этом солдафоне...“

„Солдафон“ стал оправдываться, заявил, что он „никогда не нарушал принципов чести, никогда не внушал несбыточных надежд мадемуазель Гюго, никогда не просил ее руки“ и что в Галифаксе он отказался встретиться с нею. Дважды через третье лицо он умолял ее вернуться домой. Чтобы у нее не оставалось никаких иллюзий, он даже проехал в экипаже перед окнами затворницы вместе с миссис Пинсон. Но Адель отказывалась покинуть Галифакс, и дело кончилось тем, что она уверовала в свое воображаемое замужество, дни и ночи ждала прихода супруга.

Так как она захватила с собой лишь свои драгоценности, Гюго решил предоставить ей небольшую пенсию: сто пятьдесят франков в месяц. В течение нескольких лет Адель аккуратно расписывалась в получении пенсии. Она не хотела, чтобы ее разыскивали, почти ничего не тратила, и ей „нравилась эта спокойная жизнь“; она верила, что ее мечты сбылись, в этом и заключалось ее своеобразное безумие. Трижды она сообщала о своем возвращении, а затем снова откладывала отъезд sine die[1]. В глазах своей семьи она превратилась в страшный, далекий призрак, тайна которого напоминала им о других семейных трагедиях.

Шарль Гюго, похожий на своего деда, генерала Гюго, жизнерадостный и чувственный человек, не мог больше переносить жизнь на Гернси, где легкие победы над женщинами были редки и где „патриарх“ захватил себе все охотничьи угодья. С 1862 года он объявил о „своем отделении“. В этом году положенный ему отпуск заканчивался в октябре, но, вместо возвращения на Гернси, он, не предупредив отца, поселился в Париже.

Виктор Гюго пишет жене: „Шарль напрасно действует против моей воли и становится, как ты выражаешь-

[1] На неопределенное время (лат.).

ся, фрондером". *Госпожа Гюго отвечает:* „Дорогой друг, позавчера Шарль сказал мне: „Я очень люблю отца и боюсь его огорчить, но я желал бы, чтоб он понял меня, — ведь мне необходимо переменить обстановку ..." Достигнув тридцатишестилетнего возраста, Шарль обвинил своего отца в том, что он „установил над сыном почти полицейский надзор". Обвинитель даже осмелился направить ему список своих обид.

Виктор Гюго — Шарлю Гюго, 25 февраля 1862 года: „*Конфиденциально.* Дорогой мой сын, твою ноту мы получили, мы читали ее всей семьей — мать, Виктор и я, и ничего не могли понять. Дорогое мое дитя, выкинь из головы чудовищную фантасмагорию о шпионаже, недостойную и тебя и нас. Все перечисленные тобою факты, на которые ты жалуешься, — полнейшая для меня неожиданность... Мне очень хочется, чтобы ты изгнал смешной и нелепый призрак „*отцовской полиции*", якобы окружающей тебя. Я люблю тебя всем сердцем, я полон заботы о тебе, жизнь моя принадлежит тебе... Я так занят, что у меня нет ни одной лишней минуты. Я прервал свою работу лишь для того, чтоб наспех написать тебе несколько слов. Скоро к тебе приедет мама и проведет с тобой целый месяц. Я завидую ей..."

В конце 1864 года Шарль уехал из Парижа, чтобы устроиться в Брюсселе. 17 октября 1865 года он женился в Сен-Джос-тен-Нооде на крестнице Жюля Симона — Алисе Леаэн, хорошенькой и кроткой восемнадцатилетней девушке. Она была сирота и воспитывалась у своего дяди по матери, Виктора Буа, известного инженера и строителя железных дорог.

Франсуа-Виктор, неустанно трудившийся над переводом полного собрания сочинений Шекспира, скучал меньше, чем другие, и он остался бы со своим отцом, если бы внезапное горе не заставило его поспешно покинуть англо-нормандский остров. Он уже давно был помолвлен с молодой девушкой, уроженкой Гернси, Эмили Пютрон, дочерью архитектора, который работал и для Виктора Гюго; последний одобрял этот брак. К несчастью, Эмили была больна чахоткой. Незадолго до свадьбы она стала таять на глазах, болезнь прогрессировала со страшной быстротой. Гюго пришел навестить больную. Она сказала с улыбкой: „Мне не хочется умирать..." Но 14 января 1865 года она умерла, и скорбь Франсуа-Виктора была так велика, что испуганный отец заставил его покинуть остров еще до похорон, на которых произнес прочувст-

ванную речь. *В записной книжке Виктора Гюго отмечено:* „Я сообщил семье Пютрон, которая хочет, чтобы часть моей речи была выгравирована на могильной плите мисс Эмили, что я поручу высечь эту надпись золотыми буквами на гернсийском граните".

Госпожа Гюго поехала вместе со своим сыном в Брюссель. На этот раз она отсутствовала целых два года. С января 1865 года до января 1867 года она не появлялась в „Отвиль-хаузе". Старый волшебник остался теперь на своей скале почти в одиночестве. Приехала его свояченица, чтобы вести хозяйство. Жюли Фуше вышла замуж за гравера Поля Шене, но отношения у них не ладились. Одна Жюльетта была верна своему долгу. Чем больше членов семьи покидало pater familias, тем больше он принадлежал своей верной любовнице. „Если бы я осмелилась, — говорила Жюльетта, — я молила бы небеса продлить наше пребывание здесь до конца дней наших". Время от времени, в священные даты их любви возникали стихи, призванные запечатлеть ее навеки.

Нет счастья большего, чем жить вблизи тебя,
Любимым быть, любить и стариться любя.
О, как за наш союз я небу благодарен!
Он, жар утратив свой, как прежде, лучезарен.
Любовь! Из двух сердец ты сделала одно,
Где живо посейчас минувшее давно.
Могли б существовать мы разве друг без друга?
Жюльетта, жизнь твоя срослась с моей, подруга!
Союз наш дарит нам всю радость бытия:
Как встарь влюбленные, — мы, сверх того, друзья[1].

В 1863 году появилась книга, над которой так долго трудилась госпожа Гюго: „Виктор Гюго в рассказах свидетеля его жизни". Какова доля участия самого Виктора Гюго в этих „рассказах"? Запись Франсуа-Виктора дает ответ на этот вопрос: „Госпожа Гюго расспрашивала мужа во время завтрака, обычно начинавшегося и в „Морской террасе" и в „Отвиль-хаузе" около 11 часов утра. Виктор Гюго подробнейшим образом рассказывал обо всем, что она желала знать, и беседа их зачастую продолжалась до конца трапезы. После завтрака госпожа Гюго поднималась в свою комнату и бегло записывала то, что слышала. На следующее утро она вставала рано, просила раздвинуть тяжелые занавески на окнах своей спальни и принести пюпитр, который она устанавливала

[1] Гюго В. 22 сентября 1854 года („Все струны лиры"). Пер. М. Донского.

на кровати; сидя в постели с чашкой шоколада, она просматривала сделанные заметки, затем принималась за окончательный вариант впоследствии опубликованного повествования.

Жюльетта (высшее вознаграждение за смиренную жизнь!) получила экземпляр этих рассказов с собственноручной дарственной надписью автора: „*Госпоже Друэ, — написанное в изгнании, подаренное в изгнании. Адель Гюго, „Отвиль-хауз", 1863 г.*". С того времени, как женщина, носившая почетное звание супруги Гюго, перестала жить вместе со своим „дорогим великим другом", она несколько смягчила свою многолетнюю жестокость в обращении с наложницей, которая тоже приближалась уже к шестидесяти годам.

В 1864 году на рождество госпожа Гюго, во время короткого пребывания на Гернси, устроила, как это делалось каждый год, елку для бедных детей острова и впервые пригласила в „Отвиль-хауз" Жюльетту Друэ: „Мадам, сегодня мы отмечаем день рождества. Рождество — праздник детей, а стало быть, и праздник наших детей. Было бы очень хорошо, если бы вы согласились присутствовать на этом маленьком празднике, приятном для вашего сердца..." Жюльетта весьма тактично и гордо отказалась: „Ваше приглашение — вот праздник для меня. Письмом своим вы щедрой рукой дали мне утешение и наполнили сладостным чувством мою душу. Вы знаете, что я привыкла жить в уединении, и думаю, не посетуете, если я сегодня просто порадуюсь вашему письму. Это немалое счастье. Позвольте сказать вам, что, и оставшись в тени, я буду благословлять всех вас, когда вы будете заняты вашим добрым делом..."

Она не приняла и приглашения самого Виктора Гюго, когда во время отсутствия жены он пригласил ее посетить его дом 9 мая 1865 года: „Позволь мне отказаться от этого счастья и чести и не нарушать осторожности, деликатности и уважения, с которыми я тридцать лет относилась и к твоему и к моему собственному дому. Если когда-либо (что мне представляется невозможным) я буду приглашена тобою, то это должно быть сделано *не случайно,* но обдуманно, *с согласия* всей семьи, — только так я должна появиться в твоем доме. Позволь мне не нарушать нравственных убеждений всей моей жизни и сохранить достоинство и святость моей любви..." Принцесса Негрони слишком хорошо изучила последнюю роль своей жизни.

II

„Отверженные“

Гюго был гораздо хуже епископа Бьенвеню. Я в этом убежден. Но при всех своих кипучих страстях, этот сын земли был, однако, способен создать образ святого, возвышающийся над человеком.

Ален

В течение тридцати лет Виктор Гюго обдумывал и писал большой социальный роман. Несправедливость наказаний, помилование осужденных, картины нищеты, влияние истинно святого человека на оступившегося — все эти темы занимали его воображение уже в то время, когда он писал повести „Последний день приговоренного к смерти“, „Клод Ге“ и такие поэмы, как „За бедных“. Он собирал материалы о каторге, о епископе города Диня монсеньоре Миолисе, о каторжнике Пьере Морене, о стекольном производстве в Монрейле-сюр-Мер, о богатом мерзавце, сунувшем горсть снега за ворот несчастной проститутке. К 1840 году он набросал план этого романа: „Несчастные“. История одного святого. История мужчины. История женщины. История куклы...“ Это было в духе времени: Жорж Санд, Эжен Сю, даже Александр Дюма и Фредерик Сулье писали романы о страдании народа. Успех „Парижских тайн“, вероятно, оказал влияние на содержание „Отверженных“. Но автором руководили и свои собственные, искренние побуждения.

Любовь к отверженным во мне жива,
Как брат, я сердцем с ними;
Но как помочь толпе, бурлящей и гонимой?
Как защитить ее права?
Для утешенья как найти слова?
И боль, и нищета, и тяжкий труд —
Меня вопросы эти вечно жгут.[1]

Эти стихи выражают и постоянство, и силу его чувств. С 1845 года по 1848 год он почти всецело посвятил себя написанию романа „Несчастные“, который в то время назывался „Жан Трежан“.

Работа эта была прервана „вследствие революции“.

[1] Гюго В. Луи Б... („Все струны лиры“).

Поток „Возмездия“ всецело увлек поэта. Затем его поглотили непрестанные мистические бредни и „Маленькие эпопеи“. 26 апреля 1860 года — день, когда он решил не покидать больше свой скалистый остров; он открыл железный ящик, где хранились заметки и рукопись „Несчастных“; во время изгнания и путешествий по морю этому ящику не раз грозила опасность пойти ко дну. „Я потратил семь месяцев на то, чтобы постигнуть в целостном виде представшее моему воображению произведение, чтобы создать единство между частями, написанными двенадцать лет тому назад, и теми главами, которые мне предстоит написать. Впрочем, все было сделано основательно, „provisa res“[1]. Сегодня я вновь начинаю (чтоб уж больше, как я надеюсь, не отрываться от него) труд над книгой, прерванной 21 февраля 1848 года“.

Как известно, в „Отверженных“ реальные факты составляют бесспорную основу произведения. Монсеньор Миолис, выведенный под именем Мириэля, действительно существовал, было в действительности и то, что говорится о нем в романе. Бедность этого святого прелата, его аскетизм, его милосердие, наивное величие его речей вызывали восхищение всех жителей Диня. Некий каноник Анжелен, служивший секретарем у Миолиса, рассказал историю Пьера Морена, отбывшего срок каторжника, которого не пускали ни в одну из гостиниц, потому что он предъявлял „волчий паспорт“; человек этот пришел к епископу и был принят в его доме с распростертыми объятиями, так же как и Жан Вальжан. Но Пьер Морен не украл серебряные канделябры, как это сделал Жан Вальжан: епископ отправил его к своему брату, генералу Миолису, и тот был настолько доволен бывшим каторжником, что сделал его своим вестовым. Реальная жизнь дает нам зыбкие и смутные образы, художник по своему усмотрению распределяет свет и тени.

Далее романист воспользовался опытом личной жизни. В „Отверженных“ появляются аббат Роган, издатель Райоль, матушка Саге, сад фельянтинского монастыря, молодой Виктор Гюго — под именем Мариуса и генерал Гюго — под именем Понмерси. Мариус совершает прогулки с Козеттой, как это делали Виктор и Адель. Мариус три дня дулся на Козетту потому, что ветер в Люксембургском саду до колен загибал ее священное платье. В политике взгляды Мариуса меняются, как и у автора романа. В заметке, относящейся к

---

[1] Заранее изучив предмет (лат.).

1860 году, говорится: „Совершенно изменить образ Мариуса, заставить его судить о Наполеоне и его *истинном* значении. Три периода: 1. Роялист. 2. Бонапартист. 3. Республиканец". Жюльетта предоставила интересные материалы для рассказа о жизни Козетты в монастыре, от нее осталась тетрадь под названием „*Подлинная рукопись бывшей пансионерки монастыря Сен-Мадлен*", часть которой в ее первозданном виде была любовно переплетена вместе с рукописью „Отверженных". На Гернси Гюго дополнил роман множеством глав: студенты и гризетки; очерк о Ватерлоо, для написания которого ему помогла прекрасная книга его друга, полковника Шарраса; Тенардье, обворовывавший трупы на поле боя; монастырь Малый Пикпюс; побег в гробу; 1817 год; общество Друзей азбуки; Луи-Филипп и другие главы.

На протяжении всего этого длительного периода работы Жюльетта оказывала ему помощь. Она страстно любила эту книгу и с наслаждением переписывала ее. После двенадцатилетней разлуки она встретила Козетту, как своего друга. „Спешу вновь увидеть эту бедную маленькую девочку и узнать о судьбе ее прекрасной куклы. Сгораю от нетерпения узнать — потерял ли это чудовище Жавер след несчастного и благородного каторжника, господина мэра!". В мае 1861 года ей была оказана особая честь — на два месяца ее увезли в Мон-Сен-Жан и поместили в гостиницу „Колонн". Виктор Гюго хотел написать на месте сражения главы, посвященные Ватерлоо. Она следовала за ним повсюду, собирала васильки, маргаритки, маки и, будучи шовинисткой, делала из них трехцветные кокарды. Иногда Гюго оставлял ее одну и уезжал в Брюссель, чтоб повидаться со своей семьей. Тогда она „занималась перепиской его рукописей, этой панацеей от всех бед... Самое приятное занятие, которое я люблю больше всего на свете, кроме тебя". Затем, когда Гюго возвращался, они вместе продолжали осматривать ужасный сад, где каждая яблоня была пробита или пулей, или картечью. „Английская гвардия истреблена, изрублены двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля, в одних только развалинах замка Гугомон изрублены саблями, искрошены, задушены, расстреляны, сожжены три тысячи человек, — и все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику: „Сударь, дайте мне три франка, и, если хотите, я расскажу вам, как было дело под Ватерлоо"[1].

[1] Гюго В. Отверженные. — Собр. соч., т. 6, с. 351.

Наконец книга была окончена. *Виктор Гюго — Огюсту Вакери*: „Сегодня, 30 июня 1861 года, в половине девятого утра, при чудесном солнце, которое светило мне в окно, я закончил „Отверженных“. Знаю, что эта новость представляет для вас некоторый интерес, и хочу, чтобы вы узнали ее от меня самого. Считаю своим долгом известить вас об этом кратким письмецом. Вам полюбилось это произведение, и вы упомянули о нем в вашей превосходной книге „Профили и гримасы“. Итак, знайте, что новорожденный чувствует себя хорошо. Я пишу вам эти несколько строк, пользуясь последней каплей чернил, которыми была написана книга“.

Виктор Гюго сознавал, что он написал превосходную книгу, что ее прочтут множество читателей, и поэтому хотел получить за нее такой гонорар, который навсегда обеспечил бы его семью. Какому же издателю поручить роман? Он любил своего друга Этцеля, но не считал его хорошим коммерсантом. Молодой бельгийский издатель Альбер Лакруа, „хилый, низенький, бойкий, влюбленный в литературу, весьма образованный, чрезвычайно энергичный, с подвижным лицом, густыми рыжими бакенбардами и лукавыми глазами, глядевшими сквозь пенсне, которое он поминутно поправлял на своем горбатом и длинном носу“, предложил свои услуги и принял условия автора: триста тысяч франков за исключительное право издания романа в течение двенадцати лет. Гюго впервые получал такую сумму; до этого времени Ламартин, Скриб, Дюма-отец, Эжен Сю зарабатывали значительно больше его. Лакруа обладал смелостью, но не деньгами, банкир Оппенгеймер дал ему ссуду в двести тысяч франков. Многие газеты добивались разрешения печатать роман по частям — „фельетонами“. Гюго отказал им, желая предоставить всю выгоду издателю, к тому же он считал, что произведение искусства разрезать на куски не следует. Лакруа предложил сделать купюры в главах, где имеются философские рассуждения. Снова отказ. „Легкая, стремительно развивающаяся драма будет пользоваться успехом двенадцать месяцев, глубокомысленная драма — двенадцать лет“.

Верный друг Поль Мерис занял, по обыкновению, командный пост в подготовке общественного мнения в Париже. В этом деле ему помогали госпожа Гюго, Огюст Вакери и Шарль Гюго. *Поль Мерис — Виктору Гюго, 6 июля 1862 года*: „Вот уже шесть дней Париж лихорадочно читает „Отверженных“. Первые устные отзывы и за-

метки в газетах предвещают огромный успех, который легко было предвидеть. Люди восхищены и увлечены. Больше не услышишь мелких замечаний и уклончивых отговорок. Это целостное произведение поражает своим величием, идеями справедливости, высокого милосердия, оно возвышается над всеми и непреодолимо захватывает читателей". Полный триумф. Лакруа, уплативший за роман триста тысяч франков, получил на его издании в течение 1862-1868 годов пятьсот семнадцать тысяч франков чистого дохода. В честь „Отверженных" в Брюсселе был устроен банкет.

Критика отнеслась к роману менее восторженно. Политические страсти наложили свой отпечаток на характер суждений. Кювелье Флери поносил Гюго как „первого демагога Франции". Барбе д'Оревильи говорил о „нудной софистике", называл Гюго „скучным, изуродованным Поль де Коком". Как и следовало ожидать, друзья из среды писателей — Жюль Жанен, Поль де Сен-Виктор, Нефцер, Луи Ульбах, Шерер, Жюль Кларети — отнеслись к роману с исключительной теплотой. Ламартин выразился осторожно. „Мой дорогой, прославленный друг, — писал он Виктору Гюго, — я был поражен и изумлен талантом, ставшим более великим, нежели сама природа. Это побуждало меня написать о вас и о вашей книге. Но затем я стал колебаться — из-за различия наших взглядов, но отнюдь не наших сердец. Опасаюсь обидеть вас, сурово осудив эгалитарный социализм, детище противоестественных систем. Итак, я не решаюсь говорить и сообщаю вам: я не буду писать о вас в моих „Литературных беседах", пока вы определенно не скажете мне: „За исключением сердца, отдаю на растерзание Ламартину мою систему". Не требую никакой учтивости в вашем ответе... Думайте лишь о себе..."

Гюго предоставил ему полную свободу, и Ламартин написал очень резкую статью. Похвалы писателю, грубые выпады против философа. „Это опасная книга... Самое убийственное и самое жестокое чувство, которое можно вселить в сердца широкой публики, — это стремление к несбыточному". Уязвленный Гюго заметил: „Лебедь попытался укусить". Бодлер опубликовал в „Ле Бульвар" лицемерную статью об этом романе, назвав его „назидательным и, значит, полезным", но признался своей матери, что он солгал, воздавая похвалу этой „гнусной и нелепой книге... Семья Гюго и его ученики вызывают во мне ужас". „Религия прогресса" приводила Бодлера в

ярость. Он восхищался Гюго-поэтом, но когда получил от Гюго письмо, где говорилось: „Вперед! — в этом слове суть Прогресса, это также лозунг Искусства. В нем заключена вся сущность поэзии“, — то такие прописные истины вызывали у него, „смотря по настроению, то улыбку, то досаду“.

Ныне время вынесло свой приговор: во всем мире „Отверженные“ признаны одним из великих творений человеческого разума. Жан Вальжан, епископ Мириэль, Жавер, Фантина, мадам Тенардье, Мариус, Козетта заняли свое место в немногочисленной группе героев мирового романа рядом со стариком Гранде, мадам Бовари, Оливером Твистом, Наташей Ростовой, братьями Карамазовыми, Сваном и Карлюсом. Киноэкран завладел этим романом, и поэтому герои Гюго стали известны почти всем. Почему же так случилось? Разве книга лишена недостатков? Разве Флобер и Бодлер ошибались, сказав: „Человеческих существ там нет“?

В самом деле, в романе перед нами предстают исключительные человеческие натуры, одни выше чем человеческие существа по своему милосердию или любви, другие ниже — по своей жестокости и низости. Но в искусстве уроды живут долгой жизнью, если они прекрасные уроды. Гюго имел склонность к исключительному, театральному, гигантскому. Этого было бы мало для того, чтобы создать шедевр. Однако его преувеличения оправданы, так как герои наделены благородными и подлинными чувствами. Гюго непритворно восхищался Мириэлем, он непритворно любил Жана Вальжана. Он ужасался, но вполне искренне уважал Жавера. Искренность автора, масштабность образов — превосходное сочетание для романтического искусства. В „Отверженных“ было достаточно жизненной правды, чтобы придать роману необходимое правдолюбие. Роман изобиловал не только элементами реальной жизни, но и исторический материал играл в нем важную роль. Виктор Гюго пережил Империю, Реставрацию, революцию 1830 года. Зорким взором реалиста он замечал тайные пружины, руководившие событиями и людьми. Перечитайте главу о 1817 годе или „Несколько страниц истории“ — о революции 1830 года. Мысль здесь равноценна стилю. Гюго справедливо говорит, что Реставрация „воображала“, будто она сильна, так как Империя исчезла перед нею, словно театральная декорация. Ей было невдомек, что и сама она появилась таким же образом. Она не видела, что находится в тех

же руках, которые убрали прочь Наполеона...“[1]. Портрет Луи-Филиппа, беспристрастный и почти сочувственный, написан прекрасно, как страница прозы Ретца или Сен-Симона.

Современные критики, как это и предвидел издатель, упрекали автора за то, что в романе много отступлений. „Много философских рассуждений, замедляющих повествование“, — говорили они. Враждебно настроенный Барбе д'Оревильи тем не менее признавался, что он невольно восхищался картиной сражения при Ватерлоо, „полной лиризма, свойственного господину Гюго, вдохновенному поэту пушек, рожков, маневров, схваток, мундиров, — я признаюсь, что это сражение вызывает живой интерес“. Но он полагал, что этот очерк, так же как и описание монастыря Пикпюс и глава о деньгах, не имеют никакого отношения к роману. Попутно отметим, что подобные упреки делали и Бальзаку и Толстому, в этом не упрекали лишь Мериме. Не слишком ли длинно описание Геранды в начале „Беатрисы“? Может быть, и так, но без этих длиннот роман стал бы менее насыщенным. Нужны иногда замедления темпа, умолчания, паузы, время. Философское предисловие к „Отверженным“ начинается словами: „Эта книга религиозная...“ Вот в чем секрет. Сент-Бев, который обладал вполне достаточным вкусом, чтобы не распознать шедевр, остерегался написать статью, но заметил в своей тайной записной книжке, что, в то время как все представители его поколения превратились в стариков, похожих на тех ревматиков, что сидят на скамейках около Дома Инвалидов и греются на солнышке, Виктор Гюго являл собой пример цветущей молодости.

В ресторане Маньи за обедом Тэн сказал:

— Гюго?.. Гюго совсем не искренен.

Сент-Бев разразился негодующей тирадой:

— Как? Вы, Тэн, считаете, что Мюссе выше Гюго! Но ведь Гюго создает книги... Под носом у правительства, которое все же обладает достаточной властью, он сорвал самый большой успех в наше время... Он проник всюду... Женщины, народ — его читают все. Любую его книгу расхватают за четыре часа — с восьми до полудня... В молодости, как только я прочел „Оды и баллады“, я сразу же понес показать ему все свои стихи...

---

[1] Гюго В. Отверженные. — Собр. соч., т. 7, с. 279.

Эти люди из „Глоб“ называли его варваром. Так вот, всем, что я сделал, я обязан ему. А люди из „Глоб“ за десять лет ничему меня не научили...

— Позвольте, — возразил Тэн, — Гюго — это громадное явление нашего времени, но...

— Тэн, — прервал его Сент-Бев, — не говорите о Гюго!.. Вы его не знаете. Только мы двое здесь знаем его: Готье и я... Творчество Гюго — великолепно!

III

Гора в огне

Беспредельный гений.

Бодлер

Теофиль Готье говорил об „Отверженных“: „Это ни хорошо, ни плохо; творение это создано не руками человеческими, оно, можно сказать, порождение стихии“. Эта оценка более подходит к другим произведениям периода изгнания, и в частности, к „Вильяму Шекспиру“, „масштабной книге эпической критики“, излившейся из лавы, из которой возникают гигантские фигуры с еще не померкшим огненным отсветом. Три причины побудили Гюго обратиться к Шекспиру: в 1864 году должно было быть отмечено 300-летие со дня его рождения, и тема становилась актуальной; Франсуа-Виктор попросил его написать предисловие к своему переводу; а главное, он испытывал потребность заменить предисловие к „Кромвелю“, написанное сорок лет тому назад, неким итоговым сводом суждений, который явился бы литературным завещанием XIX века и романтизма.

Шекспира Гюго знал весьма посредственно. Можно вспомнить о первой его встрече с Шекспиром в Реймсе, в мае 1825 года. Тогда Нодье перевел ему экспромтом „Короля Иоанна“, и молодой поэт был потрясен. Он не пожелал дочитать трагедию в переводе Летурнера и имел на то основания. Но Нодье и Виньи познакомили его и с другими шекспировскими драмами. Прибыв на Джерси, Франсуа-Виктор спросил отца: „Чем ты будешь заниматься во время изгнания?“ Отец ответил: „Буду созерцать океан. А ты что намерен делать?“ — „Буду переводить Шекспира“, — ответил сын. Гюго величественно заметил: „Есть люди, равные океанам“. Диалог театраль-

ный, но к чести Франсуа-Виктора, по натуре своей человека ленивого, следует сказать, что он мужественно принялся за этот гигантский труд: „Нужно было перевести тридцать шесть драм, сто двадцать тысяч стихотворных строк". Труд этот мог быть осуществлен лишь благодаря гернсийской скуке, а также при помощи одной молодой девушки, мисс Эмили Пютрон. Гюго следил за работой сына в меру своих познаний в английском языке, — а они были невелики. Но эта работа привела его к размышлениям о гениях, о роли поэта, об искусстве. Говоря о Шекспире, он получил возможность сказать и о самом себе. Вдохновение придало книге необычайную яркость; предисловие превратилось в целую книгу. Был ли это очерк о Шекспире? Лишь в небольшой степени. Подлинный сюжет очерка — рассуждение о гении, *о гениях*. В рамки разговора о Шекспире он включает Гомера, Иова, Эсхила, Исайю, Иезекииля, Лукреция, Ювенала, Тацита, святого Иоанна, Данте, Рабле, Сервантеса. Тут только один француз и только один грек. Бельгийский издатель Лакруа, маленький человечек с рыжими бакенбардами, был недоволен, что среди гениев нет представителя Германии. Он советовал добавить Гете. „Гете — всего лишь талант, — возражал Гюго. — Гете — ограниченный писатель. Гении беспредельны. Масштаб бесконечности, заключенный в них, определяет их величие... Они вмещают в себя неведомое. Еврипид, Платон, Вергилий, Лафонтен, Вольтер не допускали ни преувеличений, ни ужасов, ни чудовищного. Чего же им недостает? Именно этого".

Вот ответ тем, кто упрекал Гюго *именно за это*. Вся книга представляет собою защитительную речь pro domo[1]. Гений никогда не должен подвергаться критике. Даже его недостатки являются его достоинствами. Гения нельзя превзойти. „Искусство, будучи искусством, не устремляется ни вперед, ни назад... Пирамиды и „Илиада" остаются на первом плане. Уровень шедевров для всех одинаков — это некий абсолют... Отсюда возникает убежденность поэтов. Они возлагают надежды на будущее с возвышенной уверенностью" и, всматриваясь в прошлое, с родственным чувством подыскивают себе равных. Гюго считает себя равным наиболее великим поэтам. Современники посмеивались над этой заносчивостью, мы нахо-

---

[1] О себе. (лат.)

дим ее в целом обоснованной. „Суждение французского поэта о поэте Англии“ — так говорилось в проспекте книги, написанном самим автором.

Великие люди, составляющие таинственную группу гениев, обладают тремя качествами: наблюдательностью, воображением, интуицией. Они находятся в прямой связи не только с человечеством и природой, но и со сверхъестественными силами. „В творчестве Шекспира возвышается высокий мыс сновидения. Точно так же и у других великих поэтов...“ „Promontorium Somnii“[1]. Таково название одной главы, написанной для „*Вильяма Шекспира*“, но которая долгое время не публиковалась, а она — один из ключей к пониманию Гюго. „Всякий мечтатель таит в себе этот воображаемый мир... Равновесие духа, временно или частично нарушенное, не есть явление исключительное ни у отдельных личностей, ни у целых народов“ „Promontorium Somnii“ — как по мысли, так и по стилю — главный предмет рассуждений. Но, по вполне понятным соображениям, Гюго не хотел печатать эту похвалу безумию.

После того как очерк „Вильям Шекспир“ был продан Лакруа и был подписан договор, последний признался, что к тому же самому юбилею он заказал книгу о Шекспире Ламартину. „Надеюсь,— писал он,— это обстоятельство вас не смутит“. Вот яростный ответ Гюго: „Меня это больше не смущает, меня это оскорбляет. Оскорбление нанесено моему прославленному другу Ламартину, оскорбление нанесено и мне. Вам вздумалось устроить скачки с препятствиями, поставить нас с Ламартином в положение лицеистов, состязающихся на конкурсе в сочинении на заданную тему. Вы мне сообщаете: „Успех, которым, я надеюсь, будет пользоваться ваша книга, повлечет за собой и распродажу книги Ламартина“. Сомневаюсь, что я смогу тащить за собою на буксире такого великого поэта, как Ламартин, сомневаюсь также, что Ламартину будет приятно, если кто-то станет тащить его за собой на буксире...“

Другой эпизод, связанный с 300-летием Шекспира. Французские писатели создали Шекспировский комитет. Виктор Гюго был избран председателем, и, так как он не мог присутствовать на торжественном банкете, комитет решил, что его кресло останется свободным. Так отметит

---

[1] Высокий мыс сновидения (лат.).

Париж во время банкета отсутствие прославленного изгнанника. После банкета празднество предполагалось перенести из „Гранд-отеля“ в театр Порт-Сен-Мартен, где будет поставлен „Гамлет“ Поля Мериса. Жорж Санд написала послание, которое должно было быть прочитано на банкете, послание, „короткое и банальное, примиряющее Шекспира и Вольтера“. Тем не менее было очевидно, что правительство, боясь скандала, запретит банкет. Но само это запрещение, говорил Мерис Огюсту Вакери, послужит превосходной рекламой для книги.

Банкет был запрещен, а книга вышла в свет. Малларме сказал: „Есть страницы, словно изваянные скульптором, но сколько ужасных вещей“. Пресса сдержанно отнеслась к ней. Поэта упрекали в том, что он пожелал выступить в роли критика. „Странная идея, — отвечал Гюго, — запрещать поэту заниматься критикой. Кто же лучше шахтера знает галереи шахт?..“

Амедей Ролан с насмешкой писал в „Ревю де Пари“: „Плохо скрытый тайный смысл книги сводится к следующему: Гомер — великий грек; Эсхил — великий эллин; Исайя — великий иудей; Ювенал — великий римлянин; Шекспир — великий англичанин; Бетховен — великий немец. А кто же великий француз? Как? Разве его не существует? Рабле? Нет! Мольер? Нет! Право, трудно догадаться. Монтескье? Нет, и не он! Вольтер? Фу! Так кто же?.. Стало быть Гюго!.. А что вы сказали о Вильяме Шекспире? Я говорил о нем столько же, сколько сам Виктор Гюго. Это великое имя послужило здесь лишь вывеской...“

Тем временем удивительный старик разбирал свои рукописи в Брюсселе: „Я отправляю в „Отвиль II“[1] новый ящик, средней величины, с внутренним и висячим замком, содержащий в себе неизданную рукопись — продолжение „Легенды веков“. В другом ящике — „Конец Сатаны“, „Тысяча франков вознаграждения“, драма „Вторжение“ и комедия „Бабушка“; много папок с начатыми сочинениями; моя записная книжка, дневник 1840-1848 годов; кроме того, рукописи уже опубликованных вещей: „Отверженные“, „Вильям Шекспир“, „Легенда веков“, „Песни улиц и лесов“. Положена также неизданная рукопись почти завершенных сборников „Песни Гавроша“ и „Стихи Жана Прувера“. Затем „Дела и речи во время

[1] Речь идет об „Отвиль-феери“ — домике, где жила Жюльетта.

изгнания“ (для книги „Виктор Гюго в изгнании“). Сюзанна должна бдительно охранять этот ящик...“ Что бы ни случилось, путешественник никогда не отправится без багажа в свой вечный путь.

IV

„Песни улиц и лесов“

„Вильям Шекспир“ был опубликован в 1864 году; а в 1865 году „Песни улиц и лесов“ удивили тех, кто видел в Гюго апокалипсического поэта и критика титанической мощи, — внезапно они узнали Гюго чувственного и веселого. Всю жизнь он поклонялся любви и с наслаждением воспевал ее. С юных лет его воображению рисовались фривольные картины: фавн, разглядывающий сквозь ветви леса белоснежных нимф, лицеист, подсматривающий через щели чердака за гризеткой, отходящей ко сну, очаровательные и нежные босые ножки купальщицы, косынка, приоткрывающая прелестную грудь, юбка, приподнявшаяся до розовой подвязки туго натянутого чулка, встреча с молодой незнакомкой:

Она была одна на берегу, — босая,
Окутана волос каштановой волной;
Мне вдруг подумалось: не нимфа ли речная?
И тихо я ее позвал: „Пойдем со мной!“

Резвился ветерок, светило солнце ярко,
Шептались с камышом прозрачные струи,
И, зарумянившись, прелестная дикарка
Со смехом бросилась в объятия мои[1].

В его папках скопилось множество подобных стихов. Уже в 1847 году он хотел опубликовать „Стихи улицы“; позднее он придумал другое название: „Песни улиц и лесов“. Завершив работу над „Легендой веков“ и чувствуя потребность в разрядке, он написал для этого сборника несколько новых песен; в 1865 году работа над ним была завершена. Резкий контраст между „Песнями улиц и лесов“ и предшествующими имел своей целью — поразить воображение читателя. Поэт „выпустил Пегаса на лужок“, и тот, почуяв волю, помчался. Длинные волны

---

[1] Гюго В. Аврора („Созерцания“). Пер. М. Донского.

александрийских стихов сменились короткой зыбью восьмисложника. Весь сборник состоял из восьмистопных стихов и четырехстрочных строф, излюбленных Теофилем Готье и Генрихом Гейне; казалось, Гюго побился об заклад, что он сможет преодолеть любые трудности. Дерзость, порою напоминавшая юного Мюссе, должна была возбудить негодование добродетельных критиков, привести в восторг других. Луи Вейо торжествовал: „Господин Гюго родился в 1802 году, значит, он почти достиг того возраста, в котором находились два старца, увивавшиеся вокруг Сусанны... Если старцы Сусанны пели, то несомненно они пели „Песни улиц и лесов". В них раскрывается их душа. Это отвратительно..."

Другой враг, Барбе д'Оревильи, издевался: „Виктор Гюго, этот могучий трубач, созданный для того, чтобы трубить музыку всех атак и походных маршей, пожелал стать литературным Тирсисом и дрожащим голосом напевать, наигрывать, насвистывать на свирели нежные идиллии, хотя всем известно, что и грудь и губы у него способны выдувать воздух с такой силой, что он может разорвать медные спирали самых мощных валторн".

Бонапартистская пресса видела в этом воспевании шаловливых проказ юности бесспорное доказательство старческой похотливости. Гюго изображали „дряхлым развратником, у которого нет ни одного волоска на голове". На самом же деле он оставался крепким, как скала, не утратил вкуса к наслаждениям, считал чувственную жизнь здоровой. Было ли это преступлением? „Можно ли гармонично сочетать слова пожилого человека с далекими песнями молодости?.. Можно ли самому стать их посмертным издателем? Имеет ли старик право вспомнить годы своей юности? Автор думал об этом. Отсюда и возникла эта книга..."

Ненужные оправдания. „Песни" восхитили всех своей ошеломляющей виртуозностью. Это признавали даже его недруги. Барбе д'Оревильи воздавал хвалу „музыканту, в совершенстве владевшему своим инструментом... Ничего подобного не видано во французском языке, и даже во французском языке самого господина Гюго". Он писал о том, что читатель восхищен легкостью поэта и небывалым искусством версификации. „Когда ритм создается этим гением, он производит удивительное, фантастическое впечатление, подобное тому, которое в живописи рождают в нас арабески, выполненные таким же гением. Господин Гюго — гений поэтического арабеска. Он дела-

ет из своего стиха все, что захочет. Арлекин превращал свою шляпу в лодку, в кинжал, в лампу; господин Гюго делает из своего стиха много других вещей! Он играет с ним так, как играла на бубне цыганка, которую я однажды видел, этот день и сейчас кажется мне прекрасной мечтой".

Грозный Вейо перещеголял даже эти изощренные похвалы: „Никакой ваты, никаких длиннот. Это сама живая и упругая плоть, которая резвится, и скачет, играя крепкими мышцами, и трепещет, согретая жаром горячей крови. Я бы осмелился сказать, что этот сборник — самый прекрасный образец чувственной поэзии во французском языке". Здесь противник был справедлив. Мы восхищаемся, как и он, изящной и мускулистой силой этих бесчисленных строф. Восьмисложный стих не дает возможности злоупотреблять лишними словами; он требует воображения и, чтобы избежать однообразия, своего рода сумасбродства, внезапно возникающей мысли и образа.

Любовью ставятся ловушки
Для уловления сердец.
Приход — расход. У нас пастушки
Стригут банкиров, не овец.

Пора бы вам понять, мужчины, —
Наш современный мир таков,
Что обольстительные Фрины
Расчетливей ростовщиков.

Искусной тешится игрою
Амур — холодный счетовод:
Целует пылкий Дафнис Хлою,
А Хлоя предъявляет счет.[1]

Каждая строфа превосходна; каждая танцовщица по воле автора легко подпрыгивает и опускается. Сборник, безусловно, не отличается изобилием мыслей; восхваление лесов, весны, бедной хижины, поцелуев, прелестных девушек, розовых ножек; непрестанные уверения в том, что природа человека всюду одинакова: „Не все ль равно — хламида или платье? А ты, Марго, и в чепчике — Гликерии подобна..." И разве нельзя на мгновенье отвлечься от высоких, глубоких проблем?

---

[1] Гюго В. Старший и Младший („Песни улиц и лесов"). Пер. М. Донского.

Мой друг, ты сердишься, я знаю,
Как быть? Все в зелени вокруг.
Антракт недолгий объявляю, —
Меня уже заждался луг.

Итак, очаровательные танцы, гибко ритмизованные, с участием самых прекрасных слов; танцы в стиле Ватто-Шенье-Феокрита, где идиллии отражаются в галантных стихах, где за выходом прачки следует выход нимф. Удар цимбал, и гениальный хореограф балета стремится доказать читателю, что даже при этом стремительном ритме можно без усилий перейти к эпопее. Благодаря этому возникают очаровательные вещи — „Время сева“, „Вечер“, „Шесть тысяч лет войны“, а также „Воспоминания о войнах прежних лет“. Можно себе представить восхищение Теофиля Готье, Теодора де Банвиля, Доде, которые пользовались в то время тем же инструментом, не достигая такого мастерства. Ремесленникам языка это виртуозное зрелище доставляло поистине „божественное наслаждение“, — как об этом писал Барбе. Светская публика Второй империи содействовала коммерческому успеху книги. Изящно-фривольные мотивы были вполне в духе того времени. Широкая публика, читавшая и одобрявшая „Возмездие“, не интересовалась этой слишком ученой поэзией. Жорж Санд написала в „Авенир насьональ“ превосходную статью о „Песнях“. В ответ, в знак благодарности, она получила довольно странное письмо: „Эта страница вознаграждает меня за мою книгу... Существование бога доказывается тем, что среди людей мы находим гения. Вы и есть этот самый гений...“ Новая форма доказательства бытия божия.

V

Труженик моря

О жизни Виктора Гюго между 1866 и 1869 годами существуют пространные воспоминания, иронические и вместе с тем правдивые, принадлежащие перу Поля Стапфера, молодого французского учителя, который приехал преподавать литературу в коллеже Гернси и был принят в доме поэта. Гюго жил тогда под опекой своей свояченицы Жюли Шене, обедать к ним приходил один из изгнанников, горбун Кеслер. Гернсийцы не дарили своим вниманием иностранного писателя, они были возмущены

его республиканизмом и непочтительными высказываниями о королеве Виктории; лишь дочь судьи, мисс Кэри, восторгалась его стихами и считала его великим человеком. Стапфер был поражен благородной и легкой поступью старика Гюго. Сильный и ловкий, в мягкой шляпе с широкими полями, с накинутым на плечо плащом во время непогоды, обычно державший руки в карманах, высокий и статный, он произвел бы внушительное впечатление даже в жалком одеянии бродяги.

Чопорный, с изящными манерами на старинный лад, в высшей степени учтивый, он говорил молодому Стапферу, что „считает за честь принимать его у себя". В беседе с глазу на глаз его речь, пронизанная французским остроумием, был проста и естественна. Перед многочисленной аудиторией он становился весьма красноречивым. Личность превращалась в персонаж. Тогда он метал громы и молнии против вульгарного материализма. С негодованием цитировал он изречение Тэна: „Порок и добродетель являются такими же продуктами, как сахар и купорос..." Но ведь это отрицание различий между добром и злом!.. Я хотел бы быть в Париже, да, да, я хотел бы пойти в Академию, чтобы вместе с архиепископом Орлеанским голосовать против избрания этого педанта! „Другим ненавистным для него человеком являлся Расин." Он владеет своим инструментом неуверенно, — говорил Гюго, — и иногда пишет очень плохо:

Щадите кровь свою, я умоляю вас,
Чтоб вопли ваши мне не слышать сотни раз!

И со сладострастием литературного гурмана он восхвалял „Аналой" Буало, „Шалого" Мольера, комедии Корнеля. После обеда он становился „величественным". Молодой Стапфер не без лукавства заметил, что именно тогда ставились и разрешались сложнейшие проблемы: бессмертие души, сущность бога, необходимость молитвы, абсурдность пантеизма, абсурдность позитивизма, две бесконечности. „О, как ограничен атеизм! Как он скуден! Как он абсурден! Бог существует. Я больше уверен в его существовании, чем в своем собственном... Что касается меня, то я и четырех часов не провожу без молитвы... Если я ночью просыпаюсь, то сразу начинаю молиться. О чем я прошу бога? Чтоб он дал мне свою силу. Я хорошо знаю, что хорошо, что плохо, но я не нахожу в себе силы поступать так, как считаю хорошим... Мы сущест-

вуем в боге. Он творец всего. Но было бы ложным утверждать, что он сотворил мир, ибо он творит его постоянно. Он — это я бесконечности. Он является... Адель, ты спишь?"

Госпожа Гюго прибыла в тот вечер на Гернси и прожила там очень недолго. Теперь она была импозантной дамой шестидесяти четырех лет, с высокой прической, состоявшей из крупных локонов, в нарядном платье, подчеркивавшем ее пышные формы. Она поражала молодого Стапфера тем, что с важным видом говорила очевидные вещи: „Вы из Парижа, сударь?.. Ах, Париж! Величайший город мира!.." Время от времени она исправляла ошибки в речи своей сестры: „Ах, Жюли, как ты можешь говорить: „Не хотите ли медока?" Надо говорить: медокского вина?"

О современных писателях Виктор Гюго отзывался без обиняков. Его удивляло, что критика вознамерилась раскрыть „великое значение поэзии Мюссе... Я нахожу очень верным и прелестным определение, которое ему когда-то дали: *Мисс Байрон*... Он во многом уступает Ламартину... Есть только один классик в нашем веке, единственный, вы понимаете? Это я. Я знаю французский язык лучше всех. После меня идут Сент-Бев и Мериме... Но этот последний — писатель короткого дыхания. Трезвый, как говорят. Вот уж действительно хорошая похвала писателю. Тьер — это автор-швейцар, нашедший читателей-дворников... Курье — отвратительный малый. У Шатобриана много превосходных сочинений, но это был человек без любви к человечеству, мерзкая натура. Меня обвиняют в том, что я был горд; да, это верно, моя гордость — это моя сила".

В тот же самый 1867 год произошло событие, которое в глазах Жюльетты стало великим: визит госпожи Гюго в „Отвиль-Феери", то есть к госпоже Друэ. После двух лет отсутствия добросердечная Адель Гюго хотела поблагодарить ту, которая с радостью исполняла обязанности ее заместительницы. Жюльетте было грустно, что „сняты с очага и опрокинуты ее котлы", что больше она не нужна „как стряпуха", но она была польщена вниманием, проявленным к ней супругой, и тотчас явилась в „Отвиль-хауз" с ответным визитом, как это принято между главами государств. *Жюльетта Друэ — Виктору Гюго:* „Я поспешила выполнить долг вежливости, так как чувствую глубокое уважение к твоей очаровательной супруге".

Отныне для нее стало „милой привычкой вмешиваться

во все семейные радости“. Несколько позже она провела подле своего возлюбленного три месяца в Брюсселе и была принята в доме на площади Баррикад. Она даже была приглашена, вместе с Шарлем, его женой и сыном, четырехмесячным малюткой Жоржем, пожить несколько недель на даче среди лесов Шофонтена. Там она читала вслух госпоже Гюго, зрение которой очень ослабело. *Жюльетта — Виктору Гюго, 12 сентября 1867 года:* „Мое сердце не знает, к кому из всей вашей семьи прислушиваться. Я восхищена, растрогана, поражена, счастлива, как только может быть счастлива бедная старая женщина. Сколько счастья выпало мне на долю за последние две недели: солнце, цветы, милый малютка, семейный круг и атмосфера любви! Я обнимаю тебя и благословляю всех вас“. В шестьдесят один год, после жестокого покаяния, она наконец смогла „вкусить сладость деликатного и широко не оглашаемого прощения“. Даже на самом Гернси рассеялись предубеждения против незаконного, но освященного временем сожительства. Жюльетте было разрешено во время отсутствия госпожи Гюго прожить месяц в „Отвиль-хаузе“! Недолгое, но восхитительное счастье. *Жюльетта Друэ — Виктору Гюго*: „Я пользуюсь каждым мгновением и всеми случаями, которые мне предоставили милосердный бог и ты. Преисполненная обожания, благодарю за это вас обоих“.

В это время труппа странствующих актеров сыграла на Гернси „Эрнани“, и, к великому удивлению Жюльетты, которая побаивалась предрассудков „шестидесяти“ (шестидесяти именитых семейств острова), спектакль имел успех. На Гернси теперь продавалась фотография Виктора Гюго среди детей, снятая на рождественской елке, и даже сам булочник пожелал купить портрет „отца семейства“ в „Отвиле“. Так пришла местная слава, возникающая всегда с большим опозданием. Отныне установился новый уклад жизни. Госпожа Гюго большую часть времени жила в Париже, где семья Шарля время от времени просила ее о гостеприимстве. Франсуа-Виктор, Шарль и Алиса смотрели за домом на площади Баррикад в Брюсселе; Жюли Шене и Жюльетта присматривали за Великим Изгнанником на Гернси. Летом семья Гюго собиралась в Брюсселе. В 1865 году Бодлер сообщил Анселю, что поэт окончательно поселился в Бельгии: „Кажется, он рассорился с океаном! Либо у него не хватает больше сил терпеть океан, либо он сам наскучил океану. А ведь сколько труда стоило Гюго воздвигнуть себе дво-

рец на скале!..“ Однако Бодлер ошибался. Гюго по-прежнему верил, что Гернси придает ему много творческих сил, и очень любил свой „дворец“.

Но все-таки он находил, что нелегкое бремя — жить на четыре дома: Париж, Брюссель, Гернси и далекий дом его дочери Адели, живущей за океаном. Адели он посылал ежемесячно на содержание сто пятьдесят франков и сверх того, по настоянию матери, два раза в год по триста франков на одежду. В общем, содержание семьи стоило ему, включая квартиры и питание, около тридцати тысяч франков. Его ежегодные доходы (бельгийский банк, английские вклады) составляли сорок восемь тысяч пятьсот франков, сверх того тысяча франков жалованья как члену Академии. Если учесть, что он продал роман „Отверженные“ более чем за триста тысяч франков, что он по-прежнему получал за свои новые книги по сорок тысяч франков за том (а роман обычно состоял из четырех томов), что он к тому же печатал статьи и имел бесчисленное множество переизданий, то можно утверждать, что он был довольно богатым человеком, и его постоянная привычка торговаться со своей семьей несколько удивляет.

Гюго считали скупым, говорили, что на старости лет у него развилось пристрастие помещать каждый год часть своих доходов в банк. Для того чтобы судить об этом справедливо, необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, кроме содержания своей семьи и Жюльетты Друэ, он много денег раздавал, чего вовсе не обязан был делать. Так, например, он в течение многих лет оказывал помощь изгнаннику Энне Кеслеру, который все время жил не по средствам, и дело кончилось тем, что Гюго навсегда приютил Кеслера в своем „Отвиль-хаузе“. Еженедельно он устраивал на Гернси превосходный обед для сорока детей. В его записных книжках мы найдем массу упоминаний о помощи нуждающимся: *9 марта 1865 года* — бульон, мясо, хлеб, посланные для Мари Грин и ее больного ребенка... *15 марта* — послал пеленки госпоже Освальд, которая только что родила... *28 марта* — уголь для семьи О'Кьена... *8 апреля* — послал простыни для Виктории Этас, родившей ребенка и не имеющей белья...“ Почти треть суммы, расходуемой на хозяйство, как правило, предназначалась для помощи бедным. Благодетельная скупость.

Следует иметь в виду и другое обстоятельство: он считал своим долгом накопить средства, чтобы обеспечить

свою семью после смерти. Сыновья его мало зарабатывали, Адель ничего не получала. У Шарля 31 марта 1867 года родился сын Жорж. Ребенок умер 14 апреля 1868 года, но 16 августа 1868 года появился второй Жорж. Он выжил, за ним появилась сестра Жанна. *Виктор Гюго — сыну Шарлю:* „Я ломаю себе голову, как обеспечить будущее Жоржа и Жанны, поэтому я решительно не хочу тратить сверх того, что получаю. Как видишь, в голове стариков еще могут мелькать проблески разума". Ему приходилось призывать своих близких к бережливости, так как они были склонны к расточительству. *Он писал Шарлю и Франсуа-Виктору:* „Теперь поговорим о хозяйстве. Покупка вин обходится вам слишком дорого. В конце марта я уплатил за вино, посланное в Брюссель, — 334 франка, а всего с октября — 978 франков, словом, на одно только вино ушло за год более 2000 франков. Сделайте отсюда вывод..." Сверх того, что он давал своей жене и сыновьям, они брали еще у него в долг, и он иногда объявлял им финансовую амнистию.

Это не мешало госпоже Гюго прибегать к займам, чтобы помогать своим родственникам. Она была крайне снисходительна к своему зятю Полю Шене, бездарному художнику с подлой душонкой; ей хотелось порадовать бедняжку Деде, покинувшую родной дом. Сама она была серьезно больна. Уже на Джерси она вызывала беспокойство у своих близких, так как временами слепла на один глаз, из-за воспаления сетчатой оболочки глаза. У нее бывали сердечные приступы, головокружения, и она чувствовала, что ей угрожает апоплексия. *Своей сестре Жюли она сообщила*: „Ты еще не знаешь, что я написала завещание. Надо жить, постоянно помня о смерти, быть с нею на дружеской ноге. Моей дорогой тетушке Асселин я завещаю свадебный молитвенник Дидины". Виктор Гюго верил в то, что болезнь его жены не опасна. „Помните одно: маме больше всего необходим кровяной бифштекс и прекрасное вино", — писал он сыновьям. Поистине радикальное средство при повышенном давлении.

Он сам хотел лечить ее на Гернси. Огюсту Вакери, который нежно о ней заботился, он писал: „Дорогой Огюст, передайте моей горячо любимой страдалице, что если она не побоится совершить поездку по морю, Гернси примет ее с распростертыми объятиями. Ее чтица из Шофонтена будет читать ей, сколько она пожелает; Жюли сможет писать под ее диктовку, а я сделаю все возмож-

ное, чтоб развлечь и рассеять ее. Весна поможет ей, и здоровье восстановится...“ Он был полон добрых намерений: „Мои дорогие, любите меня все, так как я живу для вас и вами. Вы — моя жизнь, я и вдали от вас всегда с вами душой. Дорогая, любимая моя жена, как ласковы твои письма. Они, право, благоухают нежностью. Для меня твое письмо как цветок нашей лучезарной весны. О да, нам всем нужно соединиться. Крепко обнимаю вас...“

Тем временем сам Гюго трудился и творил. В 1866 году он опубликовал обширный роман „Труженики моря“. Он любил гигантские здания, и ему хотелось рассматривать эту книгу как одну из глыб гигантского здания — *ananke* (судьба, рок)... „Собор Парижской богоматери“ — *ananke* догматов; „Отверженные“ — *ananke* законов; „Труженики моря“ — *ananke* вещей, материи. Произведение отличалось большими достоинствами. Виктор Гюго вложил в него свои глубокие знания, собранные им во время жизни на архипелаге, — об океане, о кораблях, о моряках, о туманах, о морских чудовищах, о скалах и бурях. Гернсийские нравы, местный фольклор, дома, посещаемые „привидениями“, своеобразный французский язык англонормандцев — все это придало роману остроту и новизну.

Лето 1859 года он провел на острове Серк, где в обществе Жюльетты и Шарля наблюдал, как моряки взбирались на вершину отвесного утеса, видел в скалах пещеры контрабандистов, присматривался к спруту, которому предстояло сыграть столь драматическую роль в его романе. Описания штормов и бурь в его записной книжке должны были послужить материалом для книги, которая сначала называлась „Моряк Жильят“. Самоубийство Жильята в финале романа предвосхищалось в следующей записи: „Порт Серк, 10 июня, одиннадцать часов утра. Человек проскользнул между скалами. Зажатый в самой узкой части расщелины, он не смог выбраться и был вынужден оставаться в ней до прилива, который всегда затоплял расщелину. Ужасная смерть“. В течение всего своего пребывания на острове он записывал сведения о катастрофах, в которых был повинен океан.

Если волны, скалы и морские чудовища были очерчены в романе с натуры кистью великого художника, то действующие лица получились менее удачными. Некоторые из них словно сошли со страниц романов Дюма-отца или Эжена Сю, были среди них и опереточные контра-

бандисты, и мелодраматические злодеи; что касается главных героев — Жильята и Дерюшеты, то они порождены своеобразной фантазией самого автора. Дерюшета, юная невеста, идеальная и бессознательно жестокая девушка, Адель до измены, Адель, еще не ставшая Аделью, наивная мечта, не перестававшая занимать его воображение. Жильят — благородная натура, подвергшаяся ударам рока, еще одна призрачная фигура Гюго. Со времени мансарды на улице Драгуна он не переставал порождать своих униженных или протестующих героев. В итоге, благодаря сочетанию гениальности и наивности, книга оказалась новой, захватывающей и должна была иметь успех.

Гюго не спешил издавать ее, он хотел тотчас же приняться за другой роман: „Мне осталось прожить немного лет, а я должен еще написать или закончить несколько больших книг...“

Но Лакруа, наживший состояние на „Отверженных“, был настороже. Его настойчивость восторжествовала. Бывает такой поток неудержимого красноречия, хвалебного и молящего, перед которым не устоит ни один писатель. Гюго уступил и продал Лакруа две готовые книги: „Песни улиц и лесов“ и „Труженики моря“ за сто двадцать тысяч франков. Тотчас же два издателя газет — Мило („Ле Пти Журналь“ и „Ле Солей“) и Вильмесан („Эвенеман“) — попросили разрешения напечатать роман фельетонами. Мило предложил пятьсот тысяч франков, прибегнув притом к воздействию на чувства: „Предоставив человеку, купившему за десять сантимов газету, возможность прочесть главу вашего романа, вы окажете большое благо народу; ваша книга станет общедоступной. Каждый сможет ее прочитать. Мать семейства, и рабочий в городе, и крестьянин в деревне смогут, не отнимая куска хлеба у своих детей, не лишая стариков родителей охапки дров, дать окружающим свет, утешение и отдых, которые принесет им чтение вашего замечательного романа...“

Гюго отказал: „Свои доводы я нахожу в совести литератора. Именно совесть, как бы я об этом не сожалел, обязывает меня стыдливо отвергнуть полмиллиона франков. Нет, „Труженики моря“ должны быть напечатаны только отдельной книгой...“

Роман был издан отдельной книгой. *Франсуа-Виктор Гюго писал отцу:* „Ты пользуешься огромным, всеобщим успехом. Никогда я не видел такого единодушия. Пре-

взойден даже успех „Отверженных". На этот раз властелин дум нашел достойного читателя. Тебя поняли, этим все сказано. Ибо понять такое произведение — это значит проникнуться чувством восторга. Твое имя мелькает во всех газетах, на всех стенах, во всех витринах, оно у всех на устах..."

Благодаря Гюго спрут вошел в моду. Ученые, к которым обратились журналисты, не считали его опасным. Этот спор способствовал успеху книги. Модистки выпустили новый фасон шляпы „спрут", предназначенный для „тружениц моря", иначе говоря, для элегантных дамочек, которые ездили на морские купания в Дьепп и в Трувиль. Рестораны предлагали „спрут по-коммерчески". Водолазы выставили живого спрута в аквариуме Домеда на Елисейских полях. Госпожа Гюго писала из Парижа своей сестре Жюли Шене: „Все здесь уподобляется спруту. Почему мой муж, увы, для моего сердца остается гернсийским спрутом?"

Газета „Солей", перепечатавшая роман фельетонами, благодаря этому увеличила свой тираж с двадцати восьми тысяч до восьмидесяти тысяч экземпляров, хотя роман уже был издан полностью отдельной книгой. Пресса осмелилась выразить свое восхищение романом. Он не возбуждал политических споров. Человек в нем боролся лишь со стихией. „Здесь, — писал молодой критик Эмиль Золя, — поэт дал волю своему воображению и своему сердцу. Он больше не проповедует, он больше не спорит... Мы присутствуем при грандиозном сновидении могучего мыслителя, который сталкивает человека с бесконечностью. Но достаточно одного вздоха, чтобы сразить человека, одного легкого дыхания розовых уст..." Золя ясно определил, какой мыслью был увлечен автор: „Я хотел прославить труд, — писал Гюго, — человеческую волю, преданность, то, что делает человека великим. Я хотел показать, что более неумолимым, чем бездна, является сердце и что если удается избегнуть опасностей моря, то невозможно избегнуть опасностей женщины".

Госпожа Гюго писала своему мужу в гиперболических выражениях, украшенных эпитетами, достойными пера Жюльетты, за что она удостоилась похвалы своего мужа: „Чудесная страница... У тебя высокий ум и благородное сердце. Любимая, я счастлив, что нравлюсь тебе как писатель".

Адель часто говорила о приближающейся смерти и думала о ней с душевным спокойствием. „Только груст-

но, — признавалась она, — что я так поздно поняла и оценила великие произведения, грустно умирать, когда рассудку все стало ясно".

Теперь она была увлечена демократическими идеями и с презрением говорила о „суеверных предрассудках прошлого". О, призраки господ Фуше!

VI

Последняя битва за „Эрнани"

Аббат — г-же Тест: — Лицо вашего мужа бесконечно меняется.

Поль Валери

Со времени государственного переворота драмы Виктора Гюго, врага режима Наполеона III, не ставились в Париже. Наступил 1867 год, год Всемирной выставки. Миру хотели показать все самое прекрасное, что только было во Франции. Лакруа опубликовал „Путеводитель по Парижу" с предисловием Виктора Гюго. Могла ли французская Комедия в такой момент отказаться от одного из своих величайших драматургов? Предложили возобновить „Эрнани". Виктор Гюго немного опасался. Вдруг полиция организует провал? Представители Гюго в Париже, Вакери и Мерис, успокаивали его. Поль Мерис, который был любовником актрисы Джейн Эслер, предпочел бы поставить „Рюи Блаза" в Одеоне, — тогда его подруга могла бы сыграть роль королевы. Но выбрали все-таки „Эрнани".

Чтобы совсем уж обезоружить „свистунов", решили изменить те стихи, которые когда-то вызывали насмешки. Гюго сам написал Вакери: „Вместо: *„Да, о король! Направляюсь за тобой!"* — нужно сказать: *„Да, да, ты прав! Я буду там"*. Он предпочел бы, чтобы у актера Делоне хватило смелости сказать: *„Старик, глупец! Он полюбил ее"*, но Делоне не решался произнести эти слова. „Хорошо, заменим их глупым, но безопасным вариантом: *„О, небо, что свершилось? Он полюбил ее!..*" Бесполезные предосторожности. Публику 1867 года неприятно поразили как раз эти изменения в тексте. Зрители партера, которые знали пьесу наизусть, вставали и поправляли актеров. Гюго послал из Гернси собственноручно подписанные им пропуска и попросил, чтобы Ваке-

ри поставил на них знаменитую надпись: „Hierro“. Успех был огромный: триумф поэзии, политическая манифестация, максимальный сбор (семь тысяч франков золотом).

Госпожа Гюго решила присутствовать на спектакле. Ее муж и сыновья, зная, как опасно для нее всякое волнение, не хотели пускать ее на премьеру, на которой могли возникнуть всякие эксцессы. Она не послушалась: „Мне слишком мало осталось жить, чтобы я не пошла на новую премьеру „Эрнани“ и не воспользовалась случаем вспомнить мои счастливые молодые годы. Мне пропустить этот праздник? Нет, сударь! Во-первых, „Эрнани“ не станут освистывать. Впрочем, я выдержу любой скандал. На свои глаза я сейчас не жалуюсь, да пусть лучше я совсем потеряю зрение, но пойду на „Эрнани“, если бы даже мне пришлось заложить самое себя. К сожалению, за такую старуху не много бы дали...“

Это смирение так же трогательно, как и ее желание снова пережить „битву за „Эрнани“, прославившую последний счастливый год ее жизни. Париж увидел ее в театре, сияющую и преображенную. Она присутствовала на всех репетициях, ее провожал Огюст Вакери, который, несмотря на свою подагру, каждый раз тащился в театр. Слепая и паралитик. Газеты отмечали присутствие госпожи Гюго в Париже; это ей нравилось: „Какое громкое имя я ношу!“ Студенты, как когда-то, просили контрамарок и предлагали свою поддержку. Один из них сказал Полю Мерису: „Виктор Гюго — это наша религия“.

Успех был „нерассказуемый“. Это прилагательное придумала Адель; однако же она все-таки рассказала о премьере: „Это было неистовство. Люди обнимались даже на площади перед театром. Молодежь восхищалась еще более пылко, чем в 1830 году. Она показала себя великолепной, смелой, готовой на все. Я счастлива, я на седьмом небе!“ В зале: Дюма, Готье, Банвиль, Жирарден, Жюль Симон, Поль Мерис, Адольф Кремье, Огюст Вакери. На галерке — учащиеся лицеев. Готье в своем фельетоне написал: „Увы! От старой романтической рати осталось очень мало бойцов, но все те, кто сейчас в живых, были на спектакле, в партере или в ложах; мы узнавали их с меланхолическим удовольствием, думая о других наших добрых друзьях, исчезнувших навсегда. Впрочем, „Эрнани“ уже не нуждается в своей старой когорте, на него никто не собирается нападать. Знаменитые стихи: *„О, как прекрасен ты, лев благородный мой!“* — возмущавшие публику при Реставрации, были встречены

громом аплодисментов. Жюль Жанен утверждал: „Ничто не может сравниться с праздником этого возвращения, на которое мы уже не надеялись".

Сент-Бев — госпоже Гюго, 21 июня 1867 года: „Дорогая мадам Гюго, я не мыслю себе, чтобы среди всех поздравлений, которые вы получаете, не было моего письма. Новая постановка „Эрнани" — это блистательное подтверждение восторгов и любви нашей молодости. Свой час бывает у каждого гения, но гений сверкает в любой час, в течение его дня солнце не раз достигает зенита. Как горько, как жаль мне, прикованному к своему креслу, что я не мог присутствовать на этом празднике, на этом юбилее поэзии, не мог хотя бы побывать в фойе, чтобы услышать вблизи дружеские аплодисменты, пробуждающие столько откликов в наших сердцах, и показать, что я не хочу терять своего места среди ветеранов „Эрнани".

Сент-Бев и сам уже чувствовал приближение смерти, и его озлобленность притуплялась. 5 января 1866 года он писал Шарлю Бодлеру, который часто виделся с семьей Гюго в Бельгии:

„Гюго, который по временам бывает вашим соседом, стал проповедником и патриархом: гуманизм чувствуется даже в его пустячках. Очень мило с вашей стороны, что вы иногда беседуете обо мне с госпожой Гюго, — это единственный верный мой друг в этом мире. Другие никогда не прощали мне того, что я в какой-то момент уходил от них. Дети (Гюго) смотрят на меня, вероятно, только сквозь призму своих предрассудков. Противнее всего на свете для меня последыши романитизма; по-моему, они родились только для того, чтобы обесценить приходящую к своему концу Школу и придать ей неизгладимую смехотворность. Гюго парит над всем этим, его это очень мало беспокоит (alta sedet Aeolus arce[1]), и я убежден, что если бы мы встретились с ним лично, наши старые чувства друг к другу проснулись бы, затрепетали бы самые сокровенные фибры сердца: ведь когда бы мы с ним ни виделись, уже через несколько секунд мы снова понимали друг друга, совсем как прежде".

В апреле 1868 года, когда первенец Алисы Гюго умер от менингита, а сама она была беременна на пятом месяце, Шарль увез свою жену в Париж, а его брат взял на

---

[1] Эол сидит на высокой вершине (лат.).

себя заботы о похоронах. *Шарль Гюго — Франсуа-Виктору, 16 апреля 1868 года:* „Бедное, дорогое дитя, уходя, будет чувствовать, что мы провожаем его, потому что ты — это я, это Алиса. Но ведь и теперь он с нами, — душа не последовала за телом. Его брат, который скоро появится, принесет ее нам с собою... Скажи, не откладывая, отцу, что ему придется изменить назначенную нам сумму и посылать в Париж больше, потому что мама, при своих ограниченных средствах, не может выдержать новых расходов“.

Госпоже Гюго не долго оставалось жить. Шарль писал брату: „Маме все не лучше. Аксенфельд предупредил меня, что у нее очень тяжелая болезнь и такие серьезные расстройства главных органов, против которых медицина бессильна. Она чувствует себя неплохо, насколько это возможно при ее состоянии. Мы ухаживаем за ней и стараемся развлекать ее, как можем“.

Шарлю хотелось остаться в Париже, основать там газету, но подходящий ли был для этого момент? Отец, с которым он посоветовался, сказал, что в такое предприятие он не вложил бы ни гроша. Случалось, Гюго не писал писем по целому месяцу, с головой уйдя в новый роман — „По приказу короля“. Мерис взял на себя труд выплачивать его жене и сыновьям ежемесячное содержание из денег, которые давала постановка „Эрнани“.

Госпожа Гюго — Виктору Гюго, 3 мая 1868 года: „Ты, конечно, знаешь, мой дорогой великий друг, что Шарлю и его жене пришла в голову хорошая мысль остановиться у меня. Я очень рада, что могу приютить их, — значит, им не придется нанимать квартиру. Мои дополнительные расходы — это их питание и некоторые другие траты, поскольку нас теперь трое. Стало быть, в Париж надо посылать больше денег, как тебе, вероятно, писал Виктор, а в Брюссель гораздо меньше, — там осталось только два человека — Виктор и горничная (кухарку временно отпустили). Виктор, должно быть, писал тебе также, что при новых обстоятельствах тебе следует *увеличить мой бюджет*... А раз это так, то считаешь ли ты удобным, чтобы моим банкиром оставался Мерис? Ведь в его распоряжении только случайные суммы. Или ты хочешь сам стать моим банкиром, как это было до брюссельского дома? Ты, наверно, знаешь, какие деньги есть в запасе у Мериса, и в том случае, если он останется нашим банкиром, ты дашь ему распоряжения и спро-

сишь, истратил ли он уже сборы с „Эрнани“. У меня счета в полном порядке, и по твоему требованию я могла бы послать их тебе. До того дня, как приехали наши дети, я не переходила известных тебе пределов. Итак, теперь ты знаешь все о материальной стороне нашего существования, очень грустного вдали от тебя и еще столь недалекого от несчастия, постигшего нас...“

Постскриптум Шарля Гюго: „До скорого свидания, тысячу раз дорогой отец. Поблагодари добрую г-жу Друэ за ее слезы. Она так любила нашего Жоржа! Обнимаю ее и тебя...“

Шарль пытался уговорить своего брата приехать к нему в Париж. Жить там было так приятно.

Шарль Гюго — Франсуа-Виктору, 10 мая 1868 года: „Почти каждый день мы обедаем в гостях... Вчера у нас обедала г-жа д'Онэ со своей прелестной дочерью. Как нам было бы хорошо в Париже, если бы ты захотел сюда приехать! Все это твердят в один голос. Тебя не понимают. Твой стоицизм и твоя совестливость удивляют всех. У нас был бы в Париже самый большой и самый интересный салон. Подумай об этом. Тратя в Париже не больше, чем в Брюсселе, мы можем вести здесь вполне достойную и очень приятную жизнь. Кроме того, мы будем в центре, и за короткое время сможем создать себе положение в литературном мире. Я в этом убежден. Что касается отца, то, я думаю, он только выиграет в общественном мнении и в мнении отдельных лиц, если у него появится постоянная связь с Парижем, раз там поселится его семья. Наш салон будет представлять его утес. Но пока ты будешь повторять: *„Останется один — клянусь, я буду им!“* — это невозможно.

Хочешь, я сообщу тебе новости о Бонапарте? Я видел его несколько раз на Елисейских полях и в Булонском лесу. Он обрюзг и постарел. Его мертвенно-бледная физиономия изборождена морщинами, взгляд по-прежнему безжизненный. Усы сероватые. А все-таки он выглядит неплохо, увы! Негодяй, как видно, здоров. Он всегда в экипаже. Его очень мало приветствуют. Никаких восторженных криков. Но, в общем, он царствует.

Париж прекрасен. Новые кварталы великолепны. Теперь строят действительно превосходные дома, в разных стилях. Множатся скверы, сады, аллеи, фонтаны. Неслыханная роскошь во всем! Экипажи, лошади и красивые женщины — непрестанный праздник для глаз“.

Но Франсуа-Виктор хотел быть верным изгнанию, и

Шарль с легкой иронией вздыхал: „До тех пор пока ты будешь „таким", ничего не поделать!" *Он жаловался на отца в письме от 16 июня 1868 года:* „От отца все еще ничего нет. Он не послал нам ни одного су с тех пор, как мы здесь, и мы жили на фонд Мериса... Мама посылает для Адели сто франков, которые я вложу в это письмо..." *26 июня 1868 года*: „Мама хотела бы знать, послал ли в апреле отец триста франков Адели, на ее летние туалеты. Если не послал, то попроси его, чтобы он это сделал. Настаивай. Мама из-за этого тревожится!.. Напиши нам, как обстоит дело..." Но приближалось лето, а вместе с ним те дни, когда вся семья собиралась в Брюсселе. Госпожа Гюго радовалась свиданию с мужем: „Что до меня, то, как только ты явишься, я ухвачусь за тебя, не спрашивая твоего разрешения. Я буду такой кроткой и такой милой, что у тебя не хватит духа снова меня покинуть. Конец, о котором я мечтаю, это умереть у тебя на руках". На пороге смерти она цеплялась за эту силу, так часто ее ужасавшую.

Ее желание исполнилось. 24 августа 1868 года она совершила прогулку в коляске со своим мужем; он был с ней ласков и нежен, она очень весела. На следующий день, около трех часов пополудни, у нее случился апоплексический удар. Свистящее дыхание. Спазмы, паралич половины тела. *В записной книжке Виктора Гюго 27 августа 1868 года сказано:* „Умерла сегодня утром, в 6 часов 30 минут. Я закрыл ей глаза. Увы! Бог примет эту нежную и благородную душу. Я возвращаю ее ему. Да будет она благословенна! По ее желанию, мы перевезем гроб в Вилькье и похороним ее возле нашей милой дочери. Я провожу ее до границы..." Вакери и Мерис в тот же день приехали из Парижа, чтобы присутствовать при положении во гроб. Доктор Эмиль Аликс открыл ей лицо.

„Я взял цветы, которые там были, окружил ими ее голову. Положил вокруг головы венчик из белых ромашек так, что лицо осталось открытым; затем я разбросал цветы по всему телу и наполнил ими весь гроб. Потом я поцеловал ее в лоб, тихо сказал ей: „Будь благословенна!" — и остался стоять на коленях возле нее. Подошел Шарль, потом Виктор. Они, плача, поцеловали ее и встали позади меня. Поль Мерис, Вакери и Аликс плакали... Они наклонились, один за другим, и поцеловали ее. В пять часов свинцовый гроб запаяли и привинтили крышку дубового гроба. Прежде чем на дубовый гроб положили крышку, я маленьким ключом, который был у меня в

кармане, нацарапал на свинце, над ее головой: V. H. Когда гроб закрыли, я поцеловал его... Перед отъездом я надел черную одежду, буду теперь всегда носить черное...“

Виктор Гюго проводил гроб до французской границы. Вакери, Мерис и доктор Аликс поехали в Вилькье. Поэт и его сыновья провели ночь в Кьеврене. *29 августа 1868 года*: „В моей комнате лежало иллюстрированное издание „Отверженных“. Я написал на книге мое имя и дату — на память моему хозяину. Сегодня утром в половине десятого мы выехали в Брюссель. Прибыли туда в полдень...“

30 августа: „Предложение Лакруа относительно моих незаконченных произведений. Что ж делать! Надо снова браться за работу...“

Госпожу Гюго сфотографировали на смертном одре, в трагическом убранстве покойников. На единственном увеличенном отпечатке последнего ее портрета Виктор Гюго написал:

„Дорогая покойница, которой я простил..."

Первого сентября он получил известие о похоронах. Поль Мерис сказал прекрасную речь в Вилькье. Гюго приказал выгравировать на могильной плите:

АДЕЛЬ

Жена Виктора Гюго

Вскрыли завещание.

Виктор Гюго — Огюсту Вакери, 23 декабря 1868 года. „Дорогой Огюст, в приписке к завещанию моей жены сказано: „Я дарю Огюсту мой лаковый пюпитр и все вещицы, находящиеся у меня на письменном столе. Кроме того, я дарю ему старинный кошелек для раздачи милостыни, который мне достался от г-жи Дорваль, — он висит над портретом моей Дидины, написанным мною. Госпоже Мерис завещаю подаренный мне Огюстом серебряный браслет, который я ношу постоянно“. Приписка датирована 21 февраля 1862 года. После этого срока моя жена уехала с Гернси. Вещицы, которые были у нее на столе (в 1862 г.), исчезли. Но пюпитр и кошелек хранятся у меня, и вы можете взять их, когда захотите. Она увезла серебряный браслет в Париж, где ее в последнее время часто обкрадывали. Мы искали браслет. Пока еще не могли найти...“

Браслет не могли найти, потому что вторая Адель, покидая Гернси, увезла его вместе с несколькими другими принадлежавшими ей драгоценностями.

„Адель, жена Виктора Гюго“... Что было в этих словах? Гордость? Желание вновь завладеть, хотя бы после смерти, той, которая однажды отстранилась от него при жизни? Или дань уважения к ее верной дружбе? Жюльетта истолковала надпись именно в таком смысле. Она не только не пыталась заставить вдовца жениться на себе, но поддерживала культ умершей Адели. *Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, Гернси, 10 октября 1868 года:* „Мне кажется, что, с тех пор как я снова живу здесь, моя душа расширилась и стала как бы вдвое больше и что я люблю тебя не только всей своей душой, но и душой твоей дорогой усопшей. Я прошу ее, достославную свидетельницу твоей жизни на этом свете, чтобы она стала моей представительницей на небесах и свидетельствовала обо мне перед богом. Я прошу ее позволения любить тебя, пока я живу на земле, и любить тебя после смерти. Я прошу ее дать мне частицу того божественного дара, которым она была наделена, — дара делать тебя счастливым, и я надеюсь, что она исполнит мою мольбу, ибо читает в глубине моего сердца...“ В самом ли деле Адель сделала своего мужа счастливым? Не причинила ли она ему новых горестей после того, как ему стало известно, в какое положение она его поставила? Жена гениального человека бывает одновременно и очень близка и очень далека от его жизни, „которая, кажется, калечит жизнь всех его близких“.

В „Отвиль-хаузе“ он тотчас же вернулся к своей рабочей и размеренной жизни. Каждый понедельник — обед для сорока бедных детей. Каждый вечер — „обед в „Отвиле II“. Отныне это будет ежедневно. Deo volente“[1]. И с рассвета до сумерек — работа. Он продолжал „нагромождать Пелион на Оссу“. Ему уже было под семьдесят, а он собирался написать целый ряд романов: „Человек, который смеется“ (или Англия после 1688 г.); „Франция до 1789 года“ (название еще не было придумано); „Девяносто третий год“. Аристократия, монархия, демократия. Документацию к „Человеку, который смеется“ он нашел, как делал это всегда, в книгах, случайно попавшихся ему у букинистов Гернси и Брюсселя, он да-

---

[1] По воле божьей (лат.).

же составлял полные списки пэров Английского королевства, чертил планы старого Лондона, палаты лордов. Удивительно то, что, при этих случайных и пестрых сведениях, он создал довольно стройную картину. Гюго интересовало множество причудливых и, казалось бы, ненужных подробностей, но он чувствовал главное.

Он долго искал название книги. Он объявил Лакруа, будущему своему издателю, что даст роману заглавие — „По приказу короля". Потом, по совету друзей, назвал свою книгу — „Человек, который смеется". Исторический роман? „Драма и история одновременно, — пояснял он. — Читатель увидит там неожиданную Англию. Эпоха — удивительный период от 1688 до 1705 годов. Это подготовка нашего французского XVIII века. Это время королевы Анны, о которой так много говорят и которую так мало знают. Я думаю, в этой книге будут откровения, даже для Англии. Маколей, в общем, поверхностный историк. Я попытался проникнуть глубже..." Гюго понимал исторический роман не так, как Вальтер Скотт или Дюма-отец. Большие фигуры истории должны были видненься издали, в глубине картины, и в профиль, — автора интересовали только вымышленные персонажи. С этой книгой его связывали кровные узы. Ужасное зрелище — виселица, представшая ночью перед ребенком, сродни страшным картинам, которые в детстве волновали Гюго. Герой романа, Гуинплен (позже лорд Кленчарли), был, как Трибуле, как Дидье, как Квазимодо, как Эрнани, как Жан Вальжан, жертвой общества. Изуродованный с самого рождения, этот человек, лицо которого искажено жутким смехом, — страдающий человек. Восстановленный в своих правах, он остается верен своим товарищам по нужде и, несмотря на свистки, смех и поношения, произносит в палате лордов речь, очень похожую на речи Виктора Гюго в Национальном собрании 1850 года.

Другая черта, благодаря которой эта книга, во многих отношениях нелепая и странная, остается человечной, — противопоставление Гуинплена, человека целомудренного, соблазну плоти. Виктора Гюго, с самого отрочества одновременно целомудренного и волнуемого желаниями, непреодолимо влекло, вместе с тем страшило женское тело, „манящая чувственность, угрожающая душе". Гуинплена, созерцавшего спящую Жозиану, охватывает дрожь: „Нагота в страшной простоте. Настойчивый, таинственный призыв существа, не ведающего стыда, обращенный ко всему темному, что есть в человеке. Ева, более пугающая, чем

дьявол... Волнующий экстаз, приводящий к грубому торжеству инстинкта над долгом..."[1] „Торжество, которое он знал слишком хорошо и которого страшился в нем „человек долга".

„Человек, который смеется" имел меньший успех, чем предыдущие романы Гюго, отчасти по вине Лакруа, превратившего его издание в слишком уж коммерческое предприятие, но также потому, что романисты реалистической и натуралистической школы уже приучили публику искать патетическое в повседневном. „Несомненно, — писал Гюго, — что между моими современниками и мною существует разрыв. Если бы писатель писал только для своего времени, я должен был бы сломать и бросить свое перо". Он по-прежнему писал стихи, достойные восхищения и в его время, и во все времена, но он прятал их в чемоданы, не желая опубликовывать слишком много. А впрочем, разве у него еще были современники? Ламартин только что умер. *В записной книжке Гюго отмечено 4 марта 1869 года:* „Ламартин умер. Это был величайший из Расинов, не исключая и самого Расина". Виньи умер в 1863 году. „Бедный Бодлер", который был гораздо моложе, умер в 1867 году. Дюма сильно сдал. Мериме умирал от болезни сердца, Сент-Бев — от своих застарелых недугов, один Гюго оставался сильным, плодовитым, колоссальным. *Он писал 7 января 1869 года Огюсту Вакери:* „Я хорошо знаю, что не старею, а, наоборот, расту, и потому-то я чувствую приближение смерти. Вот доказательство существования души! Тело стареет, а мысль растет. Под моей старостью таится расцвет..." Титан? „Нет, — говорил Мишле братьям Гонкурам. — Вулкан, мощный гном, который кует железо в больших кузницах, в глубине земных недр".

Экземпляр „Человека, который смеется" был послан Леони д'Онэ с осторожной дарственной надписью: „С уважением. В. Г."

VII

Конец изгнания

В 1869 году режим Второй империи трещал по всем швам: все предвещало его конец. Военный разгром в

---

[1] Гюго В. Человек, который смеется. — Собр. соч., т. 10, с. 9.

Мексике, дипломатическое поражение в Европе рассердили и унизили французов. Император, усталый, больной, сдавал свои позиции и говорил о „черных тучах, омрачающих горизонт“. Он еще надеялся преобразовать то, что не в силах был поддерживать. Молодой журналист Анри Рошфор, по рождению маркиз де Рошфор Люсэ, отрекся от своей касты, чтобы поднять свой авторитет, и основал „*Ла Лантерн*“ („Фонарь“), еженедельный сатирический листок, дерзкий, остроумный, в первом номере которого была напечатана знаменитая фраза: „Во Франции тридцать шесть миллионов подданных и столько же поводов к недовольству“. Каждый четверг распродавалось сто тысяч экземпляров этого журнала. Ободренные таким примером, бывшие редакторы „*Эвенеман*“ (оба сына Виктора Гюго, Поль Мерис, Огюст Вакери) решили, что настал момент основать газету для нападений на Вторую империю, и завербовали в состав своих сотрудников двух блестящих полемистов: самого Анри Рошфора и Эдуарда Локруа, сына известного актера. Стали искать название. Виктор Гюго предложил: „Призыв к народу“. Название „Призыв“ понравилось больше и было принято. Газета вышла в свет 8 мая 1869 года, тираж сразу же достиг пятидесяти тысяч экземпляров.

Развлекательная и фрондирующая, газета имела успех. Виктор Гюго с Гернси ободрял бойцов. *14 мая 1869 года он написал Франсуа-Виктору:* „Дорогой Виктор, поздравляю тебя и Шарля и готов кричать от радости. Твоя первая статья прекрасна по силе и возвышенности идей, по остроумию... Впрочем, не думайте и ты и Шарль, что я собираюсь расхваливать, как добренький папочка, все ваши статьи. Но я заранее аплодирую тому, что будет у вас достойно аплодисментов...“ Естественно, и газета, и ее сотрудники подверглись преследованиям. Штрафы, обыски, привлечение к суду. *В записной книжке Виктора Гюго 10 декабря 1869 года отмечено:* „Сегодня будут судить Шарля. Он имел честь заставить негодяя взвыть от злобы. Это хорошо...“ Сам Гюго заканчивал „Человека, который смеется“ и снова взялся за драматургию, создавая „Торквемада“. Как обычно, летом 1869 года Гюго поехал в Брюссель. *Шарлю и Франсуа-Виктору он сообщил 23 июля 1869 года:* „Я рад, мои дорогие, что вы в Брюсселе. Я приеду 31 июля или 5 августа, сейчас я заканчиваю одну вещь. Попытаюсь немного попутешествовать. Во время моего пребывания в Брюсселе вы будете кормить меня завтраком (кофе и

обычная моя котлета), а я позабочусь об обеде — то есть каждый день приглашаю вас всех четверых (в том числе и Жоржа, у которого уже прорезались шесть зубов) обедать в „Отель де ла пост“. Это упростит наш обиход. Не забудьте: нужно, чтобы одна из служанок спала в комнате рядом с моей (в том корпусе, что в глубине): ночью у меня все еще бывают приступы удушья...“ Он позаботился обо всем. *В записной книжке Виктора Гюго 8 августа 1869 года записано*: „На площади Баррикад новая горничная — Тереза, которая помещается в комнате, смежной с моей. Она некрасивая. Фламандка, белокурая, и не знает, сколько ей лет. Думает, что тридцать три. Я спросил ее: „Вы замужем?“ Она ответила с видом настоящей парижанки: „Помилуйте, сударь!“

В сентябре он согласился поехать в Лозанну для участия в Конгрессе мира. На пути поезд встречали толпы народа с криками: „Да здравствует Виктор Гюго! Да здравствует республика!“ Он произнес речь, обращенную к „согражданам Соединенных Штатов Европы“. Эту речь он хотел посвятить идее мира, но по своей сути она была воинственной: „Чего мы хотим? Мира... Но какого мира мы хотим? Хотим ли мы достигнуть его любой ценой?.. Нет! Мы не хотим мира под ярмом деспотизма... Первое условие мира — это освобождение. Для освобождения несомненно потребуется революция, которая будет окончательной, и быть может, увы! — война, которая будет последней“[1]. Эта была первая из „последних“ войн.

За месяц до того император, возомнивший себя теперь либералом, снова предложил амнистию. Гюго ответил: „В „Кромвеле“ есть такие строки:

„Ну что ж, я вас помилую“.— „Но по какому праву ты помилуешь меня, тиран?“

На обратном пути он захотел посмотреть Швейцарию вместе с Жюльеттой. Он был счастлив снова, как тридцать лет назад, увидеть водопад на Рейне, в Шафхаузе. Заглянем в *записную книжку Виктора Гюго от 27 сентября 1869 года:* „Великолепный водяной дворец. Когда бог устраивает фонтаны, они у него не иссякают и не начинают сразу же пыхтеть, как у Людовика XIV. Их струи бьют миллионы веков... Я сорвал на краю бездны

---

[1] Гюго В. Конгресс мира в Лозанне. Речь при открытии конгресса 14 сентября 1869 года. — Собр. соч., т. 15, с. 435.

маленький зеленый листок и отдал Ж. Ж.[1], потом, поднимаясь по лестнице, вырубленной в скале, нашел два цветка..." *1 октября записано*: „Когда я приехал (в Брюссель), Алиса уже родила. Хорошенькая девочка, восьмимесячная..." *10 октября:* „Сегодня утром, когда маленькая Жанна сосала грудь, она взяла в свою ручонку мой палец и сжала его".

В ноябре он возвратился на Гернси. „Мыслитель в своей мастерской". 6 апреля 1870 года умер горбатый изгнанник, Энне де Кеслер, которого он любил. Круг одиночества все сужался. Но в июне к нему приехали его внуки: Жюльетта стала поэтом-лауреатом „нашего милого Жоржа" и сочинила куплеты на мотив „Карманьолы".

Малютка Жорж приехал к нам,
В Гернси, в Гернси к своим друзьям,
И мы его сейчас
Целуем каждый час.

Не очень поэтично, зато от всего сердца. Дедушка велел огородить бассейн, террасу и поставить на детском балконе миску, полную хлебного мякиша, на которой он написал:

Летят малютки-птицы
К малютке Жоржу каждый день.
Воробушки, синицы
Летят клевать ячмень
И хлебом поживиться.

Он по-прежнему работал, следуя неумолимому распорядку дня, но чувствовалось, что это уже последние дни перед отъездом, когда спешно заканчивается текущая работа и скоро придется расстаться со своим прежним миром. Каждый смутно сознавал, что близятся какие-то события. „Свобода венчала здание в тот момент, когда фундамент его рушился". В мае 1870 года состоялся плебисцит. Семь миллионов пятьсот тысяч голосов, поданных за реформы, казалось, утверждали либеральную империю, но „тысячи снежных хлопьев, — как сказал Гюго, — создают только мрачную лавину..."

Но что останется от снега,
От савана, от белой простыни,
Когда наступят солнечные дни?[2]

---

[1] Так в записных книжках Гюго обычно обозначает Жюльетту.

[2] Гюго В. Пролог. 7.500.000 „да" („Грозный год"). — Собр. соч., т. 13, с. 9.

В Европе Бисмарк искал предлога для войны. *В записной книжке Виктора Гюго от 17 июля 1870 года*: „Три дня тому назад, 14 июля, в тот момент, как я сажал в своем саду в „Отвиль-хаузе“ дуб Соединенных Штатов Европы, в Европе вспыхнула война, а принцип непогрешимости папы был сокрушен в Риме. Через сто лет не будет больше войн, не будет папы, а дуб будет огромным“. Из этих трех предсказаний сбылось только одно. Дуб стал огромным.

Война поставила острый вопрос перед совестью Гюго. Если бы империя победила, это значило бы упрочение власти узурпатора, захватившего ее 2 декабря. Если потерпит поражение Империя, это будет унижением Франции. Должен ли он вступить в Национальную гвардию и погибнуть за Францию, забыв об Империи? С помощью Жюльетты он уложил и затянул ремнем свой чемодан. Во всяком случае, надо ехать в Брюссель. 9 августа стало ясно, что война приведет к катастрофе, — одно за другим проиграны три сражения. *В записной книжке Виктора Гюго 9 августа 1870 года отмечено*: „Я сложу все свои рукописи в три чемодана и буду готов поступить согласно своему долгу и тому, что покажут события“.

Пятнадцатого августа он сел на пароход с Жюльеттой, Шарлем, Алисой, с детьми, с кормилицей Жанны и тремя служанками (Сюзанной, Мариэттой и Филоменой). Жорж называл Виктора Гюго не дедушкой, не дедулей, а папапа. 18 августа семья уже была на площади Баррикад: „Я опять живу привычной жизнью. Принимаю холодную ванну. Работаю до завтрака... Когда Шарль садился за стол, я положил на его тарелку сверток с золотыми монетами на тысячу франков и записку: Милый Шарль, прошу тебя позволить мне заплатить за проезд маленькой Жанны. *Папапа*, 18 августа 1870 года“.

Девятнадцатого августа он пошел в канцелярию французского посольства, чтобы получить визу на въезд во Францию. Секретарю посольства, Антуану де Лабуле, он сказал, что возвращается во Францию, чтобы исполнить свой гражданский долг, но что он не признает Империи. „Во Франции я хочу быть только еще одним национальным гвардейцем“. *В записной книжке Виктора Гюго отмечено 19 августа 1870 года*: „Он был очень любезен и сказал мне: „Прежде всего я приветствую величайшего поэта нашего века“. Он просил меня подождать до вечера и обещал прислать мне паспорта на дом...“

Луи Кох, племянник Жюльетты Друэ, отправился в

Париж; договорились, что он повидается с Мерисом, с Вакери, с остальными друзьями, и если Виктору Гюго следует вернуться, он телеграфирует горничной Филомене: „Привезите детей“. Брюссельские газеты уже объявили, что Гюго хочет вступить в Национальную гвардию, и называли его „отец-новобранец“.

Виктор Гюго — Франсуа-Виктору, 26 августа 1870 года: „Милый Виктор, как грустно, что тебя нет подле меня и что я не могу быть там с тобой. Все опять становится очень сложным... Мы следим за событиями и готовы выехать, однако при одном условии: чтоб это не выглядело так, будто мы едем спасать Империю. Главная цель — это спасти Францию, спасти Париж, уничтожить Империю. И конечно, за это я готов отдать свою жизнь... Мне сейчас сказали, что, если я поеду в Париж, меня там арестуют. Этому я не верю, но все равно, ничто не помешает мне отправиться в Париж, раз он окажется в смертельной опасности, раз ему будут грозить последствия какого-нибудь Ватерлоо. Я с гордостью погибну вместе с Парижем, разделю его участь. Но такой конец был бы величественным, а я боюсь, как бы все эти гнусные поражения не привели к позорному концу. Уж такую участь я не хочу делить с Парижем. Будет ужасно, если Пруссия водворится у нас и подпишут позорный мир, пойдут на раздел, вообще на какой-нибудь компромисс с Бонапартом или с Орлеанским домом; я страшусь этого; если так случится и народ не скажет своего слова, я вернусь в изгнание“.

Третьего сентября император капитулировал, а 4 сентября была провозглашена республика. Из Парижа пришла телеграмма: „Немедленно привезите детей“. 5 сентября Виктор Гюго у окошечка вокзальной кассы в Брюсселе произнес дрожащим от волнения голосом: „Один билет до Парижа“. На нем была мягкая фетровая шляпа, на ремне через плечо висела кожаная сумка. Он посмотрел на часы — это был час, когда кончилось его изгнание, — и, очень бледный, сказал Шарлю Кларети, сопровождавшему его молодому писателю: „Девятнадцать лет я ждал этой минуты“. В его купе сели Шарль и Алиса Гюго, Антонен Пруст, Жюль Кларети и Жюльетта Друэ. В Ландреси они впервые увидели на путях французских солдат отступающих частей, изнуренных, упавших духом. На них были синие шинели и красные штаны. Гюго, со слезами на глазах, крикнул им: „Да здравствует Франция! Да здравствует французская армия!“

Они едва взглянули, с безразличным видом, на этого плачущего старика с белой бородой. „О, увидеть их снова, и в таком положении, — сказал он, — увидеть солдат моей родины побежденными!“

Сын генерала Гюго знал такие времена, когда при звуке дорогого ему имени „Франция“ иностранцы дрожали. У него была неясная надежда еще стать свидетелем эпического подъема и даже вызвать его. Разве он не предсказал все это? Разве не был он последним бастионом свободы? Кто мог лучше руководить молодой республикой, чем старец, который вот уже девятнадцать лет никогда не ошибался? Ярко светила луна, и в окна вагона видны были равнины Франции. Гюго плакал. Поезд прибыл в девять часов тридцать пять минут. Его ожидала огромная толпа. Неописуемый прием.

Дочь Теофиля Готье, Жюдит Готье, тоже пришла его встретить. Под руку с этой красавицей он вошел в маленькое кафе напротив вокзала. Там она, протянув ногу, загородила путь „восторженной толпе“. Гюго говорил с ней „с очаровательной любезностью“, потом пришел Поль Мерис и сказал, что Гюго должен произнести речь перед народом. Открыли окно. Изгнаннику пришлось говорить четыре раза, — сначала с балкона второго этажа, потом из своего экипажа. Раздавались крики: „Да здравствует Виктор Гюго!“, декламировали стихи из „Возмездия“. Толпа хотела вести его в ратушу. Он крикнул: „Нет, граждане! Я приехал не для того, чтобы пошатнуть временное правительство республики, а для того, чтобы поддержать его“. Кричали также: „Да здравствует маленький Жорж!“ Добравшись до авеню Фрошо, к Полю Мерису, где Гюго остановился, он сказал народу: „Один этот час вознаградил меня за двадцать лет изгнания!“ Ночью разразилась сильнейшая гроза, сверкала молния, гремел гром. Само небо было соучастником встречи.

Часть десятая

Смерть и преображение

I

„Грозный год“

Когда б французом не был я,
Я им бы стал, о Франция моя!
Тебе, великой, страждущей, больной,
Я отдал бы любовь — тебе одной!

Виктор Гюго

Возвращение в свою страну после длительного изгнания — событие страшное и отрадное. Отрадное потому, что вновь видишь тех людей и те места, о которых мечтал, тоскуя по родине долгие годы, *„Французская земля, как ты светла, как сердцу ты мила!“* — шептал Гюго на Гернси. Увидеть родную землю и горячо любимый Париж, — да, это счастье. Но и мученье, — ведь узнаешь, что все изменилось *(где тот камелек, подле которого я согревался?)*; обнаруживаешь, что из тех, кого ты знал, больше мертвых, чем живых, и как горько чувствовать себя чужим среди множества новых лиц, а главное, нужно было спуститься с Олимпа изгнания, где бы обитал, исполненный возвышенных идей, и смешаться с мятежной уличной толпой, с ярмаркой на площади.

В течение двадцати лет Гюго был пророком республики, издали воодушевлявшим сопротивление режиму Империи. В сентябре 1870 года он, несомненно, надеялся, хотя и отрицал это, что его единодушно провозгласят главой правительства единения партий во имя борьбы с врагом. А ведь игра-то уже была сыграна — Жюль Фавр и его друзья с удивительной ловкостью заняли 4 сентября здание ратуши, помешав тем самым основанию Коммуны Парижа. Они избрали президентом временного правительства генерала Трошю, антибонапартиста, клерикала, убежденного монархиста, необходимого им в силу того, что он в глазах всех был признанным главой армии. Люди, которые хотели основать Коммуну,— Флуранс, Бланки, Ледрю-Роллен — неодобрительно отнеслись к этому и не признали нового режима. Они были бы счаст-

ливы иметь на своей стороне Гюго, воспользоваться его авторитетом. Однако он благоразумно держался в стороне. „У меня почти нет сил присоединяться к кому бы то ни было“, — говорил он. Роль поэта республики он считал гораздо выше, нежели роль президента либо соперника президента. Впрочем, он испытывал некоторую обиду. *„Я был дикарь морской, бродяга старый“*. На своей скале он представал морским божеством, в парижском доме он стал простым смертным.

В квартире Поля Мериса на авеню Фрошо, где он остановился, его навещали очень многие: низкорослый Луи Блан, писатель Жюль Кларети, который принес ему в дар золотую пчелу с императорской мантии; приходили генералы, домогавшиеся командных постов, приходили чиновники, просившие предоставить им должность. Он отвечал: „Я никто“, что означало в учтивой форме: „Я ничего не могу сделать“. Он вновь встретился с Теофилем Готье, ласковым, сердечным и весьма смущенным, — так как Тео получал „жалованье от Империи“, будучи критиком „Монитера“ и библиотекарем принцессы Матильды. „Я обнял его, — пишет Гюго, — у него был несколько испуганный вид. Я его пригласил пообедать со мной“. Проявить суровость к Готье было бы просто неблагодарностью: в 1867 году при возобновлении „Эрнани“ он показал себя столь же мужественным и преданным другом, как и во времена розового камзола. „Монитер“ потребовал, чтобы были сделаны купюры в рецензии, где Готье восторженно отзывался о спектакле, но критик заявил, что тогда он подаст в отставку. Теперь он потерял все: „Меня ждало избрание в Академию, в сенат... Устроился бы под конец жизни. А вот республика — и все полетело к черту“.

Эдмон Гонкур навещал Старика Моря и все записывал в свой дневник, — это составляло его занятие. В квартире Мериса было полно друзей, развалившихся на диване; болезненно толстый Шарль Гюго в форме Национальной гвардии играл с маленьким Жоржем. В полумраке комнаты выделялась ярко освещенная голова Гюго. В его волосах „есть непокорные седые пряди, как у пророков Микеланджело, а на лице какая-то странная умиротворенность, умиротворенность почти восторженная. Да, восторженная, но время от времени во взгляде его черных глаз промелькнет какая-то настороженность, промелькнет и исчезнет...“. Гонкур спросил его, как он себя чувствует в Париже. „Мне по сердцу теперешний Па-

риж, — ответил Гюго. — Я не хотел бы видеть Булонский лес времен карет, колясок и ландо; он нравится мне таким, как сейчас, когда он весь изрыт, обращен в развалины... Это прекрасно! Это величественно!"

Во время этого визита Виктор Гюго казался „любезным, простым, благодушным, не пророчествовал, как сивилла. Свою значительность он давал почувствовать лишь легкими намеками, когда, например, говоря об украшении Парижа, упомянул собор Парижской богоматери. Испытываешь к нему признательность за ту холодноватую, чуть-чуть светскую учтивость, которую так приятно встретить в наше время вульгарной развязности..."[1]. Став демократом, он сохранял чувство собственного достоинства, каким поражал еще в двадцатых годах, будучи молодым поэтом. Да, он был прост, но не фамильярен.

Гонкур, скептически настроенный и обескураженный, уже примирившийся с поражением, дивился пламенному боевому духу Виктора Гюго. „Мы еще воспрянем, — говорил Старец, — мы не можем погибнуть". Исполненный патриотических чувств, он плакал, когда по улицам проходили батальоны солдат с пением „*Марсельезы*" либо „*Походной песни*". „Я услышал мощный призыв: „*Каждый француз должен жить для нее*". Каждый должен умереть за нее... Я слушал и плакал. Вперед, доблестные воины, я пойду вслед за вами..."[2] Он написал генералу Трошю заявление с просьбой зачислить его на службу. Друзья убеждали его в том, что живой он будет более полезен стране, чем мертвый.

Возвратившись на родину, он написал „*Призыв к немцам*": „Немцы, к вам обращается друг... Откуда это зловещее недоразумение? Два народа создали Европу. Эти два народа — Франция и Германия... Ныне Германия хочет разрушить Европу. Возможно ли это?.. Разве мы виновники этой войны? Ее хотела Империя, Империя ее затеяла. Империя мертва. Очень хорошо. У нас нет ничего общего с этим трупом... Немцы, если вы и теперь станете упорствовать, — что ж, вы предупреждены. Действуйте, идите, штурмуйте стены Парижа. Под градом ваших ядер и картечи он будет защищаться. А я, старик, останусь в нем безоружным. Я предпочитаю быть с народами, которые умирают, и мне жаль вас, идущих с коро-

---

1 Гонкур Э. Дневник, т. IV.

2 Гюго В. Из записной книжки 1870—1871 гг.

лями, которые убивают..."[1] Он надеялся, что его призыву внемлют и что, если он, Виктор Гюго, встанет между армиями, война закончится. „Она кончится для него", — сказал какой-то злой шутник. Когда Старец увидел, что вокруг Парижа сжимается железное кольцо, он ожесточился: „Пруссаки, по-видимому, решили, что Франция станет Германией, а Германия — Пруссией; что я, говорящий с вами, лотарингец по рождению, — немец; что яркий полдень не полдень, а ночь; что Эврот, Нил, Тибр и Сена — притоки Шпрее, что город, который вот уже четыре века освещает земной шар, не имеет больше права на существование, что достаточно одного Берлина... что необходимость солнца еще не доказана; что, помимо всего прочего, мы подаем дурной пример, что мы Гоморра, а они, пруссаки, — небесный огонь; что настало время с нами покончить и что отныне род человеческий будет величиной второстепенной... Париж будет защищаться, не сомневайтесь в этом. Париж будет защищаться победоносно. Все в бой, граждане!.. О Париж! Ты украсил цветами статую, символизирующую Страсбург: история украсит тебя звездами!"[2]

И вот осажденный город преобразился. Шапочники торговали остроконечными прусскими касками, которые приносили в город солдаты. Гюго показал одну из них своим удивленным внукам. В мясных лавках была выставлена конина и туши ослов. Леса горели вокруг города, и как во времена „Восточных мотивов" Гюго ходил на окраину города посмотреть на закат солнца, так теперь он смотрел там на пламя пожара, полыхавшее на горизонте, либо на привязные воздушные шары в небе. В этих странствиях его сопровождала Жюльетта. Они совершали путешествие вокруг Парижа по окружной железной дороге. Оба удивлялись новым высоким домам, построенным бароном Османом. Жюльетта увидела груду цветов у подножия статуи Страсбурга, изваянной Прадье, той самой статуи, для которой она служила моделью. Во многих театрах устраивались концерты, где читали стихи из „Возмездия", сбор шел для отливки пушек парижскому гарнизону. Успех был столь исключителен, что Комитет смог приобрести три пушки, получившие название „*Шатодэн*", „*Возмездие*", „*Виктор Гюго*". Актеры репетировали на авеню Фрошо свои выступления. Виктор Гюго

---

[1] Гюго В. Призыв к немцам. — Собр. соч., т. 15, с. 493.
[2] Гюго В. Воззвание к парижанам. — Собр. соч., т. 15, с. 502.

повстречался с Фредериком Леметром, Лиа Феликс, Мари Лоран. Он был счастлив вновь окунуться в атмосферу театра, столь оживленную и пьянящую, что тот, кто однажды ею дышал, никогда ее не забудет.

На улицах можно было видеть маршировавших пехотинцев, ополченцев, франтирьеров, часто с корзинкой овощей, собранных под огнем противника. Магазины пустовали. Рабочие в блузах и круглых шляпах кричали: „*Да здравствует Коммуна!*" Но вот на улицах пробили сбор. 31 октября Коммуна (Бланки, Флуранс) пыталась свергнуть временное правительство. *В записной книжке Виктора Гюго отмечено:* „Сегодня в полночь явились национальные гвардейцы, чтобы отвести меня в ратушу „*председательствовать*", как выразились они, в новом правительстве. Я ответил, что осуждаю эту попытку, и отказался идти. В три часа ночи Флуранс и Бланки покинули ратушу и ее занял Трошю..." Газеты с похвалой отозвались о поведении Гюго.

У него, как и у всех парижан, нечего было есть. „Теперь приготовляют паштет из крыс, говорят, что это вкусно", — шутил Гюго. Ботанический сад присылал ему медвежатину, оленину или мясо антилопы. На Новый год он подарил своим внучатам Жоржу и Жанне целую корзинку игрушек. Луи Кох преподнес своей тетке Жюльетте Друэ два кочана капусты и две живых куропатки. Королевский дар!

Дедушка легко переносил лишения и все перелагал в стихи. Очаровательной Жюдит Готье, которая не смогла принять приглашение к обеду, он написал шутливое стихотворение:

О, если бы вы снизошли до нас!
Вы были бы царицей за столом,
Вам был бы подан жареный Пегас —
Я угостил бы вас его крылом.

Он написал четверостишиями даже свое завещание:

Не пепел завещаю я стране —
А мой бифштекс, о, лакомый кусок!
Попробуйте, и брызнет, словно сок,
Та нежность, что всегда была во мне!

Бомбардировка калечила Париж, сильно пострадал квартал, где Гюго провел свою юность, — монастырь фельянтинок. Снарядом была пробита часовня пресвятой

девы в соборе Сен-Сюльпис, где некогда венчался Гюго. Сторонники Коммуны все настойчивее уговаривали поэта помочь им свергнуть правительство. Теперь он презирал Трошю, много говорившего о „вылазках", но не совершившего ни одной вылазки. Гюго прозвал его „причастием прошедшего времени" и написал о нем злые стихи:

...Ничтожный, бравый, набожный солдат...
Стреляет пушка, но велик откат...

Однако он считал, что для страны более опасно восстать против власти в виду врага, чем поддерживать беспомощное правительство „карлика, претендовавшего сотворить ребенка этой великанше Франции". Вначале Париж воспринял осаду с веселым мужеством, затем героическая комедия обернулась трагедией. Наступил голод. С воем проносились снаряды. Розовым светом озарял ночное небо пылавший вдали Сен-Клу. Потерпели поражение вылазки солдат в Шампани и Монтрету, из-за „неспособности командиров", как утверждали парижане. Журналист Анри Бауэр окрестил Трошю „конным дипломатом". 29 января было заключено перемирие. Шел снег, как это описано в „*Искуплении*". Жестокий Бисмарк произнес: „Зверь мертв". В Париже появились и куры и мясо, но появились также и отряды пруссаков в остроконечных касках.

Для того, чтобы подписать мир, необходимо было избрать Национальное собрание, которое должно было заседать в Бордо. Естественно, что Гюго стал кандидатом департамента Сены и, не сомневаясь, что он будет избран, направился в Бордо. Его совсем не радовала мысль стать членом Национального собрания, которое утвердит поражение, но он не мог от этого уклониться. *В его записной книжке отмечено:* „Я приехал в Париж в надежде там умереть. Я направляюсь в Бордо с мыслью возвратиться оттуда в изгнание". Он уехал в Бордо 13 февраля 1871 года. Только что избранное Национальное собрание не разделяло республиканских и патриотических чувств Виктора Гюго. Застигнутая врасплох страна не терпела больше бонапартистов, виновных в поражении; но она еще не желала и голосовать за республиканцев; страна голосовала за монархистов и за мир. Мелкопоместные дворяне, закоренелые легитимисты, не вылезавшие из своих усадеб со времени революции 1830 года, встретились в Бордо на аллеях Турни. Они возмущали поэта. *Виктор Гюго пи-*

сал Полю Мерису 18 февраля 1871 года: „Скажу по секрету — положение ужасное. Национальное собрание — это „*Бесподобная палата*“. Пропорция представительства такая: нас пятьдесят, а их — семьсот... По всей вероятности, мы не найдем другого средства против угрожающих нам подлых выпадов большинства, кроме мотивированной отставки всей левой группы. Это нанесет рану Собранию, и, может быть, смертельную...“

В городе, наводненном депутатами, трудно было устроиться с квартирой, в особенности для Гюго, который всегда переезжал со всеми своими чадами и домочадцами. Шарль снял для семьи небольшую квартиру по улице Сен-Мор, в доме № 13; Алиса заметила, что число тринадцать ее преследует: 13 февраля выехали, тринадцать пассажиров находилось в салон-вагоне. Виктор Гюго, очень суеверный, увидел в этом дурную примету. Но как только он появился, город возликовал. Национальные гвардейцы размахивали своими кепи; толпа так шумно его приветствовала, что старик, до слез растроганный, укрылся в ближайшем кафе. 16 февраля были объявлены результаты голосования по Парижскому округу. Луи Блан получил двести шестнадцать тысяч голосов; Виктор Гюго — двести четырнадцать тысяч; Гарибальди — двести тысяч. Тотчас же правое большинство Собрания избрало главой исполнительной власти маленького Тьера.

Гамбетта, Луи Блан, Бриссон, Локруа, Клемансо окружили Гюго и провели его в председатели левого крыла Собрания. Дни его были целиком заполнены: Национальное собрание, заседание левой, писательский труд. В свободное время он прогуливался с малышами — Жоржем и Жанной. „Меня можно именовать — *Виктор Гюго, представитель народа и нянька детей*“. 26 февраля ему исполнилось шестьдесят девять лет; 28-го Тьер внес на утверждение Собрания „идиотский“ мирный договор. Эльзас и Лотарингия отторгались от Франции. В комиссии Гюго заявил, что не будет голосовать за эти предложения.

„Париж готов скорее пойти на смерть, чем допустить бесчестие Франции. Достойно внимания и то обстоятельство, что Париж дал нам наказ поднять свой голос не только в защиту Франции, но одновременно и в защиту Европы. Париж выполняет свою роль столицы континента“. Он сказал тогда, что, если даже Франция подпишет договор, Германия не будет владеть двумя провинциями: „Захватить — не значит владеть... Захват — это гра-

беж, и ничего больше. Это стало фактом, пусть; но право не выводят из фактов. Эльзас и Лотарингия хотят остаться Францией; они останутся Францией вопреки всему, ибо Франция олицетворяет *Республику и Цивилизацию;* и Франция, со своей стороны, никогда не поступится своим долгом в отношении Эльзаса и Лотарингии, в отношении самой себя, в отношении мира. Господа, в Страсбурге, в прославленном Страсбурге, разрушенном прусскими снарядами, высятся два памятника — Гутенбергу и Клеберу. И вот, повинуясь внутреннему голосу, мы клянемся Гутенбергу не позволить задушить Цивилизацию, мы клянемся Клеберу не позволить задушить Республику...“ Он объявил, что придет час возмездия: „И час этот пробьет. Оно уже близится, это ужасное отмщение. Уже сегодня мы слышим грозную поступь истории — это шагает наше победоносное будущее. Да, уже завтра все начнется, уже завтра Франция будет проникнута только одной мыслью: прийти в себя, обрести душевное равновесие, стряхнуть кошмар отчаяния, собраться с силами; взращивать семена священного гнева в душах детей, которым предстоит стать взрослыми; отливать пушки и воспитывать граждан; создать армию, неотделимую от народа; призвать науку на помощь войне; изучить тактику пруссаков, подобно тому как Рим изучил тактику карфагенян; укрепиться, стать тверже, возродиться, снова сделаться великой Францией, какою она была в 1792 году, Францией, вооруженной идеей, и Францией, вооруженной мечом... В один прекрасный день она внезапно распрямится! Да! Это будет грозное зрелище; все увидят, как одним рывком она вернет себе Лотарингию, вернет Эльзас! И что же, это все? Нет! Нет! Послушайте меня, она займет Трир, Майнц, Кельн, Кобленц, весь левый берег Рейна... И тогда все услышат громкий голос Франции: „Наступил мой черед! И вот я здесь, Германия! Но разве я твой враг? Нет! Я твоя сестра. Я все у тебя отвоевала и все тебе возвращаю, но при одном условии — мы станем отныне единым народом, единой семьей, единой республикой...“[1]

При выходе из зала он услышал, как один из представителей правой сказал своему соседу: „Луи Блан — мерзавец, а этот еще хуже“. Поэту хотелось, чтобы вся группа левых

[1] Гюго В. За войну в настоящем и за мир в будущем. Речь на заседании Национального собрания 1 марта 1871 года. — Собр. соч., т. 15, с. 507.

покинула зал заседаний вместе с представителями Эльзаса и Лотарингии. Он не мог их уговорить. Когда собрание, испугавшееся Парижа, решило заседать в Версале, он возражал: „Господа, не будем посягать на Париж. Не следует заходить дальше Пруссии. Пруссаки искалечили Францию. Не будем же ее обезглавливать“. Его не послушали.

Восьмого марта Собрание обсуждало вопрос о Гарибальди. Было предложено отменить состоявшееся в Алжире избрание в депутаты великого итальянца, который в самый тяжелый для Франции момент встал на ее защиту. В бурной обстановке, при неистовых криках большинства Собрания, Гюго возражал: „Как? Единственный иностранец, пришедший сражаться за Францию; единственный из всех генералов в этой войне, кто не понес поражения, и его вознамерились исключить!“ Виконт де Лоржериль перебивал его на каждой фразе, называл Гарибальди „статистом из мелодрамы“ и заявил наконец, что Собрание должно лишить слова Виктора Гюго, ибо он „говорит не по-французски“. Среди страшного шума и возгласов: „К порядку!“, председатель попросил Гюго объясниться. „Я удовлетворю вас, господа, — сказал Гюго, — и пойду еще дальше, чем вы требуете. Три недели тому назад вы отказались выслушать Гарибальди... Сегодня вы отказываетесь выслушать меня. Этого с меня достаточно. Я подаю в отставку...“[1].

Напрасно председатель от имени Собрания выразил сожаление; напрасно Луи Блан говорил о душевной боли, испытываемой столькими французами из-за того, что гениальный человек вынужден оставить французское Национальное собрание... „Он сам этого захотел“, — закричал один из правых. „По собственной воле“, — поддержал его герцог де Мармье. Левая в полном составе направилась в дом поэта. Он же 11 марта начал готовиться к отъезду в Аркашон. Он был в прекрасном настроении, радуясь, что хлопнул дверью, уходя из Собрания, которое он презирал. Однако он сожалел, что не мог разрешить ряд задач, и записал в своей книжке: „Отмена смертной казни. — Отмена позорящих и бесчестящих наказаний по приговору суда. — Реформа магистратуры. — Подготовка к организации Соединенных Штатов Европы. — Обязательное и бесплатное образование. — Права женщины...“ Программа на сто лет.

---

[1] Речь в Национальном собрании 8 марта 1871 г. („Дела и речи“, „Во время изгнания“).

Он пародировал Национальное собрание, изображая, как бы там пытался Корнель произнести фразу: „*А как вы думаете, что он мог бы сделать против троих?*“ Вот как бы это происходило, писал Гюго:

Корнель. А как?

Дариваль. Дурак!

Белькастель. Красный!

Правая в один голос. Опасный! *(Продолжительный смех.)*

Рауль Дюваль (Корнелю). Уважайте законы!

Корнель. Вы...

Анисон де Перрон. У! У! *(Всеобщий смех.)*

Корнель. Свяжите...

Бабэн-Шевез. Связать? Да, да, вязать сумасшедших!

Пра-Пари (Корнелю). Таких, как вы!..

Аббат Жафр (Корнелю). Ваша речь недостойна Собрания.

Виконт де Лоржериль. Господин председатель, лишите слова Пьера Корнеля. Он говорит не по-французски.

(Корнель пытается продолжать.)

Правая в один голос. Довольно! Довольно!

(Последние слова, которые хотел произнести Корнель, теряются в шуме.)

В этой пародии, увы! не было никакого преувеличения.

В течение нескольких дней Гюго плохо спал. Он думал о том, что число тринадцать преследует его, вот даже покинуть свою временную квартиру в Бордо он должен тринадцатого числа. Дурное предзнаменование. Он прислушивался к ночным стукам, — казалось, кто-то бьет молотком по доске. Тринадцатого он весь день осматривал Бордо, был во дворце Гальена. Вместе с Алисой, Шарлем и тремя друзьями он должен был обедать в ресторане Ланта. Алиса и приглашенные уже собрались там. Поджидали Шарля. Вдруг вошел посыльный и сообщил Виктору Гюго, что его просят выйти на улицу. Это приехал господин Порт, владелец дома № 13 по улице Сен-Мор. „Господин Гюго, — сказал он, — мужайтесь! Ваш сын... Шарль... Увы! Он умер!..“ Гюго оперся о стену. „Да, — продолжал Порт, — он нанял фиакр... Когда подъехали к кафе „Бордо“, кучер открыл дверцу и обнаружил, что привез мертвеца. У вашего сына хлынула кровь через нос и изо рта. Скоропостижная смерть от кровоизлияния в мозг“. Гюго сказал Алисе, что вскоре вернется, и помчался на улицу Сен-Мор. Туда принесли

тело Шарля. Дети спали. *В записной книжке Виктора Гюго от 14 марта 1871 года*: „Я утешал Алису. Плакал вместе с нею. Впервые я обратился к ней на „ты“. Оплатил вчерашний обед в ресторане Ланта — 27 франков 75 сантимов, обед, на который мы ждали Шарля“.

Гюго решил похоронить сына в Париже на кладбище Пер-Лашез, в могиле генерала Гюго. Он покинул Бордо 17 марта в шесть часов тридцать минут вечера, надломленный, но мужественный.

Жесток удар судьбы. Немыслим горя гнет.
Но он и эту боль без трепета снесет[1].

II

Чья вина?

И гибли корабли и шли ко дну —
Я с ними погружался в глубину.
Их боль для сердца моего
Была нужней, чем ваше торжество.

Виктор Гюго

Траурный поезд прибыл в Париж в разгар восстания. Коммуна взяла власть в свои руки. Революционеры и патриоты объединились, исполненные гнева против условий мирного договора и против Национального собрания. Распространялись различные слухи; на Монмартре происходили стычки; расстреляли двух генералов. У Орлеанского вокзала толпа ожидала Виктора Гюго и гроб с прахом его сына. Отец в трауре принял своих друзей в кабинете начальника вокзала. Он сказал Гонкуру: „Вас постигло несчастье, меня тоже... Но со мной не так, как с другими: два страшных удара в течение жизни“. Началось траурное шествие. Пестрая толпа, несколько писателей, Франсуа-Виктор рядом с отцом и вооруженный народ. „Седая голова идущего за гробом Гюго в откинутом капюшоне поднималась над этой пестрой массой, напоминая голову воинственного монарха времен Лиги...“ С площади Бастилии процессию сопровождал само собою возникший почетный эскорт с опущенными ружьями. На протяжении всего пути до кладбища Пер-Лашез батальоны Национальной гвардии брали на караул и салютовали

[1] Гюго В. Март. V („Грозный год“). Пер. М. Ваксмахера.

знамени; барабанщики выбивали траурную дробь, играли горнисты. Из-за воздвигнутых в городе баррикад кортежу приходилось двигаться в обход.

На кладбище говорил Вакери. На гроб стали бросать цветы. Так как гроб не проходил в двери склепа, необходимо было подточить камень. Это тянулось довольно долго. Гюго, задумавшись, смотрел на могилу своего отца, которую он не видел со времен изгнания, смотрел на гроб старшего сына и на то место, которое ему предстояло вскоре занять. Стихи возникли в его уме.

Рокочет барабан, склоняются знамена,
И от Бастилии до сумрачного склона
Того холма, где спят прошедшие века
Под кипарисами, шумящими слегка,
Стоит, в печальное раздумье погруженный,
Двумя шпалерами народ вооруженный.

Меж ними движутся отец и мертвый сын.
Был смел, прекрасен, бодр еще вчера один;
Другой — старик; ему стесняет грудь рыданье;
И легионы им салютуют в молчанье[1].

Перед тем как гроб был опущен в могилу, Гюго стал на колени и поцеловал его. Он всегда придерживался этого ритуала. Когда он уходил, его окружила толпа. Незнакомые люди пожимали ему руку. „Как любит меня этот народ и как я люблю его!“

Тотчас же вместе с Жюльеттой, Алисой и детьми он уехал в Брюссель, где Шарль жил со времени своей женитьбы, — нужно было уладить дело с наследством, обремененным долгами. Некоторые осуждали Гюго, говорили, что он просто воспользовался удобным предлогом, чтобы уехать, вместо того чтобы занять определенную политическую позицию. Однако ему действительно необходимо было находиться в это время в Бельгии. Алиса и Шарль привыкли ездить на курорт в Спа, пристрастились там к игре и, проигравшись „дотла“, задолжали большую сумму. *В записной книжке Гюго 8 апреля 1871 года отмечено:* „Алиса и внуки позавтракали... Затем мы вместе с Виктором направились к нотариусу Вант-Хальтену. Он сообщил нам весь счет долгов семьи. Долги, объявленные в Брюсселе, составляют больше тридцати тысяч франков... К 30 000 франков этих долгов (Алисы и Шарля вместе) следует прибавить 41125 франков долга по газете

---

[1] Гюго В. Похороны („Грозный год“). Пер. Ю. Корнеева. — Собр. соч., т. 13, с. 94.

„Раппель“ („Призыв“) и 8000 франков по распискам доктору Эмилю Аликсу. Кроме того — расходы, связанные с похоронами в Париже и оплатой нотариуса в Брюсселе...“ *9 апреля 1871 года:* „Я предупредил Виктора, что Алиса должна вернуть неоплаченную шаль (шаль с золотыми пальмовыми ветками стоимостью 1000 франков) и что я ни в коем случае не заплачу за нее, не желая, чтоб эта сумма была отнята у двух малолетних детей...“

Гюго внимательно следил за событиями в Париже. Они были плачевны. Французы дрались между собой на виду у противника. Если бы Гюго полагал, что он может быть чем-то полезен, то, несмотря на семейные обязательства, возвратился бы в Париж. „Бесспорно, ничто бы меня не удержало. Но я мог лишь, как мне казалось, ухудшить обстановку. Моя слабость — говорить всегда правду, ничего кроме правды, только правду. Что может быть более неприятным?.. Собрание меня не принимает. Коммуна меня не знает. Конечно, это была моя ошибка...“ События ухудшались. Коммуна, сражаясь, убивала и сжигала. Версальцы обстреливали Париж: „Короче говоря, Коммуна столь же безрассудна, как жестоко Национальное собрание. Безумие с обеих сторон. Но Франция, Париж и республика выйдут из положения...“ — добавил он, веря, что в конечном счете мудрость древней страны восторжествует. 20 августа он узнал о смерти Эмиля Дешана, старого своего друга, умершего после ужасных страданий на восьмидесятом году жизни. При свете луны, среди деревьев на площади Баррикад, он услышал, как пел соловей, и ему пришла мысль: „Не воплотилась ли в соловье душа одного из дорогих умерших?“ Жанна говорила во сне: „Папа“. Отец ее умер. Теперь дед учил Жоржа чтению. Он писал стихи для газеты „Раппель“. Они назывались „Вопль“, — то был призыв к сражавшимся прекратить ужасную резню:

> Бойцы! К чему ведет кровавая борьба?
> Вы, как слепой огонь, сжигающий хлеба,
> Уничтожаете честь, разум и надежды!
> Как? Франция на Францию!
> Опомнитесь! Пора! Ваш воинский успех
> Не славит никого и унижает всех:
> Ведь каждое ядро летит, — о, стыд! о, горе! —
> Увеча Францию и Францию позоря...[1]

---

[1] Гюго В. Вопль („Грозный год“). Пер. М. Донского. — Собр. соч., т. 13, с. 100.

Он не одобрял крайностей Коммуны, но убеждал версальское правительство не отвечать на насилие жестокостью. Прочь мщение:

Упорно верю я в священные слова:
Честь, разум, совесть, долг, ответственность, права.
Кто ищет истину, тому нельзя быть лживым,
Служа республике, быть нужно справедливым;
Долг перед ней велит свой обуздать порыв.
Тот, кто безжалостен, едва ли справедлив...
Двадцатилетнее изгнанье научило
Меня тому, что гнев есть слабость, стойкость — сила;
Мой отвратился дух от ярости слепой.
Когда увижу я, что страждет недруг мой,
Преследователь мой, мой самый лютый ворог,
Что он в тюрьме, в цепях, — то он мне станет дорог
За то, что он гоним. Теперь неправый суд
Преследует его, — я дам ему приют.
И первым за него ходатаем я буду.
Когда б я был Христом, то я бы спас Иуду[1].

Но дух ненависти охватил как Париж, так и Версаль. Каждый день Гюго узнавал то о смерти, то об аресте своих друзей. Флуранс убит. Шоде расстрелян Коммуной. Локруа арестован версальцами. Затем после прихода версальцев в Париж, 21 мая, Рошфор и Анри Бауэр были заключены в тюрьму; Луизе Мишель, Красной Деве, чьей „великой жалостью" Виктор Гюго восхищался, угрожала смертная казнь. Коммуна расстреляла шестьдесят четыре заложника. Национальное собрание расстреляло шесть тысяч заключенных. Сто за одного. „Эти люди, — писал Виктор Гюго, — утверждали: *Все во имя закона, все именем закона.* Что вы наделали! Массовый расстрел. Казни без суда случайных людей, военно-полевые суды..." Побежденные коммунары устремились в Бельгию; Гюго объявил, что он предоставит изгнанникам убежище в своем доме (площадь Баррикад, 4), „Не будем закрывать нашу дверь перед беженцами, быть может ни в чем не повинными и, уж несомненно, не осознавшими свои действия..."

Его протест во имя права убежища появился в „Индепенданс Бельж". Он получил много приветственных писем, но как-то ночью был разбужен криками: „Смерть Виктору Гюго! Смерть разбойнику! На фонарь!" Большие камни разбили его окна, его люстры. Маленький Жорж в испуге лепетал: „Это пруссаки!" Банда хулиганов пы-

[1] Гюго В. Долой репрессии („Грозный год"). Пер. М. Донского.

талась взломать ставни. Этого им сделать не удалось. Дом осаждали человек пятьдесят „золотой молодежи“. Дело, по существу, не столь уж серьезное, но декрет бельгийского правительства предписал „господину Виктору Гюго, литератору, шестидесяти девяти лет, немедленно покинуть королевство и впредь не возвращаться сюда“[1].

К чести Бельгии следует сказать, что последовали горячие протесты против этой высылки как в палате депутатов, так и по всей стране. Гюго обратился к бельгийцам с благородным письмом: „В каждом деле, потерпевшем поражение, надо разобраться. Так мне казалось. Расследуем, прежде чем судить, и особенно прежде, чем осуждать, и особенно прежде, чем казнить. Я считал этот принцип бесспорным. Но оказывается, куда лучше сразу же убивать... Быть может, хорошо, что мне в моей жизни пришлось испытать изгнанье. Впрочем, я по-прежнему не намерен смешивать бельгийский народ с бельгийским правительством, и, считая для себя честью длительное гостеприимство, оказанное мне Бельгией, я прощаю правительство и благодарю народ...“[2].

Возвратиться в это время во Францию означало подвергнуть себя жестоким и ненужным оскорблениям. Он решил направиться в Люксембург. Во время летних путешествий вместе с Жюльеттой он четыре раза останавливался в маленьком городке Виандене, который нравился ему по двум причинам: жители страны, узнав его, исполнили перед его окнами утреннюю серенаду; ему нравились также возвышавшиеся над долиной руины старого замка в излюбленном им стиле. Наконец он обрел покой. Люксембург устроил ему пышный прием. На перроне вокзала люди, проходя мимо него, восклицали: „Да здравствует республика!“, а многие очаровательные женщины бросали на него удивительно нежные взгляды.

В Виандене он снял два дома, — один старинный, с резными украшениями, склонившийся над рекой Ур, для себя, другой для своей семьи[3]. Он сразу же взялся за перо, радуясь, что может продолжать работу над своим романом и стихами, но его тревожили поступавшие из Парижа сообщения. Мерис был арестован, Вакери охвачен

---

[1] Гюго В. Бельгийский инцидент. — Собр. соч., т. 15, с. 542.

[2] Гюго В. Письмо пяти представителям бельгийского народа. — Собр, соч., т. 15, с. 546.

[3] Теперь в первом доме устроен музей, в другом находится гостиница „Виктор Гюго“. (Прим. автора.)

беспокойством; Рошфору, по-видимому, угрожала ссылка; Луиза Мишель, „дикая маленькая мечтательница“, воскликнула на военном совете: „Если вы не трусы, расстреляйте меня!“. Гюго написал в ее честь превосходные стихи[1] и решительно выступил против жестоких репрессий. Луи Блан и Виктор Шельшер, больше, чем он, подвергавшиеся опасности, благоразумно отмежевались от него. *В записной книжке Виктора Гюго от 13 июня 1871 года:* „Я отвечу им: „Откровенность за откровенность. Мне ненавистно как преступление красных, так и преступление белых. Вы промолчали. А я говорил. Я выступил с протестом против призыва: „Vae victis“[2].

Так как всюду говорили, что он оказывает радушный прием беженцам, некая восемнадцатилетняя женщина, Мари Мерсье, написала ему письмо, попросив предоставить ей убежище. Она была подругой слесаря Мориса Гарро, ставшего во время Коммуны начальником тюрьмы Мазас. Хотя он, по-видимому, не совершал никаких жестокостей, его без суда расстреляли, и его любовница, как некогда Софи Гюго, по кровавым следам шла за фургоном с трупами до кладбища Берси. Мари Мерсье, „вдова Гарро“, просила предоставить ей работу. Гюго получил согласие своей снохи, что она наймет Мари горничной; впоследствии он стал ее любовником. Эта круглолицая, черноволосая и румяная женщина с пухлыми губками была очаровательна. Она много рассказывала ему о Коммуне. „Кровь прямо ручьями лилась“, — говорила она.

Мари, носившая глубокий траур, колебалась, не желая поддаться увлечению, но Олимпио был настойчив. „Только он один умел так обворожить женщину“, — признавалась Мари тридцать лет спустя. Она не видела в этом ничего плохого, ребячливая, „трогательная своим горем, одиночеством, печальным взглядом в восемнадцать лет, слезами, бежавшими под черной вуалью, словно жемчужины, по розовым ее щекам“. „Он поклонялся тому, во что верили мы с мужем: Свободе, Справедливости, Республике...“ Как некогда Жюльетте, он говорил ей о боге, бессмертии, цветах, деревьях, о бесконечности и о любви. „Она ласкала его, восхищалась им, обожала, хотела иметь от него ребенка“. Повинуясь ему, она ку-

[1] Речь идет о стихотворении „Viro maior“ — „Мужественнее мужа“ (лат.).

[2] Горе побежденным (лат.).

палась в реке Ур и нагая входила в воду перед своим старым, но вечно юным любовником. Столь же подвижный, как и она, он уводил ее на длительные прогулки, поднимался с нею на соседние горы. После всех этих галантых восхождений он возвращался в свой маленький домик и в одиночестве, стоя у конторки, писал „Грозный год“, „Девяносто третий год“, стихи для новой серии „Легенды веков“, где по поводу Магомета он говорил о себе:

Он созерцал нагих прекрасных дев,
А после, очи к небесам воздев,
Шептал: „Земле — любовь, а небу — свет...[1]

Трагические воспоминания Мари Мерсье побудили его написать замечательные поэмы, мрачные и благородные, в которых с песней на устах, с гордым презрением молодые девушки идут умирать за родину. Он неустанно повторял, что те, кого убивают, — это его братья, что он защищает сраженных, против которых боролся в пору их могущества; что жизненные конфликты разрешаются любовью, а не оружием.

Увы! Изгнанник снова потрясен,
Еще не кончился кошмарный сон:
Глубокий ров, команда в тишине,
Толпа несчастных лепится к стене,
И грохнул залп — кого, за что казнят?
Да без разбору, все и всех подряд...
Давай, давай, пали, стреляй скорей —
В бандитов и калек, в детей и матерей!
Пусть на щеке слеза еще тепла,
Но известь всех сожрет, сожжет дотла![2]

Он сделал для себя выбор между соображениями государственной пользы, угодливой, как публичная женщина, и милосердием. Разве в этой „пользе“ была хоть крупица истинной пользы? Служила ли она государственным интересам? Чтобы высмеять эти интересы, он воспользовался интонацией „Возмездия“, ее жестокой иронией:

О братство! Ты — химера из химер!
Америка Европе не пример...
Мечтать о царстве света и ума
Глупей, чем строить снежные дома!..[3]

То были два необычайно плодовитых месяца. Победа

[1] Гюго В. Ислам („Легенда веков“).
[2] Гюго В. В Виандене („Грозный год“).
[3] Гюго В. Июнь. II („Грозный год“).

над молодой женщиной подхлестывала его поэтический дар. Попадались на его пути и другие приключения, и он мимоходом срывал поцелуи. В конце своего пребывания в этом краю он направился в Тионвиль посмотреть на город, который когда-то защищал и прославил его отец, затем он остановился на некоторое время в Алтвизе, где встретил Мари Мерсье, устроившуюся (с его помощью) работать модисткой. Записные книжки Гюго пестрят заметками о триумфах. *3 сентября:* „Мари... parece amorosa. *11 сентября:* „Quiero que ésta me haga un niño“, *12 сентября:* „Ahora, todos los días ya toda hora misma Maríd“. *22 сентября:* „Misma — toda...“[1]

Испанский язык в этих записях должен был охранять любовные тайны от пытливой ревности Жюльетты.

Первого октября он прибыл в Париж. Каков будет прием? В обществе драматических писателей Ксавье де Монтепен потребовал его исключения, как защитника секты убийц. Ксавье де Монтепен был автором романов, печатавшихся в газетах с продолжением, и мелодрам, ему принадлежит замечательный афоризм: „Свобода совести — понятие, лишенное смысла“. *В записной книжке Виктора Гюго отмечено 5 сентября 1871 года:* „Год тому назад я возвратился в Париж. Какой был тогда восторженный прием! И какое отношение ко мне теперь! А что я такого сделал? Просто выполнил свой долг...“ *16 сентября 1871 года*: „Получил телеграмму от Мериса. Он снял нам квартиру на год, улица Ларошфуко, 66...“

Возвращение было довольно драматичным. Совершая вместе с Жюльеттой прогулку в экипаже, он увидел разрушенные дворец Тюильри и ратушу. Его просили вступиться за Рошфора. Без особой надежды он попросил свидания у Тьера: „Теперь я ничто“. В Версаль он поехал поездом. В вагоне какой-то мужчина в модных желтых перчатках, узнав Гюго, бросал на него яростные взгляды. В префектуре его провели в салон, обитый шелком малинового цвета. Вошел Тьер. Прием оказался более сердечным, чем ожидал Гюго. „Между нами существует расхождение во взглядах, — сказал Гюго, — которое сознаем и вы и я, но в вопросах совести мы можем сойтись“. Было условлено, что Рошфора не отправят в ссылку, что ему беспрепятственно будут давать свидания с детьми и разрешат писать. Гюго настаивал на амнистии

[1] Кажется, влюблена. Хочу, чтобы она родила мне ребенка. Теперь все дни, в любой час все та же Мари. Все та же всецело моя (исп.).

и требовал, чтобы больше не было слепого подчинения военным. Тьер признался в своем бессилии: „Я весьма ничтожный диктатор в черном сюртуке... Я, так же как и вы, побежденный, носящий маску победителя; на меня сыплется град проклятий, так же как и на вас...“ На обратном пути какая-то молодая женщина, находившаяся в вагоне, показывая мужу заметку в газете, сказала: „Виктор Гюго — герой“. — „Тише, — шепнул муж, — он ведь здесь“. Она взяла со скамейки шляпу поэта и коснулась губами траурной ленты. Затем она сказала: „Вы много выстрадали, сударь! Продолжайте защищать побежденных“. Он поцеловал ей руку.

На следующий день он отправился к Рошфору. „Без вас я бы погиб“, — сказал узник. В последовавшие дни Гюго хотел осмотреть свой Париж. Почти все дома, где он когда-то жил, оказались разрушенными. В газете „Раппель“, с которой наконец было снято запрещение, он в первом же номере опубликовал „Обращение к редакторам“:

„В переживаемый нами момент необходимо сделать одно, лишь одно. Что именно? Возродить Францию. Возродить Францию во имя каких целей? Ради самой Франции? Нет. Ради всего человечества. Угасший светильник никто не зажигает вновь ради самого светильника... Светильник зажигают также и для того, кто его погасил и этим ослепил себя; Францию нужно возродить и ради Германии. Да, ради Германии. Ибо Германия — раб, и Франция возвратит ей свободу...“.

Этот номер газеты раздавался бесплатно. Гюго дорожил вниманием преданных ему читателей, но его ненавидела знать за его политические взгляды; монархические и бонапартистские салоны единодушно чернили его гений. Однажды в салоне принцессы Матильды (изгнание которой длилось всего два года) лишь один Теофиль Готье защищал его: „О, что бы вы ни говорили, Гюго, поэт туманов, туч, моря, поэт неуловимых очертаний, по-прежнему велик!“ Но поэт туманов совершил преступление, ибо стал также поэтом бедноты.

Этот 1872 год казался ему мрачным. Он потерпел поражение на январских выборах; всех ужасала его снисходительность к коммунарам. В феврале возвратилась в Париж его несчастная дочь. Некоторое время семья не знала, где находится Адель. После того как Пинсон был отправлен в гарнизон на остров Ла-Барбад, она последовала за ним, но никому не сообщила своего адреса, и одна,

без средств, впала в такое безумие, что ее пришлось поместить в больницу. Когда ее опознали, она была доставлена во Францию негритянкой Селиной Альварез Баа, „чернокожей энергичной жительницей этой колонии". *В записной книжке Виктора Гюго отмечено 6 марта:* „Я отправился к доктору Аликсу, чтобы вручить деньги мадам Баа, которая 17-го уезжает в Тринидад (из Ливерпуля);

1. За услуги	500 франков
2. Ее проезд до Тринидада	800 франков
3. Переезд до Ливерпуля	100 франков
4. Возмещение различных расходов	100 франков

Итого 1500 франков

Мадам Баа передала мне драгоценности Адели. Все сломано и разграблено. Я обнаружил кольцо моей жены. Мадам Баа я подарил два золотых браслета, брошь и серьги, тоже золотые, на память об Адели". *10 марта записано*: „Она уезжает во вторник 12-го. Я вручил ей 1500 франков банкнотами и золотой убор. Со мной была Жанна, она внимательно разглядывала чернокожую мадам Баа..."

Адель была помещена в Сен-Манде. Она вышла оттуда (после смерти Виктора Гюго), с тем чтобы направиться в замок Сюрен, прежнее поместье княгини Водемон, в роскошную психиатрическую больницу, где она занимала отдельный флигелек. Здесь она и умерла в 1915 году, в возрасте восьмидесяти пяти лет. Она была очень тихой больной, совсем не казалась несчастной, но часто несла всякий вздор. Оставаясь превосходной музыкантшей, неутомимой пианисткой, она называла себя автором самых знаменитых опер. Для развлечения ее водили в зоологический сад и в магазин „Бон Марше". Воспоминание о тяжелом времени, пережитом на острове Ла-Барбад, породило в ней „удивительную боязнь голода", она, подобно собакам, прятала все, что ей давали. И как во времена безумия своего брата Эжена, Гюго страдал от тайной душевной раны, омрачавшей его жизнь. „Моя бедная Адель, бедная моя дочка, более мертвая, чем мертвецы!.. Как бы я хотел, чтобы подобные мучения не оставляли в сердце следа. Вчера я навестил бедняжку... Боже ты мой, какой ужас!"

Только труд и чувственные наслаждения могли от-

влечь его от этих призраков. Женщины продолжали играть большую роль в его жизни. Ему было тогда семьдесят лет. Возобновление „Рюи Блаза" в „Одеоне" вновь сблизило его с актрисами. Жюльетта присутствовала на чтении драмы, устроенном для будущих исполнителей. „Жюльетта была там, — сделал запись Гюго 2 января. — О, эти воспоминания!.." Роль королевы, которую госпожа Гюго когда-то заставила отобрать у мадемуазель Жюльетты, — эта роль перешла теперь к Саре Бернар, молодой девушке, стройной, гибкой, с огромными глазами и бархатным голосом. Вначале она вела себя невыносимо, словно непослушный ребенок, отказывалась идти на читку к Гюго, которого она презрительно называла „амнистированным" коммунаром. Он укрощал и не таких строптивых, образумил и ее. Познакомившись с „Чудовищем", она безумно увлеклась им. „Он очаровательное Чудовище, такой остроумный, такой изысканный, такой галантный, причем его галантность воспринимается, как уважение, и ничуть не оскорбительна. И такой добрый к простым людям, и всегда веселый. Конечно, его нельзя было назвать идеалом элегантности, но его жесты были сдержанны, в манере говорить ощущалась мягкость, — словом, в нем чувствовался бывший пэр Франции... Случалось, что он, желая отчитать актера, обращался к нему в стихах. Однажды во время репетиции я сидела на столе, болтая ногами. Он понял мое нетерпение и, встав в первом ряду партера, воскликнул:

Испанской королеве не годится,
Забыв свой сан, на стол садиться!"

В день премьеры автор и актриса были самыми лучшими друзьями. *В записной книжке Виктора Гюго 20 февраля 1872 года сказано:* „Зал был переполнен. Я увидел и поздравил Сару Бернар. „Besé de boca"[1]. *28 марта 1872 года:* „Я отправился в „Одеон". Видел Сару Бернар в ее артистической уборной, она одевалась..." На ужине в ресторане Бребана в честь сотого спектакля Гюго был окружен прелестными дамами. Сара Бернар сказала ему: „Ну, наконец, поцелуйте же нас, — нас, женщин! Начните с меня..." Когда он расцеловал всех красавиц, она добавила: „И кончите мною". 2 ноября 1875 года, делая запись о ее визите к нему, Гюго заметил:

---

[1] Поцеловал ее в уста (исп.).

„Nosera el chico hecho“ („Ребенка не получится“). Неужели Сара Бернар, которая состояла в любовной связи с принцем де Линь и уже имела от него маленького сына, выражала такое же желание, как Мари Мерсье? Неужели ее так воспламенили стихи Гюго? „Что касается поездки в Англию, то я ее отложила, — писала она своему врачу, доктору Ламберу, в том же 1875 году. — Истинная причина состоит в том, что я боюсь, что у меня могут быть неприятности из-за Виктора Гюго. Я нездорова, очень нервничаю... возмущена глупым эгоизмом людей! Завтра испробую последнее средство.

Сара“.

Именно Сара Бернар в 1872 году пришла сообщить „своему любимому Чудовищу“ о смерти директора „Одеона“ Шарля де Шили. На похоронах Гюго увидел восьмидесятилетнего барона Тейлора, который во времена Содружества поэтов и знакомства с Виньи был одним из его первых друзей и с которым он не встречался в течение двадцати пяти лет. „За это время он стал сенатором, а я изгнанником“.

Среди бесчисленного множества поклонниц, актрис, писательниц, светских дам, которые предлагали ему тогда свою нежную дружбу, чьи фотографии заполняли его интимные записные книжки (заботливо наклеенные на обороте некоторых страниц и часто украшенные засушенными цветами), королевой дня была Жюдит Готье, удивительно красивая брюнетка: „Чуть розоватый цвет лица, большие глаза с длинными ресницами, придававшие этому задумчивому и как будто дремотному существу неизъяснимую, таинственную прелесть женщины-сфинкса“. Гюго познакомился с Жюдит Готье и стал ухаживать за нею во время пребывания в Брюсселе, куда она приехала со своим мужем, Катюлем Мендесом. В 1872 году она часто встречалась с Гюго и беседовала с ним о своем отце. „Добрый Тео“ страдал тогда от сильных сердечных приступов, но, как никогда, должен был усиленно работать, чтоб обеспечить свою жизнь. Гюго дружески предложил взять его с собой на Гернси, но так как переезд был бы опасен для больного, он добился для Готье пенсии. 12 июля он написал Жюдит сонет: „Ave, Dea Moriturus te salutat“:[1]

[1] „Здравствуй, Богиня, идущий на смерть тебя приветствует“ (лат.).

Есть много общего у смерти с красотою:
Вселенский мрак и свет обеим им сродни,
Они к себе влекут загадкою одною,
Одною тайною внушают страх они.

Уже приблизившись к последнему покою,
Я вами, женщины, и днесь, как искони,
Любуюсь, и пока глаза я не закрою,
Ваш взор, походка, смех мне красить будут дни.

Юдифь, кто б угадал, взглянув на наши лица,
Что наши две судьбы способны так сроднится?
У вас лучится взор сияньем неземным,

А я раскрыл свой дух надзвездному эфиру;
К потустороннему мы прикоснулись миру —
Вы красотой своей, я возрастом своим[1].

Ему исполнилось семьдесят два года, ей двадцать два, но она принадлежала ему toda[2]. Она выразила свое согласие, остроумно и изящно обыграв стих из „Рюи Блаза“:

„Мой повелитель,
У ваших ног во мраке человек,
Он ждет...“
Я обдумала все и решилась. Благодарю.
Жюдит М.“

Упоительная победа; он пожелал, чтобы Жюдит приехала в „Отвиль-хауз“, ему хотелось укрыться там от всех. Успех „Рюи Блаза“ внушил всем директорам театров желание возобновить и другие драмы Виктора Гюго. „Но репетиции одной пьесы мешают мне, — жаловался он, — написать другую пьесу, а так как мне остается четыре-пять лет для творчества, я хочу создать последние задуманные мною вещи... Право, надо мне удалиться“. Человек, одержимый жадным любопытством, вечный обольститель, поглощенный политикой и осаждаемый прелестными слушательницами, он стремился работать в одиночестве и много читать. Его медовый месяц с Парижем, пережитый в 1870 году, кончился: в 1872 году мед превратился в патоку, как сказал Байрон. Великолепный сборник „Грозный год“ был принят без восторга. Газеты ставили ему в вину то, что он заступался за Луизу Ми-

---

[1] Гюго В. Все струны лиры. Пер. М. Донского. — Собр. соч., т. 13, с. 459.
[2] Всецело (исп.).

шель, за Анри Рошфора, за всех потерпевших поражение коммунаров, и то, что он сочувствовал социализму. „Спускаясь по лестнице в доме на улице Ларошфуко, — пишет Гонкур, — я все еще оставался во власти обаяния этого великого человека и все же был несколько иронически настроен по отношению к тому пустому и звонкому мистическому жаргону, на котором высокопарно изъясняются такие люди, как Мишле и Гюго, желая выглядеть в глазах окружающих пророками, имеющими дело с богами...“ Все слилось воедино, чтобы отъезд стал для него желанным; пустив в ход все обеты ревнивой женщины и верной любовницы, Жюльетта звала его на „наш славный и прекрасный Гернси“. Гюго откликнулся на этот призыв в стихах:

Я в этом городе так чужд всему, так странен...
Завоеваний мне не надобно иных, —
Ведь я завоевал моей любимой сердце...[1]

Не найдя себе места среди фанатиков обоих лагерей, он снова жаждал теперь удалиться в почетное и искупительное изгнание. Чувствуя себя несказанно счастливым, он 7 августа 1872 года отправился на Гернси и, остановившись по пути на Джерси, прибыл наконец на свою „скалу“.

III

Вечерние приключения

Мальчишка Купидон под гром фанфар и труб
На склоне лет моих ко мне вернулся вдруг...

Виктор Гюго

„Отвиль-хауз“. Как радостно было вновь увидеть стеклянный бельведер, залитый светом, и бушующие волны моря. Жюльетта расцвела: „Все тут — огонь и пламя, солнце и любовь на земле и в небесах, в моем сердце и в душе, я тебя обожаю...“ Снова каждое утро она следит за сигналом, снова восхищается „фантастической красотой“ дома, украшенного ее господином, снова всматривается, как ее любимый на утреннем холодке обливается ледяной водой... вновь она счастлива видеть, „что у

[1] Пер. М. Донского.

ее дорогого" работа движется вперед гигантскими шагами. В течение нескольких месяцев он написал ряд набросков для „Свободного театра", несколько поэм для новой серии „Легенды веков" и один из лучших своих романов — „Девяносто третий год".

В первое время в дом вносила оживление Алиса со своими детьми. Но молодой вдове совсем не нравилось жить на острове под надзором старой любовницы своего свекра. Алиса Гюго была славной и хорошей женщиной. Разве можно ее винить за то, что она скучала? Жюльетта, говоря о ней, становилась желчной. *8 сентября 1872 года она писала Виктору Гюго:* „Никто, кроме нас, не находит прелести в спокойной и милой прогулке по этому чудесному острову..." Прошел всего лишь месяц, и Алиса решила увезти своих детей в Париж. *Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 27 сентября 1872 года:* „У меня сердце сжимается при мысли о том, что ты будешь страдать, разлучившись с ними... Я люблю тебя, но прекрасно понимаю, что этого теперь недостаточно, — ты все-таки будешь самым несчастным из отцов..."

Первого октября Франсуа-Виктор (больной туберкулезом), Алиса, Жорж и Жанна отправились во Францию. *В записной книжке Гюго сказано:* „Они садятся в экипаж... Я целую Жанну, она удивлена и говорит мне: „*Папапа*, садись с нами!" Я закрываю дверцу, экипаж трогается. Я следую за ним до угла улицы. Все исчезает. Тяжело на сердце". *15 октября:* „Я не имею известий о моих малышах. Разлука с ними укоротит мне жизнь. Но в этом нет большой беды..." *3 ноября*: „Письмо от Алисы. Виктор серьезно болен. Тоска гнетет меня..."

Поль Мерис и Эдуард Локруа торопили его возвратиться в Париж, чтобы заняться там политической деятельностью. Но он был убежден, что спасением для него является только Гернси: „Здесь я за неделю сделаю больше, чем в Париже за целый месяц". И качество не уступало количеству. Когда умер „добрый Тео", Виктор Гюго создал в своей „Надгробной элегии" несколько самых прекрасных стихов во всей французской поэзии:

Поэт, друг, — ты ушел от нашей черной яви,
Покинул суету, чтоб вечно жить во славе...
Я кланяюсь тебе у входа в этот склеп...

И я — вслед за тобой. Не затворяйте входа.
Здесь исключений нет, так требует природа;
Все будут скошены, — закон неумолим!

Сойдет во мглу, куда, бледнея, мы спешим,
Весь наш великий век и все его титаны.
Чу! Гулом полнятся материки и страны.
То рушатся дубы, стволов растет гора
Для погребального гераклова костра[1].

Вот оно, высшее, несравненное мастерство. *Жюдит Готье — Виктору Гюго*: „Спасибо, дорогой мэтр. С тех пор как он ушел от нас, это для меня первая радость... Как он был бы счастлив, увидев эти строки, почесть, которую бог воздал ученику. Но стихи написаны не вашим, дорогим для меня почерком. Не пришлете ли мне саму рукопись?.." *Виктор Гюго — Жюдит Готье:* „Мадам, шлю рукопись. Дорогой всем нам и тонкий поэт, который был вашим отцом, вновь оживает в вас. В поисках идеала он создал вас, вас, которая как женщина и светлый ум — воплощение совершенной красоты. Целую ваши крылышки..." Последняя фраза вносит в письмо интимную нотку.

Никогда, ни над одним романом, он не работал с таким упоением, как над „Девяносто третьим годом". *21 ноября 1872 года он отметил*: „Сегодня начинаю писать книгу „Девяносто третий год" (первую главу). У меня в „стеклянной моей комнате" перед глазами портрет Шарля, портреты Жоржа и Жанны. Я взял новую хрустальную чернильницу, купленную в Париже; открыл новую бутылочку чернил и налил их в новую чернильницу; взял пачку „полотняной" бумаги, специально купленной для этой книги; взял доброе старое перо и начал писать первую страницу..." *16 декабря:* „Теперь я буду писать, стоя, все дни без перерыва, если на то будет божья воля..."

Писать стоя, — так он работал во времена „Собора Парижской богоматери", когда ему было тридцать лет; на восьмом десятке он не утратил ни творческой силы, ни вдохновения. В основе „Девяносто третьего года" — конфликт, интересовавший его в молодости, конфликт между белыми и синими, но происходит он отнюдь не в душе, как у Мариуса из „Отверженных", а в действии. Обстановка — те места, где находились шуаны, была ему хорошо знакома. Фужер, Доль, леса с дуплистыми деревьями, поля и рощи Бокажа, окрестные мызы и фермы, — он посещал все эти места вместе с Жюльеттой,

[1] Гюго В. Теофилю Готье („Все струны лиры"). Пер. М. Донского.

это была ее родина. Она написала для него воспоминание об этой поездке. Когда-то в войне против вандейцев майор Гюго проявлял милосердие. Сын имел полное право взять этот сюжет, развить его, как подобает беспристрастному судье, и показать в обоих лагерях, монархическом и республиканском, величие наряду с жестокостью. Говэн, молодой предводитель синих (Гюго дал ему девичью фамилию Жюльетты Друэ), настоящий и великодушный герой, но и маркиз де Лантенак, аристократ и шуан, также жертвует собой ради спасения троих детей. Диалоги в романе носят несколько театральный характер. Но ведь французская революция была такой возвышенной и драматичной. Ее герои принимали гордые позы и сохраняли их до самой смерти. Пафос, составлявший недостаток творчества Гюго, помог ему создать образы этих полубогов. Жюльетта с воодушевлением переписывала книгу: „Я полна восторга, ибо пишу за столом, где приумножаются твои шедевры“.

Первого января 1873 года она повторила молитву, которую он когда-то сочинил для нее: „Господи боже, сделай так, чтобы мы всегда жили вместе! Услышь его мольбу во мне. Услышь мою мольбу в нем. Сделай так, чтобы он не расставался со мной ни на один день в этой жизни, ни на одно мгновение вечности. Сделай так, чтобы я всегда была в этой и в той жизни полезной и любимой. Полезной для возлюбленного и им любимой. Спаси нас, преобрази нас, соедини нас!..“ В день годовщины их любви, в сороковой раз, она напомнила ему о том февральском утре 1833 года, когда, стоя у окна, она посылала ему воздушные поцелуи, а он то и дело оборачивался и отвечал ей тем же. „Все изменилось, я облачилась в наряд старости, но мое сердце и моя душа остались молодыми, и я обожаю тебя, так же как в первый день, когда я стала твоей...“

Ах, как был необходим ей этот ритуал и эти воспоминания, чтобы сохранить волю к жизни!“ Ведь ее „божественный учитель“ (это было ее святотатственное выражение) оставался неисправимым. 20 ноября 1872 года, когда Мари Мерсье, русалка „из прозрачных вод Ура“, появилась на Гернси, ее летний любовник не оказал ей радушного приема. *Записная книжка Виктора Гюго гласит:* „Я отправлю ее в Лондон, а оттуда в Брюссель. Проезд я оплачу...“ Дело в том, что Жюльетта допустила неосторожность: в марте 1872 года она взяла к себе в дом очень красивую, двадцатидвухлетнюю белошвейку Бланш. Вновь прибывшая была довольно образо-

ванной девушкой, в правописании и в почерке она могла с успехом соперничать с Жюли Шене. Она знала наизусть множество стихов, в особенности стихов Гюго. Госпожа Друэ, устав от секретарских обязанностей, даже предполагала доверить ей переписку рукописей Гюго. Бланш была невинной и скромной. Встретив эту мудрую деву в доме Ланвенов, старых друзей, доказавших в дни государственного переворота свою преданность Гюго, Жюльетта уговорила ее бросить работу в мастерской. Ей и в голову не приходила мысль о том, что она подвергает опасности свое собственное счастье.

Бланш, воспитанная Ланвенами, считалась их дочерью или внучкой, и они не отрицали это вымышленное родство. В действительности же Бланш-Мари-Зелиа родилась 14 ноября 1849 года от неизвестных родителей. В подобных случаях французский закон предписывает давать ребенку три имени, из которых одно разрешено считать его фамилией. Смуглая, с печальным взором, стройная Бланш должна была нравиться Виктору Гюго своей очаровательной фигурой, грацией и томностью движений. Ланвены, глубоко преданные Жюльетте и не питавшие иллюзий в отношении Минотавра, давали своей приемной дочери наказ вести себя благоразумно. Впрочем, в Париже она не подвергалась атакам, которым следовало бы давать отпор. Жюдит Готье, Сара Бернар, Джейн Эйслер, Эжени Гино, Зели Робер, Альбертина Серан и многие другие — их было вполне достаточно, чтобы утолять ненасытные желания прославленного поэта.

В „Отвиль-хаузе" Бланш очутилась наедине со Стариком моря и сразу же почувствовала действие его неотразимого обаяния. Слава, гений, разум, творческая сила, — как могла устоять та, которую ошеломлял поток его шедевров? Ведь восхищение человеком тоже ведет к любви. К тому же царь Давид был во власти соблазна. Некоторое время он честно пытался бороться со своим желанием. Это доказывают записные книжки. *27 января 1873 года там записано:* „Alba. Peligro. Aguardarse. No quiero para ella, ni para laque tiene mi corazón..." („Бланш. Опасность. Будь осторожен. Я не хочу ничего плохого ни ей, ни той, которая близка моему сердцу...") Когда он становился настойчив, бедняжка Бланш казалась столь несчастной, что Людоеду становилось жаль ее: „Она ни на что не соглашалась... Она лепетала: „Сударь", а я: „Сударыня..." Я подсмотрел пока лишь уголок ее плеча..."

Тропинкой нежности спускались мы вдоль склона,
Где в наши времена, как и во время оно,
Таится змей любви, заманивая в сад,
По видимости — в рай, однако чаще — в ад.
Весна. Мы с ней вдвоем. Идем глухой дубровой.
Она из розовой становится пунцовой.
Я полон до краев пьянящим торжеством,
И оба грезим мы, должно быть, об одном...[1]

Он дал ей новое имя — Альба и приносил написанные для нее стихи. Она была очарована, побеждена, но героически сопротивлялась. Однако после нескольких месяцев борьбы бедная девушка уступила и, будучи очаровательной, подарила поэту такое же счастье, какое некогда дарила ему Жюльетта. Он говорил ей это, как и всем другим, в изумительных стихах. Никогда еще старый обольститель не писал столь пламенных строк. Победа окрылила его, порождала в нем новую творческую силу. Его новая любовь прекрасно гармонировала с деревенской жизнью, и во время прогулок с Бланш все в полях пленяло красотой — и цветущие живые изгороди, и зреющие хлеба.

К несчастью, в „Отвиль-феери" была Жюльетта, так хорошо умевшая распознать беду. Она сразу догадалась, что происходит в „Отвиль-хаузе". Однако 20 мая Гюго не забыл сочинить свою обычную молитву: „Я хочу, чтобы наши души, в благословенный день твоего праздника, слились воедино, как нежные лучи утренней зари. Мои уста целуют твои ноги... Моя душа приникает поцелуем к твоей душе". Но эта душа оставалась недоверчивой. Жюльетта заставила Бланш исповедаться. Девушка плакала, молила о прощении, уверяла, что у нее есть жених. Было решено, с согласия Ланвенов, что она тихо и мирно покинет Гернси.

Записная книжка Виктора Гюго, 1 июля 1873 года: „Бланш уходит от Ж. Ж. Ее заменит Генриетта (Морван), которая придет 15 июля... Бланш уезжает сегодня утром в Париж, через Джерси. Сюзанна проводит Бланш на пароход. Завтра, в среду, на Гранвиль нет отправлений. Бланш должна поехать в Сен-Мало..." *Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 1 июля 1873 года:* „Не без волнения я помогаю бедняжке Бланш готовиться к отъезду, хотя у меня есть (или мне кажется, что есть, это не меняет дело) много причин не жалеть об ее отъезде. Впро-

[1] Гюго В. Лес („Все струны лиры"). Пер. М. Донского.

чем, теперь она и сама хочет уехать, ее лицо сияет от радости. Я желаю ей искренне и от всего сердца, чтобы она нашла в Париже свое счастье. Если бы я могла тут чем-нибудь ей помочь, я охотно бы это сделала, но, конечно, не в ущерб моему собственному счастью..."

Быть может, очаровательная Альба искренне заверяла Жюльетту, что она „возвращается в Париж для того, чтобы выйти там замуж". Быть может, и Гюго чистосердечно клялся никогда ее больше не видеть. Но любовное влечение сильнее всяких клятв. Работа над „Девяносто третьим годом" была завершена; поступали тревожные сведения о здоровье Франсуа-Виктора; Гернси без Альбы наводил на Гюго тоску, 31 июля 1873 года он увез Жюльетту во Францию. В то время преемником Тьера стал Мак-Магон; торжествовали люди в эполетах, и можно было предположить, что готовится новый государственный переворот. Во всяком случае, преследования усилились. Рошфор, которого Тьер, верный своему обещанию, оставил во Франции, теперь был отправлен на каторгу в Нумею в клетке преступника. Великому Трибуну Амнистии предстоял огромный труд. Когда он говорил о Национальном собрании или о Мак-Магоне, „на лице его появлялось выражение неумолимой суровости, и глаза загорались гневом".

В Париже он поселился в „Отей" на авеню Сикомор у своего умирающего сына, за которым заботливо ухаживала вдова Шарля Гюго. Гонкур всех их там видел, Франсуа-Виктор полулежал в кресле, „лицо у него было восковое, весь он съежился, словно в пароксизме озноба", возле него стоял отец, „прямой и статный, словно старый гугенот из какой-нибудь драмы". За обедом Гюго пил неразбавленное сюренское вино и вспоминал о тех пирушках, которые когда-то устраивал его брат Абель у матушки Саге, о гигантских омлетах и жареных цыплятах. „Там мы выпили немало этого винца. Посмотрите, какой у него красивый свет — как у красной смородины..." На Гонкура произвел тяжелое впечатление этот контраст: могучий, крепкий старец и рядом — посиневший от холода, умирающий сын.

Несмотря на обещания, данные Жюльетте, Гюго сразу же встретился с Бланш. Он снял для нее квартиру на набережной Турнель. Почти каждый день, после завтрака, он поднимался на империал омнибуса „Батиньоль — Ботанический сад" и ехал ею любоваться.

Иногда они совершали прогулки по Ботаническому са-

ду, она брала с собой корзинку с рукодельем и работала, „молчаливая и серьезная“, или, внезапно развеселясь, начинала „распевать детские песенки“. То была удивительная идиллия: Филемон и Амариллис. Если на обратном пути им встречался нищий, Гюго подавал ему милостыню, как будто хотел замолить перед богами какой-то грех, и аккуратно заносил в записную книжку затраты на развлечение и на милосердие. Для того чтобы осудить его, говорит Баррес, „необходимо знать, насколько плотская любовь придавала его гению творческий взлет“. Когда влечение мужчины сливается с влечением поэта, трудно этому противостоять. Но порой Гюго сам осуждал себя. Перед умирающим Франсуа-Виктором, рядом с Алисой и ее детьми, его вдруг охватывал стыд, почти угрызения совести из-за этой двойной жизни, словно она была нравственным падением. Душой и разумом он жаждал более целомудренной старости. А плоть влекла его к живому белоснежному изваянию на набережной Турнель.

О немощный наш дух! Тобой владеет плоть!
Не можешь низменных страстей ты побороть
И тщетно мучишься в бессмысленных усильях.
Паденье ангела! Грязь на лебяжьих крыльях!..
Всесильна плоть! Она одолевает всех.
Из-за Вирсавии Давид содеял грех,
В смущенье привела Аспазия Сократа,
А Соломон обрек на смерть родного брата
Из-за пленительной сунамитянки!..[1]

Эти знаменитые примеры слишком цветущей старости не утешали Жюльетту. В сентябре она заставила агента частной сыскной конторы проследить за ним и раскрыла, как она называла, „его позорные похождения“. *В записной книжке Гюго 19 сентября 1873 года в 7 часов 30 минут значится:* „Катастрофа. Письмо Жюльетты — Ж. Ж. Мучительное волнение. Ужасная ночь...“ Оставив ему прощальное письмо, она сбежала, как это делала во времена своей молодости. Гюго был потрясен и в страшном отчаянии предпринял поиски, всюду разослал телеграммы. *Записная книжка 22—24 сентября 1873 года:* „Три тревожных дня. Невыносимые муки. И повелительная необходимость держать все в секрете: я должен хранить молчание и ничем не выдавать себя. Я сохраняю спокойствие. А сердце у меня разбито...“ Наконец он узнал,

[1] Гюго В. Останьтесь богиней („Океан“). Пер. М. Донского.

что ее видели в Брюсселе: „Проблеск надежды". Когда ее нашли, она согласилась вернуться. *Записная книжка, 26 сентября 1873 года:* „Я не буду присутствовать на генеральной репетиции „Марии Тюдор"... чтобы не пропустить поезд, прибывающий в 9 час. 5 мин; Приехал раньше на час с четвертью. Ничего не ел. Купил хлебец за одно су и половину съел. Поезд прибыл в 9 ч. 5 м. Мы вновь встретились. Счастье, равносильное отчаянию..." Ведь он так нежно любил ее. „Душа моя отлетела",— так он сказал, когда подумал, что потерял ее навсегда; но старый фавн не хотел умирать в нем, а Жюльетта не могла согласиться с разумной мыслью, что ее возлюбленный, отличавшийся несравненной жизненной силой, остался молодым, тогда как она угасает. Она заставила его поклясться „головою умирающего сына", что он навсегда порвет отношения с Бланш. Но он не сдержал свое слово. После этого кризиса немедленно последовало новое падение, и записные книжки пестрят заметками об интимных встречах.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, 16 октября 1873 года: „Право, я уже не в силах переносить мучения, постоянно возрождающиеся в моем бедном любящем сердце, и противостоять целой стае молодых искусительниц, к которым, быть может, ты и не стремишься, что, впрочем, еще не доказано..." *18 ноября 1873 года она пишет:* „Дорогой и горячо любимый, я не хочу мешать твоему благополучию и не могу не думать о том, что я со своей давней любовью должна казаться такой жалкой среди этих курочек с ярким оперением и острым клювом, которые призывают тебя, непрерывно кудахтая: *„Пекопен, пекопен, пекопен"*, а ты, мой бедный голубок, из последних сил томно воркуешь в ответ: *„Больдур, больдур, больдур"*[1]. Вот уж сколько времени длится фантастическая охота, а ты все еще не пресытился, ты все еще не обескуражен... Нет, довольно, я спрячу ключ от своего сердца под дверь и пойду куда глаза глядят..."

Франсуа-Виктор умер 26 декабря 1873 года. *В записной книжке Виктора Гюго мы прочтем:* „Еще один удар, самый страшный удар в моей жизни. Мне остались теперь только Жорж и Жанна..." Похороны были гражданскими, так же как у Шарля. „Сколько народу, — говорил Флобер в письме к Жорж Санд. — А какая тиши-

[1] Намек на легенду „О прекрасном Пекопене и прекрасной Больдур", включенную в очерк „Рейн". (Прим. автора.)

на! Ни малейшего беспорядка! Бедный старик Гюго, до которого я не смог добраться, чтобы обнять его, ужасно потрясен, но держится мужественно". Какая-то газета упрекала его за то, что на похоронах сына он в мягкой шляпе. Низкорослый Луи Блан произнес прочувствованную речь:

„Из двух сыновей Виктора Гюго младший уходит к старшему. Три года тому назад они были полны жизненных сил. Смерть, разлучившая их тогда, теперь снова соединяет их. Когда-то их отец писал:

Из всей моей семьи остались мне
Лишь сын да дочь.
О, господи! В печальной тишине
Иду я в ночь.

Крик отчаяния вырвался из его измученного сердца: „О, останьтесь же вы двое близ меня!" Предвидел ли он, что природа будет неумолима? Предвидел ли он, что его дом станет „домом без детей"? Судьба как бы пожелала поровну послать ему страдания и славу, — ввергнуть его в бездну горя, равного его гению".

Первого января 1874 года он проснулся около двух часов ночи и начал записывать возникшую у него строчку стиха: „Зачем теперь мне жить? Чтоб умереть?" Но он знал, что это неверно. Несмотря на новые и новые удары судьбы, старый дуб оставался несокрушимым; несмотря на скорбь, Гюго работал с упоением. Он неустанно продолжал „совершенствоваться и возвышаться в своем искусстве... Каких только чудесных стихов, — говорил Поль Валери, — стихов, с которыми ничьи строфы не могут сравниться по размеру, по внутренней композиции, по звучанию, по наполненности, — не было им написано в последний период жизни..." Морис Баррес восхищался „поразительной звучностью последних стихов Гюго, подобных волнам, набегающим с рокотом на берег моря", его приводила в восторг „сила старого человека, который несет несметные сокровища и спешит показать людям свое золото в виде самородка, не тратя времени на чеканку, так как знает, что вскоре придет к нему смерть".

Эту исключительную мощь и мастерство сам Гюго прекрасно сознавал. Он сказал Уссэ, когда тот обедал у него в январе 1874 года: „Я словно лес, в котором несколько раз производили рубку: молодые побеги становят-

ся все более сильными и живучими... Вот уже полвека, как я воплощаю свои мысли в стихах и прозе, но чувствую, что я не выразил и тысячной доли того, что есть во мне..." Молодые поэты отчаянно пытались отыскать еще не занятые им высокие вершины, чтобы там расположиться. Не одержав победы на той почве, где успешно трудился Гюго, они попытались создать нечто иное. Нарождался символизм, но какая символистская поэма могла быть более прекрасной, более таинственной и более мрачной, нежели „Лестница"? Разве „Волшебный коридор" Малларме не ведет в „большую гардеробную" Виктора Гюго? Малларме это прекрасно понимал, и никто не говорил лучше его о „величественных руинах старого волшебника"! Малларме, словно искусный жонглер, наслаждался, показывая, как то или иное стихотворение молодой школы написал бы Гюго. „А знаете ли вы, — спрашивал он, — какой его стих мне показался наиболее прекрасным: „Солнце садилось сегодня вечером в облака".

Гюго уже не поддерживал никаких связей с современниками. Все его близкие друзья поумирали. В Академии он не бывал. Когда-то он охотно посещал заседания, где обсуждался словарь, проявлял интерес к этимологии слов и к тайнам сослагательных наклонений. Теперь же политика отделяла Гюго от его коллег. Впервые после декабря 1851 года он появился на набережной Конти 29 января 1874 года, чтобы принять участие в избрании академика: он пожелал тогда проголосовать за сына своего старого друга Александра Дюма. После двадцатипятилетнего отсутствия служащие Института его не узнали, один из швейцаров сказал ему: „Посторонним вход запрещен!" А другой: „Полноте! Ведь это господин Виктор Гюго". Директор, оглашая поименный список, забыл назвать его фамилию. Только пять членов Академии подошли пожать ему руку. Зато, когда он проходил по двору, любопытные, собравшиеся там, обнажили головы.

IV

Улица Клиши, 21

Двадцать девятого апреля 1874 года Гюго со своими близкими поселился в доме № 21 по улице Клиши. Он снял два этажа: один для себя, для Алисы и детей, а в

другом находились парадные покои и комнаты госпожи Друэ. Жюльетта не успокоилась до тех пор, пока не взобралась на тот этаж, где находились спальни. Но тогда Алиса стала жаловаться, что ей не хватает одной комнаты, и пригрозила, что уедет, взяв с собою Жоржа и Жанну. Это было всемогущее средство давления на дедушку, и Жюльетту попросили спуститься этажом ниже. Она трагически восприняла эту неприятность.

Седьмого мая 1874 года: „Дорогой, дорогой и любимый мой. Разлука, которой я боялась, как несчастья, уже совершилась! Сердце мое полно грустных предчувствий. Нас разделил этаж, — словно сломали мост между нашими сердцами. С нынешнего вечера всякая близость меж нами прекращается... Я стараюсь ободрить себя той мыслью, что хоть я и лишаюсь счастья, зато возле тебя будут твои милые внучата...“

Разумеется, она возлагала ответственность за все свои беды на „холодные и эгоистические требования вдовы Шарля Гюго“. Уже в прошлом году Жюльетта Друэ, покидая Гернси и отправляясь в Париж на улицу Пигаль, взывала: „Помолимся вместе о том, чтобы мир, единение и счастье вновь воцарились в вашей семье и уже никогда ее не покидали...“ Она писала своему Виктору, что он постоянно „был жертвой глубокой неблагодарности своих домашних... Вдова Шарля окружена дурными людьми, которые дают ей дурные советы, и, сама того не ведая, находится под дурным влиянием твоих врагов...“. Но Гюго был полон добрых чувств к Алисе, молодой и миловидной женщине.

Квартира занимала четвертый и пятый этажи. Гюго поднимался по лестнице, нисколько не задыхаясь. Зрение его и в эти годы было как у молодого человека, а когда у него впервые в жизни заболели зубы, он очень удивился. „Что это такое?“ — спросил он. Каждый вечер он принимал за столом двенадцать или четырнадцать человек гостей (число тринадцать по-прежнему внушало ему непреодолимый страх). Он любил собирать вокруг себя приятных женщин, целовал им ручки, оказывал им всяческое внимание. Он встречал гостей стоя, в галстуке „лавальер“ белого или черного шелка, заправленном под острые кончики отложного воротничка. За столом госпожа Друэ сидела по правую руку от него, бледная как полотно, но одетая „с несколько театральной и старомодной элегантностью“ в черное бархатное платье, отделанное старинными кружевами гипюр. Меню почти всегда было

одинаковое, так как Гюго не любил в этом перемен: рыба тюрбо под соусом муслин или омар; жаркое, паштет из гусиной печенки, мороженое. Хозяин дома по-прежнему ел с завидным аппетитом. После обеда переходили в красную гостиную. Госпожа Друэ тихонько дремала; „прекрасные седые волосы обрамляли ее тонкое лицо, как два крыла голубки, а банты на бархатном корсаже чуть-чуть шевелились от неслышного, какого-то смиренного дыхания этой уснувшей старушки..."

Бедняжка Жюльетта все еще защищала свою долгую любовь, но адский хоровод продолжался. *13 января 1874 года она писала Виктору Гюго:* „Я провожала вас взглядом до поворота улицы, как делала это прежде. Но вы-то, вы ни разу не обернулись, не подали мне ласкового знака, как в прежние времена. Что это доказывает??? Пусть уж лучше не будет ответа на три мои вопросительных знака, похожих на бумажных петушков. Независимо от меня и от наших отношений, я полагаю, что тебе следовало бы мало-помалу избавиться от охотниц за мужчинами и их кошельками, от этих потаскушек, которые бродят вокруг тебя, как ненасытные сучки..." В эпиграфе к одному из своих писем она процитировала Вольтера: „Кто сердцем пылок не по возрасту — все беды старости познает".

Однако ж ее возлюбленный ежедневно садился в омнибус „Батиньоль — Ботанический сад", желая, как он говорил, „насладиться одиночеством среди толпы", а на самом деле для того, чтобы навестить Бланш. Но Жюльетта в то время ревновала его к Жюдит Готье. Гюго, обещавший теперь если не хранить верность, то, по крайней мере, быть откровенным, показал ей стихи, посвященные „Госпоже Ж...", белоснежной красавице: „Nivea non frigida"[1]. Жестокая честность. И все-таки Жюльетта предпочитала иметь соперницей прославленную красавицу, дочь поэта и жену поэта, а не какую-то безвестную Бланш. Она сказала Виктору Гюго, что не хочет связывать его свободу и не будет „противиться соединению" поэта „с его прекрасной вдохновительницей". Он клялся, что тут его влечение останется чисто платоническим. Оно уже давно не было безгрешным, да, впрочем, Жюльетта отвечала Гюго, что вожделение — это уже совершившаяся в душе неверность. В утешение Жюльетте он послал ей стихи, — такие же прекрасные, как те, которые он преподнес

[1] Белоснежная, но не холодная" (лат.).

Жюдит, свой дар Жюльетте он назвал „Бессмертной“.

Ужель, о светоч мой, незыблемый и вечный,
Смутил вас светлячок мгновенный, быстротечный?
Бояться ль неземной, божественной красе
Земной красы? О нет! Созданья эти все, —
Как вешние цветы, они столь эфемерны!
Их краски, аромат — непрочны и неверны.
Погожий майский день им жизнь подарит вдруг,
Глаз радуют они, расцвечивая луг,
Но несколько лишь дней, — и нет уж их в помине,
Не подобает вам, владычице, богине,
К ним ревновать! О нет! Такая мысль смешна.
Свет дней моих — лишь вы! Любовь — лишь ты одна!..

Так будь спокойна. Нет причины для тревоги,
Победно царствуя в лазоревом чертоге,
Ты солнцем чувств моих владеешь навсегда.
И если беглый луч коснется иногда
Смиренного цветка, — в том нет тебе угрозы.
Небесная звезда, тебе ль страшиться розы?[1]

Жюльетта была „поражена, взволнована до глубины души, и все же почувствовала боль, словно какое-то острие насквозь пронизало мне сердце“, — добавила она. Да если б похождения ее старого друга давали ему счастье! Но ведь этого не было. *И вот она пишет своему Виктору:* „Ты любишь романчики, какие бы они ни были, даже случайные. А ведь потом приходит отвращение, неприятности в твоей жизни и терзания моего сердца... Сколько ты ни бросай и свое и мое счастье в эту бочку Данаид, никогда тебе не наполнить ее достаточно, чтобы найти хоть каплю такого наслаждения, которым ты жаждешь упиться. Ты несчастлив, мой бедненький, чересчур любимый мой, и я не более счастлива, чем ты. Ты страдаешь от жгучей язвы влечения к женщинам, и она все разрастается, потому что у тебя не хватает мужества прижечь ее раз и навсегда. А я страдаю оттого, что слишком тебя люблю. Оба мы с тобою страдаем неисцелимым недугом. Увы!..“ И действительно, и у него и у нее это было болезнью чувства и воли.

Но эротический бред не затрагивал утренних часов, посвященных работе. С самого рассвета соседи видели Гюго в его „берлоге“, где он работал, стоя за конторкой, в красной куртке и в серой крылатке. Вечером в окружении друзей он был, как говорит Флобер, „обворожитель-

[1] Гюго В. Бессмертной („Все струны лиры“). Пер. М. Донского.

ным“. Эдмон де Гонкур, обедавший на улице Клиши 27 декабря 1875 года, вспоминает, что Гюго был в сюртуке с бархатным воротником, при свободно повязанном галстуке из белого фуляра, и рассказывает, как поэт бросился на диван и стал говорить о роли примирителя, которую он впредь хочет играть. Обед походил на угощение, которое „деревенский священник устраивает своему епископу“. За столом были супруги Банвиль, Сен-Виктор, Даллоз, Жюльетта Друэ, Алиса Гюго, „прелестная, улыбающаяся, в черном кружевном платье с пышными складками, ее бесенок дочка и кроткий сынишка, с бархатными глазами“. Под низким потолком столовой газовая лампа обдает „таким жаром, что плавятся мозги“ у приглашенных гостей. Алиса, тяготясь духотой, выражает недовольство, но Гюго преспокойно продолжает пить шампанское и беседовать, обаятельный, красноречивый и равнодушный к ощущениям других. После обеда он читал гостям свои стихи.

„Мы встретились с Гюго в столовой, — вспоминает Эдмон Гонкур, — он стоял один у стола, приготавливаясь к чтению своих стихов, и эта подготовка чем-то напоминала предварительную подготовку иллюзиониста, пробующего перед началом представления, где-нибудь в уголке, свои фокусы. Но вот Гюго в гостиной, вот он стоит, прислонившись к камину; в руке у него большой лист бумаги — отрывок из написанной на острове поэмы, частица рукописей, завещанных им Библиотеке, которые поэт, как он сообщил, написал на полотняной бумаге для большей сохранности.

Не спеша надев очки (а ведь долгое время он из своего рода кокетства не желал их носить), поэт медленно, с задумчивым видом вытер капельки пота, усеявшие его высокий лоб со вздутыми жилами, и наконец приступил к чтению, бросив вступительную фразу, как будто возвещавшую, что у него еще целые миры в голове: „Господа, мне семьдесят четыре года, и я только еще начинаю литературную деятельность“. Он прочел нам поэму „Пощечина отца“ — продолжение „Легенды веков“, где есть прекрасные, сверхчеловечески прекрасные стихи. Любопытно посмотреть, как читал Гюго! На камине все приготовлено, как для чтения в театре, — горят четырнадцать свечей, они отражаются в зеркале, позади поэта сияет яркий свет, а на блистающем фоне выделяется лицо, — призрачный лик, как сказал бы он сам, — окруженный ореолом, сиянием, которое озаряет коротко остриженные

волосы, белый воротничок поэта и пронизывает розовым светом его остроконечные уши сатира...“

В 1875 году Алиса повезла своих детей в Италию. Дед аккуратно писал путешественникам. *5 сентября 1875 года*: „Дорогая Алиса, сообщаю новости: все идет хорошо. Однако... 16 августа, когда я сходил с омнибуса, — слушай, Жорж, слушай, Жанна, — мне на голову свалился какой-то бездельник. Это произошло так неожиданно, что я был ошеломлен, но так как у меня было переломано лишь несколько ребер да выбито несколько зубов и поврежден глаз, я живо поднялся, не промолвив слова, побежал домой, чтобы не доставить религиозным газетам удовольствия сообщить, будто я умер... *Ваш папапа.* Ах, я было позабыл! У попугая скончалась жена. Я подарил бедняжке вдовцу новую кормушку, за которую заплатил двадцать франков (цена кормушки). Потратившись на подарок овдовевшему попугаю, дарю и вам, дорогая Алиса, двадцать франков“. Счет дружбе не вредит.

На улице Клиши, кроме друзей — литераторов, бывали и друзья — политические деятели: Луи Блан, Жюль Симон, Гамбетта, Клемансо. Постепенно время успокоило умы, возникла склонность простить Коммуну, и уж тут Гюго, поборник милосердия, являлся как бы провозвестником. Жюльетта, жаждавшая популярности для него, хотела, чтобы он возвратился к политической деятельности. В январе 1876 года, по предложению Клемансо, была выставлена его кандидатура в Сенат, Гюго был избран во втором туре. *Жюльетта Друэ писала ему 19 января 1876 года:* „Думается, от одного уж твоего появления в этом хаосе, где клубится мрак нелепостей и гнусностей, должен засиять свет, то есть что-то доброе, хорошее, прекрасное, справедливое, как fiat lux[1] господа бога...“ Но Гюго тотчас увидел, что его влияние будет незначительным. В обеих палатах парламента цинизм брал верх над идеалами, и первый сенат Третьей республики не походил на республиканский.

Гюго защищал амнистию и разоблачал скандальный контраст между репрессиями, которым подвергали людей Восемнадцатого марта (то есть коммунаров), и снисходительностью, проявленной к участникам Второго декабря: „Пора уже прекратить действия, потрясающие совесть человеческую. Пора покончить с позорной двойственностью в системе мер и весов. Я требую полной и безогово-

---

[1] Да будет свет (лат.).

рочной амнистии по всем делам Восемнадцатого марта"...[1] Предложение Гюго поставили на голосование. Оно собрало десять голосов. Все остальные сенаторы голосовали против. Но толпы парижан приняли его лучше, чем парламент, и бросали ему цветы. *Жюльетта Друэ писала ему 23 мая 1876 года:* „Если бы публика имела право голосовать, сразу же была бы провозглашена амнистия и тебя бы с триумфом понесли на руках за то, что ты так великодушно и так прекрасно потребовал ее. Но волей-неволей эта ватага жестоких дураков должна будет провозгласить амнистию".

Разочарованная этим поражением, она жалела о годах изгнания, о счастливом острове Гернси. „Птицы уже порхают, преследуя друг дружку, как видно, чувствуют приближение весны. У меня самой ожили воспоминания о нашей молодой любви, и старое мое сердце бьется сильнее при мысли о тебе. Как хорошо было бы любить друг друга на Гернси, когда в моем садике расцветают цветы, составляющие твой вензель, а море тихо плещется под моими окнами. Ах, с какой бы радостью я променяла Версаль и его дворец, его сенат и всех его бездушных и безмозглых ораторов на мой маленький домик „Отвильфеери" и на честный лай нашего Сената во дворе „Отвиль-хауза"..."

Тысяча восемьсот семьдесят седьмой год был годом политических битв. Председатель совета министров Жюль Симон, завсегдатай дома Гюго, еврей с характером римского кардинала, тщетно пытался договориться с Мак-Магоном, не переносившим антиклерикализма Гамбетты. „Нам с ним больше невозможно идти вместе, — сказал президент Жюлю Симону, — я предпочитаю, чтобы меня свергли, чем держали под началом господина Гамбетты". В глазах маршала это было вопросом иерархии. Он заявил, что воспользуется правом, предоставленным ему конституцией, и распустит палату депутатов с согласия сената. Гюго собрал у себя вожаков левых депутатов, чтобы воспрепятствовать осуществлению этого замысла. *19 сентября 1877 года он занес* в свою записную книжку: „Манифест Мак-Магона. Человек бросает вызов всей Франции..."

За несколько дней до этого он принял у себя на ули-

---

[1] Гюго В. Речь об амнистии в сенате 22 мая 1876 года. — Собр. соч., т. 15, с. 612.

це Клиши в девять часов утра дона Педро, императора Бразилии, и тот держал себя с ним на равной ноге, — именно такого отношения добивался когда-то Гюго от королей Франции. Войдя, император сказал: „Приободрите меня, я немножко робею“. Затем пошутил: „У меня есть честолюбивое желание — представьте меня, пожалуйста, мадемуазель Жанне“. Гюго сказал девочке: „Жанна, представляю тебе императора Бразилии“. Она с разочарованным видом пролепетала: „А почему он не так одет?..“ Когда поэт сказал: „Представляю вам своего внука, ваше величество“, — император ответил: „Здесь только одно „величество“ — Виктор Гюго“. Дон Педро принял приглашение прийти к поэту на обед во вторник — в качестве простого путешественника, наравне с обычными гостями, бывавшими у Гюго в этот день.

Сенат напоминал потревоженный, гудящий улей. Виктор Гюго, главный вождь врагов Мак-Магона, поставил в комиссии существенный вопрос: „Если Мак-Магон распустит палату депутатов и все же будет побит, подчинится он воле нации?“ Присутствовавший министр не осмелился ответить. 21 июня Виктор Гюго произнес большую и прекрасную речь против роспуска палаты.

„Я очень хотел бы верить клятвам в верности, но хорошо помню, как однажды мы им поверили. Не моя вина, что я это вспомнил, я вижу сходство, весьма меня беспокоящее, — беспокоюсь же я не за себя, ибо мне нечего терять в жизни, а в смерти я могу все выиграть, — я беспокоюсь за свою страну. Господа, прислушайтесь к словам седовласого старика, уже видавшего то, что вам, быть может, придется увидеть, — старика, у которого нет на земле других интересов, кроме ваших, и который дает всем вам, друзьям и врагам, советы с полной искренностью, ибо он уже так близок к вечной истине, что не способен ни ненавидеть, ни лгать. Вас втягивают в авантюру. Так послушайте того, кто пережил авантюру. Вам предстоит столкнуться с неведомым. Послушайте того, кто говорит вам: „Я это неведомое знаю“. Вы взойдете на корабль, чей парус уже колышется на ветру, и скоро этот корабль отправится в большое и как будто многообещающее путешествие. Послушайте того, кто говорит вам: „Остановитесь! Я уже испытал кораблекрушение...“[1]

---

[1] Гюго В. 16 мая („Дела и речи“, „После изгнания“).

Левые горячо аплодировали ему. На следующий день восьмилетняя Жанна, войдя в его комнату, спросила: „Ну как, в сенате хорошо прошло?“ В сенате прошло очень хорошо — но речь убедила лишь тех, кто и прежде был убежден в правоте оратора.

Роспуск палаты был принят незначительным большинством: сто сорок девять голосов против ста тридцати. На новых выборах республиканцы прошли в подавляющем большинстве: триста двадцать шесть мест против двухсот. Мак-Магон не смог теперь сохранить свои позиции. „Надо или подчиниться, или удалиться“, — сказал ему Гамбетта. Он подчинился, а потом удалился — подал в отставку. Роль Виктора Гюго в победе левых была ограничена его преклонным возрастом и тем, что он уже отошел от дел, но она была бесспорной. Теперь „он стал в Третьей республике олицетворением патриарха и учителя“.

У патриарха была не одна-единственная Руфь. Каждый день после завтрака он уходил из дому, из „адского своего дома“, где Локруа, которого полюбила Алиса, держал себя как фрондирующая власть, а мрачно настроенная Жюльетта постоянно обследовала карманы, потайные ящики, интимные записки Гюго. Он то отправлялся к Бланш, то навещал Мари-купальщицу, так как „жизнь не задалась“ у вианденской ундины и в письмах к Гюго неудачница вновь просила о помощи. Она проживала на Крымской улице, неподалеку от парка Бют-Шомон и авеню Германии, куда можно было доехать на трамвае — „Площадь Звезды — Монтолон — Тронная площадь“. В записных книжках Гюго 1875—1878 годов слова: *Крым, Шомон, Германия* и *Star-Month*[1] обозначали — Мари Мерсье. Из записей видно, что он возил Мари в Бют-Шомон на „пряничную ярмарку“ и на кладбище Пер-Лашез. „Я обычно пользуюсь трамваем, имеющим маршрут от площади Звезды до Тронной, и омнибусами — линия „Батиньоль — Ботанический сад“, — писал Виктор Гюго по случаю нового, 1878 года председателю правления Генеральной компании омнибусов, — позвольте мне передать через ваше посредство кондукторам и кучерам обеих линий пятьсот франков...“

В то же самое время Виктору Гюго напомнила о себе госпожа д'Онэ, проживавшая на улице Риволи в доме

[1] Звезда-Монтолон (англ.).

№ 182, и попросила у него денег. „Я подарил ей две тысячи франков, — записал он. — Послал немедленно". Кто разбивает сердца, платит за это.

V

„Искусство быть дедом"

В 1877 году Гюго опубликовал сборник стихов „Искусство быть дедом". Он всегда любил детей, он понимал их, он искренне восхищался их самобытностью, естественностью, поэтичностью. Трагически лишившийся сыновей и дочерей, он горячо привязался к своим внукам и питал к ним благоговейную любовь. Жорж был красивый и серьезный мальчик, Жанна — веселая шалунья. Дедушка играл с ними, рисовал их портреты, хранил их башмачки, как Жан Вальжан хранил детские башмачки Козетты. Он записывал их словечки.

Жанна говорила: „Я была просто прелесть какая умная у Папапа, ни одних слов не говорила". *В записной книжке Гюго 31 октября 1873 года отмечено:* „Жорж нарушил запрещение матери, касавшееся банки с вареньем, и после этого сказал мне: „Папапа, можешь ты мне позволить, что я ел нынче утром варенье?.." *А 29 октября записано:* „Вчера вечером я нашел у себя в постели куклу: Жанна положила ее на подушку, чтобы она „*побаинькала*" (поспала) вместе с Папапа". Подобные находки приводили его в восторг. Он позволял внукам раскладывать игрушки на его рукописях. *12 ноября 1873 года у него записано:* „После завтрака поехали в Сен-Манде, она (Ж. Ж.), я и маленькая Жанна. Бедная моя дочь устроена сколь возможно хорошо; она спокойна, чувствует себя хорошо. Жанна поцеловала свою тетю и много говорила о ней на обратном пути..." По дороге домой остановились, зашли в кондитерскую. В четыре с половиной года (14 февраля 1873 г.) Жорж присутствовал на возобновленном представлении „Марион Делорм" и на следующий день твердил с утра до вечера: „Вот в красном палача проносят!" Около собора Парижской богоматери Жорж с гордостью говорил: „Дедушкины башни". Гюго торжественно делал надписи на своих книгах, которые дарил внукам. На экземпляре „Грозного года", предназначенном Жоржу, он написал: „Жоржу — через пятнадцать лет" :

Спокойно подвожу итог пути:
Мне суждено уйти, тебе — расти...

А на экземпляре, подаренном Жанне, было написано:

Ты — ангел в этой жизни трудной, странной.
Стань женщиной, но... оставайся Жанной!

Он требовал от снохи, чтобы его маленькие внуки Жорж и Жанна присутствовали на всех званых обедах. Няньки могли уложить их в постель только в одиннадцать часов вечера. Но иногда, — пишет Жорж, — „мы засыпали прямо за столом, убаюканные гулом голосов. Эдмон де Гонкур мне рассказывал, что как-то раз Жанна уснула с куриной ножкой в руке, уткнувшись щекой в тарелку..."

В дни больших празднеств дети пили за здоровье дедушки. „Я, самая маленькая, пью за самого большого", — сказала Жанна 26 февраля. Слова, вероятно, придумал Мерис или Вакери. На своих именинах Жанна робко просила: „Скажите мне тосту". Если дед ворчал на нее, Жанна стыдила его: „Зачем бранишь, когда тебя любят?" Трехлетней Марте Феваль, когда она расшалилась, шестилетняя Жанна строго сказала: „Марта! Виктор Гюго смотрит на тебя". Дедушка рассказывал им сказки: „Злой мальчик и добрая собака", „Глупый король и умная блоха". На кусочках картона он рисовал для внучат гусиным пером картинки, служившие хорошими и плохими отметками за поведение, они находили эти рисунки за столом под своими салфетками. „Иногда, — вспоминает Жорж Гюго, — на рисунках улыбались ангельские личики кудрявых деток в венках из звезд или же фантастические птицы с открытым клювом заливались песнями на цветущих ветках..."

Сборник „Искусство быть дедом" частью создан из заметок в записных книжках „обожаемого и восхищенного" деда. Некоторые стихотворения в этой книге („Луна", „Жанну посадили в темный чулан") были стихотворным переложением детских „словечек". В других старик дед выражал свои чувства, удивляясь тому, что он, который боролся с императором, оказался „побежденным маленьким ребенком". Но он полагал, что поэт всегда должен переходить от житейского взгляда на мир к проникновению в его тайны. В Зоологическом саду он смотрел на ужасных чудовищ и глазами детей, и глазами мудреца. Малышам было страшно, но иногда и очень смешно. Старец же думал:

Я думаю, господь привык работать спешно.
Но обвинять творца не следует, конечно, —
Его, который, всем вниманье уделя,
Сумел изобрести цветенье миндаля
И радугу взметнул над укрощенным Понтом,
Коль ставит колибри он рядом с мастодонтом.
Сказать по правде, вкус плохой у старика.
То гидру прячет в ров, то в яму червяка,
И Микеланджело, божественный и жуткий,
Перекликается с раблезианской шуткой.
Таков господь. Таким его я признаю[1].

Тут он заступался и за господа бога, и за поэта Гюго, за контрасты в природе и за антитезы в поэзии. Перед клеткой с тигром дети говорили: „Посмотри, какая большая кошка!" Поэта же приводило в смятение позевывание скучающего зверя, его раскрывшаяся пасть, и он с упоением видел „с одной стороны — ужас, с другой — любовь". А так как поэтическое совершенство мастера все возрастало, он без труда дополнил свой сборник стихами, созданными „из ничего" — то далекими от всякой действительности, как, например, „Вечерние настроения", то импрессионистскими, как стихи об утренних шумах на острове Гернси:

Голоса... Голоса... Свет сквозь веки... Гудит в переулке
На соборе Петра затрезвонивший колокол гулкий.
Крик веселых купальщиков: „Здесь" — „Да не медли, живей!"

Щебетание птиц, щебетание Жанны моей.
Оклик Жоржа. И всклик петуха во дворе. И по крыше —
Раздражающий скреб. Конский топот — то громче, то тише.

Свист косы. Подстригают газон у меня под окном.
Стуки. Грохот тяжелых шагов по железу, как гром.
Шум портовый. Шипенье машин паровых. Визг лебедки.

Музыка полковая. Рывками. Сквозь музыку — четкий
Шаг солдат. Голоса. Два француза. Смеющийся бас:
„Добрый день!" Я заспался, как видно. Который же час?

Красношейка моя заливается. На наковальне
Молотков перебранка из кузни доносится дальней.
Плеск воды. Пароход на ходу задыхается, споря
С необъятною гладью, с могучим дыханием моря[2].

---

[1] Гюго В. Известный граф Бюффон... („Искусство быть дедом") Пер. А. Арго. — Собр. соч., т. 13, с. 152.

[2] Гюго В. Открытые окна („Искусство быть дедом"). Пер. Л. Пеньковского. — Собр. соч., т. 13, с. 148.

Сборник имел большой успех. Людям приятны простые и сладкие волнения. Образ старика, который с любовью приемлет свою роль деда, всегда будет нравиться. Притом было столько новизны в стремлении обожествить детей, подобно тому как множество поэтов обожествляли своих возлюбленных. „Создателю „Легенды веков“, — писал Теофиль де Банвиль, — только ему одному и могло прийти это желание, и будет совершенно правильно сказать, что в искусстве и в поэзии тема „Дитя“ началась именно с него, наполнилась жизнью только с его творений...“ Первое издание сборника было распродано за несколько дней; за ним быстро последовало несколько переизданий. Жорж и Жанна стали легендарными детьми. Париж восхищался ими, как Лондон своими наследными принцами.

VI

Дьявол и его влечения

Еще до гроба материя вас покидает.

Виктор Гюго

Умилительные прогулки с Жоржем и Жанной, ангельские стихи любящего деда не должны искажать образ Виктора Гюго в последние годы его жизни. Преклонение перед детской чистотой не положило конец любовным похождениям старика. 11 января 1877 года Алиса объявила Виктору Гюго, что после шестилетнего вдовства она выходит замуж за Эдуарда Локруа, депутата от департамента Буш-дю-Рон, бывшего секретаря Ренана, остроумного и язвительного журналиста. Собираясь заказать извещение о браке, она выразила желание, чтобы в числе извещающих фигурировал и ее знаменитый свекор, то есть она просила, чтобы сам Виктор Гюго сообщил, что вдова его сына Шарля перестанет носить „громкое имя“ Гюго. Чтобы поддержать иллюзию о дружной семье, поэт согласился. *27 марта 1877 года он написал Алисе:* „Дорогая Алиса, вы знаете, что я никогда не рассылаю извещений... Однако ради вас я нарушу свои привычки в этом вопросе: не хочу отказать вам в вашей просьбе, которую вы выразили так мило и ласково, так изящно и грациозно. Раз вам этого так хочется, поставьте мою фамилию в ваших извеще-

ниях. Что касается Луи Блана и Вакери[1] — выбор вы сделали прекрасный“.

Но вот Алиса, как ей показалось, нашла в одном из стихотворений Гюго намек на вдов, не сохранивших верность покойным мужьям, и была этим опечалена. Приняв к сердцу ее огорчение, Гюго написал ей: „Милая, дорогая и прелестная Алиса, дочь моя, дитя мое, успокойтесь. Это стихотворение написано больше года тому назад, — могу показать вам рукопись. Я, как и вы, знаю, что вы доверили свою судьбу доброму и великодушному человеку. У меня только одна мысль — благословить вас“.

После брака снохи Гюго стал более свободен в своих действиях. И он злоупотреблял этим, хотя ему было уже семьдесят пять лет. Однако он прекрасно сознавал все беды, ожидающие влюбленного старика. Недаром он задумал написать комедию „Развращенный Филемон“, — оставшуюся в виде наброска, в котором безжалостно высмеивал себя самого. Филемона нисколько не удерживала скорбь нежной Бавкиды, он поддался колдовскому очарованию молодой Аглаи.

Взамен старухи юная девица!..
Не солониной, а свежинкой насладиться,
Отведать булки вместо сухаря!
О, как чарует новая заря!
Все кончено, старуха, прочь ступай!
О, господи, какой я шалопай!..

Возвратившись домой после распутства, Филемон нашел Бавкиду мертвой от нищеты и горя. В отчаянии он попытался найти себе убежище у своей возлюбленной, но Аглая жестоко посмеялась над стариком вздыхателем, бормотавшим меж приступов кашля: „Люблю тебя“. Конец сценария: „Над стариком опускается тьма ночная. Это дьявол, дьявол, искуситель людей, опьянил его любовью, приняв образ Аглаи, Бавкида же была его ангелом. Все это говорится в заключительной сцене среди небесной лазури, после смерти...“

По этой суровой концовке видно, что Филемон осуждал себя. Душа не прощала „гнусных плотских утех“. К тому же они были утомительны даже при такой телесной мощи, как у Гюго. „Первое предупреждение, „gravis

---

[1] Свидетели при заключении второго брака Алисы, состоявшегося 3 апреля 1877 г. (Прим. автора.)

cura“[1], — заносил он в свою записную книжку, а *30 июня 1875 года отметил:* „У меня было странное явление внезапной потери памяти. Оно длилось около двух часов...“

Он изнурял себя также литературной и общественной деятельностью, издал „Историю одного преступления“, которую считал более актуальной, чем когда-либо, поддерживал кандидатуру Жюля Греви, выступал с красноречивой хвалой Вольтеру на празднествах по случаю столетия со дня его смерти, председательствовал на Международном литературном конгрессе. Это было слишком много даже для титана. В 1878 году, в ночь с 27 на 28 июня, в ужасную жару, после обильного обеда и яростного спора с Луи Бланом по поводу торжества в честь Вольтера и Руссо, у него случилось легкое кровоизлияние в мозг — речь стала затрудненной, движения неверными. Но он быстро пришел в себя и уже на другой день, несмотря на уговоры всех домашних, хотел было отправиться к Alba на набережную Турнель. „Дорогой мой, любимый мой, — писала ему Жюльетта в пятницу 28 июня в семь часов вечера, — ты мне показался... несколько утомленным...“ Два доктора, — Аликс и Се, с тревогой наблюдавшие за ним весь день, дали ему понять, что впредь он должен отказаться от всякого гурманства. „Но, господа, — наивно сказал он, — согласитесь, что природа должна была бы предупредить!“ Бавкида-Жюльетта умоляла его поскорее уехать на Гернси, он в конце концов сдался, и 4 июля они уехали.

На острове он быстро оправился. Но алчные нимфы продолжали ему писать через посредничество Поля Мериса. Жюльетта, которая на этот раз жила в „Отвиль-хаузе“, видела, как после получения почты Гюго рассовывал по карманам конверты. В своих ежедневных „писулечках-каракульках“ она заклинала его соблюдать свое достоинство. *20 августа 1878 года она писала ему:* „Гордое преклонение души моей перед тобою относится к божественной твоей сущности, а вовсе не к грубому идолу животной любви и циничного распутства, которым ты не можешь быть. Твоя ослепительная всемирная слава озаряет и твою личную жизнь. Заря твоей жизни была чиста, надо, чтобы ее сумерки были достойны уважения, были священны. Ценой оставшихся мне дней жизни я хоте-

[1] Тяжкая тревога (лат.).

ла бы уберечь тебя от ошибок, недостойных твоего гения и твоего возраста..."

Он дулся, отвечал ей резко и дал ей прозвище — „классная дама". Ну как она может, спрашивал он, принимать всерьез письма „сумасшедших истеричек"? ‚Я чувствую, что моя душа неразрывно связана с твоей душой", — писал он ей. Но Жюльетта, ожесточившаяся, униженная, раздраженная, проявляла тогда „особую озлобленность". „Для нее все становилось предлогом для ссоры, даже на Гернси, — говорит Жуана Лесклид, жена секретаря Виктора Гюго, — эта женщина, которая пошла бы на смерть ради него, с каким-то удовольствием наносила ему булавочные уколы... В результате этих вечных ссор больной поэт находился в нервном, раздраженном состоянии и изливал его на близких к нему людей... Однажды утром произошло крупное объяснение по поводу письма, присланного их бывшей горничной. Госпожа Друэ вскрыла письмо, за сим последовали слезы и скрежет зубовный... Едва все стихло, разразилась новая буря по поводу „мешочка", обнаруженного в тайнике рабочего кабинета, куда госпожа Друэ частенько вторгалась и все переворачивала там вверх дном".

В „мешочке", помеченном инициалами „В. Г.", лежало пять тысяч франков золотом. И тут вопрос поставлен был весьма грубо: „Для оплаты каких любезных услуг предназначались эти пять тысяч франков?" В другой раз поднялся страшный шум по поводу записных книжек пятилетней давности, найденных в каком-то углу и содержавших в себе имена женщин. Последовали слезы, упреки, ссора..." А как-то раз вечером Гюго для потехи пошел прогуляться по улице Корнетов, которая на Гернси отведена была для продажной любви. „Госпожа Друэ устроила своему другу яростную сцену и заявила нераскаянному грешнику, что она решила расстаться с ним и что решение ее бесповоротно". Уеду в Иену, говорила она, доживать свой век около племянника и троих внучатых племянников. В октябре она все еще колебалась, ехать ли ей с Гюго в Париж, предлагала его свояченице Жюли Шене, остававшейся хранительницей „Отвиль-хауза", разделить с ней ее одиночество. Но все же 9 ноября престарелые любовники вместе отплыли на пароходе „Диана".

Мерис снял для них на авеню Эйлау, дом № 130, особнячок, принадлежавший княгине де Люзиньян. Супруги Локруа с Жоржем и Жанной поселились рядом — в

доме № 132. Жюльетта, которой полагалось для приличия жить на своей половине, вскоре, однако, перебралась на третий этаж в комнату, соседнюю со спальней Виктора Гюго, где стены были обтянуты узорчатым штофом вишневого цвета, где стояла кровать эпохи Людовика XIII с витыми колонками, шифоньер, увенчанный бюстом, символизирующим республику, и конторка, за которой он мог писать стоя. Но, по правде говоря, со времени своей болезни он больше не работал. Заботами его учеников ежегодно выходили прекрасные сборники его стихов: в 1879 году — „Высшее милосердие", в 1880 году — „Религии и Религия", „Осел", в 1881 году — „Четыре ветра духа", в 1882 году — „Торквемада", в 1883 году — последний цикл „Легенды веков". Литературный мир, полувозмущаясь, полувосторгаясь, дивился столь плодовитой старости. А фактически все эти стихи были написаны раньше.

Со времени отступничества Алисы Локруа, госпожа Друэ, хоть и была очень больна, играла роль полновластной хозяйки дома, — трудную роль для изношенного организма старой женщины. Звонок за звонком, посетители, званый обед за званым обедом, „не считая объяснений в любви, которые падают густо, как мартовский град". Гюго возложил на Жюльетту и Ришара Лесклида обязанность распечатывать все письма, поступающие на авеню Эйлау, — сделал он это для того, чтобы избавиться от неприятной повинности разбирать почту и к тому же внушить доверие своей беспокойной подруге. Но тайная корреспонденция поступала к нему через Поля Мериса.

При поддержке Локруа, который встряхивал иногда „великого старца", Жюльетта добилась полного его разрыва с Бланш. Женщину эту запугали, сказав ей, что Виктор Гюго может внезапно умереть в ее объятиях, уверили Бланш, что она убьет старика, если не расстанется с ним. Жюльетта дала ей от имени Виктора Гюго сумму, необходимую на покупку книжной лавки, посоветовала ей выйти замуж и обещала добиться для нее прощения госпожи Ланвен, которая со времени гернсийского скандала не желала видеть его виновницу.

Некий служащий Эмиль Рошерей, посвященный в тайны Бланш и поклонник ее красоты, пожелал дать свою фамилию этой девушке с тремя именами. Он был красив, обладал романтической и интеллигентной наружностью. Бланш он знал со времени ее приезда в Гернси, она рассказала ему о своих несчастьях; он предложил

жениться на ней гражданским и церковным браком. Покинутая, павшая духом, разочарованная женщина согласилась.

Второго декабря 1879 года состоялась их свадьба — в мэрии XX округа и в церкви Иоанна Крестителя. Со стороны невесты свидетелями были два ее соседа — парикмахер Пьер Моро и колбасник Базиль Моро; свидетелями со стороны жениха был его родственник Констан Рошерей и сослуживец Адриен Борие. Никто из семейства Ланвен не присутствовал на двойной церемонии бракосочетания, но вдова Рошерей, госпожа Ларше, дала согласие на брак ее сына с Бланш.

В записной книжке Виктора Гюго есть заметка, датированная 17 декабря 1879 года: „Б. (Бланш) вышла замуж. Свадьба состоялась 2 декабря в Бельвиле. Я узнал это из письма с извещением...“ В супружеском союзе у Alba родилась дочь Эмили, а затем два сына — Жорж и Луи; Бланш не нашла счастья в браке с Рошереем. „Впав в глубокое уныние, она забросила и свою семью, и свою торговлю“.

Бланш удалили, но на ее место быстро нашлись заместительницы. В семьдесят восемь лет Гюго тайком переписывался с Жанной Эслер, с девицей Адель Галуа и с „Леони де Витрак, вдовой Лезажа, которая жаждет наследовать мне и не требует, кроме стола и постели, никакого вознаграждения“,— иронически писала Жюльетта. „Она поэтесса, она обожает тебя, и прочее, и тому подобное... Надеюсь, миленький мой великий человек, что ты перестанешь неосторожно привлекать к себе эту даму... Обожжешься на молоке, дуешь на воду, — истерзанное сердце боится новых ран. Прежние раны еще так сильно кровоточат у меня, что я не могу быть к этому равнодушной, но как бы ни соблазняла тебя такая особа, умоляю избавить меня от тревоги, которую это мне внушает...“

На долю возлюбленной с высокой душой все же выпало, и притом несколько раз, большое удовлетворение. В сентябре 1879 года она сопровождала своего любимого в Вилькье и была очень польщена тем, что ее принимало у себя семейство Вакери. Однако она не пошла с Виктором Гюго на кладбище. Правда, он и не предлагал ей пойти. Пожалуй, и сама Жюльетта, исполнившись угрюмого смирения, сочла неприличным посетить вместе с ним могилу Адели. Это вполне можно предполагать, да и в ежедневной ее записке Виктору Гюго заметна тайная горечь.

Жюльетта Друэ — Виктору Гюго, Вилькье, 13 сентября 1879 года:

„Я не посмела попросить, чтобы ты взял меня с собою в свое паломничество, но жертву, принесенную мною ради жалких приличий, я восполнила молитвой перед богом за упокой души дорогих тебе усопших. Если ты разрешишь, я перед отъездом из Вилькье схожу на кладбище, помолюсь там под открытым небом и преклоню колена перед священными могилами в знак того, что я глубоко чту память твоих близких и вечно буду благословлять их. Я пойду на кладбище лишь с твоего согласия, так как ни за что на свете не хочу нарушить установленные правила благопристойности внешним проявлением высокого чувства, которое питаю в душе к дорогим тебе людям, ушедшим из жизни“.

А Гюго в это время сделал в своей записной книжке следующие заметки: *„12 сентября 1879 года*: После завтрака ходил на могилу дочери. Кладбище примыкает к церкви. Могила Леопольдины находится в середине семейной ограды и окружена отдельными могилами. Муж ее покоится вместе с нею; в надписи на плите указаны даты их свадьбы и смерти. Ниже вырезано: „De profundis clamavi ad te“[1].Впереди — могила моей жены с надписью на надгробной плите: „Адель, жена Виктора Гюго“. Вокруг расположены могилы семейства Вакери. Молитва. Любовь. Я пробыл там до шести часов вечера. Зашел в церковь. Церковь в Вилькье построена в XV веке. Простая, но красивая, содержится хорошо“.

Восемнадцатого сентября 1879 года: „Ходил на могилу. Молитва. Они меня слышат. Я слышу их...“

В 1881 году Виктору Гюго пошел восьмидесятый год. День его рождения был отмечен как национальное празднество. На авеню Эйлау воздвигли триумфальную арку. Народ Парижа призывали продефилировать 26 февраля под окнами поэта. Провинциальные города прислали многолюдные делегации и цветы. Премьер-министр Жюль Фери накануне чествования явился к Гюго на дом поздравить его от имени правительства. Во всех лицеях и школах были отменены наказания провинившимся ученикам. Целый день, словно не замечая февральского холода, Гюго стоял у открытого окна со своими внуками Жоржем и Жанной, смотрел, как движется по улице ше-

[1] „Из бездны взываю к тебе“ (лат.).

ствие его почитателей, в котором участвовало шестьсот тысяч человек, Гюго благодарил проходивших мимо него людей.

Шарль де Помероль как-то сказал поэту, что он им восхищался, когда тот, уже убеленный сединами, стоял у окна с глазами полными слез и держал внуков в объятиях. На что Гюго, глядя на Жоржа и Жанну, ему ответил: „Да, они очень милы. Такие славные маленькие республиканцы!..“ На следующей неделе, когда он вошел в зал Люксембургского дворца, сенат встал и встретил его аплодисментами. Леон Сэ, председательствовавший тогда, сказал кратко: „Гений прибыл на заседание, и сенат встретил его рукоплесканиями“. Зрелище небывалое. Человек, который в пору своей зрелости и честолюбия затягивался в шитый золотом мундир пэра Франции, теперь похож был на „какого-нибудь столяра, старого каменщика“, и Франция чтила этого старца в пиджаке из черного альпага, крепкого, как скала, о которую бились бурные волны долгих лет. В июле авеню Эйлау переименовали в авеню Виктора Гюго, и теперь друзья могли писать: „Господину Гюго, проживающему на собственной улице“. 14 июля — снова шествие с музыкой, оркестрами, хорами певчих; сто раз гремела „Марсельеза“, которую он так любил. День его именин — 21 июля — праздновался в более тесном кругу.

Каждый раз, как толпы людей заполняли в триумфальном шествии авеню Гюго, к ним присоединялась неутешная Бланш. Она проходила вновь и вновь, желая хоть мельком увидеть утраченного, но не забытого старого своего друга. Она была теперь несчастна, ибо видела, что соединила свою судьбу с негодяем. Он „злоупотребил доверием своей жены, промотал ее деньги“ и угрожал Локруа опубликовать письма и любовные стихи, которые Бланш получала от своего знаменитого обольстителя. В самый разгар апофеоза Гюго это вызвало бы еще более громкий скандал, чем его адюльтер в 1845 году. Поэт в отчаянии воскликнул: „Долгая честная жизнь, — восемьдесят лет; преданное служение людям, добрые дела вместе с женщиной, ради женщины, через посредство женщины... и все привело к низкой, пошлой, гнусной клевете, к мерзости...“ Шантажист продал Локруа (очень дорого) оригиналы рукописей, компрометировавших поэта. Чистому сердцу Альбы доставили горькие страдания переговоры об этой продаже.

„Она сблизилась с друзьями поэта, — говорит госпо-

жа Лесклид. — Мы часто видели ее в Лувре, в отделе копий; она приходила туда узнать у Лесклида „новости о господине“. С какой жадностью она слушала все, что говорилось о нем. Ее строгое лицо на мгновение оживлялось, потом она снова впадала в уныние и плакала горючими слезами. Скорбь ее была искренней“. На авеню Виктора Гюго „Бланш подолгу стояла на тротуаре, подстерегала минуту, когда выйдет поэт, стремилась увидеть его. Поль Мерис мягко обходился с этой несчастной, удрученной женщиной, если встречался с нею, когда она прохаживалась около дома... Однажды госпожа Друэ узнала свою бывшую горничную, пришла в неистовый гнев и устроила мэтру ужасную сцену“. О, ревность, желчью наполняющая душу!

С 21 августа по 15 сентября 1882 года Жюльетта Друэ, теперь лишь номинальная, но „признанная“ наконец возлюбленная Виктора Гюго, гостила вместе с ним в Вель-ле-Роз у Поля Мериса. Ей приятно было, что ее допустили в этот дом, — ведь госпожа Мерис прежде никогда не желала принимать ее у себя. А по возвращении она слегла. У нее была злокачественная опухоль кишечника. В изможденном старческом лице женщины, угасавшей от рака, ничего не осталось от чудесной красоты, которой она блистала в 1830 году, — разве только ласковая нежность глаз и красиво очерченный рот. Когда больная могла, вся скорчившись, посидеть в кресле у окна своей спальни, она видела на другой стороне улицы спокойный монастырский сад и, „чтобы не думать“, смотрела на сестер общины Премудрости, вспоминала свое детство, проведенное в монастыре Вечного поклонения.

Сознавая, что она обречена, Жюльетта просила разрешить наконец вопрос с „двойной могилой“, имея в виду могилу своей дочери Клер и свою собственную: ей хотелось, чтобы они были рядом, а Гюго все не предпринимал необходимых для этого шагов. *Жюльетта писала ему 19 октября 1881 года:* „Если это тебе хоть немного неприятно, разреши, чтобы я одна занялась хлопотами, и на днях утром я это сделаю, нисколько не нарушая твоих привычек и домашнего обихода. Ты не можешь мне в этом отказать, и я прошу сделать все сейчас же, так как время не терпит...“ Через год *(1 ноября 1882 г.)* больная попросила поэта: „Поищем вместе в дивных стихах, какие ты мне когда-то посвятил, строки, которые должны служить мне эпитафией, когда нас уже не будет на свете...“

Престарелая чета в последний раз отправилась в Сен-Манде 21 июня 1882 года. Жюльетта навестила покойную дочь, а Гюго — свою дочь, содержавшуюся в доме умалишенных. В тот же день он уже в восемь часов утра получил трогательную записку: „Дорогой, любимый мой, спасибо, что ты повезешь меня сегодня в Сен-Манде для печального и нежного свидания. Мне кажется, что у могилы моего ребенка мне не так горько будет думать о предстоящем...

Надеюсь, ты увидишь свою дорогую дочь в добром здравии, и мы вернемся с тобою после нашего паломничества если не утешенными, что невозможно в этом мире, то по крайней мере смирившимися с волей господней..."

В театральном мире вспомнили, что 22 ноября 1832 года состоялась премьера драмы Гюго „Король забавляется" и что запрещенная тогда пьеса второй раз уже не появилась на сцене. Чтобы отметить ее 50-летие, Эмиль Перен, директор французского театра, возобновил постановку драмы и добился, чтобы первое представление состоялось 22 ноября 1882 года. Умирающая Жюльетта присутствовала (высшая честь!) на этом спектакле вместе с Виктором Гюго и сидела с ним в директорской ложе. Президент республики Жюль Греви занимал правительственную ложу на авансцене. После великого почета Жюльетте оставалось только одно — умереть от голода.

VII

О, мрак!..

„Когда освобожусь от оболочки бренной,
Не оскорби меня, мой друг, изменой! —
Шепнула, к небу устремляя взгляд. —
Иначе для меня на небе будет ад".

Виктор Гюго

Жюльетта знала, что смерть ее близка, но старалась говорить об этом как можно меньше, ибо Виктор Гюго (подобно Гете) требовал, чтобы каждый, желая предстать перед ним, „смыл с лица своего уныние и стряхнул с себя грусть". На званых обедах в его доме Жюльетта, исхудавшая, неузнаваемая, играла возвышенную комедию.

„Она не хотела, чтобы ею занимались за столом, и поднимала пустой бокал, когда Виктор Гюго пил за ее здоровье, провозглашая, что он „имел счастье встретить ее пятьдесят лет тому назад“. Когда поэт спрашивал: „Что же вы ничего не кушаете, госпожа Друэ?“ — она отвечала: „Не могу, сударь“.

„Но она еще могла по ночам, стоило Виктору Гюго закашляться, встать с постели, чтобы приготовить ему лекарственный отвар“, 1 января 1883 года она написала последнее свое письмо: „Дорогой, обожаемый мой, не знаю, где я буду в эту пору на следующий год, но я счастлива и горда тем, что могу подписать свидетельство о своей жизни в истекшем году двумя словами: „Люблю тебя“. *Жюльетта*“. А он в последнем новогоднем поздравлении написал Жюльетте: „Когда я говорю тебе: „Будь благословенна“ — это небо. Когда говорю: „Спи спокойно“ — это земля. Когда говорю: „Люблю тебя“ — это я“. Она уже совсем не могла есть. Каждый вечер Виктор Гюго проводил час у ее постели, и умирающая „с благоговением слушала его речи, которыми он старался убедить ее, что она не больна“. Она пыталась улыбаться. Она до конца сохраняла при нем героическую выдержку.

Она умерла 11 мая 1883 года в возрасте семидесяти семи лет. Виктор Гюго похоронил ее на кладбище Сен-Манде рядом с Клер Прадье, под надгробной плитой, которую Жюльетта сама выбрала. Виктор Гюго был так удручен, что не в состоянии был выйти из дому и проводить усопшую. Огюст Вакери, являвшийся, по желанию Гюго, распорядителем похорон, произнес на кладбище речь: „Та, кого мы оплакиваем, была доблестным человеком...“ Он сказал, что „она имеет право на свою долю славы, ибо приняла на себя и немалую долю испытаний...“

Такое же чувство было и у Виктора Гюго. В феврале 1883 года, в день его „золотой свадьбы“ с Жюльеттой, он подарил ей свою фотографию с надписью: „Пятьдесят лет любви — вот самое прекрасное супружество“, — это была честь, справедливо оказанная женщине, которая после бурной жизни стала примером всепоглощающей и все искупающей жертвенной любви. А был ли Гюго достоин ее жертв? Если чувственное влечение угасло, привязанность никогда не ослабевала. Приобщив Жюльетту к своему творчеству, он создал ей беспримерную жизнь. Много говорилось о его „чудовищном гюгоизме“, но, чтобы

внушить такую любовь, нужно иметь, кроме гениальности, еще и человеческие достоинства. „Ничто так не говорит в пользу Гюго, как нерушимая любовь к нему этой женщины высокой души“. Гюго это знал.

И гроб мой осенит великая любовь...
Она была земной и грешною сначала,
Но чистотой своей весь путь мой увенчала...

Жюльетта оставила завещание. Некоторое время у нее было в руках целое состояние. Гюго положил на ее имя семьдесят акций Бельгийского национального банка (в 1881 г. их стоимость составляла сто двадцать тысяч франков). Он думал тогда, что умрет раньше своей подруги, и хотел обеспечить ее. Когда же он узнал о ее смертельном недуге (и особенно когда очень возросло влияние на Жюльетту со стороны семейства Кох), он попросил ее перевести акции на него. *Подтверждение Жюльетты:* „Сего, 8 сентября 1881 года, господин Виктор Гюго вступил в полное владение семьюдесятью акциями Бельгийского национального банка, из коих тридцать пять акций на предъявителя и тридцать пять именных; и те и другие акции он мне в свое время подарил. Акт о передаче ему сего щедрого дара, совершенной по моему желанию, был сегодня же выдан ему Национальным банком. *Ж. Д.*“. Взамен возвращенного дара и в награду за великое бескорыстие Жюльетты, Виктор Гюго назначил ей пожизненную ренту в двадцать тысяч франков, если она, против всякого ожидания, пережила бы его.

У Жюльетты Говэн, именовавшейся Жюльеттой Друэ, кроме ценных бумаг, оставались также драгоценности, художественные вещи и бесценные рукописи. После ее смерти оказалось, что вся ее мебель, находившаяся в „Отвиль-феери“ и в парижской квартире, серебро, драгоценности, рукописи, переписка, портреты переходят к ее племяннику Луи Коху.

Завещание Жюльетты, пункт 3: „В том случае, если господин Виктор Гюго пожелал бы выкупить в качестве памятных для него вещей любые из предметов, завещанных мною в двух предыдущих пунктах, я хочу, чтобы мои наследники согласились продать ему любые из указанных выше предметов, сообразно желанию, выраженному господином Виктором Гюго...“

Пункт 5: „Что касается наличных денег в серебря-

ных, в золотых монетах или в банковых билетах, каковые могут оказаться у меня в довольно значительных суммах, — заявляю, что все они принадлежат господину Виктору Гюго и были доверены им мне для управления его личным состоянием. Следовательно, все наличные деньги должны быть полностью возвращены господину Виктору Гюго как принадлежащие ему..."

Виктор Гюго ничего не выкупил. Если бы он просмотрел бумаги, скопившиеся у Жюльетты, он нашел бы там среди прочих сувениров пачку своих любовных писем к госпоже Биар, которые жестокая Леони переслала когда-то своей сопернице. Но Леони, как бы ни была она прелестна, никогда не занимала такого большого места в жизни поэта, как его возлюбленная с великим сердцем. В день смерти госпожи Друэ ум и сердце Виктора Гюго исполнились скорби:

Как жить, когда ее уж больше нет?
Мне тяжко бремя предстоящих лет...
О господи! Молю! Не жди ни дня —
Скорее призови, возьми меня!

VIII

„Бывает, что закаты равны апофеозам"

Не так-то легко вырвать из сердца веру в бога.

Виктор Гюго

На авеню Виктора Гюго он продолжал принимать посетителей с обычной своей любезностью, целуя дамам ручки, а если они были в перчатках, касался поцелуем запястья. Преданный секретарь Ришар Лесклид писал за него письма. Каждое воскресенье происходил традиционный прием, привлекавший толпу гостей. Гюго, казалось, был далек от всего. Камилл Сен-Санс, побывав на обеде у Гюго, так описывает поэта: „Маэстро сидел в конце стола, говорил мало. При своем крепком сложении, твердом и звучном голосе, спокойном благодушии, он не производил впечатления старика; а скорее существа без возраста, существа вечного, которого Время не смеет коснуться. Увы! Ничто не остановит руку Времени, и этот светлый ум уже начал проявлять признаки угасания..."

После смерти Жюльетты Бланш Рошерей попыталась встретиться с ним. Недолгая связь с великим поэтом оставалась единственным ярким воспоминанием в ее разбитой жизни. Место госпожи Друэ было теперь вакантным, и Alba „надеялась, что Виктор Гюго, освободившись от ига, тяготевшего над его жизнью, наконец вернется к ней“. Но восьмидесятилетние старики хоть и помнят самое далекое свое прошлое, а все же память изменяет им в отношении недавних событий. К тому времени, когда Гюго потерял Жюльетту, он не видел Бланш уже пять лет и, может быть, позабыл ее. Она тщетно пыталась завести с ним переписку. Все ее послания, в которых „чередовались гнев и мольбы, резкости и смирение“, были перехвачены. Друзья Гюго видели в ней теперь назойливую попрошайку. „Только что приходила Бланш, — писал Лесклид в 1884 году. — У нее, несчастной, все продали за долги. Она живет теперь в чердачной каморке на острове Сен-Луи...“

Гюго не хотел, чтобы теперь отмечали день его рождения: „Разве можно праздновать его! Друзья, откажитесь от этого. В моей жизни столько скорбных утрат, что праздников в ней больше нет...“ Крепкий его организм стал наконец изнашиваться, он уже не мог бежать за омнибусом и, догнав его, взбираться на империал. Однако Гюго еще выходил из дому. Поэт часто бывал на заседаниях Академии. Когда в ней за смертью академика освобождалась вакансия, Гюго всегда голосовал за Леконт де Лилля, так как ему надоедало выбирать из предложенных кандидатов. Постоянный секретарь Камилл Дусе говорил ему: „Но ведь это не по правилам. Голосовать за кого-нибудь можно, только когда этот человек письменно выставил свою кандидатуру“. — „Знаю, знаю, — отвечал Гюго, — но мне так удобнее“. На обеде у Маньи приводили его шутку: „Пора уж мне поубавить собою население мира“. А во сне он сочинил такую стихотворную строку: „Скоро перестану я своей особой загораживать горизонт“.

Нередко голос Гюго разносился по всему миру, когда он выступал в защиту евреев от погромов, в защиту повстанцев от репрессий. Ромен Роллан с юности хранил номер „Дон-Кихота“, где цветная иллюстрация изображала, как *старый Орфей* в ореоле белоснежных седин играет на лире и пением своим хочет спасти жертвы гонений. Своего рода французский Толстой. „Он взял на себя обязанности пастыря огромного человече-

ского стада". Слова его были высокопарны, а старческий дрожащий голос нисколько не устрашал палачей, но „мы, миллионы, с благоговением, с гордостью прислушивались к его отдаленным отзвукам". Было прекрасно, было необходимо, чтобы кто-то защищал справедливость. „Имя старика Гюго сочеталось со словом — республика. Из всех прославленных творцов в литературе и в искусстве лишь его слава осталась живой в сердце народа Франции".

В августе 1883 года молодой Ромен Роллан впервые увидел Виктора Гюго. Это было в Швейцарии, куда Алиса Локруа привезла поэта на отдых. Сад отеля „Байрон" заполнила толпа почитателей, сбежавшихся с обоих берегов озера Леман. Над террасой развевалось трехцветное знамя. Старик Гюго вышел с двумя своими внуками. „Какой же он был старый, весь седой, морщинистый, брови насуплены, глаза провалились. Мне казалось, что он явился к нам из глубины веков". В ответ на крики: „Да здравствует Гюго!" — он поднял руку, как будто хотел сердито остановить нас, и крикнул сам: „Да здравствует республика!" „Толпа, — добавляет Ромен Роллан, — пожирала его жадным взором. Рабочий, стоявший возле меня, сказал своей жене: „Какой же он безобразный!.. А хорош, здорово хорош!.."

В Париже его встречали на улицах, даже когда шел снег, без пальто, в одном сюртуке. „По молодости лет обхожусь без пальто", — говорил он. С Алисой Локруа он посетил мастерскую Бартольди, чтобы посмотреть статую Свободы, над которой скульптор тогда работал. Зачастую он прогуливался под руку с молодой поэтессой, переводчицей Шелли и бывшей лектрисой русской императрицы Толей Дориан, урожденной княжной Мещерской. Однажды, проходя с нею по мосту Иены, он остановился и, глядя на солнечный закат, пылавший в небе, сказал своей спутнице: „Какое великолепие! Дитя мое, вы еще долго будете видеть это. Но передо мною скоро откроется зрелище еще более грандиозное. Я стар, вот-вот умру. И тогда я увижу бога. Видеть бога! Говорить с ним! Великое дело! Что же я скажу ему? Я часто об этом думаю. Готовлюсь к этому..."

Он неизменно верил в бессмертие души. Одному из своих собеседников, утверждавшему, что когда мы расстаемся с жизнью, все кончено и для души, он ответил: „Для вашей души, может быть, это и верно, но моя

душа будет жить вечно, — я это хорошо знаю...“ Своему секретарю, когда тот пожаловался на холодную погоду, он ответил: „Погода не в наших руках“. Вскоре после смерти Жюльетты он пошел к священнику, дону Боско, поговорить с ним о бессмертии и прочих вещах. „Да, да, я принял его, — говорил потом этот священник, — и мы с ним побеседовали. Он-то лично относится к этим вопросам уважительно. А какое у него окружение! Ах, это окружение!“ Когда он молился за себя самого и за своих усопших, окружавшие его атеисты, вероятно, краснели за „эти слабости“ и старались прикрыть плащом наготу старого Ноя, „опьяненного верой в загробную жизнь“. Анатоль Франс, в молодости усердно посещавший воскресные приемы на авеню Эйлау, писал: „Надо все же признать, что в его речах было больше слов, чем идей. Больно было открыть, что сам он считает высочайшей философией скопище своих банальных и бессвязных мечтаний...“ Не лишним будет противопоставить этому взгляду мнение философа Ренувье: „Мысли Гюго — это самая настоящая философия, являющаяся в то же время и поэзией“. Ален же говорит: „Разум — сила искусного ритора. Но предсказать то, на что никто не надеется и чего никто не хочет, — это превосходит силы разума. За такие свойства человек и удостаивается улюлюканья ненавистников, и эта честь длится для нашего поэта до сих пор“.

„Морской старец“ уже давно и твердо знал, во что он верит. Он верил, что всемогущая сила создала мир, хранит его и судит нас; он верил, что душа переживает тело и что мы несем ответственность за свои поступки; в 1860 году он написал свое кредо: „Я верю в бога. Верю, что у человека есть душа. Верю, что мы несем ответственность за свои поступки. Вручаю себя зиждителю вселенной. Поскольку ныне все религии ниже их долга перед человечеством и богом, я желаю, чтобы никаких священнослужителей не было при моем погребении. Оставляю свое сердце милым мне, любимым существам. *В. Г.*“.

Тридцать первого августа 1881 года он написал твердой рукой завещание:

„Бог. Душа. Ответственность. Трех этих понятий достаточно для человека. Для меня их достаточно. В них — самая суть религии. Я жил в ней. В ней и уми-

раю. Истина, свет, справедливость, совесть — это бог. Deus, Dies[1].

Оставляю сорок тысяч франков бедным. Хочу, чтобы меня отвезли на кладбище на катафалке для бедняков.

Моими душеприказчиками являются господа Жюль Греви, Леон Сэ, Леон Гамбетта. Они привлекут к делу тех, кого пожелают. Передаю все свои рукописи и все написанное или нарисованное мною, что будет найдено, — в Парижскую национальную библиотеку, которая станет когда-нибудь Библиотекой Соединенных Штатов Европы. После меня остается больная дочь и двое малолетних внучат. Да будет над ними всеми мое благословение.

За исключением средств, необходимых на содержание моей дочери, — в сумме восьми тысяч франков ежегодно, все принадлежащее мне оставляю двум моим внукам. Указываю настоящим, что должна быть выделена пожизненная годовая рента в сумме двенадцати тысяч франков, которую я назначаю их матери Алисе, и ежегодная пожизненная рента, которую я назначаю мужественной женщине, спасшей во время государственного переворота мою жизнь с опасностью для своей жизни, а затем спасшей чемодан с моими рукописями.

Скоро закроются мои земные очи, но мои духовные очи будут зрячими, как никогда. Я отказываюсь от погребальной службы любых церквей. Прошу все верующие души помолиться за меня. *Виктор Гюго*".

В короткой приписке к завещанию, врученной им Огюсту Вакери 2 августа 1883 года, он выражает те же мысли, — но стиль там более отрывистый и более свойственный Гюго: „Оставляю пятьдесят тысяч франков бедным. Хочу, чтобы меня отвезли на кладбище на катафалке для бедняков. Отказываюсь от погребальной службы любых церквей. Прошу все души помолиться за меня. Верю в бога. *Виктор Гюго*".

Гюго знал теперь, что он близок к смерти. В свою записную книжку он занес 9 января 1884 года следующие строки:

Печален и к земному глух,
Слабеет слух,
И взор потух —
Господь, прими мой дух.

---

[1] Бог, День (лат.).

За несколько дней до смерти он был на обеде, устроенном комитетом Общества литераторов в ресторане „Золотой лев". Так как Гюго ничего не говорил за столом, все думали, что он дремлет, но он все прекрасно слышал и поразительно красноречиво ответил на тост, произнесенный в его честь. Порой он пронизывал людей мрачным и грозным взглядом. Но внуку своему он говорил: „Любовь... Ищи любви... Дари радость и сам стремись к ней, люби, пока любится".

Даже в последние дни в нем еще жил фавн, призывавший к себе нимф. „До конца жизни в нем не угасала требовательная, неутолимая мужская сила... В своей записной книжке, начатой 1 января 1885 года, он еще отметил восемь любовных свиданий, и последнее из них произошло 5 апреля 1885 года..." Но он знал, что в его возрасте ни наслаждения, ни слава уже не могут служить убежищем от мыслей о смерти.

Когда ж ты наконец прославлен, вознесен,
Тебя хватают вдруг и выдворяют вон.
Где скрыться? Близится твой кредитор суровый;
Напрасно силишься ты задвигать засовы,
Чтоб не впустить его, чтоб задержать чуть-чуть...
Нет, ноги все-таки придется протянуть.
У смерти много средств турнуть тебя отсюда:
Паденье с лошади, вульгарная простуда,
Катар, песок в моче, — да мало ли хвороб?
И вот уж в дверь стучит не девушка, а поп[1].

Для него гибельной случайностью оказалось воспаление легких, которым он заболел 18 мая. Он почувствовал, что это конец, и сказал Полю Мерису по-испански: „Скажу смерти: „Добро пожаловать". В предсмертном бреду он еще создавал прекрасные строки стихов: „Идет борьба меж светом дня и мраком ночи", и эти слова выражали его жизнь, да и жизнь всех людей.

Двадцать первого мая архиепископ парижский, кардинал Гибер, написал госпоже Локруа, что он „вознес усердную молитву за знаменитого больного поэта", и если Виктор Гюго пожелает видеть священника, он, кардинал Гибер, счел бы для себя „сладостным долгом принести ему помощь и утешение, в коих человек так нуждается в часы жестоких испытаний". Епископу ответил Эдуард Локруа, — поблагодарил его и отказался. Полу-

[1] Гюго В. XLI („Четыре ветра духа"). Пер. М. Донского.

чив это письмо, кардинал сказал, что „Гюго, как видно, готов отойти к богу, но не хочет, чтобы бог пришел к нему“. На самом же деле самого Гюго об этом не могли спросить, так как у него уже началась агония. Он скончался 22 мая, простившись с Жоржем и Жанной. „Я вижу черный свет“, — сказал он перед смертью, — это были его последние слова, и они перекликаются с одним из лучших его стихотворений: „Ужасное черное солнце, лучами насылающее мрак“. Предсмертный его хрип напоминал „скрежет гальки, которую перекатывает море“. „В тот час, — говорит Ромен Роллан, — когда старый бог расставался с жизнью, в Париже бушевала буря, гремел гром и падал град“.

Получив известие о его смерти, сенат и палата депутатов прервали заседания по случаю его кончины, в знак национального траура. Принято было решение вернуть Пантеону назначение, которое в свое время дало ему Учредительное собрание, восстановить на фронтоне надпись: *„Великим людям — признательное отечество“*, и похоронить Гюго в этой усыпальнице, после того как тело будет для прощания выставлено под Триумфальной аркой.

Это было сделано ночью 31 мая, весь Париж до утра бодрствовал возле усопшего. „Незабываемое зрелище, — пишет Баррес, — высоко поднятый гроб, в ночной тьме скорбные зеленоватые огни светильников озаряли императорский портик и дробились на кирасах всадников, державших факелы в кордоне, который сдерживал толпу. От самой площади Согласия приливало людское море; подступая огромными водоворотами, волны его надвигались на испуганных коней, стоявших в двухстах метрах от постамента с гробом, и наполняли ночь гулом восторженных восклицаний. Люди создали себе божество...“

Двенадцать молодых французских поэтов составляли почетный караул. Вокруг Триумфальной арки повсюду — на улицах, в домах — тысячи людей читали вполголоса его стихи; как шелест, слышались строфы, строки и отдельные слова. „Главное слова, слова, слова! Ведь в них были его честь, его сила, — говорит все тот же Баррес, — ведь Гюго возродил французское слово“. Да, он, Гюго, был мастером, знатоком французского слова, но у него был еще и другой, более блистательный титул — знаток человеческих чувств. Он лучше других воспел то, что испытывали все: скорбь, кото-

рой родина чтит своих погибших сынов, радости молодого отца, прелесть детства, блаженство первой любви, долг каждого перед бедняками, ужас поражения и величие милосердия. Голос целого народа убаюкивал поэта, уснувшего вечным сном.

Эта ночь была вакхической, говорит Ромен Роллан. „На площади Согласия статуи городов Франции драпировал траурный креп... Но на площади Звезды, вокруг Триумфальной арки, под которой почивал поэт, одержавший победу на поле славы у великого своего соперника — Наполеона, и речи не было о слезах и земных поклонах... Там шло ярмарочное гулянье, как у Иорданса..." Толпы с Форума и из Субурры смешались у праха императора. Затем, на рассвете, „среди этого веселья, этой пышности, этих ликторов и легионеров, этих холмов из цветов и венков, этих воинских доспехов" — в пустом пространстве показались „нищенские дроги, совсем голый черный катафалк с двумя веночками из белых роз. Приехали за мертвецом. Последняя антитеза..." В этот самый час под темными сводами монастыря кармелиток в Тюле племянница генерала Гюго, инокиня Мария, окруженная другими монахинями, преклонив колена, молилась о вечном успокоении души усопшего.

Торжественное похоронное шествие проводило Виктора Гюго с площади Звезды до Пантеона. За гробом шло два миллиона человек. На улицах, по которым катился этот поток людей, с обеих сторон высились мачты со щитами, гласившими: *„Отверженные"*, *„Осенние листья"*, *„Созерцания"*, *„Девяносто третий год"*. В фонарях, горевших среди бела дня и покрытых крепом, трепетали бледные огни. Впервые в истории человечества нация воздавала поэту почести, какие до тех пор оказывались лишь государям и военачальникам. Казалось, Франция хотела в этот день траура и славы повторить Виктору Гюго те слова, которые он пятьдесят лет тому назад обратил к тени Наполеона:

О, справим по тебе мы неплохую тризну!
А если предстоит сражаться за отчизну,
У гроба твоего пройдем мы чередой!
Европой, Индией, Египтом обладая,
Мы повелим — пускай поэзия младая
    Споет о вольности младой![1]

[1] Гюго В. К Колонне („Песни сумерек"). Пер. П. Антокольского.

Этот апофеоз напоминал „пышные погребальные церемонии Востока“. Но вот разошлись толпы народа, удалились министры. „Как маршалы Наполеона после прощания с ним в Фонтенбло, старые и молодые писатели, выходя из Пантеона, с облегчением воскликнули: „Ух!“ Малларме же не воскликнул: „Ух!“, но пожалел, что Гюго будет лежать в Пантеоне среди ученых и политических деятелей, привыкших к куполам парламентов и академий, что его положат в склеп, меж тем как в Люксембургском саду он почивал бы „под сенью дерев иль на просторной поляне“.

Люди устают от всего, даже устают восхищаться. Последующие полвека слава Гюго претерпела много превратностей. Стихи новых поэтов — Бодлера, Малларме, Валери — казались более современными, более отвечавшими новым требованиям и более отделанными в каждой строфе. Но без Гюго этих поэтов никогда бы не было, они и сами это провозгласили. „Стоит представить себе, — говорил Бодлер, — какой была французская поэзия до его появления и какой молодой силой наполнилась она с тех пор, как он пришел, стоит вообразить, какой скудной была бы она, если бы он не пришел... и невозможно не признать его одним из тех редкостных и провиденциальных умов, которые в плане литературном приносят спасение всем...“ А Поль Валери говорит: „Этот человек был воплощением могущества... Чтобы измерить его силу, достаточно изучить творчество поэтов, возникших вокруг него. Чего только не пришлось им изобретать, чтобы сохранить свое существование рядом с ним!“

Прошли десятилетия. Время, стирающее с лица земли холмы и пригорки, щадит высокие горы. Над океаном забвения, поглотившим столько творений XIX века, архипелаг Гюго гордо вздымает свои вершины, увенчанные яркими образами.

Исторические памятники, ставшие символами эпох и крупнейших событий в жизни Франции, по-прежнему неразрывно связаны с его стихами. От башен собора Парижской богоматери до купола на Доме Инвалидов, где еще колышутся полотнища знамен, развевавшихся от его дыхания, от Триумфальной арки до Вандомской колонны — весь Париж предстает перед нами, как ода Виктору Гюго, как поэма из камня, чьими строфами были вершины нашей истории.

Стопятидесятилетие со дня рождения Гюго отмечалось в Пантеоне церемониями, проникнутыми почтительной признательностью и каким-то сыновним чувством. Еще никогда страна и творчество поэта не были связаны так тесно. Больше полувека он был свидетелем нашей борьбы, эхом нашего ропота, певцом наших эпопей. Эта славная, достойная античности близость побуждала его прославлять звоном колокола наши праздники, бить в набат, возвещая о наших бедствиях, похоронным звоном провожать наших умерших. „Еще и ныне его стихи, его страстные вопли, его пыл, его улыбки воздействуют на нас в тишине библиотек и в надписях на каменных надгробиях..." 10 июня 1952 года мы видели, как огромный собор заполнила сосредоточенная толпа; трехцветные флажки, спускавшиеся с высоких сводов до полу, трепетали при свете прожекторов, как живые блики пламени; в полуоткрытые высокие врата собора виднелся старый-престарый квартал Парижа, и там, как некогда вокруг Триумфальной арки, огромным круговоротом колыхалась толпа народа, прихлынувшая к паперти храма святой Женевьевы.

„*О, трава густая над могилами!*" Через несколько дней после официальных торжеств нам захотелось совершить паломничество к могилам двух женщин, которые заслуживают, чтобы их приобщили к этим воспоминаниям. Госпожа Друэ похоронена возле своей дочери Клер на старом кладбище Сен-Манде. Это пустынное место теперь окружают дома предместья. Жюльетта просила, чтобы на ее могильной плите были вырезаны следующие стихи Виктора Гюго:

Когда коснется тьма моих усталых глаз
И в сердце не останется огня,
Мой друг, скажи в тот грустный тихий час:
„О люди, думал он о вас,
И он любил — меня!"

Но ни Жорж, ни Жанна Гюго, ни Луи Кох, племянник Жюльетты, не потрудились выполнить желание всеми позабытой покойницы. Долгое время на голой могильной плите не было ни имени, ни даты. И лишь когда Жюльетта посмертно нашла себе друзей в лице Луи Икара и его супруги, это желание было осуществлено. Ныне Общество друзей Жюльетты Друэ считает своим долгом

поддерживать ее могилу, и мрамор надгробия блещет белизной среди развалившихся памятников, покрытых мхом.

В Вилькье маленькое кладбище, поднимающееся по каменистому склону холма, примыкает к церкви и окружено стеной, скрытой густолиственными кустами бузины. Здесь покоятся матросы и лоцманы судов, плавающих по Сене. Близ кладбищенских ворот — место, занятое девятнадцатью могилами двух семейств — Гюго и Вакери. В изголовье каждой могилы там долго цвел розовый куст, и еще в 1914 году Гийом Аполлинер, навестивший их вместе с Андре Бильи, сорвал на могиле Леопольдины белую розу, которую он привез Элемиру Буржу. На могильной плите надпись:

ШАРЛЬ ВАКЕРИ
Двадцати шести лет
и
ЛЕОПОЛЬДИНА ВАКЕРИ,
урожденная Гюго.
Вступили в брак 15 февраля
Умерли 4 сентября 1843 года.
De propundis clamavi ad te, Domine!

На эту могилу Гюго принес в некий день 1847 года „*букет из зеленых веток омелы и цветущего вереска*". А вот надпись на плите: „Адель, жена Виктора Гюго", и рядом слева, могила другой Адели Гюго, несчастного существа с безобидными маниями, прожившего с 1830 по 1915 год. Справа от супруги Гюго долго сохраняли незанятым место для ее господина и повелителя, хотя и не знали, не предпочтет ли он почивать вечным сном на кладбище Пер-Лашез около своих сыновей и своего отца, генерала Гюго. „Признательная отчизна" сама разрешила этот вопрос, приняв его в Пантеон. Тогда пустующее место взял на себя Огюст Вакери, пожелав, чтоб его похоронили на кладбище этой нормандской деревни, около его родителей и рядом с той, которую он любил чистой любовью всю жизнь. Он сам сочинил для себя эпитафию:

Хочу и я покой найти в такой могиле!
Мне смерть была б легка: мы с ней друзьями были.
Я вновь пристанище, как в давние года,
Обрел бы рядом с ней — теперь уж навсегда[1].

---

[1] Пер. М. Ваксмахера.

Он имел тут в виду свою мать, покоившуюся возле утонувших детей, но не думал ли он немного и о своей любимой, когда писал эти последние в его жизни стихи?.. Мы спросили его об этом. С высокого кладбищенского взгорья мы смотрели вниз, на свинцовые воды Сены, на большие баржи, поднимавшиеся вверх по течению. Черные тучи закрывали горизонт. Бесформенные клочья тумана, расплываясь, медленно окутывали нас. Внезапно разразилась гроза необычайной силы. Засверкали зигзаги молнии. Загремел гром. Между могилами побежали бурные потоки. Нас пригвоздили к месту непрестанные огненные стрелы. Мысли о Гюго располагают душу к таинственному. Нам казалось, что старый бог, владыка туманов и туч, бьет в твердь небесную этими чудовищными ударами, желая в последний раз показать нам, что, хотя его праха и нет на семейном погосте, он остается могущественным и грозным духом-властителем.

Содержание

Литературно-художественное издание

Андре Моруа

ОЛИМПИО, ИЛИ ЖИЗНЬ ВИКТОРА ГЮГО

Художник Ф. Н. Буданов
Технический редактор Л. П. Чуркина
Корректоры Г. В. Матвеева, В. Н. Шеманина

Подписано к печати 10.08.92. Формат 84×108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл.-печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 30,54. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 880. «С» 23

Издательство «Россия», 109316, Москва, Волгоградский проспект, 26
ТПО «Кириллица»
103654, К-51, Москва, Цветной бульвар, 30

Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и информации Российской Федерации
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30